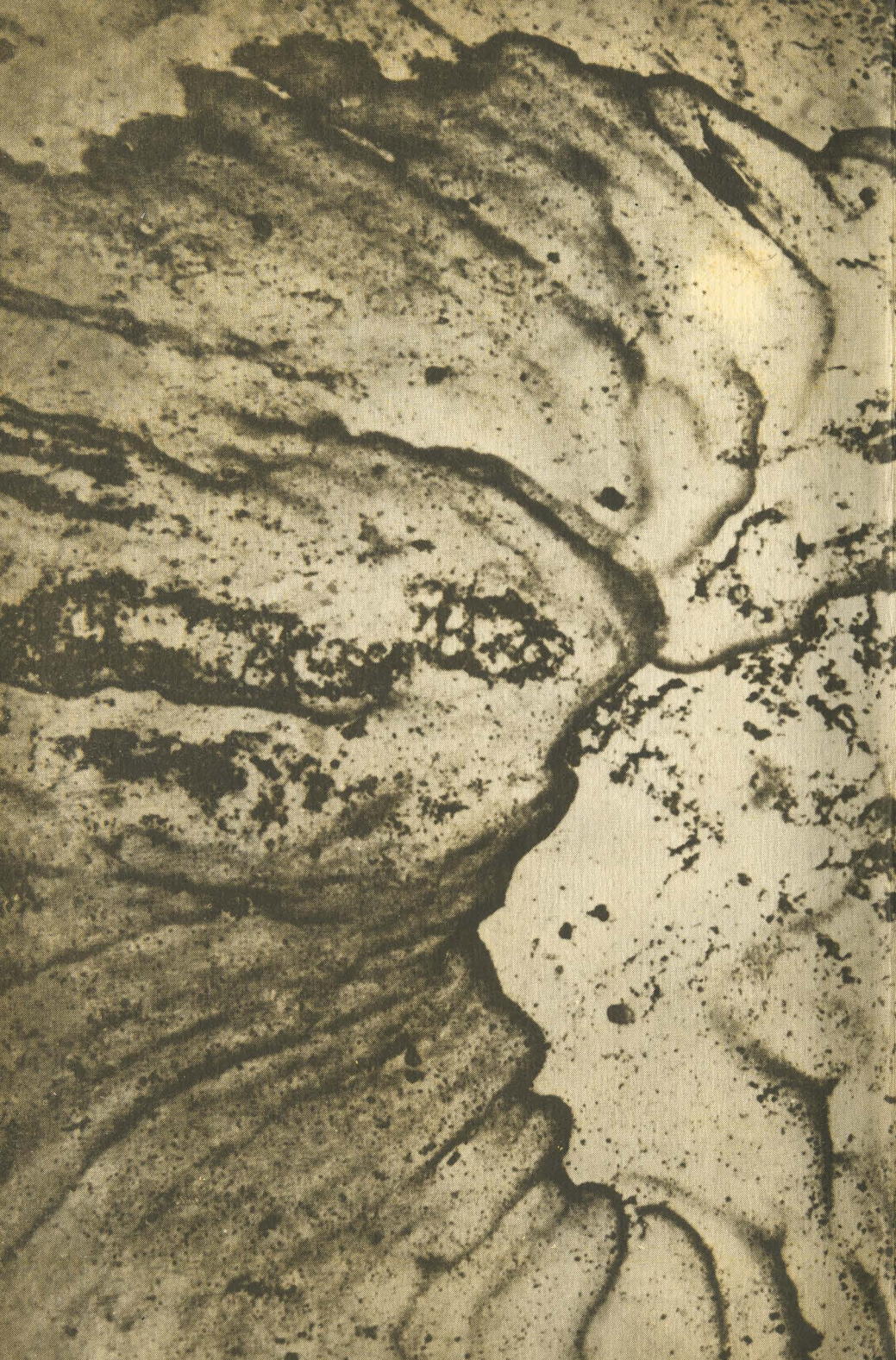
С.М.СОЛОВЬЕВ
СОЧИНЕНИЯ

КНИГА XXIII







С.М.СОЛОВЬЕВ
СОЧИНЕНИЯ
В ВОСЕМНАДЦАТИ
КНИГАХ



С.М.СОЛОВЬЕВ

СОЧИНЕНИЯ

В ВОСЕМНАДЦАТИ КНИГАХ

МОСКВА «МЫСЛЬ» 2000

С.М.СОЛОВЬЕВ
СОЧИНЕНИЯ

КНИГА XXIII
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

СТАТЬИ
РЕЦЕНЗИИ
ВЫСТУПЛЕНИЯ

СОВРЕМЕННИКИ
О С.М. СОЛОВЬЕВЕ

МОСКВА «МЫСЛЬ» 2000

ББК 63.3 (2)
С 60

РЕДАКЦИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ИСТОРИИ РОССИИ

Указатели составлены Л. В. КОМАРОВОЙ

Художник издания А. Б. КОНОПЛЕВ

© Издательство «Мысль». 2000
© Ю. В. Сокортова. Составление и подготовка текста. 2000
© В. Ю. Станковская. Перевод иностранных текстов. 2000
© А. Б. Коноплев. Оформление. 2000

ISBN 5-244-00075-6
ISBN 5-244-00948-6

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Выпуском XXIII, заключительной книги издательство «Мысль» завершает публикацию Сочинений С. М. Соловьева. Начатое в 1988 г., настоящее издание стало событием в истории русской культуры и приобрело немалое общественное звучание. В широкий читательский и научный оборот введены практически все значительные произведения великого русского историка: от его первой научной публикации «Письмо о Парижском университете» (1843) до последней, хронологически входящей во вторую четверть XIX века (1879), написанной уже зрелым ученым, со всем блеском присущего ему мастерства.

К читателю пришли более 100 лет не переиздававшиеся и ранее практически недоступные работы Соловьева (около 80 работ), исключительно богатые фактическим материалом и существенно важные для осмысления истории русской культуры. Среди них можно отметить работы об особенностях движения русского народонаселения по Восточно-Европейской равнине, о роли Православия в сохранении независимости России, о противоречивом характере малороссийского козачества и русского казачества в целом. Во втором разделе книги представлены оценки творчества Соловьева, данные его современниками — от цесаревича Александра (будущего императора Александра III) до

В. О. Ключевского — его преемника на кафедре Московского университета. Особенно примечательна характеристика профессором Гернье западничества XIX века как русской разновидности общечеловеческого гуманизма и Соловьева как его одного из самых выдающихся представителей. Приводится также полный текст работы П. Безобразова, написавшего наиболее развернутую биографию С. М. Соловьева, выходившую в павленковской серии ЖЗЛ. В итоге впервые творчество С. М. Соловьева предстает в законченном виде.

Издательство надеется, что знакомство с Сочинениями С. М. Соловьева наглядно подтвердит высказанную им же истину:

Успех в изучении истории зависит от многосторонности взгляда — ошибки происходят оттого, что мы глядим на одну сторону явления, объявляя другие взгляды ложными.

История есть наука народного самопознания.

СТАТЬИ
ВЫСТУПЛЕНИЯ
РЕЦЕНЗИИ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ ВОПРОСА О ТОМ: «КОГДА РУССКОМУ ГОСУДАРСТВУ ИСПОЛНИТСЯ ТЫСЯЧА ЛЕТ»*

Известно, что наш летописец, говоря о начале Русской земли, руководится при этом греческим летоисчислением:

«В лето 852, наченшу Михаилу царствовати, начася прозывати Руска земля. О ем бо уведахом, яко при сем цари приходита Русь на Царьгород, якоже пишется в летописаньи Гречьстем: темже отселе почнем и числа положим».

Но некоторые исследователи заметили, что так как Михаил начал царствовать не в 852 году, а в 842, то Нестор ошибся на 10 лет, вследствие чего все происшествия, годы которых определены им в зависимости от первого года царствования Михаилова, должны быть отодвинуты на 10 лет назад; почему и прибытие Рюрика должно относиться к 852, а не к 862 году.

Другие исследователи возражают на это: «Нестор мог ошибиться, почему бы то ни было в показаниях года Михаилова, но год прибытия Рюрика не имеет никакого отношения к Михаилову. Михаилов год заимствован из греческих известий, а Рюриков — из северных, нам неизвестных, но не греческих, где нет ни слова о Рюрике, или наконец Нестор писал по преданию еще свежему, по памяти»[1].

Рассмотрим это возражение.

Предположение, что год прибытия Рюрика заимствован из северных источников, нам неизвестных, не может быть ни на чем основано; с нами согласится всякий, кто знает характер тогдашних северных источников: распространяться об этом не нужно; в устных же преданиях годы не сохраняются. Летосчисление событий до появления современных записок устанавливается летописцами, которые, собирая, записывая предания, распределяют их погодно, соображаясь с другими событиями, время которых было записано, было известно. Так поступил и наш летописец; единственным средством для него распределить предание о начале Русской земли по годам было — сообразить их с летосчислением греческих летописцев, он прямо это говорит:

«Русская земля начала прозываться с царствования Михаилова: об этом мы узнали, потому что при Михаиле приходила Русь на Царьгород, как пишется в летописи греческой».

* «Московские ведомости». 1852. № 49. 22 апреля. С. 501.

[1] Москвит. 1852. № 3 // *Погодин М.* Когда Русскому государству исполнится тысяча лет (Москвитянин. 1852. Т. 3. Кн. 1. С. 53—60).

Как началась Русская земля, об этом узнал летописец из туземных преданий, но когда началась она, об этом он мог узнать только из летописи греческой, где в царствование императора Михаила записан поход руссов, имевших по преданию тесную связь с первыми русскими князьями. Это записанное в греческой летописи под известным временем событие и дает нашему летописцу возможность распределить туземные известия по годам: «Тем же отселе начнем и числа положим... яко же преже начали бяхом первое лето Михаилом, а по ряду положим числа».

Ясно, следовательно, что летописец не знает никаких других хронологических данных, кроме тех, какие он нашел в греческой летописи; что он должен устанавливать свою хронологию, сообразуясь с годами Михаилова царствования, и если он ошибся на 10 лет, то эта ошибка должна иметь влияние на все распределение начальных событий. Впрочем, странно нам распространяться о произвольности и необходимо соединенной с ней неверности и сбивчивости хронологии на первых страницах нашей летописи, когда этот вопрос уже порешен Карамзиным[2].

Но здесь может представиться исследователю другой вопрос: нельзя ли из самой летописи открыть, как летописец устанавливал свою хронологию, как он дошел до 862 года?

Мы видели, что он начинает свое летосчисление с первого года царствования Михаилова, потому что во время этого государя имел место поход руссов, записанный в греческой летописи: время этого похода у него обозначено 866 годом, герои похода — Аскольд и Дир, но об Аскольде и Дире хорошо знает туземное предание, которое говорит, что два года спустя после призвания князей, двое младших из них, Синеус и Трувор, умерли, Рюрик остался единовластителем, начал раздавать мужам своим города; двое из этих мужей, Аскольд и Дир, отпросились у него на юг, в Грецию, на дороге засели в Киеве и оттуда напали на Византию; теперь, идя назад от 866 года, летописец дал 865 год Аскольду и Диру на поход из Новгорода и утверждение в Киеве, 864 и 863 — два года жизни Синеуса и Трувора, 862 будет годом прибытия князей.

Но понятно, что, во-первых, нет никакого права с такой точностью назначать года; например, назначить Аскольду и Диру один год на поход и утверждение в Киеве, во-вторых, известен ли нам год похода Аскольда и Дира под Византию? Нам говорят, что поход несомненно или почти несомненно был в 866 году (??).

Но об этом поговорим после, здесь заметим только автору приведенного выше возражения, что никто не полагает прибытия Рюрика в 842 году, следовательно, никто не дает ему сына чрез 37 лет после его прибытия.

[2] Т I Гл 2, в конце

ПАРИЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ*

Svéstuju vám povést veleslavnu,
O velikych pótkách, lutych bojech,
Nastojte i ves svoj um sbierajte,
Nastojte, i nadivno vám sluchu!

Rukopis Kralodoorsky, Jaroslav

Для каждого путешественника-наблюдателя первым предметом любопытства в государстве, среди которого гостит он, должно быть народное образование, закончание которого сосредоточивается обыкновенно в высших учебных заведениях, в университетах. Если человек родится в свет грубым материалом, которому семейство должно сообщить человечественную форму, то университет обязан дать ему форму гражданскую, образовать гражданина в настоящем, полном значении этого слова и стыд тому семейству, из которого молодой человек выходит без наследия, без имени отеческого, заклейменный печатью чуженародности в поступках, мыслях и словах; такой сын должен считаться незаконным в высшем гражданском смысле. Но еще несчастному юноше остается средство спасения; он может быть усыновлен отечеству чрез университет; но он погибает окончательно, если и здесь встречает чуждое направление,— и стыд, и горе такому университету!

Если так важно значение университета при настоящем состоянии европейской цивилизации; если университет есть самое верное отражение общественного организма: то ясно, что изучить университет в известном государстве, значит изучить не только настоящее состояние общества, но и будущее его направление, потому что из университетских аудиторий выйдут будущие общественные деятели. Вот почему большая половина времени, проведенного мною в Париже, была посвящена изучению университета; вот почему также я почел обязанностью сообщить русским читателям результат моих наблюдений касательно этого предмета, оставляя другим путешественникам описывать пресловутый город во всех остальных отношениях. В моем кратком отчете я не коснусь ни истории Парижского университета, ни настоящей организации, дарованной ему правительством, я даже не буду говорить о всех профессорах и целом содержании их курсов — все это чуждо моей цели; я хочу сообщить только впечатление, произведенное на меня способом преподавания, показать, как профессора понимают свое назначение и какие средства выбирают для достижения своих целей.

Многие из людей мыслящих и чувствующих, пораженные настоящим состоянием европейского общества, этим резким разделением между головой и сердцем, между мыслью и чувством, между философией и религией, в отчаянии произнесли приговор, что эти два элемента человеческой сущности никогда не могут быть соединены, что человечество обречено на вечную внутреннюю борьбу, из которой проистекают

* Москвитянин 1843 Ч 4 № 8 С 478—494.

все его бедствия. Что касается до меня, то я всегда был уверен в возможности подобного соединения, и самым убедительным подтверждением моего мнения считаю существование университета, в котором соединение обоих по-видимому враждебных элементов — мысли и чувства — происходит самым очевидным и разительным образом. Если университет, какой бы то ни было, считает себя представителем только народного мышления, полагает своим назначением исключительное развитие этой способности в своих питомцах, такой университет грубо ошибается, показывает совершенное незнание своего высокого назначения. Бросим беглый взгляд на историю народного просвещения.

Все народы сохраняют предание, что в начале их истории являлись существа, от которых получили они оглашение в вере, истории и мудрости гражданской, которые сообщили им народное самопознание, уяснили их цель и стремление; от таких существ народы обыкновенно ведут свое происхождение. По исчезновении огласителей с исторической сцены, народы оглашенные записывают их учение и составляют таким образом кодексы законов религиозных, гражданских и т. п. Но это записанное учение оказывается недействительным, мертвым, если первоначальные огласители не оставили по себе преемников, мужей сильных словом и делом, которые истолковывают прежнее оглашение, дополняют его и таким образом ведут народ вперед на пути исторического развития. Но если ряд огласителей прекращается, то, несмотря на всё превосходство государственного устройства и мудрость законов, народ истлевает в гражданском разврате. Вот почему народы древности питали такое уважение к оглашению и такую недоверчивость к изучению или закону писанному. История показывает нам народ, у которого, несмотря на превосходство закона, полученного из уст Самого Бога, существовали всегда огласители, необходимые для борьбы с антинациональным направлением народа: я разумею евреев и их пророков; наконец, Святая Церковь, начав перевоспитание обновленного человечества, употребляла учение огласительное и, несмотря на существование Святейшей из книг, вменяет пастырям своим в обязанность устную проповедь.

Где же искать причины такого поразительного явления? Отчего слово, со всей верностью записанное, теряет силу, каковую имело оно в устах оратора? Засушенный цветок, возбуждающий одно воспоминание, искра, едва тлеющая при дороге; но, если эта искра по случаю попадет в вещество удобосгораемое, смотрите, — целый небосклон объят заревом пожара! Слово записанное потому становится мертво и недейственно, что сохраняет одну мысль без чувства. И в самом деле, что такое слово? Оно и есть самое чувство или, по крайней мере, дитя чувства. Понятие о предмете, посредством чувства внешнего, произвело в вас известную мысль об этом предмете; но эта мысль умерла бы при самом рождении, если б в глубине души не существовала потребность поделиться ею с другим существом, соединиться с ним духовным союзом, желание жить удвоенной, умноженной жизнью.

Это желание, это стремление называем мы *чувством, любовью*; мертвая мысль тяготит вас, вы хотите тотчас оживить ее, дать ей плоть: Всемогущая Благость предупредила ваше желание: вместе с мыслью родится уже и слово, оно уже готово, вам остается только сказать его — и вот другой уже живет вашей мыслью, вы живете вдвойне, вы наслаждаетесь[1].

В слове находим мы объяснение тайны творения: вначале было Слово — Любовь, Той рече — и быша; везде Слово однозначаще с Вышней Любовью, с желанием творения. Вот почему воплощенное Слово внушает людям такое уважение к слову; осуждает всякое слово праздное, грозит наказанием за каждое слово вражды; вот почему святые пустынники, страшась осквернить святость Слова, обрекали себя на вечное молчание.

Но слово сохраняет всю свою силу только в устах человека, потому что только при устном его произнесении обнаруживается тот пламень любви, рождающей слово, который наподобие электричества сообщается слушателям, согревает, растворяет их сердца и образует из них землю добрую для принятия семени и произращения плода обильного; записанное, оно сохраняет мысль, но лишается теплоты чувства, есть не иное что, как труп, хорошо сбереженный, и книгопечатание есть только усовершенствованное бальзамирование. И разум правительств во все века признал необходимым дать воспитанию юношества характер огласительный, имея в виду гармоническое развитие мысли и чувства вместе. Кажется, было бы гораздо легче назначить для молодого человека известные руководства и потом потребовать отчета в успешном усвоении содержащегося в них учения; ныне мудрость правительств признала, что для юного сердца не довольно книги, что для него потребна любовь, живое слово, которое любовью западает в душу и никогда не изглаживается из памяти. Правительства при учреждении университетов ставят целью образование гражданина, а доблести гражданские имеют источник в сердце человека и требуют преимущественно прямого развития чувства.

Если таково назначение университета, то ясно, что в его преподавании, как я уже сказал прежде, мысль и чувство должны быть соединены самым очевидным образом; отсюда профессор должен быть человеком мысли и человеком чувства, ученым и оратором вместе, высказывать истину и заставлять любить ее, показывает, что хорошо, и вместе сообщать своим слушателям способность ко всему хорошему; одним словом, профессор должен владеть двумя орудиями в равной

[1] Блаженство, испытываемое человеком при высказывании, при переводе своей внутренней жизни во внутреннюю жизнь другого, заставляет его продлить разговор протяжением звука, — является песнь, где человек старается гармонией звуков выяснить гармонию, в какой он хочет находиться с себе подобными, первоначальная форма песни была диалогическая, и от желания одинакого ответа на нашу мысль произошла рифма, которую слишком ревностные поклонники всего античного называют пустою погремушкою, заимствованною будто бы у арабов, рифма явилась вместе с христианством, то есть с удвоенной любовью

степени: доказательством и убеждением. Теперь обратимся к нашему предмету и посмотрим, в какой степени профессора Парижского университета приближаются к начертанному идеалу.

Характер французского народа, живой и нетерпеливый, требующий непосредственного применения деятельности умственной к деятельности практической, расторг преграду, отделяющую в других государствах университет от общества. Подобно картинным галереям, публичным библиотекам, университетские аудитории открыты для всех; толпа хлынула в святилище: что же? Освятилась ли толпа или осквернила святилище? Увидим.

С одной стороны, университетское преподавание выиграло от тесного сближения с обществом: профессор, имея в виду не малое число избранных, посвященных, но сонм людей всех состояний, начал заботиться о доступности своего изложения для каждого слушателя; отсюда ясность речи, доведенная до высшей степени; французский профессор кокетничает этим качеством, уменьем находить способы объяснения один другого легче, один другого явственнее; часто он составляет целый ряд объяснений, поражая слушателей возможностью найти еще легчайшее истолкование предмета, уже и без того удовлетворительно уясненного.

Кроме того, являясь пред многочисленное собрание, профессор почитает обязанностью дать своей скромной Музе блестящий наряд; отсюда речь его обработана, шумна, блестяща. Легко можно понять, какую огромную пользу получает от того язык, над которым со вниманием трудится многочисленное сословие мыслителей: каждый профессор исполняет обязанность члена Французской Академии, и не будучи включен в заветное число Сорока. В то же время слух присутствующих приучается в правильности, налаживается на гармонию: надобно видеть, до какой афинской тонкости дошли парижане в отношении к языку; каждое счастливое выражение, каждое гармонически составленное предложение замечено и награждено рукоплесканиями. Но этим и ограничиваются выгоды тесного сближения университета с обществом.

Встретившись с обществом лицом к лицу, университет удержал ли за собой первенство положения? Нет, он уступил, преклонился, поддался! Отсюда рад оскорбительных, унизительных явлений. Лекция для парижан занимает место утреннего спектакля[2].

Туда идут, чтоб без скуки провести время, узнать вскользь что-нибудь занимательное, а больше всего удовлетворить своей народной страсти — послушать хорошо оратора. Не заботятся о содержании, лишь бы было хорошо рассказано; не говорят о том, что говорит профессор, но с восхищением повторяют несколько сильных или звучных фраз. Что же профессора? Стараются ли удержать, обуздать такое ложное направ-

[2] И так как этот спектакль даровой, то аудитория служит местом собрания для людей, с которыми не хотелось бы встретиться и на бульваре. Замечательно также, что в хорошую погоду бывает гораздо менее слушателей, чем в дурную

ление, дать народному характеру более степенности, образовать по возможности из этого пылкого, вечно молодого народа народ более сознательный и отчетливый, внушая ему более уважения к вещам важным, показывая, что цель науки научать, а не забавлять; и что народ, требующий картинок к учебнику, тем самым сознается в своем младенчестве?

Нет, я уже сказал, что университет не удержал своего высокого характера. Профессор есть покорный слуга слушателей; он хочет снискать их благосклонность, громкие рукоплескания — существенная его цель; средства к ее достижению для него дело второстепенное. Эти средства обыкновенно суть: отделать как можно тщательнее внешнюю часть речи, чтоб не утомить внимания слушателей, разжидить как можно более содержание, опуская подробности, чтоб и тут содержание не показалось слишком серьезным, развести его достаточным количеством острот; напоследок, сосредоточить весь интерес к концу, к части патетической, чтоб последние слова были заглушены рукоплесканиями. Если сухость содержания не допускает патетической части, то оратор привязывается к отдельной мысли, не находящейся в большой связи с главным, часто воспламеняется одним словом и приделывает патетическую часть; так, например, дело идет об этрусках — какую занимательность может найти парижанин в этрусской истории, когда в Палате рассуждается об испанских делах или о свекловичном сахаре? В таком случае профессор говорит, что этруски погибли, потому что не шли путем, по которому теперь идет *Франция*, а *Франция* и свобода — это такие два слова, которые необходимо должны заслужить рукоплескания, хотя бы даже в этрусской истории.

Впрочем, беспрестанные намеки на Францию и ее настоящее состояние не заслуживали бы никакого упрека, потому что каждый профессор должен иметь всегда в виду отечество и народность, и приложение уроков прошедшего к настоящему состоянию государства было бы всегда прилично, если б в подобном приложении видна была одна пламенная любовь к отчизне, постоянная задушевная мысль, к которой все прочие должны относиться; к сожалению, легко усмотреть, что священное слово родины в устах большей части профессоров служит только средством к возбуждению участия и рукоплесканий, к раздражению, а не к назиданию толпы; и вот почему для чужеземца, приходящего с другими понятиями, подобное повторение кажется утомительным и недостойным.

Начертав общий характер преподавания в Парижском университете, я обязан теперь говорить о людях с талантами блестящими, о любимых профессорах, ораторах парижской публики, и показать, как эти люди, в высшей степени достойные участия, борются, побеждают или побеждаются должным направлением целого общества. Начну с С. Марка Жирардэна, который при мне читал о способе представления страстей во французской драме. Профессор-критик разделил все драматические произведения по страстям, в них изображенным, и сравнительно рассматривал пьесы, к одной категории принадлежащие. Признаюсь, что не

часто случается испытывать наслаждения, подобные тому, какое я чувствовал на лекции С. Марка Жирардэна. Не говоря уже о необыкновенной прелести изложения, какою более или менее обладают все его товарищи, Жирардэн отличается глубоким изучением сердца человеческого. Показав слушателям человека в борьбе с известной страстью, критик внимательно следит за этой борьбой и мастерски начертывает естественный вид ее, потом применяет ход страсти в творении разбираемому, и одного такого применения достаточно для уяснения достоинств или недостатков художественного произведения. Разумеется, что с таким утонченным вкусом и глубокой опытностью Жирардэн неумолим к произведениям юной французской школы, и его лекции служат превосходной школой для молодых талантов, а для остальных слушателей благотворным противоядием против испорченности сцены, которая по народной страсти к спектаклям имеет сильное влияние на нравы; человек, вчера с увлечением рукоплескавший неестественным положениям в драме Гюго, ныне на лекции у Жирардэна принужден смеяться над собственным восторгом и вперед будет осторожнее и не поддается первоминутному очарованию.

Парижане понимают драгоценность такого профессора и умеют ценить ее: еще за несколько часов до начала чтения огромная зала Сорбонны кипит народом, и никогда более шумные рукоплескания не раздаются в честь таланта более полезного. С своей стороны Жирардэн понимает собственное достоинство и никогда не позволяет себе забавлять толпы: его лекция всегда носит на себе печать труда глубокого, отчетливого и вместе вдохновенного. Прослушав несколько чтений Жирардэна, я стал ласкать себя надеждой, что нашел наконец идеал профессора, человека, соединяющего в своем преподавании глубокую ученость с даром слова увлекательным, с жаром истинно ораторским, и, что всего важнее, человека благоволения. Легко можно представить себе мою печаль, когда, пришедши в Сорбонну, я увидел объявление о болезни профессора, особенно когда эта болезнь оказалась продолжительной; но каково было мое удивление, когда я узнал, что наш сорбоннский больной оказывается совершенно здоровым в Палате депутатов и ратует в защиту настоящего министерства. Итак, этот образцовый профессор и человек благоволения не устоял против искушения и забывает кафедру, где влияние его благодетельно, для трибуны, где его действие едва заметно! Общество торжествует победу над университетом, но и про этого победителя можно сказать, что он погибнет от побед своих.

С большим нетерпением дожидался я начала чтений Филарета Шаля, известного мне прежде как критика замечательного, знакомящего своих соотечественников с литературой соседей. Шаль начал свой курс прекрасно, живо рассказанной историей изобретения книгопечатания; но потом, как скоро начал более и более удаляться от предмета общего интереса и входить в область истории немецкой литературы, число слушателей, которых не мог занимать ряд писателей незнакомых или известных только по имени и которые отчаялись получить об них полное понятие по отрывкам, приводимым профессором в переводе,

стало заметно уменьшаться. Тогда несчастный Шаль, приведенный в отчаяние пустотой аудитории, прибегнул ко всем мерам, описанным мной вначале: блестящие фразы, длинные отступления с целью возбудить уснувшее внимание, наконец, приделанные патетические части с приложением ко Франции — все было употреблено, и все тщетно. Число слушателей не увеличивалось, и остальные, состоявшие большей частью из немцев, довольно неучтиво смеялись над французским произношением немецких имен.

Совершенную противоположность с щеголеватой наружностью и речью Шаля представляет сильная фигура и речь Кинэ, избравшего предметом своего курса историю древней немецкой, итальянской и испанской литературы. Не заботясь ни о рукоплесканиях, ни о количестве слушателей, Кинэ никогда не унижает своего достоинства мерами противузаконными на кафедре: лекция его всегда обилует содержанием, речь его проста, безыскусственна; он одушевляется только там, где сам предмет вдохновлен, применения его верны, удачны и никогда не выискания. И этот-то человек с наружностью суровой, речью простой, даже с недостатками в произношении, затмил всех щеголей красноречия и явился оратором истинно вдохновенным, когда живой вопрос общественный отвлек его от мирных занятий ученых и заставил переменить курс испанской литературы на грозные филиппики против вампира, которого долго почитали спокойным в могиле. Я должен говорить о речах Кинэ против иезуитов, повод к которым подала борьба университета с ультракатолической партией.

Народы Западной Европы, истомленные умственной и политической борьбой, жаждут мира и потому начинают с большим вниманием прислушиваться к словам Того, Кто зовет к Себе всех труждающихся и обремененных, с обещанием успокоить их в Своих любящих объятьях. Религиозное стремление оказывается ощутительным во Франции, страны, более других потрясенной неверием; но в этом стремлении несчастный народ должен вытерпеть еще сильную борьбу с привидением Средних веков, которое стоит между ним и Христом и заграждает путь к вожделенному упокоению. Католическое духовенство (я разумею большинство) хочет воспользоваться давно желанным мгновением и снова наложить на обращенных не благое иго Христа, но тяжкие и неудобоносимые бремена собственного господства. С этой целью оно признало необходимым под предлогом свободы образования, означенной в хартии, похитить у правительства воспитание юношества, вверенное университету, и захватить его в собственные руки, то есть передать мертвящему обществу Лойолы.

Для этого нужно было очернить в глазах отцов семейств университетское преподавание, и вот ультракатолическая партия со всей запальчивостью и неумеренностью, так свойственной французскому характеру, начала в журналах и отдельных сочинениях нападать на профессоров и с неслыханным бесстыдством перетолковывать их чтения. Всякий благоразумный и благонамеренный человек видел недостатки университетского преподавания, знал виновность учения Кузэна со товарищи, но

видел также ясно, куда клонятся нападки ревнителей христианства, знал всю ничтожность влияния лекций какого-нибудь Дамирона или Симона, особенно когда в этом же самом атеистическом и развращенном университете сильный словом Ленорман увлекает многочисленную аудиторию на путь безусловной веры в откровение; выбор был легок между правительством своенародным и обществом тайным, подчиненным велениям чуждой власти. Вот почему сильное участие встретил Кинэ, который выступил в защиту народности против скрытного папского ополчения. Изложив в мастерском рассказе удивительную жизнь основателя общества, профессор занялся рассмотрением его кодекса (Духовных упражнений), причем ясно обнаружил весь материализм учения, всю неприменяемость его к духовному развитию человечества, всю противоположность духу христианства. Но выслушаем об этой противоположности от самого оратора:

«В духе Евангельском учитель дает себя всем вполне, без утайки, без умолчания. Каждый ученик становится в свою очередь источником света, распространяющим около себя жизнь, и никогда движение не прекращается в предании. Лойола, наоборот, с политикой, до основания которой никогда не доберутся, сообщает ученикам своим только малейшую частицу себя самого, только внешность, оболочку своей мысли. Он знал, чувствовал энтузиазм в молодости, но, с тех пор как стал стремиться к организации власти, он не уступает никому этого жизненного начала; он хранит огнь для себя, а другим дает только пепел. Он возносился на крыльях вдохновений не земных, а других не терпит ничего, кроме ига методы. Чтоб с большей уверенностью царствовать одному, без преемников, он начинает тем, что истребляет у них все, что способствовало к его собственному величию; он требует для своего бога не сыновней боязни, но страха рабского (terror servilis)... Христианство творит апостолов, иезуитизм орудия, а не учеников...»

Потом, показав поразительное сходство между фарисеями Ветхого Завета и иезуитами — фарисеями Нового, оратор обращается к своим противникам: «Берегитесь же (здесь я обращаюсь к тем, которые более всех далеки от меня), берегитесь заключиться вживе в эти гробы: вы раскаетесь, когда уже будет поздно. Еще нам остается совершить много великого; оставайтесь же там, где происходит духовная борьба, где есть опасность, жизнь, вознаграждение. Бегите погибели, и не погребайтесь в катакомбах: вы знаете, так же как и я, что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых!»

Из немногих слов, приведенных мною здесь, можно получить только самое слабое понятие о силе красноречия Кинэ и о впечатлении, произведенном им на слушателей. Здесь профессор явился в настоящем своем достоинстве: прослышав опасность, грозящую всему тому, что для него должно быть драгоценно как для гражданина и ученого, он покинул мирный круг своих занятий, покинул на время, чтоб сразить нечестие, и потом снова возвратился к ним, увенчанный торжеством правды, сопровождаемый участием добрых, благословением народным.

Вместе с Кинэ читал против иезуитов также известный Мишле. Этот старик-говорун пользуется, сколько я мог заметить, самой сильной привязанностью парижской публики; когда он являлся на лекции Кинэ, то со всех сторон раздавались восклицания: вот наш *добрый* Мишле — выражение народного участья бесспорно самое трогательное; чем же Мишле заслужил его? Совершенным познанием народного характера или, лучше сказать, совершенным с ним сочувствием. Мишле — отъявленный враг всякой системы и начал свой курс сильной против нее выходкой (а не надобно забывать, что курс носил название философии истории); после упомянутой выходки следовала другая, против английских политикоэкономов, потом говорилось о Наполеоне, о некоторых государственных людях Британии, а заключено чтение похвальным словом Симону де-Сисмонди. Где же введение в философию истории?

«Зачем введение, — отвечает профессор на следующей лекции, — ведь это было бы систематично, а я ненавижу систему, и вы, французы, должны ее ненавидеть, потому что система это что-то английское», и потом начинает рассказывать о своем воспитании, не школьном, не систематичном и т. п. После того, как французам не любить такого профессора, который в истории так мило рассказывает маленькие историйки, который увещевает слушателей не обращать внимания на его слова и не выносить их с собой из аудитории. «Слова, — говорит он, — как нечто материальное, должны погибнуть здесь же, но дух моих чтений должен остаться с вами навсегда». Не правда ли, что это очень обязательно?

Как же обрадовалась публика, узнав, что иезуиты представили Мишле новый эпизод к философии истории. Приведу несколько слов из чтения против иезуитов, в образчик живого, смелого рассказа, которым Мишле привлекает к себе многочисленных слушателей:

«Вчера, занятый историей Людовика XI и Карла Смелого, я вдруг услышал этот широкий полет летучей мыши и должен был выставить голову, чтоб посмотреть, что такое случилось.

Что же я увидел? Ничтожество стремится овладеть миром... и мир позволяет овладеть собою... Пучина тихо клокочет:

— Идите ко мне; чего вы боитесь? Разве вы не видите, что я *ничто*.

— Именно потому-то я тебя и боюсь, что ты *ничто*. Я всего более страшусь твоего ничтожества. Я не опасаюсь того, что *есть*, ибо все то, что *есть*, происходит от Бога.

— Средние века сказали в своей последней книге (о подражании Иисусу Христу): «Пусть глаголет Бог, и да молчат ученые». Нам нельзя сказать того, наши ученые не говорят ни слова.

— Богословия, философия, эти две владычицы мира, говорят ли они что-нибудь еще?

— Философия не научает более; она ограничилась историей, ученостью; она переводит или перепечатывает. Богословия не научает более Она критикует, она бранится Она пробавляется собственными именами, книгами и славой такого или такого автора .. и! Что вам за дело до такого или такого автора? Говорите нам лучше о Боге!..

— Но, быть может, возразят: разве недостаточно повторять вечный догмат?

— Именно, по причине Своей вечности, Своей Божественности Христос в Своих могущественных откровениях всегда облекался в одежду новую, одежду юности. Из века в век Он не переставал возобновлять Свою тунику, и чрез Св. Бернарда, и чрез Св. Франциска, и чрез Жерсона, и чрез Боссюэта!

— Не оправдывайтесь в нашей немощи. Если толпа наполняет церковь, то не старайтесь уверить нас, что она приходит туда слушать ваши старинные споры. Мы исследуем когда-нибудь различные побуждения, ее туда влекущие. Ныне один только вопрос: эти люди приходят в церковь для того ли, чтоб покинуть мир, или для того, чтоб скорее войти в него? В наш век, век соисканий, не один человек поступил подобно спешащему прохожему, который, видя, что толпа загромоздила улицу, пользуется отпертой церковью, пробегает ее, выходит в другую дверь и таким образом обгоняет простаков, которые еще стараются пробиться сквозь толпу...

— Поддерживать бесплодие духовенства, продолжать его устарелое воспитание XVI века — так не поступили бы самые заклятые враги его.

— Что! Поразить смертью, иссушить это великое живое тело! Держать его бесплодным, неподвижным, запретить ему всё, кроме оскорбления.

— Но оскорбление, но критика, самая лучшая критика есть не иное что, как критика, то есть отрицание. Становиться все более и более отрицательным — значит жить все менее и менее.

— Мы, которых они почитают своими врагами, мы хотим, чтоб они действовали тихо. А их вожди, скажу лучше, их властители не позволяют им подать никакого признака жизни... Скажите, пожалуйста, которая из двух матерей Соломонова суда настоящая добрая мать? *Не та ли, которая хочет, чтоб дитя жило?..*»

Прекрасно, замысловато, поэтично, но назидательно ли? Показал ли он слушателям, в чем состоит опасность со стороны иезуитов, раскрыл ли их стремления, уяснил ли вопрос? Из всех лекций Мишле слушатели могли понять только то, что г-н профессор и его товарищи проповедуют жизнь, движение, преуспеяние, а духовенство католическое совершенно противное; но где доказательства тому? О, это было бы уже слишком систематично!

Одним словом, чтения Мишле против иезуитов можно назвать прекрасными вариациями на тему Кинэ, не более. Не таков Кинэ: в его лекциях вы не встретите ни слова о себе как о профессоре, ни слова об университете. Он громит иезуитов не как профессор лично оскорбленный, но как гражданин благонамеренный.

Большое сходство с Кинэ в добросовестности преподавания, в обилии содержания представляет Ампэр, читавший при мне историю французской литературы в XVII веке; не могу умолчать также о Россьё С.-Илере, (Rosseuw Saint Hilaire), излагавшем состояние Италии до основания Рима, профессоре очень замечательном, несмотря на страсть

к повторениям и излишнее старание уяснить предметы, заставляющие краснеть за слушателей.

Из филологов должно упомянуть о Рауль-Рошете и Патэне. О первом можно слышать два совершенно противоположные мнения; одни превозносят его до небес, другие ставят ни во что, и, как обыкновенно бывает в подобных случаях, оба приговора несправедливы. Как ученый Рауль-Рошет не принадлежит к числу самостоятельных двигателей науки, и в этом отношении слава его выше заслуг, но как профессор имеет больше достоинств; свобода, отчетливость, ясность изложения показывают знание положительное и твердое, какого нельзя приобресть без труда постоянного. Одним словом, я нашел в нем профессора очень, очень полезного для своих слушателей, а в пределах этой статьи не имею права судить о нем в других отношениях.

Наслышавшись так много о жалком состоянии филологии во Франции, я с приятным удивлением нашел в Патэне профессора с большим талантом, добросовестно и скромно трудящегося, к несчастью, в очень ограниченном кружке слушателей. Среди страшной суетни настоящего редко кто хочет заглянуть в тихую аудиторию Патэна и переселиться с ним в века классические. При мне он объяснял Теренция: эпоха с ее нравами и обычаями ожила пред слушателями, Теренций заговорил языком понятным.

Мишле сказал, что философия у них не научает более и произнес приговор справедливый. Школа Кузэна, приняв название эклектической, тем самым осудила себя на бесплодие. По крайней мере профессора, отказавшись от деятельности самостоятельной, могли бы быть полезны сообщением верного понятия о развитии философских систем у соседей. Но между людьми, занимающими теперь философские кафедры в Париже, нет никого, кто бы мог вполне усвоить себе учение основателей обеих берлинских школ. Касательно преподавания, наибольшей любовью публики пользуется молодой профессор Жюль Симон. Представьте себе молодого человека с женоподобной наружностью, который, положив руку на сердце, трогательными словами заклинает своих слушателей не верить материалистам, отвергающим духовное начало в человеке! Жюль Симон, как человек, одаренный таким глубоким сердечным убеждением, принял на себя обязанность ратовать в защиту университетской философии, и, может быть, апология приятного юноши имела бы некоторый успех, если бы в стенах же самой Сорбонны не явился страшный противник в особе Ленормана.

Ленорман, преемник Гизо по кафедре новой истории, посвящая все свое время критической обработке исторических материалов, был поражен необыкновенным характером повествования евангельского, увидел всю бездну различия между ним и всеми другими существующими памятниками и дошел до полного убеждения в его Божественности. Умиление и смиренномудрие, испытанные им вначале, сменились пламенной ревностью против нечестивых истолкователей, которые

обходятся с этим Божественным памятником как с памятником человеческим и дерзко глумятся над ним, требуя отчета в каждом слове, разбирая одну букву и совершенно не ведая духа. Эта ревность и религиозный вопрос, начавший так могущественно занимать общество, побудили Ленормана посвятить свой блистательный ораторский талант и вдохновенную импровизацию на защиту дела религии. Он объявил, что будет читать историю нового общества, и на вступительной лекции изложил, как понимает он эту историю.

«Я не хочу, — сказал профессор, — продолжать истории с того места, на котором остановился прошлый год (на конце царствования Людовика XIV), ибо опасаюсь беспрестанных столкновений с не остывшими еще страстями и не истребленными еще предрассудками, и потому я должен возвратиться назад, к началу нового общества, к Аристотелю. Но между Аристотелем и людьми им оживленными — Баконэм, Декартом и др. — прошло много веков; какое же значение этих веков? В это время общество очищалось, чем? Христианством. Итак, я должен начать с христианства».

Прежде всего Ленорман рассмотрел Евангелие, как письменный исторический памятник, уяснил достоверность описанных в нем событий; сильно напал на отрицателей — Сальвадора, Штрауса и др., особенно на Штрауса, которого сочинение запятнал именем комеража; и потом приступил к рассмотрению евангельского учения, преимущественно со стороны нравственной, которой оно действовало на очищение нового общества.

Но, ставши оратором-апологетом или, лучше сказать, христианским проповедником, Ленорман очень часто забывает свою обязанность профессорскую, пренебрегает системой, несообразной, по его мнению, с живой импровизацией; и вообще ученая часть его лекций очень неудовлетворительна и показывает совершенное пренебрежение приготовлением, одним словом, мысль у него принесена в жертву сердцу, чувство господствует неограниченно. Этот недостаток происходит у Ленормана от убеждения в силе собственного убеждения; он уверен, что ему стоит только сказать слово от сердца, и сердца слушателей откликнутся на это слово. Вот почему он часто повторяет: «Я убежден и громко высказываю мое убеждение!» И точно, в присутствии оратора, под обаянием мощи сих вдохновений, никто не осмелится возразить ему, ибо сердце трепещет, послышав родной голос, и отстраняет всякое постороннее вмешательство; но когда слушатель вышел из магического круга, то в часы холодного размышления сердце нуждается в помощи ума и недостаток преподавания, подобного Ленорманову, оказывается ощутительным. Второй недостаток, которого никак нельзя простить Ленорману как историку, состоит в смешении христианства с католицизмом, в признании возможности постоянного существования форм отживших, ибо стараться воскресить убитое Духом Уст Божиих так же безрассудно, как стремиться к уничтожению того, что воззвано Промыслом к жизни вечной; истинный историк-христианин должен распознавать те *рожны*,

играть против которых остерегает божественный голос главы Церкви, начальника Нового Общества.

Несмотря на эти недостатки, влияние Ленормана на своих слушателей могуче и благодетельно. Легко понять, что он помог университету в борьбе с притязаниями ультракатолической партии гораздо более, чем статьи Либри и Симона. Все увидели, что в университете подле яду существует и самое сильное противоядие; что в одних и тех же стенах вместе с похвалами, расточаемыми независимости человеческого разума, проповедуется глубокая покорность его религии откровенной; громогласно признается бессилие этого разума, его заблуждения, когда он, разлучившись с чувством, начнет стремиться одиноким хладным путем к своей бесцельной свободе. И это проповедуется не духовным лицом, но человеком, возросшим и окрепшим в благоговении пред разумом, в недоверии к сердцу, в холодности к религии. И этот человек во имя истории, во имя опыта веков, свидетельствует о суете всякой мысли и деяния без религии, свидетельствует о бесплодии каждого члена Нового Общества, если он не действует во имя начальника этого общества, о бесплодии каждого гроздья, не привитого к истинной лозе — Христу, и кто не примет такого свидетельства, кто отвергнет его истинность? Как могуче было впечатление, произведенное словами ученого, объявившего, что он не *аматёр* христианства, как многие из его товарищей, и пришел не разглагольствовать о превосходстве этой религии пред всеми другими, а пришел объявить, что она истинна, Божественна, что она составляет сущность, жизнь возрожденного ею общества, что оно погибнет без нее.

«Я не отступлю от религии, — сказал Ленорман, — из страха потерять мою независимость; мое убеждение разве не принадлежит мне, а убеждение в истины христианства разве не показывает мою независимость точно так же, как и мое неверие? Я присутствовал однажды при электрических опытах Ампера; опыт не удавался, и профессор нашел причину: он позабыл подставкой изолировать машину от земли. Хорошо математикам, что они на пути к истине обладают такими средствами; но нам где найти подставку, посредством которой мы могли бы в своих исследованиях отделиться от земли? Неверующий похож на птицу, посаженную под колокол воздушного насоса: он лучше хочет испустить дух, мучась в пустом пространстве отрицаний, нежели наполнить это пространство чем-нибудь существенным, живительным — Религией. Что же мешает тому? Гордость! От нее нужно изолироваться, от нее нам необходима подставка!»

Ленорманом я оканчиваю свой обзор[3], потому что он представляет образец парижского профессора. Французы удовлетворены вполне его преподаванием, равно как немцы удовлетворяются сухим чтением своих ученых. Что же касается до меня, то, несмотря на глубокое уважение, питаемое мною к человеку, употребляющему талант свой на столь

[3] Представляя факультеты юридический, математический и медицинский тем из моих соотечественников, которые более меня посвящены в таинства этих наук

высокое дело, никогда полное удовлетворение не было моим уделом после лекций Ленормана; никогда не мог я освободиться от чувства какого-то недостатка, пустоты, даже неприличия; мне было грустно, мне было стыдно за Ленормана, и, странное дело, эта грусть, этот стыд увеличивались в той мере, в какой увеличивалось мое уважение к оратору. Русские поймут подобное состояние духа; оно дало мне знать, что я принадлежу к семье того великого народа, высокой природе которого суждено представить совершенство природы человеческой: я разумею гармоническое сочетание ума и чувства. Вот почему не по нас сухое преподавание немецкое, вот почему не может удовлетворить нас одна восторженная импровизация французов: для нас здесь не существует выбора; оба направления, взятые порознь, нам чужды, противны естеству, ненародны.

И особенно теперь, в эту торжественную эпоху, когда с развитием народного самосознания явилась сильная потребность знания, когда общество стремится сблизиться с университетом, хочет заключить с ним святой союз для дружного, братского прехождения своего великого поприща, теперь-то всего более надобно говорить по-русски. И высокая мудрость правительства, всегда сочувствующая нашим потребностям, призывает таланты в великом деле народного оглашения[4].

Да откликнутся же на этот призыв мужи науки, в сердце которых говорит святое пламя отчизнолюбия, и да заговорят с нашим обществом речью русской, умной и вместе теплой. Но прежде пусть взвесят собственные силы и уразумеют всю великость своего назначения. Да страшатся унизить науку потворством обществу: русское общество накажет презрением человека, осмелившегося предложить ему забаву вместо назидания.

Да страшатся представить обществу мертвую книгу вместо человека живого и любящего; русское горячее сердце требует голоса сердечного, на русской почве мысль без чувства беспотомственна. Но да остерегаются также раздражать сердце без удовлетворения уму; русско-ясный здравый ум поймет недостаток, и сердце откажется внимать человеку, пренебрегшему его привычным сопутником. Более всего да боятся предстать пред обществом неприготовленными, да боятся искушать вдохновение! Но если труд добросовестный и вдохновение сопровождали ученого при его занятиях, то пусть смело идет он представить обществу плоды этих занятий. Великий поэт и патриот Италии в дивной своей поэме превосходно изобразил силу речи народной, представив мертвеца, восстающего из гроба при звуке родного языка. Но если мертвецы откликаются на родную речь, то как не откликнется на нее народ, который Провидение благословило жизнью полной, совершенной!

Прага Чешская, *июня 23-го 1843 года*

[4] Позволением читать публичные лекции даже и нечленам университетов

О РОДОВЫХ КНЯЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ У ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН*

Давно уже писатели русской истории начали останавливаться на удивительных отношениях между нашими древними князьями, искать объяснений странному разделу между ними, при котором боковые линии не исключались из владения главным столом, переходившим не от отца к сыну, но к старшему в целом роде Ярослава I. В настоящее время это явление обратило на себя особенное внимание исследователей, пришедших к тому убеждению, что отношения между нашими древними князьями были чисто родовые и что постепенный переход этих родовых отношений в государственные составляет господствующее явление, около которого вращается весь интерес древней русской истории, до самого пресечения Рюриковой династии. Но при этом необходимо должен был родиться вопрос: составляет ли это явление исключительную принадлежность русской истории, не существовало ли оно и в других, ближайших к нам государствах, у других, родственных нам племен? Для решения этого вопроса обратимся сперва к истории Богемии и потом к истории Польши.

В конце VII или в начале VIII века, по древнему чешскому преданию, имел место знаменитый суд Любуши, на котором решался спор о наследстве между двумя знатными братьями Кленовичами: на сейме было решено, чтоб оба брата пользовались отцовским имуществом сообща, без раздела; старший брат сильно сердился на это решение и настаивал, что наследство должно идти одному первородному; но на его слова отозвался голос, что нейдет чехам искать правды у немцев, что у них есть своя правда, принесенная предками. Из этого предания мы узнаем о славянском обычае, которым руководились на сеймах и который требовал, чтоб все братья пользовались сообща отцовским имуществом, без раздела; но при этом узнаем, что в то же время уже прорывался обычай новый, по которому наследство должно было идти первородному. Легко понять, что борьба этих двух обычаев должна была иметь место и в роде княжеском; и что обычай нераздельного, общего владения, как обычай древний, принесенный отцами, долго не дает места обычаю новому, чужому, хотя и необходимому для государственного блага.

История Богемии, равно как и Польши, начинает проясняться со второй половины IX века, то есть с принятия христианства. После Буривоя, который первый из чешских князей принял крещение, осталось двое сыновей: Спитигнев и Вратислав; оба брата княжили по старинному славянскому обычаю, владели нераздельно; обоих мы видим в 895 году на Имперском сейме в Регенсбурге, где оба они признают над собою верховную власть римско-германского императора. Таким образом, несмотря на то что, по преданию, чехи не хотели принимать немецких обычаев, они не могли не подчиниться германскому влиянию вследствие подчинения своих князей императору Германскому; влияние

* Комета Учено-литературный альманах М , 1851 С 231—255

такого подчинения скоро сказалось ощутительно в самих отношениях между князьями.

Понятно, что для императоров выгодно было поддерживать старый славянский обычай в отношениях между князьями, потому что общее, равноправное владение всех князей-родичей с неизбежными усобицами и безнарядьем обессиливали страну, не давали ей возможности высвободиться из-под чуждого влияния; но зато сами чешские князья, которые стремились к этому освобождению, единственное средство к успеху видели в единовластии; в изгнании и даже в истреблении родичей-совладетелей. Неизвестно, были ли сыновья у Спитигнева, но брат его Вратислав оставил по смерти своей троих сыновей — Вячеслава, Болеслава и Спитигнева, владевших нераздельно и одноправно, по старому обычаю; кроткий Вячеслав был верным подручником императора, давал ему ежегодно по 500 гривен серебра и по 120 волов; но второму брату, Болеславу, не нравилась эта подчиненность: он убил Вячеслава и тотчас начал действовать против Германии; 14 лет продолжалась борьба, наконец император Оттон I осилил чешского князя, и тот нашелся принужденным снова подчиниться ему.

Болеслав I оставил престол сыну своему Болеславу II; но блистательное правление последнего вовсе для нас не так замечательно, как правление сына его, Болеслава III Рыжего, потому что этот имел двоих братьев-совладельцев — Яромира и Олдриха. Первым делом Болеслава было освободиться от братьев: он велел оскопить Яромира, удушить в бане Олдриха, но тот и другой успели спастись бегством. Сам Болеслав, однако, не долго был единовластителем: партия недовольных вельмож вызвала польского князя Владивоя, который явился с войском в Богемии и принудил Болеслава бежать. Владивой умер через год: чехи призвали изгнанных Болеславом Яромира и Олдриха; но Болеслав Рыжий нашел убежище и помощь у знаменитого Болеслава Храброго Польского. Какую роль играет этот Болеслав в русской истории, точно такую же играет он и в чешской: как в русской поддерживает он братоубийцу Святополка, но под видом помощи последнему хочет сам стать твердой ногой в Киеве, так точно и в Богемии поддерживает он Болеслава Рыжего, стараясь между тем сам занять его место.

Яромир не мог и думать о сопротивлении Храброму и удалился к немецкому императору Генриху II; Болеслав Рыжий сел опять на престол и начал думать о мести своим прежним врагам; испуганные кровавыми мерами Болеслава чехи обратились к польскому королю с просьбой освободить их от князя, которого он дал им против их воли. Храбрый снова явился в Богемии, теперь уже как враг Рыжего; схватив последнего, он велел ослепить его и заточить в Польшу, а сам сел на его престол, замышляя сделать красивую Прагу Чешскую стольным городом своих обширных владений.

Таким образом, готово было основаться могущественное славянское государство, могшее соперничать с Германской империей и высвободить западных славян от тяготевшего над ними немецкого влияния; понятно, что император не мог равнодушно смотреть на Болеславово

могущество; он послал сказать польско-чешскому державцу, что если хочет мирно княжить в своей новой волости, то пусть возьмет ее в лен от империи. Болеслав отвечал приготовлениями к войне; трудно было решить, кто останется в ней победителем; но сами поляки постарались лишить своего короля Богемии. Они начали поступать с чехами, как с побежденными, позволили себе с ними всякого рода насилие; те стали сноситься со своими изгнанными князьями; и когда Яромир и Олдрих явились в Богемии с немецкими войсками, то Болеслав увидал против себя целый народ и принужден был отказаться от своей добычи.

«Встало одно солнце на всем небе, стал опять Яромир княжить над всею землею», — говорит старая чешская песня, и говорит неправду; солнце одно было на небе, а Яромир не один княжил в Чешской земле, подле него княжил одноправный совладелец, брат его Олдрих, «воин славный, в которого Бог вложил и мочь и крепость, в буйную голову дал разум светлый», по словам той же песни. В 1012 году Олдрих выгнал Яромира: за что — не знает ни песня, ни летопись.

Императору Конраду II не нравилось единовластие у чехов: не раз вызывал он Олдриха к себе, и когда тот наконец явился к нему, то был заточен в Регенсбург. Яромир начал опять княжить в Богемии сообща с племянником Брячиславом, сыном Олдриховым. Между тем император предложил своему пленнику возвратиться на родину и княжить там сообща со старшим братом; Олдрих присягнул, что уступит брату половину земли, но как скоро возвратился домой, то велел ослепить Яромира.

По смерти Олдриха единовластителем земли стал сын его Брячислав I. За удачные войны свои с поляками Брячислав слывет восстановителем чешской славы, но для нас он особенно замечателен тем, что ему приписывается полное восстановление старого славянского обычая, по которому целый род княжеский должен был сообща владеть Чешской землею, причем старший стол должен был переходить всегда к старшему в целом роде князю. Таким образом, с 1054 года, по смерти Брячислава I, мы видим, что в Богемии начинает владеть целый род княжеский с переходом главного стола к старшему в целом роде; то же самое явление мы видим у нас на Руси начиная с того же самого времени, то есть с 1054 года, со смерти Ярослава I.

По смерти Брячислава I великим князем, то есть старшим в роде (Dux principalis), становится старший сын его Спитигнев II; остальные Брячиславичи были: Вратислав, Конрад, Яромир и Оттон. Как у нас на Руси Ярославичи, так и в Богемии Брячиславичи не долго жили в согласии: второй Брячиславич — Вратислав должен был сначала искать убежища в Венгрии от преследования старшего брата; однако после, помирившись с последним, возвратился на родину и в 1061 году наследовал в старшинстве Спитигневу.

По смерти Вратислава II, по известному обычаю, мимо сыновей его, наследовал старшинство брат его Конрад I, но княжил только восемь месяцев: это был последний из Брячиславичей, и по смерти его, в 1092 году, выступает второе поколение, внуки Брячислава I. Так как из сыновей старшего Брячиславича — Спитигнева II никого

не было в живых, то старшинство получил Брячислав II, сын Вратислава I. Теперь во втором поколении при многочисленности двоюродных братьев рождался вопрос: как будет переходить старшинство? По старшинству ли княжеских линий, то есть сначала ко всем Вратиславичам, потом Конрадовичам и т. д., или двоюродные братья будут считаться старшинством физическим, по летам? Брячислав II, враждуя с двоюродными братьями Конрадовичами, хотел утвердить первый из означенных порядков преемства: в 1099 году он упросил императора Генриха IV утвердить старшинство за родным братом его Буривоем, а не за двоюродным Олдрихом, сыном Конрадовым, который после Брячислава был старше всех князей по летам.

Таким образом, Буривой II получил старшинство. Олдрих Конрадович сначала не думал уступать ему своих прав; но, будучи оставлен перед битвою своими союзниками — немцами, должен был бежать из Богемии в Моравию, где Буривой оставил его княжить в покое. Олдрих не возобновлял своих покушений; но против Буривоя восстал другой князь — родич, который, по русскому обычаю, не имел никакого права на старшинство, именно Святополк Оломуцкий (Ольмюцкий), сын Оттона — младшего сына Брячислава I.

Несмотря на то что Оттон умер не будучи старшим в роде, Святополк вздумал изгнать Буривоя; в летописях Святополк слывет честолюбивым, храбрым, жестоким и коварным. Видя невозможность свергнуть Буривоя силой, он употребил хитрость, подослал к нему одного из своих верных слуг, который вкрался в доверенность Буривоя и перессорил его со всеми сильнейшими вельможами и даже с родным братом Владиславом. Надеясь на помощь недовольных, Святополк явился с войсками в Богемии; зная свою бесправность, он вел себя так же хитро в Богемии, как бесправный Всеволод Ольгович вел себя на Руси; как Всеволод, чтоб иметь опору против Мономаховичей, прельстил лучшего из них, Изяслава Мстиславича, надеждой старшинства после себя, так точно Святополк привлек на свою сторону Буривоева брата Владислава обещанием передать ему старшинство по своей смерти.

Буривой, оставленный всеми, не мог держаться против Святополка и бежал к императору Генриху V; тот послал звать похитителя к себе на суд. Святополк не смел ослушаться; но как скоро явился к императорскому двору, то был схвачен и заточен; Буривой снова явился в Богемии, но был опять изгнан младшим братом Святополковым Оттоном, который правил страной в отсутствие старшего. Последний между тем купил у императора свободу за 10 000 гривен серебра и возвратился в отечество, но через два года пал от руки неизвестного убийцы. Войско, которое очень любило храброго Святополка, провозгласило великим князем брата его Оттона II, или Черного; но третий Вратиславич, Владислав, выставил свое право на старшинство, обещанное ему покойным Святополком; сторону Владислава держало мирное народонаселение и собственно чехи, сторону Оттона — войско и моравы; на шумном сейме в 1109 году сторона Владислава восторжествовала, и он был провозглашен великим князем.

В октябре 1109 года Владислав сел на столе деда и отца своего в Праге; в декабре принужден был отправиться в Регенсбург по вызову императора; а на третий день по его отъезде давно изгнанный старший брат его Буривой явился с войском пред пражскими стенами и овладел городом с помощью своих приятелей; на четвертый день Буривой в свою очередь был осажден Оттоном Черным Моравским, а чрез день явился перед Прагою и Владислав, возвратившийся с дороги при вести о вторжении Буривоя. «Отцы лили кровь детей, дети — кровь отцов, братья родные и двоюродные бились друг с другом», — говорит летописец чешский; а между тем приближался к Праге император Генрих V, чтоб рассудить усобников и судом этим утвердить власть свою над страной.

Генрих присудил старшинство Владиславу, а старого Буривоя заточил; зато, когда Генрих отправился в Рим, племянник чешского князя с тремястами всадников провожал его туда, как верховного владыку земли своей. Но чехи недолго после того жили в покое: сперва встала вражда между Владиславом и Оттоном — кончилось заточением последнего; потом завраждовал Владислав с родным братом своим Собеславом, младшим из Владиславичей, — Собеслав бежал в Польшу; наконец, в 1115 году, благодаря стараниям польского короля Болеслава Кривоустого, все чешские князья съехались вместе и мирно урядились. Как на Руси княжеские волости не были наследственными, не переходили от отца к сыновьям, но раздавались великим князем по ряду с братьями, на основании родового старшинства, так точно было и у чехов: старинный искатель старшинства Олдрих Конрадович и брат его Литольт умерли, оставя малолетних сыновей; великий князь Владислав мимо последних отдал их владения брату своему Собеславу.

За примирением Владислава с младшим братом своим Собеславом последовало скоро и примирение с старшим, изгнанным Буривоем; как на Руси Изяслав Мстиславич, увидав наконец невозможность или, по крайней мере, неудобство ратовать против прав старших членов рода, призвал дядю Вячеслава в Киев и княжил его именем; так точно и Владислав призвал наконец Буривоя, уступил ему старшинство, а старик в благодарность уступил ему в пользование большую часть земель и ничего не делал без его ведома и совета. Но далее сравнение между этими двумя событиями на Руси и в Богемии провести нельзя: на Руси дядя с племянником жили в любви до конца; но в Богемии братья не ужились. Буривой принужден был опять оставить родную страну и умер изгнанником в Венгрии: причины этого последнего изгнания неизвестны. Неизвестны также причины новой вражды между Владиславом и Собеславом, вследствие которой Собеслав опять был выгнан.

Владислав умер в 1125 году; Собеслав, последний из Вратиславичей, принял старшинство, обязанный этим народной любви, которую заслужил своими прекрасными качествами. Несмотря на то, Оттон Конрадович не думал уступать ему старшинства; не надеясь найти помощь в чешском народе, Оттон обратился к немецкому императору Лотарю с просьбой поддержать его права; Лотарь обрадовался случаю и, повестив, что без его позволения ни один великий князь не может быть

утвержден в Богемии, потребовал Собеслава к суду; тот отвечал приготовлениями к войне. В феврале 1126 года Собеслав одержал над Лотарем блистательную победу при Кульме (Хлумец) и заставил его дать себе подтверждение старшинства; соперников не было более: виновник войны Оттон Черный пал при Кульме, сын его Оттон III бежал в Русь и оставался там во все княжение Собеслава.

Смертью Собеслава, последовавшею в 1140 году, прекратилось второе поколение Брячиславичей, и выступает третье поколение — правнуки Брячислава I. Между тем усобицы в роде княжеском произвели уже вредные следствия, а именно — ослабление власти великого князя и усиление могущества вельмож. Тяжко было для последних твердое правление Собеслава, и по смерти его они решились выбрать князя, которого бы слабый характер мог ручаться за безнаказанное своеволие с их стороны.

Вследствие этого мимо старших внуков Вратиславовых, сыновей Буривоя, сейм провозгласил великим князем Владислава II, сына Владислава I. Но вельможи скоро увидали, что жестоко ошиблись в своем выборе: Владислав сначала казался человеком легкомысленным, имевшим в виду одни удовольствия; но совсем другим человеком явился он, когда вступил на престол; он не нарушил ничьих прав, но не уступил никому и своих, не подчинился ничьему влиянию. Обманутые в своих ожиданиях, вельможи объявили, что Владислав не способен княжить, и скоро против него составился страшный союз из всех остальных членов Брячиславова рода: соединенные князья выбрали себе в старшие Конрада II, внука Конрада I, чрез второго сына его, Лютольда, мимо старшей линии Конрадовичей, мимо сыновей Олдриха. Несмотря, однако, на соединенные силы князей и вельмож, несмотря на то что в кровопролитном сражении при горе Высокой Владислав был покинут большей частью своих войск, ему удалось удержаться в Праге и потом с немецкой помощью заставить врагов своих очистить Богемию.

Рассказ о событиях, последовавших за смертью Владислава II, чешские историки начинают таким же плачевным тоном, каким русский летописец начинает описывать княжение Даниила Галицкого: «Начнем же сказати бессчисленные рати, и великие труды, и частые войны, и многие крамолы, и частые восстания, и многие мятежи».

До сих пор мы видели, что хотя порядок преемства не раз нарушался между линиями Брячиславова потомства, однако не было еще примера, чтоб сын наследовал прямо отцу, чтоб племянник перебивал старшинство у дяди. Первый пример такого преемства мы видим по смерти Владислава II Запутанность в родовых счетах, произведенная своеволием вельмож, неправильный выбор самого Владислава II, вражда, которую этот князь возбудил против себя во всех родичах и которая ничего не обещала хорошего для сыновей его в будущем, — все это заставляло Владислава подумать о том, как бы утвердить власть в собственном семействе и, таким образом, обезопасить его от вражды родичей

Но кроме этих побуждений Владислав имел предлог, право к изменению существовавшего до сих пор порядка вещей: он не был более

только великим, старшим князем между другими князьями и родичами; за услуги, оказанные им императору Фридриху I, он получил от последнего королевский титул с правом передать его своим наследникам: титул этот высвобождал Владислава из родовых отношений к прочим Брячиславичам; он не был уже более только старший между ними, он был король (Rex) над ними, сыновья его были королевичами, следовательно, единственными законными наследниками короля[1], законными владетелями нового королевства. На этом основании Владислав II решился передать свою власть и титул своему сыну Фридриху мимо всех родичей; но он хорошо знал, что последние не откажутся легко от старинных притязаний и найдут в вельможах ревностных приверженцев старины; для этого, чтоб упрочить престол за сыном, Владислав прибегнул к следующему средству: он сложил с себя королевскую власть и передал ее заживо сыну своему Фридриху в 1173 году.

Владислав принял меры против родичей и вельмож; но он не принял мер против немецкого императора, которому никак не могло нравиться утверждение государственных отношений в роде чешских владельцев и новый порядок престолонаследия, необходимым следствием которого было бы прекращение усобиц и опасное для империи усиление королей чешских. Как скоро император Фридрих I узнал о богемских новостях, то немедленно отправил в Богемию приказ, чтобы оба короля, и старый и новый, явились к нему. После напрасных отговорок они отправились к императору в Ермендорф, куда прибыли и все знатнейшие бароны богемские.

Император предложил вопрос: кому после Владиславова отречения следует верховная власть в Богемии? Бароны отвечали жалобой, что Фридрих вступил на престол только по отцовской воле, а не вследствие свободного избрания государственными чинами; император присоединил сюда свое обвинение, что Владислав распорядился престолом без его согласия; вследствие этого было решено, что королевский титул опять уничтожается в Богемии, а великим князем, или герцогом, будет Собеслав II, сын Собеслава I, которому именно принадлежало старшинство по старому обычаю; Фридрих остался заложником в руках императорских, дабы приверженцы его в Богемии не вздумали противостать Собеславу, который за все это обещал приготовить вспомогательные войска для ломбардских походов императора.

Походы были неудачны: после поражения при Леньяно (1177 году) император начал стараться о примирении с папой Александром III. Обе главы западного христианского мира съехались в Венеции, куда явился и лишенный владения Фридрих Богемский; без сомнения, по ходатайству папы, который был во вражде с Собеславом, император опять отдал Фридриху Богемию в лен; Фридрих с помощью австрийского герцога

[1] Из предшественников Владислава II Вратислав получил также королевский титул от императора, но только в пожизненное пользование, без права передачи наследникам и стране, несмотря на то, однако, это обстоятельство не могло остаться без влияния на возвышении линии Вратиславовой над всеми другими линиями

Леопольда поднялся против Собеслава; последний не думал уступать сопернику, два года держался в Богемии, наконец нашелся принужденным искать убежища на чужбине, где скоро и умер.

Фридрих снова утвердился на престоле, но ненадолго: за уступку Богемского княжества он обещал императору большую сумму денег; чтобы уплатить ее, он наложил тяжкие подати, которые произвели всеобщее неудовольствие; этим неудовольствием воспользовался один из Конрадовичей — Конрад Оттон, овладел Прагой и провозгласил себя великим князем. Изгнанный Фридрих обратился с просьбой о помощи к императору, который и позвал Конрада Оттона вместе с чешскими панами на суд в Регенсбург. Здесь Фридрих был снова провозглашен великим князем; но тут же обнаружилась и политика императора относительно Богемии; уже было раз замечено, что как на Руси, так и в Богемии волости не были наследственны в княжеских линиях, но, при общем владении, переходили из одной линии в другую, смотря по родовым счетам или по распоряжению старшего, вследствие ряда его остальными родичами: такова была судьба и Моравии.

Но теперь императору показалось выгодным отделить Моравию от Богемии, что он и сделал, отдавши ее непосредственно от себя в лен Конраду Оттону без всякой зависимости от князя Чешского: Конрад Оттон получил при этом титул маркграфа Моравского. Следствием такой сделки была кровавая междоусобная война между моравами и чехами, кончившаяся тем, что Конрад Оттон принужден был отказаться от маркграфского титула и снова признать свою зависимость от Богемского великого князя; отсутствие императора, занятого опять в Италии, способствовало Фридриху к восстановлению страны.

В 1189 году умер Фридрих, не оставив после себя сыновей; престол без сопротивления был снова занят Конрадом Оттоном, но без всякого права; он не мог занять старшего стола ни по отчине, ни по дедине, притом же оставался в живых старший в роде, дядя и ему и покойному Фридриху, Вячеслав, сын Собеслава I; вот почему, зная свое бесправье, Конрад Оттон хотел опереться на государственные чины, дал им большее значение, чем какое они имели при его предшественниках; таким образом, вследствие родовых распрей между Брячиславичами власть княжеская все более и более никла в Богемии, все более и более правление этой страны принимало характер избирательный. Но с другой стороны, это же самое обстоятельство необходимо вело к прекращению родовых счетов, родовых отношений, потому что на них не обращалось более внимания.

Конрад Оттон умер в 1191 году, при осаде Неаполя, куда он сопровождал нового императора, Генриха VI. По смерти его, по всем старинным правам вступил на старший стол Вячеслав II Собеславич; но старина была уже давно нарушена, и потому против Вячеслава вооружился племянник его Пршемысл Оттокар Владиславич, брат покойного Фридриха, купив за 6000 марок серебра согласие императора; но когда Пршемысл не выплатил всей означенной суммы и вошел в тайные сношения с врагом Гогенштауфенов Генрихом Львом, герцогом Сак-

сонским, то император за неимением другого соискателя отдал Богемию в лен младшему двоюродному брату Оттокарову — Генриху-Брячиславу, епископу Пражскому. Пршемысл-Оттокар, оставленный панами, принужден был покинуть Богемию; но когда великий князь-епископ скоро после того умер, возвратился на родину и снова был провозглашен великим князем.

Здесь оканчивается в чешской истории период родовых княжеских отношений и родовых усобиц; мы видели, какие чуждые влияния содействовали этому окончанию: с одной стороны, усилившаяся вследствие княжеских усобиц аристократия предоставила себе право нарушать родовые счеты и выбирать князя какой ей был угоден мимо прав старшинства; с другой стороны, могущественное влияние оказал быт германский; родовой быт не мог устоять против действия этих двух сил, двух влияний, и вот король Владислав, воспользовавшись королевским титулом, спешит оставить свое новое королевство сыну мимо старших родичей; первая попытка, как обыкновенно бывает, не удалась, но уже пример был подан, и ему немедленно последовали при более благоприятных обстоятельствах.

Младший брат Пршемысла-Оттокара Владислав, избранный было панами в великие князья, тотчас по смерти епископа Брячислава-Генриха добровольно уступил Богемский престол старшему брату, взявши взамен от него Моравию с титулом маркграфа в виде лена, следовательно, родовые отношения между братьями сменились служебными, феодальными. В то же время, по смерти императора Генриха I, в Германии возникли смуты, освободившие Богемию от тяжкого влияния императоров; искатели императорской короны должны были уступками покупать содействие чешского владетеля, и вследствие этого Пршемысл-Оттокар приобретает снова наследственный королевский титул.

Вторая уступка состояла в том, что император Фридрих II утвердил в Богемии новый закон престолонаследия, по которому по смерти Пршемысла-Оттокара королевское достоинство переходило к сыну его Вячеславу, мимо брата его Владислава, маркграфа Моравского, это было в 1216 году; в 1228 году Оттокар торжественно короновал своего сына. Новый порядок утвердился окончательно.

Обратимся теперь к Польше. Достоверная история и этой страны, точно так как история Богемии, начинается с половины IX века, то есть с принятия христианства. Сходство начальной истории обеих стран простирается далее: как в Богемии, так и в Польше видим зависимость в церковном отношении от Рима, в политическом от римско-германского императора; как в Богемии, так и в Польше видим родовые отношения между князьями, вследствие чего видим сначала, что старшие стремятся насильственным образом освободить себя от младших, которых притязания несовместны были с выгодами государства.

Болеслав I Храбрый, второй из христианских князей Польши, начал свое княжение тем, что выгнал троих родных братьев и ослепил двоих родственников, сын Болеслава Мечислав II начал свое правление точно таким же образом — изгнанием брата Мечислав оставил престол

малолетнему сыну Казимиру, под опекою вдовы своей Риксы, урожденной принцессы Пфальцской; Рикса не могла возвратить княжеской власти того значения, какое имела она при Болеславе Храбром и которое начало ослабевать при Мечиславе; вельможи изгнали Риксу и захватили в свои руки опеку над молодым Казимиром по неимению других членов княжеского рода.

Здесь мы видим начало того значения, с каким польские вельможи являются во всей последующей истории своей страны. Когда Казимир вырос и вельможи стали бояться, чтоб он, взявши власть в руки, не отмстил им за мать и вообще не ослабил бы уже приобретенного ими значения — то они выгнали и его. Польша увидала в челе своем олигархию, сильнейшие роды изгнали слабейшие или подчинили их себе, но не могли ужиться между собой в мире и усобицами своими произвели анархию, которая начала грозить Польше совершенной гибелью. Воспользовавшись беспомощным состоянием Польши, чешский князь Брячислав I напал на нее и брал города и целые области без сопротивления.

Но это усиление чехов на счет Польши спасло последнюю: политика германских императоров не могла допустить усиление одного славянского государства на счет других; ей нужно было разделение и вражда между ними, а потому император Генрих III объявил войну Брячиславу и принял в свое покровительство Казимира. Последний с немецким отрядом вошел в Польшу и с радостию был принят теми из ее жителей, которые были утомлены смутами анархии и жаждали восстановления порядка. Порядок был восстановлен, благодаря особенно помощи, какую оказал Казимиру русский князь Ярослав I. Казимир Восстановитель (restaurator) оставил престол сыну своему, Болеславу II Смелому, который умел осилить всех внешних врагов Польши, но не мог удержаться против внутренних; его обвинили в намерении отомстить тем, которые изгнали его отца и бабку, вследствие чего Болеслав был сам изгнан и умер на чужбине; престол получил младший брат его Владислав Герман.

До сих пор мы не видали еще усобиц между польскими князьями: они начались еще при жизни слабого Владислава Германа, между двумя сыновьями его, Болеславом III Кривоустым и Збигневом; отец смотрел на них как на равноправных, разделил им поровну волости, несмотря на то что Збигнев был незаконнорожденный. По смерти Владислава Германа старшинство получил Болеслав III, хотя Збигнев был старше его летами; это обстоятельство заставило последнего смотреть на брата как на похитителя и враждовать против него; о незаконности Збигнева не могло быть речи, потому что во всех других отношениях он был сравнен с законным сыном; вражда кончилась ослеплением Збигнева, а вероятно, даже и насильственной смертью. То же явление повторилось после смерти Болеслава III, от которого осталось пять сыновей; все они стали владеть по-славянски; старший в роде сидел на главном столе — в Кракове, меньшие братья имели свои волости и находились к старшему только в родовых отношениях.

Легко понять, какие следствия для Польши должно было иметь столь позднее начало родовых отношений между князьями, когда столько уже

времени имело место единовластие и значение вельмож успело так усилиться; если даже единовластные князья не могли с успехом бороться против последнего, то ясно, как должна будет ослабеть власть княжеская при разделении и как выгодно будет для вельмож поддерживать это разделение, какие права приобретут они для себя при возможности выбора из многих князей.

Почти веком позже (1139), чем на Руси и в Богемии, начались в Польше родовые отношения между князьями. Владислав II, старший между Болеславичами, был сам человек кроткий и миролюбивый, но не такова была жена его Агнесса, дочь Леопольда, герцога Австрийского. Немецкой принцессе казались дикими родовые отношения между князьями; ее гордость оскорблялась тем, что муж ее считался только старшим между братьями; она называла его полукнязем и полумужчиной за то, что он терпел подле себя столько равноправных князей.

Владислав поддался увещаниям и насмешкам жены; он начал требовать дани с братниных волостей, забирать их города и обнаруживал намерения совершенно изгнать братьев из Польши. Но шляхта и прелаты встали за последних; Гнезинский архиепископ в самом лагере Владислава отлучил его от церкви вместе с женой; Владислав принужден был бежать в Германию; старшинство принял второй после него брат, Болеслав IV Кудрявый. Изгнанник Владислав умер в Германии; но три сына его — Болеслав, Мечислав и Конрад, вероятно, по настоянию императора возвратились в отечество и получили Силезию. По смерти Болеслава IV Кудрявого старшинство перешло к брату его, третьему Болеславичу — Мечиславу III; но Мечислав скоро возбудил против себя негодование вельмож, которые, изгнав его, провозгласили великим князем последнего, самого младшего из Болеславичей, Казимира Справедливого (четвертый Болеславич, Генрих, умер прежде).

По смерти Казимира Справедливого рождался любопытный вопрос: кому должно достаться старшинство, потому что был жив еще один из Болеславичей, прежде лишенный старшинства, Мечислав Старый. Мечиславу нельзя было надеяться на вторичное получение старшинства: прежнее нерасположение к нему было еще живо в вельможах, которым, сверх того, было гораздо выгоднее иметь князем несовершеннолетнего племянника, чем старого дядю; и вот прелаты и вельможи, собранные в Кракове, решили передать этот стол Лешку, малолетнему сыну Казимира Справедливого, мимо дяди Мечислава, мимо старших двоюродных братьев — Владиславичей и сына Болеслава Кудрявого.

Мечислав не думал, однако, отказываться от своих притязаний; не успевши добыть Кракова оружием, он прибегнул к переговорам, убеждениям и успел, наконец, склонить вдову Казимира и сына ее к уступке ему старшинства; им показалось выгоднее отказаться на время от Кракова и потом получить его по праву родового княжеского преемства, чем владеть им по милости вельмож и в зависимости от последних. Вторично получил Мечислав старшинство и Краков и вторично был изгнан, вторично успел обольстить вдову Казимирову и ее сына обещаниями, в третий раз занял Краков и удержался в нем до самой смерти, последовавшей в 1202 году.

Смертью Мечислава Старого пресеклось первое поколение Болеславичей. Краковские вельможи, опять мимо старших двоюродных братьев, отправили послов к Лешку Казимировичу звать его на старший стол, но с условием, чтоб он отдалил от себя сендомирского палатина Говорека, имевшего на него сильное влияние — вот начало пагубных для Польши условий, предлагаемых вельможами князьям; легко понять, что при таком значении вельмож родовые отношения между князьями, родовые счеты не могли продолжаться и место их должно было заступить избрание.

Лешек, который прежде уступил старшинство дяде для того только, чтобы избавиться зависимости от вельмож (преимущественно самого могущественного из них, палатина Краковского Николая) и теперь не хотел для Кракова согласиться на унизительное условие; он отвечал послам, что пусть вельможи выбирают себе другого князя, который способен будет согласиться на их условия. Тогда вельможи обратились к князю, имевшему более права на старшинство, чем Лешек, именно к Владиславу Ласконогому, сыну Мечиславову, и провозгласили его великим князем; но Владислав скоро вооружил против себя прелатов, которые вместе с вельможами изгнали его из Кракова и перезвали на его место опять Лешка Казимировича, на этот раз, как видно, без условий, вероятно, потому, что палатина Николая не было более в живых.

Обязанный старшинством преимущественно старанию прелатов и, вероятно желая найти в духовенстве опору против влияния вельмож, Лешко, немедленно по занятии Краковского стола, предал себя и свои земли в покровительство св. Петра, обязавшись платить в Рим ежегодную подать. Духовенство поспешило отблагодарить своего доброжелателя; уже давно оно смотрело враждебно на родовые отношения между князьями; уже тотчас по смерти Казимира Справедливого епископ Краковский Фулкон защищал порядок преемства от отца к сыну против родового старшинства и успел утвердить Краков за сыном Казимировым; теперь же, когда Лешко отдал себя и потомство свое в покровительство св. Петра, Церковь Римская торжественно утвердила его наследственным князем Кракова с правом передать этот стол после себя старшему сыну своему. Так, вследствие влияния Церкви, рушились родовые отношения между польскими князьями в 1210 году, а с тем вместе надолго рушилось и единство Польши.

О ПУБЛИЧНЫХ ЛЕКЦИЯХ ПРОФЕССОРА ГРАНОВСКОГО*

О таком явлении, как публичные лекции профессора Грановского, нельзя довольно наговориться: вот почему, даже и после тех отчетов, которые предлагались читателям о содержании каждой беседы, мы ре-

* Московские ведомости 1851 29 марта № 38 С 321—322.

шились сказать еще несколько слов об этом блистательном выполнении трудной ученой задачи, которому многочисленное общество было свидетелем в аудитории Московского университета.

Перед слушателями предстали четыре исторических деятеля из разных эпох, из разных народностей, отделенных друг от друга многими веками: Тамерлан, Александр Македонский, Людовик IX, Бэкон; но вместе с их живыми образами предстали четыре эпохи, четыре ступени, через которые переступило человечество в своем историческом пути; каждая эпоха предстала с своим характером, с своими отметками, причем ясно обнаружился переход одной к другой, связь между ними, обнаружилась и связь между лицами, которых деятельность избрана была предметом бесед; ясно, легко, доступно для слушателей обозначилось единство последних.

Первая картина — степь, кочевые орды дремлют в своем однообразном движении, но вдруг они встрепенулись на зов человека, который родился с кровавым пятном на ладони; которому почудилось, что высшая сила предназначила его быть карою для грешных племен; бессознательно следуют за ним орды; бессознательно ведет он их; и бессознательный ужас овладевает народами при встрече с этим бичом Божиим. Развалины городов, пирамиды из голов человеческих — вот следы, которые оставляет азиатский завоеватель на пути своем. Из прихоти он поступает великодушно с вождем побежденных народов, из прихоти топчет конями толпу детей, вышедших просить помилование родному городу.

Цель его — разрушить, а не создать: громадное владение, им основанное, некрепко; не впрок идут кочевым ордам награбленные ими сокровища; ничего не приобрели они от соприкосновения с народами оседлыми, более их образованными. Умрет завоеватель, державший их в возбужденном состоянии, и они снова начинают вести бедную, кочевую жизнь, снова дремлют в своих войлочных кибитках под старинную песню, в которой говорится о минувшей славе завоевателя, о минувших подвигах разрушения. Такова была деятельность Тамерлана и его предшественников — Аттилы и Чингисхана.

Но после Тамерлана подобных явлений не повторялось и повториться не может. Европейская образованность поставила отовсюду преграды напору азиатских орд, которые заключены в заветном круге и не выйдут из него. Древнее предание говорит, что Александр Македонский, зашедши в восточные страны, увидал там нечистые племена. Из опасения, чтоб они не умножились и не осквернили землю, Александр загнал их в полунощные страны, и по Божию повелению обступили их со всех сторон высокие горы и заградили выход.

В этом предании хранится память о борьбе между Европой и Азией, о торжестве европейской гражданственности над азиатским варварством — но кто же герой, виновник этого торжества? Это Александр Македонский, любимое дитя Греции, которому передала она свое духовное и материальное наследство: герой, отомстивший Азии за кровную обиду, нанесенную ею Европе. Александр с европейскими полками

вступил на почву Азии и покорил ее; каковы же были следствия этого покорения, этого обратного движения с Запада на Восток, каким характером отличались действия европейского завоевателя?

В поведении Александра резко обнаружилось различие между Азией и Европой, между азиатским и европейским завоевателем — сказались следствия европейской жизни, европейской истории. Александр является величайшим завоевателем, но он бьется не для того, чтобы разрушать, а для того, чтобы созидать. Он не отнимает у побежденных того, что они имели прежде, он дает им новые сокровища, которых они не знали; он не порабощает побежденных в пользу победителей, он уравнивает их друг с другом.

Он борется с Востоком не для того, чтоб подчинить его Западу, но для того, чтоб связать их неразрывными узами, — и он достигает своей цели. Восток и Запад соединены; на почве древнего Египта Александр создал в свое имя город, которому суждена была великая всемирно-историческая роль, который служил центром умственной деятельности Востока и Запада, здесь происходил обмен идей между ними, здесь древняя мудрость приготовлялась к принятию высшей мудрости.

Предание говорит, что Александр, не отвергая никакой формы религии, никакого божества, сам между тем поклонялся какому-то неведомому, высшему божеству: древнее человечество, в лице лучшего представителя своего, ждало свыше обновление миру.

И вот пред нами новый мир, пред нами третий великий *исторический деятель*, который действует по новым началам, характеризующим этот новый мир, пред нами государь христианский, Людовик IX. Людовик является также храбрым воителем, также предпринимает отдаленные походы в другие части света. Но эти походы предпринимаются не для материального завоевания, не для материальных выгод: они предпринимаются для того, чтоб дать всем европейским народам — и своему, и чужим — религиозное утешение.

В сношениях с соседями Людовик не ищет чужого: напротив, он строго поверяет свои права и возвращает соседним государствам то, что, по его мнению, отнято было у них его предками неправо. И что же, ослабил ли он таким поведением свое государство? Напротив, он укрепил его силы, потому что явился нравственным могуществом, нравственным завоевателем, пред которым преклонились все современные власти; даже те, которые по характеру своему долженствовали иметь нравственное значение, но потеряли его, прельстясь могуществом материальным.

Внутренняя деятельность Людовика особенно была обращена на судебное устройство: легко понять, что государь, выставивший на первый план нравственную силу, более всего вооружился против прав материальной силы; вместо феодального барона, представителя материальной силы, в судах явился юрист, опиравшийся на писанный разум римского права.

Но юристы в отчаянной борьбе своей с средневековыми учреждениями также не разбирали средств для достижения цели, также ознамено-

вали себя насильственными поступками. Чтоб дать торжество правде, упразднить право материальной грубой силы, необходимо было смягчение, очищение нравов, чего можно было достигнуть путем просвещения, науки.

И вот в *четвертой беседе* показаны были плоды просвещения в образованнейшей стране Европы в XVI веке, в Англии: пред слушателями раскрылись подробности знаменитой драмы, суда над Бэконом Верулам-ским — обличен и осужден был знаменитый государственный муж; обличен и осужден был великий мыслитель, которому новая наука так много обязана, но вследствие чего он был осужден?

Вследствие очищенности нравов, которая, в свою очередь, была следствием просвещения; Бэкон был осужден-то самою наукою, которой был, можно сказать, верховным жрецом в то время; наукою, которая пустила такие глубокие корни в отечестве Бэкона и так много содействовала к очищению нравов. Просвещеие не всегда условливает нравственную чистоту в отдельных лицах, но оно очищает, возвышает нравственность в народе вообще, не позволяет ему терпеть долго нравственной порчи. Бэкон сам сильнее всех поддерживал тот свет, который обличал его нравственное безобразие; и сам он благодаря этому свету ужаснулся своему поведению, сам признался в своей вине, сам требовал себе строго наказания.

Этой великой драмой достойно заключились беседы. Профессор сказал в заключение, что «мы, русские, должны принимать результаты европейской науки во всей чистоте, без всякой примеси чуждых нам интересов, но должны принимать их не как тунеядцы, а с тем, чтоб и с своей стороны вносить в общую сокровищницу вклад русской мысли».

Что мы принимаем науку не как тунеядцы, лучшим доказательством служат лекции профессора Грановского.

ГЕРАРД ФРИДРИХ МЮЛЛЕР
(Федор Иванович Миллер)*

«Понеже ныне в России здание к возвращению художеств и наук учинено быть имеет, того ради невозможно, чтоб здесь следовать в прочих государствах принятому образу, но надлежит смотреть на состояние здешнего государства, как в рассуждении обучающих, так и обучающихся, и такое здание учинить, чрез которое б не токмо слава сего государства для размножения наук нынешним временем распространилась, но и чрез обучение и расположение оных, польза в народе впредь была. При заведении простой академии наук обои намерения

* Современник. 1854. Т. 47. № 10 С 115—150.

не исполнятся, ибо хотя чрез оную художества и науки в своем состоянии производятся и распространяются, однакож де оные не скоро в народе расплодятся, а при заведении университета, меньше того, ибо когда рассудишь, что еще прямых школ, гимназиев и семинариев нет, в которых бы младые люди началам обучиться и потом выше градусы наук восприять и угодными себя учинить могли, то невозможно, дабы при таком состоянии университет некоторую пользу учинить мог. Итако потребнее всего, чтоб здесь таковое собрание заведено было, ежели бы из самолутчих ученых людей состояло, которые довольны суть: 1) науки производить и совершить, однакож де тако, чтоб они тем наукам; 2) младых людей публично обучали и чтоб они; 3) некоторых людей при себе обучали, которые бы младых людей первым фундаментам всех наук паки обучить могли. И таким бы образом одно здание с малыми убытками то же бы с великой пользой чинило, что в других государствах три разные собрания чинят»[1].

Эти слова указа Петра Великого об учреждении Академии всего лучше показывют потребности России относительно просвещения в первой половине XVIII века; эти же слова всего лучше объясняют нам деятельность ученого, который один из первых был призван в члены предначертанного Петром учреждения и которому трудолюбие необыкновенное дало возможность лучше других своих собратий удовлетворить потребностям страны, его усыновившей. Я говорю о Мюллере, которого деятельность принадлежит к самым характеристическим чертам истории русского просвещения в XVIII веке.

Вестфальский уроженец, воспитанник Ринтельнского и Лейпцигского университетов, двадцатилетний Мюллер приехал в Петербург в 1725 году с рекомендацией лейпцигского профессора Минкена и был определен адъюнктом исторического и географического класса в новоучрежденную Академию. Но по смыслу приведенного выше устава Академии, члены ее должны были иметь тройственный характер — и вот Мюллер первые два года обучает гимназистов латинскому языку; в звании вице-секретаря Академии издает «Академические комментарии»[2], извлечения из них, под именем «краткого описания Комментариев»[3], издает «С.-Петербургские Ведомости»[4] и примечания на них[5].

Понадобился латинский лексикон — Мюллер издает «Вейсманов немецко-латинский лексикон» с русским переводом и с присоединением «Начальных правил русского языка»[6].

Но при всех этих трудах главной обязанностью Мюллера не перестают быть занятия историей и географией; в 1730 году он получил звание профессора истории, и вот Мюллер, еще плохо зная по-русски, собирает материалы для сочинения полной русской истории и географического

[1] Полное собрание законов № 4443 28 января, 1724 г
[2] 1728 и 1729 гг
[3] 1729 г, вместе с Шумахером
[4] С 1728 по 1730 гг
[5] С 1729 г
[6] 1731 г Второе издание 1781 г, третье 1799 г

описания России, переводит эти материалы на немецкий язык и, чтоб доставить иностранцам верные сведения о русской истории и географии, предпринимает с 1732 года издание Сборника статей, относящихся к русской истории (Sammlung russischer Geschichte). На это-то знаменитое издание мы прежде всего и должны обратить внимание.

Как же начинает Мюллер сам знакомиться с русской историей и знакомить с нею иностранных ученых? Он начинает, как следует, с начала, с начальной летописи: первая статья в «Собрании» — это «Известие о древней рукописи, содержащей русскую историю игумена Феодосия Киевского»[7].

Слова: игумена Феодосия Киевского нас поражают: мы не знаем такого летописца. Но мы не должны забывать, что имеем дело с трудом молодого иностранца, только что начавшего заниматься древними рукописями, неопытного в их языке: в заглавии рукописи: «Повесть временных лет черноризца Феодосьева монастыря Печерского» — Мюллер или его переводчик прилагательную форму Феодосьева принял за существительную — и явился у него игумен Феодосий-летописец. Мюллер не понял и Сильвестровой приписки; слова. «А мне игуменящу» приписал своему летописцу Феодосию, которого сделал преемником Сильвестра на игуменстве в монастыре св. Михаила. Не забудем также, что Мюллер, при первом занятии своем летописями, не мог иметь никакого руководителя, ибо Татищев привез в Петербург свою историю только в 1739 году; Мюллер в 1732 году не мог подозревать, что его Abt Theodosius есть тот же Нестор, за которым после он сам утверждал начальную летопись.

В своем «Известии» Мюллер сделал обзор первых страниц летописи до времен Рюрика, причем, разумеется, не мог не коснуться вопроса о происхождении варягов; варяги, по его мнению, суть морские люди, мореплаватели, ибо слово Varech означает то, что выбрасывается морем. За известием следуют «Извлечения» из летописи с 860 до 1175 года включительно. Но источники древнейшей русской истории не ограничиваются одними русскими летописями; известия о столкновениях руссов с греками находятся у византийских писателей, и Мюллер в особых статьях сообщает эти известия. Известия о России находятся также в северных источниках: Мюллер составил извлечение из «Истории норвежских королей» Снорро Стурлезона. Наконец, Мюллеру хотелось познакомить иностранных читателей с одним из знаменитых русских исторических лиц несколько позднейшего времени, и он избрал Александра Невского, которого подвиги могли возбудить больший интерес по отношению их к Швеции, Ливонскому Ордену, папе. Жизнеописание св. Александра составлено Мюллером по двум, тогда неизданным источникам («Степенной книге» и «Сказанию», помещаемому обыкновенно в летописях), кроме того, автор пользовался Лифляндской хроникой Русова, собранием папских посланий, известиями о татарах разных авторов. По добросовестности, обстоятельности ученой обработки

[7] Nachricht von einem alten Mst der Russischen Geschichte des Abtes Theodosii von Kiow

предмета, статья об Александре Невском для того времени и особенно как первый опыт в этом роде очень замечательна.

Но Мюллер не хотел ограничиться только материалами древней русской истории для сообщения их иностранным читателям; он хотел сообщить им подробные и верные известия о важных современных событиях в России: таково известие о короновании императрицы Анны Иоанновны. Содержание остальных статей, помещенных в шести первых выпусках «Сборника», составляют отношения России к Востоку, история и география соседивших на востоке с Россией стран и народов. Причину такого выбора объяснить нетрудно: уже при чтении иностранных путешественников в России XVI и XVII веков легко заметить, что преимущественно их занимает Восток — Азия занимает их особенно, эта новооткрытая Сибирь, откуда Россия доставала главный драгоценный товар свой — меха; чрез которую шел путь к заповедным границам китайским; открытие удобных путей на Восток, в Китай, Индию сильно занимало умы на западе Европы в XVI, XVII и XVIII веках; понятно, что взоры всех обращались на Россию как на естественный путь из Европы в Азию.

Мюллер хорошо знал это и потому предлагал своим западным читателям преимущественно статьи о Востоке, о сношениях России с Востоком. Он поместил в своем «Сборнике» церемониал приема китайского посольства при русском дворе (в Москве и Петербурге) в 1731 и 1732 годах; новейшую историю восточных калмыков Унковского; извлечение из путевого журнала в калмыцкую страну того же Унковского; мирный договор России с Персией 21 января 1732 года с примечаниями на вторую статью этого договора, в которых Мюллер предложил описание стран, упоминаемых в договоре; известие о редком сочинении Витзена — «Северная и Восточная Татария», к которому Мюллер составил ключ; о городе Албазине и бывших за него войнах между русскими и китайцами — статью, составленную по Витзену; извлечение из китайского описания путешествия от Пекина чрез Сибирь в страну астраханских калмыков[8]; калмыцкую историю по Витзену; мирные переговоры между русскими и китайцами в 1689 году.

При чтении Витзена и Унковского Мюллеру пришла мысль написать подробную историю калмыков, тем более что он имел случай получить много известий от членов калмыцких посольств, с которыми он часто разговаривал посредством переводчика Смирнова. Мюллер уже составил план своего сочинения и предложил его в «Сборнике». Сочинение должно было состоять из четырех книг: первая содержала калмыцкую историю, вторая известие о религии, третья о литературе; четвертая о быте и нравах народа[9].

«Ни в какой другой стране, — говорит Мюллер, — нельзя с такими удобствами писать историю восточных народов, известных под общим

[8] Это извлечение Souciet поместил в своих «Observations Mathematiques, etc. Мюллер исправил примечания французского ученого.

[9] Conspectus operis, cui titulus erit: «Commentarii de rebus Chalmyccicis. Libri IV.

именем обитателей Великой Татарии, как в Российской империи. Часть этих народов находится в русском подданстве; от них являются в России частые депутации и посольства; русское правительство ведет с ними постоянную переписку и, что всего важнее, для всех их языков имеет искуснейших переводчиков. Эти пособия заставляют меня, кроме постоянного моего занятия русской историей, предпринять еще побочный труд, именно заняться историей восточных народов»[10].

Но все эти предприятия Мюллер должен был оставить, когда представился случай посетить самому те любопытные страны, о которых он до сих пор собирал только чужие известия: в 1733 году назначена была от Академии ученая экспедиция в Сибирь[11], и в число членов экспедиции был избран Мюллер. Десять лет он пробыл с товарищами в Сибири, обозрел страну от Чердыни до Якутска и границ китайских, причем вел подробные путевые записки, собрал о городах и уездах их исторические, географические и статистические сведения; пересмотрел и привел в порядок архивы почти во всех важнейших городах, особенно в Чердыни, старом главном городе Перми, везде списывал замечательнейшие акты. Из этих списков составилось 50 фолиантов. Мюллер воспользовался собранными материалами и составил из них: «Описание Сибирского Царства и всех происшедших в нем дел, от начала, а особливо от покорения его Российской державе по сии времена»[12].

«Сочинителю,— говорится в предисловии,— по указу Правительствующего Сената, исходатайствованному от президента Академии, позволено было сибирские архивы по воле рассматривать, и надлежащие к его намерению известия чрез данных от Академии студентов и копиистов выписывать. К тому ж некоторые приватные персоны, особливо господа бароны Строгоновы, яко любители наук, как письменные так и изустные известия для Академии ему благосклонно сообщали; и к немалому его вспоможению попались ему в руки письменные сибирские летописи, которые он употреблял с пользой. Сего ради благосклонный читатель нимало сумневаться не может о достоверности сего описания, тем наипаче, что сочинителю, который, кроме того, не имел причины инако писать, как только что нашлось в вышепоказанных достоверных известиях, во-первых, должно было всячески о истине стараться... Сия история сочинена на немецком языке, с которого переведена ныне по возможности на русской от академического переводчика, и перевод пересматривал сам сочинитель и сносил с подлинником».

Чтобы при чтении писателей XVIII века не смеяться над одними из них и с уважением отзываться о других, должно постоянно иметь в памяти состояние наук везде в то время. В 1724 году в Париже, в 1729 в Дрездене толковали о происхождении названия Тобольска от Тубала, Сибири от тибаренцев и иверцев. После этого мы с уважением должны выписать следующие слова Мюллера:

[10] Sammlung Russ. Gesch. I. P. 273, 274.
[11] Экспедиция эта известна собственно под именем Камчатской.
[12] С.-Петербург 1750 года. См. также «Ежемесячные сочинения», 1764 г.

«Писатели, которые одно токмо сходство имен к историческим доказательствам за довольное почитают, сибирским народам приписывают знатное поколение и происхождение от самой первой древности: но по справедливости им в том последовать нельзя. Когда происхождения известнейших европейских народов по восприятым столь многим трудам ниже домашними их свидетельствами, ниже по писаниям писателей соседних народов точно определить нельзя, то что о сей так отдаленной земли думать надлежит, у которой во всех исторических способах такой великий недостаток имеется, что исправления оного вовсе надеяться не можно».

Что же касается вообще достоинства мюллеровой истории Сибири, то довольно сказать, что до издания археографической комиссией Мюллером же собранных актов эта книга была необходима для каждого, хотевшего познакомиться с любопытной историей распространения русского владычества в Сибири; Карамзин говорит, что она «любопытна местными описаниями и внесенными в нее грамотами»[13].

Он мог бы прибавить, что книга эта не только любопытна, но и необходима, доказательством чему служат многочисленные ссылки на нее, встречающиеся в «Истории Государства Российского».

Если и до поездки Мюллера за Урал сопредельные с Россией страны на востоке, Сибирь составляли главное содержание статей в его «Сборнике», то понятно, что, когда по возвращении из путешествия Мюллер опять стал издавать «Сборник», прежде всего являются здесь известия о Сибири. Мы видели, что еще при самом начале издания Мюллер сделал извлечение из витзенова сочинения («Северная и Восточная Татария») о городе Албазине и о борьбе, происходившей за него между русскими и китайцами. После, будучи на месте и перебирая архивы сибирских городов, Мюллер увидал, как официальные известия, в них находящиеся, превосходят полнотой и правильностью известия витзеновы, нередко противоречащие друг другу и почерпнутые из устных рассказов. Это заставило его поспешить изданием истории стран, лежащих по реке Амуру, с тех времен, как они подпали русскому владычеству[14].

Но еще в 1740 году по приказанию императрицы Анны Иоанновны Мюллер написал статью о реке Амур, преимущественно о северной ее части и о границах между Россией и Китаем[15]: здесь Мюллер старается доказать, что китайцы неправильно толкуют определения границ, постановленные в Нерчинском трактате 1689 года. «Если китайцы думают, — говорит, между прочим, Мюллер, — что по смыслу договора, все впадающие в Амур реки и ручьи, с их источниками, должны оставаться за Китаем, то стоит только сослаться на свидетельство иезуитов, присут-

[13] «История Государства Российского». Т. IX. Прим 644.

[14] Geschichte der Gegenden an dem Flusse Amur, von der Zeit, da selbige unter Russischer Oberherrschaft gestanden.

[15] Von dem Amurflusse, besonders von der nordlichen Seite desselben, und dem zwischen dem russischen und chinesischen Reiche bestimmten Granzgebirge, wie auch von der Gegend des Udflusses und denen ubrigen zwischen dem Ud und Amur in das Weltmeer fallenden Flussen — Busching's Magazin. II. 485

ствовавших при заключении договора, чтоб показать несправедливость их притязаний. Ибо хотя этот орден много повредил русским интересам в Китае, однако составленный иезуитами протокол Нерчинских переговоров, мимо желания составителей, содержит в себе известия в пользу России». «Положение Амура, — заключает Мюллер, — возбуждает в каждом желание, чтоб Россия опять получила во владение сии берега, или по крайней мере, приобрела бы право свободного плавания по нему к Камчатскому и Японскому морю. Можно в окрестностях Нерчинска строить морские и транспортные суда, снабжать их там всякого рода припасами, и плавать на них вниз и вверх по Амуру беспрепятственно. Это избавит от затруднительных перевозок из Якутска в Охотск, ибо устье Амура лежит против Камчатки; намерения относительно Японии и американских открытий легче приведутся в исполнение; может начаться торговля с Индией, даже торговля с самим Китаем может производиться удобнее, или по морю, или посредством реки Шингала».

Вслед за историей стран приамурских Мюллер поместил в «Сборнике»: «Известия о мореплаваниях и открытиях, совершенных из России на Ледовитом море и Восточном океане»[16], где показал, что честь открытия пролива между Азией и Америкой принадлежит русским промышленникам XVII века. Богатая Сибирь преимущественно возбуждала любопытство своими дорогими произведениями, своей торговлей: Мюллер не мог не коснуться этого предмета и по требованию президента Коммерц-коллегии князя Б. Г. Юсупова представил подробные известия о сибирской торговле[17].

Сочинение это расположено в следующем порядке: во-первых, говорится о знатнейших русских торговых местах, которые ведут торговлю с Сибирью, причем показаны дороги от каждого из этих мест в Сибирь; во-вторых, описываются все сибирские города и другие замечательные в торговом отношении места, при описании каждого города и места говорится об удобствах естественного положения, о количестве жителей и товаров, о публичных зданиях для торговли, о таможнях, о таможенных постановлениях, о ярмарках или по какому случаю где бывают торги, о дорогах водою и сухим путем, их удобствах и неудобствах; в-третьих, о товарах, которые из Европейской России ввозятся в Сибирь; в-четвертых, о сибирских товарах; в-пятых, о китайских и, в-шестых, о калмыцких и бухарских, причем говорится также, как на китайских границах и в земле калмыков установляется цена товаров без помощи денег.

Между товарами, приходившими в Сибирь, находился и золотой песок, обративший внимание русского правительства в начале XVIII века и подавший повод к известной экспедиции Бековича и к построению крепостей по Иртышу. Мюллер нашел в тобольском архиве акты,

[16] Nachrichten von Seereisen, und zur See gemachten Entdeckungen, die von Russland aus langst den Rusten des Eissmeeres und auf dem Ostlichen Weltmeere gegen Japan und Amerika geschehen sind. Zur Erlauterung einer bei der Akademie der Wissenschaften verfertigten Landkarte

[17] Nachrichten von der Handlung in Sibirien.

относящиеся к этим событиям; нашел в живых людей, которые были их очевидцами, и решился воспользоваться обоими этими источниками для составления любопытной статьи «О золотом бухарском песке, путешествиях для него предпринятых и построении крепостей по Иртышу»[18].

Таковы были для науки следствия мюллеровой поездки в Сибирь. Но он не ограничился одной Сибирью; по дороге в нее он некоторое время должен был прожить в Казани и воспользовался этим временем для собрания сведений о народах, живущих в казанской области; следствием была обширная и обстоятельная статья «О черемисах, чувашах и вотяках»[19].

Мы перечислили здесь только изданные статьи: но много материалов осталось ненапечатанными в портфелях автора; например, заметки о всех предметах, обративших на себя внимание Мюллера на пути от Твери через Казань в Сибирь, и проч.

Кроме статей, относившихся к Востоку, Мюллер по возвращении своем из сибирского путешествия поместил в «Сборнике» статьи: известие о городе Ниеншанце[20], известие о земных и морских картах, изображающих Российскую империю и пограничные с нею страны[21], и две статьи, которые особенно должны остановить наше внимание: «Краткое известие о начале Новгорода и русского народа вообще, с исчислением новгородских князей и главнейших происшествий в городе»[22], вторую: «Опыт новейшей русской истории»[23].

Летописцы, и киевский и новгородский, рассказывая о построении Новгорода, говорят о временах, чрезвычайно отдаленных; невероятно, по мнению Мюллера, чтоб летописцы имели перед собой письменные известия, на которых основывали свой рассказ: несмотря на то, их свидетельств отвергать не следует, потому что подобного рода события могли сохраняться посредством устных преданий.

Мюллер видит имя Новгорода в известном месте Иорнанда о границах славянских народов: «Славяне живут, начиная от города Нова и озера Музиана»; озеро, по Мюллеру, есть Ильмень, которое в древности называлось Мойск. Потом автор говорит о именах Новгорода и его области, встречающихся в скандинавских сагах; находит соотношение между этими сагами и русскими сказками, например о Бове Королевиче; при переходе к известиям летописи останавливается на вопросе о русских варягах. Принужденный отказаться от прежнего мнения своего

[18] Nachricht von dem Gold-Sande in der Bucharei, von denen deshalb unternommenen Reisen, und von Erbauung der am Flusse Irtisch gelegenen Festungen.

[19] Nachricht von dreyen im Gebiete der Stadt Kasan wohnhaften heidnischen Volkern, den Tscheremissen, Tschuwaschen und Wotiacken.

[20] Nachricht von der ehemahligen Stadt Nyenschanz.

[21] Nachricht von Land — und See-Carten, die das russische Reich und die zunachst angranzenden Lander betreffen.

[22] Kurzgefasste Nachricht von dem Ursprunge der Stadt Nowgorod und der Russen uberhaupt, nebst einer Reihe der Nowgorodischen Fursten, und der Stadt vornehmsten Begebenheiten. Это краткое известие заключает без малого 200 страниц.

[23] Versuch einer neueren Geschichte von Russland. 380 стр.

о скандинавском происхождении Руси, Мюллер производит теперь последнюю от роксолан-готов, которые, по свидетельству географа Равенского, жили в Пруссии по морским берегам, около Вислы. Гораздо важнее по влиянию на последующую обработку начальной русской истории мнение Мюллера о характере отношения варягов-руси к славянским племенам. На варягов, по мнению Мюллера, не должно смотреть как на завоевателей, как на целый народ, который перешел из одной страны в другую. Жители Новгорода призвали только варяжских князей принять в управление их страну; князья привели с собой только значительную дружину; имя России не вдруг стало всеобщим в стране: можно приметить из разных мест летописи, что различие между руссами и славянами продолжалось еще известное время. Последующие князья призывали все более и более варягов, с помощью которых вели разные счастливые войны, немало содействовавшие к усилению русского владычества. Против этого не может служить доказательством господство славянского языка в России, потому что, с одной стороны, славяне всегда составляли большинство народонаселения, а с другой стороны, со времени принятия христианства, богослужение введено было на славянском языке: таким образом, славянский язык, при всем смешении народов, сохранился в чистоте.

Сказавши о происхождении Новгорода и руссов вообще, Мюллер приступает к перечислению князей новгородских и событий, при них случившихся; говорю — к перечислению князей и событий, ибо иначе нельзя назвать разбираемого сочинения. Но на некоторых страницах этого перечисления мы должны остановиться; должны остановиться на первой странице, где Мюллер высказал знаменитое мнение о значении призванных князей, мнение, которое так долго господствовало, будучи принято и подтверждено Шлёцером; это мнение состояло в том, что Рюрик с братьями первоначально были призваны для защиты границ, ибо Рюрик поселился сначала в Ладоге, а Трувор в Изборске. «Русская Правда», по мнению Мюллера, дана была Ярославом Новгороду; законы, в ней заключающиеся, сходны с законами всех северных народов. Под Железными Воротами Мюллер разумеет Уральские горы, чрез которые восточные народы врывались в Россию, причем показана правдоподобность известия, что новгородцы в первой половине XI века проникали до Уральских гор. Верно показаны начало и причина особенностей новгородского быта. Мюллер остановился на любопытном известии Новгородской летописи о переменах в монете; он понял это известие так, что вначале ходили кожаные деньги, кожаные лоскутки; потом, вследствие усиленной торговли с ганзейскими городами, явилась в обращении иностранная монета в Новгороде; но Москва и Тверь имели уже прежде свою серебряную монету, введенную татарами, на что указывает татарское слово «деньги».

История присоединения Новгорода к Москве рассказана подробно: здесь останавливает нас отзыв о характере деятельности Иоанна III; отзыв, повторенный в тех или других словах Шлёцером, Щербатовым,

Карамзиным: «Великому князю Василию наследовал сын его Иоанн, мудрый и мужественный государь, который не только свергнул татарское иго, но и начал подчинять своему скипетру малые княжества, и тем положил основание последующей силе и внутреннему величию государства»[24].

Так в XVIII веке утвердилось мнение, что Иоанн III есть творец величия России; мнение, перешедшее, как известно, и в XIX век. Касательно особенностей новгородского и псковского быта Мюллер высказал мнение, что этот быт устроился по образцу быта ганзейских городов — мнение, также долго бывшее в силе. Мюллер говорит подробно (сколько позволяли тогдашние средства науки) о новгородском устройстве, о значении посадника, тысяцкого, княжеского наместника, о разных слоях народонаселения, о разделении города на концы, области на пятины. Казалось бы, что с присоединением Новгорода к Москве можно было кончить статью; но Мюллер не любил скоро оканчивать своих сочинений: он ведет перечень замечательнейших событий в Новгороде до своих времен и дает больше, чем обещал в заглавии — обещавши представить только ряд князей новгородских, он представляет ряд митрополитов с обстоятельными биографическими известиями о каждом из них.

Еще более замечательный труд представляет его «Опыт новейшей русской истории». Вот причины, побудившие Мюллера начать свой труд с правления Бориса Годунова; изложение этих причин для нас любопытно в том отношении, что здесь автор излагает также и свой взгляд на историю.

«Признаюсь, — говорит Мюллер, — что время, которое намерен я описывать, не бросается в глаза величием событий; но где же найдем мы такую страну, такое государство, которого история была бы цепью постоянных удач, где бы счастье не сменялось бедой, величие слабостью, завоевания чужих опустошениями собственной? История государства подобна картине, которая имеет свои тени, и эти тени даже необходимы, чтоб тем с большей яркостью могло быть выставлено все светлое и возвышенное. Мы никогда не могли бы по достоинству оценить заслуги великих монархов, которые соединили под одну власть на многие мелкие владения раздробленную Россию; которые освободили отечество, стенавшее под чуждым игом, если бы прежде не имели перед глазами великой государственной ошибки, сделанной их предками, поделившими государство между своими детьми; ошибки, открывшей татарам путь к завоеванию России. Равным образом, великое благодеяние божественного Промысла, даровавшего России всеми правительственными добродетелями украшенного, достославного царя Михаила Феодоровича, родоначальника ныне царствующей императорской фамилии, возвышается, когда перед глазами читателя во всех подробностях представляются несчастные события, предшествовавшие этому счастливому времени.

[24] С 447

Но есть еще причина, побудившая меня начать издание русской истории со времен Бориса Годунова. Труды покойного тайного советника Татищева известны не только в России, но и за границей. Хотя сочиненная им русская история еще не издана: однако, кто не пожелает видеть ее напечатанной? Его тридцатилетнее прилежание заслуживает, чтоб воздали ему эту справедливость. Татищев заблагорассудил окончить свою историю смертью царя Феодора Иоанновича, как последнего из варяжской династии. Мне показалось приличным начать там, где он кончил, и таким образом довершить здание российской истории».

Мюллер начинает свой труд перечислением источников: здесь на первом месте летописи, известные в бесчисленном множестве списков, с большей или меньшей заботливостью составленных. Преподобный Нестор положил основание летописям; его труд продолжали другие иноки, которых имена частью известны, частью неизвестны; из этих трудов составилась русская история, которая так полна, что ни один народ не может похвалиться подобным сокровищем. Вот тот знаменитый отзыв о русских летописях, который так часто и теперь слышится!

В начале рассказа о событиях нас прежде всего останавливает определение характера Бориса Годунова, потому что это определение надолго осталось в русской истории: «Борис Федорович Годунов, по остроте ума и необыкновенному искусству в делах правления должен быть включен в число величайших людей своего времени. Но его нравственный характер не соответствовал достоинствам умственным, от чего и происходит, что об нем обыкновенно слышится мало хорошего... Борис принадлежит к числу тех людей, которые для достижения верховной власти считают все средства позволенными... Это был другой Сеян, и разнился от последнего только тем, что не было Тиверия, который мог бы покарать его злодеяния».

Произнеся этот общий приговор, Мюллер, однако, не позволил себе быть неразборчивым относительно всех известий о преступлениях Годунова, встречаемых у разных писателей, особенно иностранных: он подвергает эти известия критике и отвергает те из них, которые ее не выдерживают[25].

С такой же осторожностью поступает Мюллер и относительно других известий, передаваемых иностранными писателями, вносившими в свое сочинение все, что слышали, без разбору[26]; заслуга Мюллера как критика видна особенно из того, что последующие писатели уже только сообразуются с его приговорами Вообще, как легко заметить, мюллеров «Опыт новейшей Русской истории» послужил для позднейших писателей образцом при изображении тех же времен: характер Годунова, характер его правления, приговор о происхождении Самозванца, выведенный из критического рассмотрения иностранных известий, определение характера Лжедимитриева — все это перешло из книги Мюллера в сочинения

[25] См с 62 и 63
[26] С 64

XIX века. Должно прибавить также, что рассказ Мюллера отличается легкостью[27], простотой, верностью источникам. В бумагах Мюллера сохранился также отрывок древнейшей русской истории[28].

Из письма его к Теплову узнаем, что он хотел довести свой «Опыт русской истории» до конца царствования Феодора Иоанновича: это, по словам Мюллера, была бы история генеалогическая и содержала в себе только одну линию великих князей, не касаясь удельных.

Сообщением верных или, по крайней мере, проверенных сведений о настоящем и прошедшем состоянии России, сообщением этих сведений иностранцам, которые прежде получали известия о Северо-Восточной Европе и Северной Азии большей частью из очень мутных источников без возможности поверки, одним этим сообщением не ограничился Мюллер; если иностранцы нуждались в верных сведениях о России, о русской истории, то русские нуждались также в этих сведениях, нуждаясь вместе и в плодах науки и искусства, которые могла сообщить им Западная Европа. И вот с 1755 года Мюллер начинает издавать первый русский ученый и литературный журнал: «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие». В предисловии издатель говорит следующее о программе своего журнала:

«Пользу ученых журналов и подобных тому записок выхвалять, кажется, нет нужды. Члены Академии ничего так не желая как, чтоб Российскому государству и народу трудами своими приносить действительную пользу и сколько возможно возбудить во всех удовольствие, какое производит знание наук, всеми силами стараться будут заслужить себе похвалу у читателей. Они же притом и другим любителям наук, которые пожелают труды свои показать свету, представляют место в сих Сочинениях. При таком учреждении, каково сие, мы себе точных пределов не предписываем; но надлежит, смотря по различию читателей, всегда переменять материи, дабы всякой по своей склонности и охоте мог чем-нибудь пользоваться. Итак, предлагаемы будут здесь всякие сочинения, какие только обществу полезны быть могут, а именно: не одни только рассуждения о собственно так называемых науках, но и такие, которые в экономии, в купечестве, в рудокопных делах, в мануфактурах, в механических рукоделиях, в архитектуре, в музыке, в живописном и резном художествах, и в прочих какое ни есть новое изобретение показывают, или к поправлению чего-нибудь повод подать могут. И как мы равномерно желаем, чтоб и стихотворцы сочинения свои нам сообщали, между которыми быть могут и забавные; то мы надеемся, что сочинители оных ни до кого персонально касаться не будут. Коль великое множество имеем мы еще других материй! Когда читателям нашим предвосприимем сообщать экстракты из достовернейших российских летописей, списки с старинных грамот и с архивных дел, описания церемониям и торжествам при дворе Ее Императорского Величества происходящим, высочайшие узаконения и указы до всена-

[27] Просим читателей не забывать, что мы имеем в виду подлинник

[28] Портфели Мюллера № 149 (Портфель 3)

родного благополучия касающиеся, которые потому что вечно в силе своей остаться имеют паче других достойны сохранения; и когда притом еще объявлять будем о иностранных и здешней печати новых и полезных книгах, также и о знатнейших политических каждого месяца приключениях. При толь великом изобилии не мним мы, чтоб когда мог быть недостаток в материях, а еще меньше того опасаемся, чтоб для их различности оные кому наскучили». По инструкции президента Академии относительно «Ежемесячных сочинений» Мюллеру велено «убегать от всех богословских и метафизических материй, стараться вносить в оные (сочинения) только такие вещи, которые бы сверх приятности и действительную пользу в себе заключали».

Из статей, принадлежащих самому Мюллеру, в «Ежемесячных сочинениях» находим на русском языке те же самые, какие мы видели в немецком «Сборнике»; но есть и другие, которые не помещены в последнем; такова любопытная статья: «О первом летописателе Российском преподобном Несторе, о его летописи и о продолжателях оные». Эта статья уже не похожа на ту, которую мы видели в первом томе «Сборника»: Мюллер выучился по-русски, сам стал разбирать рукописи, познакомился с трудами Татищева и, руководствуемый последними, написал свое исследование, которым в свою очередь руководствовался Шлёцер и позднейшие исследователи. Мюллер спешит сам указать на грубые ошибки, которые он сделал в первой статье о летописи, по собственному незнанию русского языка и по невежеству своего переводчика; он отрицается от летописи игумена Феодосия и вслед за Татищевым объявляет в самом начале статьи: «Всем известно, что начало летописаний российских приписать должно Киево-Печерского монастыря монаху преподобному Нестору». Мы видели уже в «Опыте новейшей русской истории» знаменитый отзыв Мюллера о достоинстве материалов русской истории; в разбираемой статье находим такой же отзыв собственно о начальной или Несторовой летописи, который, будучи повторен Шлёцером, передан был в наследство и XIX веку:

«Небеззнатное обстоятельство для показания важности Несторовой летописи есть то, что прочие славянские народы, поляки, богемцы, венеды и иллириане подобной ей не имеют, ниже чтоб которая из их летописей либо древностью, либо обстоятельным и внятным объявлением происшедших дел сей нашей предпочитаема быть могла. Последующие российские писатели повторяли в продолжениях своих описанное Нестором время по большей части собственными его словами. По крайней мере, они в его описании не отважились учинить никакой знатной перемены. Так сильно удостоверены были они о верности объявленных Нестором приключений; да как бы им таковым и не быть, когда и ныне никаких знатных недостатков в его летописи не видно; и когда точное согласие первого нашего российского летописателя с греческими тогдашних времен историками примечаем. Сам Стриковский, славный польский историк, не нашел лучшего основания, кроме нашего Нестора, к сочинению своей польской и российской хроники. Того ради для российской истории весьма полезное бы дело было, и как от

природных российских, так и от иностранных, давно желаемое, ежели бы повелено было к побуждению тех, кои российскую историю основательно знать желают или оную розысканиями своими больше изъяснить намерены Несторову летопись купно с продолжениями оной напечатавши в народ издать.

Подобное сему восприять вознамерился покойный господин тайный советник Татищев, употребляя свободные часы на описание российской истории. Он имел пред собой восемь списков Несторовой летописи с продолжениями, кои сличал он один с другим и изо всех выбирал, что казалось ему быть обстоятельнейшее и справедливейшее. Из сего сделалась новая летопись, которую он с примечаниями своими хотел напечатать. В самом деле, не было бы лучшего способу, как сей, есть ли б читатели иногда не желали сами рассматривать, с довольной ли осторожностью сложены разные речения списков и всегда ли справедливейшие и точнейшие из них выбираны, чего сделать невозможно, ежели тот список, которой за самый лучший и за обстоятельнейший почитается, от слова до слова верно не напечатается, а из прочих разные речения, которые в самой вещи разность делают, присовокуплены не будут. Но сколь нужна сама по себе есть Несторова летопись с продолжениями ее, чтоб в печать издана была, столькож не можно почесть за излишнее, есть ли повелено будет и труды покойного господина тайного советника Татишева таким же образом напечатать».

Из сличения летописного известия о начале Печерского монастыря с житием Нестора, находящимся в Патерике, Мюллер выводил, что «известная под Несторовым именем летопись сочинена не кем иным, кроме его (Нестора), хотя он сам о своем имени не упоминает, и только в немногих списках приписано, что преподобного Нестора сочинения та летопись».

Потом Мюллер определяет год рождения Нестора — 1056-й; далее — как долго жил Нестор и до какого времени довел свою летопись. Здесь Мюллер отступает от Татищева и полагает конец жизни преподобного Нестора вместе с концом летописи в 1115 году на основании известия под 1096 годом о нашествии половцев на Печерский монастырь: «Нам сущим по келиям почивающим». Мнение это принято и Шлёцером. Касательно статей Патерика, приписанных Нестору, Мюллер говорит: «Ныне оные уже не те описания, кои Нестор сочинял. Часто посторонней рукой нечто в оные вношено, и Нестор в третьем лице тут упоминается».

Стараясь уяснить русскую историю для русских и для иностранцев, Мюллер не мог не обратить внимания на одну из любопытнейших особенностей этой истории, именно на козаков. В «Ежемесячных сочинениях» мы встречаем его статью «О начале и происхождении козаков», под именем которых разумеются обыкновенно народы, обитающие в южных странах Российского государства.

«Язык их и закон, — говорит Мюллер, — с россиянами один, токмо отменное и почти во всем воинское учреждение в своем обществе имеют и, как древние римляне, начало свое войне причитать могут. Сии козаки,

как по истории их происхождения, так и по нынешнему их состоянию, разделяются на два главные корпуса, а именно: на малороссийские и на донские. От оных произошли запорожцы и слободские полки Белогородской губернии; а от сих волжские, терские, гребенские, яицкие и сибирские козаки». Малороссийские козаки, по мнению Мюллера, бесспорно старше донских; происхождение малороссийских козаков он относит ко времени завоевания Киева Литвой и Галича поляками: «Многие россияне, опасаясь чужой власти, побуждены были, жилища свои оставя, в нижних по реке Днепру местах искать себе убежища. Сии переселенцы для защищения своего от беспрестанных нападений и набегов соседственных поляков, литовцев и татар завели у себя воинское учреждение, хотя в оном и не воспитаны были. К утверждению сего подает причину, во-первых, их язык, которой хотя произношением несколько с польским сходствует, однако настоящий есть российской. Второе их закон: ибо они твердо содержат веру греко-российского исповедания и в историях о обращении их к той вере нигде не упоминается. Следовательно, заключить должно, что они российской природы. А отделение их едва ли прежде учинилось, как во время литовского и польского правления; ибо пока народ управляем был собственными своими князьями, хотя под татарским игом состоящими, то не было еще довольной причины к такому их отделению».

О происхождении запорожцев Мюллер рассуждает так: «Когда так называемая запорожских козаков Сеча, то есть укрепленное место на острову реки Днепра за порогами, началась, того заподлинно определить нельзя, а кажется вероятно, что завелась она во время владения короля Сигизмунда Первого. С начала и еще до порядочного расположения козацких полков оная Сеча была таким местом, на которое те, кои хотели в военных действиях показать свою храбрость, сходились, выбирали себе предводителя и советовали о производимых ими предприятиях. Потом сия Сеча помалу начала становиться всегдашним неженатых людей жилищем, которые, все иные к пропитанию нужные промыслы оставя, токмо в воинских делах обращались. Кто в городах и деревнях желал бодрость свою и мужество пред другими показать, тот живал в Сечи по крайней мере три года, а многие жили там и по семи и по 10 лет; после чего с честью и богатством в жилища свои возвращались».

Мюллер отвергает производство слова козак от коз, косы, от турецкого слова козак, что значит разбойник; от капшак, от косогов и указывает на значение слова козак у татар, которые разумеют под ним воина легковооруженного. «Пока татары, — говорит Мюллер, — южными Российского государства странами владели, о российских козаках ничего не слышно было. Они начались уже по истреблении татарского владения в тех же местах, которые татарам подвластны были. Ибо как между татарами находились козаки, то и русские, занявши их жилища и приняв их обычаи, козаками были прозваны».

За статьей «О начале и происхождении козаков» следует другая: «Известия о запорожских козаках», в примечании к которой автор говорит: «Основание сих известий получено от российского офицера,

находившегося несколько времени между запорожскими козаками. Как сие от некоторого приятеля мне сообщено было, то я старался к оному присовокупить разные другие находящиеся при мне известия для лучшего изъяснения и дополнения».

Это основание есть любопытное сочинение «История о козаках запорожских, как оные из древних лет зачалися, и откуда свое происхождение имеют, и в каком состоянии ныне находятся», напечатанное в 1847 году в «Чтениях Московского исторического общества» по трем спискам, заимствованным из портфелей Мюллера.

Кроме этих статей первой важности в «Ежемесячных сочинениях» встречаем еще следующие Мюллеровы статьи: 1) «Рассуждение о двух бракосочетаниях, коими род древних великих князей Российских хотел умножиться» (статья эта заключает поверку мнений о браках двух русских князей на немецких принцессах); 2) «О первых путешествиях россиян в Китай»; 3) «О древних могилах в Сибири и Новороссийской губернии»; 4) «О рыбьем клее» (статья, написанная по требованию Французской академии). В других повременных изданиях находим его статьи «О детской оспе»[29], «О китовой ловле в Камчатке»[30], «Замечание о тангутских рукописях, найденных в Сибири»[31].

В 1752 году в Париже вышло известие бывшего санкт-петербургского академика Делиля об открытиях, сделанных Камчатской экспедицией, с картами; Академии поручено было опровергнуть показания Делиля, Академия же возложила это поручение на Мюллера, который и выполнил его в сочинении, вышедшем под заглавием «Lettre Pun officier de la marine russienne a un Seigneur de la cour»[32].

В 1762 году в торжественном собрании Академии наук Мюллер произнес речь о задачах Академии и сочинениях, получивших награду. В 1763 и 1764 годах по поручению императрицы Екатерины II Мюллер написал два сочинения: 1) «О предприятии войны с китайцами, и именно, о законных причинах к оной, о способах приуготовления, о действии, о пользе»; 2) «О посольстве в Китай, и именно, о качествах посланника, о принадлежащих к его свите людях, о его отправлении и путешествии и о его негоциях, или переговорах»[33].

В 1745 и 1746 годах Мюллер приготовил генеральную карту всей Сибири[34]; в 1754-м издал карту открытий на море между Камчаткой и Америкой, он же составил «Почтовую карту Российской империи»[35].

Мюллеру принадлежит составление еще двух карт: 1) Карта стран между Каспийским и Черным морями и 2) Оренбургской губернии. 31 августа 1762 года дирекция над делами географического департамента при Академии поручена была одному Мюллеру, ибо «определенные при

[29] Hannov. nutzliche Samml. 1758 Stuck 95.
[30] Beitr. zum Nutzen und Vergnug. 1759. Stuck 71.
[31] Commentar. Acad. Petrop. X. 420.
[32] Берлин. 1753.
[33] Оба не изданы.
[34] Не издана.
[35] Издана в 1772 году

оном вместо того, чтоб соединенными силами трудиться к общей пользе, один другому токмо всякие препятствия делают и время единственно в спорах препровождают»[36].

Кроме того, Мюллер много занимался составлением генеалогических таблиц.

Важны были и замечания Мюллера на чужие сочинения, потому что заключали в себе исправления ошибок, в которые впадали обыкновенно иностранцы, писавшие о России: таковы замечания Мюллера на «Географическое описание России» Винсгейма 1744 года; замечания на естественную историю Бюффона, на «Коммерческий словарь» Савари; на отдел Бюшинговой Географии, заключающей в себе описание Российской империи; на известия о России Гавена; на Лифляндскую хронику Арндта; на сочинение Штелина: 1) О музыке и театре в России; 2) Карта нового Северного архипелага; на первый том Вольтеровой «Истории России»[37].

Вольтер, сбираясь писать историю России при Петре Великом, обратился к И. И. Шувалову с просьбой выслать ему нужные материалы, указания, разъяснения некоторых темных для него событий. Шувалов передал требования Вольтера Мюллеру, и тот отвечал на каждое из них; например, Вольтер требовал присылки посольских дел; Мюллер отвечал: «Il est vrai que les negociations dans les cours etrangeres doivent entrer dans l'histoire d'un Souverain, mais le regne de Pierre le Grand ayant ete de longue duree, il est presque impossible d'en rapporter toutes les negociations a moins qu'on ne voulut composer une histoire d'un grand in folio, ce qui ne me parait pas etre du genie de Mr de Voltaire»[38]. Вольтер спрашивает: «Quelle part il (Pierre) eut en dessein que Gortz insinua a son maitre Charles XII de retablir le pretendant?»[39]

Мюллер отвечал: «Mr de Voltaire n'a que consulter la dessus les memoires de Mrs Wesselowski et Bestouchef presentes en ce temps la a la cour de Londres. Ils sont imprimes. Il seroit malseant pour un historien de vouloir contredire a de telles pieces originales et authentiques»[40].

[36] Портфели Мюллера. № 412.

[37] № 149. Портфель 2-й. Мюллеровы портфели, хранящиеся в Московском архиве Министерства иностранных дел. За пользование ими приношу усердную благодарность князю Михаилу Андреевичу Оболенскому.

[38] «Действительно, история правления любого государя должна содержать и сведения о переговорах, которые велись при иноземных делах. Но ввиду большой длительности царствования Петра Великого почти невозможно рассказать о всех переговорах, к этому времени относящихся, если, конечно, не ставить себе целью написать историю великого человека объемом в фолиант, что, на мой взгляд, не вяжется с гением г-на де Вольтера». (Пер. с фр.)

[39] «Какая роль принадлежит (Петру) в планах Гёрнца на претендентство, которое он внушил своему господину Карлу XII?» (Пер. с фр.) (Имеются в виду распространявшиеся шведскими дипломатами ложные слухи о поддержке Петром I династии Стюартов. — *Примеч. ред.*)

[40] «Г-ну де Вольтеру довольно будет справиться на сей счет в мемориях господ Веселовского и Бестужева, представленных недавно ко двору в Лондоне Они уже напечатаны Было бы неуместным, если бы историк стал перечить столь достоверным свидетельствам». (Пер с фр)

Вольтер прислал Шувалову свою рукопись; Мюллер написал на нее замечания, которые и были отосланы в Ферней. Но вместо того чтоб воспользоваться ими, Вольтер рассердился и прислал Шувалову письмо, наполненное жалобами, оправданиями и выходками против Мюллера: «Est-il possible (писал он между прочим) qu'on ait pu faire de telles observations? Je serais bien beureux, Monsieur, si vos importantes occupations Vous avoient permis de jeter les yeux sur ces manuscrits que Vous daignes me faire parvenir. L'ecrivain prodigue les S, C, K, H allemands... Je souhaite a cet homme plus d'esprit, et moins de consonnes»[41].

Такую выходку Вольтер позволил себе за то, что Мюллер вместо Ivanovis, Basilovis советовал писать: Ianowistch, Wasiliewistch. В образец оправданий Вольтера приведем следующие: «Je ne concois pas, comment on peut me dire, qu'on ne connoit point la Russie noire. Qu'on onvre seulement le dictionnaire de Moreri au mot Russie, et presque tous les geographes, on trouvera ces mots: Russie noire entre la Volhynie et la Podolie. Je suis encore tres etonne, qu'on me dise, que la ville, que vous appellez Kiew ou Kiof, ne s'appelloit point autrefois Kisovie. La Martiniere est de mon avis»[42].

Понятно, как легко было Мюллеру опровергнуть подобные оправдания; оружие было неравное: если, например, Вольтер имел опрометчивость сказать, что Карлиль был первым английским послом при московском дворе, то Мюллеру легко было уничтожить его простым перечислением английских послов, бывших в Москве до Карлиля. Здесь, кстати, не можем не сообщить известия, что еще в 1745 году Вольтер писал к Далиону, французскому посланнику при петербургском дворе, прося его поднести императрице Елисавете Генриаду; в этом же письме Вольтер изъявляет желание, чтоб его избрали в члены Санкт-Петербургской Академии и сообщили материалы о Петре Великом, историю которого он намеревается писать. Письмо это было сообщено канцлеру графу Бестужеву, который собственноручно написал на нем замечание, что лучше поручить сей труд здешней Академии наук, нежели удостоить оным иностранца.

Наконец, кроме собственных сочинений Мюллер в 1755 году издал книгу своего покойного товарища по сибирскому путешествию Крашенинникова «Описание земли Камчатки» и в звании секретаря Академии издавал ее комментарии.

[41] «Возможно ли, чтобы кто-то решился на такие замечания? Я был бы счастлив, сударь, если бы ваши важные дела позволили вам бросить взгляд на рукописи, которые вы благоволили распорядиться мне прислать. Автор весьма щедр на немецкие S, C, K, H... Я бы желал этому человеку побольше ума и поменьше согласных». (Пер. с фр.)

[42] «Не понимаю, как можно мне говорить, что я ничего не знаю о Черной Руси. Стоит только открыть словарь Морери на слове «Россия» или книгу чуть не каждого географа, чтобы прочесть примерно такие слова: «Черная Русь между Волынью и Подольем». Еще меня удивляет, когда мне говорят, что город, который вы именуете Киев, никогда в старину не назывался Кизовия. Мое мнение разделяет также Мартиньер». (Пер. с фр.)

Такова была деятельность Мюллера до 1765 года во время пребывания его в Петербурге по возвращении из сибирского путешествия. Должно прибавить, что труды эти совершены были среди разного рода огорчений: у Мюллера отнимали должное ему вознаграждение; чтоб только сделать ему неприятность, возлагали на него обязанности, от которых он отвык, для которых не чувствовал способностей; эти огорчения Мюллер должен был сносить от людей, о которых потомство узнает только разве из его биографии, от Шумахера, от Тауберта. Но если Шумахер, Тауберт преследовали Мюллера из зависти, из тяжелого чувства, которое испытывают люди ничтожные при виде труда честного, неутомимого, при виде человека, служащего для них живым, вопиющим укором — то были в то же время люди, преследовавшие Мюллера за то, что он был одноземцем Шумахера и Тауберта.

1749 года, 5 сентября, для дня тезоименитства императрицы Елисаветы Мюллер написал латинскую речь «О происхождении народа и имени руссов»[43], где развивал положения Байера о скандинавском происхождении варягов — Руси: донесли, что такое мнение оскорбляет честь государства; речь была запрещена, автору объявлено строгое замечание. Шлёцер в своем «Несторе»[44] объявил, что Ломоносов донес о неблагонамеренности Мюллеровой диссертации, это известие начало повторяться в биографиях Мюллера. Но вот как сам Мюллер рассказывает дело[45]: речь была отослана в Москву, где тогда находился президент Академии граф Разумовский и асессор Теплов; они одобрили ее и отослали в Петербург с тем, чтобы, по правилам, она была прочтена в чрезвычайном собрании Академии. Это было исполнено, причем сделаны были только самые легкие замечания; Мюллер исправил по ним речь, и она была сдана в типографию. Но по приказанию президента из Москвы торжество 5 сентября было отложено, и Мюллеру велено отложить свою речь до 25 ноября, дня восшествия на престол императрицы, причем он должен был сделать в речи некоторые изменения вследствие перемены торжества.

В это время Крекшин (известный собиратель материалов для истории Петра Великого), давно уже сердитый на Мюллера за то, что последний по приказанию Сената цензуровал его исторические сочинения, начал распускать по городу слухи, что в речи Мюллеровой находится многое, служащее к уменьшению чести русского народа; при этом он имел в виду привлечь на свою сторону Шумахера и Ломоносова, которые, думал он, не преминут воспользоваться распущенными слухами[46].

[43] Origines gentis et nominis Russorum.

[44] I, 92.

[45] Архив. Портфель Мюллера. № 48.

[46] Probeque gnatus, quantum calumuiis suis emolumento futurum sit, si Schumacherum et Lomonossovium utrumque male mibi cupientem in suas parted traheret, bune, qui cavillationes suas fuco aliquo induceret atque falsis argumentis confirmaret, illum qui Mosquam eas ad praesidem transscriberet, utrumque ex voto consequtus est. («Имея к тому настоящий талант, сколь бы он преуспел в своих кознях, если бы сумел вовлечь в них Шумахера и Ломоносова — двух недоброжелателей моих, — из коих последний прикрывал словесными

Шумахер действительно созвал совет из Тредьяковского, Ломоносова, Струбе, Фишера, Крашенинникова и Попова для исследования: что диссертация Мюллера заключает предосудительного для русского народа? Здесь отмечены были некоторые места, отосланы в Москву, и диссертация была запрещена. Мюллер, ничего не знавший до последнего времени, жаловался президенту, который велел назначить новое заседание для точнейшего исследования диссертации в присутствии самого Мюллера. Тут-то последовал любопытный диспут, на котором Мюллер защищал свои положения против Попова, Ломоносова и других возражателей.

Между прочими положениями в диссертации утверждалось, что о дорюриковском времени в известных источниках или вовсе не говорится, или говорится мало; Попов возражал на это: «Прочел ли Мюллер все существующие русские летописи и откуда взял, что в них ничего или мало говорится о дорюриковском времени?» Попов обещал даже показать книгу, в которой дорюриковские времена отлично описаны (egregie illustrata sunt), но не сдержал обещания. На положение, что имена первых князей скандинавские, Попов возражал, что сходство имен ничего не значит, оно доказывает только, что варяги новгородские одного происхождения с скандинавами, что готы в древности жили вместе с славянами у Евксинского Понта. Мюллер отвечал на это: «Мне ничего не остается желать более, если Попов признает тождество происхождения варягов, скандинавов и готфов. Если он даже думает, что славяне и готфы первоначально произошли от одного корня, соглашаюсь и на это. Желал бы я очень, чтоб все народы признали общее происхождение свое от одного корня и вследствие этого отложили бы всякую ненависть и вражду между собой».

Ломоносов на диспуте более всего настаивал на происхождении руссов от роксолан. Из Фотиева окружного послания он выводил, что русский народ существовал гораздо прежде прибытия Рюрика; утверждал, что варяги и Русь жили на южном берегу Балтийского моря, в соседстве с пруссами; утверждал, что пруссы — славяне, ибо у народов этих одно божество — Перун. Возражая Мюллеру, Ломоносов сильно вооружился против Байера[47].

Вследствие этого продолжительного диспута состоялся такой приговор: «В поданных мнениях господ профессоров некоторые показали, что за незнанием российского языка и истории подлинно о диссертации рассуждать не могут; другие написали, что кой-что следует из диссертации выключить, а иное вставить или переменить; только профессор Тредьяковский рассудил о диссертации, что вероятна; Ломоносов же,

прикрасами и подпирал ложными доводами собственные умственные хитросплетения, а первый отослал их запись начальству в Москву; и всего этого он добился умышленно»). (Пер. с фр.)

[47] Между прочим, сказал: «Dolere se eo tempore neminem fuisse, aui Bayeri naribus pulverem chemicum subministrare potuerit, a quo rediret in mentem» («Что он сожалеет об отсутствии в те времена кого-либо, кто бы сумел преподнести Байеру хорошую понюшку табака, дабы тот образумился») (Пер. с фр.)

Крашенинников и Попов считают ее предосудительной для российского народа, в чем и члены канцелярии академической с ними согласны[48].

Следует в таком деле предпочесть мнение природных россиян мнению членов иностранных, и так как по указу Петра Великого велено дела решать по большинству голосов, то диссертация и запрещается».

Но этим не удовольствовались: Мюллера выставляли как недоброго человека, возмутителя Академии, недоброхота России; писали, что «он не только в «Ежемесячных», но и в других своих сочинениях всевает по обычаю своему занозливые речи, более всего высматривает пятна на одежде российского тела, проходя многие истинные ее украшения, пишет и печатает на немецком языке смутные времена Годуновы и Расстригины. Всего доказательнее его злоба, что он в разных своих сочинениях вмещает свою скаредную диссертацию о российском народе по частям; и, забыв свое наказание, хвастает, что он ту диссертацию, за кою штрафован, напечатает золотыми литерами. Причем хвалит превеликого педанта Байера превеликие в комментариях ошибки для того, что Мюллер в помянутую заклятую диссертацию все выкрал из Байера, в ту ложь, что за много лет напечатана в комментариях, хотел возобновить в ученом свете».

Но в то время как одни объявляли Мюллера недоброхотом России, другие распускали о нем за границей дурные слухи за то, что он был предан выгодам России[49].

Русские образованные люди знали необыкновенную ученость, трудолюбие, честность Мюллера и потому оказывали ему уважение; так же обходились с ним и послы иностранные, ибо ученые заслуги его были хорошо известны за границей: но этим все и оканчивалось. Никто не принимал близкого участия в судьбе Мюллера, никто не заботился о его выгодах, и врагам его давалась полная возможность притеснять его. Отчего же это происходило? Оттого, что Мюллер не был искателем, не умел напоминать о себе, лишний раз побывать здесь и там, лишний раз поклониться; привыкши к занятиям кабинетным, к жизни семейной, он был робок, застенчив; он думал, что, исполняя честно свои обязанности, работая без устали день и ночь, может этим ограничиться, не должен думать ни о чем другом, и видел, как люди, думавшие всего менее об исполнении своих обязанностей, о честном труде, опережали его и, ставши наверху, ненавидели его как живой, хотя и молчаливый укор.

Но вот наступило наконец счастливое время, когда каждому полезному труду, каждой заслуге стало воздаваться должное, наступило великое царствование Екатерины II. Императрица оценила и заслуги Ломоносова, и заслуги Мюллера; к последнему она обращалась

[48] Это мнение опиралось на доказательствах такого, например, рода: «Sicut autor noster gloriosa facta majorum nostrorum incipit expulsione ita quoque omnem vitam eorundem in calamitatibus transactam describit» — Ломоносов («И как славные деяния пращуров наших сей автор начинает с изгнания, так и жизнь их описывает проходящей в нескончаемых бедствиях»). (Пер. с фр.)

[49] Samuel Engels Nachrichten und Anmerkungen uber die Lage der nordlichen Gegenden etc

непосредственно за сведениями, разысканиями о некоторых предметах: мы видели, какие две важные статьи о Китае приготовил он для нее. Скоро судьба 60-летнего труженика должна была совершенно измениться. Уже давно, с 1747 года, вследствие преобразования Академии класс исторический был в ней уничтожен, и Мюллер остался при Академии в должности ректора бывшего при ней университета. Эту должность исправлял он только три года и потом оставался при Академии в звании российского историографа. В 1765 году знания, деятельность Мюллера понадобились в другом месте, при других учреждениях. По выходе из должности Роста, главного надзирателя Московского Воспитательного дома, Бецкий предложил это место известному Бюшингу от имени императрицы. Бюшинг отказался; и вместо себя предложил Мюллера, как человека, знавшего хорошо русский язык, русский народ и обладавшего большой опытностью. Бецкий признавал в Мюллере все эти качества, но боялся отказа от 60-летнего старика. Бюшинг взялся уладить дело, но это удалось ему не вдруг. Когда Мюллер услыхал от Бецкого о месте, то побледнел от ужаса; когда же увидал, что друг его Бюшинг одобряет предложение, то не выдержал, бросился бежать от Бецкого, Бюшинг за ним. Дорогой последний начал уговаривать его принять предложение, объявил, что он сам, Бюшинг, указал на него Бецкому, имея в виду удалить его из Петербурга от людей, которые делают ему ежедневные неприятности; что он не век останется главным надзирателем Воспитательного дома, но что это место будет служить только переходом к другому, которое будет совершенно по нем. В глубокой задумчивости возвратился Мюллер домой и долго оставался в самом печальном расположении духа; встревоженная жена послала за Бюшингом; тот явился, стал исчислять выгоды, которые может доставить ему Бецкий в будущем; но выгоды не прельщали старика; надобно было затронуть в нем другую, самую нежную струну: Мюллер тогда только стал доволен, когда ему обещали право пользоваться московскими архивами[50].

В марте 1765 года Мюллер отправился в Москву. Другой бы на его месте, какой-нибудь Шумахер или Тауберт, нашел, что все в вверенном ему заведении шло до сих пор дурно и что теперь только, при нем, пойдет хорошо; но Мюллер прежде всего объявил, что доволен состоянием, в котором нашел Воспитательный дом; вот что писал он Бюшингу вскоре по приезде своем в Москву (14 апреля)[51]:

«Не думайте, чтоб я нуждался в поощрениях при исполнении настоящих моих обязанностей. Я очень хорошо знаю, как важно сохранение жизни человека и его воспитание. Господь, видимо, ниспосылает мне более здоровья, духа и силы, чем сколько бы я мог надеяться по моим

[50] Вот что сам Мюллер говорит об этом в известии о своей служебной деятельности «Сию хотя не свойственную моей склонности должность принял я на себя единственно для послушания всемилостивейшему соизволению и в уповании, что при том возможно мне будет пользоваться московскими архивами для российской истории, о чем я был и обнадежен»

[51] Muller's Lebensgeschichte — von Busching 1785 S 70

летам. Не должен ли я из этого заключить, что Он предназначил меня для этого дела? Вам уже известно, что я нашел Воспитательный дом в очень хорошем состоянии; вам известно и то, что мне нравится в Москве, так нравится, что я больше не думаю о Петербурге; вы знаете также мой нрав, что если я предался какому-нибудь делу, то предался ему совершенно. Исчезло нерасположение, какое я чувствовал в Петербурге к настоящей моей должности, исчезла мысль, что ученый свет не простит мне за покинутие моих прежних занятий. Настоящие занятия мои я ценю по той пользе, какая может и должна произойти от них для человеческого общества, и надеюсь, что Академия и публика простят мне, если я не так прилежно буду исполнять обязанности члена Академии и русского историографа».

Когда, по смерти Ломоносова, думали, что Мюллер опять будет вызван в Петербург, то он писал к Бюшингу (18 апреля): «Что может побудить меня возвратиться опять на войну, когда я здесь могу жить в мире и спокойствии? Москва мне нравится, здешний климат по мне; настоящие занятия мои становятся для меня день ото дня приятнее».

Наконец, исполнилось и самое пламенное желание Мюллера. Еще перед отъездом его из Петербурга граф Н. И. Панин обещал перевести его со временем в Московский архив Коллегии иностранных дел; получивши в конце 1765 года известие, что граф Панин вместе с вице-канцлером князем Голицыным стараются об определении его в Архив, Мюллер просил Бецкого не препятствовать этому, тем более что Бецкий сам обещал ему то же. В марте 1766 года Сенат получил собственноручное приказание императрицы об определении Мюллера членом Архива с 1000 рублей жалованья, причем он оставался по-прежнему членом Академии с 1200 рублей жалованья; Тауберт хотел было лишить его последнего; но Панин и Голицын дали знать в Академию, что императрица желает увеличить, а не уменьшить содержание Мюллера. И вот Мюллер очутился теперь совершенно в своей сфере и начал по-прежнему заниматься русской историей.

И в кратковременное пребывание свое в Воспитательном доме он не покидал пера и написал историю этого заведения с самого начала до 1765 года[52].

По вступлении в Архив вследствие требований с разных сторон Мюллер должен был вдруг заниматься несколькими сочинениями. По поручению от Академии он принялся писать историю ее для 50-летнего юбилея; занимался в то же время собранием известий о новейших кораблеплаваниях по Ледовитому и Камчатскому морю. В 1779 году императрица поручила ему составить из архивских бумаг дипломатическое собрание всех договоров между Россией и разными иностранными державами, по примеру Дюмона: 73-летний старик принялся за дело и в 1780 году успел отправить к императрице собрание дел между австрийским и русским дворами, а в следующем году отправил собрание дел прусского, бранденбургского и датского дворов. При этих занятиях

[52] Рукопись хранится в архиве Воспитательного дома

Мюллеру поручено было также написать историю малолетства Петра Великого; но он почел нужным обработать сперва историю жизни и царствования Феодора Алексеевича, без которой события, во время двоевластия происходившие, не могли быть понятны.

Вот что говорит Мюллер в предисловии к этому труду: «Никто до сих пор не только не писал удовлетворительной истории жизни и царствования Феодора Алексеевича, но даже и не решался на подобную попытку. Некоторые страницы у Штраленберга и незначительные известия о войне с турками, помещенные в Киевском Синопсисе, не заслуживают даже упоминания. Татищев, кажется, собирал известия о сем царствовании с намерением написать полную его историю, однако от этих известий достались мне только немногие отрывки, которые, впрочем, могут быть почитаемы не более, как только устными преданиями. Такой недостаток истории тем легче дополнить, что царствование Феодора Алексеевича продолжалось только шесть лет и в архивах находится множество очень важных о нем известий. На историю Феодора можно смотреть как на переход от великих деяний царя Алексея Михайловича к преобразованиям, совершенным Петром Великим. История должна справедливо судить о всяком государе и с благодарностью заметить, сколь многое уже было приготовлено отцом и братом Петра Великого!»

История начинается исчислением особ царского семейства, оставшихся после Алексея Михайловича. За этим следует описание свойств Феодора, его воспитания: здесь Мюллер опровергает известие о намерении Матвеева отстранить Феодора от престола в пользу малолетнего Петра; он говорит: «Может быть, об этом носились слухи в народе, ибо польский резидент Павел Свидерский то же самое доносил своему двору, а в Залусских письмах об этом было даже и напечатано. Из напечатанного же на голландском языке описания посольства Конрада фон Кленка легко заключить можно, что это были только слухи, которым разумные люди не верили, ибо в сем описании ни слова не сказано о подобном обстоятельстве». Самым важным доказательством против известия Мюллер считает молчание Матвеева в своих челобитных и защищениях. За этим следует перечисление бояр, падение Матвеева, причиной которого полагается месть товарищей; судьба Никона, к которому автор не благоволит; исчисление духовных властей, царское венчание Феодора; брак, обстоятельства которого рассказаны по Татищеву[53].

[53] Здесь считаем нелишним дать понятие об этой татищевской записке, которою пользовался Мюллер, хотя и с оговоркой. «Главные бояре, — говорит Татищев, — Долгорукий и Хитрово рассудили, что им у царя Феодора в такой милости уже для их старости удержаться было не весьма удобно, наипаче же ведая, что Иван Милославский в том может им великие обиды нанести, положили, чтоб оного Милославского из Казани взять и все правления на него положить, а самим остаться у малых дел, но дабы они при том вовсе некоторые способности из рук не выпустили; того ради ведая они думного дворянина Ивана Языкова, человека великой остроты, також Алексея Лихачева, бывшего у царевич Алексея Алексеевича учителя, человека доброй совести, твердо государю выхваляя, в милость ввели. Иван Милославский еще при царе Алексее от дяди своего Ильи Данилыча в непристойных поступках примечен и едва от тяжелого наказания мило-

«Изложивши личные обстоятельства жизни Феодора, — говорит Мюллер, — я теперь приступаю к государственной истории его царствования. Она есть переход от счастливого и славного царствования Алексея Михайловича к преобразованиям Петра Великого. Начинания Феодора по причине краткой его жизни остались неоконченными. Кто сравнит устройство России при Феодоре с устройством ее перед Феодором и после него, тот может определить истинную цену того и другого. Феодор положил основание многим улучшениям в государстве, которые Петр Великий продолжал».

После истории царя Феодора Алексеевича Мюллер приступил к истории двоевластия, но не оставил о ней полного сочинения, и только отрывки: «О Потешных полках»[54]; «Известие о дневнике Гордона»[55]; «О короновании царей Иоанна и Петра Алексеевичей»[56]; «Прибавление к истории Петра Великого, в детстве еще бывшего»[57].

стью царицы Марьи Ильиничны избавлен, но по смерти ее вместо ссылки в Казань послан воеводой, за что на Матвеева и Нарышкина великую злобу имел». Милославский приехал, был встречен с торжеством, схватился за все дела; но скоро пошли на него со всех сторон жалобы, что отдалило от него царя Феодора, а «Языков и Лихачев между тем все более и более усиливались».

О браке царя Феодора Татищев рассказывает следующее: «Идя однажды в Крестном ходу, Феодор увидал девушку, которая ему очень понравилась; он поручил Языкову справиться о ней, и тот донес, что она Агафья Семеновна Грушецкая и живет у родной тетки, жены думного дьяка Заборовского; последний получил приказ не выдавать племянницы замуж впредь до повеления. Милославский, услыхав от царя о намерении его жениться на Грушецкой, подумал, что это происки Языкова и Лихачева, и стал чернить Грушецкую и мать ее; но Языков и Лихачев обнаружили, что слухи, распускаемые Милославским, есть клевета; тогда Феодор женился на Грушецкой, а Милославскому запретил приезжать ко двору; но царица, по великодушию своему, выпросила ему прощение у супруга». Об образованности Феодора Татищев говорит: «Сей государь при отце своем учен был в латинском языке старцем Симионом Полоцким, и хотя в оном языке не только как брат его большой царевич Алексей Алексеевич был обучен, однакож чрез показание оного учителя великое искусство в поэзии имел и весьма изрядные вирши складывал, по которой Его Величества охоте, псалтырь стихотворце оным Полоцким переложена и в оной, как сказывают многие стихи, а особливо псалом 132 и 145 сам Его Величество переложил, и последней в церкви при нем всегда певали, яко же Его Величество и к пению быв великий охотник, первое цартесное и по нотам четвероглосное и киевское пение при нем введено, а по крукам греческое оставлено».

О распоряжениях Феодора: «В Москве хотелось ему прилежно каменного строения размножить и для того приказал объявить, чтоб припасы брали из казны, а деньги за оные платили в десять лет, по которому многие брали и строились. При нем учрежден Каменный приказ, и положена была мера и образцы, как выжигать (кирпичи); великие заводы конские по удобным местам завел и шляхетство к тому возбуждал».

[54] Напечатано в «Немецком Санкт-Петербургском журнале». Ч. 6 (русский перевод 1778 г.).

[55] «Труды Вольного Российского собрания». Ч. 4.

[56] «Санкт-Петербургский немецкий журнал». Ч. 7.

[57] «Труды Вольного Российского собрания». Ч. 4.

Ко второй же, московской половине жизни Мюллера относятся следующие сочинения: 1) «Рассуждение о народах, которые в древности Россию населяли»[58].

Эта статья очень замечательна, потому что показывает, какой шаг вперед сделала наука во второй половине XVIII века и какое сильное участие принимал наш автор в этом движении. Мюллер рассуждает здесь о скифах, сарматах, гипербореях, готах, аланах, роксоланах, гуннах, славянах, булгарах, аварах, хозарах, варягах. «Все древние обитатели Российской империи, как европейской, так и азиатской ее части, и великой части Средней Азии, называются скифами. Отсюда произошло различие между европейскими и азиатскими скифами, скифами по сю и по ту сторону горы Имауса; отсюда явилось столько особенных имен для скифов, хотя эти имена были собственно именами особенных народов. Заслышат о народе, прежде неизвестном, и причислят его к скифам. И теперь в тех же странах живет невероятное множество совершенно различных народов. Как теперь в России под именем остяков и самоедов разумеются и другие, вовсе не одноплеменные с ними народы, а только похожие на них некоторыми внешними чертами, так было, кажется, и в старину. Характеристическое различие народов состоит не в нравах и обычаях, не в пищи и в промыслах, не в религии: ибо все это у разноплеменных народов может быть одинаково и у единоплеменных различно.

Единственный безошибочный признак есть язык: где языки сходны, там нет различия между народами, где языки различны, там нечего искать единоплеменности. Язык указывает нам происхождение народов. Но истинный лингвист не будет доволен сходством некоторых отдельных слов, ибо здесь сходство может быть случайное, как иногда бывают похожи друг на друга некоторые люди, вовсе не родные между собой. Вот почему истинный лингвист тогда только выводит свои заключения, когда видит, что сходство языка подтверждается историей... Нельзя отрицать, что был народ, который греческие и римские писатели называли сарматами и страну, им обитаемую, Сарматией. Многие того мнения, что под сарматами надобно разуметь славян. Но если древние писатели делят Сарматию на европейскую и азиатскую, если первую на западе они продолжают до Вислы, а второй на востоке дают неопределенные границы; то ясно, что на таком огромном пространстве не мог жить один только народ Отсюда два положения: 1. Не все сарматы славянского происхождения. 2. Сарматия заключила в себе многие различные народы, из которых многие известны были под именем скифов.. Может быть, что славяне давно уже назывались славянами, прежде чем греческие и римские писатели о них заслышали; может быть, что они давно уже были известны под каким-нибудь другим именем; может быть, и вероятно, что они, подобно другим народам, вышли из отдаленной Азии. Только мы этого не знаем, ибо ни один писатель нам об этом

[58] «Abhandlung von den Volkern, welche von alters in Russland gewohnt haben Busching's Magazin» Th XVI

не говорит, ибо никакие безошибочные исторические заключения нас к тому не приводят»

Этих отрывков достаточно для показания, какими понятиями руководился Мюллер при решении вопросов о народных происхождениях.

2) «Eclaircissement sur une lettre du roi de France, Louis XIII au Tzar Michel Fedrowitch de l'annee 1635»[59].

У Олеария есть известие об одном французе, Шарле де Таллеране, маркизе Дексидейль, который в качестве посла явился при Московском дворе (1630—1635), но был обвинен голландцем Руссе в неприязненных против России замыслах и заточен. Вольтер, в первом томе своей истории Петра Великого, отверг это известие как басню. Мюллер и прежде вооружался против такого опрометчивого приговора; но теперь, найдя в Архиве Иностранной коллегии письмо короля Людовика XIII к царю Михаилу Феодоровичу по делу Таллерана, воспользовался случаем, чтоб окончательно низложить пред ученым светом своего врага и обидчика. «Г. Вольтер, — говорит Мюллер, — не любит входить в разыскания; по нему лучше разрубить узел, чем развязать его. Все согласны, что Вольтерова История Петра Великого не удовлетворила всеобщему ожиданию. Ее недостатки замечены были еще до ее появления в свет по тем образчикам, которые автор прислал в Петербург в рукописи. Меня просили сделать замечания: я сделал. Но г. Вольтер не имел терпения ими воспользоваться: так спешил он напечатать первый том. После появления его в свет я продолжал писать мои заметки; разумеется, что я не мог пропустить Таллерана, не поинтересовавшись его существованием. Заметки мои были отосланы к автору. На их-то основании в предисловии ко 2-му тому он исправил некоторые промахи, сделанные в первом томе; другие ошибки он извинил; наговорил мне грубостей; особенно постарался он не коснуться тех замечаний, которые бы заставили его покраснеть. В этом же предисловии г. Вольтер, продолжая выдавать известие Олеария за басню, признается, однако, что было действительно что-то похожее. Он говорит, что спрашивал объяснений во Французском архиве иностранных дел. Но я предоставляю читателям судить, могут ли представленные им известия быть почитаемы за почерпнутые из архива?» Для уличения Вольтера, что он не умел или не хотел воспользоваться архивскими известиями, Мюллер и предлагает копию письма Людовика XIII.

3) «Известие об обстоятельствах избрания царя Михаила Феодоровича на российский престол»[60].

Статья имеет целью на основании официальных документов опровергнуть известия Штраленберга.

4) «О мнениях г-на Лэнге»[61]; в этой любопытной статье закон 1595 года объясняется преимущественно финансовыми затруднениями.

[59] «Бюшингов магазин» XVI 350
[60] «Бюшингов магазин» II 401
[61] Там же XVIII 71 Ueber Herrn Linguet, etc

5) «О принцессе Вольфенбюттельской, бывшей в замужестве за царевичем Алексеем Петровичем»[62].

Статья имеет целью опровергнуть известия, обнародованные Боссю в его «Nouveaux voyages dans l'Amerique septentrionale».

6) «О браках царя Иоанна Васильевича»[63].

7) «Дополнение к посольственной инструкции, данной в 1618 году в Персию отправленным князю Михайлу Петровичу Борятинскому и Ив. Ив. Чичерину»[64].

8) «О российских границах»[65].

9) «Известие о дворянах российских, их древнем происхождении, о старинных чинах и какие их были должности при государях царях и великих князьях, о выборе доказательств на дворянство, о родословной книге, о владении деревень, о службе предков и собственной и о дипломах»[66].

Сочинение это писано в ответ на присланные к нему от императрицы Екатерины II три вопроса: a) Какие есть узаконения на дворянство? b) Какие бывали не дворянские службы и какие ныне есть? c) Выбрать доказательства на дворянство?

10) «О русских древних грамотах, их письме, бумаге, печатях» и проч. — в ответ на вопрос гёттингенского профессора Гаттерера[67].

11) «Сокращенное уведомление о Малой России»[68].

12) «Рассуждение о запорожцах».

13) «Разные материалы, до истории Запорожской касающиеся». Все эти три статьи имеют целью показать несовместимость существования Запорожья с государственным бытом России: «Их (запорожцев) обычай всякому на здоровом разуме и на истинных правилах основанному гражданскому обществу противоборствует». В другом месте автор говорит: «Народ, который не распложается сам собою, который во всякие 30 лет почти исчезает и делается новым, такой народ народом правильно назваться не может. Сброд людей из всяких народов и языков, яко изверги своего отечества — те у них дети. Народ, который свое время в гулянии и пьянстве препровождает, который пренебрегает первоначальный закон Божий, что должно человеку питаться от трудов рук своих: такой народ не достоин жительства иметь в преизобильнейшей всяким плодородством стране. Народ, который ни по каким письменным законам не живет и не судится, который главным законом себе представляет похищение имения своих соседов, который смертоубийство с холодностью учинить может, тот больше зверям, нежели человекам, причисленным быть заслуживает»[69].

[62] Там же. XV. 234.
[63] «Санкт-Петербургский немецкий журнал». Ч. 7. 1779 г.
[64] «Труды Вольного Российского собрания». Ч. 5.
[65] «Nova acta Academ. Petrop.» an. 1778
[66] С.-Петерб. 1790.
[67] С.-Петерб. 1790.
[68] Не напечатано.
[69] «Чтение Москов. истор. общ.» 1846 и 1847 гг.; № 4, 5, 6 // Чтение в Обществе истории и древностей Российских при имп. Московском университете. М., 1846, 1847.

14) «О значении имен российских букв»: в имени каждой буквы автор старается найти определенное значение, азъ — я и т. д.; в веди он видит повелительное от глагола вести и переводит чрез дис. Не знаем, первый ли это опыт, знаем только, что не последний.

15) «Известие об изданных против раскольников книгах»: a) Увете духовном, b) Прашице и c) Возражении.

16) «Примечания на сочинение Шобера — Memorabilia».

17) «Примечания на французскую речь, говоренную г. Берландом де ла Бодельером в Московском университете 30 июня 1772 года».

18) «Критика на Prospectus des Lecons того же Бодельера».

19) «Погрешность или ошибка Христиана Шетгена в сочинении его о начале россов».

20) «Погрешности г. Газа в переводе Оренбургской истории».

21) «Погрешности г. Трейера в Российской истории».

22) «Оглашение в новопечатанной Российской географии погрешностям».

23) «Письмо французское и примечание немецкое на азбуку, печатанную при Московском университете».

24) «Примечания на известия об Астрахани — Рычкова».

25) «Замечания на 38-ю часть новейшей Всеобщей истории, заключающую в себе Историю России».

26) «Записка о погрешностях в книге Лакомб: «Histoire des revolution»» etc.

27) «Ответы на вопросы Клингштета о разных обычаях в России».

28) «Проект об учреждении школ в Российской империи». Мюллер занимался этим проектом с 1764 по 1767 год, по устному приказанию императрицы Екатерины.

29) «Проект об учреждении Staats-Akademie».

30) «Проект инструкции депутату от Академии при Комиссии Уложения»[70].

Депутатом этим был избран сам Мюллер.

Кроме этих собственных сочинений Мюллера к московскому периоду его жизни относятся также следующие издания его: 1) «Собрание проповедей Гавриила Бужинского», 1768 года; 2) «Судебник царя Иоанна Васильевича и некоторые сего государя и преемников его указы, собранные и примечаниями изъясненные В. Н. Татищевым», 1876; 3) «Ядро Российской истории», 1771; 4) «История Российская» Татищева, 3 части; 5) «Российский Целариус», 1771; 6) «Статья из Бюшинговой Географии, до России касающаяся», 1766; 7) «Географический Лексикон Российского Государства», соч. Полуниных, но исправленный и умноженный Мюллером, 1773; 8) «Письма Петра Великого к графу Борису Петровичу Шереметеву, с родословной Шереметевых и с описанием подвигов фельдмаршала», 1774; 9) «Степенная книга», 1771—1774. Советами Мюллера пользовался князь Щербатов при сочинении

[70] Все это не напечатано и хранится в портфелях его.

своей «Истории»; Голикову для его «Деяний Петра Великого» доставил Мюллер до 500 разных актов; «Труды Вольного Российского собрания» и «Древняя Российская Вивлиофика» также обязаны ему многими из своих материалов. Но мы должны прибавить известие еще об одной тяжелой стороне деятельности Мюллера, о которой он сам говорит в известии о своей службе: «Труд, которого от меня надеяться не надлежало и которой я однакож нес более 20 лет, состоит в том, что я за неимением искусных переводчиков принужден был все мои на российском языке печатанные сочинения в переводе сам поправлять, а многие статьи и съизнова сам переводить, сверх же того и корректурой при печатании попечение иметь, дабы оные сочинения не выходили в свет с погрешностями. Сие упражнение лишало меня многого времени, которое я мог бы употребить на иное что».

Несмотря, однако, на эти труды, Мюллер до 70 лет не жаловался на старость, на истощение сил и продолжал заниматься с одинаковой ревностью. В 1774 году он писал Бюшингу, что чувствует себя гораздо лучше, чем в Петербурге; в 1776 году писал, что еще не замечает в себе ослабления сил и здоровья, читает и пишет без очков, но что руки начинают сильно трястись. В 1778 году он писал: «Я совершенно доволен и весел. Если мое здоровье и становится слабее, то я думаю, что иначе и быть не может, и потому не печалюсь. Спокойно гляжу на будущее. Летом намерен я предпринять небольшие путешествия в некоторые города Московской провинции, частью для поправления здоровья, ибо со всех сторон слышу упреки, что слишком много сижу и работаю, частью для того, что я предположил описанием Московской провинции содействовать общему географическому описанию России, которым занимаются в Петербурге, но для которого нет еще достаточных материалов... Я все еще довольно свеж и способен к работе, однако начинаю страдать одышкой, против которой должна помочь перемена воздуха и движение. Дай Бог! Попробуем».

В первое путешествие, предпринятое летом 1778 года, Мюллер посетил Коломну; во второе — Троицкую Лавру, Дмитров, Александровскую Слободу, Переяславль-Залесский; в третье — Вязьму, Можайск, Борисов, Рузу, Звенигород. Следствием этих путешествий было пять сочинений: 1) «Путешествие из Москвы в Коломну и описание города Коломны»; 2) «Путешествие из Москвы в Можайск, Рузу, Звенигород и другие места»; 3) «Описание Можайска, Звенигорода и Савина-Сторожевского монастыря»; 4) «Путешествие в Дмитров»; 5) «Путешествие в Троицкую Лавру и описание города Переяславля-Залеского»[71].

В 1779 году Мюллер обратился к императрице с просьбой о назначении ему в помощники известного Стриттера; просьба была исполнена, причем оказана ему и другая милость: императрица велела приобрести его библиотеку и все бумаги для архива за 20 000 рублей, с предоставлением Мюллеру права пользоваться ими во все продолжение жизни.

[71] Все эти сочинения напечатаны на немецком языке в «Санкт-Петербургском немецком журнале», 1782 и 1783 годах

С половины 1782 года Мюллер начал предчувствовать приближение смерти. «Думаю,— писал он к Бюшингу,— что конец мой на земле близок, держу себя в готовности». В начале 1783 года умер брат его на 81 году жизни; извещая об этом Бюшинга, Мюллер прибавил: «Сомневаюсь, чтоб я мог достичь такой глубокой старости». В августе, извещая Бюшинга о получении чина действительного статского советника, Мюллер прибавил, что недолго будет пользоваться этой честью. В сентябре он известил своего друга о получении новой почести — ордена св. Владимира третьей степени, опять с замечанием, что недолго будет носить этот орден. Предчувствия сбылись: 11 октября 1783 года заменитого трудолюбца не стало.

27 апреля 1854 года.

КАЧЕНОВСКИЙ МИХАИЛ ТРОФИМОВИЧ*

Каченовский, Михаил Трофимович, ординарный академик, заслуженный профессор археологии, русской и всеобщей истории и статистики, истории и литературы славянских наречий, действительный статский советник, происходил из незнатной и недостаточной греческой фамилии Качони, родился в Харькове 1775 году ноября 1-го; обучался в Харьковском коллегиуме; приобрел здесь познания в латинском, греческом языке, новым же языкам: французскому, немецкому, английскому и итальянскому выучился после; уже в преклонных летах занимался шведским языком. По выходе из Коллегиума в 1788 году поступил на службу в Екатеринославское казачье ополчение урядником; в 1793 году переведен в бывший Харьковский губернский магистрат с переименованием в канцеляристы; в том же году был произведен в провинциальные регистраторы, а в 1794 году в губернские регистраторы. В 1795 году определен в Таврический гренадерский полк сержантом; в 1796 году переведен в Ярославский пехотный полк; в 1798 году произведен в полковые квартирмейстеры, а в 1801 году отставлен от военной службы по прошению, после чего был библиотекарем и правителем канцелярии у графа А. К. Разумовского, попечителя Московского университета.

Ученое поприще Каченовского начинается с 1805 года, когда он получил звание магистра философии при императорском Московском университете и назначен преподавателем риторических лекций в академической гимназии, где занимал также высший класс российского

* Биографический словарь профессоров и преподавателей имп Московского университета за истекшее столетие со дня учреждения января 2-го 1755 года по день столетнего юбилея января 12-го 1855, составленный трудами профессоров и преподавателей, занимавших кафедры в 1854 году и расположенных по азбучному порядку Ч I М , 1855 С 383—403

языка. В 1806 году получил степень доктора философии и изящных наук; в 1808 году утвержден адъюнктом; в том же году поручено было ему управление делами в канцелярии г. попечителя Московского университета и утвержден в должности старшего письмоводителя при попечителе. В 1810 году он оставил последнюю должность, потому что был утвержден экстраординарным профессором, а в следующем 1811 году произведен в ординарные профессора изящных искусств и археологии, а в 1821 году перемещен на кафедру истории, статистики и географии Российского государства; с 1830 по 1831 год поручена была ему кафедра российской словесности, а в 1832—1833 годах временно преподавал всеобщую историю и статистику. В 1835 году утвержден в звании заслуженного профессора и вместе с тем поручено ему чтение лекций; в том же году поручено ему преподавание всеобщей истории для студентов II и III курсов словесного отделения, но при введении нового устава назначен преподавателем истории и литературы славянских наречий (31 декабря 1835 года). Эту кафедру занимал он до кончины, последовавшей 19 апреля 1842 года.

Занимаясь преподаванием означенных предметов, Каченовский в то же время занимал и другие должности по поручению начальства: так, в 1810 году в качестве визитатора обозревал училища Калужской губернии; в 1817 году обозревал училища губерний — Костромской и Ярославской, в 1818 году — Владимирской и Рязанской; был членом Комитета для восстановления университета после неприятельского нашествия; в 1813 году по выбору и утверждению министра был один год деканом словесного отделения; был членом училищного комитета с 1816 по 1820 год и с 1821 по 1829 год; обозревал ежегодно в качестве визитатора казенные в Москве училища и частные пансионы; отправлял должность начальника университетской типографии с 1815 по 1816 год; в 1819 году определен членом правления университетского Благородного пансиона и отправлял эту должность до 1825 года; в 1830 году утвержден директором Педагогического института и в том же году был членом комитета, учрежденного при университете для охранения от холеры живущих в нем и в заведениях ему подведомых; в 1831 году избран и утвержден деканом словесного отделения; в 1832 году избран членом Комитета для испытания гражданских чиновников; на тот же год избран членом Училищного комитета и секретарем совета; в 1833 году Высочайше утвержден цензором. В 1836 году назначен членом в Комитет, составленный по Высочайшему повелению для рассмотрения исторического описания древнего Российского музея, под названием Московской Оружейной палаты, соч. Малиновским, и поверки оного с самыми вещами; в 1837 году Высочайше утвержден ректором Московского университета и в этой должности находился до своей кончины, будучи снова избран и утвержден в ней в 1840 году. За службу свою удостоился получить следующие награды: в 1817 году награжден Орденом Св. Владимира 4-й степени; в 1819 году пожалован в коллежские советники, в 1824 году в статские советники; в 1831 году получил Монаршее благоволение по Комитету охранения от холеры университета; в том же году пожалован

орденом Св. Анны 2-й степени; в 1834 году Орденом Св. Анны, Императорской Короной украшенным; в том же году объявлено ему Высочайшее благоволение за участие в издании Ученых записок; в 1838 году пожалован орденом Св. Владимира 3-й степени; в 1840 году пожалован в действительные статские советники.

В 1819 году Каченовский был избран в действительные члены императорской Российской Академии; в 1833 году избран корреспондентом императорской С.-Петербургской Академии наук; в 1835 году избран университетом Св. Владимира в почетные члены; в 1841 году Высочайше утвержден ординарным академиком по отделению русского языка и словесности при императорской Академии наук.

В предложенном обзоре служебной деятельности Каченовского мы видим пробел от 1801 до 1805 года; нельзя удержаться от удивления, видя переход из квартирмейстера в профессора. Но этот переход не был резок, потому что, в продолжение означенного времени и еще прежде, мы начинаем часто встречать имя Каченовского в тогдашних повременных изданиях. В журнале «Иппокрена» на 1799 год, во второй части, встречаем его прозаическую статью: «Отпускная жаворонку»; в статье легко заметить, что она принадлежит 24-летнему молодому человеку, проникнутому господствовавшею в то время сентиментальностью. В третьей части того же журнала на тот же год встречаем стихи Каченовского «Чувство по прочтении Орла» — так как это единственное стихотворное произведение, подписанное именем Каченовского, то мы и выпишем его здесь:

Полнощный Оссиян едва коснулся лире
И сладкострунный глас звенит в подлунном мире,
Потомки поздние услышат эха звук,
Со искренней слезой Суворова вспомянут,
И кто Державин был, любитель муз, наук,
В глубокой вечности их лавры не увянут.

В четвертой части того же журнала на тот же год Каченовский поместил две переводные статьи с французского: идиллии «Источник дружбы» и «Цена несчастья». В одиннадцатой части «Иппокрены», на 1801 год помещены его три переводные с французского статьи: «Парижанин и Караиб» (разговор), «Лейбниц и Карл XII» (разговор), «Письма Фонтенеля и доктора Юнга, по смерти их изданные». В 5-й части журнала: «Новости русской литературы» (1803 год) Каченовский перевел статьи: «О гении и вкусе. Из книги: Theorie der schonen Kunste und Wissenschaften»; там же: «Письмо путешественника в Эрмеонвиль», переведенное с немецкого Каченовским; «Анекдот о танцовщице»; потом перевод из Виланда «Умирающая Поликсена Еврипидова»; «Езоп и Солон» из него же. Здесь уже можно заметить, чем руководился молодой литератор при выборе статей для переводов; он переводит статьи нравственные и эстетические. В IX части того же журнала (1804 год) находим сочинение Каченовского: «Письмо к приятелю». Цель письма показать превосходство общественного воспитания пред домашним, именно потому, что последнее обыкновенно поручалось

тогда французским гувернерам, большею частью неспособным к исполнению своих обязанностей.

Об этой статье Каченовского издатели выразились так: «Сия пиеса, разительными истинами наполненная, подлинная *новость русской литературы*, делающая честь уму и сердцу почтенного автора, русского — не по одному имени, с благодарностью помещается в «Новостях русской литературы». Каждый патриот, каждый отец семейства прочтет ее несколько раз с одинаким удовольствием и пожелает, чтоб она принесла соотечественникам нашим всю ту пользу, какую имел в виду г. сочинитель». В том же журнале Каченовский помещал отрывки переведенного им романа — «Тереза и Фальдони» (ч. IX и X). С 1804 года мы видим Каченовского сотрудником «Вестника Европы»; в это время он занимался переводом «Афинских писем» и несколько отрывков из этого труда доставил в редакцию «Вестника Европы».

Издатель выразился об них так: «Чистота и правильность перевода удостоверяют, что переводить оную книгу предпринял человек с талантом и сведениями». Кроме означенных отрывков, Каченовский доставил в «Вестник Европы» еще несколько переводов: «Жена сумасбродная по наружности» из Жанлис; «Мысли» (из польского журнала); «Действие совести» (Лафонтена); «Диогенова бочка» (Лафонтена) и несколько статей в Смеси. Наконец, в «Вестнике Европы» встречаем оригинальную статью Каченовского: «Взгляд на Благородный пансион при императорском Московском университете». Приведем несколько строк из этого сочинения.

«Плоды наук, — говорит Каченовский, — зреют медленно. Полезное дерево просвещения, перенесенное из климатов чужестранных в любезное наше Отечество, уже глубоко пустило корни; благодетельные лучи нашего светозарного Феба ускорят действие природы, и мы увидим молодые ветви, покрытые цветами, — а плоды? Станем надеяться. Любовь к учению и у нас сделается модою. Уже дворяне русские чувствуют необходимость просвещения, видят, что для снискания себе уважения надобно по крайней мере казаться ученым, по крайней мере знать несколько слов не русских, следовательно, стыдятся невежества. Начало доброе! Станем надеяться... Университеты не воспитывают, а принимают уже воспитанных юношей, для усовершенствования их в высших науках: между тем, что делать небогатому дворянину, желающему дать хорошее воспитание своим детям?.. Здешние пансионы, содержимые иностранцами, изобилуют всеми неудобствами публичного воспитания, не имея ни одной из его выгод; в них платят немалые суммы за наставление детей, по большой части только во французском произношении и в танцовальном искусстве, между тем как Отечество может уволить дворянина от сих отличных совершенств, а требует от него непременно знаний и рассудительности... После всего того, что я видел в сем училище и еще недавно читал о нем в одном из лучших французских журналов (Archives Litteraires), я почел для себя приятнейшим долгом войти в некоторые подробности, конечно не всем известные. Смею обнаружить свое удивление, что в такое время, когда число авторов у нас ежедневно умножа-

ется, когда мы с патриотической гордостью любим хвалиться хорошими заведениями, никто еще не написал о сем пансионе. Стыдно нам дожидаться, пока иностранцы укажут нам то, в чем можем с ними равняться; стыдно справляться с чужестранными журналами, сколь велико наше достоинство».

Эта статья замечательна тем, что в ней высказалось уже то направление, которому Каченовский остался верен во все продолжение своего литературного поприща. Как истинный ученый Каченовский всю жизнь ратовал против двух крайностей: с одной стороны, против равнодушия и даже отвращения, презрения к образованности, которые прикрывались чувством отвращения к чужому и любви к своему; с другой стороны, против равнодушия и презрения к своему, которые происходили от пристрастия к чужому. Замечательно, что и в отношении к слогу Каченовский вел борьбу только с двумя крайностями: с одной стороны, ратовал против слепого подражания карамзинскому слогу, с другой, против излишней приверженности к славянизму.

С 1805 года «Вестник Европы» перешел в заведование Каченовского. Что значило тогда издавать журнал, видно из следующих слов Каченовского (август, 1805 год) к читателям «Вестника»: «Вышедшие в свет 16 книжек моего журнала составляют четыре части; следующие восемь книжек будут выданы в свое время с такою же исправностью, как и прежде, если только не воспрепятствуют обстоятельства, от меня не зависящие. Я трудился один и по возложенной на себя должности буду трудиться до истечения нынешнего года. Кроме пиес: «Рюрик», «О музее г. Дубровского», «О красноречии Бридена», «Письмо о языке древних сармат», двух писем из Грузии и статьи о благости Владетелей, все в прозе писано мною. Пиесы политические и известия взяты из разных журналов и газет; некоторые пиесы, относящиеся до наук и словесности, почерпнуты из тех же источников; все прочее или сочинено, или переведено большей частью из книг новейших... В заключение могу предварительно уверить всех благомыслящих, что никакая статья, оскорбляющая вкус, противная приличностям общежития, возбуждающая омерзение, словом, никакая статья, похожая на критику или лучше на пасквиль, помещенный в одном из периодических наших сочинений и в котором безыменный автор изволит забавляться на счет писателей, украшающих Парнасс Российский, и ставит их наравне с безыменными пачкунами, не обезобразит моего журнала».

Каченовский издавал «Вестник Европы» с 1805 до 1809 года; замечательнейшею из статей редактора в этот период была статья «О книжной цензуре в России» (февраль, № 5, 1805). В «Вестнике» на 1807 год Каченовский поместил свой перевод драмы Коцебу: «Береговое право», который потом издан отдельно в 1819 году. Политические известия, особенно известия о второй войне России с Францией, замечательны по горячему патриотизму, их одушевлявшему. С 1809 года Каченовский по некоторым обстоятельствам должен был сложить с себя звание издателя «Вестника Европы», которое принял Жуковский. Но Каченовский и при новом издателе остался самым ревностным сотрудником журнала, весь

политический отдел находился в его заведовании. Кроме того, в 1 № января 1809 года помещена им статья: «О состоянии словесности и наук у нынешних греков», цель которой доказать, что новые греки не варвары. Потом помещена статья: «О чтении отечественных писателей», в которой автор, между прочим, говорит: «Холодности своей мы не можем, подобно немцам, извинить упражнением в древней словесности, которою совсем не занимаемся, но без которой однакож, сколько бы ни старались, никогда не сравнимся с хорошими иностранными писателями. Ревнуя славе Попе и Гиббона, Расина и Монтескю, мы чуждаемся тех способов, какими они приобрели себе незабвенную память в потомстве».

С ноября 1809 года Каченовский опять начинает издавать «Вестник Европы» вместе с Жуковским; с 1811 года начинает издавать его снова один. В этом году издатель поместил в «Вестнике» и потом в первой части трудов Общества любителей Российской словесности статью: «Взгляд на успехи российского витийства в первой половине истекшего столетия». К 1812 году относится: «Рассуждение о похвальных словах Ломоносова», напечатанное в третьей части трудов общества. Оба эти сочинения долго оставались образцовыми; долго мнения Каченовского о Феофане Прокоповиче и Ломоносове заучивались воспитанниками университетов и гимназий. В научном отношении важно указание на отношение похвальных слов Ломоносова к образцам древнего красноречия. В 1812 году должно указать в «Вестнике» на статьи издателя: «Прибавление к разговорам о словесности»; и здесь Каченовский, как везде, вооружаясь против вредного подражания всему иностранному, вооружается не менее и против другой крайности, против презрения ко всему иностранному, говоря: «Чужестранные слова, употребляемые без всякой надобности и единственно по незнанию своего собственного языка, конечно, весьма вредны; но к числу их совсем не принадлежат слова, принятые нами вместе с наукой и искусствами».

В 1814 году Каченовский передал издание «Вестника» Владимиру В. Измайлову, но с 1815 года опять начал издавать его; в объявлении к читателям он говорит: «Я не ожидал и даже вовсе не думал, что «Вестник Европы», университетскою типографией издаваемый, будет снова препоручен моему распоряжению. Благосклонное внимание начальства ускорило медленный ход моего выздоровления». В 1817 году Каченовский издал «Библиотеку повестей и анекдотов», в пяти частях, в которых помещены сочинения известнейших в Европе романистов, и преимущественно нравоучительные. В том же году в трудах Общества любителей Российской словесности поместил статью: «О славянском и в особенности церковном языке». Здесь два положения: «Древний коренный славянский язык нам неизвестен, нынешний церковный наш язык есть старинное сербское наречие». В том же году и в том же издании поместил статью: «Исторический взгляд на грамматику славянских наречий», где впервые обращено было внимание на литературу славянских народов — поляков и чехов. В 1819 году на университетском акте произнес речь: «О художественных произведениях как памятниках

древних народов». В 1821 году издал «Выбор из сочинений лорда Байрона», переведенных с французского.

Кроме этих трудов по части русской словесности, Каченовский занимался также изданием руководств для изучения греческого языка: так, в 1807 году он издал «Учебную книжку древнего греческого языка», имевшую пять изданий (последнее 1827 год); в 1821 году издал первую часть «Якобсовой греческой хрестоматии», перепечатанной вторым изданием в 1824 году.

Такова была деятельность Каченовского как литератора и ученого вообще; теперь обратимся к тем его трудам ученым, которыми он преимущественно приобрел себе имя: к трудам по русской и славянской истории. В 3-м № «Вестника Европы» (февраль) на 1809 год Каченовский поместил статью: «Об источниках для русской истории», в которой, между прочим, высказан очень верный взгляд на состояние славянских племен до призвания Рюрика. В октябрьской книжке того же года встречаем другую статью: «Краткая выписка о первобытных народах, в России обитавших», в которой автор приходит к отрицательному результату, что варяго-руссы были не финны, не пруссы и не славяне. В ноябрьской книжке Каченовский поместил строгий «Разбор переведенной на русский язык «Истории Российской империи в царствование Петра Великого»», соч. Вольтера, к которому Каченовский вообще обнаруживает сильное нерасположение и нападает на него в своем журнале при первом удобном случае.

В сентябрьской книжке «Вестника Европы» 1811 года Каченовский поместил замечательную статью по поводу перевода Шлёцерова Нестора. В «Русском вестнике» сделаны были кем-то странные нападения на знаменитый труд Шлёцера за то только, что автор этого труда был иностранец; нападки эти были тем неприличнее, что прикрывались именами добродетели, веры, отечества. Каченовский показал все неприличие подобных нападок, всю неблагонамеренность подобного смешения вопросов чисто ученых с вопросами нравственными и показал все погрешности автора статьи, который вооружается на Шлёцера именно за самые светлые его мысли, например, порицает его за отвержение странных производств народов, за мнение об образовании народов посредством наростов (colluvies gentium). Уже прежде было замечено, что Каченовский постоянно держался средины между двумя вредными крайностями, с одной стороны — неумеренной привязанностью, а с другой — презрением ко всему иностранному; так и в статье о Шлёцере, по поводу возражений «Русского вестника», Каченовский говорит: «Сии самые догадки и замечания, слог их и расположение, ход мыслей, неправильные заключения, неизвестные ссылки на авторов, не доказывают ли, что мы должны учиться грамматике, риторике, логике, критике и прочим иноплеменным наукам, ежели хотим писать что-нибудь достойное просвещенной публики?.. Надобно ли нам чуждаться наук, потому только, что иностранцы (разумеется, не похожие на здешних гувернеров и учителей) прежде нас стали упражняться в науках, больше нас в них успели, даже обогатили их новыми полезными правилами и открытиями?»

В 1812 году Каченовский напечатал «Исследование о банном строении» («Вестник Европы», № 17); мнение его, после внимательнейшего изучения источников, оправдывается. В январской книжке 1815 года встречаем отзыв Каченовского о книге: «Опыт начертания российского частного гражданского права», соч. Вельяминова-Зернова; этот отзыв замечателен следующей мыслью: «Греческие законы и вообще ученость переходила к нам наиболее посредством других племен славянских, а особливо булгаров, и это не трудно было бы доказать историческими соображениями; но оставим их, краткости ради, и заметим только, что во втором томе Кормчей упоминается о жупанах».

С самого начала Каченовский обнаружил сильное нерасположение к исследованиям, не ведущим нас ни к какому верному результату; исследованиям о таком предмете, который по отдаленности своей, по недостатку верных исторических известий, открывает широкое поле разного рода догадкам и предположениям, ни к чему не ведущим, как, например, вопрос о происхождении разных древних народов. В январской книжке 1815 года Каченовский вооружился против изыскания Капниста о гипербореях и о коренном русском стихотворстве, читанного в санкт-петербургской Беседе любителей русского слова и в котором высказано было мнение, что гипербореяне были славяне. «Что сказать на это должно? — спрашивает Каченовский. — То, что почтенному сочинителю надлежало руководствоваться авторами, коих многолетние ученые исследования озарены животворным светом исторической критики, а не тем, которые во всем полагаются на первую попавшуюся к ним в руки книгу или на мечты своего воображения. Давно уже в ученом свете сделалось известным, что между древними гипербореями, скифами, сарматами и между славянами нет никакой видимой связи. Догадок много, и они разнообразны, но истина должна быть одна. А кто может сказать, что ее постигнул? Всего надежнее замечать деяния народа с того времени, с которого он является в истории под настоящим своим именем. Но довольно о гипербореях... Помещаем перевод целой главы из Маннерта, сделанный одним из молодых наших приятелей».

В том же году в «Записках Общества истории и древностей Российских» Каченовский поместил рассуждение «О судебных поединках»; по мнению автора, «хотя трудно с исторической достоверностью определить время, когда приняты в России судебные поединки; однакож, придерживаясь вероятнейших догадок, можно по крайней мере показать, что они перешли к нам от германских народов еще до появления татар в Европе».

В январской книжке «Вестника Европы» 1816 года, помещая известие о «Славянине и славянке» Добровского, Каченовский говорит: «У нас до сих пор еще мало думали о том, сколько близкое имеют родство с нашим российским языком многие другие, употребляемые как внутри отечества, так и вне пределов оного на великом пространстве Европы, и сколь великую пользу приобрело бы отечественное наше слово, когда бы мы обратили внимание свое на состав разных

славянских наречий, на образование их и взаимные отношения между ними».

В январской книжке 1817 года Каченовский поместил статью: «Нечто для древней русской нумизматики», где доказывал, что слово «скот» в значении денег употреблялось в древности как род, а куны и гривны как вид. Автор приводит известие, что в Польше употреблялась монета «скоты», скот содержал 24-ю часть гривны; происхождение слова «скот», по мнению Каченовского, германское. В февральской книжке того же года Каченовский поместил «Пробные листки из руководства к познанию истории и древностей Российского государства»; в примечании автор говорит: «За четыре года перед сим я начал было писать учебную книжку русской истории, которая должна была служить руководством для меня самого и для моих слушателей, с тем чтоб они могли поверять предлагаемые истины в самых источниках. Сперва жестокая болезнь заставила меня прекратить сие занятие; потом, обозревая предмет свой с разных сторон, я находил план свой недостаточным; напоследок, прочитавши напечатанные в прошлом году весьма важные касательно российских древностей критические изыскания ученого — проницательного, трудолюбивого Лерберга, которого преждевременную утрату никогда не перестанет оплакивать Российская Клио; прочитавши глубокие исследования почтеннейшего Эверса, достойного профессора Дерптского университета, я принужденным нахожусь предпринять другие меры. Несмотря на то, авторским самолюбием убеждаюсь несколько пробных листков сообщить читателям «Вестника Европы»».

В объявлении о подписке на «Вестник Европы» 1818 года видим предметы занятий редактора как ученого, профессора. «Между прочим, внимание редактора, — говорит он в объявлении, — и впредь будет направляемо на предметы, любезные патриоту, на старину отечественную, на историю российского и родственных ему языков, на деяния и обычаи народов славянских».

Явилось знаменитое творение Карамзина: «История Государства Российского». Подробного, всецелого разбора его нельзя было ожидать от современников, ибо другого Карамзина между ними не было; могли явиться и явились замечания относительно общего взгляда историографа на свой предмет; явились замечания специалистов относительно некоторых вопросов древностей русских; явились замечания относительно некоторых слишком резких и односторонних приговоров Историографа известным лицам историческим. Карамзин не отвечал на замечания; это оскорбляло авторов их, видевших в таком молчании презрение и презрение незаслуженное, потому что почти все замечания были справедливы; ответы же друзей Карамзина только вредили ему своею заносчивостью, своими непонятными уже в наше время притязаниями на непогрешимость произведения. Отсюда уже более резкий, менее приличный тон в некоторых дальнейших замечаниях на «Историю Государства Российского»; Каченовский разобрал предисловие и допустил в свой журнал замечания Ходаковского, Арцыбашева, это доставило ему от известной стороны название Зоила, но заслужил ли он это название?

Каченовский решился разобрать предисловие, ибо, по собственным словам его, он хотел оказать внимание к достопамятному феномену отечественной литературы. В предисловии есть план, и план превосходный, а особливо в первой половине, по мнению Каченовского: «Если бы не высказалась в предисловии посторонняя, не принадлежащая к делу мысль о Шлёцере; то я смело назвал бы его *совершенным* за легкость в ходе, за связь в главных мыслях. Ты поверишь истине слов моих; ибо знаешь, как мало боюсь ваших столичных словесников-антикарамзинистов: они для меня столь же забавны, как и господа ультракарамзинисты, сие братство рыцарей, обрекших себя на слепое, безответное служение своему единственному просветителю».

Высказавши свое мнение относительно плана предисловия, Каченовский вполне убедительно опровергает одностороннее суждение Историографа о знаменитых историках древности; опровергает мнение, что древняя русская история до Иоанна III лишена интереса и может читаться только добрыми россиянами, обязанными иметь в этом случае более терпения, чем иноземцы и проч. Но беспристрастие мнений Каченовского о Карамзине вполне выражается в его разборе XII тома Истории Государства Российского[1].

«Немногие писатели, — говорит Каченовский, — столь самовластно господствовали над умами современников, как наш покойный Историограф, и немногие столь постоянно удерживали за собой право завидного повелительства в области литературы. Позволялось не иметь понятия о бессмертных образцах древней словесности, об источниках знаний и вкуса: но не читать Карамзина значило не любить никакого чтения; не говорить о Карамзине было то же, что не пламенеть усердием к его славе; говорить об нем без восторга было то же, что обнаруживать (мнимое) зложелательство к его особе; находить погрешности в его писаниях значило обратить себя в жертву ядовитым ветренникам, или даже исступленным гонителям... И с писателем нашим сбылось то, что сказано Дюком де ла Рошфуко о модных людях: «La pluspart des gens ne jugent les hommes que par la vogue qu'ils ont, ou par leur fortune»[2] — сбылось, но единственно в отношении к ценителям его литературных произведений; ибо поверье моды проходит, а Карамзин *бессмертен.*

Так, бессмертен Карамзин! Эта самая охота говорить о нем, хвалить или порицать его сочинения, находить в них красоты или недостатки; самые несогласия, споры, вражда между разномыслящими, покровительство с одной стороны, гонение с другой, самые подозрения, падающие на одних в непочтительности, на других в привязанности к имени, славе и творениям Карамзина — все это не служит ли неопровержимым доводом, что мощный талант его собственной силой достиг недосягаемой высоты на горизонте литературы отечественной, воссиял на нем и привлек на себя взоры современников? Подобные в мире явления

[1] Статья написана в форме письма от киевского жителя к его другу. («Вестник Европы». 1819. Январский и следующие номера).

[2] «Вестник Европы». Сентябрь. 1829 // «Большинство людей судят о других не иначе как по их славе и состоянию» (Пер. с фр.).

сохраняются веками и передаются отдаленному потомству. Надобно, чтоб какой-нибудь вес имели голос и мнения людей, которые при жизни писателя знаменитого страшились даже мысли обольщать его хвалами, искренними или притворными, а по кончине его не замедлили принять сердечное участие в общем сетовании. Говорить неприятные истины о трудах живого автора без сомнения не выгодно по многим отношениям, но и нисколько не зазорно, если суждения подкреплены доказательствами; отдать должное умершему, sine ira et studio[3], когда ни опасения, ни надежды не препятствуют действовать с благородной свободой, есть приятнейшая обязанность для человека, привыкшего быть *самим собою* всегда, неизменно.

Последуем сему правилу и скажем прямо: Карамзин не имеет себе равного на трудном поприще бытописателя в нашем отечестве — так, и виновны перед памятью незабвенного, во-первых, те, которые на славном имени его еще покушаются основывать неблагонамеренные свои виды, виновны легкомысленно произносящие решительный суд о трудах его, не помышляя ни о предках, ни о потомках, не принимая в соображение ни состояния наук в отечестве нашем, ни начала словесности с возможными успехами, ни хода происшествий как причин действующих; виновны изрекающие приговор свой о трудах ума созревшего по опытам игривой молодости; виновны с похвалами своими и порицаниями те, которые, не зная обязанностей бытописателя, нашего современника, не изучивши источников, даже не читавши самой «Истории Государства Российского», ни с критической разборчивостью, ни поверхностно, играют легковерием людей, готовых всем обольщаться.

Опыт, смею думать, многим доказал уже справедливость слов незабвенного Историографа, который находит удовольствие предпочтительно в труде своем, надеясь быть полезным, то есть *сделать российскую историю известнее для многих, даже и для строгих судей своих*. Мы знаем людей, кои изучая бессмертный труд Карамзина по любви к самым истинам историческим, по привычке упражняться в литературе существенно полезной, по предпочтению к хорошему слогу автора, наконец, даже по самой обязанности, от часу более убеждались и в значительности новых своих приобретений, и в том, сколь должны быть они важны впоследствии. Omnia vincit labor improbus[4].

Трудился Карамзин, преодолевал великие препятства — для чего? Без сомнения для того, чтобы проложить путь младшим подвижникам. Довольно сделано им для своей славы, для пользы отечеству; но его подвиг не может служить предлогом к бездействию для нас, для сынов наших и внуков».

Указывая на лучшие места XII тома, Каченовский называет их *лебедиными песнями*; по его словам, «они очаровывают душу прелестью гармонии, возвышающей все другие принадлежности слога изящного — грамматическую исправность, искусный выбор и сочетание слов, яркую

[3] Без гнева и пристрастия (лат.). (Прим. ред.)
[4] Все побеждает упорный труд (лат.). (Прим. ред.)

живость колорита, движения, наконец, заманчивую ясность смысла и удовлетворительную выразительность». Но, исчисливши эти лебединые песни, Каченовский продолжает: «Занимаясь яркими красотами, которые сами собою представляются взорам читателя, не упустим из виду и *теней*. У писателей великих все поучительно — и совершенства их и недостатки. Некогда, разбирая Похвальные слова Ломоносова, отваживались указывать на темные места в сем лучезарном солнце и никто не подумал вменять в уголовную вину того, что не воспрещается ни в одном из кодексов словесности. Смеем надеяться равной пощады...»

Отыскивая эти *тени* в XII томе «Истории Государства Российского», Каченовский останавливается на неудовлетворительном объяснении причин брака Василия Шуйского в преклонных летах; не нравится ему и то, что автор дает слишком много места в своей книге похождениям Марины Мнишек. «Никто не станет спорить, — говорит Каченовский, — что жизнь панны Мнишковны богата похождениями, из которых все могут быть чрезвычайно занимательны в романе, казаться сносными в биографии, но что весьма немногие из них годятся для «Истории Государства Российского» и то с условием, чтобы они заняли место в приличной перспектике».

Каченовский сомневается, должна ли быть допущена в «Историю Государства» осада Троицкого монастыря Сергиева, со всеми подробностями и с преувеличенными обстоятельствами описанная Палицыным, а вслед за ним, с его же слов, и другими. Незабвенные подвиги защитников и заманчивый рассказ Историка говорят в пользу осады; несоразмерность описания, ненужные и едва ли справедливые подробности, слабая связь между действиями обороны монастыря и ходом главных происшествий, кажется, требовали бы, чтоб этот многосложный эпизод занимал в книге меньшее пространство.

Таким образом, Каченовский указывал уже на преувеличенные обстоятельства и едва ли справедливые подробности, которые оказались именно такими вследствие новейших открытий и исследований.

Воздавая должное знаменитому творению Карамзина, Каченовский воздал должное и предшественнику его, трудолюбивому, добросовестному и умному князю Щербатову; отзыв его о последнем совершенно верен, нисколько не преувеличен. Вот этот отзыв: «Несмотря на расстояние времени между окончанием одного труда и началом другого («Истории» кн. Щербатова и «Истории» Карамзина), несмотря на различие в средствах, в силах ума, в учености Карамзина и князя Щербатова, оба писателя имеют много общего между собою: первый весьма часто следовал системе второго; имея в распоряжении своем пособия новейшие, последовал источникам князя Щербатова... Труд князя Щербатова, забытый публикой, никогда не перестанет быть полезным и никогда не сделается излишним для изучающего историю нашего отечества: в нем разбросаны суждения, соображения и виды, нередко обнаруживающие ум отлично сметливый прилежного наблюдателя, догадливость необыкновенную в человеке, не проникавшем до глубины святилища Муз и Граций. Томы его, обогащенные выписками, указаниями на источ-

ники, представляют еще и важное удобство приискивать желаемые предметы — выгоду, которой дорожат записные подвижники словесности, обрекшие себя на терпение, не побеждаемое всеми возможными претковениями неправильного, неровного, вялого, бесцветного и бесхарактерного слога».

Таково было мнение Каченовского о величайшем явлении в русской исторической литературе сравнительно с предшествовавшими историческими трудами. Обратимся опять к собственным трудам профессора на том же поприще и на поприщах смежных, в какой мере они появлялись в «Вестнике Европы» и в других повременных изданиях. В 1820 году, в «Вестнике Европы» Каченовский высказал следующее замечательное мнение о народных песнях по поводу издания сербских песен Вука-Стефановича: «Кто хочет узнать короче нравы, обычаи и почти все, что составляет национальность или отличительные признаки целого народа, тот внимательно читай или слушай его песни, те песни, которые переходят из уст в уста, передаются от предков потомкам, вместе с голосами сохраняются от едкости времени, повторяясь в массе народа. Сербы нам не чужие люди. Сербы народ исторический; они имели политическое бытие, оставившее драгоценные воспоминания для потомства».

В 1822 году Каченовский напечатал замечания на изданные Калайдовичем «Памятники словесности XII века» и высказал сомнения свои насчет возможности сочинений Кирилла Туровского; в том же году напечатал розыскание по поводу старинной золотой медали, с выводом, что это амулет; в 1826 году «Исторические справки об Иоанне, экзархе Болгарском», с следующим выводом: «То достоверно, что он (Иоанн экзарх) жил или в конце XII века, или в воображении писцов трудолюбивых и простодушных». В объявлении об издании «Вестника» на 1827 год издатель опять говорит: ««Вестник Европы» отныне преимущественно будет заключать в себе историю и статистику империи Российской, Царства Польского и Великого княжества Финляндского как предметы, которым редактор особенно посвящает свои труды по обязанностям службы, также древнюю и новую словесность нашего и прочих славянских языков, деяния и обычаи народов нам соплеменных».

Согласно с этим объявлением в следующих годах «Вестника Европы», равно как в издании, сменившем этот журнал, в Ученых записках Московского университета[5], помещены самые замечательные исследования Каченовского о русской истории: 1) «О кожаных деньгах, с примыкающим сюда исследованием: О способе узнать век и значение старинных монет русских»; 2) «О баснословном времени в российской истории»; 3) «О Русской Правде»». Все эти исследования находятся в тесной связи друг с другом, все имеют одну цель.

В XVIII и первой четверти XIX века было много сделано для русской истории: много собрано материалов, предложены образцы их критической обработки, указаны важнейшие, характеристические явления, сделаны попытки для их объяснения; наконец, история явилась в изящном

[5] Издание «Вестника Европы» прекратилось в 1830 году

рассказе, доступном и привлекательном для всех. Но когда «История Государства Российского» блестящим образом закончила труды XVIII века, XIX век выставил новые требования. До сих пор главным препятствием к уразумению хода отечественной истории служило то обстоятельство, что различные эпохи ее изображались одинакими красками, события времен давних представлялись, характеры действующих лиц в этих событиях оценивались по понятиям времен новых; на историю смотрели преимущественно как на художественное словесное произведение и потому старались изображать события и лица украшенно, часто в ущерб простоте и правде. Следовательно, первое дело, которым должна была заняться теперь наука, состояло в том, чтоб уничтожить это смешение эпох, выставить каждую из них с соответствующим ей характером, уяснить таким образом постепенный ход истории, преемство явлений, естественный, законный выход одних явлений из других, последующих из предыдущих.

Согласно с требованиями времени Каченовский высказал следующее главное положение: «История Света есть цепь великих происшествий: первое звено ее в деснице Всемогущего, все другие — у пределов бытия мира. Каждое происшествие в связи с предыдущим и последующим; каждое имеет свою причину и свои следствия. Событий отдельных нет в природе». Согласно с требованиями времени, Каченовский задал вопрос: «Так ли изображали до сих пор древнюю Русь, как следовало?» Чтоб решить этот вопрос, надобно было прежде всего заняться оценкой трех явлений, которые лучше всего могли дать понятие о состоянии древнего русского общества, а именно, во-первых, решить вопрос о древнейшем литературном памятнике, о древнейшем источнике русской истории, о начальной летописи; во-вторых, решить вопрос о древнейшем законодательном памятнике, о так называемой «Русской Правде»; в-третьих, наконец, определить экономическое состояние древнего русского общества, решивши вопрос об орудии мены, в нем употреблявшемся. Отсюда три важнейшие для Каченовского вопроса: о летописи, о «Русской Правде», о кожаных деньгах.

Ответом на первый вопрос послужило исследование о баснословном времени в российской истории. Здесь определен древнейший источник летописей, который в настоящее время служит предметом обильных важными выводами исследований: указаны сшивки, описания одного события двумя, иногда тремя различными образами, неверности летосчисления; признано вероятным существование основы летописи — монастырских записок в XII, даже в XI веке. Здесь мы не можем не привести важного замечания Каченовского относительно характера древних наших памятников; «Всякая рукопись тех веков есть *особенная* книга, единственная в своем роде».

В исследовании о «Русской Правде» Каченовский занимается вопросами: «Могла ли «Русская Правда» явиться в XI в., во времена Ярослава I? Тогдашнее состояние Руси, рассмотренное в связи с современным состоянием других европейских государств, могло ли условливать подобное явление?» Важная заслуга Каченовского, в которой не отказы-

вают ему даже отъявленные враги его, состояла в старании сближать явления русской истории с однохарактерными явлениями у других и, что всего важнее, преимущественно у славянских народов, причем отрицание скандинавского происхождения Руси освобождало от вредной односторонности, давало простор для других разнородных влияний, для других объяснений, от чего наука много выигрывала.

Вопрос о *кожаных деньгах,* так долго и сильно занимавший Каченовского, имел для него важное значение, именно по связи с его главным вопросом. Кожаных денег древней Руси иначе не могли представить себе, как в виде нынешних ассигнаций; отсюда рождался вопрос: было ли древнее русское общество до такой степени развито, чтоб в нем могло произойти подобное явление? Предположить существование ассигнаций в XI, XII веке значило приравнять эти века к XVIII и XIX: отсюда понятно старание Каченовского решить вопрос проще, сообразнее с состоянием цивилизации в древности.

Таков был Каченовский как ученый. Распространяться о нем как о человеке не нужно: все знают, что труженическую жизнь честного человека он окончил тихой смертью праведника.

ИЗБРАНИЕ НА ПОЛЬСКИЙ ПРЕСТОЛ НАСЛЕДНОГО ПРИНЦА ШВЕДСКОГО СИГИЗМУНДА ВАЗЫ*

XVI век приближался к концу; но вопросы, поднявшиеся в этот знаменитый век, далеки были еще до решения; Франция продолжала волноваться религиозными усобицами; Германия готовилась к страшной борьбе, бывшей следствием того же религиозного раздвоения и в которой должны были принять участие почти все государства Европы; в Швеции религиозный вопрос был на первом плане, хотя дело уже явно клонилось к торжеству протестантизма; в Польше, наоборот, брал верх католицизм, но это торжество и религиозная нетерпимость, развитая иезуитами, вызывали другую религиозную борьбу, более опасную, борьбу между последователями церквей Восточной и Западной; на престоле Московском сидел последний из Рюриковичей, и в глазах его уже боролись две фамилии, Годуновы и Шуйские, которым суждено было на короткое время занимать престол Московский и погибнуть в бурях Смутного времени.

В таком положении была Европа, когда в 1586 году умер Стефан Баторий, король Польский. Баторий принадлежал к числу тех исторических лиц, которые, опираясь на свои личные силы, решаются идти наперекор уже установившемуся порядку вещей, наперекор делу веков

* Русский вестник. 1856. Т. 5. № 9. Кн. 1. С. 5—38.

и целых поколений, и успевают на время остановить ход неотразимых событий; эти люди показывают, какое значение может иметь в известное время одна великая личность, и в то же время показывают, как ничтожны силы одного человека, если они становятся на дороге тому, чему рано или поздно суждено быть. Явившись случайно на польском престоле, Баторий предположил себе целью утвердить могущество Польши, уничтожив могущество Московского государства, и, по-видимому, достиг своей цели; победил, унизил Иоанна IV, отнял у него балтийские берега, обладание которыми было необходимым условием для дальнейшего преуспеяния, для могущества Московского государства; но когда он вздумал нанести последнему решительный удар, то внутри собственного государства встретил тому препятствия, приготовленные веками и сокрушить которые он был не в состоянии: то было могущество вельмож, преследующих свои личные цели и согласных только в одном стремлении — не давать усилиться королевской власти. Баторий действовал не один; он приблизил к себе в сане гетмана и канцлера самого даровитого и самого образованного из вельмож польских, Яна Замойского; но и соединенные усилия этих двух знаменитых людей не могли ничего сделать.

Дело Зборовских, напоминающее римских Катилин, Клодиев и Милонов, дает нам самое ясное понятие о состоянии Польши в описываемое время. В 1574 году при короле Генрихе у самого королевского замка произошла схватка между двумя врагами, Самуилом Зборовским и Яном Тенчыньским, из которых каждый был окружен своей дружиной; вместе с Тенчыньским находился приятель его Андрей Ваповский, который был смертельно ранен в схватке. Зборовский приговорен был за это к вечному изгнанию из отечества; но он мало думал об исполнении приговора: набравши наемную дружину, он разъезжал с ней по польским областям, правители которых или не смели, или не хотели остановить его. С ним в сношениях были братья его Христоф и Андрей, которые, видя нерасположение к себе короля и Замойского и опасаясь разорения вследствие своей расточительности, готовы были на самые отчаянные средства, чтоб только произвести полезную для себя перемену в государстве: два раза давали знать королю о замыслах Зборовского на его жизнь.

В таком положении находились дела, когда Замойский, в звании старосты Краковского, отправился в Краков для отправления судных дел; на дороге получил он весть, что Самуил Зборовский другим путем приближается также к Кракову и явно хвалится, что въедет в город в одно время с Замойским. Когда Замойский остановился в Прошовицах, месте, принадлежавшем уже к Краковскому старосту, Зборовский остановился в Подоланах, в миле от Прошовиц, и при солнечном закате отправился в Печму, к одной из своих родственниц, оставивши дружину в Якубовицах, деревне между Прошовицами и Печмою; а в Кракове между тем толпа буйной молодежи сбиралась ударить на Замойского при его въезде в город, в то самое время, как Зборовский ударит на него с тылу. Узнавши, что Зборовский один в Печме, Замойский отправил отряд пехоты под начальством верных ему людей захватить его там

ночью, что и было легко исполнено; опираясь на право старост — приводить в исполнение судные приговоры, Замойский велел казнить смертью Зборовского, ибо за нарушение приговора о вечном изгнании нарушителю назначена была смертная казнь.

Этот поступок канцлера возбудил страшную бурю, потому что у Зборовского была большая партия, да и кроме нее было много недовольных королем и Замойским. Выставляли сомнение относительно права Замойского казнить смертью Самуила; говорили, что хотя король Генрих и осудил последнего на вечное изгнание, однако чести у него не отнял, следовательно, его нельзя было казнить смертью; на это возражали, что если осужденному на вечное изгнание не будет грозить смерть за нарушение приговора, то что будет мешать ему возвратиться на родину? Что на изгнание осуждают именно тех, которые по вине своей дошли до смертной казни. Между прочими Зборовским удалось привлечь на свою сторону Станислава Гурку, воеводу Познанского, пользовавшегося самым сильным влиянием в Великой Польше. Гурка до сих пор был в неприязни с Зборовскими и в дружбе с Замойским; но в это время умер брат его, после которого он просил себе у короля староства Яворовского; того же староства просил Замойский и получил; тогда раздосадованный Гурка перешел на сторону Зборовских.

Приближался сейм. На предварительных сеймиках уже обнаружились волнения. На сеймик в Прошовицы приехал Христоф Зборовский из Моравии; когда Николай Зебржыдовский, родственник Замойского, входил в церковь, раздались выстрелы; когда начались совещания, Зборовский с приятелями подняли громкие голоса против Батория: нарекали на могущество Замойского, оплакивали смерть Самуила Зборовского, называли неслыханным тиранством суд, которым правительство грозило двоим другим Зборовским. Христоф Зборовский прямо взводил на Замойского обвинение, что тот хотел его отравить: но человек, на которого Зборовский указывал, как на подосланного Замойским отравителя, высвободившись из-под власти Зборовского, объявил, что последний обещаниями, угрозами и пытками заставил его признать себя виновным в умысле и указать на Замойского, как на подстрекателя к преступлению.

В Великой Польше на сеймике, когда Ян Зборовский, каштелян Гнезенский, в речи своей осыпал бранью Замойского, и краковский каноник Петровский говорил за последнего, то воевода Познаньский Гурка прервал Петровского, за ним подняла крик вся сторона Зборовского и раздались выстрелы. На других сеймиках происходили подобные же волнения. Вследствие этого на большой сейм съехались толпы в полном вооружении, как на войну. Король приехал в сопровождении дружины Замойского, большей части сенаторов Литовских и князя Константина Острожского. Начался суд над Христофом Зборовским, который почел за лучшее не явиться на него лично: кроме означенных обвинений в посягательстве на жизнь королевскую, его обвинили еще в сношениях с Московским двором, клонившихся ко вреду Польши, и в подобного же рода сношениях с козаками. Ян Зборовский и Ян Немоевский, объявившие себя защитниками обвиненного, так слабо его защищали, что суд

приговорил Христофа к лишению чести, прав шляхетства и имущества. Но этот приговор, разумеется, не утишил, а только еще более раздражил сторону Зборовских.

Несмотря на эти внутренние волнения, Баторий не оставлял своего замысла — нанести решительный удар Московскому государству, отнять у него по крайней мере Смоленск и Северскую землю. Вступление на престол слабого Феодора и смуты, раздоры боярские, немедленно обнаружившиеся, представляли, по его мнению, самый удобный к тому случай. Посол его Лев Сапега, с целью застращать новое московское правительство, объявил, что султан приготовляется к войне с Москвой; требовал, чтоб царь дал королю 120 тысяч золотых за московских пленников, а литовских освободил без выкупа, на том основании, что у короля пленники все знатные люди, а у царя простые; чтоб все жалобы литовских людей были удовлетворены и чтоб Феодор исключил из своего титула название «Ливонского».

Новое московское правительство наследовало от старого сильное нежелание воевать с Баторием, и потому решено было употребить все усилия, чтоб продлить перемирие. Государь приговорил с боярами, как венчался царским венцом: литовских пленников всех, что ни есть, отпустить в Литву даром, а о своих пленниках положить на волю короля Стефана: если Стефан-король государевых пленников и не отпустит, то государева правда будет на нем и явна будет всем пограничным государям; захочет Стефан-король пленных продавать, то их выкупить. Сапеге объявили об этом решении, объявили, что 900 пленных уже освобождены и что ждут такого же поступка и от Стефана; что новым жалобам литовских подданных будет удовлетворено; но что касается до жалоб, относящихся еще ко временам царя Иоанна, то это дела старые, о них припоминать непригоже, были в то время обиды и русским людям от Литвы, но об них государь не упоминает; Сапеге объявили также, что название «Ливонского» Феодор наследовал от отца своего вместе с царством. Посол уехал, заключив перемирие только на 10 месяцев. Еще до его отъезда отправлен был к Баторию посол Андрей Измайлов с известием о воцарении Феодора; Измайлову дан был наказ вести себя очень умеренно, уступать относительно церемоний: к панам не ходить, грамоту отдать самому королю; но если будут упрямиться, станут непременно требовать, что ему быть у панов, то ему к панам идти, только речей не говорить и грамоты верющей не давать. Прежде наказывалось настрого послам, чтоб они сначала речь говорили и грамоту подали, а потом уже шли к руке королевской; но теперь Измайлову позволено было согласиться идти наперед к руке. Если король не спросит о здоровье царском и против поклона Феодорова не встанет, то посол должен сказать: «Царь Иван Васильевич при поклоне королевском вставал, а Стефан-король не встает, и то ведает Стефан-король, что так делает мимо прежнего обычая», — а больше того ничего не говорить.

Король действительно против государева имени и поклона не встал; Измайлов заметил, как ему было приказано, и тогда Стефан встал и шапку снял. Измайлов представил опасную грамоту на великих литов-

ских послов, которые должны были ехать в Москву для заключения мира; но паны радные отвечали ему: «Король к государю вашему послов своих слать не хочет потому: государя нашего посол Лев Сапега и теперь у государя вашего на Москве, а теснота ему великая — где стоит, тот двор огорожен высоко, и малые щели позаделаны, не только что человека нельзя видеть, и ветру провеять некуда; с двора литовского человека никакого не спустят, корм дают дурной; литовского посла держат хуже всех других послов; в такое государство никто не захочет идти в послах, а государь наш силой никого не пошлет».

Измайлов отвечал: «Это слово пронес какой-нибудь недобрый человек; послы разных государств, которые теперь на Москве, стоят по разным дворам и береженье к ним крепкое для того, чтоб между ними ссоры не было; а если б других государств послов на Москве не было, то вашему послу было бы всех вольнее; крымский посол и гонцы стоят за городом не близко, двор для них особый сделан, и со двора их никуда не спускают». Один из панов, молодой Радзивил Сиротка, говорил с запальчивостью: «Государя нашего посол теперь на Москве, и государь бы ваш отпустил его, да за ним бы своего посла к королю прислал, и государь наш станет советоваться со всей радой и землей, как ему с государем вашим вперед быть. Государь ваш молод, а наш государь стар, и государю вашему пригоже к нашему государю писаться младшим братом, да и Смоленска и Северских городов государь ваш поступился бы». Измайлов отвечал, что таких безмерных речей говорить непригоже. Когда все паны вышли, остался старик Гарабурда; он подошел к Измайлову и сказал: «Видел, как молодые-то паны чуть-чуть дела не разодрали, а старых слушать не хотят». Измайлов отвечал, что старики должны наводить молодых на доброе дело, на мир; а если король, послушавшись молодых, мира не захочет, то государь, надеясь на Бога, воевать готов.

Гарабурда, зная хорошо расположение умов в сенате и шляхте, уверял посла, что будет мир, хотя король не переставал обнаруживать неприязненного расположения к Москве; на отпуске Измайлову объявили, что Баторий опасной грамоты не принимает, новых послов в Москву для переговоров о мире не отправит; обедать Измайлова король не позвал, отговариваясь множеством дел. Измайлов доносил своему правительству, что король тотчас по смерти Иоанна IV хотел объявить войну Москве; но рада отсоветовала, и Земля на военные издержки давала только половину против того, чего требовал Баторий, потому что в Польше неурожай. Из пленников московских король прислал царю только двадцать человек; их привез посланец Лука Сапега, которому бояре велели объявить: «Царь Феодор освободил пленных литовцев до 900 человек, а король прислал ему за это двадцать человек, самых молодых людей, только один между ними, Мещерский князь получше, да и тот рядовой, а доброго сына боярского нет ни одного». Посланец отвечал на это, что король после отпустит и всех пленных, только оставит на окуп 30 человек. Царь написал по этому случаю Баторию: «И вперед бы между нами этого не было с обеих сторон, что християн

продавать из плена на деньги и на золотые», и приводил в пример свой поступок по смерти отцовской.

Но Баторий не уступал ни в чем; в Москве также не хотели уступать, но не хотели и раздражать короля, ускорять опасный разрыв. Приставу, бывшему при Луке Сапеге, дан был такой наказ: если литовский посланник начнет речи о раздоре, станет говорить о войне, то отвечать ему: «Не хитро разодрать, надобно добро сделать; а тем хвалиться нечем, что с обеих сторон начнет литься кровь християнская; Москва теперь не старая, и на Москве молодых таких много, что хотят биться и мирное постановленье разорвать, да что прибыли, что с обеих сторон кровь християнская разливаться начнет».

Не надеясь дождаться послов от Батория, отправили к нему в начале 1585 года великих послов, боярина князя Троекурова и думного дворянина Безнина, которым дали наказ: к руке королевской прежде поклона не ходить; но если принудят, то идти, сказавши: «Это делается новой причиной, не по-прежнему обычаю». От всяких людей уклоняться, чтоб ни с кем не говорить ни про что, кроме приставов да тех, кого с ответом вышлют; но с приставами и с ответчиками речей не плодить, а говорить гладко, чтоб к делу было ближе. Если станут государя укорять, то говорить: «Того судит Бог, кто государя укоряет», и пойти прочь. Проведывать: рижские немцы королю послушны ли, и королевы люди теперь в Риге есть ли, кто именно и много ли их, и что рижские люди королю с себя дают, и Лифлянская земля на какой мере устроена у Стефана-короля и как ее вперед строить хочет. Когда спросят о шведском короле, отвечать: «Государю нашему над шведским королем и вперед промышлять, сколько Бог помощи подаст». Относительно главного дела, заключения перемирия, послам было наказано: заключите перемирие до того срока, до какого было заключено при царе Иване; если паны станут говорить высоко, и вы отвечайте им высоко же; говорите, что теперь Москва не по-старому, государю у них мира не выкупать стать, государь против короля стоять готов; это большая мера: делайте по ней, когда узнаете, что у короля с панами рознь есть. Если же почаете, что у короля с панами розни большой нет, и уговорить панов по первой мере будет невозможно, то делайте по другой мере, чтоб непременно перемирие с королем взять; если же и по другой мере уговорить будет нельзя, то настаивайте на обсылку, чтоб вам с государем о деле обослаться; если же и на обсылку не приговорите и отпуск вам скажут, то, по конечной неволе, объявите и последние меры, чтоб непременно хотя на малое время заключить перемирье. Послам было наказано также, чтоб они постарались уговорить Тимофея Тетерина и других московских отъезжиков возвратиться в отечество по опасной грамоте, за исключением одного Головина, отъехавшего в последнее время вследствие торжества Годунова над Шуйскими.

Этот Головин сначала очень было затруднил посольское дело, наговоривши королю и без того сильно желавшему войны, что Московское государство, вследствие слабости царя и раздора между боярами, находится в самом бедственном положении, что войскам его сопротивления

ниоткуда не будет: «никто против него руки не поднимет для того: рознь в государевых боярах великая, а людям строенья нет, и для розни и нестроенья служить и биться никто не хочет»; Головин уверял также короля, что Троекуров и Безнин присланы заключить мир на всей королевской воле. Вследствие этих речей король запросил у послов Новгорода, Пскова, Лук, Смоленска, Северской земли и прибавил: «Отец вашего государя не хотел меня знать, да узнал, и он меня не знает, а потом узнает; когда ему буду знаком, тогда с ним и помирюсь, а теперь он меня не знает, и мне зачем с ним мириться?»

Но по-прежнему Баторий встретил сопротивление в сенате и сейме. Король, доносили Троекуров и Безнин в Москву, просил у панов радных и у послов поветных наемных людей и грошей и говорил им: «Не потеряйте сами у себя, пустите меня с Московским воеваться, Бог дает вам государство в руки даром». Послы поветовые не согласились дать королю денег; притом же Троекуров и Безнин распустили слух, что Головину верить нельзя, ибо это лазутчик, подосланный нарочно боярами к Баторию. Паны и шляхта, и без того не желавшие войны, охотно поверили этому слуху. Послы поветовые, по донесениям Троекурова и Безнина, говорили королю: «Как такой нелепости верить, что король куда ни пойдет, все его будет? А люди-то на Москве куда девались? Еще бы Головин приехал к тебе от старого государя, тогда можно было бы верить: старый государь жесток был; а от нынешнего зачем ехать? Теперь государь у них милостивый; ты теперь помирись, да рассмотри: если объявится, что Головин сказал правду, то у тебя война с московским государем и вперед не уйдет». Баторий сердился на послов поветовых, сердился на московских послов, подарков их не взял, обедать не звал, со столом к ним не посылал, стояли они далеко и тесно; но принужден был согласиться на двухлетнее перемирие.

Новое обстоятельство еще более усиливало в это время миролюбивое расположение панов и шляхты к Москве, не могло не действовать и на самого короля. До сих пор Москва должна была со вниманием следить за избраниями королей в Польше, хлопотать о соединении государств или, по крайней мере, о том, чтобы не был избран государь враждебный; но теперь, казалось, наступала очередь Польше и Литве принять такое же положение относительно Москвы: во владениях Батория пронесся слух, и слух очень крепкий, будто австрийские эрцгерцоги хлопочут, чтоб Максимилиан, брат императора, занял престол Московский вместо неспособного Феодора, будто бояре московские уже отправляли по этому делу посольство к императору. Баторию дано было знать из Данцига, что не только Австрийский дом хлопочет об этом, но что в Регенсбурге собрались курфирсты для совещания о средствах, как бы доставить Максимилиану престол Московский. Если бы это дело удалось, то Польше грозила опасность быть окруженной владениями Австрийского дома; тогда, в случае смерти Батория, она поневоле должна была бы также выбрать кого-нибудь из принцев этого дома, чего не хотел Баторий, Замойский и очень многие вместе с ними. Вот почему решено было отправить в Москву известного уже и приятного здесь, притом же

православного Гарабурду с предложениями, которые должны были противодействовать предложениям австрийских принцев.

Гарабурда начал посольство жалобами на притеснения, которые терпели литовские купцы в московских областях, и на то, что царь не выпускает из плена немцев ливонских. Ему отвечали жалобами, что король Стефан выпустил из плена только молодых людей, детей боярских, стрельцов, пашенных мужиков; относительно ливонских немцев отвечали, что некоторые вступили в службу царскую и живут на поместьях, а иные, торговые люди, торгуют вместе с торговыми людьми московскими, что ни тех, ни других отпустить непригоже. Когда начались переговоры о мире, начались обычные запросы, то Гарабурда сказал: «Еще о Новгороде да о Пскове можно речь (говорю) оставить, но за Смоленск и Северскую землю государю нашему стоять крепко». Бояре отвечали: «И прежде такие слова много раз говорились, да потом эти речи оставляли же; и драницы с одного города государь наш не поступится». После этого Гарабурда приступил к выполнению главного своего поручения и сказал боярам: «Паны радные прислали со мной к преосвященному отцу, Дионисию митрополиту, и к вам, думе государской, грамоту. Что идут речи между вами о городах и волостях, и те речи ни к чему не поведут: как можно этому статься? Чего мы у вас просим, то можно ли вам отдать без кровопролития? А что вы будете у нас просить, того нам без кровопролития ничего отдать нельзя. И потому нам бы эти речи с обеих сторон отставить, и был бы государь ваш с нашим государем в докончаньи на том: кто что теперь за собою держит, тот то и держи, и никто б ни у кого ничего не просил, чего без кровопролития взять нельзя, и чем быть кровопролитию, лучше брат у брата ничего не проси. Дай Господи многолетие обоим государям; но если Бог по душу пошлет Стефана-короля и потомков у него не останется, то корону польскую и великое княжество Литовское соединить с Московским государством под государскую руку: Краков против Москвы, и Вильну против Новгорода. А пошлет Бог по душу вашего царя, то Московскому государству быть под рукой нашего государя, а другого государя вам не искать. Это великое дело мне поручено приговорить и записи написать».

Бояре отвечали: «Нам про государя своего таких слов, что ты говорил, и помянуть не пригоже; это дело к доброму делу не годится». Бояре доложили о своих переговорах государю: решено было в думе, что государю пригоже помириться с Стефаном на том, что теперь за кем есть; но что вести переговоры о смерти государевой не пригоже. Гарабурда, однако, не отставал от своего предложения, причем начал уже переменять условия, убедившись, вероятно, на месте, что Феодору не грозит близкая смерть: «Пошлет Бог по душу государя вашего, то государство Московское соединить с королевством Польским и великим княжеством Литовским, и быть им вместе под рукой государя нашего; государства разные, а главу бы одну над собой имели. Если же Стефана-короля не станет, то нам, полякам и литовцам, вольно выбирать себе в государи вашего государя, вольно нам его и не выбирать». Бояре отвечали на это: «Мы с тобой об этом и не говорили: как нам про

государя своего говорить? У нас государи прирожденные изначала, и мы их холопи прирожденные; а вы себе выбираете государя: кого выберете, тот вам и государь. Ты теперь говоришь мимо прежней своей речи, что третьего дня с нами говорил, ворочаешь речь иным образом, и нам с тобой об этом говорить нечего. Мы про твои речи митрополиту и всему собору сказывали, и митрополит со всем собором нам запретил духовно, чтоб мы отнюдь об этом не говорили. Как нам про государя своего и помыслить это, не только что говорить? Мы и про вашего государя говорить этого не хотим, а вам воля говорить и мыслить про своего государя. Ты, посол великого государя, пришел к великому государю нашему и такие непригожие слова говоришь о их государской смерти! Кто нас не осудит, когда мы при государе, видя его государское здоровье, будем говорить такие слова?» Гарабурда отвечал: «Вижу, что вы сердитесь; сказываете, что митрополит и попы запрещают вам говорить о том деле, что я вам объявил; но я говорю то, что со мной наказано. И если это дело не сойдется, то мне на докончанье без уступок с вашей стороны делать не наказано». Бояре повторили, что и драницы государь не даст, а просит государь у короля искони вечной вотчины своей — Киева с уездом и пригородом и прочих вотчин своих; бояре говорили Гарабурде с сердцем: «Если с тобой только и дела, что ты говорил, то не за чем было тебе с этим и ездить; если посол не однословен, то чему верить?», а приставу было наказано говорить послу: «Теперь Москва не старая: надобно от Москвы беречься уже не Полоцку, не Ливонской земле, а надобно беречься от нее Вильне».

Гарабурда, видя неудачу и видя, что его заискивания произвели перемену в тоне у бояр московских и у пристава, чтоб сделать что-нибудь, предложил съезд великих людей на границах для постановления вечного мира. Бояре, имея постоянно в виду выиграть время, согласились на съезд, но с условием продолжения срока перемирия; они говорили Гарабурде: «Михайла! Это дело великое для всего христианства; государю нашему надобно советоваться об нем со всей Землей, сперва с митрополитом и со всем Освященным собором, а потом с боярами и со всеми думными людьми, со всеми воеводами и со всей Землей; на такой совет съезжаться надобно будет из дальних мест». Гарабурда отвечал, что для продолжения перемирия ему наказа нет; тогда бояре сказали ему: «Так какое же с тобой дело? Приехал с бездельем, с бездельем и отъедешь». Гарабурда действительно поехал ни с чем; он сказал боярам о слухе, что они посылали к эрцгерцогу Максимилиану с предложением престола; в ответ на это бояре написали к панам: «Сильно раздосадовало нас, что какой-то злодей изменник затеял такие злодейские слова».

Но продлить перемирие считали по-прежнему необходимым в Москве, и князь Троекуров вторично отправился к Баторию, которого нашел в Гродне. Паны теперь, в свою очередь, осердились на бояр за отказ принять их предложение о соединении государств; они обратились к Троекурову с бранчивой речью:

«Мы бояр государя вашего, братию свою, кормим хлебом, а они нам против нашего хлеба мечут камень. Рассуди сам, не камень ли это? Мы

усердно просили нашего государя, и по нашим просьбам он по сие время с государем вашим не воюет. Вперед мы государю вашему, боярам и всей Земле добра хотим, точно так же как и своей Земле; а бояре пишут: кто начнет недружбу, против того государь ваш стоять готов, да пишут, чтоб государь наш поотдавал вашему государю свои искони вечные вотчины и что вновь взял, и после этих статей пишут, чтоб мы государя своего наводили на вечную приязнь! Рассуди сам, как мы можем такую грамоту поднесть своему государю? Мы и между собой такой грамоте дивуемся, как это бояре не знают, что над вашим государством по грехам сделалось? Потомков у государя вашего нет; а каков ваш государь от природы, мы знаем: есть в нем набожность, а против неприятелей биться его не станет. На Москве, что делается, то мы также знаем: людей нет, а кто и есть, и те худы, строенья людям нет, и во всех людях рознь. Бояре думают, что они себе пособляют; а они только дело портят: в нашей земле давно ведомо, что бояре ваши посылали к цесареву брату от себя посла. Но цесарю с вашим государством, что сошлось? Цесарь теперь и сам себе пособить не умеет; и смотря на эту пересылку с цесаревым братом, многие государи домогаются и промышляют о вашей земле; а Турскому у вас же просить Астрахани и Казани, а Перекопский вас же всегда воюет и вперед воевать хочет; а черемиса ваша вам же недруги. И у бояр где ум? Пишут, что государь ваш против всех недругов стоять готов, и просить запросов не стыдятся! Речи ваши государю нашему ничего доброго не принесли, только лишь сердцу его надсада. Теперь мы не только государя своего не будем просить, чтоб был с государем вашим в покое; еще будем ему напоминать, чтоб, по присяге своей, земель, при предках его у государства отнятых, отыскивал, и не только что дадим ему денег на наемных людей, но и сами своими головами из обеих земель идти с ним готовы. А вы с чем приехали, с тем вам и уезжать».

Посол отвечал: «На боярские речи вам досадовать непригоже и в диво того ставить нечего; и прежде в ссылках и разговорах бывало: о стародавних делах с обеих сторон говорят, да что к делу не пригодится, то с обеих сторон оставляют, да говорят о делах как чему статься пригоже. Дивимся мы вашему разуму, что вы Бога не боитесь и людей не стыдитесь, говорите такое, чего было вам и мыслить непригоже. Рассказываете, что над государством государя нашего по грехам учинилось: но мы над государством нашим никакого греха не видим, а только милость Божию и благоденствие. Вы еще с Богом не беседовали; а человеку того не дано знать, что впредь будет. По писанному, кто злословит царя, тот смертью да умрет; государь наш дородный государь, разумный и счастливый, сидит он на своих государствах по благословению отца своего и правит государством сам, и против всех недругов стоять готов так же, как отец, дед и прадед его; людей у него много, вдвое против прежнего, потому что к людям своим он милостив и жалованье дает им, не жалея своей государской казны, и люди ему все с великим раденьем служат и вперед служить хотят и против всех его недругов помереть хотят; в людях розни никакой нет; это вам такие бездельные речи говорят собаки-изменники: таким людям вам потакать нечего и говорить измен-

ничьих речей непригоже; нам про государя вашего и про государство ваше и про вас много что есть говорить, да, по государеву наказу, говорить не хотим, присланы мы на доброе дело, а не на раздор. Государю нашему у вашего государя мира не покупать стать; захочет государь ваш доброго дела, и наш государь доброго дела захочет, а не захочет ваш государь доброго дела, то наш государь против него стоять готов».

В переговорах, когда дело пошло о взаимных требованиях известных земель, разумеется, не могли согласиться; паны по-прежнему настаивали на пограничный съезд вельмож; послы, сообразно с своими целями, требовали для этого съезда продолжения перемирия, хотя на один год; паны отвечали им: «И на полгода мы перемирья не заключим; вы говорите о съезде не для дела, а только, чтоб время проволочить; зачем вам для съезда еще целый год перемирья?» Послы отвечали, что нужно много времени для совещания со всей Землей; паны на это возражали: «У вас в обычае ведется: что сдумает государь да бояре, на том и станет, а Земле до того и дела нет».

По конечной неволе послы должны были согласиться только на двухмесячную прибавку к прежде заключенному перемирию, и в это время положено быть съезду великим послам между Оршею и Смоленском для переговоров о том, как быть обоим государствам под одной державой в случае кончины того или другого государя; и как определить границы их, если они не захотят соединиться.

Но Баторий не дождался съезда. 2 декабря 1586 года он умер, не успев довершить ни одного из своих начинаний ни внутри, ни вне: он задержал только на время усиление Московского государства, отнявши у него прибалтийские области, но сокрушить могущество этого государства, раздвинуть Литву до границ Витовтовых он не успел: тому помешала ограниченность средств, ограничение власти королевской, подозрительность могущественных вельмож к воинственному королю. Сломить могущество вельмож, установить наследственное правление, или, по крайней мере, установить лучший способ избрания королевского, сдержать своеволие — он также не успел. Найдя государства свои в сильном религиозном разъединении, Баторий хотя не был по природе своей фанатиком, не воздвигал гонения на диссидентов, однако благоприятствовал утверждению иезуитов, потому что это знаменитое братство могло обещать ему деятельную помощь в замышляемых им внутренних переменах. Какого рода была эта помощь, какого рода были внушения, которые должно было принимать от иезуитов воспитывавшееся у них юношество, видно из проповедей самого талантливого из них Петра Скарги Повенского. Скарга громко восставал против существующего порядка вещей в Польше: проповедуя, с одной стороны, о том, чтоб светская власть подчинялась власти духовной, о подчинении королей папе, он, с другой стороны, твердил о необходимости крепкой, неограниченной власти королевской. «Естественный порядок, — говорил он, — состоит в том, чтоб одна голова управляла телом; и если в государстве не одна, а много голов, то это знак тяжкой смертельной болезни».

Скарга утверждал, что Римская империя тогда только вошла в исполинские размеры свои, когда в ней утвердилось монархическое правление; вооружался против послов сеймовых за то, что они присваивают себе могущество, вредное для власти королевской и сенаторской, и спасительную монархию превращают в демократию — самый дурной из образов правления, особенно в таком обширном государстве, как Польша и Литва. Право, по которому шляхтич, не уличенный в преступлении, не мог быть схвачен, Скарга называл источником разбоев, измен и т. п.

Но все эти внушения остались тщетными: иезуиты не могли переменить политического строя Польши и Литвы; они успели только в одном, чего, конечно, не хотел Баторий: они успели воспламенить в католическом народонаселении Польши и Литвы религиозную нетерпимость, которая повела к гонению на несходные исповедания, к гонению на православное русское народонаселение, а это гонение повело к отложению Малороссии, нанесшему самый сильный удар могуществу Польши. Таким образом, орудие, приготовленное для утверждения крепости, могущества Польши, стало орудием ее падения.

События, происходившие в конце царствования Батория, предвещали сильные волнения после его смерти: ненависть между стороной Зборовского и стороной Замойского могла теперь разыграться на свободе. Волнения начались на сеймиках: даже во Львове, где было так сильно влияние Замойского, нашлись приверженцы Зборовских, в челе которых стал Николай Язловецкий, староста Снятыньский. Язловецкий начал провозглашать, что пора положить предел возвышению одного человека над всеми; что обнаружились замыслы Замойского, который, во что бы то ни стало, хочет посадить на престол одного из Баториев; что для охранения государства необходимо отнять у Замойского гетманство, ибо со смертью королевской все правительственные лица должны сложить с себя свои должности. Замойский отвечал, что все саны и почести получил он за прямые отечеству заслуги; что слух о замыслах его относительно Баториев — клевета; что утверждать, будто со смертью королевской должны прекратиться все правительственные отправления, противно здравому смыслу, ибо именно во время междуцарствия государство и не может обойтись без начальства военного, без гетмана.

Во Львове дело кончилось в пользу Замойского; но не так было в Варшаве на конвокационном сейме: Карнковский, архиепископ Гнезненский, примас, который занимал первое место в государстве во время междуцарствия, поддался совершенно влиянию Зборовских и Гурки; по их внушению он написал к Замойскому, чтоб тот для охранения границ королевства не покидал войска. Отсутствие Замойского дало в сенате верх Зборовским. Андрей Зборовский явился в сенат с требованием управы на Замойского, и когда один из сенаторов, Лесновольский, хотел защищать последнего, то голос его был заглушен криками и угрозами приятелей Зборовского; один из них даже нацелил ружье на Лесновольского и спрашивал Зборовских, прикажут ли стрелять? За стенами Варшавы также едва дело не дошло до усобицы между обеими сторонами. Наконец, назначили день избирательного сейма 30 июня 1587 года

Зборовские явились на избрание с 10 000 войска, в числе которого находилось немало наемников — французских, немецких, итальянских, чешских: толпы эти были наняты на австрийские деньги, ибо Зборовские, поддерживаемые папским нунцием Аннибалом ди-Капуа, хотели избрать эрцгерцога Максимилиана, брата императора Рудольфа II. Замойский, опираясь преимущественно на шляхту и поддерживаемый деньгами вдовы Батория королевы Анны, держал сторону племянника ее, шведского принца Сигизмунда, сына короля Иоанна и Екатерины Ягеллон. Замойский и Гурка с Зборовскими расположились военными станами, каждый в назначенном себе месте под Варшавой (на равнинах Воли), готовясь в случае нужды с оружием в руках поддерживать своего избранника: но на противоположном берегу Вислы, под Камёнкою, расположились особым станом литовцы, у которых был свой кандидат — царь Московский.

20 декабря 1586 года в Москве узнали о смерти Батория. Недавний опыт показал, как важно было для Московского государства избрание короля в Польше: Иоанн IV не хотел употребить деятельных мер для получения польского престола, допустил сесть на нем Баторию — и потерял прибалтийские области, принужден был заключить постыдный мир с Литвой; но Иоанн во время избрания не знал еще характера Батория и мог презирать этого бедного средствами князька Трансильванского; теперь же бояре Феодора не могли не видать страшной опасности, которая грозила его государству в случае, если б избран был на престол королевич Шведский и два соседние и враждебные Москве государства соединились под одним главой. Вот почему в Москве решили деятельно хлопотать о приобретении в Польше и особенно в Литве приверженцев царю Феодору.

20 января 1587 года уже отправлен был дворянин Ржевский в Литву с царской грамотой к панам, в которой говорилось:

«Вы бы, паны рада светские и духовные, смолвившись между собой и со всей Землей, о добре христианском порадели, нашего жалованья к себе и государем нас на корону Польскую и великое княжество Литовское похотели, чтоб этим обоим государствам быть под нашей царской рукой в общедательной любви, соединении и докончании; а мы ваших прав и вольностей нарушать ни в чем не хотим, еще и сверх прежнего во всяких чинах и вотчинах прибавлять и своим жалованьем наддавать хотим».

Кроме этой общей грамоты посланы были отдельные к каждому вельможе: каждого царь приглашал стараться об его избрании с братьей своей, племянниками и целым родом. Потом каждый боярин писал к соответствующему себе по месту, пану литовскому, с тем же предложением. Ржевскому дан был такой наказ: «Если паны литовские станут говорить, что они государя царя к себе на государство хотят, но польские паны не хотят, и если они от королевства Польского отложатся, то государь будет ли за них стоять?», отвечать: «Сами знаете, что поляки верой с христианами розны, а вы, паны рада литовские и вся земля Литовская с нашей Землей одной веры и одного обычая; так вы бы

пожелали себе государя нашего, христианского государя, а если будет Литовское государство соединено с Московским, то государю нашему Литовской земли как не оберегать? Если будут оба государства на всех недругов заодно, то Польская земля поневоле будет присоединена к Московскому и Литовскому государствам, а государю-то и любее, что Литовское великое княжество будет вместе с его государством. И как нашему государю за это не стоять? Начальное государство Киевское от прародителей следует нашему государю, а теперь изневолено, от Литовского государства оторвано к короне Польской; и не одним Киевом польские люди завладели у вас, панов литовских, да присоединили к Польской земле насильством: так государю нашему как всего этого у поляков не отнять и к вам и к государству Московскому не присоединить?»»

Ржевскому наказано было также: «Увидятся с ним Тимоха Тетерин, Давид Бельский, Мурза Купкеев и другие отъезжие в Литву и станут спрашивать, есть ли к ним государев приказ? То отвечать, чтоб они государева жалованья к себе поискали, государю послужили и доброхотали; а что они пред государем проступили, дерзость сделали, в Литву отъехали, и они бы в том себе никакого сомненья не держали; государь эту вину отдаст им, если на государствах Польском и Литовском будет, и во всем их пожалует по отечеству; которые из них захотят быть в Русском государстве, тех государь пожалует вотчинами и поместьями устроить велит в Московском государстве по их достоинству; а они бы теперь государю службу свою показали: что проведают у панов рад о государском деле — которые паны захотят к себе государя на государство и которые не захотят — о том бы проведывая, послам сказывали и государю доброхотали. Если паны станут говорить, чтоб государь дал им на государство брата своего, царевича Димитрия, то отвечать: это дело не сходное: царевич еще молод, всего четырех лет; а вам чего лучше, как быть под царской рукой в обороне и жить по своим обычаям как у вас ведется и как вам захочется».

Паны литовские отвечали на посольство Ржевского, что дело избрания должно решиться на общем сейме в Варшаве, куда царь должен отправить своих послов. Богатый купец литовский Лука Мамонич, имевший торговые связи с Москвой, говорил Ржевскому от имени трех панов — Николая Радзивила, Льва Сапеги и Федора Скумина: «Паны эти государю радеют и говорят, чтоб государь ваш непременно отправил послов своих великих на *елекцию*; к панам радам и к рыцарству обеих земель прислал бы свои грамоты, со любовью и лаской, не так бы высоко было выписано в грамотах как теперь, потому что паны польские люди сердитые и упрямые, к ним надобно писать ласково, а государю великому какой в том убыток будет! Рыцарству бы написать, что государь их пожалует, заплатит им все жалованье из своей казны, чего король Стефан им не заплатил, а всего денег будет немного — тысяч с пять или шесть, да и этих денег рыцарство не возьмет на государе, только было б в грамоте написано, для того, чтоб они за государя вашего стояли. Стефан-король обещал рыцарству все деньги заплатить

и присягал, но ни одного пенязя на нем не взяли. Да и к панам бы государево жалованье было; теперь к панам присылают цезарь и другие княжата с поминками большими и с лаской, доискивать государства». Ржевский отвечал на это, что государю послов своих на большой сейм к панам посылать непригоже.

Но сношения этим не кончились. В Литве не боялись от Феодора того, чего боялись от Иоанна, и тем сильнее желали избрания московского царя; притом литовские паны не хотели порвать с последним из боязни, чтоб он не воспользовался междуцарствием и не послал войска в их пределы. Вот почему еще в апреле того же года двое знатных послов литовских, Черниковский и князь Огинский, приехали в Москву с просьбой о продолжении перемирия до конца 1588 года. Просьба эта была принята очень охотно, причем бояре говорили: «Мы все бояре и думные люди и всей землей хотим и у Бога просим, чтоб государства Московское, Польское и Литовское были под одной царской рукой. Выехали недавно к нам выезжие литовские люди на Псков и сказывали, будто некоторые паны, для денег, что раздает королева, выбирают шведского королевича, пишут и выславляют большие прибытки, которые Польша и Литва от этого получат. Но кто выбирает шведского королевича, тот христианству убыток замышляет, а не прибыток; будет такое же кровопролитие, что и при Стефане-короле; как скоро Шведского выберете, то между нами и вами, да и между всеми христианами пойдет кровопролитие и не перестанет».

Послы захотели напомнить, что войны Стефановы не были невыгодны для его государств, и спросили: «Что же дурного при Стефане-короле делалось?» На это им отвечали: «Мы вам про Стефанову правду и про его к вашему государству доброхотство расскажем подробно, только вы не подосадуйте. Со стороны нашего государя прибыток и нам, и вам, и всему христианству будет: государь наш государь христианский, богобоязливый, милосердый, ласковый до всего христианства, а другие *рядовые* государи выбираются на государство, а любви к нему не имеют, как например Стефан-король, который присягал султану привести поляков и литовцев к нему в подданство; писал он к турскому султану в тайных своих грамотах, чтоб он рать готовил на литовских и польских панов, таковы де есть в Польше и Литве люди богатые, денег тысяч до пятисот золотых ефимков и всякой казны много без числа, их надобно протрясти, чтоб они гордости своей позбавили, а то они очень спесивы теперь. У нашего же государя у самого богатства бесчисленные, и, казны своей не жалея, хочет он защищать как Московское государство, так и Польское и Литовское от татар и турок: от Крыма по Дону, Донцу и Днепру поставит своих людей, города поделает, и на Крым наступит своей казной, чтоб на Подолье, и на Волынскую землю, и на польскую и на литовскую вперед те поганые никто не приходил; в доходы и прибытки королевские государь вступаться не хочет; обещает все это отдать панам радным и всему рыцарству, да еще из своей казны польским и литовским панам радным и всему рыцарству хочет наддавать, и в своих государствах у новых городов в степи хочет польских и литовских людей

землями жаловать. За грехи всего христианства у вас к нам ненависть, и эта ненависть всему христианству вредит, покой и любовное соединенье во всем христианстве разоряется: и для того надобно вам, всем панам советовать, что к прибытку всему христианству, да неповинны будете в крови христианской пред вседержителем Богом. И то пригоже знать всякому христианину, что за приязнь християнам с погаными? Если бы государства ваши с царством православного государя нашего соединились, то все поганские государи руки бы опустили: пришлось бы им тогда уже себя беречь, а не христианство пленить; Молдавия, Валахия, Босния, Сербия и Венгрия, которая за турками, достались бы Польше и Литве, а что поближе к нам, Крым, Азов, Кафа, Черкасы и другие орды достались бы Москве, потому что и теперь трое крымских царевичей со многими людьми уже на стороне нашего государя, готовы в Астрахани. А только будет избран шведский королевич, то этих татар, которым было из Астрахани и из-за Волги идти на Крым, поворотят на Литовскую землю. Если же выберете нашего государя, то он будет стоять на бусурманов сам своей царской *персоной* (парсуной) и со всеми своими людьми, станет помогать своей казной, а панских обычаев и вольностей ни в чем не нарушит, и ничего у них не захочет; а что какие доходы собираются с Польской и Литовской земли, то все государь наш уступит панам радным, и что у них старая казна прежних королей и что вновь к ней прибавлено и что из Венгрии привезено, из того ничего государю нашему не надобно, много у государя нашего и своей всякой казны, и столько пожитку всякого, как в его государстве, ни в каком государстве нет; встреч многих, что Польше и Литве были в убыток, государю нашему не надобно: он приедет со своим кормом и со своими всякими государскими обиходами, а вашего ничего государю нашему не надобно, кроме ласки; государь наш с своей казной к вам приедет, чтоб из своей казны можно было всяким тамошним людям давать».

В Москве так опасались соединения Польши и Литвы с Швецией под одним государем, что не находили более непригожим отправить великих послов на сейм; эти послы были двое бояр: Степан Васильевич Годунов и князь Федор Михайлович Троекуров с знаменитым дьяком Василием Щелкаловым. В Литве также сильно хотели избрания Феодора: перехвачены были грамоты жителей Вильны к царю; но в Литве московские приверженцы хорошо понимали, какие важные препятствия этому избранию встретятся на польском сейме. Литовский подскарбий Федор Скумин говорил московскому послу Ржевскому: «Я христианин вашей греческой веры, и отец с матерью у меня были христиане; так я вам говорю по своему христианству: мы все хотим, чтоб нам с вами быть в соединении навеки, чтоб ваш государь пановал на наших панствах, только бы дал Бог нам три колоды пересечь, за что все паны радные стоят и стоять будут: 1) чтоб государю вашему короноваться у нас в Кракове; 2) писаться в титуле прежде королем Польским и великим князем Литовским; 3) чтоб государю веру переменить. Вы говорите, что не только государю, и вам о том мыслить нельзя, это правда; я с панами

радными говорил: христианину как веру свою оставить? Если мы эти три колоды, даст Бог, перевалим, то будем с вами в вечном соединении».

Кроме обещаний, которые бояре давали в Москве послам литовским, Годунов и князь Троекуров должны были предложить еще на сейме, что государь платит, из собственной казны до 100 000 золотых венгерских ратным людям, которым остался должен Стефан Баторий; что по изгнании шведов из Эстонии все города ее будут уступлены Литве и Польше, кроме Нарвы; что купцам польским и литовским открыт будет путь во все московские области и дальше во все восточные страны; что между жителями соединенных государств будет позволено свободное сообщение и сватовство. Насчет пребывания царя в Польше (четвертой колоды, о которой забыл Скумин) послы должны были сказать: побыв немного в Польше и Литве, государь опять поедет в Москву и будет жить на своем прежнем государстве; в Польше же и Литве всем управляют паны радные по прежнему обычаю, по своим правам и вольностям. Послов, которые придут с неважными делами, отправлять панам радным, обославшись с государем, а которые придут с великими земскими делами, тем быть у государя в Москве, а у государя в то время быть из Польши и Литвы по два пана радных, да по писарю.

В случае, если сейм не согласится на избрание Феодора, послы должны были говорить, чтоб избрали цесарева брата Максимилиана: «Государю царю то будет любо же, потому что Максимилиан великого государя сын и на таких великих государствах быть ему пригоже; а выбирать шведского и других поморских непригоже; эти государи непристойные, о христианстве не радеют и всегда кроворазлития христианского желают».

Желание помешать выбору Сигизмунда Шведского и трудность соглашения в мерах относительно управления двумя государствами, из которых ни одно не хотело уступить другому ни в чести, ни в выгодах, привели московское правительство к мысли предоставить Польшу и Литву полному самоуправлению, лишь бы они по имени только признавали своим государем царя Московского; в этом случае Годунову и Троекурову было наказано: «Выберут ли нас государем, или приговорят быть под нашей царской рукой, а управляться самим — все равно, соглашайтесь, только пусть будут с нами в соединении и докончании на всякого недруга заодно; только этим промышляйте, этим свою службу и раденье нам покажите, чтоб дал Бог вам не сделавши дела не разъехаться».

В Литве обрадовались, что московский государь согласился действовать решительно для достижения короны Польской и Литовской, согласился отправить великих послов на сейм, и послы эти оказывали большую учтивость, не спорили, как прежде, о мелких церемониях. Выезжавшие на встречу литовцы говорили послам: «Теперь мы встречаем вас, великих послов государя православного; и дал бы нам Бог всей Землей встречать самого вашего государя к себе. В Литовской земле во всех поветах все рыцарство и вся Земля уложили на том: хотят выбирать себе государем вашего государя». Приставы говорили послам: «Вы показали

уступчивость большую против прежних обычаев; прежде когда приставы приезжали к послам вашего государя и от короля, то послы о шапках спор поднимали и против королевского имени шапок не снимали тотчас; а вы теперь, великие послы, против речи панов радных, братьи своей, шапки сняли: и паны радные, братья ваши, принимают это от вас за великую учтивость».

Но в Литве скоро увидали, что московские послы по-прежнему разнятся от всех других послов, приехавших на сейм хлопотать об избрании своих государей: по-прежнему московские послы приехали без денег. Паны радные литовские послали писаря сказать им: «Надобно вам промыслить сейчас же, выдать тысяч с двести рублей, для того, чтоб всех людей от Зборовских и от воеводы Познанского Гурки и от канцлера Яна Замойского приворотить к себе на выбор вашего государя; как увидят рыцарские люди государя вашего гроши, то все от Зборовских и от канцлера к нам приступят; а только деньгами не промыслить, то доброму делу никак не бывать, и будут говорить про вас все: чтож это за послы, когда деньгами не могут промыслить!» Послы отвечали, что обо всем будут говорить с самими панами на посольстве. Потом ночью тайно приехал к ним воевода Троцкий Ян Глебович с стольником коронным князем Василием Пронским и говорил: «Я государю вашему службу свою хочу показать, воеводу Познанского и Зборовских уговариваю, чтоб были с нами вместе и выбирали вашего государя и на то уже их и навел: только у них люди наемные, которым срок приходит, и надобно воеводе Познанскому и Зборовским помочь деньгами, чтоб им было что наемным людям даватъ и против канцлера стоять». Послы отвечали, что об этом им наказа нет, да и казны с ними нет.

Несмотря, однако, на недостаток этого могущественного на избирательных сеймах средства — денег, сторона московская была очень сильна не только между литвой, но и между поляками, ибо для большинства избрание Феодора казалось самым верным выходом из борьбы двух сторон, Зборовских и Замойского. Когда выставлено было в поле три знамени: московское — шапка, австрийское — немецкая шляпа и шведское — сельдь, то под шапкой оказалось огромное большинство. 4 августа Годунов и Троекуров правили посольство в *Рыцарском коле;* поставили послам скамью против больших панов, а кругом того места сидели паны же радные и послы поветовые. Увидавши, что для них приготовлена скамья, что паны и послы поветовые все сидят, московские послы начали говорить панам радным: «В обычае не ведется ни в которых государствах, что послам, пришедши от государя своего, речь говорить сидя, и нам как это сделать, что посольство государя своего сидя править? Мы станем от государя посольство править стоя, и вам пригоже государя нашего речь от нас слушать стоя же».

Паны отвечали: «Мы вам сказываем, как у нас в обычае ведется, не спорьте об этом, правьте посольство сидя, а мы при имени государя вашего будем вставать». Послы продолжали спорить; наконец, паны сказали: «Мы вам обычай здешний сказываем, вы не слушаете, так делайте как хотите: мы сядем, а вы как хотите, так посольство

и правьте, на вашей воле». Сказавши это, паны сели, и послы правили посольство сидя.

Для рассуждения о подробностях условий выбора назначили 15 панов духовных и светских, которые должны были съехаться с московскими послами в селе Каменце близ Варшавы. Здесь тотчас же обнаружились те колоды, пересечь которые Скумин считал таким трудным делом. Паны спросили послов: соединит ли государь свое Московское государство с королевством так, как Литва соединена с Польшей, навеки и неразрывно? Приступит ли к вере римской? Будет ли послушен папе? Будет ли венчаться в Кракове в латинской церкви от архиепископа Гнезненского? Причастье опресночное примет ли и церковь греческую с римской соединит ли? Приедет ли в Варшаву через 10 недель после избрания? Напишет ли в своем титуле королевство Польское выше царства Московского?

Бояре отвечали: королевство Польское и великое княжество Литовское соединятся с Московским государством навеки так, чтоб им против всякого недруга стоять заодно, чтоб жители их могли свободно ездить из земли в землю, жить, свататься и жениться, с позволения государя. Государь останется в православной вере; венчаться на королевство будет или в Москве, или в Смоленске; будет уважать папу, не будет препятствовать ему в управлении польским духовенством, но не позволит мешаться в дела греческой церкви; корона польская будет под царской шапкой Мономаховой; титул будет: царь и великий князь всея Руси, Владимирский и Московский, король Польский и великий князь Литовский. «Хотя бы, — сказали послы, — и Рим старый и Рим новый, царствующий град Византия начали прикладываться к нашему государю, то как ему можно свое государство Московское ниже какого-нибудь государства поставить?» Относительно времени приезда в Польшу послы объявили: «В том волен Бог да Государь: как захочет, так к вам и приедет, нам того угадать нельзя и наказа нам Государь об этом не дал».

Паны отвечали, что на этих условиях Феодор не может быть избран, и особенно настаивали на вопросе о деньгах, которые царь как можно скорее должен выдать для подкрепления стороны своей на сейме и для найму войска; потому что, в случае царского избрания, враги с разных сторон нападут на Польшу; приводили в пример щедрость императора и короля Испанского. Послы говорили на это:

«Государь наш на наемных людей казны своей даст, что будет пригоже. Вы говорите, что цесарь и король Испанский для своего избрания дают вам казну большую, да еще на много лет: но государь наш хочет быть королем Польским и великим князем Литовским не для своей прибыли и чести, а только для покоя христианского, для избавления и расширения этим государствам. Приводит государь наш то себе на память, что давно уже Московское государство и корона Польская и великое княжество Литовское между собой в неприятельстве, и кровь христианская с обеих сторон лилась: так его бы государским смотреньем кровь литься перестала, и были бы христиане в покое; а вы на такое государя нашего раденье о покое христианском не смотрите, указываете

на цесареву да на испанского короля казну. Ваша воля, если вам деньги христианского покоя лучше. А государю нашему ваши государства зачем покупать? С Божьей помощью государь наш сидит на своих государствах. Государь наш хочет, чтоб между всеми христианами утвержден был покой и стоять бы всем христианам на бусурман заодно; но если вы говорите, что государь наш должен дать свою казну, должен велеть биться с теми людьми, которые не захотят его выбрать, — то, значит, он должен воздвигнуть еще более кровопролития между христианами, а не покой христианам сделать».

Паны отвечали: «По всем этим статьям, которые между нами в разговоре были, государю вашему у нас на государстве быть нельзя». Тогда послы, исполняя наказ, объявили, что царь если не может быть избран сам, то желает избрания эрцгерцога Максимилиана. На это паны отвечали: «Непригоже государю вашему, да и вам государя нам указывать; знаете сами, что мы ни по чьему указу государя себе не выбираем, выбираем кого нам бог укажет по нашим вольностям».

Так окончился первый съезд. После жарких споров между панами духовными и светскими, приверженцами Максимилиана, Сигизмунда и Феодора, последовал второй съезд с послами московскими. Паны опять начали дело о деньгах, спросили: «Даст ли им государь на скорую оборону 200 000 рублей? Без чего об избрании Феодора говорить нельзя». Послы отвечали, что государь государства не покупает; но если будет избран, то они, послы, занявши, дадут до 60 000 золотых польских. Паны возразили, что этого мало; послы прибавили до 100 000; паны не согласились и на это; они говорили: «Царь обещает давать шляхте земли по Дону и Донцу: но в таких пустых местах какая им прибыль будет? Да далеко им туда и ездить. У нас за Киевом таких и своих земель много. Как вам не стыдно о таких землях и в артикулах писать! Будет ли государь давать нашим людям земли в Московском государстве, в Смоленске и Северских городах?» Послы отвечали: «Чья к государю нашему служба дойдет, того государь волен жаловать вотчиной и в Московском государстве». Паны спрашивали: «Заплатит ли государь войску долги короля Сигизмунда Августа и Стефана?» Послы отвечали, что государь заплатит за одного Стефана что пригоже, но за Сигизмунда Августа платить не будет. Паны говорили: «Что это за вольность, что нашим людям к вам ездить вольно, а вашим людям к нам ездить можно только с доклада государя? Но если государь ваш не позволит никому ездить, то ездить и не станут?» Паны говорили долго, чтоб было велено ездить людям с обеих сторон как захотят; но послы им решительно в этом отказали. «У вас, — говорили они, — в ваших государствах людям вольность ездить во все государства; а в Московском государстве того в обычае не живет, что без государева повеленья ездить по своей воли и вперед тому быть не пригоже, о том вам много говорить не надобно».

Но в то время как у литовцев и у тех поляков, которые желали избрания Феодора, отнимались руки вследствие очевидной безуспешности переговоров с московскими послами, сторона австрийская, то есть сторона Гурки и Зборовских, слабела ежедневно, и вследствие народного

нерасположения к Австрийскому дому, к немцам, и вследствие явного стремления вождей партии к мерам насильственным, желания решить дело поскорее междоусобной битвой. Сильный удар нанес австрийской партии примас королевства Карнковский, открыто перешедший на сторону Замойского. Папский нунций и другие члены австрийской партии, видя затруднительность своего положения, не раз пытались помирить Зборовских с Замойским, чтоб отвлечь последнего от Сигизмунда; предлагали сделку, обещали, что Максимилиан Австрийский, ставши королем Польским, женится на Анне Шведской, сестре Сигизмунда. Замойский колебался, ибо сам находился в затруднительном положении: несмотря на то что сильное большинство панов и шляхты было на его стороне, денежные средства его истощились; около Варшавы съестные припасы были страшно дороги, вследствие чего паны и шляхта, не имея возможности кормиться, разъезжались с сейма; таким образом, материальные силы Замойского уменьшались, тогда как у Зборовских было наемное войско, содержавшееся на австрийские деньги. В одну ночь, когда Замойский волновался тяжелыми мыслями о своем положении, о невозможности достать денег для удержания своих приверженцев, а с другой стороны, об унижении, о безотрадном будущем в случае избрания австрийца и торжества Зборовских, которые во всяком случае останутся на первом месте при Максимилиане, вдруг вошел примас Карнковский и объявил, что медлить более нечего и что он готов провозгласить королем Сигизмунда. Замойский согласился, и 1 августа Сигизмунд был избран стороной Замойского; но сторона Зборовских не согласилась уступить противникам и 22 августа провозгласила королем эрцгерцога Максимилиана; Литва не участвовала ни в том, ни в другом избрании; по свидетельству современников, немало было и поляков, которые оба избрания считали неправильными.

Вследствие этого разъединения к московским послам приехали опять депутаты от панов и объявили, что Замойский с товарищами избрали Сигизмунда; а Литва вся и большая половина поляков хотят избирать московского царя, но не могут провозгласить его, ибо не решено еще дело об условиях избрания, и потому пусть послы объявят решительно: приступит ли государь к римской вере? Можно ли ему приехать в десять недель? Каким обычаем государю титул свой описывать, ибо корона не может быть под шапкой, которая называется царской? Даст ли государь сейчас же на скорую оборону 100 000 рублей? Послы отвечали, что на все это ответ дан и другого не будет.

Этим ответом дело было кончено с Польшей, но не с Литвой. Литовские паны послали сказать послам: «Замойский выбрал шведского королевича, воевода Познанский Гурка да Зборовские выбрали цесарева брата, а мы все, Литва и поляков большая половина, хотим государя вашего, да стало дело за верой и за приездом, что государь ваш скоро не приедет; только бы государя вашего приезд был ведом вскоре, и мы бы, избравши вашего государя, тотчас все своими головами рушились к Кракову и корону не дали бы ни шведу, ни цесареву брату. Теперь нам приезд государя вашего не ведом, и за этим, да еще за верой нам

государя вашего выбрать нельзя, а шведа и цесарева брата мы также не выбрали и вперед их не хотим, елекцию мы разорвали и хотим назначить новый съезд для избрания государя. Вечного мира теперь нам с вами заключить нельзя, потому что время коротко, да и нас, панов-рад, мало, многие уже разъехались: заключим теперь перемирие». Послы согласились, и заключено было перемирие на 15 лет, причем каждое государство осталось при своем.

Когда перемирие было заключено, заехали к послам на подворье воевода Виленский Христоф Радзивил да воевода Троцкий Ян Глебович и говорили им тайно, выславши всех людей: «Через пять недель будет у нас, у литвы, съезд всем людям в Вильне и у поляков, которые шведа и цесарева брата не выбирали, также съезд будет; все мы хотим того, чтоб у нас государем был ваш царь; если же не будет у нас ваш государь, то разве потому только, что сам не захочет. Вы теперь с гонцом отпишите к государю наскоро, что если он хочет быть у нас государем, то прислал бы на съезд в Вильну гонца с грамотами наскоро, а в грамотах к панам литовским и ко всей Литовской земле хвалил бы их и благодарил, что они его себе государем выбрать хотели и имя его выславляли, и просил бы их, чтоб и впредь так делали. А о вере бы написать так: вы бы меня на государство выбрали, а за верой не останавливались: от греческой веры отступить и к римской приступить мне нельзя; а как меня на государство выберете, то я сейчас же отправлю посла к папе с прошеньем, чтоб меня в том не нудил; о приезде своем написал бы государь, что будет после того, как его провозгласят через три месяца или немного позднее; да на скорую оборону дал бы 100 000 рублей, и мы тотчас государя вашего обеими землями выберем. О цесареве же брате государь бы ваш к нам не писал: если будет писать, то всех людей от себя отгонит; мы уже лучше приступим все к шведу. Цесарева брата и помянуть у нас никто не хочет, потому что он не богатый государь, да и весь в долгах; а цесарь, брат его, и сам должен, и дань дает турскому султану; и как только цесарев брат у нас на государстве будет, то он тотчас захочет богатеть и долги платить, а все это станет с нас лупить. Захочет с Турским воевать, все с нас же собирать станет; а своего ему на войну дать нечего; мало ли что сулит, чтоб только его выбрали, а на самом деле нет ничего. Да и потому цесарева брата не хотим: которые государства поддались цесарю, и он у них все права поломал, и дань на них наложил такую, что стянуть нельзя. У нас писаное дело, что немецкий язык славянскому языку никак добра не смыслит: и нам как немца взять себе в государи? Если уже государь ваш не захочет у нас быть на государстве, то написал бы в грамотах, чтоб мы выбрали себе государя из своего народа, что у нас слывет *Пяст;* это нашим людям всем будет любо. Да и то у нас, у литвы, есть в разговорах: если поляки с нами на избрание вашего государя не согласятся, то мы, Литва, Киев, Волынь, Подолье, Подляшье и Мазовия, хотим от Польши отодраться: так государь ваш нас возьмет ли, и на одной Литве, без Польши, у нас государем будет ли и за нас своей силой станет ли?»

С ответом на этот важный вопрос отправлен был в Литву дворянин Ржевский, который повез также богатые подарки для каждого пана; ценой на 20 000 нынешних рублей. В грамоте своей к панам царь писал: «Мы у вас государем быть хотим; только нам теперь к вам ехать нельзя, потому что вы себе не одного государя выбрали; и многие хотят того, чему статься нельзя, чтоб мы, оставя свою истинную православную христианскую веру, пристали к римской вере; сами подумайте, как этому можно статься? А если Бог даст вперед как нам будет время, то мы к вам ехать хотим».

По тайному наказу Ржевский должен был сказать панам: «Только возьмите себе в государи нашего государя и будьте под его царской рукой, а всем управляйте сами в короне Польской и великом княжестве Литовском по своим правам и вольностям. А потом государь наш, когда рассмотрит вас и вашу к себе ласку увидит, а вы государскую милость к себе увидите, то государь поедет к вам короноваться по своей государской воле, как ему время будет; короноваться ему по греческому закону, а к римской вере приступить и помыслить ему нельзя. Надобно будет вам теперь на скорую оборону денег, то, как скоро выберете нашего государя, он даст вам русскими деньгами до 70 000 рублей и польскими золотыми до 230 000».

Паны отвечали на это, что царь не может быть королем без принятия римской веры. «Государь ваш, — говорили они Ржевскому, — сам порвал дело тем, что писал в своих грамотах; у нас никогда не бывало, чтоб король короновался по греческому закону; хотя бы мы все, паны радные, на это согласились, то архиепископы и епископы никак не согласятся, а видите и сами, что у нас в раде они большие люди и стоят крепко за то, чтоб король у них был римской веры, и никому против них в том устоять нельзя; государю вашему вовсе не надобно было писать в грамотах, что ему короноваться по греческому закону».

Ржевский доносил, что государево жалованье паны приняли с большой благодарностью, много челом били и обещали заслужить за него государю; не взял соболей один Николай Христоф Радзивил, сказавши, что дал Богу обещание не брать даров ни у которого государя. Но и отпустивши Ржевского с решительным отказом, литовские паны велели везти его тихо, все поджидая вестей из Польши, и велели везти не мешкая только тогда, как узнали, что Сигизмунд уже короновался.

Паны литовские имели право медлить и ждать вестей из Польши, потому что оба соперника — Сигизмунд и Максимилиан — не хотели уступить друг другу без кровопролития; Максимилиан приблизился к Кракову, но принужден был отступить после неудачной попытки овладеть городом. Сигизмунд беспрепятственно вступил в Краков и короновался; Замойский двинулся за удалявшимся Максимилианом и при Бычине в Силезии взял его в плен после кровопролитного сражения. Так исполнились, по-видимому, замыслы Замойского, грозившие бедой Москве.

Но у Замойского была одна судьба с Баторием. Стремление Батория шло наперекор всей истории того государства, где он призван был

царствовать; стремление Замойского шло наперекор великому движению, господствовавшему тогда во всей Европе, и понятно, что дело знаменитого канцлера и гетмана обратилось немедленно против него самого. Замойский надеялся, что при соединении двух могущественных государств, Польши и Швеции, «Сигизмунд если не всем Московским государством овладеет, то, по меньшей мере, возьмет Псков и Смоленск и военными кораблями шведскими загородит морскую дорогу в Белое море, отчего Московскому государству великий убыток будет».

Но на первом плане тогда в Европе было религиозное движение; новый король Польский, наследный принц Шведский, долженствовавший поэтому соединить два государства под одной державой, был подобно Фердинанду II Австрийскому вполне человек своего времени; человек, которым господствующий интерес времени владел неограниченно. Сигизмунд был ревностный католик и хотел доставить торжество своему исповеданию всюду, во что бы то ни стало; все поступки его естественно и необходимо вытекали из того положения, в каком он, по убеждениям своим, поставил себя относительно господствующего интереса времени. Как ревностный католик Сигизмунд был одним из главных деятелей католического противодействия и потому сильно сочувствовал учреждению, имевшему целью торжество католицизма над всеми другими христианскими исповеданиями, сильно сочувствовал иезуитам, подчинялся их внушениям. Будучи похож на Фердинанда II и нисколько не похож на Генриха IV Французского, Сигизмунд не был способен к сделкам в деле веры; ставши королем Шведским, он не хотел позволить, чтоб в Швеции господствовал протестантизм; вследствие этого потерял отцовский престол и вместо соединения произвел ожесточенную борьбу между Швецией и Польшей; так же точно потом он не мог позволить сыну своему Владиславу принять православие и тем самым заставил жителей Московского государства встать как один человек против поляков; в областях польских и литовских он не мог быть равнодушен относительно диссидентов и, поддерживая унию, приготовил отпадение Малороссии; в отношении к западным соседям он не мог не сочувствовать католическим стремлениям Австрийского дома и потому из соперника немедленно сделался ему другом и союзником. Так жестоко обмануты были все надежды Замойского.

ЛАЗАРЬ БАРАНОВИЧ*
(Из истории Южнорусской митрополии)

Из детства знакомо нам имя «великого столпа церковного», Лазаря Барановича, архиепископа Черниговского, автора «Труб словес» и «Меча духовного». Но при исчислении проповеднических и литературных за-

* Православное обозрение. 1862. Т. 4. № 1 С 171—182.

слуг Барановича встречается упоминовение о заслуге другого рода. «Сей пастырь своими увещаниями в 1669 году убедил войско Запорожское покориться царю Алексею Михайловичу»[1].

Об этой-то заслуге мы и намерены подробно поговорить в настоящей статье.

Чтоб понять положение духовенства малороссийского в то время, когда действовал Баранович, надобно вникнуть в состояние страны, уяснить себе борьбу интересов и партий. На беду, было два главных интереса: интерес войска, или козачества, и интерес городового народонаселения. Старшина козацкая стремилась к тому, чтоб вся власть находилась в ее руках и чтоб над ней, над тем, как она владеет, было как можно менее надзора со стороны государства: отсюда естественное нежелание видеть царских воевод в городах малороссийских. Иное было стремление городского народонаселения: ему тяжело приходилось от козаков и их полковников, и потому оно хлопотало о введении царских воевод, чтобы в них находить себе защиту от насилий полковничьих. Как же теперь духовенство должно было смотреть на эти противоположные стремления, которому из них более сочувствовать?

Духовенство относительно этих двух стремлений не могло сохранить единство взгляда: взгляд архиереев, властей был различен от взгляда городского белого духовенства. Архиереи сочувствовали стремлению старшины козацкой, для них важно было, чтоб страна удержала как можно более самостоятельности в отношении к Московскому государству, ибо эта самостоятельность условливала их собственное независимое положение; оставаться в номинальной зависимости от константинопольского патриарха и не подчиняться патриарху Московскому, который не захочет ограничиться одной тенью власти, — вот что было главным стремлением малороссийских архиереев; интересы их, следовательно, были тождественны с интересами старшины козацкой. Напротив, городское белое духовенство, по самому положению своему тоже связанное с горожанами, разделяло стремление последних, и это — не случайность, что протопоп городского собора, лицо тогда очень важное, является в Москве представителем горожан, доносит великому государю о их желании видеть у себя воевод. С таким характером является нежинский протопоп Максим Филимонов: он торопит царя взять малороссийские города на себя и поставить своих воевод. А что же его владыка Лазарь? Владыка молчит, и, ставши по удалении Дионисия Балобана из Киева блюстителем митрополии, Лазарь ведет себя так, что не возбуждает доверия в Москве. Здесь, естественно, является мысль — нельзя ли сделать архиереем и блюстителем митрополии преданного протопопа? Мысль приводится в исполнение: в 1661 году Максим Филимонов под именем Мефодия был поставлен в епископа Мстиславские и назначен блюстителем митрополии Киевской. Лазарь Баранович на семь лет удаляется от политической деятельности.

[1] Митроп. Евгения «Словарь историч.». II. 6 // Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-римской Церкви / Евгений (Болховитинов), митрополит Киевский. Изд. 2. Т. 2. СПб., 1827.

Как же будет теперь действовать Мефодий? Останется ли верен своему прежнему протопопскому взгляду или переменит его соответственно своему новому положению? Прежде всего блюститель митрополии не ужился с гетманом Брюховецким и доносил в Москву: «Чтоб великий государь не во всем на гетмана полагался, ни в чем меня гетман не слушает». Гетман поклонился великому государю городами малороссийскими, ввел в них воевод и в то же время, злобясь на Мефодия и на все духовенство, которое успел вооружить против себя, требовал, чтоб малороссийское духовенство подчинилось московскому патриарху и чтоб в Киев прислан был митрополит из великороссийских владык. В Киеве игумены сильно восстали против этого, и Мефодий принял их сторону, хотя в то же время и извинялся пред воеводой Шереметевым, что сделал это поневоле, чтоб не показаться сообщником гетмана.

Но такое поведение Мефодия не могло понравиться в Москве; очень не нравилась здесь и все более и более разгоравшаяся вражда епископа с гетманом, усиливавшая смуту в Малороссии. Когда Мефодий в 1666 году приехал в Москву по Никонову делу, то его приняли не так ласково, как прежде, и, при отпуске назад в Малороссию, строго наказали: не продолжать смуты, помириться с гетманом. Мефодий исполнил наказ, не только помирился с Брюховецким, но и сосватал дочь свою за племянника гетманского. При этом епископ передал свату все свое неудовольствие, все свое раздражение против неблагодарной Москвы, передал ему свои наблюдения, свои страхи, что Москва готовит что-то недоброе для Малороссии, что именно? Мефодий не умел сказать, передавая догадку, что насчет Малороссии торгуются с ляхами. О своей обиде говорил, что его бесчестили в Москве; соболей и корму, сколько хотел, не давали.

Но Мефодий своими внушениями мог только приготовить Брюховецкого к измене: довершили дело другие. Преемник Дионисия Балобана, Иосиф Тукальский назывался киевским митрополитом; но московское правительство не пускало его в Киев как человека подозрительного, без его ведома поставленного; Иосиф не имел никакой власти на восточном берегу Днепра и жил в Чигирине у гетмана западной стороны Дорошенко. Интересы обоих были тесно связаны: Дорошенку хотелось быть гетманом обеих сторон Днепра, Тукальскому хотелось быть действительным митрополитом Киевским. Москва препятствует и тому и другому, и вот они находят средство оторвать восточный берег Днепра от Москвы — с помощью Брюховецкого. Тукальский завел переписку с последним, стал его обнадеживать, что Дорошенко уступит ему свою булаву, и, таким образом, будет он, Брюховецкий, гетманом обеих сторон, но прежде всего он должен выжить из Украйны воевод московских, отложиться от царя и отдаться под покровительство султана. Сам Дорошенко писал, что царь присылал к нему с призывом на гетманство восточной стороны. Брюховецкий, приготовленный Мефодием, не преодолел искушения.

В феврале 1668 года начали выживать московских воевод и ратных людей из городов малороссийских: в Гадяче, резиденции гетманской,

70 стрельцов и 50 солдат пали под ножами убийц, ратный воевода с 130 начальными и лучшими ратными людьми был захвачен в плен; не пощадили и жену воеводы: в поругание водили ее простоволосую по городу, отрезали одну грудь и отдали в богадельню. Покончив с Москвой у себя в Гадяче, Брюховецкий разослал листы по всем другим городам с увещанием последовать его примеру. В Соснице, Прилуках, Батурине, Глухове воеводы были захвачены козаками; в Стародубе и Новгороде-Северском погибли, защищаясь. Но эта резня не пошла впрок ни Брюховецкому, ни свату его Мефодию. Когда Дорошенко явился на восточном берегу Днепра, то козаки выдали ему Брюховецкого, который был убит «как бешеная собака». Но если Дорошенко не хотел терпеть подле себя Брюховецкого, то Иосиф Тукальский не хотел терпеть Мефодия. После гибели свата для епископа не было более безопасности. Сперва держали его за караулом в разных местах на восточном берегу, потом перевезли за Днепр и посадили в Чигиринском монастыре. Сюда прислал к нему Тукальский отобрать архиерейскую мантию. «Недостоин ты быть епископом, потому что принял рукоположение от московского митрополита», — велел сказать ему Иосиф. Из Чигирина перевезли Мефодия в Уманский монастырь; но здесь он напоил караульных монахов и ушел в Киев.

По приезде сюда первым его делом было обвинить перед воеводой Шереметевым киевских архимандритов и игуменов в сношениях с Дорошенком, Тукальским и Брюховецким. Архимандрит Печерский, Иннокентий Гизель, отвечал на донос, что Брюховецкий присылал за ним для того, чтоб он помирил его с Мефодием; оправдывая себя, Гизель рассказал, как Мефодий в Нежине бесчестил вельмож и архиереев московских. На обвинение в сношениях с Дорошенком Гизель отвечал, что действительно писал к чигиринскому гетману, просил запретить козакам грабить маетности Печерского монастыря, о том же писал и к Тукальскому. Николопустынский игумен Алексей Тур оперся на то в своем ответе, что Мефодиевы обвинения — голословные, ничем подтвердить их нельзя. Игумены — Михайловский Феодосий Сафонович, Кирилловский Мелетий Дзик, Братского монастыря Варлаам Ясинский, Выдубицкого — Феодосий Углицкий, Межигорского — Иван Станиславский подали сказки, что они сносились с Чигирином с ведома боярина Шереметева, все в один голос объявили, что, пока Мефодий был в Москве, все было тихо, а как он приехал в Малороссию и породнился с Брюховецким, то и начались бунты. С теми же речами приходили к Шереметеву и мещане киевские; Дорошенко также прислал обвинительную грамоту на Мефодия, прислал письмо, которое тот писал к Брюховецкому, поднимая его против Москвы.

Положение Мефодия было незавидное: он совсем растерялся, не знал, что делать? К кому обратиться? У Шереметева подслуживался доносом на своих, а к Феодосию Сафоновичу писал, что он поссорился с Шереметевым из-за общей пользы для целости отчизны, Церкви Божией и вольности народной. Шереметев признал за лучшее отправить Мефодия в Москву, «а то пожалуй, что и в Киеве какие-нибудь бунты

заведет!». В Москве на все обвинения епископ отвечал одно, что он об измене Ивашка Брюховецкого не ведал до тех пор, как государевы люди были побиты в Гадяче. Его оставили в московском Новоспасском монастыре под стражей, где он и умер.

Дорого поплатились сваты — Брюховецкий и Мефодий за смуту; недолго торжествовал и Дорошенко. Он один, без сильной помощи турецко-татарской, не мог держаться против московских воевод на восточной стороне Днепра. Он оставил здесь наказным гетманом черниговского полковника Демьяна Игнатовича Многогрешного, а сам удалился в Чигирин. Следствием этого удаления было то, что Восточная Украйна потянула опять к Москве; царский воевода князь Ромодановский начал наступательное движение, и Многогрешный должен был вступить с ним в переговоры. Тут-то и выступает на сцену Лазарь Баранович: он присылает царю грамоту, умоляет простить преступных козаков, но вместе настаивает, чтоб не было московских воевод в городах малороссийских.

«Аще есть род строптив и преогорчевая, — пишет Лазарь о козаках, — но ему же со усердием похощет работати, не щадя живота работает. Ляхи под Хотином и на различных бранех силою их преславная соделаша; род си цев иже свободы хощет, воинствует не нуждою, но по воле; ляхи к каковой тщете приидоша, егда их войско Запорожское остави? Ныне видят и различными образы их утверждают, но болшее усердие их — к вашему царскому пресветлому величеству; но от одних воевод, с ратными людьми в городах будучих, скорбят, и весь мир, сущим воеводам в городах украиных, одни в Литву, а иныи в Польшу итить готовы, подущение всегдашнее от варвар имеют; свободою убо, ею же Христос нас свободи, помазаниче Божий, пресветлый царю, их свободи, да стоят на свободе, их укрепи, да истинно тебе поработают и от варвар отлучатся всяко! На знамение обращения своего Демко Игнатович гетман Северский плененных отпущает. Яко жена кровоточивая егда коснуся края риз Христовых, ста ток крови ея; сице егда войско Запорожское со смирением припадает и касается края риз вашего пресветлого царского величества, — чаю яко станет ток крови».

Баранович переслал в Москву письмо к себе Многогрешного, где высказано было условие, на котором козаки могли снова подчиниться царю: это — выведение воевод из всех городов малороссийских. Царь велел отправить ответные грамоты к Барановичу и Многогрешному: объявлял прощение козакам и удостоверял их в своей милости; никаких условий или более определенных обещаний не было. В Москве имели право заподозрить в преувеличении отзывы Барановича о воеводах, ибо жители города Нежина незадолго перед тем прислали челобитную, в которой просили оставить у них воеводу Ржевского, потому что он человек добрый, живет с ними Бога бояся — никаких обид, разоренья и воровства не допускает. И в то же время нежинцы били челом на своего архиепископа Лазаря Барановича, что великую им горесть учинил, отнял два села.

И вот в то время, когда нежинцы, довольные воеводой — в ссоре с своим архиереем; когда этот архиерей просит царя исполнить желание

козаков — вывесть воевод, в Москву является нежинский протопоп Симеон Адамович. Испугался Демьян Многогрешный этой поездки протопопа к царю и написал Барановичу: «Нынешняя война с великим государем возникла по благословению его милости, отца Мефодия, и его послушника, протопопа Нежинского. Слышу, что князь Ромодановский отпустил этого протопопа к великому государю; отпустил он его на последнюю гибель нашей бедной Малороссии и всему миру. Если великий государь не захочет подтвердить нам вольностей, постановленных при Богдане Хмельницком, тогда, ради не ради, поддадимся поганцу (султану); а на ком будет грех? На епископе Мефодии да на протопопе Нежинском».

Баранович прислал эту грамоту в Москву вместе с своей, в которой словами Писания умолял государя исполнить просьбу Многогрешного: «Отврати лице твое от грех их, и нечестивии к тебе обратятся; умолен буди на рабы своя, да не от отчаяния сопрягутся к неверному ярму бусурманскому».

Протопоп был ласково принят в Москве и отправлен назад в Малороссию с грамотами к Барановичу и Многогрешному. В 1669 году он прислал государю грамоту с рассказом о своих приключениях и с увещаниями, которые никак не походили на увещания Барановича.

«Гетман Северский, — писал протопоп, — сначала принял меня любовно, а потом, по совету преосвященного Лазаря, возъярился и с 29 ноября до 10 генваря мучил меня за караулом, запретил мне под смертной казнью ни в Москву, ни к воеводам отнюдь не писать. Преосвященный архиепископ приговорил гетману держать меня за караулом, и если ваше царское величество позволите своим ратным людям из городов выйти, то оставить меня в живых; если же нет, то меня либо смерти предать, либо татарам отдать. Я стал с слезами просить архиепископа, чтоб не дали меня, но для милости вашего царского величества отпустили меня либо в Москву, либо в Нежин. Архиепископ отвечал мне: «Не сделаю этого для земного царя, а только для Небесного, и, если б не мое заступление, давно бы тебя гетман смерти предал». Сам я слышал своими ушами, как архиепископ говорил: «Надобно нам того, чтоб у нас в Малой России и нога московская не была; если государь не выведет своих ратных людей из городов, то гетман хотя и сам пропадет, а царство Московское погубит: как огонь вещь подлежащую спалит и сам погаснет». Воля ваша: если прикажете из Нежина, Переяславля, Чернигова и Остра вывести своих ратных людей, то не думайте, чтоб было добро. Весь народ кричит, плачет: как израильтяне под египетской, так они под козацкой работой жить не хотят; воздев руки, молят Бога, чтоб по-прежнему под вашей государской державой и властью жить. Говорят все: «За светом государем живучи, в десять лет того бы не видали, что теперь в один год за козаками». Козаки умные, которые помнят свое крестное целованье, мещане и вся чернь говорят вслух: «Если вы, великий государь, изволите вывесть своих ратных людей из малороссийских городов, то они селиться не хотят, хотят бежать врознь. одни в украинные города вашего царского величества, другие за Днепр в королевские города».

Протопоп победил: в Москве решили не выводить воевод. В марте 1669 года, на большой Раде в Глухове, был об этом большой спор между гетманом Многогрешным и царским боярином Ромодановским. Лазарь Баранович был тут же и говорил по-прежнему против воевод.

«О выходе ратных людей из городов и не думайте, — говорил боярин, — какую вы дадите поруку, что вперед измены никакой не будет?»

Гетман и старшина молчали.

Боярин продолжал: «И прежде были договоры, перед св. Евангелием душами своими их крепили, и что ж? Соблюли их Ивашка Выговский, Юраска Хмельницкий, Ивашка Брюховецкий? Видя с вашей стороны такие измены, чему верить? Чтоб больше об этом деле и помину не было!»

Заговорил Баранович: «Отчего нам чинятся налоги, о том как не говорить и великому государю не бить челом? Теперь ты, боярин, не хочешь с нами чинить договору о выводе ратных людей: так написать в статьях, чтоб вперед было вольно бить челом государю об этом». «Не только что об этом в статьях писать, и говорить с вами не хотим!» — отвечал боярин.

Козаки уступили.

ЗАМЕТКИ О САМОЗВАНЦАХ В РОССИИ*

Явление самозванства встречается в разные века у разных народов, начиная от древнего Смердиса Персидского; но нигде не встречается оно так часто и не имеет такого значения, как в русской истории XVII и XVIII веков. Это, разумеется, должно обратить на себя внимание и, кроме частных объяснений отдельных случаев, заставит отыскивать общие причины явления, повторяющегося более или менее видным образом в продолжение двух веков.

Некоторые, отыскивая общую, основную причину, останавливаются обыкновенно на сильном неудовольствии, господствовавшем в эти два века преимущественно в низшем земледельческом, прикрепленном к земле народонаселении. Но всякое внутреннее волнение во всякой стране получает пищу от накопившегося неудовольствия, от известного неудобства положения в том или другом общественном кругу; всякий «заводчик смуты», по старинному выражению, обращается к недовольным, сулит им выход из их тяжелого положения и этим поднимает их против существующего порядка. Накоплением неудобств и неудовольствий в тех или других классах общества и волнениями, отсюда происходящими, богата история и других государств европейских; и здесь были времена, когда земледельческое сословие сильно волновалось, требуя свободы и льготы: известны страшные волнения его в Англии

* Русский архив 1868. Вып 2 С 265—281

в продолжение второй половины XIV века; известна французская Жакерия и Крестьянские войны в Германии.

Причина движений везде одна и та же — неудовольствие, стремление выйти из известного неудобного положения. Для нас, следовательно, важна здесь не общая причина, но особенные формы, какие принимало движение в той или другой стране: ибо только эти формы характеризуют общество, условия его развития в известное время.

В большинстве случаев самозванство в России являлось неразлучным с казачеством. Вот уже и особенная форма, которая и заслуживает прежде всего внимания. Крестьяне и вообще чернь наших украйн поднималась только тогда, когда среди них появлялась вооруженная сила, призывавшая их к воле под знаменем ложного царя. Следовательно, движение условливается присутствием этой вооруженной силы, которая называется казаками.

В других странах видим ли мы что-нибудь подобное этому явлению? Везде мы видим выделение из общества людей недовольных существующим порядком или некоторыми его сторонами, также людей беспокойных, которым тесно в известном обществе. Выделение это бывает вольное или невольное: они удаляются сами, ища новой, более удобной для себя почвы, или бывают удаляемы государством, причем государство или удаляет их за собственные пределы, или удаляет их в отдаленные местности собственных владений, не отнимая от них своей руки, заставляя их вести образ жизни, соответственный его целям. То и другое зависит от степени силы государства: во времена младенчества и бессилия государства употребляется обыкновенно первый способ; при большем развитии, большей крепости государственной, употребляется второй.

Проследить историю этих выделений их различных форм причин и следствий — значит проследить историю человеческих обществ по одной из самых важных ее сторон. В отдаленной древности из этих выделений составляются дружины, которые своим движением, своими подвигами начинают историю: это героический, или богатырский, ее период. И после, когда государства образуются и крепнут, это выделение недовольных, свободно вследствие материальных и нравственных побуждений удаляющихся или насильственно изгоняемых, не перестает иметь важного значения.

Достаточно одного, что это выделение служит причиной вывода колоний; один из важнейших переворотов древней греческой истории характеризуется названием возвращения изгнанных Гераклидов. Впоследствии борьба партий в греческих городах постоянно увеличивает число изгнанников; они возвращаются при удобном случае, но до этого удобного случая какое будет их занятие? Они образуют дружины, из которых составляются наемные войска, играющие такую роль в истории Греции и Персии перед Македонским владычеством.

В начале римской истории встречаемся с «позорным убежищем» (infame asylum), куда стекаются изгнанники, и видим, как идет долгая борьба между этими безродными пришельцами и родовитыми людьми, «отецкими детьми» (патрициями). В новой, христианской Европе

известна деятельность дружин в разрушении Римской империи и основании новых государств. Когда движение дружин прекратилось на сухом пути вследствие окончательного и прочного образования новых государств, дружины, составленные из людей, которым не было доли в родной земле, рыщут по морям под именем норманнов и варягов.

Потом Западная Европа отдала много беспокойных сил своих в то знаменитое движение на Азию, которое известно под именем Крестовых походов, и следствия схлынутия этих сил оказались немедленно в новом порядке вещей, утвердившемся после Крестовых походов. С другой стороны, выделение этих сил повело к образованию дружин, из которых начали составляться наемные войска, служившие по дружинной привычке «в семи ордах семи королям».

Франция из своих дружин, так называемых Арминаков, приобретших печальную известность в смутное время царствования Карла VI и VII, образовала постоянные войска; эти войска, вводясь и в других государствах и увеличиваясь вместе с увеличением финансовых средств государств, поглощали много сил, которые не могли быть употреблены в мирных занятиях. Некоторые государства должны выбирать между войной в обширных размерах или внутренними волнениями, приготовляющимися чрез накопление беспокойных сил. Наконец, Западная Европа получила средство выделения беспокойных сил посредством колонизации, благодаря открытию Нового Света и открытию удобных путей в отдаленные части Старого. Известно, как обыкновенно усиливается переселение из Европы в Америку после неудавшихся или не вполне удавшихся переворотов.

Обратимся к Восточной Европе. Здесь с незапамятных пор мы видим также выделение людей, которым тесно, неудобно в обществе и которые оставляют его для другой жизни, более соответствующей их природе, образуя дружины или военные братства. В Западной и Южной Европе для людей, рассорившихся с обществом и живущих на его счет, большое удобство представляло море, которое потому с древнейших времен было обильно пиратами, пока наконец в новые времена сильное развитие торговли и увеличение морских сил государств не очистили море от разбойников.

Восточная Европа имела своего рода море — широкую степь, которая также наполнялась «добывателями зипунов». В старину богатыри, позднее казаки, тянулись в степь, где могли размять свое плечо богатырское, «поляковать, козаковать» свободно. Как прибрежные государства Западной Европы терпели пиратов во время своей слабости, но, пришедши в силу, очистили от них моря, так и государство Восточной Европы, Россия, когда была слаба, терпела самостоятельное существование казачества подле себя в степи; когда же стала усиливаться, начала стремиться привести его как военную силу в полные служебные отношения к государству и достигла своей цели. Казачество не подчинилось скоро и добровольно и в борьбе с государством употребляет самозванцев, ими волнует и мирное, невооруженное население страны.

Первый самозванец был подставлен не казаками, но в них немедленно нашел сильных и верных приверженцев. Казаки поняли, какая это выгодная для них выдумка, и второй самозванец Лжепетр был уже казацкой фабрикации. Вслед за тем была выставлена казаками целая толпа самозванцев, и самозванцы, не ими выставленные, опирались на них. Большое казацкое восстание, Разинское, не обошлось без двух самозванцев, «царевича» и «патриарха». При Петре Великом казаки с Булавиным встали без самозванца, но восстание и ограничилось одной казацкой областью; последнее казацкое восстание было поднято с самозванцем. Те самозванцы, которые являлись не между казаками или не могли опираться на них, не успевали возбуждать волнений.

Таким образом, главное условие для появления самозванцев и успеха их заключалось в казачестве, как оно существовало прежде. Но теперь предстоит другой вопрос: зачем казакам были нужны самозванцы и как самозванцы были возможны в таком числе? Первый вопрос решается легко, когда вспомним, что монархическая власть утвердилась в России за исключением всякой другой силы, которая могла бы вступить с ней в борьбу в свое собственное имя, во имя своих прав, существующих в народном сознании: вступить в борьбу с монархической властью можно было во имя той же власти, заступившись за право настоящего, законного царя или царевича, лишенного этих прав, спасшегося от смерти, одним словом выставляя самозванца.

Другой вопрос: как самозванцы были возможны — решается, когда обратим внимание на состояние общества, на степень образования. Образование дает привычку критически относиться к каждому явлению, обсуждать его, тогда как человек необразованный, встретясь с необыкновенным, важным явлением, преклоняется пред ним, подчиняясь вполне первому впечатлению. Ему скажут: «Вот царь!» И его первое дело пасть пред ним на колени, не рассуждая, настоящий ли это царь; чем страннее, чудеснее рассказ, тем больше ему верилось. Вот почему нельзя объяснять причину явления одним неудовольствием, тягостью положения известного класса народонаселения: шли за самозванцем не потому только, что надеялись лучшего, но прежде всего потому, что считали своею обязанностью идти; никто не станет отрицать, что многие, а в некоторых случаях большинство было обмануто, верило, что защищает права законного царя.

Что касается самозванцев, то некоторые из них сознательно принимали на себя роль обманщиков, приходила ли им первым мысль о самозванстве или внушена другими. Но некоторые сами были убеждены в своем высоком происхождении; таков был первый Лжедимитрий (Отрепьев). Луб, которого воспитывали в Польше как сына Тушинского царя; в XVIII веке та несчастная женщина, которая выдавала себя за дочь императрицы Елисаветы, была схвачена в Италии и кончила жизнь в Петропавловской крепости.

Относительно первого Лжедимитрия против нашего взгляда высказано такое возражение: «Несообразность характера названного Димитрия с званием обманщика побудила С. М. Соловьева прибегнуть

к предположению, что, не будучи Димитрием, он был обманут, а обманутый и сам верил в свое царственное происхождение. Это предположение имело бы за собою большое вероятие, если бы названному Димитрию внушили, что его спасли в таких нежных летах, когда он сам себя еще не помнил. Но из современных свидетельств и, между прочим, из писем короля Сигизмунда видно, что он рассказывал, будто его спасли в Угличе тогда, когда Димитрию было уже восемь лет; каждый из нас помнит ясно себя в таком возрасте при таких же делах. Едва ли возможно кого-нибудь уверить, что он в восемь лет был обставлен такими обстоятельствами и вещами, каких он не помнит, и вместе с тем выбить из его памяти впечатления, которые у него остаются от детских лет»[1].

Это возражение имело бы силу, если бы дело шло о человеке нам современном и из нашего круга, о человеке, по-нашему, образованном. Кого-нибудь из нас теперь трудно уверить, что с ним случилось, когда ему было 8 лет, важное происшествие, которого он не помнит. Почему трудно? Потому что он знает, сколько ему лет, в котором году и которого числа, месяца он именно родился. Помня известные события, зная, когда они случились и зная год своего рождения, мы делаем соображения и выводим, что помним события, случившиеся, когда нам было 8 лет, следовательно, и другие люди должны помнить, что случилось с ними в этом возрасте. Но если год рождения неизвестен, если человек не может определить точно, сколько ему лет, то основание соображений рушится. Спросите нашего крестьянина, сколько ему лет? «Годов сорок будет», — ответит он, и кто поручится, что он немного ошибся? А в XVI веке не только сын какого-нибудь ничтожного галицкого сына боярского, но и люди позначительнее не знали, сколько им лет.

При таких условиях какой-нибудь Отрепьев мог делать только следующие соображения и выводы: «Люди старые и знающие говорят, что, когда мне было 8 лет, меня хотели убить; я этого не помню, значит, я помню только то, что случилось со мною уже после 8 лет».

Если бы не было метрических свидетельств и если б в школе мы не могли узнать верных хронологических определений для событий, памятных нам из детства, то, конечно, люди старые и знающие могли бы уверить нас во всем, в чем им угодно. Нам эти соображения, с какого года человек начинает помнить события своей жизни, понадобились потому, что мы пишем исследование о самозванцах; но зачем они могли понадобиться молодому русскому человеку XVI или XVII века, при сильном воображении, не допускающем холодной работы ума?

Не одна известная самозванка выдавала себя за дочь императрицы Елисаветы: был у нее и родной брат. В 1768 году лекарь Лебедев донес, что адъютант Опочинин, сын генерал-майора, выдает себя за сына императрицы Елисаветы от английского короля и составляет заговор для свержения императрицы Екатерины II в пользу великого князя Павла Петровича, распространяя слух, что императрица хочет поделить Россию

[1] Вестник Европы. 1867. Сентябрь. С. 64.

между Орловыми. И Опочинин, подобно своей «сестрице», не сам выдумал себе происхождение. Корнет Батюшков внушал ему: «Сказывала мне покойная бабка моя Анна Пребышевская, что когда был здесь английский посол, то в его свите был, под именем кавалера посольства, сам король английский, от которого ты и родился и Опочинину отдан на воспитание».

Суд признал, что преступление Батюшкова произошло от пьянства и помешательства в уме, и приговорил: «Лишить его дворянства и чинов и послать в Мангазею и производить по две копейки на день; и когда будет в здравом уме, то употреблять на работы». Опочинина, «по молодости лет (ему было только 18), по раскаянию и службе отцовской, послать тем же чином в гарнизон на линию»[2].

Ряд самозванцев, выдававших себя за Петра III, появляется с 1765 года: беглый солдат Гаврила Кремнев назвался Петром III, возмутил народ в Воронежской и Белгородской губерниях, особенно при помощи попа Льва Евдокимова, который немедленно признал в нем государя и начал свидетельствовать, что он, поп, будучи дворцовым певчим, Петра III видал и маленького на руках нашивал. Императрица из дела увидела, что преступление Кремнева произошло «без всякого с разумом и смыслом соображения, а единственно от пьянства, буйства и невежества, что дальнейших и опасных видов и намерений не крылось», и потому освободила от смертной казни. Его секли кнутом во всех тех селах, где он о себе разглашал, привязавши к груди доску с надписью: «беглец и самозванец»; на лбу выжгли Б. С. и сослали в Нерчинск на вечную работу.

В том же году армянин Асланбеков, взятый за фальшивый паспорт, объявил себя Петром III. Его били плетьми и сослали в Нерчинск. По произведенному в 1765 году в Слободской Украинской губернской канцелярии следствию открылось, что беглый Брянского полка солдат Петр Чернышев, Изюмской провинции в слободе Купенке, разглашал о себе, якобы он бывший государь Петр Федорович; чему поверя, той слободы бывший поп Семен Иваницкий по желанию его пел всенощную и молебен, упоминая его на ектениях таким, каким он ему сказывался. Учинено им публичное наказание кнутом и сосланы в Нерчинск, поп на житие, а Чернышев на работу. Главный командир Нерчинских заводов генерал-майор Суворов прислал рапорт, что Чернышев и там чинил о себе тоже разглашение, чему некоторые из тамошних жителей поверя, давали ему многие подарки. В 1767 году беглый солдат Мамыкин по дороге в Астрахань разглашал, что Петр III жив, «примет опять царство и будет льготить крестьян».

В 1768 году о Петре III начал толковать заключенный в Шлиссельбурге подпоручик Иоасаф Батурин. Он был посажен в крепость за то, что при императрице Елисавете имел «злодейственное намерение к бунту»,

[2] Сличи в «Русском архиве» 1864 (изд. 2-е. С. 428) распоряжение, подписанное 15 декабря 1775 г.: «Майору Патрикееву». «Бывшего гвардии корнета Батюшкова сестре Марьи-Кропотовой во всю их жизнь в резиденции ни для чего не выезжать, а жить им в своих деревнях». Кто Патрикеев, мы не знаем. (Примеч. П. Бартенева).

склонив на свою сторону прапорщика Тимофея Ржевского, вахмистра Александра Урнежевского, дворцовой псовой охоты двух пикеров, суконщика Кенжина, Воронежского батальона подпоручика Тыртова, гренадеров Худышкина и Кетова. Батурин подговаривал пикеров доложить наследнику, великому князю Петру Федоровичу, что Батурин может подготовить к бунту всех фабричных, и находящийся в Москве Преображенский батальон, и лейб-кампанцев. «Если наследник даст нам знатную сумму денег, — говорил Батурин, — то мы заарестуем весь дворец, и Алексея Разумовского с его соумышленниками, где ни найдем, всех в мелкие части изрубим за то, что от Разумовского долго коронации нет наследнику; а государыню до тех пор из дворца не выпустим, пока Петр Федорович не будет коронован; если архиереи коронации не захотят, то их вытащим и силою принудим. Я привезу великого князя в церковь и велю его короновать, и если архиерей будет противиться, то отрублю ему голову; если не бунтом идти, то коронации никогда не бывать по милости Разумовского. Поэтому я хочу, набравши хотя малую партию и нарядя всех в маски, поехать верхами и, улуча Разумовского на охоте, изрубить. У меня уже набрано людей с 30 000; будут помогать и большие лица, граф Бестужев, генерал Степан Апраксин».

Кенжина Батурин уговаривал внушать фабричным, будто он, Батурин, от наследника послан к одному купцу для взятия 5000 рублей на раздачу им, фабричным, для начатия бунта. Тыртову объявил именной указ наследника — убить Разумовского. Гренадеров Худышкина и Кетова научил разглашать между гренадерами, что, если кто из них склонится к делу, того Петр Федорович пожалует капитанским рангом, по примеру лейб-кампанцев. Батурин, Урнежевский, Тыртов и гренадеры прикладывались к складням, клялись не открывать намерения, если кто-нибудь из них попадется.

Потом Батурин ходил к московскому купцу Ефиму Лукину, назвавшись обер-кабинет-курьером, говорил, что прислан от великого князя с приказанием взять 5000 рублей. Лукин отвечал, что, не видав великого князя, денег не даст; тогда Батурин написал наследнику латинскими буквами записку, что у него приготовлено 50 000 человек для возведения его на престол, и эту записку отдал Лукину, чтобы тот вручил ее великому князю; таким образом он нашел средство известить Петра о своем намерении.

Когда намерение открылось и произведено было следствие, то, «за невоспоследованием резолюции» императрицы, Худышкина и Кетова сослали в Рогервик на работу; Батурина, Тыртова и Кенжина в Шлиссельбург. По восшествии на престол Петра III Сенат возобновил дело и приговорил сослать Батурина в Нерчинск на работу; но император велел оставить его в Шлиссельбурге и давать лучшее содержание. О Батурине забыли; уже пять лет царствовала императрица Екатерина II, когда в начале 1768 года к солдату Ушакову пришел другой солдат, Сорокин, вынул из кармана две бумажки и начал говорить: «Я был в Шлюшине у одного колодника, который называет себя полковником, у Иосифа Андреевича Батурина; он дал мне эти две бумажки и просил,

чтоб я одну, маленькую подал государыне, а другую Петру Федоровичу, и говорил мне этот Батурин, что ежели я бумажки подам, то мне будет великое награждение».

Ушаков развернул сперва большую бумажку и, увидя, что она написана к бывшему государю, говорил Сорокину: «Пустое! Ведь он давно уже умер; ведь ты помнишь: еще мы были в походе, так там это было уже известно, что он подлинно умер». Сорокин отвечал: «Нет, брат, Батурин знает планеты; он, смотря в окошко из казармы на небо, указывал государству планету и сказывал, что он жив и теперь гуляет, и чрез год или два сюда придет». Батурин рассказывал караульным, что он хотел Петра Федоровича возвести на престол; караульные возражали ему: «Если бы ты такую услугу Петру Федоровичу показал, так для чего он тебя, покуда жив был, отсюда не свободил?» — «Врете вы, — отвечал Батурин, — государь не умер, а жив, поехал гулять, а меня здесь оставил под видом; я по планетам знаю, что он жив, планету вижу, и увидите, что он года через два в Россию возвратится».

Все подобные толки и появления самозванцев здесь и там не могли повести ни к чему важному до тех пор, пока семя не попало на удобную почву, пока самозванец не явился в степи, среди недовольных, волнующихся казаков яицких. Но то были уже последние, крайние казаки, и восстание их с самозванцем было последним восстанием. Казаки и после, по старой привычке, продолжали содействовать крестьянским побегам, но это не имело последствий. В 1783 году дворяне Киевской губернии подали просьбу императрице:

«Побеги крестьян беспрестанно умножаются, находя себе пристанище с одной стороны в донских станицах, а с другой в пределах Таврической области и наиболее в Екатеринославской губернии. Они бегут туда единственно в чаянии найти там свободу в личной ни от кого независимости и в избежание платежа всяких податей. Сими то самыми видами льстят их подъезжающие и подсылаемые с тех мест подговорщики, производя сие в скрытом образе столь удачно и столь обольстительными о вольности обнадеживаниями, что и самые примерные в достаточном и порядочном хозяйстве крестьяне, так сказать, из недр изобилия и приятной жизни, следуют за обманщиками, уже не по одиначке и не семьями, но величайшими скопищами поднимаются и уходят не только тайным, но и явным образом, отваживаются противостоять каждому, кто бы ни вздумал преграждать им путь. Нет почти между нас помещика, который не потерпел бы знатного ущерба в людях, быв еще притом во всегдашней опасности, что и последние крестьяне их оставят, ибо по случаю столь дерзкого чрез подсыльщиков подговору к побегу их и приему из вышеозначенных мест, рассеиваются между простолюдинами слухи, что будто вообще всем крестьянам дана уже совершенная вольность переходить, куда кто из них пожелает»[3].

В последний год царствования Екатерины II, 13 марта 1796 года, депутат Воронежского дворянства Астафьев подал просьбу о том же:

[3] Вот один из поводов так называемого введения в Малороссии крепостного права. Что введение это основано было на соображениях хозяйственных, видно из 77-го письма императрицы Екатерины к А. В. Алсуфьеву. «Русский архив». 1863. Изд. 2-е. С. 433 (Примечание П. Бартенева).

«Мало того, что крестьяне бегут, приводят тем помещиков в расстройство· они еще нередко присоединяют к побегам своим и насильственное разграбление имения помещиков своих Побеги устремлены наипаче в Донское войско. От стороны казаков употребляемы бывают к подговору беглецов как скрытые обольстительные средства, обнадеживающие освобождением от платежа податей, увольнением от рекрутского набора и достижением независимости, так и явные пособия уводов под прикрытием конвоя»

ЗАМЕТКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИТРОПОЛИТА ГАВРИИЛА (ПЕТРОВА) ПО ВОПРОСУ О РАСКОЛЕ*

Гавриил Петров, митрополит Новгородский и С.-Петербургский, занимал по смерти Димитрия Сеченова самое видное место между русскими архиереями в знаменитое царствование Екатерины II. Он славился как ученый, как оратор, как человек государственный. Это был «муж острый и резонабельный», по отзыву императрицы; ему посвящен был Велисарий Мармонтеля, переведенный Екатериной сообща с приближенными людьми, и в посвящении говорилось, что Гавриил мыслями и добродетелью «с Велисарием сходен». Гавриилу посчастливилось и у потомства: позднейшие ученые деятельно занялись его трудами и дорого оценили их достоинство Нам не нужно поэтому повторять уже много раз сказанного; мы обратим внимание только на одну черту его деятельности, которую он заявил уже в конце своего поприща.

Царствование Елисаветы в русской истории XVIII века составляет переход между двумя половинами века не в одном хронологическом отношении: в это царствование под влиянием новых начал в литературе и жизни воспитались люди, которым суждено было действовать в царствование Екатерины. В царствование Елисаветы новое дело шло медленно, постепенно, осторожно; в короткое царствование ее преемника люди, воспитавшиеся в новых началах, поспешили высказать свои взгляды на разные явления, им не нравившиеся, и под влиянием этих взглядов состоялись известные указы — об уничтожении Тайной канцелярии, о вольности дворянства, об облегчении участи раскольников. Екатерина II не могла вооружиться против этих взглядов, потому что она разделяла их, сама воспиталась в них при Елисавете; но так как они были высказаны очень поспешно, то в царствование Екатерины они подверглись более или менее медленному пересмотру, переработке

В царствование Петра III, между прочим, высказаны были и относительно раскола взгляды, долженствовавшие произвести сильное впечатление на людей, которых дело ближе всего касалось, именно — на раскольников взглянули как на людей, принадлежащих к другому христиан-

* Православное обозрение 1875 Т 3 № 11 С 430—434

скому исповеданию или исповедающих другую, нехристианскую веру: если последних не преследуют за их веру, то за что же преследовать раскольников? Если не преследуются идолопоклонники и магометане, то за что же преследовать христиан, отличающихся от православных какими-нибудь обрядами только? Легко понять, какое движение произвел указ Петра III между раскольниками, и это движение досталось в наследство Екатерине II.

Раскольники, вызываемые из-за границы, куда бежали от гонений, требовали, чтоб по возвращении на родину им предоставлена была свобода богослужения. Императрица в 1763 году обратилась к Синоду за разрешением вопроса, Синод разделился в своих мнениях. Двое преосвященных — Петербургский Гавриил (Кременецкий) и Крутицкий Амвросий подали мнение, что раскольников должно принять и содержать без всякого притеснения, но только на таком основании, как содержатся записные раскольники, не допуская их строить особые церкви, держать своих священников, употреблять старопечатные книги и жить при тех же обрядах, как они живут за границей. Но Димитрий (Сеченов) Новгородский и Гедеон Псковской представили такое мнение:

«Раскольники требуют сохранения некоторых только своих обрядов, семя просвир, двуперстного сложения и проч., обещая во всем другом повиноваться Церкви и принимать наших священников. Первый вопрос здесь: можем ли мы это позволить, когда эти обряды на соборах прокляты? Отвечаем: не обряды, но больше содержащие их сей клятве подвергаются, и то не за обряды точно самые, но за сопротивление их Св. Церкви и отторжение самовольное от нее, а паче еще за произносимые от многих из них на оную хулы и ругательства разные, в чем и мы правильную находим причину; если же бы за одни обряды проклятие то было положено, то была б причина почитать оное за недействительное и от непомерной не по разуму ревности происходящее. По апостолу Павлу по нужде и закону применение бывает, то уже применение обрядов или обычаев не больше ли изменения в вере причинять не должно. Пусть только они во всем, хотя кроме обрядов, будут с православной нашей Церковью единомысленны, то в таком случае и нет сумнения, чтоб их принять и присоединить православному нашему обществу, а прочее устроит Бог».

Прошло после этого без малого 30 лет, и знаменитый Гавриил (Петров), митрополит Новгородский и Петербургский, подал мнение опять по поводу возобновления раскольничьего вопроса. 9 ноября 1792 года он представил записку:

«Старообрядцы петербургские подали мне прошение, чтоб им быть в числе сынов православной греко-российской Церкви и от меня получать священников, равно как в екатеринославской епархии. Притом приобщили копию с прошения от старообрядцев московских, поданного главнокомандующему в Москве; в ней написано: 1) что они имеют деревянные при кладбище молитвенные храмы; 2) что от дней Никона патриарха терпят от духовных властей гонение; 3) чтоб дозволено строить им церкви для служения литургии по старопечатным книгам, как и в екатеринославской епархии, умалчивая, что сие дозволение

отнесено к епархиальному архиерею и что они имеют порок, что беглые попы у них служат, — и просят: 1) чтоб им построить церковь; 2) иметь священников, приходящих к ним; 3) чтоб быть у них архиепископу, приходящему самопроизвольно на таком положении, как они пребывают; 4) чтоб он не был под ведомством духовных властей, отделясь от них, как в городовом положении, в статьях 124, 125 и 126 о иностранных предписано; 5) чтоб им в чиноположении их быть ведомыми по духовным делам в их консисториях, не сообщаясь великороссийским духовным властям. Сия просьба довольно изъясняет намерение их: стараются начать свою Церковь, отделясь от осподствующей в России, и иметь своего архиепископа и консистории. Начали строить церковь, превышающую пространством и огромностью Успенский собор, чтоб огромностью сего храма унижать первую в России церковь в мыслях простого народа. В Москве приверженных к расколу больше 20 000; многие епархии, особливо нижегородская, до того доходят, что церкви лишаются своих приходов. Ежели из губерний соберутся чиноначальники их в такой пространной церкви, в которой до 3000 народа может вместиться, когда они предполагают быть у них архиепископу и консистории, когда сия толпа фанатиков сделает соборы, каковые уже и были и положения свои возвестят в губерниях, из которых они придут в Москву, сии, не имеющие привязанности к правительству, могут ли обнадеживать безопасностью столицы? Они просят, чтобы их почитать так удаленными от господствующей Церкви, как удалены католики и лютеране: можно ль надеяться, чтоб их фанатизм, распространяющийся по всей России, почитал государя правоверным? Великий Петр, монарх проницательнейший, нарек их лютыми неприятелями государству и государю, непрестанно зло мыслящими. Внимая сим обстоятельством, думаю: 1) Чтоб начатую ими церковь обратить на другие предписанные законом монархии для призрения бедных или для пользы общественной установления. 2) Дозволить им построить часовню, какая для погребения усопших на кладбище потребна, без колокольни».

ПОЦЦО ди БОРГО И ФРАНЦИЯ*

Начало второй четверти XIX века

I

Наполеона не было более на европейской почве, привидение всемирной монархии исчезло; государства разобрались на первый раз, как могли, в развалинах, оставшихся после французской революции и им-

* Вестник Европы 1879 Кн 3 С 82—102, Кн 5 С 252—273

перии, и опять выступили насущные заботы их политики: не дать одному усилиться на счет других, нарушить равновесие; каждое значительное государство хлопотало о том, чтобы не потерять прежнего значения, а усилить его. Предметом опасения, зависти, вражды для некоторых государств стала теперь Россия. Еще при Наполеоне в Вене ставился вопрос — кто опаснее для Австрии: Наполеон или Александр?

И, поставивши этот вопрос, естественно, пришли к мысли, что для спасения Австрии, для поддержания ее значения, необходимо поддерживать равновесие между ними, что такая посредничествующая деятельность даст Австрии важную роль, сделает ее центром европейской политической жизни. Жестоко обманулись в расчетах, и тем более беспокоились и сердились, боязливо озираясь на все стороны, особенно на больное место Европы, на Балканский полуостров. Русскому государю, главному деятелю, полному представителю новой, посленаполеоновской эпохи, эпохи улаживания, примирения, недопускания взрыва борющихся элементов, — русскому государю надобно было совершать частые и трудные походы в разные стороны Европы, только походы не военные, а по характеру времени — дипломатические; вместо имен местностей, где недавно происходили великие битвы, решавшие участь народов, устами всех повторялись имена местностей, где происходили съезды государей и дипломатов, где также решались судьбы народов. Но русскому государю при его новой, всеевропейской деятельности нужны были достойные помощники, дипломатические маршалы, которые должны были занимать отдельные посты. Мы займемся деятельностью одного из них, занимавшего самый важный, самый трудный пост — в Париже; деятельностью знаменитого Поццо ди Борго, корсиканца, родового врага Бонапартов, страстно предавшегося служению новой эпохе и ее представителю, Александру I, сокрушителю предшествовавшей, ненавистной наполеоновской эпохи.

При явной враждебности, явном соперничестве Австрии; при нерасположении Англии, которая с трудом, только до поры до времени сносила могущественное влияние России на европейские дела и при первом случае готова была соединиться против нее с Австрией; при нерешительном положении Пруссии, которая, еще не отдохнувши от недавнего прошедшего, находилась в каком-то тяжелом раздумьи относительно своего будущего, своих интересов, России необходимо было иметь на своей стороне Францию, хотя и побежденную соединенными усилиями Европы, но могущественную своими средствами, которые восстановлялись в ней чрезвычайно быстро. В противоположность странной, чтобы не сказать больше, мысли Меттерниха — поддержать европейское равновесие сохранением на французском престоле Наполеона, в политике Александра I мы замечаем явное стремление, свергнувши Наполеона, поддержать Францию в ее дореволюционных границах и в ней создать противовес Австрии и Англии. Цель была достигнута, и положение Франции во время столкновения России с Австрией и Англией по поводу восточного вопроса в последние годы царствования Александра I и в первые годы царствования его преемника, обеспечение

свободы действия для России со стороны Франции, и, наоборот, стеснение для держав, России враждебных, вполне оправдали политику Александра I.

Но для поддержания значения Франции, для поддержания возможности для нее сдерживать Австрию и Англию, необходимо было внутреннее спокойствие в ней самой, прекращение или, по крайней мере, сдерживание революционного движения, примирение старой Франции с новой, утверждение старой Бурбонской династии на новых началах хартии Людовика XVIII. Легко понять, как Александр I должен был желать этого для прочности и пользы союза двух держав, как и преемник его, император Николай, должен был обеспокоиться, узнав о намерении короля Карла X нарушить существующий порядок, что могло возбудить революционное движение, создать страшные опасности для династии.

Из сказанного ясно значение деятельности Поццо ди Борго, ясно историческое значение его свидетельств о внутреннем состоянии Франции, которого он был таким внимательным и проницательным наблюдателем. В России оканчивалось знаменитое (во всемирно-историческом смысле) царствование Александра I, во Франции начиналось печальное царствование Карла X[1]. Восточный вопрос, враждебное положение, принятое по его поводу Австрией и Англией против России, хотя австрийский канцлер Меттерних и английский министр Каннинг и порознились в средствах вредить ей, — должны были усилить старание Поццо поддержать союз между Россией и Францией. От 16 декабря 1824 года он писал:

«Я желал иметь разговор с королем. Я уже постарался внушить ему, чтоб он остерегался намерений Каннинга и получил успокоительные ответы; однако я чувствовал, что разговор более формальный поведет к более полезному результату. Я обдумывал, какой бы предлог к испрошению свидания с королем мог всего меньше возбудить внимание иностранцев и беспокойство г. Виллеля, как вдруг его величество сам, так сказать, представил мне удобный случай, прислав мне письмо к императору, по поводу несчастий, постигших его столицу[2]. Я воспользовался этим, чтобы явиться поблагодарить короля, а потом и начать разговор о главном деле. Я обратил внимание его величества на то, что вступление г. Каннинга в министерство было началом смуты в европейской системе и грозит стать началом революции; что этот министр, желавший поддержания мятежа в Испании и признания его в Америке, угрожавший Франции, призывавший на нее в парламенте всевозможные бедствия, теперь вздумал своими коварными внушениями увлекать ее на погибельный путь. Его план состоит в том, чтобы уничтожить характер реставрации, вовлекая династию и правительство, которых восстановление и сохранение неразлучны с принципами законности, в систему

[1] Так как предыдущая деятельность Поццо ди Борго и его отзывы о состоянии Франции при Людовике XVIII изложены нами в книге «Император Александр I», то здесь мы начинаем изложение с конца 1824 г

[2] Здесь разумеется наводнение в Петербурге

возмущения, обманчивой приманкой участия во всемирной торговле, которую Англия присвоила себе почти исключительно и не хочет ни с кем разделить. В этом союзе с Англией Франция потеряет свои настоящие опоры безо всякого равносильного вознаграждения, будет покинута своими союзниками и найдется в противоречии с устроительными принципами своего политического существования.

Франция и Англия никогда не достигнут соглашения своих интересов посредством системы, исключающей другие государства, чему в пример я привел их положение относительно Испании. Франция обязана охранять католического короля своим войском, тогда как Англия ведет с ним потайную, но положительную войну, чтоб обеспокоить его в Европе и отнять у него американские владения. После этих замечаний я приступил к восточному вопросу и просил короля обратить внимание на то, что между благодеяниями, оказанными Европе мудрой политикой и великодушием его величества императора, самое видное состоит в сохранении мира в виду восточных смут. Франция имела нужду в этом мире и, к счастию, воспользовалась им более, чем какая-либо другая держава, ибо в это время она установила королевскую власть, увеличила общественное благосостояние и рассеяла остатки революции; если теперь она предпринимает громаднейшую операцию, вознаграждение эмигрантам, то может надеяться успеть в этом предприятии единственно при условии мира и чувства безопасности, которое всем благонамеренным внушается союзом ее с континентальной Европой.

Его императорское величество предложил успокоить Восток дружественным вмешательством и всеми теми средствами, какие мудрость правительств признает нужными для достижения этой цели. Если Англия хочет отказать в своем содействии этому спасительному делу, Франция, вместо того чтоб следовать ее примеру, должна вести себя диаметрально противоположно.

Король мне сказал, что и прежде, когда был принцем, он видел и теперь, ставши государем, видит — спасение Франции и Европы в принципах и в поддержании союза; жалеет об удалении из него Англии, ибо ее равнодушие или ее противодействие увеличивает затруднения и усложняет положение дел; но это неудобство должно еще более закрепить наш союз на континенте. Я не хочу скрывать от себя затруднений, какие союзники могут встретить со стороны турок, так же как и со стороны греков; но общий интерес предписывает испытать все, чтоб заставить их принять мудрые и великодушные предложения вашего государя. Граф Лаферронэ отправится немедленно в Петербург, снабженный соответствующими инструкциями, с полномочием принять участие в конференциях и во всем, что признано будет нужным для достижения такой спасительной цели. Король прибавил, что знает все благодеяния, оказанные императором миру в прошлом, и что его доверие к будущему беспредельно; что со своей стороны он будет содействовать общему благу, управляя Францией с возможным правосудием и мудростью и оставаясь в неразрывной связи с политическою федерацией,

составляющею источник нашей силы и гарантию нашего общего благосостояния».

Король в своих речах давал обеспечение, но было ли обеспечено положение самого короля? Карл X, будучи наследником престола, стоял во главе ультрароялистской партии, что, разумеется, раздражало против него другие партии; но во время вступления его на престол его партия была торжествующей; революционные движения были подавлены или, лучше сказать, прижаты всюду в Европе и во Франции; счастливый поход французов в Испанию, осветивший военной славой армию Бурбонов и вождя ее герцога Ангулемского, теперь наследника престола, произвел сильное впечатление на воинственный народ; один из главных упреков Бурбонам — потеря военной чести — должен был исчезнуть; армия считалась теперь привязанной к бурбонским знаменам; либералы были представлены в палате депутатов самым слабым меньшинством; сознавая свою слабость, либеральная партия должна была ограничиться только оборонительной борьбой.

Таким образом, Карл X находился в положении гораздо выгоднейшем, чем его предшественник; он мог воспользоваться им для утверждения династии, поступая умеренно, отказавшись от значения главы партии; но это было для него крайне трудно: ему было уже 67 лет, он окреп в своих взглядах, вращаясь постоянно в узком кругу неизменных приверженцев старого порядка, он не хотел изменить всему своему прошедшему, изменить началам, которых он был ежечасным провозгласителем, изменить пред лицом людей, бывших свидетелями этих провозглашений. Все, что он мог сделать, это — не приниматься круто за дело с самого начала, выжидать удобного времени, приготовлять расположение умов, приобретать популярность, для чего он имел средства в своем привлекательном и национальном характере, в своей любезности. Карл X в первые дни по восшествии на престол обворожил всех своею любезностью; были приняты меры и подействительнее любезностей: были вновь открыты некоторые школы, запертые в предшествовавшее время вследствие беспорядков; но самое сильное впечатление было произведено восстановлением свободы печати.

Выражениям общественного восторга не было предела. Ждали последнего, решительного действия нового короля, в котором бы он заявил, что расстается совершенно с своим прошедшим, ждали перемены ультрароялистского министерства Виллеля, и потому освобожденная печать разных оттенков, начавши свои обычные споры, в нападках своих обращалась только против министров, продолжая расточать королю восторженные похвалы, заверяя, что все партии хотят монархии под знаменем хартии, но для примирения необходимо исчезновение министерства. Министерство не исчезало; восторг начинал охлаждаться, а тут новые причины к охлаждению. Умирает любимый актер — церковь отказывается его хоронить; отказывают в похоронах по обвинению в янсенизме; даже галликанизме. Родителей молодых людей, записавшихся кандидатами для поступления в политехническую школу, требуют в полицию, где их расспрашивают насчет их убеждений, политических и ре-

лигиозных; у знаменитого 62-летнего геометра Лежандра отняли пенсию за то, что на выборах в академии он подал голос против кандидата конгрегации[3]. Сильное раздражение произвело увольнение в отставку очень многих генералов старой императорской армии, чтоб дать их места молодым офицерам. С этих пор в либеральных газетах замолкли хвалебные гимны королю

Мы видели, что в своем разговоре с королем Поццо упомянул о громаднейшей операции денежного вознаграждения эмигрантам; эта мера должна была окончательно примирить старую Францию с новою; но их непримиримость обнаружилась в спорах по этому вопросу. Вместо того, чтобы смотреть на вознаграждение, как на примирительное средство, люди старой Франции старались выставить его как вынужденное вознаграждение за воровство, совершенное государством и людьми, приобретшими от него в собственность эмигрантские имения. Это страшно взволновало людей новой Франции: они вооружились против меры, крайне для них оскорбительной, и начали утверждать, что эмигранты не стоят вознаграждения, ибо то, чем они хвастаются, — не заслуга, а преступление· они покинули главу монархии, которого обязаны были защищать; его жизнь, конечно, была бы спасена, если б верные слуги остались около него, а они вместо того обратились к Европе, призывая ее на раздел своей родины. Нападая на эмигрантов, старались выставить заслугу тех, которые оставались непричастными крайностям революции и которые теперь должны были платить в пользу эмигрантов. Говорили: пусть эмигранты хвалятся своей эмиграцией; но те, которые не покинули отечества в его бедах и его борьбах, которые сокрушили крамолы внутренние и побороли врагов внешних, те не расположены уступать другим заслугу своих подвигов и страданий!

За эмигрантов говорили также искусные ораторы. Они пользовались тем, что покойный и настоящий король были эмигрантами, пользовались недавним событием, производившим такой восторг в народе, походом в Испанию — для поддержания короля против революции, причем часть испанцев присоединилась к французскому войску, не подвергаясь за это никаким нареканиям. «Что было защищать эмигрантам? — спрашивали ораторы. — Отечество? Но тогда произносили имя отечества, раздирая его внутренности. Отечество в религии? И алтари были разрушены. Отечество на ступенях трона? Но и самые развалины трона были рассеяны. Отечество в короле? Он исчез в буре. Отечество в учреждениях, законах? Но тогда не было ничего такого, кроме тюрем и эшафотов. Если Людовик XVIII был преемником Бонапарта, точно так, как последний был преемником революции, то какое право у эмигрантов требовать вознаграждения? Ясно, что революция, которая отняла у них имения, не должна им ничего. Но если Людовик XVIII, восходя на престол предков, возвратил себе фамильное наследие, если он получил снова престол по собственному праву, на основании своей

[3] О конгрегации см мою книгу «Император Александр I» Стр 532 // Кн XVII С 679—680 настоящего издания

легитимности, то каждый эмигрант может выставлять то же право Законность, право не может быть нарушено одно: при своем нарушении оно колеблет все другое.

Ясно, следовательно, что, когда король возвратил себе престол как наследие своей фамилии, эмигранты не могли считаться законно лишенными своих имуществ декретами законодательного собрания или конвента. Неоспоримо, что, в минуту прибытия короля во Францию, эмигранты были единственными законными обладателями своих земель; следовательно, надобно со времени реставрации считать незаконным их ограбление».

Некоторые требовали, чтобы имения были возвращены эмигрантам, а вознаграждение было назначено приобретшим их от казны. Конфискованные у эмигрантов имения названы были прямо воровскими. Люди новой Франции отвечали, что почти все эмигранты воспользовались амнистиею первого консула, дали присягу не предпринимать ничего против нового правительства и наполнили дворцы нового владыки Франции, в чем нисколько не выразился героизм верности. Правда, они говорили, что король это им позволил, что они стали служить Бонапарту в надежде служить при этом законной династии, то есть принося присягу Наполеону, имели в виду ее нарушение. Если бы нужно было вознаградить настоящую верность, то для этого не много нужно было бы денег.

Закон прошел; но он разжег страсти, выставил старую и новую Францию друг против друга в боевом порядке, встревожил тех, которые хотели примирения, встревожил консервативный класс землевладельцев, которые увидали, что эмигранты не успокоятся до тех пор, пока не возвратят своих старых земель в натуре, и стали поговаривать об образовании обществ взаимного обеспечения между приобретателями национальных земель. Ультрароялисты видели в знаменитом миллиарде вознаграждение далеко не полное, а либералы, раздраженные парламентскою битвой, смотрели на него, как на оскорбление народному большинству, и оппозиционная печать стала употреблять этот миллиард орудием для подкапывания реставрации.

Но это было еще только начало, взрыв не мог еще последовать. От 2 марта 1825 года Поццо так описывает состояние Франции:

«Потребность покоя продолжает становиться привычкою почти для всех французов. Чувство благосостояния и упражнения в свободе, приложенное ко всем обстоятельствам гражданской жизни, производит в каждом довольство индивидуальным положением, в каком он теперь находится. Поставленное на эту почву, министерство или, лучше сказать, г. Виллель будет тут маневрировать по своим умственным средствам, которые очень значительны, и по своему характеру, который представляет много недостатков. Находясь среди благоприятных обстоятельств и ставши необходимым министром в том узком кружке, из которого король хочет и считает себя обязанным избирать агентов своей власти, он употребляет во зло эти выгоды, и, не компрометируя правительство непосредственно, он часто заставляет его идти по кривой и трудной дороге Его господствующая идея — сосредоточить все в своей

особе, то давая управляемому им мистерству финансов чрезвычайно обширный круг действия, то употребляя над другими министерствами властелинский надзор, что он может делать безо всякой меры, вследствие доверия короля и ограниченности остальных министров. Эта жадность к власти высказывается в ежедневных действиях правительства, равно в проектах законов, представляемых палатам. Страсть Виллея все делать самому, не спрашивая ни у кого мнения, делает то, что его проекты являются неполными и часто подвергаются неотразимым возражениям. Принужденный тогда бороться в положении невыгодном, он раздражается, вместо того, чтоб уступить, впадает в противоречия, и, будучи преследуем своими противниками, он выставляет против них фалангу депутатов, которых он назначил, и всегда торжествует посредством материального большинства над превосходством нравственным, которое часто против него. Злоупотребление покорностию палаты, что публика называет рабством или подкупом, сильно поколебало уважение к палате у народа».

Виллель, по мнению Поццо, испортил дело о вознаграждении эмигрантов. «Поспешность, с какою составлен был закон, неполнота собранных фактов и постоянная цель министра сделать из этого вознаграждения средство, зависящее большею частию от его личного расположения и влияния, была причиной неудовлетворительности его работы. Его противники и другие благонамеренные люди хотели внести в проект закона исправления; но министр противился этому и почти всегда с успехом, так что эта великая мера в настоящее время более раздражает умы, чем примиряет их, и если Виллель ожидает от нее усиления своей власти, то очевидно, что это усиление произойдет на счет уважения к нему. Виллель считает себя и по праву необходимым министром, по крайней мере на пять лет, которые должны истечь прежде всеобщего переизбрания депутатов. Что касается палаты пэров, то коронация короля представит случай к новым назначениям и ко введению в нее лиц, которых министр выберет между доверенными людьми. Король смотрит на эту перспективу с удовольствием, будучи убежден, что между любимыми людьми он не может найти никого способнее Виллеля управлять делами монархии; министр обладает в высшей степени искусством держать короля в этом убеждении, особенно искусством никак не сталкиваться с его общими и любимыми идеями. Есть могущество, которое первенствующий министр обязан щадить и которому он уступает почти всегда, это — могущество духовенства.

Французская церковь, образованная после революционных преследований, должна отличаться ревностью, которая воспламеняет всякое религиозное общество, рождающееся или восстановленное. Члены ее сохраняют очень мало сношений с фамилиями, из которых вышли. Происходя вообще из низших классов общества, они не имеют другого значения, кроме приобретенного от духовного звания, и потому часто очень нескромно стараются выставить это значение. Что в глазах беспристрастных людей должно повести когда-нибудь к печальным последствиям, так это орден иезуитов. Покровительствуемые тайно королем, ультрароялизмом и вообще духовенством, которое смотрит на них как на

союзников, иезуиты распространяют свои разветвления повсюду и образуют родственные общества под именем светских коадъюторов или конгрегандистов, набирая членов в самых знатных фамилиях и среди чиновников от первых до последних классов. Сам Виллель принужден держать подле себя известного Рэнвиля в качестве тайного секретаря, советоваться с ним относительно назначения на места, удовлетворять требованиям иезуитов и подчиняться церковному влиянию, под условием получать поддержку и от них, в свою очередь. Такое положение дел не ускользнуло от охотников до хороших мест, искатели должностей лицемерят, что приводит в отчаяние людей, не желающих подчиняться новой секте, о которой в публике говорят с насмешкой и презрением».

Император Николай I, по восшествии своем на престол, приказал Поццо представить мнение о том, какие последствия может иметь перемена царствования в России на политику тюльерийского кабинета в главных вопросах, стоявших тогда на очереди. Ответом служило замечательное письмо Поццо к графу Нессельроде от 21 января 1826 года. Здесь знаменитый дипломат осязательно представил политику Англии, политику интересов, а не доктрин. Когда дело шло о прекращении итальянских революций, когда для Англии нужно было сохранять здесь австрийские владения, австрийское влияние, она соглашалась на меры континентальных держав, была в них даже участницей. Но когда дело пошло о пресечении революции в Испании, Англия повела себя совершенно иначе: революция на Пиренейском полуострове должна была упрочить независимость испанских колоний в Америке, и так как в этом заключалась цель английской политики, то лондонский кабинет старался только об одном, как бы ее достигнуть, то прямо поддерживая революцию, то препятствуя другим бороться с ней.

Несмотря на все усилия, угрозы и интриги английского министерства, Франция, по соглашению с континентальными союзниками, внесла войну в Испанию, и революция была изгнана из последнего убежища. Англия непосредственно признала ее в Америке, союзники остановились пред затруднениями и предоставили Новый Мир возмущению. С другой стороны, сопротивление греков обманывало расчеты венского двора, который, с году на год, все ждал, что война будет покончена турецкой саблей. Мнимое вымогательство союзников было только хитростью для удовлетворения по форме заботливости русского двора, который хотел кончить эту борьбу средствами соглашения. Такое великое различие в видах венского и русского дворов делало бесполезным все предложения дивану, и это великое дело до сих пор находится в положении неверном и нерешительном. Переходя к другим предметам, обращавшим на себя внимание европейских кабинетов, Поццо говорит:

«Первый предмет состоит в сохранении общественного порядка против идей и действий революционных. В этом отношении мы все имеем одинаковые обязанности и одинаковые интересы. Министр, управляющий английским кабинетом (Каннинг), один только предоставляет себе пагубную свободу смотреть на возмущения со стороны собственных удобств; это — великое несчастье и даже великая опасность; но тут

континентальная Европа отделяется от него и руководится общим интересом; в этом случае мы довольно сильны для самосохранения. В деле Испании и ее колоний нечего делать: русский кабинет может продолжать оказывать ей свое расположение, давать доказательства принимаемого им участия в ней, не компрометируя себя и не принимая обязательств, которых нельзя исполнить. Относительно Португалии надобно ждать, ибо неизвестно, что тут замышляют Англия и Австрия. В Италии государства второго разряда обращаются к России за покровительством: в их дела нужно вмешиваться только тогда, когда это совершенно необходимо. В таком же положении находятся государства германские: неблагоразумно вмешиваться в их ежедневные дела; но политика и слава требуют поддержания в них того убеждения, что их восстановление есть главным образом дело России и что от нее они должны ожидать охраны, когда чье-нибудь честолюбие подвергнет их опасности. Дания есть, так сказать, часть нас самих; это ясно при первом взгляде на карту. Следовательно, мы должны блюсти за ее сохранением, заботиться о том, что может предохранить ее от насилий чьих бы то ни было, особенно Англии. Морское могущество Соединенных Американских Штатов никогда не столкнется враждебно с Россией, но часто может быть ей благоприятно и выгодно.

Итак, надобно оставаться в добром согласии с ними и заставить их смотреть на петербургский двор как на единственный в континентальной Европе, которого службу они должны поддерживать. Швеция слаба: нечего ее трогать. С Пруссией нет причины к раздору — все причины к союзу; другое дело с Австрией, которая тянет к Англии; Англия соперничает с Россией и завидует ей, потому что Россия стала главным государством на континенте. От соперничества и зависти ко вражде один только шаг, когда обстоятельства и интересы находятся в столкновении. Каннинг ненавидит Россию. Его диктаторский тон понравился английскому народу, который жаден и горд, и, делая вызов всему миру, Каннинг стал популярен у себя дома. Россия представляет ему большие препятствия, он будет стараться уничтожить их, не разбирая средств. Сила и природа вещей влекут Францию к России. Их союз озабочивает Англию и делает для нее невозможным образовывать континентальные союзы. Австрия — единственное государство, к которому она могла бы обратиться с этой целью; но, пока Франция останется свободной в своих движениях и в употреблении своих сил, Австрия не осмелится разорвать с Россией».

Но чем важнее было значение Франции, тем с большим вниманием наблюдал Поццо ее внутреннее состояние, от которого зависело решение вопроса: долго ли она останется свободной в своих движениях, в употреблении своих сил. Поццо, можно сказать, ежеминутно измерял рост оппозиции и заносил на свои таблицы ее успехи и формы, в каких они обнаруживались. Весной 1826 года оппозиция, которую министерство Виллеля встречало в палатах, не была однородной и систематической, не могла дать ему преемника и представить известное число кандидатов, которые согласились бы для образования нового управления; но эта

слабая, бессвязная оппозиция успела унизить правительство в глазах публики, сделать его предметом порицания и даже презрения. Различные министерства страдали от неспособности людей, которым были вверены. Министр юстиции был в борьбе с магистратурой. Военный министр Клермон-Тоннэр нисколько не удовлетворял армию. Министр внутренних дел ничем не занимался, предоставлял все департаментам. Сам Виллель был человек способный, но взятое им на себя количество дел не было по его силам; он упражнялся больше в том, чтоб избегать затруднительного положения минуты, а не направлять движение великой монархии.

Но есть сила, которая имеет влияние на поведение первого министра и на общее направление дел: эта сила — конгрегация. Существование этого могущества, усиленного воображением и преувеличением самых врагов его, стало всеобщим пугалом. Народ видит и чувствует его всюду; и его раздражение тем сильнее, что он не знает, как определить эту силу и как ее схватить. Успехи, делаемые иезуитами, явное покровительство, оказываемое им от двора, ревность не по разуму большей части духовенства и злость, с какой все это беспрестанно выставляется в революционных газетах, держат общество в постоянном волнении. Правда, что еще не обнаруживается сопротивление власти и возмущений; но каждый уже говорит об их возможности и для большого числа людей недостает только случая поднять сопротивление и возмущение. Герцог де Ривьер получил место воспитателя при герцоге Бордосском; несмотря на мелочную набожность этого лица, публика отдавала справедливость его честности, мужеству, безупречности. По непростительному ослеплению король назначил наставником маленького принца аббата Тарэна, архиепископа Страсбургского, человека честолюбивого, выставляющего напоказ свой энтузиазм и отъявленного партизана иезуитов. Другие второстепенные лица, назначенные к герцогу Бордосскому, выбраны по тем же побуждениям. Такое соединение возбудило самую сильную тревогу между людьми добра, а людям недобросовестным послужило предлогом возбуждать ненависть к невинному ребенку. Уже видят в нем иезуита со всеми недостатками и неудобствами этого ненавидимого ордена. Такое поведение ведет к сравнению с поведением Стюартов в Англии. Всюду хотят видеть тот же ход дел и предсказывать такую же катастрофу. Бесчисленное множество сочинений об английской революции появляется и расходится в различных классах общества.

Несмотря на то что герцог Орлеанский не внушает большого уважения, люди, желающие перемены, рассчитывают, однако, на него. Готовый позволить вести себя даже до престола, хотя и не желая сделать для этого ни малейшего усилия, и окруженный семейством, состоящим из шести сыновей, он представляет для династии гарантию продолжительности, а либеральным учениям, которые он прямо проповедует, гарантию полной приверженности. Виллель видит все эти начатки разложения; он, без сомнения, скрывает перед самим собой те, которые сам положил, и не смеет вооружиться против других, потому что их полагают король и духовенство. Виллель и конгрегация решились восстановить

цензуру. Вопрос не в том, чтоб остановить свободу печати, ставшую великим орудием скандала и беспорядка; но в том: правительство, столь слабое и потерявшее уважение, может ли разбить это орудие безнаказанно? Нужда самосохранения предписывает ему эту меру, тогда как его поведение вообще и его непопулярность делают эту меру опасной.

Еще в том же 1826 году Поццо писал: «Если б король не считал влияния и господства духовенства и иезуитов столь необходимым для сохранения своей династии, то народ был бы религиознее и привязаннее к его особе и фамилии».

1827 год Поццо начал зловещими словами. Положение дел становилось в его глазах все хуже и хуже. Король ежедневно терял все больше и больше уважение и любовь подданных, к его первому министру относились как к презреннейшему из людей. Настоящая сессия палат должна увеличить эти пагубные отношения; министры выйдут из нее — вероятно — с сохранением своих мест, но они выйдут ослабленные во всех отношениях. Неприятные чувства, внушаемые ими, нельзя вполне оправдать; но, говоря политически, чем несправедливее доведенное до крайности неудовольствие, тем оно страшнее, если глубоко вкоренено, ибо это доказывает, что предубеждения и предрассудки достигли высшей степени. Этот беспорядок и это раздражение производят влияние на все и парализуют все. Без сомнения, Франция управляется, но рутиною и без направляющего духа (esprit recteur). Повинуются из учтивости, терпят по благоразумию в ожидании, что произойдет что-нибудь и выведет каждого из настоящего стеснения и, как говорят, унижения. При подобных кризисах каждое правительство должно прибегать к средствам для охранения, не подвергая государство потрясениям. Государства, имеющие представительные собрания, обыкновенно переменяют министерство, обращаясь к большинству. Во Франции представительное правление, после того как его испортили три года тому назад, есть только орудие беспорядка. Как скоро король стал главой партии, как скоро начал смотреть на духовенство как на свою главную опору и сделал из этого взгляда себе догмат, как скоро стал отвергать людей, не разделяющих его образ мыслей, то образование нового министерства стало для него невозможным, если оно должно быть более популярным, — и опасным, если он возьмет новых министров из людей еще более ненавистных, чем те, которые теперь управляют.

Еще в начале года Виллель, сохраняя собственное положение во главе министерства, признавал нужным пожертвовать некоторыми товарищами. Он сам объявил Поццо, что по окончании парламентской сессии он предложит увольнение военного министра. Виллель надеялся, что эта мера примирит его с дофином, который желает видеть военным министром человека своего выбора, и в то же время прекратит вопли, которые поднимаются со всех сторон против неспособности Клермон-Тоннэра. Поццо догадывался, что и министр юстиции Пейроннэ также должен будет выйти в отставку: с одной стороны, Виллель выигрывал в глазах публики, жертвуя товарищем, который стал уже очень непопулярен; с другой — постоянные ссоры главы магистратуры с королевской

парижской судебной палатой делали министра юстиции неспособным исполнять свои важные обязанности. Удовлетворивши таким образом публику, Виллель был намерен оставаться спокойным и занимать две будущие сессии, остававшиеся настоящей палате депутатов, только бюджетами и вещами, которые не раздражают страстей и духа партий; он надеялся, что таким образом настоящее волнение стихнет и Франция заснет в недрах внутреннего спокойствия и материального благосостояния. В этом положении он рассчитывал захватить ее, когда придет время генеральных выборов, и получить депутатов, подобных тем, которые его поддерживали до сих пор.

Этот план прельщал короля, предоставляя 70-летнему старику период спокойствия, соответствующий продолжению его вероятного существования. Но, говоря об этом плане, Поццо прибавляет зловещие слова: «Не доказано, что успех плана бесспорен. Если бы Франция должна была выбирать депутатов теперь, то выборы могли бы пасть на людей, из которых самые умеренные потребовали бы другого министерства, а другие, быть может, стали бы иметь в виду и другую династию. Герцог Орлеанский не перестает показывать себя доброжелательным ко всему крайнему в либеральной партии. Но его личная трусость и чрезвычайная скупость делают из него плохого вождя партии. Он расточает приглашения и учтивости — и больше не делает ничего в такой опасной игре. Эти недостатки, а не нежелания удерживают его в границах покорности. Франция управляется слабо и неразумно; народ это чувствует, но так умен, что терпит, или, лучше сказать, нет у него вождей, которых бы честолюбие или мщение подвигли к восстанию. Такое положение не имеет долгого будущего, но и не представляет еще скорой опасности».

Но если Виллель хотел быть спокойным, занимать палату только предметами незначительными, даже уступать требованиям оппозиции удалением из министерства некоторых лиц — то хотел он этого под условием укрощения врага, который не давал ему покоя: этот враг была свободная печать. Оппозиция, не имея возможности бороться с успехом против министерства в палате, где большинство было министерское, тем сильнее действовала посредством печати — и не столько посредством журналов, сколько посредством политических брошюр и сатирических сочинений, имевших целью осмеивание Виллеля и товарищей его. Принявши во внимание новость этих явлений во Франции и необыкновенную чувствительность французов к насмешке, мы поймем все раздражение Виллеля, его товарищей и большинства палаты, какое они испытывали под градом стрел, пускаемых на них сатирой; сам король разделял это раздражение.

Французы понимали значение этого орудия и прежде, когда говорилось, что во Франции — правление монархическое, ограниченное сатирической песенкой. Из этих сатир особенно раздражала министра комическая поэма «Виллелиада» — остроумная, блестящая, имевшая громадный успех: в несколько месяцев она имела 14 изданий. В палату депутатов поступил проект закона о наложении подати на выходящие сочинения. Защищая свой проект, Виллель объяснял, что небольшие

сочинения всего больше имеют влияние на направление общественного духа и их всего больше появляется: в 1826 году появилось 5228 сочинений в пять листов и меньше, тогда как сочинений более чем в пять листов появилось только 2658. Самое естественное средство сократить число небольших сочинений — это увеличить издержки издания, что всего лучше достигается налогом (timbre). Несмотря на то что большинство палаты разделяло мнение министра, палата была испугана предложенной мерой — впечатлением, какое она произвела в обществе. Проект подал повод к самым горячим и невыгодным для министерства спорам.

Комиссия, рассматривавшая проект, сделала в нем изменения. В палате по этому поводу обнаружилось странное явление, странная шатость; в одно заседание она принимала известное изменение, в другое — отвергала, потом возвращалась к прежнему решению; министры явились неспособными направлять преданное им большинство, потеряли нравственную силу даже в глазах друзей своих. В палате пэров проект был так изменен, что министерство взяло его назад. Газеты трубили победу; по вечерам дома были освещены в Париже; толпы собирались перед домом Виллеля и кричали: «Да здравствует король! Да здравствуют пэры! Долой министров, долой иезуитов!» — плясали вокруг Вандомской колонны, перед домом министра юстиции. Войско было приведено в движение, но оно не понадобилось — одной полиции было достаточно для восстановления порядка. На 29 апреля был назначен парад национальной гвардии, и пошли слухи, что тут будут неприятные для короля демонстрации; тогда газеты обратились к национальной гвардии с увещаниями поддержать самый строгий порядок, ибо враги новой Франции полагают все свое спасение в беспорядках, долженствующих вызвать реакцию; что никаких пустых криков не должно быть слышно среди торжества, посвященного признательности; должен слышаться в продолжение всего смотра один крик: «Да здравствует король!»

Но вышло иначе. Сначала все шло хорошо; раздавались одни крики: «Да здравствует король!» — но потом начали раздаваться и другие: «Долой министров! Долой иезуитов!» Крики были не громки, но король их слышал; хуже всего было то, что Карл X слышал, как перед ним повторял эти крики один из национальных гвардейцев. Национальный характер взял верх; французы расходились, раскричались и забыли все приличия: окружив коляски, где сидели принцессы королевского дома, толпа кричала прямо им в лицо: «Долой иезуитов! Долой иезуитов!» Король после смотра призвал к себе Виллеля и спросил, что ему делать в подобных обстоятельствах. Виллель отвечал, что необходимо распустить национальную гвардию — немедленно же занять все казармы линейным войском. Совет был принят, национальная гвардия распущена — и все было спокойно. Поццо сказал правду, что скорая опасность еще не грозила.

Но, с другой стороны, спокойствие, последовавшее за распущением национальной гвардии, не обмануло Поццо. По его мнению, министр

раздразнил народ, а король должен принимать строгие меры — по вине министра, а не по вине народа.

«Правда, — писал он, — что никакого волнения не обнаружилось при этом деликатном случае; но очевидно, что король по этому случаю и по бесчисленному множеству других, повторявшихся ежедневно, потерял привязанность столичного народонаселения, не может более ожидать от него никакой преданности, никакой жертвы, и когда придется доказать это законным выражением своих чувств — парижане выскажутся в смысле совершенно противоположном настоящему расположению короля и его первенствующего министра. Королевская гвардия показала удовольствие при виде унижения национальной гвардии. Это польстило министерству и всем тем, которые находят выгоды в его поддержании. Придворные вопят изо всех сил, что армия верна, что надобно действовать сильно, рассчитывая на средства укрощения толпы, которых можно ожидать от верности армии. Без сомнения, великое счастье, если армия верна; но, по моему мнению, она более спокойна и равнодушна. Нет ничего опаснее, как привести ее в столкновение со столицей и вообще с народонаселением страны. Виллель не знает ничего, что случилось прежде — и в продолжение революции, и во время, предшествовавшее реставрации. Он не знает ни фактов, ни людей — не исследует первых и боится последних. Обладая быстротой в решениях и гибкой совестью, он рассчитывает только на то, что у него в руках».

Но при таком мрачном взгляде на будущее Франции Поццо должен был хлопотать, чтобы связь этой державы с Россией не ослабела. «Расположение и доверие короля к своим министрам, — писал он, — усилились в соразмерности с противоположными чувствами, выраженными нацией. Ни один из министров не удален. Когда народ, которого история представляет такие пагубные примеры, как народ французский, поставлен в положение, противное его натуре, то он ждет только случая к взрыву. Власть примет характер смелой полиции — быть может, полиции безрассудной, а не характер правительства, которое рассчитывает на преданность и силы великого народа. Внутреннее движение будет становиться день ото дня исключительнее и беспокойнее, во внешних движениях государство будет робко. Министерство Каннинга пугает короля и Виллеля, по мере того как они усматривают в английском кабинете полное различие с своим по принципам. С противоположностью интересов соединяется противоположность учений, и два правительства похожи друг на друга только номенклатурой и формами. В таком положении правители Франции принуждены обратиться к России, и я постоянно занят поддержанием этого расположения, без надоедания и шума, но, надеюсь, с успехом».

Скоро, однако, Поццо заметил, что другая держава пересекает ему дорогу, именно Австрия, которая старалась приобрести расположение французского правительства, советуя ему действовать решительнее для перемены формы правления. Поццо писал по этому поводу:

«Легко доказывать трудности и, если угодно, опасности существующего во Франции порядка, легко порицать его вообще и припи-

сывать ему все зло; но во Франции эта правительственная форма уже установлена, и если предполагать, что король достаточно силен, чтоб ее уничтожить или изменить, так чтоб от нее отвыкли и над нею смеялись, то, по моему мнению, такое предположение — важная ошибка, и всякая попытка в этом роде повлечет за собой новую революцию. Благоразумие требует не вмешиваться в эти скользкие и деликатные дела. Влияние, достигнутое таким способом, сомнительно, и ответственность бесконечна».

1827 год еще не кончился, как обнаружилась справедливость этих замечаний. В начале ноября (н. с.) палата депутатов была распущена, и, чтоб обеспечить министерству большинство новых депутатов, президентами избирательных коллегий были назначены люди, не принадлежавшие к оппозиции; и в то же время, чтоб отнять и у палаты пэров независимый характер, которым она до сих пор отличалась, король назначил в нее 76 новых членов. Кроме наполеоновского маршала Сульта, в этой толпе не было ни одной известности; это была именно толпа — представление, идущее вразрез с представлением о палате пэров, которая должна была соединять в себе людей, носивших исторические имена, с людьми новыми, знаменитыми по своим талантам и заслугам, соединять славу прошлого со славой настоящего. Но, несмотря на всё усилие министерства направлять выборы депутатов в свою пользу, оппозиция взяла верх, и большинство новоизбранных вышло из ее рядов. По всей Франции эта победа над министерством торжествовалась праздниками, иллюминациями, а в самом Париже народное движение кончилось баррикадами и кровопролитием при столкновении с войском.

Король, особенно вследствие внушений дофина, признал невозможным удерживать долее министров. «Вы стали уж слишком непопулярны», — сказал он Виллелю. «Дай Бог, — отвечал тот, — чтоб непопулярен был я». Новое министерство было подобрано Шабролем; по отношениям к России очень важно было то, что портфель иностранных дел получил граф де Лаферронэ, посол в Петербурге, человек, вполне преданный франко-русскому союзу. Другим выдающимся лицом в новом министерстве был виконт Мартиньяк, получивший портфель внутренних дел.

Относительно этой перемены и ее причин Поццо верхом безрассудства падшего министерства считал то, что оно назначило новых пэров в то самое время, как предписало выборы депутатов. Отовсюду послышались крики, что нация, теряя поддержку, которую аристократия доставляла конституции, должна употребить все усилия, чтоб выбрать депутатов, способных защищать новый порядок. Виллель дал на выборы только 10 дней, тогда как сам в продолжение многих месяцев работал над средством достигнуть своей цели; и, несмотря на то, общее нерасположение было так сильно, что большинство вышло из рядов оппозиции. Поццо снова обращается к характеристике падшего министра:

«Было бы несправедливо отказать ему в отличных талантах, в большой проницательности, в ясности изложения своих мыслей, в редкой способности к труду. Я даже думаю, что враги преувеличили его

состояние и что для его умножения он не сделал ничего, отчего бы мог краснеть. Но у него недостает качеств сердца, недостает чувств, необходимых для человека, призванного управлять страной конституционной, и именно Францией. Будучи чрезвычайно завистлив, он, пользуясь своим влиянием на короля, вел непримиримую войну с людьми, превосходившими его по способностям, удалял и людей, равных себе по средствам, давил низших и видел свою безопасность только в полном рабстве своих орудий. Будучи равнодушен к правде, играя своими обещаниями и словами, он нарушил равновесие между своим могуществом и уважением к себе, что унизило его в сердцах всех французов».

О членах нового министерства Поццо отзывался таким образом: «Шаброль — отличный человек, способный к административной карьере, но боязливый, застенчивый и не обладает твердостью, необходимой для соединения около себя людей честолюбивых, которые признавали бы его своим вождем. Мартиньяк — оратор министерства; если его деятельность равняется его способностям, то он выполнит обязанности своего места. Ему нужно поведением более скромным заставить забыть (если только это возможно) то поведение, которым он обыкновенно отличался среди удовольствий столицы. Его талант до сих пор выше значения, каким он пользуется. Король терпит новое министерство из страха, что иначе будет принужден взять другое, еще более ему неприятное. Уверяют, что он не перестает жалеть о Виллеле и что последний продолжает оказывать тайное влияние на короля, в ожидании, что время утишит негодование, обнаружившееся против него».

Перемена министерства не успокоила Поццо на счет будущности Франции, он указывал главную причину смут и переворотов. «Франция, — писал он, — богата всеми дарами Провидения, но бедна людьми способными, или люди способные не призываются для управления ею».

II

Французы, желавшие утверждения существующего порядка вещей без новых революций, с необыкновенным восторгом приветствовали новое министерство, которое начало называться по имени самого видного из своих членов, Мартиньяка; они думали, что в падшем министерстве Виллеля реакция истощила последние силы, что явная невозможность поддерживать подобное министерство вразумила Карла X и людей к нему близких, убедила их в необходимости примириться с новой Францией, этим примирением утвердить династию и спасти страну от дальнейших потрясений. Мы видели, что и Поццо имел много причин быть довольным переменой; но он не мог предаваться восторгам; проницательность, уменье наблюдать заставляли его играть печальную роль Кассандры. Он знал, что король недоволен новым министерством, терпит его только по необходимости, а у короля была не такая натура, чтоб он, из высших соображений, мог мириться с тем, что ему было неприятно. Поццо повторял в своих донесениях:

«Не имея доверия к новым министрам и жалея старых, король продолжает сношение с прежним президентом совета (Виллелем). Это потайное влияние произвело величайшее зло. Оно произвело раскол между роялистами, часть которых предпочла соединиться с либералами, чем дожидаться возвращения Виллеля. Большинство палаты, таким образом, стало принадлежать к левой стороне, усиленной меньшинством правой, и министерство поставлено между обеими безо всякой действительной поддержки. Нет страны, в которой было бы больше второстепенных талантов, чем во Франции; но и нет страны более бедной талантами первостепенными, которым народы вверяют управление в обстоятельствах трудных. Отсутствие таких талантов есть одна из главных причин шаткости власти».

Но если Поццо скорбно отзывался об опасностях, грозящих новому министерству именно потому, что дорожил им, дорожил Лаферронэ, министром иностранных дел, приверженцем франко-русского союза, то, разумеется, враждебные России державы работали изо всех сил против министерства Мартиньяка, поддерживали его врагов, поддерживали короля в нерасположении к нему, в нерасположении вообще к новой Франции. Поццо признавал в Каннинге отъявленного врага России, что было совершенно справедливо. Но смерть Каннинга и замена его герцогом Веллингтоном нисколько не были выгодны для России, потому что противоположность политического взгляда и личная вражда Каннинга с Меттернихом препятствовали сближению Англии с Австрией, тогда как теперь, при Веллингтоне, этого препятствия больше не было. Австрийский посол в Париже граф Аппони прямо присоединяется к партии, враждебной министерству, к партии герцогини Беррийской и ее двора, герцога Блака и всех приверженцев старой Франции, которых обыкновенно называли ультрароялистами; вместе с Аппони к этой партии примыкали посланники неаполитанский и сардинский, нунций папский. Назначение нового воспитателя для герцога Бордосского стало опять важным вопросом для партии, ибо с этим ребенком связана была будущность Франции. Король, разумеется, выбрал своего, барона Дама; когда он объявил об этом назначении министрам, те отвечали глубоким молчанием.

Тогда Карл X призвал к себе в кабинет Лаферронэ и спросил, что значит такое молчание; министр отвечал, что у него и товарищей его не было другого средства для выражения своего неудовольствия, ибо Дама был членом прежнего министерства и его назначение будет считаться делом Виллеля; политические мнения и религиозный фанатизм Дама, уверенность публики, что он член иезуитской конгрегации, и убеждение в ничтожности его способностей породят вредные предубеждения против герцога Бордосского. Такой ответ, разумеется, не мог побудить короля смотреть благоприятно на свое министерство. Английский посланник не участвовал в придворных интригах для свержения министерства; но у герцога Веллингтона было в руках другое сильное орудие, посредством которого он мог действовать на решения французского короля: французским посланником в Лондоне был князь Полиньяк,

любимец Карла X. У Веллингтона, как и у Меттерниха, была одна цель — свержение настоящего французского министерства, без чего нельзя было отвлечь Францию от России; Австрия для достижения этой цели внушала прямо Карлу X о необходимости восстановить старый порядок, бывший до революции; английский министр, разумеется, не мог делать таких внушений; но он также выставил себя приверженцем монархических принципов во Франции. Кн. Полиньяк, обольщенный ласками Веллингтона, человека, который не находил себе ровни в Европе, вошел в его виды относительно французского министерства, тем более что эти виды совпадали с его собственными честолюбивыми видами: он вовсе не хотел сменять министерство Мартиньяка на министерство Виллеля; он сам хотел стать во главе нового министерства или, по крайней мере, войти в него министром иностранных дел.

Тяжело было положение Поццо в 1828 году, когда «друзья России» старались распространить по Европе преувеличенные слухи о затруднительном положении русского войска в Турции. В конце года Аппони прочел Лаферронэ депешу Меттерниха, где говорилось, что для прекращения Восточной войны необходимо собрать конгресс из представителей воюющих сторон и главных государств Европы. Благодаря настоящим обстоятельствам можно с успехом действовать на русского императора: русская армия в полном разложении — физическом и нравственном; генералы потеряли головы, разделились в мнениях; сам император в унынии; турки усиливаются войском и мужеством; зимой они возьмут Варну, великий визирь поклялся в этом головой и собрал 150 000 войска; в будущую кампанию 300 000 турок бросятся на русские владения, опустошая все перед собою.

С другой стороны, Полиньяк приехал в Париж и пробовал склонить короля на соглашение с Англией и Австрией; но Карл X не уступил внушениям любимца и сказал ему: «Я хочу остаться в союзе с Россией; если император Николай нападет на Австрию, то я буду действовать, смотря по обстоятельствам; но если Австрия нападет на Россию, то я сейчас же двину против нее войско. Быть может, война с Австрией будет мне полезна, потому что прекратит внутренние смуты и займет нацию».

В начале 1829 года сильный удар для Поццо: Лаферронэ опасно заболел, принужден был оставить министерство и уехать в Ниццу. Полиньяк употребил все средства, чтоб занять его место, но понапрасну; король, видя сильное сопротивление министерства и палат, отложил на этот раз проведение своего любимца в министры и назначил временно Портализа заведовать иностранными сношениями. Но Поццо не мог на этом успокоиться и писал от 6 февраля:

«Принимая во внимание страшный удар, грозивший нашему влиянию вследствие потери Лаферронэ, волнение, произведенное этим событием, обстоятельства критические во всех отношениях, внутренних и внешних, при которых это несчастье случилось, желание короля видеть преемником Лаферронэ кн. Полиньяка и выгоды, которые герцог Веллингтон хотел извлечь из этого случая, соображения состояния дел в эту

минуту, — очевидно, что триумф наших противников не был полный, но и наш успех далеко не верен, особенно по отношению к Греции. Герцог Веллингтон имеет над королем (Карлом X) большую власть, которой он пользуется ежедневно, благодаря близости обеих столиц друг к другу. Недовольный своим внутренним положением, этот монарх жалеет о любимых людях, не питает никакого доверия и мало уважает тех, которых принужден видеть министрами в настоящее время. Герцог Веллингтон льстит и ободряет эти чувства ввиду того, что кн. Полиньяк, назначенный министром, будет посредником их тайных сношений. Из этой путаницы, из этого ложного положения происходят противоречия между обещаниями, данными мне в Париже, и нерешительным языком, которым французские агенты говорят в Лондоне. Что касается до народного чувства, то оно никогда не выражалось так сильно в пользу России, как теперь. Так называемые чистые роялисты и конгрегация с яростью объявили себя против вас и стали проповедовать учения Австрии и Англии. Этой непонятной нелепости было достаточно, чтоб все остальные стали на нашу сторону».

Долго оставлять иностранные дела во временном заведовании было нельзя, и король назначил настоящим министром герцога Лаваля Монморанси, человека недалекого, едва могущего говорить, полуслепого и полуглухого. Это назначение, разумеется, сильно опечалило Поццо: он видел в нем ясное намерение короля искать первой возможности передать министерство Полиньяку. Но в то же время Поццо писал:

«План кн. Меттерниха обратить все внимание государей на опасное положение Франции очевидно имеет целью отвлечь внимание императорского (русского) кабинета от турецких дел. Эта Франция действительно служит препятствием для Австрии и Англии вооружиться против России. Франции боятся, когда она хорошо управляется, ибо тогда она следует своей настоящей политике, которая состоит в союзе с Россией. Ее боятся, когда она грозит революцией, ибо в этом случае без содействия России другие государства не имеют надежды ее сдержать».

Карл X говорил Поццо: «Я не понимаю герцога Веллингтона: он не перестает мне твердить, что война России с турками спутала все; а я не перестаю ему отвечать, что война была вызвана султаном и утверждать противное — значит клеветать; потом я ему повторял, что лучшее средство поскорее все покончить, и самым справедливым образом, — это внушить султану, чтоб он договаривался с русским императором, приготовился потерять что-нибудь, потому что он виновник войны и потому что он оказался слабее; наконец, установить между нами греческое дело и представить его в Константинополь как решенное бесповоротно. Без этого мы не дойдем никогда до конца, и наше положение будет ежедневно усложняться.

Кн. Меттерних еще непонятнее. Он бьет тревогу по всей Европе и представляет, что Франция накануне революции, и между тем всеми силами содействует продолжению двойной борьбы на Востоке, тогда как для сдержания революционеров лучшее средство — это восстановление мира, единение, которое последует тогда между правительствами,

и сильное положение, в каком они тогда непременно станут. Австрия сильно ошибается, если думает извлечь выгоды из смут и событий, которые она так любит предвидеть и так остерегается предупреждать. Если она нападет на Россию, то у меня 200 000 войска выступят против нее, и когда мы согласимся с императором (Николаем), то будем предписывать законы всякому, кто вздумает противиться нашему союзу.

Впрочем, Франция может меньше других бояться внутренних беспорядков; она уже подверглась страшным опытам, которые прошли и не возобновятся. В австрийской монархии все подвергается величайшей опасности и малейшие нововведения получают характер настоящих революций. Вы должны быть скандализованы прениями в палате депутатов. Я согласен, что она никогда не была составлена из людей более мелких. Я вижу здесь гораздо больше враждебного тщеславия, чем силы делать зло, и палата могла бы быть направлена и сдержана твердостью министров, если бы они оказались твердыми. Это люди, которые вообще желали бы мне хорошо служить; но это трудно в том положении, в каком они находятся. Прежнее министерство, которое было гораздо сильнее — износилось, настоящее уже истощило свои силы».

Последними словами Карл X показывал ясно, что считал необходимым переменить министерство; он давал знать, что министерство Мартиньяка не будет сменено прежним министерством Виллеля, которое, по словам короля, износилось. Но это нисколько не могло успокоить Поццо, который знал, что новое министерство будет министерством Полиньяка. Так и случилось. Опять раздался голос, предсказывавший беду.

От 8 августа Поццо писал: «Сперва Полиньяк хотел собрать около себя людей, не принадлежащих к крайним партиям; но ни один порядочный человек не хотел соединиться с ним; тогда он решился набрать себе других товарищей, то есть принудить короля к решению, не допускающему никакой остановки, отдающему судьбу династии и настоящие интересы Франции на жертву неизвестности и волнениям, последствий которых нельзя исчислить. У меня нет средств выразить чувства презрения и негодования, вызванных такими отчаянными решениями. Люди благонамеренные, утомленные резкими выходками крайней левой, уже присоединились к монархической конституционной системе, льстя себе надеждой, что эта система по искреннему убеждению принята государем; эти люди должны теперь выбирать одно из двух: или поддерживать министерство антинациональное во всех отношениях, или примкнуть к реакции; реакция непременно низвергнет министерство, но с такой силой и стремительностью, границы которых неизвестны. Убеждение, что герцог Веллингтон могущественно содействовал этой перемене министерства и что кн. Меттерних был тут небезучастен, усиливает общее негодование и становится уже неиссякаемым источником подозрений и соображений, какие только воображение людей, действительно встревоженных и неблагонамеренных врагов Бурбонской династии, могут представить разуму или легковерию публики. Из всех газет только две поддерживают настоящее министерство (Gazette du Soir и Quotidienne).

Другие с яростью громят и позорят его вообще и в подробностях. Их влияние на умы неизмеримо среди народа подозрительного, не умеющего принудить себя к спокойному исследованию дела, когда ему представляют и даже преувеличивают предметы его ненависти или предубеждения».

В конце 1829 года Поццо уже знал, что готовятся противоконституционные меры, знал, что есть партия, открыто поддерживаемая австрийским послом и убежденная, что не только возможно, но и легко распустить палату, если она выскажется против настоящего министерства, и заменить ее новой палатой, составленной из депутатов, выбранных не на основании закона, а королевского указа (ordonnance), определяющего способ избрания таким образом, что выбор падет на людей угодных монарху. Прусский посланник барон Вернер открыл Поццо, что гр. Аппони говорил ему об этом как о деле решенном в случае крайнего сопротивления палат министерству. Когда прусский министр указал на возможные следствия такой опасной меры, Аппони отвечал, что не видит тут никакой опасности — дело кончится так же спокойно, как и распущение национальной парижской гвардии.

Весной 1830 года противники стояли друг против друга и рассчитывали свои средства. В случае распущения палаты и новых выборов либералы и конституционисты всех оттенков предполагали, что они возвратятся в палату усиленные еще новыми союзниками. С своей стороны Полиньяк рассчитывал, что роялисты, приверженцы настоящего кабинета, получат большинство. Если это ожидание не сбудется, вопрос примет более угрожающий характер, Полиньяк сказал Поццо, что в таком случае король прибегнет к мерам внезаконным, которые Франция готова принять с покорностью. По мнению Поццо, враги короля вовлекали его в такое положение. Поццо дал знать, что в Англии сильно беспокоятся относительно окончания французских дел. По этому поводу Поццо писал:

«Герцог Веллингтон выдвинул кн. Полиньяка, чтоб противопоставить его России. Английское правительство хотело достигнуть двух непримиримых вещей: слабости Франции и утверждения Бурбонов. Средства к достижению первой уничтожают второе. Франция такая большая страна, волновать которую нельзя безнаказанно. Надобно гораздо более бояться ее бешенства, чем ее мудрости».

Наконец, русский посол имел печальное утешение видеть все свои предсказания исполненными. Знаменитые указы, или ордонансы, Карла X, о которых Полиньяк говорил, что Франция готова принять их с покорностью, повели к революции: старшая линия Бурбонов должна была оставить Францию; королем сделался Людовик-Филипп Орлеанский. Положение Поццо стало самым тяжелым: оставаясь верен своей дипломатической задаче, верен мысли Александра I, считая необходимым в интересах России и Европы поддерживать добрые отношения между Россией и Францией, Поццо видел, что обстоятельства с каждым днем все более и более стремятся к противоположному. С одной стороны, Июльская революция произвела сильное раздражение, затронув

консервативные принципы русского правительства и лишив Россию, в особе Карла X, государя, который считался верным союзником ее, это раздражение не могло не высказаться относительно переворота, относительно нового короля-похитителя; с другой стороны, прежнее расположение к России общественного мнения во Франции, которым так хвалился Поццо, переменилось при виде явной противоположности политических начал между Россией и Францией, а тут польское восстание, крики сочувствия, раздавшиеся ему в Париже в палате и на улицах, усиливали враждебность между двумя недавно столь близкими державами в высшей степени: отсюда деятельность Поццо во Франции после Июльской революции представляет тяжкую борьбу, в успешности которой он сам не имел никакой надежды.

Мы видим, как Поццо отзывался о Людовике-Филиппе, к характеру которого потом не мог питать никакого уважения и доверия. Тотчас после революции герцог Орлеанский пожелал иметь с Поццо тайное свидание; он начал уверениями, что не хочет королевского титула, но боится, что его принудят быть королем. Поццо, разумеется, отвечал увещаниями не соглашаться ни под каким видом на принятие престола. «Несмотря на эти уверения, — писал Поццо, — очевидно, он имеет в виду корону. Сестра, имеющая на него большое влияние, побуждает его к этому; восторжествовавшая партия также этого желает. Отречение короля и дофина приведет герцога в беспокойство, но его приверженцы не обратят на это внимания. Существует значительная партия в обеих палатах, желающая прекратить революцию провозглашением герцога регентом до совершеннолетия герцога Бордосского. Противники грозят ей новой революцией, если она будет настаивать на своем, особенно если очутится в большинстве».

Как следовало ожидать, Людовик-Филипп принужден был принять корону. 26 июля ночью он пригласил Поццо в Пале-Рояль. Поццо нашел его исполненным страхов и надежд. Он опять стал повторять, что не имел никогда в виду престола, часто предупреждал Карла X относительно опасностей, грозящих им всем, но всегда безуспешно, он вел себя так, чтобы не быть принужденным эмигрировать со своим многочисленным семейством в случае несчастья, и никогда не думал менять своей во всех отношениях счастливой жизни на жизнь среди беспокойства и опасностей бесчисленных; он пожертвовал собою спасению родной страны, оставленной без главы, в минуту разложения и страшных беспорядков; он имеет нужду в снисхождении Европы, чтобы поддержать его в мире, особенно имеет нужду в благосклонности императора, которому предается безусловно. Поццо имел также разговор с английским послом лордом Стюартом. Заговоривши о возможности европейской войны, в случае если французы захотят выйти из своих границ, Стюарт сказал, что, вероятно, первое столкновение будет у них с Англией по поводу Алжира, ибо правительство, которое произойдет из нового порядка вещей, не захочет и не будет в состоянии отказаться от этого завоевания Поццо знал, что Стюарт находился в постоянной переписке с Карлом X, и советовал ему ехать медленнее, чтоб как можно позднее оставить

Францию в надежде на какую-нибудь случайность в его пользу. 26 июля Стюарт сказал Поццо, что надеется на роялистское движение в Вандее и желал бы, чтоб Карл X поселился на острове Жерзее по удобству сношений с этой провинцией. Стюарт прибавил, что небольшая междоусобная война во Франции была бы желательна.

Поццо не рассчитывал ни на какие случайности в пользу Карла X; он думал, что дело старшей линии Бурбонов покончено, и, не имея никаких симпатий к Людовику-Филиппу, обращался, однако, к нему как представителю монархического начала во Франции, зорко вглядывался в трудности и опасности его положения и приходил к заключению, что монархическая Европа не должна увеличивать этих трудностей и опасностей.

«И по достижении короны, герцогу Орлеанскому будет трудно утвердить королевскую власть во Франции. Те самые люди, которые хотят ее, так сильно ее обрывают, что рискуют совсем ее уничтожить. Те, которые ее не хотят и мечтают о республике, будут стараться подкапывать ее тысячами способов В этой борьбе Европа должна желать меньшего зла, то есть должна желать, чтобы власть нового короля установилась и французское правительство утвердилось под формами монархическими. Содействие других государей необходимо для получения этого результата; если они откажут в своем содействии — война неизбежна, и первым следствием войны будет поднятие народа массою и кровавая республика. В противном случае борьба будет происходить политически между монархией Орлеанов и республикой Лафайета, или журналистов и школьников Возможно, что споры будут сильные, не доходя до схватки; во всяком случае борьба будет происходить между французами, разделенными в интересах и мнениях. Новый король слаб по характеру и потому, что видит себя обязанным уступать тем, которые дали ему корону, притом он склонен к демократии и готов на всякое пожертвование, когда находит, что нужно успокоить тех, которые ему ее навязывают. Семейство его привыкло к тому же, и молодой герцог Орлеанский больше других. Свыкшись с молодежью школ, где он воспитывался, он тщеславится тем, что спускается ниже своего положения и приравнивается к своим соученикам, неопытным и гордым вследствие проповеди равенства. Пребывание в Пале-Рояле при настоящих обстоятельствах неприлично и вредно для королевской фамилии. Это место, знаменитое ужасами, уже 40 лет служит очагом всех возмущений и сточной ямой всех безнравственностей. Новый король и его семейство день и ночь осаждаются толпами, которые празднуют оргии, поют революционные песни и занимаются отвратительными прокламациями и рисунками. По временам эти люди заявляют желание видеть государя, который никогда не отказывается удовлетворять их наглым докукам Я дал заметить, как было бы прилично переменить местопребывание и переехать в Тюльери Король не согласился, говоря, что тюльерийский дворец приносит несчастье. Но дело в том, что он боится навлечь на себя порицание толпы».

Известия о состоянии Парижа после Июльского переворота, доходившие в Петербург, имели следствием приказание императора своему послу — выслать всех русских из Парижа и не давать французам паспортов в Россию. Поццо нашел невозможным немедленно исполнить это приказание, ибо такое исполнение было бы равносильным прекращению всех сношений с Францией, равносильным объявлению войны; Поццо обещал исполнить приказание постепенно. Поццо не приступал к исполнению и другого приказания — покинуть дом русского посольства потому, что Австрия, Пруссия и Англия признали королем Людовика-Филиппа, и нельзя было ожидать, чтобы Россия одна, без союзников, объявила себя против нового порядка вещей во Франции. «В таком положении, — писал Поццо, — ожидая дальнейших решений его императорского величества, я счел обязанностью продолжать выжидательный образ действия, ничего не предупреждать, не компрометировать и держать себя в готовности исполнять приказания государя».

Письмо, присланное императором Австрийским в ответ на письмо Людовика-Филиппа, показалось в Париже удовлетворительным, только заметили некоторую сухость и выражения, в которых выступало требование, чтоб Франция поняла сохранение мира, как понимала его Австрия, и сообразовалась с этим. Письмо прусского короля удовлетворило более: оно было действительно наполнено дружественными выражениями, хотя в сущности не отличалось от венского.

Наконец, пришло письмо русского императора. Министр граф Молэ пригласил к себе Поццо и объявил ему, что король в страшном горе, не найдя в письме императора обычных между государями дружественных и благожелательных форм; просмотрена была вся переписка между государями русскими и французскими со времен реставрации, и найдено, что их величества не только употребляли обычную форму: M. mon frère, но и подписывались: Votre bon frère et ami; опущение этого выражения приязни и учтивости служит доказательством, что император не расположен поддерживать ни той, ни другой. Поццо отвечал, что этикет, строго соблюденный его величеством императором, был следствием положения дел во Франции и событий, породивших его; ответ императора совпал с эпохой, когда Бельгия явно восстала, Германия взволновалась, Испания подверглась нападению, Италия и остальная Европа угрожаются тем же; все эти бедствия произошли от вступления на французский престол короля Филиппа, и потому невозможно разделять идей и фактов, так тесно связанных вместе, и употребить обычные дружественные формы среди нововведений самых гибельных, какие когда-либо колебали социальный мир; его императорское величество, признавши титул на факте короля французов, этим самым признал, что политические сношения между двумя государями и государствами восстановлены, в ожидании, что поведение короля и его правительства относительно других государств даст возможность возобновить формы, выражающие приязнь и доверие.

На другой день Поццо поехал к Молэ, чтобы узнать, какое впечатление произвело письмо в совете. Молэ сказал ему, что впечатление было очень сильное, но когда король, несмотря на то что был огорчен самым прямым и личным образом, объявил, что доволен письмом, то все другие должны были присоединиться к его мнению.

На другой день по приглашению Молэ Поццо отправился incognito в Пале-Рояль; король тотчас вышел к нему и в сильном волнении, почти со слезами на глазах, начал изъясняться, как было ему прискорбно, что император отказался отвечать на дружественные формы, в которых он отнесся к его императорскому величеству. Поццо повторил ему то, что говорил и Молэ, только подробнее. «Господи! — отвечал на это Людовик-Филипп. — Ведь не я же лишил престола Карла X; сам он захотел погубить себя, несмотря на предостережения и советы Франции и целой Европы. Что касается герцога Бордосского, то не было никакой возможности выставить его права на престол среди страшного волнения, господствовавшего тогда и продолжающегося теперь; если бы я назвал его в тот день, когда был в парижской ратуше, то был бы растерзан в куски вместе с ним, если бы и он тут случился. Призыв меня на престол был движением непреодолимым и принятие мною короны актом необходимости, без которого террор начался бы в ту же минуту в Париже и страшная смута в остальной Франции и Европе; я бы считал себя счастливым, если б мог убедить императора в этой истине. Что касается бельгийских событий, то я ими огорчен, я от них несчастлив не менее кого-нибудь другого. Мои приказания препятствовать собранию войска против Испании были нарочно, следовательно — преступно, не исполнены; я принял решение противодействовать проектам новых якобинцев. У меня предполагают власть, которой у меня нет; я могу употреблять ту власть, которую мне дают, и погибну в ту самую минуту, когда меня заподозрят в желании приобресть другую власть».

Дело о письме прекратилось этими объяснениями, но вспыхнуло польское восстание. Поццо обратился к французскому министру иностранных дел с вопросом — возмущение польской армии произведет ли перемену в мирной системе, которую французский кабинет постоянно проповедовал? Министр отвечал, что французское правительство решилось продолжать систему мира; оно начало военные приготовления, будучи вызвано положением иностранных держав, но теперь оно будет продолжать вооружение с меньшей силой, ибо не боится более скорого разрыва, который мог бы произойти, не случись польской смуты. Король при свидании с Поццо подтвердил слова министра, прибавив: «Я никогда не хотел войны, ибо она не согласовалась с действительными интересами Франции, также и с моими собственными как государя, только что получившего престол». Во Франции вначале не ждали ничего хорошего для поляков от восстания, от которого только погибнут виновники его.

«Все видят, — писал Поццо, — что Россия не может оставаться европейским государством, допустив малейшую из претензий инсургентских; скажу более — оставляя малейший след политических препятствий,

которые она сама себе создала в минуту великодушия. Во Франции убеждены, что Россия желает войны с нею, несмотря на успокоительные объяснения, которые были даны по этому поводу, и что продолжением мира Франция обязана препятствиям, встреченным Россией. Король боится войны, потому что республиканская партия найдет в ней средство к усилению. Король и его кабинет не переставали уверять меня, что с удовольствием увидят скорое восстановление спокойствия в Польше и не станут никоим образом вмешиваться в эту борьбу». Несмотря на эти уверения, генерал Себастиани обратился к Поццо с вопросом, не найдет ли он какого-нибудь неудобства в том, если король обратится к Пруссии и Австрии с предложением употребить добрые услуги для дружественного улажения России с польскими инсургентами. Поццо отвечал, что император останется навсегда свободным в своих движениях и в своих мерах и что другие государи должны успокоиться на мудрости и милосердии его величества относительно собственных подданных. В другой раз Себастиани представил польское дело с такой стороны, что Царство Польское, хотя и под властью императора, существовало на особых правах; его существование и конституция составляли часть публичного права Европы, следовательно, если бы захотели сделать в них какие-нибудь изменения, то другие государства имели право воспротивиться этому, как посягновению на statu quo, установленное договором, находящимся между актами Венского конгресса; быть может, Англия будет того же мнения, и нет причины думать, чтоб Австрия и Пруссия смотрели на дело иначе. Поццо отвечал, что если Себастиани хотел выставить такой взгляд или один сам собою, или по согласию с кем бы то ни было, он, посол, может его предупредить заранее, что совершенно напрасно было бы доводить такое мнение до сведения его императорского величества, потому что оно будет отвергнуто решительно как странная претензия, будет отвергнуто под всеми возможными формами.

Наступил 1831 год. Получив известие, что французский посланник в Петербурге Мортемар подал свои верющие грамоты, Поццо подал свои новому королю, после чего обедал у Людовика-Филиппа: по его словам, нельзя было выразить всего того уважения и внимания, какие были ему при этом оказаны. Себастиани переменил тон и объявил Поццо, что не скроет от него ни малейшего шага, который будет сделан каким-нибудь агентом польского революционного правительства; что в последние дни Волицкий, недавно приехавший из Варшавы, был у него, просил помощи деньгами и выражениями сочувствия Франции к делу инсургентов; но он, Себастиани, отвечал ему, чтоб инсургенты не ждали никакой помощи, ни прямой, ни косвенной, он советует им вести себя так, чтоб могли заслужить снисхождение императора. Молодой Валевский, отъезжая в Польшу, был также у него с вопросом, может ли он, приехавши в Варшаву, подать своим соотечественникам надежду на некоторую подпору со стороны французского правительства и что он должен сказать кн Чарторыйскому. Себастиани уверял Поццо, будто отвечал и ему то же, что первому, и не подал никакой надежды. По донесениям Поццо, в Париже в это время было не более 38 поляков, которые собирались

в неопределенное время, и в одно из таких собраний Волицкий привел всех в отчаяние, объявив, что неблагодарная Франция отказывается помогать их делу, которое потому должно погибнуть.

Но успокоительные уверения министра иностранных дел не вели ни к чему, потому что в палате депутатов были другие речи. Генерал Ламарк говорил здесь 27 января: «Пойдем ли мы одни вызывать на борьбу северный колосс? Но этот колосс не может долго двигаться без помощи Англии. Твердые речи и искусные переговоры могут вывести его на путь справедливости и умеренности. Если бы Англия и Франция, которые имеют общий интерес в этой великой борьбе, захотели вмешаться прямым образом, то несколько линейных кораблей, несколько фрегатов, несколько транспортов, пройдя Дарданеллы и Босфор, вошли бы в Черное море, привели бы в трепет его берега, истребили бы Севастополь и его эскадру, Одессу и ее магазины».

Такие речи могли сильно раздражать, тем более что на сдерживающую силу правительства нельзя было нисколько полагаться. Нет ни замысла, ни непосредственной причины к восстанию против нового короля, писал Поццо, но этот государь, с своей стороны, нисколько не укрепляет своего положения. Он ограничивается преодолением трудностей настоящего дня или сделками с ними, принимая толчки страстей и партий и не управляя ни одной. Настоящее министерство представляет собрание посредственностей, руководимых частными интересами. Президент Лаффит, человек легкомысленный, не пользующийся уважением, тщеславный, гоняющийся за популярностью, стремится из непоследовательности в непоследовательность и не внушает ни доверия, ни уважения. Полное банкротство, которому он подвергся, отняло у него кредит финансовый и политический зараз. Генерал Себастиани, не привязанный исключительно ни к какой партии, желает угодить всем партиям, служит им всем поодиночке. Таланты его посредственные, значения у него нет почти никакого; он хитер, без достаточного уважения к своему слову, без принципов. Маршал Сульт человек снедаемый честолюбием и корыстолюбием. Он стал военным министром с потребностью удовлетворить партии движения и ничего не пощадил для этого. Во главе того совета находится король, желающий мира и не противящийся мерам, которые могут повести к войне.

За раздражающими словами в палате следовали раздражающие действия на улицах. Когда разнеслись вести о победе русских войск над поляками, 13 февраля толпа бросала камнями в дом русского посла и разбила окна; толпа из 800 школьников с трехцветным знаменем, покрытым черным крепом, с иммортельками в петлицах, после речи пред Лафайетом прошла с криком мимо дома, занимаемого Поццо. Траур был по убитым в сражении полякам. Министры иностранных дел, внутренних и морской, приехали к Поццо с выражениями сожалений и уверениями, что будут приняты все меры для обеспечения посольского дома. Король и герцог Орлеанский прислали с тем же своих адъютантов.

До сих пор можно было слабому королю отговариваться слабостью министерства. Но теперь министерство изменилось: вместо ничтожного

Лаффита президентом явился сильный характером Казимир Перье. В начале марта король говорил Поццо, что министерство, как оно изменилось под президентством Казимира Перье, есть единственная плотина, которую он может противопоставить революционному потоку, и если бы плотина прорвалась прежде образования будущей палаты, то он, король, был бы первой жертвой, что судьба Франции, его собственная и мир Европы зависят от новых выборов, и, несмотря на доверие, которое он питает к умеренным чувствам нации, он не может, однако, не опасаться деятельности и ловкости крамольного меньшинства в подобных обстоятельствах. В это свидание Поццо нашел Людовика-Филиппа робким и обескураженным больше обыкновенного.

Относительно изменений в министерстве Поццо писал, что они были вызваны нудящей необходимостью. Ежедневные жертвы, которые Лаффит считал себя обязанным приносить требованиям анархистов палаты и площади, его естественная привязанность к партии, с которой он составлял заговор с начала реставрации, легкомыслие и непоследовательность его характера приводили правительство к совершенному разложению. Ко всем этим неудобствам присоединялась связь, существовавшая между королем и банкиром — первым министром, хотя и банкротом; их сообщничество во множестве публичных и частных дел и, следовательно, неуважение, которое пало на того и на другого в высшей степени. Невозможность идти далее по таким дорогам и крики всех честных людей принудили короля и министра расстаться и последнего уступить свое место человеку, в котором умеренная партия признавала способность установить власть на правильных и действительных началах. Прежде чем принять должность, Перье вытребовал указом право собирать совет, приготовлять здесь дела в отсутствие королевское и потом представлять королю доклад для получения его одобрения. Такая предосторожность сочтена была необходимой для предупреждения зла и смуты, происходивших из этих советов кабинета, собиравшихся часто по два раза в день, где монарх рассуждал постоянно сам и редко позволял другим обсуждать дела и где желание сообразоваться с видами короля производило между министрами двуличность и разделение. Король покидал совет и удалялся к своей камарилье, которою Пале Рояль осквернен больше, чем когда-либо был Тюльери. Дела здесь рассматриваются сызнова, так что неизвестно, где находится настоящая власть и правительственная деятельность.

Но как бы то ни было, и новое министерство не могло привести к соглашению русских интересов с французскими, и оно в угоду либеральной партии считало нужным вмешиваться в польские дела, чего не могла допустить Россия. Для того, чтобы ослабить раздражение русского правительства, снять в его глазах вину с Франции, а с другой стороны, чтобы испугать Россию, показавши, что у нее нет союзников и между самодержавными государями, Себастиани 29 марта прочел Поццо ноту, которую подали польские эмиссары Платер и Княжевич; в этой ноте Поццо заметил место, из которого было ясно, что Австрия внушала

полякам, хотя и непрямым образом, что она готова присоединиться к другим державам для предложения своего посредничества между Россией и Польшей. К этому Себастиани прибавил, что уже два месяца тому назад получено известие, что Меттерних не перестает ратовать против раздела Польши, выставляя это событие как неисправимую ошибку Кауница. В то же время русский посол в Лондоне кн. Ливен сообщил Поццо о своих подозрениях, что Меттерних хочет вмешаться в польские дела. Поццо узнал также, что Талейран занимается сочинением разных проектов о Польше.

Но в Петербурге хорошо понимали, что если австрийский канцлер и не упустит случая сделать неприятность России, то этот случай все же создан не в Вене, а в Париже, что Июльская революция изменила естественные дружественные отношения между Россией и Францией, взволновала Европу, подняла Польшу, и теперь, чтоб быть последовательной, Франция должна будет всегда стоять за польское восстание, следовательно, будет всегда высказываться против России. В Петербурге поэтому не могли не раздражаться и не высказывать своего раздражения, тем более, что молчание могли принять за робость. Летом в одном из нумеров «Journal de S.-Petersbourg» появилась статья о литовском восстании с указаниями на французскую Июльскую революцию и ее следствия. Статья произвела сильное впечатление на французское министерство; Перье в чрезвычайном волнении объявил Поццо, что статья будет принята в Париже как оскорбление короля, как манифест, объявляющий войну Франции; что такой акт не мог быть сделан без умысла, что в нем Июльская революция представлена причиной всех беспорядков, волнующих Европу; что в статье говорится об обязанности России изгладить все бедствия, причиненные либерализмом; объявляется, что император начинает исполнять эту миссию среди грома оружия и сумеет выполнить ее совершенно, как скоро демон анархии будет изгнан из собственного царства.

«Этими словами, — говорил Перье, — император объявляет, что после подавления польского мятежа Россия станет в челе всеобщей коалиции против Франции. Французская печать и многочисленные приверженцы войны и республики ухватятся за этот документ и не преминут выставить его как главное обвинение против министерства, обманутого ложными уверениями в мире или изменившего интересам отечества». Поццо отвечал, что журнал, в котором помещена статья, журнал — не официальный; что в статье дело идет о революционной пропаганде, которая стремится разрушить все троны и трон самого Людовика-Филиппа; что дело идет не о том, чтоб идти низвергать Людовика-Филиппа, но уничтожить бедствия, которые мятеж причинил подданным императора. Перье сказал на это, что объяснений, представленных Поццо, публика не узнает, а статьи читает. Чтоб успокоить эту публику, в «Монитере» появилась заметка: ««В Journal de S.-Petersbourg» помещена статья от 28 мая; статья такого рода, что необходимо требует объяснений скорых, откровенных и полных. Эти объяснения потребованы».

Действительно в «Journal de S.-Petersbourg» была напечатана объяснительная статья к той, которая так встревожила Перье. Но на первом плане стояли объяснения гораздо важнее объяснений по газетным статьям. В конце июня Поццо, узнав, что французский кабинет занимается представлениями, какие хочет сделать русскому императору в пользу поляков, объявил министерству, что представления эти не будут выслушаны и произведут действие совершенно противоположное своей цели; Россия не уступит ни внушениям, ни угрозам, одиночным или коллективным. Но вдруг после этого Поццо прочел в газетах следующие строки: «Переговоры, начатые Францией по поводу Польши, обещают результаты самые удовлетворительные». Так как не было начато никаких переговоров, а следовательно, не могло быть и результатов, то Поццо обратился к министерству с запросом; ему отвечали, что решились на такое объявление для произведения хорошего впечатления накануне выборов, а другой цели не было. Казимир Перье и Себастиани признались, что, принужденные необходимостью — продолжать свои добрые услуги для прекращения кровопролития в Польше, они пригласили Англию присоединиться к ним, чтоб склонить императора к принятию мер, наиболее соответствующих этой цели. Сам король объявил Поццо, что ему нельзя в тронной речи промолчать о Польше, к которой Франция выражает такое сочувствие.

Людовик-Филипп несколько раз повторял Поццо: «Я плотина, которая останавливает поток: без меня этот поток залил бы Европу». Но понятно, что Поццо, смотря на поведение короля, на меры, в которых так наивно признавались его министры, не мог считать плотину очень крепкой; понятно, что в России не могли проникнуться уважением к новому французскому правительству, считать вражду Людовика-Филиппа опасной, а союз возможным и полезным. Поццо писал: «Палата депутатов должна произнести свое решение насчет наследственного царства. Этот вопрос жизненный относительно наследственности трона. Шесть месяцев король смотрел на него с этой точки зрения, и министры объявляли, что открыто будут его поддерживать. Достаточно было нескольких газет и некоторого голоса публики, который успели возбудить, чтоб заставить Людовика-Филиппа и его министров отказаться от проведения наследственности. Если бы выборы обещали палату более умеренную и благоразумную, он не принял бы к сердцу польских интересов и нынешний год, как не принимал их прошлый; но, боясь, что депутаты оппозиции заберут себе много значения, он предпочитает скомпрометировать себя перед Россией, чем навлечь на себя упреки в том, что слишком перед нею преклоняется. Так смотрят на дело Перье и Себастиани, которые надеются избежать войны с нами, не совестясь доставлять нам некоторые затруднения» Но французскому правительству было в пору иметь в виду только собственные затруднения Когда польские агенты хотели сделать заем во Франции, он не состоялся, потому что правительство отказалось гарантировать ссуды частных людей

В тронной речи король сказал, что предложил свое посредничество и вызвал посредничество великих держав, что он хотел остановить кровопролитие, охранить Южную Европу от заразы (холеры) и особенно обеспечить Польше ее национальность. Как обыкновенно бывает, Людовик-Филипп, желая сказать угодное палате и в то же время не раздражать России, не достиг ни той, ни другой цели. Аплодисменты не были очень громки, ибо хотели, чтоб сказано было больше. С другой стороны, Поццо нашел в словах короля злонамеренность, сентиментальное притворство и макиавеллизм. Он спросил у министров, что разумелось в речи под словами: «Польская национальность?» Ему отвечали, что фраза относилась к Польше, какою она была по Венскому договору. Поццо сказал на это, что императорский кабинет не согласится никогда, чтоб какая-нибудь держала вмешалась в дело Польши, как бы Польшу ни называли, королевством или нацией. Узнавши, что комиссия в палате депутатов намерена высказаться в пользу признания Польши, Поццо объявил Перье и Себастиани, что хотя он аккредитован при короле, а не при палатах, однако не может не смотреть на подобный поступок палаты, как на предвестие разрыва между Россией и Францией. Министры отвечали, что они употребят все свои силы, чтоб воспрепятствовать палате высказаться таким образом, и в случае неудачи скорее выйдут из министерства, чем допустят такую враждебную демонстрацию. Король подтвердил это объявление министров.

Англия, Австрия, Пруссия не приняли предложения Франции представить России свое посредничество в делах польских. Несмотря на то, 19 августа Поццо дал знать в Петербург, что французский кабинет снова обратился в Лондон с предложением сделать, не теряя времени, представления фельдмаршалу Паскевичу, дабы спасти Варшаву — или от ужасов приступа, или от ужасов голода. Сообщая об этом Поццо, Себастиани прибавил, что это была только одна лишняя бумага в процессе; прибавлялась она с целью доказать палате депутатов и нации, что правительство не пренебрегло никаким находившимся в его власти средством для отклонения бедствий, которые должны были родиться от сопротивления поляков. Поццо, разумеется, должен был повторить обычный ответ, что Россия отвергает безусловно всякое вмешательство.

Чрез несколько времени старый дипломат опять был оскорблен явлением, выходившим из обычных форм. Генерал Себастиани прочел с трибуны палаты депутатов несколько мест из депеш французского поверенного в делах в Петербурге (Bourgoing). Собственно эти места не заключали в себе ничего, что могло бы подвергнуться неодобрению императорского кабинета, но публичность, им сообщенная, рассуждал Поццо, должна служить предостережением — ничего не сообщать представителям Франции, что по существу своему должно оставаться тайной, ибо каждый раз, как министр сочтет согласным с своим личным интересом сделать употребление из этих сообщений пред палатой, то он не будет удержан от этого никаким другим соображением.

Наконец, Варшава была взята, польские волнения прекращены Описывая впечатления, произведенные на Париж этими событиями,

Поццо говорил: «Париж проведет несколько времени спокойно после пароксизма, им испытанного; но причина нового волнения будет существовать всегда. Король упал в мнении всех партий; правда, ни одна партия не имеет достаточно сил для господства, тогда как все вместе своею оппозицией содействуют параличу правительственного действия. Никто не основывает своих идей, своих надежд или своих интересов на твердости настоящего положения. Однако никто также не идет прямо против него, ибо нет никакого плана нового правительства, которым бы можно было заменить настоящее. Республика есть синоним анархии; сын Наполеона служит более предлогом, чем намерением; Генрих V еще слишком страдает от непопулярности своей, и возраст его препятствует провозглашению его вождем, — так что эти различные партии движутся, но не идут к известной цели и тревожат правительство, не думая его ниспровергнуть.

Власть, таким образом поставленная, может продолжать существование и не будучи сильной. Власть Людовика-Филиппа менее всего сильна, ибо лицо, облеченное ею, далеко не пользуется уважением. Невозможно выразить личного неуважения, которое постигает короля день ото дня все более и более. Это падение может не препятствовать его существованию, но оно страшно вредит его авторитету. Происхождение новой монархии, природа самозваных учреждений, которые ее условливали, природная надменность всякой популярной революции, слабость авторитета против демагогов, нетерпеливых и неспособных остановиться, бешенство трибуны и печати и характер монарха — робкий, неопределенный и площадной — делают из всего этого сборища что-то неспособное к общению с древними государствами Европы.

Людовик-Филипп чувствует, что его терпят как неизбежную необходимость, но он не смеет льстить себя надеждой, что его считают способным внушать ту степень доверия, благодаря которой государи постоянно сообщают друг другу свои надежды и опасения и вместе ведут свои дела. Из всех государств, которые причиняют ему наиболее беспокойства, Россия на первом плане; я думаю даже, что он не свободен от ненависти и недоброжелательства к ней. Эти чувства разделяются революционной толпой и всеми вождями. Печать возбуждает и усиливает это расположение: она выдумывает клеветы — самые ужасные, и факты — самые безрассудные, к которым, несмотря на то, относятся с полным доверием. Против нас высказаны самые страшные зложелательства, прямо проповедуются возмущение и убийство. Люди, власть имеющие, не смеют тронуть этих проповедников. Такое зложелательство не вредит нашим интересам, — оно даже возвышает наше достоинство; но мы должны смотреть, как на своих врагов, на всех тех, кто имеет какое-нибудь влияние здесь, будь то правительство или оппозиция».

Таким образом, сам Поццо объявил невозможной ту связь между Россией и Францией, для утверждения которой был отправлен в Париж

императором Александром I. Отозвание Поццо и последовавший затем полуразрыв между Россией и Францией был необходимым последствием приведенного донесения Поццо — донесения не голословного, но обставленного выпуклыми фактами.

РЕЧЬ НАД ГРОБОМ ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА КУДРЯВЦЕВА*

Друзья! Смерть страшно свирепствует в наших рядах! Целыми семьями вырывает она у нас лучших людей! Две семьи, где мы находили такой успокоительный приют, где было так много отрады и укрепления для человека, не равнодушного к высшим интересам жизни, две эти семьи исчезли бесследно! Два имени, неразлучные в устах русских людей, любящих науку, два имени, которыми так радовались и гордились воспитанники нашего университета в разных углах России, эти два имени — уже прошедшее... Замолк навсегда и тихий голос Кудрявцева! Но как могущ был этот тихий голос, как глубоко западал он в душу, когда возбуждал молодое поколение к благотворному труду, указывал пути к занятиям! Как привлекателен был этот прекрасный и грустный образ, предвозвещавший, что дорогой брат не долго прогостит между нами! Дети с шумным восторгом стремились к нему: это был один от них, чистый сердцем; дитя среди детей, наставник среди возрастных.

Да, это был наставник в высоком искусстве забывать себя для других, погружаясь в интересы другого, уничтожать свою личность; другой подле него чувствовал, что живет двойной жизнью от этой близости, от этой теплоты участия; вспомним беседы Кудрявцева, в большом ли обществе, один ли на один; все внимание и слово отдано интересам другого или интересам общественным, ничего не оставлено для себя. Такого-то общественного человека потеряло наше общество! Но что же, придем ли в отчаяние от этих тяжелых ударов, от этих скорбных лишений? Нет, друзья! Не так мы должны почитать память подобных людей. Наша обязанность показать, что они не даром жили среди нас, что дух их деятельности остался среди нас и останется вечно; мы должны показать, что могущество смерти бессильно порвать предания, так бережно хранившиеся нашими славными наставниками и собратиями; после каждого удара судьбы теснее будем соединяться вокруг водруженного ими знамени, на котором начертано: *свет, правда и добро.*

Дорогой брат! Мы передаем твои останки в храм Божий! Чистый сердцем! Тебе обетование зреть Бога, а мы всегда будем зреть в тебе один из лучших даров Божиих, ниспосланных нашему обществу.

* Русский вестник. 1858. Т. 13. № 1. Кн. 2. С. 112—113.

ОЧЕРК СОСТОЯНИЯ РОССИИ В ЭПОХУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОМОНОСОВА*

Мм. гг.! Всякий великий деятель есть сын своего века и своего общества: собравшись почтить память одного из великих деятелей в истории русского образования, собравшись припомнить то, что было им сделано на благо Русской земли, мы прежде всего должны припомнить состояние Русской земли в эпоху его деятельности, и тогда только она станет нам ясна.

Миновала первая четверть XVIII века, ознаменованная для русских людей великим и страшным переворотом Преобразователь был во гробе, и умер он, не воспользовавшись своим правом назначить себе преемника, кого хотел; некого было ему выбрать подобного себе. Действительно, преемники Петра не обладали его железной волей, которая не останавливалась ни перед чем, которая все увлекала за собою, и теперь-то, следовательно, наступило благоприятное время для реакции, теперь явилась возможность объявить преобразование личным делом Петра, не народным, разделать его. Но этого объявления, этой разделки не последовало. Россия неуклонно продолжала идти по новой дороге, проложенной Петром, и тем засвидетельствовала, что дело Петра было делом народным

Время от кончины Петра Великого до царствования Екатерины II обыкновенно представляют временем печальным, безурядным, в котором на первом плане были придворные интриги дворцовой революции, в которое не было сделано ничего замечательного. Но всмотримся внимательнее в явления, и, быть может, приговор изменится.

Со второй четверти XVIII века прекращается напряженное состояние общества, усиленная его деятельность, которые знаменовали первую четверть века как время революционное. Внешние войны прекратились. Полтавский победитель завещал России мир, дав ей силу и величие,— завещал не вмешиваться в западноевропейские распри, как чуждые России по ее прежней замкнутой жизни. Русским людям был теперь досуг спокойно и внимательно осмотреться в своем новом положении, разобраться в том, что было произведено переворотом Разумеется, главная задача преобразованной России состояла (и даже теперь состоит) в определении отношений своего к чужому, и прежде всего, по непосредственности столкновения, в определении отношения своих к чужим.

Сущность переворота заключалась в том, что русские люди сознали необходимость учиться у иностранцев, толпами отправлялись они для этого за границу; но время не терпело, и толпы иностранцев вызывались в Россию помогать в новом деле, которого было так много Они являлись необходимо в качестве учителей, с сознанием своего превосходства;

* Празднование 100-летней годовщины Ломоносова 4 апреля 1765—1865 гг имп Московским университетом в торжественном собрании, апреля 11 дня М , 1865 С 5—18

русские должны были учиться у них, работать под их руководством, слушаться их: все это вело неизбежно к сознанию своей слабости, своей зависимости. Положение крайне опасное, ведшее к нравственному покорению, да и не к одному нравственному, потому что иностранцы надобились и в правительственном деле. «Русские ничего не смыслят в заграничных делах, — толковали иностранцы Петру, — надобно, для интересов России, на всех дипломатических постах заменить русских невежд знающими иностранцами».

Петру по праву гения легко было избежать опасности и определить, как следовало, отношения между своими и чужими. Многосторонно и ясно смотрел он на свое дело, и ничто не могло смутить его: ни ропот своих, ни притязания чужих. Постоянно имея в виду только свое и своих, Петр и на военном, и на дипломатическом, и на всех других поприщах хотел, чтобы свои учились и как можно скорее сравнялись с искусными иностранцами; его нельзя было смутить указанием, что свои ошибаются, и потому надобно заменять их иностранцами: он знал, что ошибки неизбежны вначале, что ошибками человек учится, и потому не сменял своих, то есть не брал их из школы.

На бранном поле и у себя в токарне Петр бесцеремонно разделывался с иностранцами, имевшими неосторожность столкнуться с его русскими даровитыми вождями, с его русскими искусными, выученными мастерами. От иностранца-наемника отличался иностранец, усыновлявшийся России, безвозвратно отдававший ей на служение свое дарование и искусство; таких людей высоко ценил Петр и называл их *своими*, наравне с русскими, которые, в свою очередь, были далеки от того, чтоб отказывать им в братстве. Но в царствование Петра ни один и из этих усыновившихся России иностранцев не занимал высшего правительственного места. Петру легко было так распорядиться, легко было щадить народное чувство, опять по праву гения; он умел из русских людей выбрать достойных стоять на первом плане, причем все недостатки восполнял своими личными великими средствами.

Таким образом, по кончине Петра судьба России была в руках русских людей: ни одного иностранца не видим мы при решении вопроса — кому занять место великого императора? Но отсутствие силы, соединявшей все другие силы второстепенные и направлявшей их к общей цели, не замедлило обнаружиться. Из-за вопроса о престолонаследии встала рознь между лучшими русскими людьми, оставленными Петром России. Меншиков сгубил Толстого с товарищами; под Меншикова подкопались другие и свалили как нового Голиафа, по их выражению. Голицыны и Долгорукие своей попыткой ограничить императорскую власть в пользу Верховного тайного совета возбудили против себя генералитет и высшее дворянство, которые, восторжествовав, предали верховников.

Ряды русских знаменитостей разредели: между русскими птенцами Петра Великого оказался сильный недочет, и естественно выступили на первый план птенцы иностранные — Остерман, Миних. Но после этих знаменитостей иностранного происхождения, усыновившихся России,

считавших свою честь и славу неразрывно соединенными с ее честью и славой, подле Остермана и Миниха стали Бирон и Левенвольд с товарищи, хотевшие только пожить как можно веселее, покормиться как можно сытнее на счет России. Наступила бироновщина, осторожная вначале, но потом все более и более разнуздывавшаяся. Почему же она могла разнуздываться? Один иностранный министр при русском дворе заметил другому: «Озлобление русских против немцев страшное: надобно опасаться, чтобы русские не сделали с немцами того же, что сделали с поляками при Лжедимитрии». «Нечего опасаться, — отвечал другой, — у русских теперь нет вождей». Вожди изгибли в усобице.

Русские люди ждали вождей, но господствующая немецкая партия поспешила приготовить им торжество тем же самым средством, каким прежде русские приготовили господство иностранцев, — усобицей. Бирона свергнул Миних. Миниху давно уже было тесно вместе с Остерманом, Остерман свергнул Миниха, но Остермана обессиливали иностранцы, мелкие по своим способностям, сильные по влиянию своему на правительницу Анну Леопольдовну. Время было самое благоприятное для свержения правительства, вдвойне незаконного в глазах русских людей.

Непосредственное предводительство взяла на себя женщина, но эта женщина была дочь Петра Великого. Переворот совершился; русское дело восторжествовало, и, пригретые этим торжеством, выросли, поднялись отовсюду русские люди, наполнившие знаменитыми делами царствование Елисаветы и Екатерины II.

Но эта борьба, столь важная и столь естественная при новых условиях, в которые предшествовавшая история поставила Россию в XVIII веке, эта борьба представляет только одну сторону жизни России в описываемое время. Уже было сказано, что русским людям по смерти Петра Великого предстояло осмотреться в своем новом положении, разобраться в том, что было произведено переворотом. Задача была трудная, какой история не представляла еще ни одному народу в такой многосторонности; воздадим же благодарность русским людям XVIII века за то, что они не отказались от этой задачи, не отчаялись в своих силах, не отчаялись в спасении отечества, и, вместо легкомысленного взгляда свысока, присмотримся с должным уважением к их деятельности.

После переворота, как обыкновенно бывает, развалины старого покрывали землю, подле них виднелось новое, крепкое, хорошо принявшееся, полупринявшееся и вовсе не принявшееся, поблеклое; нужно было разобраться во всем этом, и русские люди начинают разбираться. Будем ли мы удивляться тому, что, употребляя естественные и необходимые в своем положении приемы, они подходят к новым учреждениям с разных сторон, оглядывают, пробуют, толкуют, спорят: крепки они или шатаются, годятся для России или непригодны ей, изменяют, отменяют совсем, потом снова восстановляют? Наблюдатель поверхностный видит здесь какую-то суматоху, безурядицу; наблюдатель внимательный к законам исторических явлений спрашивает: как же могло быть иначе?

Преобразование, освободив русского человека из той узкой сферы, в какой он до тех пор вращался, представив ему многообразные и широ-

кие ряды новых явлений, задало работу его уму на долгое и долгое время. Эта-то работа возбужденной мысли так важна и поучительна для нас, несмотря на все неизбежные уклонения и неправильности: эта-то постоянная работа мысли над важнейшими вопросами народной жизни и засвидетельствовала живучесть народа, его силу и условила собой поступательное движение, вследствие чего во второй половине века мы видим такую разницу с первой половиной.

Новая Россия получила от древней печальное наследство — крепостное состояние крестьян, явившееся вследствие экономических условий первобытной девственной страны, бедной промышленной деятельностью, вследствие несоразмерности огромного земельного пространства с малочисленностью населения, вследствие невозможности для мелких землевладельцев обойтись без крепостных работников, а эти землевладельцы составляли войско, войско в государстве континентальном, окруженном со всех сторон врагами, в котором поэтому интерес войска был интересом господствующим.

Целью преобразования было указание и приготовление средств к улучшению экономического быта России. Но понятно, что это улучшение не могло последовать вдруг в такой степени, чтобы повести к отмене крепостного состояния. Новая Россия должна была терпеть его как необходимость, но возбужденная мысль не могла обойти это явление. Главный вопрос, занимавший русских государственных людей в начале второй четверти XVIII века, был вопрос об улучшении участи крестьян, причем, вследствие возбуждения мысли, явилось сознание о тесной органической связи между отдельными частями народонаселения: «Понеже армия так нужна, что без нее государству стоять невозможно, того ради о крестьянах попечение иметь надлежит, ибо солдат с крестьянином связан как душа с телом, и когда крестьянина не будет, тогда не будет и солдата».

Воспользовались мирным временем, чтобы сделать всевозможные облегчения крестьянам в плате податей, а главное, приняли меры для освобождения крестьянина от притеснений солдата. Так распоряжались русские государственные люди и иностранцы, усыновленные России; разумеется, иначе должны были распоряжаться иностранцы незваные и непрошеные, и главная тяжесть бироновской эпохи состояла именно в изменении прежнего льготного отношения к крестьянам, в бесчеловечном правеже недоимок, причем господствовала известная система выписываемых из-за границы управителей русскими имениями: собрать как можно более дохода, не обращая никакого внимания на плательщиков.

Вследствие продолжавшихся неблагоприятных экономических условий в России XVIII века вопрос о крепостном и вольном труде не мог быть решен в пользу последнего; Екатерина Великая принуждена была признать вопрос неразрешимым для своего времени и отказаться от любимой мысли освобождения крестьян; затруднения, которые встречаются теперь во второй половине XIX века в приложении вольного труда на место уничтоженного крепостного, всего лучше уясняют нам дело в XVIII и предшествовавших веках.

Но несмотря на невозможность решения вопроса в XVIII веке, история не останавливалась, движение шло с другой стороны, со стороны землевладельческой, потому что быт земледельца тесно связан с бытом землевладельца, с его положением материальным и нравственным. Прежде служилый человек жил на своем поместье, на участке земли, которым владел временно, — жил день за день, не имея побуждений к улучшению своего хозяйства; есть дети, много их — все будут испомещены. Перевод поместья из временного владения в вечное, смешение его с вотчиной были первым шагом к тому, чтобы землевладельцы почувствовали себя на своих ногах, почувствовали себя совершеннолетними, освобожденными из-под опеки, с обязанностью думать о себе и о своих; обязанность приобретать известное образование также сильно нарушала прежний печальный покой.

С этих пор значение землевладельческого сословия становится подле значения сословия служилых людей и, мало-помалу, пересиливает последнее: в 1736 году служба ограничена двадцатипятилетним сроком, и отец получил право оставлять одного сына дома для хозяйства, а через 25 лет приобретено было право служить и не служить. Трудно было для землевладельца приступить к улучшению своего хозяйства; трудно было для купца, для промышленника усилить свою торговлю и промыслы в том обществе, где с занятой суммы нужно было платить 12, 15 и 20%. Возбужденная мысль обратилась и на это явление. «Этого во всем свете не водится», — заговорили русские люди, заговорили они так потому, что все более и более знакомились с тем, что водится и что не водится на свете, и в 1754 году явились государственные заемные банки, ссужавшие деньги под залог за 6%. Возбужденная мысль не могла не остановиться в то же время на страшном препятствии для торговли, на внутренних таможнях, и внутренние таможни исчезли вместе с 17 мелкими сборами.

Но мы не можем ограничиться указанными сторонами исторического движения; есть еще сторона, имеющая для нас высокий интерес. Люди екатерининского времени стали неблагосклонно отзываться о времени Петра Великого, которое в их глазах являлось временем грубости, варварства, чрезмерной жесткости нравов. Переводя эти отзывы на исторический язык, мы говорим, что от времени Петра Великого до Екатерины II происходило известное движение, которое вело к смягчению нравов. И действительно, мы не можем не заметить этого движения, которое иногда обнаруживается в явлениях, незначительных для неопытного глаза, но чрезвычайно важных для историка. В одно царствование, например, учредят надзор за кулачными боями, чтоб бойцы не били противников ножами, камнями, не бросали песком в глаза; в другое царствование уничтожат варварский обычай ставить внутри столицы каменные столпы, где на кольях втыкались тела и головы казненных преступников; потом остановят смертную казнь, а там уничтожат Тайную канцелярию и прекратят преследование раскольников.

Проследив это движение, эту постоянную работу возбужденной мысли, легко можно объяснить себе появление человека, которого великую деятельность мы собрались теперь помянуть. Россия второй половины

XVII века, сознавшая невозможность оставаться в прежнем состоянии, этим самым сознанием приготовившая почву для преобразовательной деятельности, ждала, звала человека — и явился Петр.

Россия первой половины XVIII века, Россия с возбужденною переворотом мыслью, с возбужденной потребностью знания, ждала, звала человека — и явился Ломоносов. Не окажем же ему плохой услуги, не выделим его из века, из народа. Одиночество бесплодно. Великие люди потому-то и велики, что работают с целым народом, с целым веком. Народы живые и сильные благоговейно относятся к деятельности своих великих людей: но при этом да соблюдают себя от греха, да не дают человеку значения выше человеческого.

Человек, как бы он ни был велик, не сотворит ничего из ничего; человек, как бы ни были громадны его силы, не совершит великого поприща, если путь его не будет уготован историей. Из самой отдаленной местности России, из самого низшего слоя народонаселения, явился знаменитый деятель науки; трудно было его поприще, постоянная борьба была его уделом; с изумлением и гордостью как русские люди вспоминаем мы о подвигах богатого нравственными силами русского человека; но не забудем, что путь был уготован, что Россия ждала человека: для холмогорского крестьянина была открыта школа, холмогорскому крестьянину была возможность ехать учиться за границу и стать академиком.

Что сделала новая, преобразованная Россия для крестьянства? — спрашивают наши грозные литературные судии великих людей и великих дел; она сделала то, что крестьянин мог стать академиком, отвечает история.

Мм. гг.! Жизнь каждого человека и целых народов слагается из будней и праздников. Как печальна и бесплодна была бы жизнь, если бы состояла из одних будней, если бы для человека и для целых народов не было возможности отдохнуть от однообразной, будничной работы, подняться в другие, высшие сферы, освежиться в них, восстановить свои нравственные силы!

Появление великих людей, их подвиги составляют праздники для народов: тут народы поднимаются, вдохновляются, надолго запасаются средствами для исторической жизни, в деятельности великих людей сознают собственную силу и величие, ликуют, празднуют при этом усиленном биении своей жизни. Как простолюдин считает свое время, свой год праздниками, так и народы считают свое время праздниками же, то есть появлениями великих людей, составляющих эпохи своей деятельностью. Чем больше таких праздников, тем сильнее и краше народная жизнь. Воспоминание о них составляет также праздник для народов, имеет также вдохновительное свойство. Сами великие люди, разумеется, способнее других воспринимать это вдохновение. Так и тот, в чью память мы собрались теперь, постоянно вдохновлялся воспоминанием о другом близком к нему великом человеке; вследствие чего воспоминание о Ломоносове неразрывно для нас с воспоминанием

о Петре Великие люди держатся друг за друга и этим держат родную землю: крепкое державство!

Да не потеряет и для нас Ломоносовское торжество своей вдохновительной силы. Воспоминание о великом трудолюбце Русской земли да будет всегда присуще нашим трудам. Есть необдуманные фразы, которые, однако, повторяются; воспоминание о Ломоносове должно уничтожить их: кто, вспоминая о нем, решится произнести: «Немецкое трудолюбие, русская лень»? Празднование великих народных праздников, воспоминание о великих людях родной земли должны отучить нас от многих дурных привычек Народ, который не умеет чтить великих людей своего прошедшего, недостоин иметь их в будущем. Празднуя память Ломоносова, вспоминая с благодарностью и о всех его современниках, которые вынесли столько невзгод и смут, потрудились за Русскую землю и не отчаялись в ее спасении, мы заявляем, что не хотим мельчать, не хотим, чтобы наша жизнь состояла из одних будничных дней. Никто и ничто не отнимет у нас славного, праздничного будущего, если мы сами не отнимем его у себя, если, прежде всего, не позабудем своего славного праздничного прошедшего.

Праздничное прошедшее, праздничное будущее... А настоящее, наше печальное настоящее!.. Черная туча нависла над Россией; русские люди поражены, скорбят и молятся. Время ли говорить теперь о славном прошедшем, о будущем?.. Но и он, тот, в чью память мы собрались, также скорбел и сильно скорбел о невзгодах России. Это был один из тех великих людей, которые главной обязанностью величия считают — скорбеть более других народными скорбями. Поэтому-то он нам так близок, так дорог, так памятен; поэтому-то воспоминание о Ломоносове одинаково законно и в годину славы, и в годину скорби.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОМИНКИ ПО ИСТОРИКУ*

Мм. гг.!

Недавно в этих стенах мы торжествовали столетнюю годовщину отца русской науки — Ломоносова, теперь собрались торжествовать память другого знаменитого деятеля в науке и литературе русской — Карамзина. С именами Ломоносова и Карамзина мы издавна привыкли соединять представления о двух различных эпохах в истории нашей литературы; мы не изменяем этой привычке и теперь, только прибавляем, что без уяснения деятельности Ломоносова и Карамзина не полно, не ясно понимание общей русской истории их времени, точно так же как,

* Московского университета известия 1866—67 № 3 С 173—184 / Выступление состоялось 1 декабря 1866 года в актовом зале университета в день 100-летнего юбилея Карамзина

наоборот, понимание значения их деятельности не будет полно и ясно без уяснения хода общей русской истории.

Всматриваясь внимательнее в нравственный облик Ломоносова, мы найдем не одну общую черту с нравственным обликом великого Преобразователя и других сильных по своей природе людей, которые выдвинулись в ту эпоху. То было трудное для русского человека время, когда, схваченный бурей переворота, он был поднят на высоту, с которой увидел обширное, прежде неизвестное ему пространство, наполненное множеством новых для него предметов. С благородной жадностью — признаком народной силы — русский человек бросился на все эти предметы, желая все захватить себе. Учиться, учиться! Как можно скорее приобретать всякого рода знания; приобретать уменье, искусство во всем, чтобы поскорее догнать народы, далеко нас опередившие, чтобы не бояться их, удвоив свою силу искусством: вот призыв, который раздавался в эпоху преобразования и будил русских людей к деятельности; вот призыв, на который отозвался гениальный сын холмогорского рыбака, пришел в Москву, и, взрослый, сел на школьную скамью, несмотря на насмешки своих маленьких товарищей. Здесь Ломоносов был полным представителем русского народа, который воспитался вдали от общества образованных народов, в нужде, в черном теле, в борьбе со всевозможными лишениями и препятствиями, поздно должен был сесть на школьную скамью, но не отчаялся в успехе, не смутился от недоброжелательства и насмешек. И какое сходство между этим взрослым крестьянином, пришедшим с конца света, чтобы сесть на школьную скамью, и этим русским царем, который, притаившись в углу Западной Европы, учится, как строить корабли! Странны были эти русские люди эпохи преобразования, странны были для современников чужеземных и для своего потомства, когда предстают пред ним в неукрашенном виде, предстают с этой поразительной двойственностью, одинаково резко выдающимися белой и черной стороной своего характера, своей деятельности; предстают очень хорошими и вместе очень дурными людьми; но и современников поражали и потомство всего больше поражают в этих людях сила и величие.

И надобна была этим людям большая сила, когда работы было так много, когда вследствие отсутствия разделения занятий один сильный человек должен был делать много разных дел; и вот при торжестве Ломоносовского юбилея два факультета соединенными силами должны были изображать деятельность одного человека.

Наступила вторая половина XVIII века, и обнаружилась перемена, которая незаметно приготовилась в живом, постоянно развивающемся обществе. Русские люди уже успели осмотреться, разобраться в том, что дала им эпоха преобразования; расширение умственной сферы, возбуждение деятельности мысли и постоянное поддерживание этой деятельности чрез знакомство с произведениями духовной деятельности других народов принесли свои плоды. Явилась литература, в которой русский человек стал высказывать свои взгляды на явления своей и чужой жизни, стал высказывать свои потребности. Потребности уже были не те, что

в первую половину века; тогда, в первую половину века, производилась усиленная первоначальная черная работа под предводительством великого рабочего, великого плотника, у которого с рук не сходили мозоли. Нуждались в предметах первой необходимости для государственной и общественной жизни. Производились усиленные наборы русских людей во всякого рода работу; набирали солдат, матросов, рабочих для постройки городов, кораблей, для рытья каналов; набирались молодые люди в ученье, одних рассылали по внутренним только что заведенным школам, других отправляли за границу учиться и правам, и торговле, и кораблестроению, и разным ремеслам. Великие результаты были достигнуты этой тяжелой работой, этим страшным напряжением сил: среди европейской семьи народов явился новый народ, новое могущественное государство.

«Этого недостаточно!» — сказали русские люди второй половины XVIII века. Это только первоначальная работа; это остов, здание вчерне, без всякой отделки, это только внешнее, а нам нужно внутреннее; это только тело, а где же душа? Нас учат, чтобы хорошо исполнять ту или другую работу, исправлять ту или другую должность; но не учат тому, чтобы быть хорошим человеком, гражданином; нас учат, а не воспитывают. «Самое надежное средство сделать людей лучшими, это — усовершенствование воспитания», — объявила Екатерина II в своем Наказе: и это положение преимущественно развивалось в русской литературе второй половины XVIII века.

«Один только украшенный или просвещенный науками разум, — говорил Бецкий, — не делает еще доброго, прямого гражданина, но во многих случаях паче во вред бывает, если кто от самых нежных юности своей лет воспитан не в добродетелях, и твердо оные в сердце его не вкоренены». Лучшие лица комедий Фонвизина, проводники мыслей автора, повторяют основную мысль века: «Имей сердце, имей душу и будешь человек во всякое время. На все прочее мода: на умы мода, на знания мода. Прямое достоинство в человеке есть душа; без нее просвещеннейший умница жалкая тварь. Ум, коль он только что ум, самая безделица. Прямую цену уму дает благонравие. Наука в развращенном человеке есть лютое оружие делать зло».

Как обыкновенно бывает, высказавши новую потребность, новую цель, высказавши, что эта потребность не была удовлетворена, цель не была достигнута в первую половину XVIII века, некоторые естественно обратились к предшествовавшему времени с упреком, с враждой; не могли понять, что первая половина века удовлетворяла свои потребности и этим удовлетворением дала возможность второй половине века сознать новую потребность и удовлетворять ей; стали упрекать деятелей эпохи преобразования в торопливости и нетерпении: зачем захотели сделать в несколько лет то, на что потребны века? В этих упреках не замечали собственного противоречия, ибо в то же время упрекали деятелей эпохи преобразования, зачем они не поспешили удовлетворить двум потребностям заодно, зачем они повиновались закону исторической последовательности, начиная со внешнего; не замечали, что в созидании

внешнего, в приготовлении средств материального благосостояния можно торопиться, можно торопиться обучением войска, постройкой кораблей, гаваней, прорытием каналов, заведением фабрик, но смягчения нравов вдруг произвести нельзя, для этого потребно продолжительное время; не замечали естественного и необходимого преемства задач народной жизни и вступили в спор с предшествовавшим временем, упрекая его, зачем оно не сделало всего, зачем не сделало именно того, что только теперь можно и должно было делать?

Но так обыкновенно бывает при повороте народов от одного начала к другому; трудно работать двум началам: одно возлюбят, другое возненавидят. Как первая половина XVIII века враждебно относилась к допетровской Руси, так вторая половина века стала враждебно относиться к первой его половине: явление тем более понятное, что история — примирительница веков — не имела еще тогда средств к этому примирению.

История... Какой народ не хочет знать, не хочет иметь своей истории? Древняя, допетровская Россия оставила много летописей, погодных записок о важнейших событиях, оставила громадное количество правительственных и судебных актов — богатый материал для истории, но не оставила истории; были попытки извлечь из летописного материала что-нибудь для удовлетворения любознательности русского человека, слышался какой-то бессвязный, детский лепет и только. Петр, заказывавший переводить на русский язык книги по разным отраслям знаний, не забывая и книг исторических, не мог этого сделать относительно русской истории: иностранцы ею не занимались. Петр заказал написать русскую историю известному в его время русскому ученому Поликарпову. Поликарпов написал неудовлетворительно. Петр увидел, что история не корабль, на заказ не делается. Петр должен был обратиться к летописям, читал их и спрашивал у Феофана Прокоповича: «Когда увидим мы полную русскую историю?» На этот вопрос Прокопович не мог дать ответа.

В истории выражается народное самопознание, а самопознание есть венец знания: можно ли же было ожидать венца знания в то время, когда знание было еще только в зародыше? Нужно было ограничиться приготовлением материалов к написанию истории. Петр велел собрать летописи из монастырей; велел составить и сам исправлял летопись собственного царствования; один из птенцов Петра, Татищев, составил свод летописи с обширным введением и примечаниями; ученые иностранцы разрабатывали отдельные вопросы и продолжали собирать материалы. Но такая последовательная и медленная работа не удовлетворяла; имея перед глазами чужие образцы, естественно, забегали вперед, повторяли вопрос Петра Великого: «Когда увидим мы полную русскую историю?» Шувалов заказал русскую историю первому таланту времени — Ломоносову; но хотя Ломоносов и не был Поликарповым, однако и тут оказалось, что история не торжественная ода, на заказ не пишется.

Сильное движение русской мысли, ознаменовавшее вторую половину XVIII века, или, точнее, царствование Екатерины II, не могло не

повести к возбуждению народного самопознания, не могло не приготовить, так сказать, духовных средств для истории. Мы уже видели, какие вопросы были поставлены лучшими умами, какие у второй половины века начались счеты с первой его половиной — ясный признак возбужденного самопознания. На этих счетах не остановились: объявив свое несочувствие к направлению первой половины XVIII века, люди второй его половины естественно обратили внимание на древнюю, допетровскую Россию, что необходимо уничтожало прежнюю односторонность. Русские люди первой половины XVIII века говорили, что деятельностью Преобразователя они были приведены из небытия в бытие; русские люди второй половины века объявили, что это бытие их не удовлетворяет, и отсюда естественно пришли к вопросу: то, что называлось небытием, действительно ли было небытие? Не было ли это бытие, не признанное только людьми эпохи преобразования и непризнанное несправедливо? Несочувствие к эпохе преобразования естественно возбуждало сочувствие к тому времени, к которому эта эпоха была враждебна.

Тут были увлечения, ошибки и крайности; но, с другой стороны, сделан был важный шаг вперед: новая Россия уже не заслоняла древней и движение пошло усиленно. Умный, неутомимый и добросовестный Щербатов прошел по древней русской истории, прокладывая дорогу последующим писателям, останавливаясь на каждом любопытном явлении, стараясь иногда в несколько приемов уяснить его смысл. Даровитый Болтин, руководимый господствующим взглядом времени, поднял вопрос об отношении древней России к новой; мало того, поднял вопрос об отношении русской истории к истории западных европейских государств. Если в первую половину XVIII века было начато материальное приготовление к написанию русской истории, то во вторую половину века было сделано приготовление духовное, и в первой четверти XIX века явилась «История Государства Российского» Карамзина.

Как же выразилось в этом произведении русское народное самопознание? Какая основная мысль труда?

Мысль русского человека, мысль славянина, должна была остановиться прежде всего на том явлении, что из всех славянских народов народ русский один образовал государство, не только не утратившее своей самостоятельности, как другие, но громадное, могущественное, с решительным влиянием на исторические судьбы мира. Что такое племя, что такое народ без государства? Материал, нестройный, бесформенный материал (rudis indigestaque moles); только в государстве народ заявляет свое историческое существование, свою способность к исторической жизни; только в государстве становится он политическим лицом с своим определенным характером, с своим кругом деятельности, с своими правами. Первое драгоценнейшее благо государства есть независимость, самостоятельность, потом возможность заявить свое существование в более или менее широкой деятельности, участвовать в общей жизни значительнейших государств, лучших представителей человечества.

Это сознание единственного славянского государства, полноправного, пользующегося главными благами исторического существования — самостоятельностью и великим значением среди других государств, — это сознание вполне отразилось в «Истории Государства Российского», которую можно назвать величественной поэмой, воспевающей государство. Несмотря на свою неоконченность, «История Государства Российского» представляет полноту относительно выражения главной идеи: автор не оставил ничего неясным, недоговоренным. Его творение собственно начинается с того времени, когда является Русское государство независимым, великим, сильным; важного значения времени, протекшего от Ярослава I до Калиты или, точнее, до Иоанна III, он не признает: здесь Россия разделенная, слабая, порабощенная. Если автор решается описывать подробно это печальное время, то единственно из патриотического чувства: все же это Россия, все же это русские люди, которых деятельности, которых судьбе мы не можем не сочувствовать. Но вот наступает вторая половина XV века, и поэма начинается, торжественная песнь государства зазвучала: «Отселе история наша приемлет достоинство истинно-государственной, описывая уже не бессмысленные драки княжеские, но деяния царства, приобретающего независимость и величие. Разновластие исчезает вместе с нашим подданством; образуется держава сильная, как бы новая для Европы и Азии, которые, видя оную с удивлением, предлагают ей знаменитое место в их системе политической».

Главное место действия, это — священный город, чудесным образом начавший свою великую роль. «Сделалось чудо: городок, едва известный до XIV века от презрения к его маловажности, возвысил главу и спас отечество. Да будет честь и слава Москве!»

Герои поэмы — князья Московские, и первое место среди них принадлежит Иоанну III, величайшему из государей, перед которым бледнеет величавая фигура Петра, ибо Петр был только преобразователем государства, а не виновником его силы и величия, как Иоанн III: «Подтвердим ли мнение несведущих иноземцев, и скажем ли, что Петр есть творец нашего величия государственного? Забудем ли князей Московских, которые, можно сказать, из ничего воздвигли державу сильную!»

Здесь мы видим взгляд, противоположный тому, какой господствовал в первую половину XVIII века: тогда говорили, что Петр Великий призвал Россию от небытия к бытию, сделал все из ничего; теперь благодаря указанному выше движению второй половины XVIII века историк приписывает иноземцам этот чисто русский взгляд и говорит, что Петр воспользовался приготовленным, а московские князья, можно сказать, из ничего воздвигли державу сильную.

В наше время наука не может признать верным ни того, ни другого взгляда, ибо и московские князья не воздвигли державу сильную из ничего; но в наше время наука должна признать важный успех в понимании хода русской истории, когда односторонний взгляд на деятельность Преобразователя был отвергнут и обращено было внимание

на Московскую Россию. В ходе нашей исторической науки, то есть в постепенном уяснении нашего осознания русской истории, заключаются соответствующие явления, соотносящиеся с самим ходом русской истории: постепенному собиранию Русской земли в нашей истории соответствует постепенное собирание частей русской истории в сознании народном, как оно отражается в историографии; в первую половину XVIII века русский человек, еще только садившийся за азбуку и пораженный новым миром, пред ним открывшимся, преклонился пред ним, сознал себя человеком совершенно новым и провозгласил, что он приведен из небытия в бытие великим Преобразователем. Благодаря преобразованию русская мысль работала, сознание просветлело, Московская Россия была присоединена к России Петровской, и, как обыкновенно бывает при подобных поворотах, не без ущерба для последней. Это великое движение в русском сознании отразилось в «Истории Государства Российского». Каждому дню его забота, каждому веку его труд; нашему времени завещено собрать воедино все части русской истории, найти смысл и в древнейшей Киевской, и Владимирской истории и *примирить* все эпохи.

Сознание великого дела собирания Русской земли и кладки фундамента государственного здания нашло достойного выразителя в Карамзине, который воспитанием своим был приготовлен к выполнению своей задачи. В творениях знаменитых писателей отражается век, в котором они живут и действуют; но здесь нельзя ограничиваться влияниями только того времени, в которое совершен труд писателя; важное значение имеет то время, в которое воспитался писатель; часто в его творении преимущественно выражаются господствующие идеи этого времени, а не того, к которому принадлежит главным образом авторская деятельность писателя: иногда писатель в самое блестящее время своей деятельности сдерживает новые движения во имя идей, принятых им во время его воспитания.

Воспитание Карамзина завершилось в знаменитое царствование Екатерины II, когда после тревожной эпохи преобразования и переходного времени елизаветинского царствования явились плоды тяжелой черной работы русских людей в первую половину XVIII века. Благодаря искусной и твердой правительственной руке, движение вперед шло безостановочно; но шло правильно, спокойно и осторожно, при ясном сознании того, откуда надобно было идти и куда стремиться. Мы видели, какая произошла перемена в основном взгляде русских людей в царствование Екатерины, как они заявили свое недовольство одним внешним и требовали внутреннего, требовали вложения души в тело, и требование было удовлетворено.

Поверка сказанному легка: стоит только вглядеться в нравственный образ человека, память которого мы собрались сюда почтить; вглядимся в эту мягкость черт Карамзина, припомним в нем это сочувствие к чувству, к нравственному содержанию человека, припомним его выражение, что чувством можно быть умнее людей, умных умом, и признаем в нем представителя того времени, в которое твердили: «Без души

просвещеннейшая умница жалкая тварь; ум, коль он только что ум, самая безделица».

Вглядевшись в нравственный образ Карамзина, сравним его с нравственным образом Ломоносова — и две половины XVIII века предстанут пред нами олицетворенные со всем своим различием. Усмотревши в Карамзине полного представители екатерининского времени, спросим его мнения об этом времени и получим в ответ: «Время счастливейшее для гражданина российского». Счастье для гражданина российского заключалось еще в том, что дух его был поднят славой народной и завершением великого народного дела, дела собирания Русской земли: Екатерина была прямой наследницей московских собирателей Русской земли, московских Иоаннов. В конце екатерининского царствования на западе Европы произошел страшный переворот, заставивший своей темной стороной еще более ценить правильную и спокойную деятельность правления либерального и вместе твердого, каким было правление Екатерины II.

Под такими впечатлениями, вынесенными из XVIII века, Карамзин в начале XIX века приступил к своему историческому труду. Если из века Екатерины он вынес охранительные стремления, то они еще более усилились изучением истории. Когда вскрылись памятники древности, то глазам историка предстала эта медленная и великая работа веков над государственным зданием, и почувствовал он благоговейное уважение к этой работе и ее следствиям; поспешность движения явилась для него столь же беззаконной, как и отсутствие движения: «Хотеть лишнего и не хотеть нужного равно предосудительно», — говорил он.

И во имя истории заявил он протест против движений первого десятилетия XIX века, бывших в его глазах слишком быстрыми, не истекавшими из существенных потребностей страны. «К древним государственным зданиям прикасаться опасно, — говорил он. — Россия существует около 1000 лет, и не в образе дикой орды, но в виде государства великого, а нам все твердят о новых уставах, как будто мы недавно вышли из темных лесов американских». Воспитанник екатерининского века твердил людям, наклонным ко внешним преобразованиям, что «не формы, а люди важны».

Чем более историк вглядывался в постепенное образование великого государственного тела России, чем более вникал он, как присоединялась кость к кости и сустав к суставу, как все это облекалось плотию и наполнялось духом, тем яснее сознавал он величие дела собирания Русской земли, тем яснее сознавал он единство русского народа: вот почему так сильно взволновался историк и заявил горячий протест во имя русской истории и во имя Екатерины II, когда явилась мысль о возможности урезать живое тело России; подобно древним русским деятелям, не потерпел историк, чтоб «разносили розно Русскую землю», и в народном русском поминанье о Карамзине напишется то же, что писалось в летописях о людях, знаменитых обороной родной страны: «Он постоял на сто́роже Русской земли».

Другие товарищи мои укажут, как потрудился Карамзин для русского слова. Никто из его современников не сознавал яснее его высокого значения литературы в обществе; он посвятил всего себя на служение ей и не изменял ей в годину искушений. В 1798 году он писал другу своему Дмитриеву: «Я перевел несколько речей из Демосфена, которые могли бы украсить *Пантеон*; но цензоры говорят, что Демосфен был республиканец, и что таких авторов переводить не должно, и Цицерона также и Саллюстия также... Что же выйдет из моего *Пантеона*? Странное дело! У нас есть академия, университет, а литература под лавкой! Умирая авторски, восклицаю: «Да здравствует литература!»»

Вечная и славная память писателю, который, думая, что умирает авторски, восклицал: «Да здравствует литература!» В этом восклицании высказалась глубокая, непоколебимая вера в силу и живучесть народа, духу которого литература служит выражением. И народы живые, не утратившие уважения к самим себе, не забывают таких людей. Вечная, славная память Карамзину, и да здравствует Российская Литература!

ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ РУССКОГО НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ*

Мм. гг.

Наука готовит роскошный пир; иначе нельзя назвать этнографическую выставку, задуманную обществом любителей естествознания. Что же скажет нам наука этой этнографической выставкой? Что скажет нам о России, о нас самих, чему научит? Что скажет нам этот пестрый сонм разнообразных человеческих фигур? Я счел своею обязанностью принять посильное участие при разрешении этих вопросов.

Прежде всего остановит нас на выставке пестрая кайма из разнообразных народов на востоке, северо- и юго-востоке. Теперь эта кайма узка; но в старину предки некоторых из этих народов были хозяева на великой восточной европейской равнине, которую мы теперь называем Россией. На два главных отдела можно разделить эти последние народы; одни с незапамятных пор жили на великой равнине, в северной и средней ее части — жили редко, разбросавшись на огромных пространствах, притаившись в лесных чащах среди озер и болот. Жили они когда-то здесь — вот все, что может сказать об них история; незаметно, неслышно они жили; незаметно, неслышно они исчезли из срединных частей великой равнины, оставив по ее окраинам свои образчики. Мордвин, чуваш, черемисин, зырянин, лопарь — вот эти образчики. От их настоя-

* Сборник антропологических и этнографических статей о России и странах ей принадлежащих М., 1868. Кн. 1. С. 111—117.

щего, легко заключить к прошедшему — легко понять, почему не они унаследовали нашу землю. Они жили здесь, где живем теперь мы; от них остались названия, слова; но дела их не остались.

От народов другого отдела остались дела, записанные в истории; не тихо, не без движения, не притаившись в каких-нибудь захолустьях, прожили они свою жизнь. Напротив, они двигались с неимоверной быстротой; и весть об их движениях обхватывала ужасом народы; где пройдут — там кровь и развалины; слыли они бичами Божиими, порождениями злых духов; дело их — дело разрушения, создать они ничего не могут; опустошивши все в известной местности, они стремятся далее, как саранча. Такие-то народы долго хозяйничали в нашей стране, в южной, степной половине, налагая тяжелую руку и на северную лесную часть.

Но они не возделали земли и потому не унаследовали ее. К наследству был призван другой народ, способный воздать плоды свои во времена свои. Грозные орды, бичи Божии, должны были бежать пред ним в дальние степи. В пестрой кайме выставки мы найдем представителей потомства их. Невольная улыбка является на устах при виде этого потомства и при сравнении его значения с значением предков, страшных бичей Божиих для Европы; но при этом сравнении всего яснее обнаруживается значение того народа, который трудом, подвигами унаследовал себе великую восточную равнину, отнял ее у Азии и возвратил Европе.

Все исторические народы, эти добрые рабы, приобретающие пятью талантами десять, трудом и подвигом возделывают данную им землю, возделывают в обширном смысле слова, подчиняют материальную природу влиянию своих духовных сил, своего разума, изменяют природные условия, улучшают землю, дают ей новый вид — продолжают, таким образом, дело творения.

Об одном из западноевропейских народов говорят, что он завоевал свою землю у моря — обратимся к Восточной Европе, к нашей великой равнине, и найдем, что наш народ завоевал свою землю у моря, более опасного, более бурного и разрушительного; у песчаного моря — у степи, которая беспрестанно высылала своих жителей, кочевых хищников, разрушавших все, созданное трудом оседлого европейского народа. В то время, как германские народы, поселившиеся в областях Римской империи, получили богатое наследство в цивилизации древнего мира и, благодаря этому наследству, получили на свою долю труд легкий — наш народ получил страну громадную и девственную, по которой не прошла история, которую нужно было завоевать у диких сил природы и у диких народов.

Вначале главная историческая сцена русского народа утвердилась на Днепровской степной Украйне, в Киеве и около него, в стране лучшей по природным условиям, на равнине вблизи европейских христианских собратий; на великом водном пути из Северной Европы в Южную, недалеко от Византии — одним словом, в обстоятельствах, очень благоприятных для труда, для промыслов, которыми русский народ должен

был возделывать данную ему землю. Но вот летопись сообщает нам известия, которые всего лучше дадут нам понятие о состоянии труда и промыслов в древней Киевской Руси. Наступает весна, и князья с своими дружинами должны собираться в поход на степных хищников — зачем? Затем, что без этого, если земледелец выйдет в поле на работу, то степной хищник подкрадется и убьет земледельца, захватит его семейство и пожитки. Один поход в степь кончен; но дружина княжеская опять седлает коней, опять идет в степь, по берегам Днепра; ей нужно спешить на встречу к купцам, идущим из Греции, иначе степные хищники разгромят их. Искусственные плотины против песчаного моря, городки, которые строились на границах с степью, мало помогали: хищники прорывались всюду и опустошали землю — «разносили розно Русскую землю», по тогдашнему выражению; в городах, как жаловались князья, жили псари да половцы.

При таком положении дел люди, склонные к мирному труду, не могли оставаться в стране, и вот, с запустением и ослаблением Юго-Западной Руси, людней и усиливается Северо-Восточная — знак, что народонаселение отхлынуло от опасного соседства с степью в более суровую и бедную, но более безопасную северо-восточную лесную часть великой равнины. Здесь ждал русского человека громадный труд расчистки и возделания нетронутой земли, покрытой лесами и болотами; но он не побоялся труда и покорил себе им суровую, упрямую северную природу.

Между русскими людьми, занявшими северную лесную страну, и между русскими людьми, оставшимися на юге, на степной Украйне, скоро обозначилось различие и вместе явилось между ними разделение занятий. С юга на север, из степной в лесную сторону шел тот русский человек, который чувствовал стремление к мирному труду; на юге оставался тот русский человек, которому нравились опасности украинской жизни, эта беспрерывная борьба с кочевниками, гулянье по широкому раздолью степи. Кроме таких людей, остававшихся на Украйне, сюда, с течением времени, начали стремиться с севера люди, которые по природе своей не чувствовали склонности к мирному труду, которым хотелось размять свое плечо богатырское, погулять по широкой степи, переведаться с ее жителями.

Отсюда в древней России разделение ее народонаселения на северное, преданное мирным занятиям, на земских людей, и южное, украинское и степное — козаков. Земский человек работает, он возделывает землю, упрочивает ее цивилизацию, вольный козак гуляет, полякует (от поле — степь), но вместе и сторожит степного хищника, дерется с ним и пролагает земскому человеку пути на юго-восток и северо-восток; где кочевал степной хищник или где впусте лежала благодатная земля, там гуляет вольный козак, а за ним является и земский человек с топором, серпом и косою, с своим возделывающим землю трудом.

Таким образом, при этом разделении занятий между земскими людьми и козаками европейская почва очищалась все более и более от заселявших ее азиатских кочевников Козаки по обычаю и отыскивая, по

их выражению, новые землицы, прошли всю Северную Азию вплоть до Восточного океана, за ними явились и земские люди полагать начало возделыванию неизмеримой и пустынной страны. С окончанием этой деятельности обе части русского народонаселения должны были изменить свои отношения. Легко понять, что господствующая роль должна была принадлежать земским людям, ибо их был труд возделывания земли; они этим трудом унаследовали ее себе, они завоевали ее у диких народов и у дикой природы для европейско-христианской цивилизации, они образовали крепкое государство.

Вольные козаки, гуляющие по широкой степи, могли быть терпимы в этой форме, пока широкая степь не понадобилась земскому человеку для возделывания. Козаки также должны были принять участие в этом возделывании с одной стороны, а с другой, сохраняя свое историческое значение, составить верное государству войско. Дело не могло совершиться вдруг и без сильной борьбы. Люди, которым не нравился тяжелый труд земского человека, которые бежали на степной простор для вольного гулянья, для житья на чужой счет, эта голытьба, тянувшаяся постоянно в степь без всего, плохо одетая и бесконная, чтобы приобрести и платье, и коня в борьбе с чужими, а, за недостатком чужих, и с своими, — эта голытьба не откажется без борьбы от своей воли и от своей степи, от своего широкого гулянья.

Она жестоко дала почувствовать земским людям свою силу в начале XVII века, когда Земля замутилась и расшатались основы государства; но земские люди, отуманенные сначала Смутой, скоро оправились, очистили землю и восстановили государство; козаки должны были бежать назад в степь. Во второй половине XVII века под предводительством Разина они опять схватились с государством; но государство, несмотря на истощение сил от тяжелой внешней войны, оказалось сильнее козаков. В начале XVIII века казаки под Булавиным снова поднимают восстание на Дону и снова принуждены смириться пред государством. Это было последнее восстание казаков на Дону. Во второй половине XVIII века последний казацкий бунт — пугачевский; затеян он донским казаком, но не на Дону, а на самой дальней реке на востоке, на Яике. Таким образом, мы видим, как эта степная борьба на великой равнине, сначала с кочевыми ордами, потом с казацкой голытьбою, отодвигается постепенно с запада на восток и вместе с этим Европа распространяется на счет Азии. В ту же вторую половину XVIII века, когда был последний казацкий бунт, пугачевский, перестала существовать на Днепре Запорожская Сечь, вследствие столкновения козаков с земскими людьми. Земские люди, возделыватели земли, с разных сторон проникали в степь, занимая ее для Европы, для цивилизации; запорожцы протестовали против этого, требовали, чтобы степь оставалась степью, прежним широким раздольем для них.

Это требование, напоминавшее XII и XIV века, звучало слишком странно во второй половине XVIII: Сечь была уничтожена на Днепре, но она возродилась в новом виде, согласно с новыми потребностями на востоке, в Черноморье казак был разведен с земским человеком. В то же

время прекратила свое независимое существование последняя хищная орда — орда Крымская, и южная часть великой равнины была окончательно обеспечена для земского человека, для его труда, для цивилизации Припомним сказанное нами о состоянии Приднепровской Руси, степной Украйны в XII и XIII веке; припомним, как русский человек, не находя здесь обеспечения труду, уступал место кочевому хищнику и удалялся на дальний север, в лесную сторону; здесь стал твердою ногою, положил прочные основания государству и отсюда сильный двинулся во все стороны, сметая перед собой кочевых хищников, очищая европейскую почву от всего, что засоряло ее, мешало ее возделыванию; следствием этого движения было то, что в XVIII веке русский человек опять явился на юге, но уже полным хозяином, не боясь степного хищника; земледелец мог пахать спокойно и купец безопасно везти свои товары.

Таковы были результаты движения русского народонаселения на великой восточной равнине, того народонаселения, которое унаследовало землю, возделав ее для цивилизации, полив потом своим и кровью. Как после долгого ненастья небо, наконец, проясняется, только на краю горизонта виднеется тонкая гряда истощенных облаков, которые уже не дадут более дождя, так после долгой непогоды, долгой и трудной борьбы, небо прояснилось над великой восточной равниной Европы — и она представила нам многочисленное сплошное русское народонаселение; только на краях виднеются разнообразные остатки иноплеменных народов, когда-то причинявших ненастье нашей страны и стран соседних, но теперь безопасных, слабых в своем размельчении, слабых в своем красивом на этнографической выставке разнообразии.

Но кроме этих народов, в которых все обличает чужое нам племя, чужой быт, чужие нравы, что это за народы стоят по другую сторону наших русских людей, наших великороссиян, малороссиян и белорусов? Какие это народы: зачем они тут выставлены? Нашей ли земли они люди? Это нашей крови люди, наши братья — славяне. Русская наука не могла устроить праздник и не позвать родных, тем более что устройство русской этнографической выставки вместе с славянской есть уже само по себе великое торжество науки. Издавна существовали эти народы в Европе Различна была судьба их, но в одном была она схожа — в том, что была очень печальна; причина — отсутствие сознания о своем единстве, о своих силах, о своих средствах к исторической жизни. По отсутствию этого сознания некоторые из славянских племен на первых же порах отреклись от самих себя, приняли чужую народность; другие, сохранив в массе свою народность, подпали чужому владычеству, занеслись в чуждую сферу деятельности, служили чуждым целям и интересам.

Но для славян настало, наконец, время пробуждения; в них начало обнаруживаться сознание о себе, как о великом целом, имеющем свои средства к исторической жизни. Не нужно много распространяться о том, какое значение в пробуждении и поддержке этого сознания имела Россия, эта единственная, независимая и сильная держава, единственная и полноправная представительница великого племени. Не для одного

себя, следовательно, трудился русский народ, борясь с страшными препятствиями, при возделывании своей громадной страны для цивилизации, завоевывая свою независимость политическую и нравственную, защищая ее и от Востока и от Запада, от бесерменства и латинства, по старому выражению С движением русского народонаселения соединялась будущность всего славянского племени, ибо племя для достойного исторического существования среди других племен должно достойно представиться, и славянское племя нашло это достойное представительство в русском народе. В этом народе славянское племя сознало свои силы, свои средства, свое величие.

Но для полного просветления сознания народов о самих себе, о своих средствах для исторического существования, необходима наука. И наука явилась на помощь славянскому племени: она взрыла его прошедшее, чтоб просветлить сознание о настоящем и возбудить надежды на будущее В свою очередь, счастливое будущее для нас, русских, немыслимо без научного преуспеяния. Недаром искание науки имеет такое важное значение в нашей истории, в историческом движении русского народонаселения Наука дорога для нас, потому что мы ее добыли кровью, должны были ее завоевать; полтора века завистливые соседи не давали нам науки, отталкивали нас от средств получить ее. Но народ, развивший свои силы в борьбе с препятствиями, не отчаивался и наконец достиг своей цели — добыл науку. Тяжелым, черным трудом и кровью он завоевал свою страну у дикой природы и у диких народов, но только посредством науки мог возделать ее в достойное жилище великого исторического народа, который должен выразить свой дух в этом возделании

Нет страны, которая бы более нуждалась в помощи науки, чем наша страна С пробуждением своего сознания русский человек, обозревая на карте обширность своей страны, поражался этой обширностью и гордился ею Наша Россия — величайшее государство в мире! Но историческая наука, в своем постоянном движении вперед, охладила его восторг, она сказала ему, что дело не в количестве, а в качестве, не в обширности страны, а в ее выгодных условиях, благотворно действующих на развитие сил народных, отсюда маленькая область Греции имеет в истории значение поважнее, чем громадные Вологодская или Архангельская губернии. История указала, что обширность русской государственной области была постоянным и могущественным препятствием для государственного и народного благосостояния, что разбросанность редкого народонаселения по громадной стране отнимала у него силу, суживала горизонт, не внушала привычки к общему действию, усиливала особность жизни и мелкость интересов, препятствовала необходимой быстроте государственных отправлений Не входя в подробности, стоит указать только на то, что разбросанность редкого народонаселения по необъятной стране, редкость рабочего человека, переманка его от одного землевладельца к другому делали невозможным вольнонаемный труд и повели к крепостному Наконец, обширность страны, составляющей особый мир, дала такую многовековую, трудную работу русскому человеку, что он

только очень поздно, по окончании своей черной работы, получил досуг и возможность сблизиться с народами цивилизованными.

Итак, нечего, по-видимому, гордиться обширностью нашей страны; напротив, много причин тяготиться этой обширностью как причиной многих и многих затруднений. Но наука не любит поспешных односторонних выводов: наука не позволит безусловно восхищаться обширностью нашей страны; но она же не позволит и приходить в отчаяние от этой обширности; наука укажет нам еще другую сторону дела.

Между страной и человеком, который в ней живет, существуют двоякого рода отношения. Влияние природных условий страны на характер, обычаи и деятельность народа, в ней живущего, бесспорно, и особенно это влияние бывает сильно на первых порах истории народа, когда он еще слаб пред природой. Но человек немедленно же начинает с ней борьбу, которая идет более или менее для него удачно, смотря по тому, к какому племени, более или менее одаренному, принадлежит он. Если борьба идет успешно для человека, то уже он начинает, в свою очередь, подчинять природу своему влиянию, влиянию своей разумной силы, своей деятельности. Страна, вследствие этого, начинает изменять свой вид, свои природные условия; особенно такое изменение оказывается ощутительным, когда среди народа начинает процветать наука.

Тут-то особенно начинается настоящее, многостороннее возделывание страны, ее изменение, ее подчинение разумной силе человека; тут-то начинается творчество его как царя природы. Непроходимые болота превращаются в тучные пастбища, дремучие леса просекаются, теряют свое исключительное господство; где не было лесов, там они являются искусственно насажденные; вредные растения и животные исчезают, полезные акклиматизируются; с возделыванием почвы, с уменьшением болот и лесов смягчается климат; наконец, пространства исчезают вследствие быстроты сообщений, созданной наукой. Высокие горы не составляют более препятствий для сообщения, не особят народонаселения; горы прорыты тоннелями, чрез которые мчатся вагоны железной дороги. По прошествии известного времени страну узнать нельзя, так изменил ее человек.

Но, вследствие возможности таких изменений, иначе ставится вопрос относительно страны. Обширность страны, безусловно взятая, есть условие всегда выгодное; вредна она может быть при известных обстоятельствах: когда страна девственная, не тронутая цивилизацией, когда количество народонаселения слишком мало в сравнении с обширностью страны и когда это население по степени своего развития более подчиняется природным условиям, чем подчиняет их себе. Но когда дело пойдет наоборот, когда, с течением времени обширная страна представила значительное и сплошное единоплеменное народонаселение, а главное, когда это народонаселение получило могущество в науке, когда, посредством этого могущества, оно изменяет природные условия, уменьшает, уничтожает их неблагоприятность, уничтожает пространство: тогда, разумеется, обширность страны явится своею выгодной стороной.

Один даровитый, хотя и увлекающийся иногда своим поэтическим чувством, поэтическим талантом писатель Германии, Риль, выразился, что у западных европейцев нет будущности, потмоу что у них нет леса; что будущность имеют русские и североамериканцы, потому что у них есть лес. Оставив в стороне оригинальность — мысль в известной степени верная. Риля беспокоит в Западной Европе отсутствие леса, как признака простора: человек захватил уже все у природы, нечего больше взять; с увеличением народонаселения излишек его уже должен покидать страну и переселяться в дальние, совершенно иные, совершенно чужие страны. У нас, русских, благодаря обширности нашей страны, много простора; нам не нужно искать чужих стран, новых селищ за океаном; наши владения не за далекими морями, не населены сотнями миллионов порабощенных до поры до времени иноплеменников; от Белого моря до Черного и от Балтийского вплоть до Восточного океана — это все одна нераздельная сплошная Россия. Кто ее поделит? Кто осмелится прикоснуться к ее нешвейной порфире, сотканной природой и историей?

Но чтобы пользоваться этими выгодами, надобно сознавать их, а это возможно только посредством науки. Наша будущность не в лесе только, не в просторе нашей неизмеримой страны: наша будущность, будущность этой неизмеримой страны, этой шестой части света — в науке. Наука уничтожит или, по крайней мере, уменьшит неблагоприятные условия страны; наука укажет выгодные условия, вскроет естественные богатства и даст средства пользоваться ими; наука уменьшит пространство, сблизит, сдружит русских людей, усилит их деятельность; наука вскроет прошедшее и уяснит настоящее; наука скажет нам, кто мы, откуда идем, а следовательно, куда должны идти? Наука укажет нам, кто подле нас, с кем мы должны иметь дело? Где свои и где чужие, где друзья и где враги? Недаром наука дорого куплена нашими предками; почтим же их труд, их кровь, сохраним священное наследство и будем достойны родительского благословения — благословения трудом и наукой.

РЕЧЬ ПРИ ОТКРЫТИИ ВЫСШИХ ЖЕНСКИХ КУРСОВ 1 НОЯБРЯ 1872 г.*

Мм. гг-ни!

Вы отозвались на приглашение слушать высшие курсы, и пред началом их я считаю своею обязанностью отстранить недоумения насчет того, что мы хотим вам предложить. Мы предлагаем высшие курсы не

* Положение о Высших курсах в Москве и речи, произнесенные при открытии курсов 1 ноября 1872 г М., 1872. С. 10—17

факультетские, но курсы предметов общего образования. Почему же мы вам предлагаем такие курсы, их считаем необходимыми для вас? Да потому, что мы считаем себя обязанными, по мере сил наших, содействовать избавлению русской женщины от тех неудобств, которые терпит множество русских мужчин, принадлежащих к так называемому образованному классу, — от неудобств, проистекающих вследствие недостатка общего высшего образования.

Непременный и почетный член общества, мать и воспитательница граждан, женщина не должна быть глуха и нема в обществе, равнодушна и чужда относительно вопросов, его занимающих; но эта глухота и немота представляют из двух зол еще меньшее; более печальное явление представляет поползновение принимать участие в вопросах без средств к их решению, без приготовления к ним, увлечение первой громкой фразой, повторение чужих слов без возможности поверить их правду. Женщина по своему положению в обществе должна удовлетворить главному и самому законному требованию общества: это требование состоит в том, чтоб она обладала самоуважением.

Женщина, уважающая самое себя, спокойно встречается с каждым явлением, старается его изучить, проникнуть в его сущность; новое слово не увлечет ее, не отуманит ее сознания — без страсти, без гнева и преждевременного сочувствия выслушает она его и займется поверкой; ей укажут на авторитет: она обратится к другим авторитетам, выслушает другие мнения. Женщина, уважающая самое себя, ужасается мысли отдать свои духовные, нравственные силы в легкую добычу первому встречному явлению; она ревниво охраняет свою свободу, и какое неисчетное добро принесет обществу это охранение, это величавое спокойствие, уничтожающее в самом начале посягновение на чужое убеждение, пагубную возможность нравственного порабощения.

Общество слабое, незрелое, переживающее известные болезненные процессы своего развития, обыкновенно порождает толпу людей, питающихся его болезнями; людей, которые пользуются его слабостью для целей порабощения; такие люди обыкновенно обращаются к женщине, в надежде на ее слабость, неприготовленность. Отсюда понятно, как важно для общества, чтоб этой слабости и неприготовленности в женщине не было, чтоб люди, выходящие на ловлю чужих убеждений в очень легком вооружении, с надеждой, что не встретят отпора, обманывались в этой надежде; встречали бы в существе, предполагавшемся слабым, твердость убеждений, широкий многосторонний взгляд, способность к поверке чуждого мнения.

Общество тогда только вырастет, окрепнет, получит возможность правильного развития, когда большинство приобретет средство сдерживать людей, старающихся накрикивать известные мнения презираемой ими толпе, переполошить, смутить общественный смысл, общественную совесть; но эти люди, подобно степным наездникам, способны только испугать своим криком и произвести опустошение среди неприготовленной, застигнутой врасплох толпы: они быстро исчезают при первом стойком отпоре, при первом разумным образом поставленном вопросе.

Общество в приготовлении средств к защите от подобных наездов нуждается в помощи женщины, должно укрепить эту половину своих членов, которая обыкновенно считается слабой. Общество крепнет, развивается правильно, когда молодые поколения воспитываются под впечатлением спокойного величия, которое господствует в образе матери и первой наставницы и которое бывает следствием твердых убеждений и ясного, созданного многосторонней наукой взгляда.

Горе обществу, где вместо этого образа спокойного величия молодые поколения встречают образ женщины, мятущейся во все стороны, с отуманенным сознанием, ошеломленной накрикиванием разноречивых мнений, не имеющей средств разобраться в этих мнениях, оценить их по достоинству, нравственной рабы каждого, кто только захочет овладеть легкой добычей; горе обществу, в котором женщина находится в таком унизительном положении!

Какие же средства не допустить женщину до такого положения? Не отвергая нисколько других средств, мы, люди науки, признаем и за нею такое средство и средство сильное. Но чтобы наше средство было действительно сильно, мы обязаны, по нашему убеждению, предложить курс высшего общего образования, ибо его отсутствие, как уже было сказано, ведет к печальным явлениям.

Известно, что сущность цивилизации состоит в разделении занятий; дикарь делает сам все для него нужное, человек цивилизованный делает что-нибудь одно и потому может совершенствовать свой труд, и так как относительно всех остальных необходимых вещей он находится в зависимости от своих собратий, то здесь образуется тесная общественная связь, источник общественного развития. Но в делах человеческих, где свет — там и тень, и при блестящих успехах цивилизации, условленных разделением занятий, люди проницательные уже давно стали указывать на печальные следствия этого доводимого до крайности разделения занятий, указывали, как человек, занятый постоянно одним и тем же делом, тупеет, превращается в машину, тогда как духовные силы развиваются под условием простора, расширения горизонта, многообразия предметов, доступных познаванию и деятельности.

Одинаково печальны бывают следствия, когда человек разбрасывается по множеству предметов и подавляется этим множеством и когда при исключительном занятии одним каким-нибудь делом дает иссякать своим духовным силам, не восстановляя их необходимой переменой занятия. Сказанное вообще прилагается и к разделению научных занятий: обыкновенно по окончании курсов общего образования в приготовительных школах стремятся в высшие специальные учреждения, чтобы посвятить себя изучению известного круга предметов; но это слишком поспешное ограничение себя известной специальностью приносит очень часто горькие плоды; самое глубокое изучение своей специальности и известные успехи в ней не спасут человека от односторонности, остановки в развитии, отупения, и специалист в науке нисходит на степень специалиста в ремесле.

Он поражает незнанием самых обыкновенных предметов, задает детские вопросы, сидит глух и нем при решении вопросов общественного интереса, или, что еще хуже, муж, поседевший в трудах, принимает первое накрикнутое ему мнение и повторяет его; часто старик идет в ученики к ребенку, от него старается узнать, какое последнее, новенькое мнение существует относительно того или другого предмета, и легко понять, какие удивительные вещи получает в ответ; он или повторяет бессмыслицу, или с ужасом начинает жаловаться на науку, до чего она дошла в последнее время, чему это учат молодых людей. Иной старается усвоить себе новенькое, самое цветное мнение, точно так как человек, приехавший из глуши в столицу, увидит человека пестро одетого и считает его за первого столичного франта, законодателя моды, облачится в пестроту и думает, что оделся по последней моде, с отличным вкусом.

Таким образом, общего образования, доставляемого приготовительными школами, оказывается недостаточным, ибо они имеют главной задачей развитие умственных способностей для приготовления к дальнейшему занятию науками в специальных учреждениях; обращается особенное внимание на предметы, наиболее содействующие достижению этой цели; для занятия предметами высшего общего образования у них нет времени, да и возраст учащихся тому препятствует; а именно тогда, когда молодой человек вырос, окреп, развил свои способности посредством предметов приготовительной школы, когда получил возможность с успехом заняться предметами высшего общего образования, столь необходимыми для правильности его гражданской мысли и деятельности, именно тогда он углубляется в какую-нибудь специальность и без высшего общего образования подвергается опасности снизойти на степень ремесленника.

Разумеется, есть натуры избранные, которые не могут чувствовать себя очень удобно в тесном помещении своей специальности и потому стараются приобрести сведения своими средствами, с большим трудом и препятствиями, в предметах общего высшего образования, отчего они становятся, с одной стороны, полноправными членами общества, с голосом, а с другой — приобретают могущественные средства для успехов в своей специальности. Но такие явления составляют, к несчастью, исключения; а мы должны иметь дело с большинством, да и для всех вообще важно иметь средство с наименьшими усилиями и препятствиями приобретать сведения в предметах высшего общего образования, при указании и руководстве людей более опытных.

Таким образом, необходимость правильно организованных курсов общего высшего образования есть потребность нудящая. И между женщинами замечается стремление заниматься специальными, факультетскими предметами, и они переходят к этим занятиям из приготовительных школ, без общего высшего образования; но мы уже указали неудобства такого перехода, и, сознавая эти неудобства, мы сочли своею обязанностью предложить для женщин курсы общего высшего образования; значение женщин не увеличится оттого, что они из своих рядов выставят несколько тружениц, которые посредством микроскопа увели-

чат число наблюдений над некоторыми особенностями известных животных или растений, значение женщины увеличится, когда она спасет себя от односторонности, от ремесленничества в своих занятиях, когда она сделает себя полноправным членом общества, с голосом, с возможностью участвовать в жизни, в правильном развитии общества; мужчины все имеют возможность заниматься всевозможными специальностями; но все ли они полноправные члены общества в указанном смысле, все ли имеют способность подавать свой голос?

Из сказанного, надеюсь, уяснится программа наших курсов. Некоторых предметов недостает еще в ней, ибо мы не считали полезным, чтобы место непременно было кем бы то ни было занято для видимой полноты; программа будет увеличиваться по мере возможности. Сознавая важность, необходимость дела, мы сочли своей обязанностью положить ему начало; мы не сочли себя вправе отчаиваться в сочувствии, в нравственных средствах нашего общества содействовать доброму делу. Ваше собрание здесь, мм. гг.-ни, в числе большем, чем мы ожидали, служит добрым знаком. Итак, с Богом, за дело!

РЕЦЕНЗИЯ НА кн.: М. П. ПОГОДИН «ИССЛЕДОВАНИЯ, ЗАМЕЧАНИЯ И ЛЕКЦИИ О РУССКОЙ ИСТОРИИ». ТОМ IV. ПЕРИОД УДЕЛЬНЫЙ. МОСКВА. 1850*

Прежде нежели приступим к разбору нового тома исследований г. Погодина, послушаем, что сам автор говорит о своем труде, как определяет его значение:

«Период удельный занимает время от кончины последнего единовластителя земли Русской, Ярослава (+1054), до вступления на престол Ивана III Васильевича, получившего вновь под свою державу все почти северные уделы (1462), и, следовательно, продолжается с лишком четыреста лет.

Политический характер всего этого периода есть деление, раздробление, с происходившими оттого междоусобиями, которое, разумеется, по времени принимало разные фазы; нарастало, ущерблялось и, наконец, прекратилось, подвергаясь между тем и влиянию различных обстоятельств. Монголы разделяют удельный период на две почти равные половины, много между собою несходные· первая от 1054 до 1237; вторая от 1237 до 1462 года

* Отечественные записки 1851 Т 75 № 3 С 1—32

Мы займемся теперь периодом удельным, по преимуществу от кончины Ярослава до монголов, 1054—1240.

В предисловии к первым трем томам «Исследований», вышедшим в начале 1846 года, о норманнском периоде я обещал издать следующие два, об удельном — через год. Мне казалось, что я успею напечатать их в это время, потому что мне нужно было только перевести свои ссылки и указания для облегчения читателей на новые издания Археографической комиссии, заменить места из «Истории Государства Российского» подлинными словами летописей, пересмотреть и исправить окончательно сочинение — но по мере того, как занимался я этой легкой работой, представлялись новые вопросы и задачи, встречались замечательные места в обнародованных источниках, коих прежде было не видать в повествовании Карамзина и кои надо было употребить в дело, оказывались недоумения, а время между тем текло; одна хронология, которая до полемики, возбужденной г. Хавским, не входила в круг моих исследований, отняла у меня с лишком шесть месяцев. Два предположенных тома разрослись в четыре, и вместо одного предположенного года потребовалось почти пять...

Методе я следую постоянно одной — собирать прежде всего свидетельства о каждом предмете исследования, сличать их между собой, объяснять и потом уже выводить, сколько можно математически, заключение об его сущности и значении. Чем далее я иду по своему пути, чем имею чаще случаи рассматривать плоды, собираемые на других путях, тем более удостоверяюсь, что этот путь есть единственный, ведущий прямо к цели, а прочие увлекают в сторону, назад или по крайней мере замедляют успех.

Период удельный считался у нас лабиринтом без путеводной нити, совершенным хаосом, в коей зги Божией было не видно. Отчего это происходило? От смешения предметов. Тысячи лиц, мест, ссор, примирений, битв, походов, осад, переговоров соединяются под каждым годом; нынешние друзья являются завтра врагами; одни князья вдруг исчезают, другие являются и опять уступают место первым, которые упадают вдруг как будто с облаков; драки возобновляются беспрестанно Бог знает за что; города переходят из рук в руки; свяжите все эти нити в ежегодные узлы и из таких узлов сотките одну ткань — будет ли какая возможность понять в ней что-нибудь? Половцы беспрестанно увеличивают всеобщее замешательство. Прибавьте неизвестность обычаев и отсутствие прав, скудость известий и разные противоречия хронологические. Историки наши шли вслед за летописателями. Карамзин разобрал эту ткань, так сказать, по полотнищам — по княжениям, но эти купы, явственные под его пером порознь, представляют новое затруднение в своей совокупности, беспрерывно сменяясь; они забываются и представляют множество затруднений для обозрения. У Арцыбашева, имеющего свои достоинства, каждый год со всеми разнородными действиями представлен поодиночке. Частных исследователей этого рода не было.

Я сделал опыт разделить ткань на составные узлы и развязать каждый узел на его нити, протянуть каждую нить порознь — летописи, года, князей, города, отношения, войны и проч. Говорить ли мне, чего это стоило? Мои рецензенты видят только выписки из летописей; но много надо было подумать и потрудиться, прежде нежели приготовились рамки для этих выписок; нелегко было и собирать их сполна, и для каждого значительного слова из тех, на которые разделены были мною летописи, перечитывать все сызнова... Одна глава о древней географии, самая легкая, простая и определенная, подверглась семи разным редакциям и переписывалась семь раз, прежде нежели получила настоящий свой вид. А сколько раз переработались другие, например о междоусобных войнах!

Ласкаю себя надеждой, что теперь поле удельного периода довольно расчищено. Смею думать, что молодые друзья истории, изучив мои тома, познакомятся отчетливо с этой частью русской истории и получат возможность делать какие угодно соображения, идти дальше, а исследователи с высшими взглядами найдут нужные запасы для систем и теорий.

Некоторые из предлагаемых исследований я печатал предварительно в журналах и разных повременных изданиях, чтоб не задерживать результатов при настоящем стремлении к историческим занятиям и вместе чтоб облегчить себе их обозрение в печати; я успел таким образом исправить несколько ошибок, заместить некоторые пропуски, уменьшить повторения, часто, впрочем, неизбежные в таких сложных исследованиях.

Но больше осталось, без сомнения, всяких подобных недостатков. Указать их мне для исправления — вот обязанность моих рецензентов: пусть они, вместо общих мест о множестве выписок и об отсутствии мыслей (за коими здесь не гонялся и коих даже не искал), проверят мои исследования из страницы в страницу по летописям и покажут, что пропущено мною нужное, что не принято к соображению противоречащее, что приведено лишнее, что помещено не на своем месте; где должно сократить, где распространиться, как разместить иначе. Приглашаю к этой поверке и молодых друзей истории, университетских студентов, которые с большей пользой для себя могут приняться за этот труд, не превышающий их сил — смею думать, что и сама наука выиграет; а я буду всем им очень благодарен. Найти истину, какую бы то ни было, приятно, но увидеть свою ошибку и получить возможность исправить ее — едва ли не есть приятнее для ученого, который любит искренно свою науку, особенно такую, как отечественная история, и желает ей успеха больше всего».

Не будем останавливаться на этом замечательном предисловии и поспешим приступить к поверке исследований, чего так сильно желает сам автор.

Статьи, напечатанные в новом, четвертом томе, за исключением двух-трех, были уже прежде помещены в разных повременных изданиях.

Первая глава тома содержит в себе исследования об источниках для удельного периода русской истории, именно о летописях. В первом отделе этого исследования встречаем следующее любопытное заключение о летописях: «Есть ли в них (в летописях) промежутки между годами?» — спрашивает г. Погодин и отвечает: «Нет», после чего продолжает: «Из этого явления мы должны заметить, что летописное дело не подвергалось случайностям; следовательно, было возлагаемо всегда на известное лицо и по смерти его передавалось другому. Возлагать и передавать было некому, кроме князя. В монастырях не могли делаться известными происшествия так скоро. Следовательно, летописи наши имели характер *официальный*».

Подтверждение этому выводу г. Погодин находит в словах летописца XV века, который говорит, что первые наши князья повелевали вносить в летопись *вся добрая и не добрая прилучившаяся,* что так писал не украшая Сильвестр Выдубецкий при Мономахе и что так пишет и он, летописец XV века, «властодержец наших дозрящих сих и прилежно внимающих». Г. Погодин приводит и свидетельство — грамоту князя Мстислава Волынского (XIII века), в которой этот князь говорит, что он вписал в летописец крамолу жителей Бреста; приводит свидетельство летописи под 1200 годом, где летописец, описав построение каменной стены под Выдубецкой церковью, обращается к самому строителю, великому князю Рюрику Ростиславичу: «О Христе державно милосердуя, о всех, по обычаю ти благому, и нашей грубости писание приими»; приводит свидетельство XV века о том, что князья пользовались летописями; свидетельство XVI века, что при царе прибирались списки, которые следовало вносить в летописец...

Заметив официальный характер летописей, г. Погодин возводит начало обычая вести летописи к первым князьям, которые принесли его из своей родины, то есть из Скандинавии. «Вспомним, — говорит г. Погодин, — что мы прежде говорили о необходимости записок до Нестора. Без всякого сомнения, они продолжались при нем, после него и до позднейших времен, служа главным материалом для летописателей. Им-то, собственно, и принадлежит официальное достоинство в составе летописей. Летописатели жили в монастырях, а записки велись при князьях, даже в походах. На кого возлагалось князьями ведение записок, не могу сказать решительно, а укажу только, что свидетельство о дьяках княжих мы находим уже в XII веке. Записки не прерывались, а между летописателями бывали промежутки. Вот почему одни годы описаны подробно, другие кратко. Последние принадлежали запискам, коих почему бы то ни было не могли распространять летописатели, не зная, что об них сказать более. Отсюда же объясняется и замешательство, примечаемое в некоторых случаях».

Итак, г. Погодин предполагает существование записок, которые велись при князьях и которые вошли как материалы в летописи, до нас дошедшие. По его мнению, в монастырях происшествия не могли делаться известными так скоро и с такими подробностями; но теперь спрашивается: если верностью и подробностями событий мы обязаны

запискам, ведшимся при князьях, то какое же было дело летописцев-монахов? Формы они не переменяли, оставляя события записанными погодно; подробностей они прибавить не могли; подробности, записанные очевидцами, они находили в записках; заключенникам монастырским нечего было прибавить от себя; итак, следует заключить, что они были простыми переписчиками летописей, ведшихся при князьях... Но если г. Погодин думает, что записки, ведшиеся при князьях, были только краткими заметками событий, которые летописцы-иноки распространяли подробностями, то на каком основании отнимать у них возможность первого составления? На каком основании предполагать какие-то другие записки? Могу ли я нуждаться в кратком известии о событии, которое я знаю со всеми подробностями или по крайней мере имею возможность узнать эти подробности другим путем, из других источников?

Неправильность вывода о существовании особых, немонастырских летописей или записок происходит от неправильного понятия о значении монастырей, о монастырской жизни в Древней Руси; князья и бояре тосковали о том, что не могут быть монахами; благочестивый инок первый узнавал о намерении князя; в монастырь прежде всего приходил князь с известием о совершении этого намерения; странно было бы распространяться о влиянии духовенства на события... Г. Погодина останавливают подробности о походах, но эти подробности могли прежде всего узнаваться в монастырях, даже не из одних уст самых участников в бою, но и из уст наблюдателей, более внимательных к подробностям; в походах с войсками находилось обыкновенно много духовных лиц, так, например, летопись говорит, что Владимир Мономах в 1111 году, выступив в поход против половцев, приставил священников своих ехать перед полком и петь священные песни.

Г. Погодин говорит (стр. 4): «Годы 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152 и проч., заключающие по сотне мелких происшествий со множеством переходов князей с места на место и беспрестанной переменой их отношений, не могли быть описаны на память». Конечно, если прочесть события означенных годов все вдруг, как они следуют одно за другим в летописи, то покажется их очень много; иному покажется даже их целая *сотня*, вследствие чего иной и выведет, что они не могли быть описаны на память; но дело в том, что они никогда не описывались на память одним человеком-очевидцем. Возьмем первый из означенных годов, 1146-й: события этого замечательного года, несмотря на свою многочисленность и разнообразие, разлагаются на три отдела: события в Киеве, сопровождавшие изгнание Ольговичей и вступление на престол Изяслава Мстиславича, сношения князей и потом походы. Киевских событий сам инок-летописец мог быть очевидцем и описать так, как сам видел и слышал; о сношениях князей могли передать ему всего лучше самые послы, которыми обыкновенно бывали духовные лица; наконец, подробности походов передавали ему также священники, бывшие при полках, да и всякий воин мог рассказать ему все подробности движений.

Если летописец не надеялся на свою память, то, разумеется, мог записывать известия, как получал, и потом, составляя погодное описание событий, размещал полученные известия по порядку времени; к этому должны мы прибавить, что инок, взявший на себя обязанность составлять летопись, должен был отыскивать людей, которые были способны рассказать ему события со всеми подробностями, должен был расспрашивать их, помогать их памяти своими вопросами; и иногда он находил таких людей, а иногда нет; отсюда и происходит, что иные события рассказаны чрезвычайно подробно, а другие — очень кратко. Если же мы предположим в Древней Руси существование записок, подобных позднейшим запискам, какие велись при Московском дворе, то никак не объясним себе этой разности в летописном рассказе, ибо, в таком случае, мы замечали бы у летописца постоянно-одинакую точность в показании месяцев и числе года. Г. Погодин настаивает на немедленном записывании событий. «Для внимательного и опытного глаза, — говорит он, — есть и особые приметы такого немедленного записыванья; например: «Володимер взя Менеск у Глеба у Всеславича, самого приведе Кыеву. *Том же лете* преставися Глеб в Киеве Всеславич, сентября в 13». Если бы происшествия не записывались немедленно, то эти два известия не были б разделены повторением выражения: «*Том же лете*»». Мы, с своей стороны, смеем думать, что внимательный и опытный глаз не найдет никакой приметы немедленного записывания в выражении «*том же лете*»; внимательный и опытный глаз заметит одно — что в летописи события, не имеющие связи между собой, отделяются или, лучше сказать, соединяются выражением «том же лете», что естественно и необходимо в летописи, где внутренняя связь между событиями заменяется внешней связью единовременности.

Итак, мы видим, что нет никакой нужды предполагать какие-то особенные, первоначальные, краткие записки событий, кроме монастырской летописи; но этого мало: мы имеем в летописях ясное, положительное указание, что их точно не было, и это указание есть именно то *важнейшее, драгоценнейшее* известие, которое приводит г. Погодин для подтверждения своего мнения; летописец XV века говорит, что он пишет летопись, подражая начальному летописцу киевскому: как тогда князья *повелевали* («повелевать» на языке летописи часто значит «дозволять», хотеть чтоб что-нибудь было) вносить в летопись все события, счастливые и несчастные, так и он, летописец XV века, пишет, не проходя молчанием никаких событий, в наставление властодержцам, которые будут смотреть и прилежно внимать сказаниям.

Но кто же этот начальный киевский летописец, которому хочет подражать летописец XV века, который писал при участии князей, *повелевавших вся прилучившаяся написовати*? Это известный Сильвестр Выдубецкий, который считается продолжателем или по крайней мере переписчиком летописи, слывущей обыкновенно под именем Несторова Временника! Ясно, следовательно, что участие князей относится непосредственно к монастырской летописи, а не к придворным кратким запискам, которых не было не только в XII, но даже и в начале XV века,

ибо автор приведенного места, сравнивая себя с Сильвестром, тем самым дает знать, что он такое же духовное лицо, желающее писать такую же подробную, самостоятельную летопись в наставление властодержцам, чего бы не мог сказать дьяк, обязанный писать только то, что ему велят. Так же точно объясняется известие грамоты волынского князя Мстислава: летопись, куда Мстислав велел внести свою грамоту с известием о крамоле жителей Бреста, есть та подробная Волынская летопись, которая дошла до нас и в которой именно находим эту грамоту.

Предположив какие-то первоначальные, краткие записки, ведшиеся при князьях, г. Погодин спрашивает (стр. 10): «Откуда произошел такой обычай?» — и отвечает: «Начало этого обычая, ведущегося беспрерывно в продолжение нашего периода, современно, думаю, первым князьям, которые принесли его, *разумеется*, из своей родины». Итак, выходит, что обычай вести летопись принесен к нам из Скандинавии; но прежде чем сказать «разумеется», автору следовало б разыскать, существовал ли подобный обычай в Скандинавии, потому что если б он существовал, то уж, *разумеется*, шведский историк не был бы принужден черпать известия о всей своей древней истории из скудных иностранных источников, за неимением туземных. Касательно достоинств наших летописей г. Погодин выводит, что составители их беспристрастны, нелицеприятны, благочестивы, любят отечество.

Но прежде следовало бы сказать, что наши летописцы были иноки; тогда причины этих достоинств, особенно благочестие, уяснились бы. Говоря о беспристрастии летописцев, г. Погодин утверждает, будто они совершенно одинаковым тоном рассказывают похвальные действия, как и поносные, не стараясь никогда ни оправдывать никого, ни обвинять. Нам кажется, что беспристрастие летописца-историка состоит вовсе не в бесчувствии к доброму и дурному, но в способности, невзирая ни на какие отношения, назвать доброе добрым, дурное дурным, оправить правого, обвинить виноватого; в наших летописцах мы замечаем именно такое беспристрастие, а не равнодушие, какое приписывает им г. Погодин; так, например, киевский летописец любит семью Мономахову и не любит гордого Олега; но при описании войны Олега с Изяславом, сыном Мономаховым, говорит, что Олег был прав; каким же образом г. Погодин вывел, что наши летописцы никого не оправдывают и не обвиняют?

Такова первая часть исследования — самая важная, по признанию самого автора. Вторая часть, по отзыву самого же г. Погодина, содержит в себе вопросы частные, второстепенные, составляющие более предмет любопытства; однако г. Погодин не уклоняется от этих вопросов, начинает рассуждать о списках Несторовой летописи и из рассмотрения, их выводит, что «чистой летописи Несторовой нет ни одного списка» (стр. 25). Этот вывод замечателен не потому, чтоб был нов, но потому, что сам же г. Погодин в своем исследовании о Несторе (стр. 86) вывел следующее заключение: «Все так называемые значительные древних списков вставки принадлежат самому Нестору, и *летопись его дошла до нас в том виде, в каком осталась от него*. Это заключение необходимо следует из сходства всех списков». А теперь г. Погодин вооружается

против г. Бередникова за то, что тот озаглавил начальную киевскую летопись так: «Древний текст Несторовой летописи»!

Г. Погодин думает, что рассказ об ослеплении Василька и следствиях его есть особенное сказание, вставленное в рассказ Нестора. Он основался на мнении г. Беляева, который в своем исследовании о Несторовой летописи (Чтен. Моск. ист. общ. 1847. № 5) указал на различие в слоге вставленного места от остального рассказа, особенно на смелые и живописные метафоры, например: «И Боняк погнался сека в тыл, а Антулона взратяшеться вспять, и недопустяху угр опять, и тако множицею убивая, сбиша е в мяч; Боняк же разделися на три полкы, и сбиша угры аки в мяч, яко се сокол сбивает галице».

«Выражения сии так и просятся в известное Слово о полку Игореве», — заметил при этом г. Беляев. Тогда же г. Беляеву было замечено в одной рецензии, что подобные выражения просятся не в Слово о полку Игореве, но в Волынскую летопись, которая отличается подобным слогом; следовательно, это место внесено в Киевскую летопись из первой части Волынской, которая не дошла до нас, тем более что рассказанные в нем события принадлежат собственно Волыни; так, например, в этом рассказе читаем: «И на ту ночь ведоша и (Василька) Белугороду, иже град мал у Киева яко 10 верст в дале» — ясный признак волынского летописца, потому что киевскому не нужно было рассказывать о Белгороде, что это маленький городок в 10 верстах от Киева.

О продолжателях Нестора г. Погодин говорит (стр. 40): «Сильвестра признают все переписчиком. Летописатели никогда не подписывали у нас своих имен. *Написах* — на древнем языке нашем значит именно *переписал; списал* — наоборот, значит сочинил, написал». Но в таком случае и Нестор будет переписчик, а не составитель летописи, потому что и о нем сказано: «Нестор, иже *написа* летописец».

Рассматривая Киевскую летопись, г. Погодин принимает троих продолжателей Нестора, всех киевлян, одного за другим следующих, и никак не хочет допустить вставок из других летописей — Черниговской, Волынской. Но если так, то каким образом объяснить, например, два следующие места: при описании событий 1146 года, то есть свержения Ольговичей и вступления на киевский стол Изяслава Мстиславича; летописец сначала говорит о свержении Игоря как о злом совете; а потом, на следующей странице, говорит, что это дело — свержение Игоря и вступление Изяслава на стол отцовский и дедовский — совершилось с помощью Божиею, молитвами Богородицы и св. Михаила; не ясно ли виден в первом рассказе летописец черниговский, благоприятствующий Ольговичам, а во второй — киевский или волынский, преданный Мономаховичам?

Карамзин справедливо заметил след черниговского летописца в известии о борьбе Юрия Долгорукого с племянником Изяславом, где, указывая на восточный, черниговский берег Днепра, летописец говорит: *«на сей стороне»*. Г. Погодин опровергает Карамзина предположением опять записок, ведшихся при князе, и говорит, что эти слова написаны спутником Изяслава, соответственно месту их пребывания под Черниго-

вом, следовательно, *«на сей стороне»*; но каким образом спутник Изяслава мог записать с такой подробностью все разговоры, происходившие в стане враждебных князей? Для всякого, кто внимательно прочтет место, будет ясно, что оно написано или черниговцем, или суздальцем, но никак уже не киевлянином. Сделав такое слабое опровержение заметки Карамзина, г. Погодин для доказательства, что летопись написана киевлянином, приводит следующее место: «Ярополк пустился в бой, мняще, яко не стояти Ольговичам противу нашей силы». Но здесь ясно, что *нашей* относится прямо к Ярополку, а не к киевлянам. Разве русский историк не мог сказать, например: «Карл XII думал: где русским устоять против нашей силы?»

Потом г. Погодин сам начинает искать пропуски, вставки, перестановки и ошибки в Киевской летописи и, во-первых, приводит известие под 1113 и 1114 годами. 1113: «Посади (Мономах) сына своего Святослава в Переславли... Того же лета посади сына своего Ярополка в Переславли»; 1114: «Преставися Святослав, сын Володимер, месяца марта в 16 день, и положен бысть в Переславли... ту бо отец ему дал стол выведы и из Смоленска». Г. Погодин говорит: «Как отец мог посадить Ярополка в Переславле в 1113 году, когда еще только в марте 1114-го умер Святослав, посаженный туда отцом? Здесь ясно и повторение, и вставка, и ошибка или умолчание».

Несмотря на готовность нашу допускать сшивки и вставки в наши летописи, мы думаем, однако, что объяснять запутанные места вставками должно с крайней осторожностью; мы думаем, что прежде должно сообразить все возможные обстоятельства для объяснения события, прежде чем прибегать к объяснению вставкой; так и в приведенном известии дело легко может быть объяснено тем, что Ярополк был посажен в Переяславле при жизни Святослава, по причине болезни Святослава; ибо известно, как важен был Переяславль для Киева по отношению к Чернигову и половцам: такого города нельзя было оставить с одним больным князем. Во-вторых, мы имеем под 1132 годом известие, что Переяславль был отдан Владимиром Мстиславу и Ярополку вместе: почему ж он не мог быть отдан Святославу и Ярополку вместе? При этих двух объяснениях мы не думаем, что нужно еще прибегать к объяснению вставкою.

Далее г. Погодин замечает: «Описание общего похода на Полоцкое княжество, по приказанию великого князя Мстислава, сначала обстоятельное, под конец совершенно обрезывается». Надеемся, что автор, вызванный нашим замечанием, объяснит подробнее, почему он считает это описание в конце обрезанным; по нашему мнению, оно обстоятельно с начала до конца; обстоятельно описывается движение разных князей из разных мест к полоцким городам, действия Изяслава Мстиславича у Логожьска, действия остальных князей у Изяславля; обстоятельно описывается, как, несмотря на переговоры о сдаче, Изяславль был взят ночью *на щит* и воины возвратились с большим полоном, как пришли новгородцы с севера, как, наконец, полочане, окруженные со всех сторон, отказались от князя Давида, неприязненного Мстиславу, и,

взяв Рогвольда, отправились к великому князю с просьбой об утверждении последнего и как Мстислав согласился на их просьбу, чем дело и кончилось.

Где же можно заметить, что описание обрезывается под конец? Можно только заметить, что в Ипатьевском списке оно дурно переписано, а в Лаврентьевском — хорошо, что и обозначено в издании Археографической комиссии. Под 1150 годом г. Погодин замечает: «Изяслав предложил Киев Вячеславу. Вячеслав же рече сыну: «Бог ти помози, оже на мене еси честь возложил»» и проч., а под 1151 г. *опять*: «Уведе Изяслав стрыя своего... Вячеслава у Киев. Вячьслав же уеха в Киев, и седе... и позва на обед...» Потом следует известие о поездке некоторых князей на устье Припяти, и *опять*: «Утрий же день присла Вячеслав к Изяславу и рече ему: «Сыну! Бог ти помози, оже на мене еси честь возложил, акы на своем отци, а яз пакы тобе молвлю... будеве оба Киеве...» Изяслав же поклонися и проч.». Ясно соединение записок с описанием, как под 1144 годом», заключает г. Погодин.

Мы не находим здесь никакого соединения записок с описанием, а видим естественный, дельный рассказ, принадлежащий одному летописцу: в 1150 году Изяслав предложил Киев дяде Вячеславу; тот отвечал благодарностью и обещанием иметь Изяслава сыном и братом, после чего оба князя целовали крест не разлучаться ни в каком случае; все это происходило посредством пересылки; Изяслав находился в Киеве, а Вячеслав в Вышгороде. Так окончился 1150 год; в начале 1151-го Вячеслав, согласно договору, приехал из Вышгорода в Киев и сел на столе; в тот же день пришла к нему весть о движении известных князей к устью Припяти; на другой день Вячеслав послал сказать Изяславу, что он, исполняя свое прежнее обещание, хочет княжить с ним вместе, сдает ему управление: «*А яз пакы, сыну* тобе молилю: яз есмь уже стар, а всих рядов не могу уже рядити, но будеве оба Киеве» и проч. Что может быть естественнее и целостнее этого рассказа? Выражение: «Яз *пакы* тобе молвлю» — ясно показывает связь этой речи Вячеслава в 1151 году с речью его в 1150-м, а вовсе не повторение.

Под 1151 годом читаем в летописи: «На сей же стороне бяшеть Шварно (боярин великого князя Изяслава) с сторожи, и найдяху (кажется, должно читать: недаваху) въбрести в Днепр, и тако видивше половци сторожи Изяславли, оже мало их есть, и тако въбредоша на не на конех, за щиты и с копьи и в бронях, яко же битися, и покрыша Днепр от множества вои, а Русь переехаша в лодьях, Шварно же то виде побеже, и прибеже ко Изяславу: бе бо в то время посла сына своего Мьстислава в угры, да тем нетверд ему бе брод, зане не бешеть ту князя, а боярина не вси слушают». Г. Погодин говорит об этом месте: «Спрашивается, как попалось известие о Мстиславе, гораздо прежде и подробнее сообщенное?» Отвечаем: известие о Мстиславе попалось сюда естественно и необходимо: летописцу нужно было показать причину, почему боярин Шварн не защитил брода и обратился в бегство перед половцами; причина та, что начальствовал боярин, а не князь; боярина же в те времена, по свидетельству летописца,

не все слушали; но почему ж не было князя на таком важном посту? Да потому, что некого было отрядить: сына своего Мстислава Изяслав отправил к венгерскому королю.

Под 1151 годом читаем: «И рече Володимиру (князю Галицкому) Петр (посол великого князя Изяслава): «Княже! Аче крест мал, но сила велика его есть на небеси и на земли; а тебе есть, княже, король являл того честного креста, оже Бог своею волею на том руци свои простерл есть, и привел и Бог по своей милости к святому Стефану, и то ти явил, оже целова всечестного хреста, а съступиши, то не будеши жив»; и *рече ему Петр*: «А у королева еси муже слышал ли о том честном кресте?» И рече Володимир: «Вы того досыти есте молвили; а ныне полези вон, поеди же к своему князю». Г. Погодин замечает: «Две речи Петровы переданы здесь сряду: верно, было между ними какое-нибудь возражение Володимира». Но *«и рече»* употребляется в одной и той же речи в смысле: *«и прибавил»* или *«и спросил»*; Петр говорил: «Тебе король объявлял о силе креста» — *и спросил*: «Слышал ли ты от королевского посла об этом кресте?» Под 1173 годом: «Андрееви не любо бяше седенье Володимере Киеве, и посылаше нань, веле ему идти из Киева, а Романови Ростиславичу веляше ити Киеву»; а после опять после многих описанных происшествий (замечает г. Погодин): «1174 том же лете приспе Андрей к Ростиславичем, река тако: «Нарекли мя есте собе отцем, а хочу вы добра, а даю Романови брату вашему Киев»; послаша по Романа Смоленьску и приде Роман Киеву».

Не понимаем, чем затрудняется здесь г. Погодин. В 1173 году Андрей Боголюбский сносился с Владимиром Мстиславичем Киевским, приказывая ему оставить Киев, и с Романом Ростиславичем Смоленским, приказывая ему идти в Киев на место Владимира; Владимир не послушался и скоро умер; тогда Андрей снова послал сказать Ростиславичам, что дает Киев брату их Роману, и Роман отправился в Киев: в первый раз Роман (которого летописец представляет человеком кротким, боящимся всякого враждебного столкновения) не поехал в Киев на живого князя и на дядю своего, которого нужно было выгнать силой; но потом когда Владимир умер и Андрей возобновил свое предложение, уже теперь целому роду Ростиславичей, то не было более причин не ехать, и Роман поехал. В том, что Андрей повторил свое предложение, нет ничего удивительного, потому что в первый раз Роман не принял этого предложения по известным причинам.

Под 1174 годом: «Святослав (Черниговский) въеха в Киев и седе на столе деда своего и отца своего, седеже поимав имение Ярославле без числа; ту же заехаша княгиню Ярославлю и яша с сыном, и дружину его яша всю, послаша к Чернигову, без вести бо изъезхаша, а братьи его не бяше вести, *Ольгович въезде в Кыев*. Ярослав же, слышав, яко стоит Кыев без князя, пограблен Олговичи и приеха опять Кыеву».

Г. Погодин замечает: «Но где же было сказано, чтоб Святослав оставил Киев? Здесь пропуск». Мы видим здесь не пропуск, но явное искажение одного места не разобравшим его писцом; выражение «Ольгович въезди в Кыев» не имеет никакого смысла, никакой связи ни

с предыдущим, ни с последующим. К чему еще сказано, что Ольгович въехал в Киев, когда уже подробно рассказано об этом въезде и его следствиях? Ясно, что здесь искажение; надобно читать наоборот: «Ольгович выеха из Кыева», тогда восстановится смысл и не будет никакого пропуска.

Под 1195 годом: «Присла Всеволод, князь Суждальскы, послы своя ко свату своему Рюрикови, река ему тако: «Вы есте нарекли мя во своем племени во Володимире старейшего; а ныне сел еси в Кыеве, а мне еси части не учинил в Руской Земле»». «Но когда это наречение было, не сказано», — замечает г. Погодин. Разве киевский летописец обязан был знать и записывать все распоряжения и сношения Ростиславичей, происходившие не в Киеве; без всякого сомнения, это наречение было сделано из Смоленска, где княжил старший Ростиславич, Роман, которого все братья считали отцом. Под тем же годом: «Ольговичи же убоявшеся и послаша мужи своя, игумена Деонисья, ко Всеволоду, кланяючися и смеючися ему во всю волю его; он же има им веры, и сседе с коня». И вслед за этим (слова г. Погодина): «Целуй с нами крест, — говорят Ольговичи Рюрику, — како ти с нами не воевати, доколе со Всеволодом и с Давидом, любо ся увидим, любо ся уладим»; но ведь они уже уладились, замечает г. Погодин.

Точно, если прочесть это место с перерывом, как выписал его г. Погодин, то можно подумать, что Ольговичи уже уладились со Всеволодом, когда послали с известным предложением к Рюрику; но в летописи место это, прочтенное без перерыва с посредствующими строками, выпущенными г. Погодиным, получает другой смысл; вот известие вполне: «Олговичи же убоявшеся и послаша мужи своя ко Всеволоду, кланяючися и смеючися ему во всю волю его; он же има им вере и сседе с коня. Олговичи же другие послы послаша к Рюрикови, молвячи ему: «Брате! Нам с тобой не бывало николи же лиха... а целуй с нами крест»» и пр. Ясно, что Ольговичи отправили послов ко Всеволоду и к Рюрику в одно и то же время, и потому послы, отправленные к Рюрику, не могли знать следствий посольства товарищей своих, отправленных ко Всеволоду, и могли от имени своих князей просить Рюрика, чтоб тот не воевал с ними, пока они не порешат дела на севере; летописец прямо говорит, что одни послы отправлены были к Всеволоду, и вот что сделал Всеволод; а другие послы отправлены были к Рюрику, и тот с своей стороны обнаружил мирные намерения.

С другой стороны, если даже будем читать так, как читает г. Погодин, то и тут не будет никакого недоразумения, потому что от прекращения военных действий до мирных переговоров, *ряда,* еще далеко. Всеволод, услыхав, что Ольговичи отдаются на его волю, *ссел с коня,* отложил поход, но ряд был еще впереди; Всеволоду еще предстояло объявить свою волю Ольговичам, и последние могли просить Рюрика, чтоб он, до объявления этой воли, с окончательного ряда не воевал с ними.

Под 1197 годом г. Погодин замечает: «Летописатель, прославив добродетели князя Давида Смоленского, говорит: «Мы же на предлежащее

возвратимся», а между тем за этими словами продолжает славить те же добродетели». Это место с первого взгляда в самом деле поражает своей странностью; но по внимательном рассмотрении оказывается, что здесь нет ни сшивки, ни сокращения, ни перерыва: в начале года летописец говорит: «Преставися благоверный князь Смоленский Давыд, сын Ростиславль, внук великого князя Мстислава, приим мнишский чин, его же желаше, *его же и последи скажем,* месяца апреля в 23-е» и проч. Следует описание погребения и похвала Давиду; но мы заметили, что летописец, упомянув о желании Давида постричься, прибавил: «Его же и последи скажем» — знал, что мы вправе ожидать какого-нибудь подробнейшего известия об этом предмете; и точно, кончив похвалу, летописец говорит: «Мы же на предлежащее возвратимся» — и начинает подробно рассказывать, как Давид молился о том, чтоб Бог сподобил его пострижения, как Бог исполнил его молитву, как жена его постриглась также по его примеру и проч. Таким образом, за выражением: «Мы же на предлежащее возвратимся» — следует не продолжение похвалы (как думает г. Погодин), но простое описание, как Давид желал постричься и как исполнилось его желание.

Остальные тринадцать мест, в которых видны пропуски и сшивки, отмечены г. Погодиным верно; но это не дает автору права сказать в заключение следующее: «Читатели, надеюсь, убедятся из этого подробного рассмотрения Киевской летописи, что до нас дошел список ее очень сокращенный и поврежденный». Сокращения, пропуски видны только в *трех* местах: под 1123, 1135 и 1146 годами; в остальных же местах заметны сшивки из разных летописей, повторения, неискусные дополнения; искаженных же мест находим только два: под 1128 и 1174 годами; но по трем пропускам и двум искажениям можно ли назвать список *очень* сокращенным и поврежденным?

О Волынской летописи г. Погодин не распространяется: он говорит, что от нее остался только отрывок, начинающийся 1201 и оканчивающий 1289 годом. Мы заметили уже, что сказание Василия об ослеплении Василька есть также отрывок из Волынской летописи, что доказывается слогом.

После Волынской г. Погодин приступает к разбору Суздальской летописи и говорит, что она дошла до нас в трех списках: Лаврентьевском, Радзивиловском и Троицком; о Киевской летописи г. Погодин сказал прежде (стр. 48), что от нее дошел до нас *единственный* список — Ипатьевский. Теперь предположим, что кто-нибудь хочет заняться русской историей по источникам; из сочинений г. Погодина он узнает, что есть Киевская летопись, которая сохранилась только в одном, Ипатьевском, списке, есть Суздальская, сохранившаяся в трех списках — Лаврентьевском, Радзивиловском, Троицком. Он развертывает Лаврентьевский список в том убеждении, что найдет здесь Суздальскую летопись, просматривает год, другой, третий, просматривает с лишком 60 лет — и не видит следов Суздальской летописи по содержанию; он находит рассказ о тех же самых происшествиях, какие рассказаны и в Ипатьевском списке, где г. Погодин видит только

Киевскую летопись; если в Лаврентьевском списке встречаем известия о происшествиях на севере, то те же самые известия встречаем и в Ипатьевском списке. Лаврентьевский список не есть сокращение Ипатьевского, как доказал г. Беляев; мало того: подробности о южных событиях, встречающиеся в Лаврентьевском списке (Суздальской летописи, по мнению г. Погодина) и не встречающиеся в Ипатьевском (Киевской летописи, по мнению г. Погодина), вовсе не внесены в первую из какой-то первобытной полной Киевской летописи; и наоборот, нельзя согласиться с г. Погодиным, будто Киевская и Суздальская летописи дошли до нас не вполне, а в списках, более или менее сокращенных; будто переписчики пропускали по усмотрению разные обстоятельства, которых мы видим теперь следы; киевские у суздальских и суздальские у киевских.

О намеренных пропусках, сокращениях, сделанных переписчиками, не может быть и речи при исследовании о наших летописях: переписчики вставляли, сшивали известия из разных летописей и других источников, искажали иногда, не умев разобрать в ветшаных книгах, но никогда не позволяли себе намеренно что-либо пропускать или сокращать известия; такая дерзость была несовместима с благоговейным уважением, которое питали тогда к летописям. До нас не дошло летописей собственно Киевских или Суздальских по содержанию, как дошла, например, летопись Новгородская; летопись по Лаврентьевскому списку и летопись по Ипатьевскому списку, по содержанию своему, суть летописи всероссийские; главное содержание их — отношения между князьями, потомками Ярослава I; но так как эти отношения были постоянно тесны, близки, постоянно сосредоточивались около одних и тех же интересов, то по этому самому и в летописях, где бы они и в каком бы духе ни были составлены, не могло быть резкого различия по содержанию; это различие несколько обнаруживается только с тех пор, как две княжеские линии, Мстиславичей и Юрьевичей, начали отделяться, а вместе с тем южная половина Руси начала отделяться от северной; это отделение замечаем мы в летописях со времен Всеволода III; особенно же явственным делается оно по смерти Всеволода III. Но если в дошедших до нас летописях (кроме Новгородской) мы не замечаем различия по содержанию до самого конца XII века, то различие по духу, направлению, мы замечаем гораздо ранее.

Так, например, заключаем, что летопись по Лаврентьевскому списку есть собственно летопись княжеской линии Юрьевичей, обличает в составителе своем жителя Северной Руси, и в этом отношении летопись может назваться северной; это-то различие во взгляде северного и южного составителя летописи, различие во взгляде на одни и те же события, на одни и те же княжеские отношения, преимущественно и важно для историка. К сожалению, у г. Погодина не находим указаний на это различие и потому считаем полезным сказать о нем несколько слов. Например, поразительно различие в рассказе двух летописей о причинах прихода Ростислава Юрьевича на юг к Изяславу, различие в рассказе о походе Изяслава Мстиславича в Ростовскую область, о мире Юрия с Изяславом в 1149 году (по Лавр. сп.); о событиях под 1164 годом

в Лаврентьевском и под 1162-м в Ипатьевском, об отношениях Ростиславичей к Андрею Боголюбскому; о подвигах Владимира Глебовича под 1185 годом в Лаврентьевском и под 1183-м в Ипатьевском; об отношениях Всеволода III к Рюрику Ростиславичу. Не говорим уже о мелких различиях, где, например, в одном списке сказано «переха», а в другом — «перебеже».

Подробнейшее исследование о новейших сборниках: Воскресенском, Софийском Временнике и Никоновском — г. Погодин отлагает до будущего времени, когда Археографическая комиссия подарит нам новое их издание. При этом надеемся, что г. Погодин, рассмотрев внимательнее Никоновский сборник, возьмет назад свое мнение о первой его части, которую он считает самой слабой; надеемся, что тогда он найдет и в первой части известия, в которых нет никакой причины сомневаться и которые не встречаются в других летописях; надеемся также, что тогда г. Погодин не оставит без внимания любопытного вопроса: каким образом случилось, что этих известий нет в так называемом Несторовом Временнике? Но если исследование о летописях Воскресенской, Никоновской и Софийском Временнике г. Погодин отлагает до нового их издания, то на каком основании в главе об источниках для удельного периода нет ни слова о Новгородской летописи? Она издана Археографической комиссией.

Вторая глава тома заключает в себе исследование о хронологии в русских летописях. В начале главы автор говорит:

«Первый вопрос при рассуждениях о русской хронологии есть следующий: какое летосчисление в них употребляется — с января, сентября или марта? Второй — какое доверие можно иметь к их показаниям, ко всем вообще и к каждой в особенности? Для первого ответа надо рассмотреть, в каком порядке они считают месяцы в продолжение одного и того же года, и поискать их собственных указаний о своем летосчислении. Для второго надо проверить их какими-нибудь другими документами или сравнениями с иностранными утвержденными показаниями. Иностранных свидетельств в этом роде почти нет никаких, кроме известий о затмениях солнечных и лунных, кои мы и употребим на своем месте, но полнейшую проверку мы найдем в самых наших летописях. Там означается иногда не только год происшествия, но и месяц, число, день недельный. Если происшествия записывались, как мы старались доказать в первой главе немедленно, то в этих частных показаниях не может быть ошибок, разве ошибки переписчиков. Годы могли иногда перемешиваться разными летописателями, например, киевский летописатель, получая суздальское известие или летопись чрез известное время после происшествия, мог ошибиться при внесении его в свою летопись — так точно и суздальский в отношении к Киеву, но число и недельный день, буквально переписывавшиеся, могут всегда обнаружить его ошибку и показать, к какому, собственно, году должно относиться то происшествие».

Читатель видит, что г. Погодин принял на себя хотя механический, но очень полезный труд. Вообще статья о хронологии, по нашему мнению — лучшая в целом томе, заметим только, что решение первого вопроса в пользу мартовского летосчисления не заключает в себе никаких новых, осязательнейших доводов против представленных г. Беляевым в статье о хронологии Нестора и его продолжателей (см. Чтения Моск. ист. общ. 1846. № 2).

Третья глава тома, под названием «Ярославово деление», заключает в себе исследование о городах и пределах первых русских княжеств. Это исследование подверглось редкой, завидной участи: известно, что в «Истории Государства Российского» при каждом названии местности, встречающемся в древних известиях, приложено указание, где она должна была находиться: Арцыбашев в своем «Повествовании о России» дополнил некоторые замечания Карамзина, поправил другие; г. Погодин, собрав указания Карамзина и Арцыбашева, в свою очередь, дополнил и поправил некоторые из них и разместил по княжествам, границы которых распределил по некоторым данным в летописях. В таком виде исследование о городах и княжествах было отослано г. Погодиным в «Журнал Министерства внутренних дел» с просьбой присылать к автору замечания и дополнения. Редакторы журнала гг. Надеждин и Неволин первые отозвались на эту просьбу с необыкновенным усердием; почти ни одного указания местности, требующего пояснения, не оставили они без поправки или дополнения; в таком исправленном виде статья была напечатана в «Журнале Министерства внутренних дел» и теперь перепечатана в IV томе «Исследований и замечаний». Читатель сам легко решит, как велико участие самого г. Погодина в составлении этой статьи; мы же, с своей стороны, обратим внимание на те показания г. Погодина, в верности которых сомневаемся, и на те, которые составляют предмет спора между ним и гг. Надеждиным и Неволиным.

Под 1144 годом в летописи встречаем указания на две местности — Ушицу и Микулин· великий князь Всеволод Ольгович собрался войной на Владимира, князя Галицкого, и пошел к Теребовлю; войска противников встретились у реки Серета; в это время черниговский князь Изяслав Давыдович явился на помощь к Всеволоду с половцами, захватив на пути два Владимировых города — Ушицу и Микулин. Арцыбашев указал два местечка Микулинцы: одно в Подольской губернии Винницкого повета, и другое в Галиции, ниже Тарнополя и выше Струсова; г. Погодин замечает, что, вероятно, в означенном месте летописи идет речь о первом. Касательно же Ушицы г. Погодин принимает указание Карамзина и Арцыбашева, что это нынешняя Ушица, уездный город Подольской губернии. Гг. Надеждин и Неволин не согласились принять указание г. Погодина «По всему видно, — говорят они, — что дело идет о Микулинце, который находится в Галиции; следовательно, Ушица вовсе не нынешний город Подольской губернии; это, должно быть, нынешнее селение Ушня, в Золочевском округе Галиции, близ города Белый Камень, в верховье Западного Буга, невдалеке от верховья Серета». Г. Погодин не соглашается с этим заключением. «Каким образом, —

говорит он, — Изяслав Давидович мог зайти с этой стороны?» Но если г. Погодин затрудняется тем, что Изяслав Давидович для взятия города на верховье Серета зашел слишком далеко с севера, то почему же не затрудняется он предположить, что черниговский князь зашел слишком далеко с юга, если двигался от Ушицы Подольской к Теребовлю? Гораздо легче, по нашему мнению, предположить, что он шел с половцами по степной украйне Киевского княжества и прямо вошел в галицкие владения при верховье Серета, а не делал такого огромного крюка, от Винницы к Ушице и от Ушицы к Теребовлю; притом на каком основании г. Погодин предполагает, что земли нынешнего Винницкого уезда могли принадлежать галицкому князю?

Под 1162 годом в летописи читаем: «Поиде Мстислав из Володимера полком своим, с галичьскою помочью, а Рюрик поиде из Торцьского, и сняшася у Котельничи с Мстиславом, и оттуда поидоша к Белугороду» и проч. Г. Погодин не хочет согласиться с гг. Надеждиным и Неволиным, чтоб Торцьский был Торческ на реке Рси, и, указывая на нынешний Торчин между Луцком и Владимиром, приводит следующее доказательство своему мнению: «Зачем бы Рюрику от Роси отдаляться на Волынь, чтоб после оттуда прийти к Белугороду, столь близкому от Торческа Киевского?» Но в летописи ясно указана причина такого движения Рюрика: он пошел к Котельне, чтоб соединиться с Мстиславом, который шел из Владимира.

Под 1177 годом читаем: «Ехавше (рязанцы) *Воронаж*» (за князем Ярополком, по требованию великого князя Всеволода). Г. Погодин думает, что это нынешний губернский город Воронеж; гг. Надеждин и Неволин выразили основательное сомнение: о городе ли Воронеже здесь говорится? Не о реке ли только, на которой он стоит? Мы сказали: основательное сомнение, ибо в самом деле трудно согласиться, чтоб рязанские владения заходили так далеко в *поле* (степь). Г. Погодин возражает: «Странно б было рязанцам ехать на реку, чтобы там взять князя, и что это за определение местопребывания?» Нам кажется, что нет ничего удивительного, если Ярополк стоял на пограничной степной реке с полками, наблюдая за половцами.

Под 1066 годом встречается место Рша: «Яша Всеслава на Рши у Смоленска». Г. Погодин спрашивает: «Не было ли там речки *Рои*, как и в Киевской области?» Гг. Надеждин и Неволин, в свою очередь, спрашивают: «Почему не разуметь здесь нынешней Орши, которая под годом 1116 называется именно *Ршей*?» Г. Погодин отвечает: «Потому что сказано: у Смоленска». Принимая возражение г. Погодина основательным, укажем на ближайшую к Смоленску местность, чем нынешняя Орша, именно *Оршанский Ям* (см. Карамз., т. IX, прим. 225).

В заключение г. Погодин говорит: «Обозревая пределы княжеств, поколику их положительно и догадочно указать нам было можно, невольно получаешь мысль, что они совпадают с пределами древних племен. В самом деле, перечтем Нестора и увидим, что все племена, у него исчисляемые, как ни общи его определения, размещаются не иначе как по нашим теперь исследованным княжествам», и потом

г. Погодин начинает приводить слова летописца: «*Словени пришедши и седоша по Днепру, и нарекошася поляне*» — это княжество Киевское. «А *друзии древляне*, зане седоша в лесех — также Киевское и Волынское». Да простит нам ученый автор, если мы тут же перервем его: где же можно видеть соответствие границ племен с границами княжеств, если княжество Киевское заключало в себе племя полян и часть племени древлян, Волынское — бужан и остальную часть древлян? Мысль г. Погодина тогда только была бы справедлива, если б княжество Киевское заключало в себе земли полян, Волынское — бужан, а для древлян составилось бы особое княжество.

Г. Погодин продолжает: ««А *друзии седоша межю Припятью и Двиною, и нарекошася дреговичи*» — это княжество Пинское и Туровское». Но, вероятно, автору известно, что в земле дреговичей, между Припятью и Двиною, находилось не одно княжество Пинское и Туровское; здесь находилось также и княжество Минское, примыкавшее с самого начала к княжеству Полоцкому; таким образом, и земля дреговичей, подобно земле древлян, не составляла особого княжества, но была разделена между разными княжествами. Далее, по мнению г. Погодина, княжество Смоленское соответствовало земле кривичей; но если б г. Погодин не увлекся своей мыслью и справился с летописями, то нашел бы, что княжество Смоленское заключало в себе и землю радимичей, живших на реке Соже. Потом г. Погодин утверждает, что княжества Черниговское и Северское соответствуют землям северян, севших на Десне, Семи и Суле; но неужели, по мнению автора, река Сула находилась в пределах Черниговского княжества? И какое, по его мнению, племя, кроме северян, вошло в состав Переяславского княжества? Радимичи и вятичи, говорит г. Погодин, вошли в состав того же Черниговского княжества; но где же тут будет соответствие границ племен границам княжеств, если три племени вошли в состав одного княжества? Притом уже замечено нами, что часть северян вошла в состав Переяславского княжества, а часть радимичей — в состав Смоленского? Наконец, хорваты, дулебы, уличи и тиверцы, говорит г. Погодин, вошли в состав Галицкого княжества. Удивительный способ доказательства — высказать положение и в доказательство его приводить факты, прямо ему противоречащие; сказать, что границы племен соответствуют границам княжеств, и доказывать наоборот, что обыкновенно или по нескольку племен входило в состав одного княжества, или одно племя разделялось по нескольким княжествам!

«Мы заключаем, — продолжает г. Погодин, — что племена славянские с своими городами и волостями разграничивались между собой еще до прибытия к ним князей варяго-русских», — и последующие княжества получили уже границы, так сказать, готовые. Но неужели Новгородское княжество, например, имело такие пределы, какие означены нами здесь до Ярослава? Не только до Ярослава, но я убедился в последнее время именно при географических исследованиях, что оно до Рюрика еще имело эти пределы; в летописях не видать, чтоб новгородцы завладели когда Волоком Ламским, Бежецком, Торжком; напротив, летописи за-

стают эти города за Новым городом в древнейшее время. *При князьях варяго-русских завоеваний новгородских, не зашедших в летописи, предположить мудрено, если [не] невозможно: некому было завоевывать*».

Относительно последних слов не скажем ничего от себя, но припомним г. Погодину то, что он сам говорил в третьем томе своих «Исследований» (стр. 159 и след.), когда нужно было ему опровергнуть г. Шегрена и доказать, что заволоцкие области были покорены *из Новгорода* при Владимире и Ярославе. Вот собственные слова г. Погодина: «По всем соображениям и историческим указаниям, согласно со всеми законами критики, необходимо предположить несколько предварительных походов, *почему бы то ни было не описанных в летописи*. Предположив походы, спрашиваю далее: в какое время поместить их можно вероятнее? Нельзя иначе, как к периоду Владимирову и Ярославову... Русь, водворившись в Киеве, ходила, как мы видели, во все стороны, верная своему норманскому характеру и происхождению. Каким образом можно было бы понять, что она, объехав все дальные берега Черного и Каспийского морей, исплавав по всем направлениям не только главные, но и побочные реки, и Днепр, и Дон, и Волгу, и Оку, оставила в покое именно одну сторону, то есть северо-восток?.. Молчанию скандинавских и наших летописей удивляться нечего с Шегреном: разве сказывают они, когда, например, Русь обложила данью даже ближайшую корсь, ливь, зимеголу и проч. ... Шегрен думает, что Ярослав занят был на юге. Нет, мы видели у него, равно как и у Владимира, много еще не занятых по летописи лет, когда эти князья или их мужи могли ходить на север».

Итак, если в третьем томе можно было при варяго-русских князьях ходить на север, было кому завоевывать, то почему в четвертом томе вдруг стало это невозможным? Притом почему непременно предполагать громкие завоевания, которые должны были вноситься в летопись, у кого могли завоевывать новгородцы Торжок, Волок, Бежецк? По всем вероятностям, здесь имело место мирное заселение пустынной страны.

Г. Погодин заключает статью следующими словами: «Заметим здесь мимоходом, что для обитателей нашего пространства, то есть Великой России, нет ни у Нестора, ни у последующих летописателей никаких имен племенных. Только вверху Протвы и Угры встречается люд голядь. На Ростове-озере и на Клещине-озере меря, в Муроме мурома — финские уже племена. Кто же здесь жил и под какими именами?» Не понимаем, в каких племенах нуждается автор для наполнения пространств Великой России, когда эти пространства наполняются совершенно известными нам племенами: поселения славян новгородских простирались к востоку до Волоколамска, на верховьях Протвы и Угры жило племя голядь, селения вятичей простирались, бесспорно, до впадения Лопасни в Оку, потому что, как видно, все вятичи принадлежали к Черниговскому княжеству, а Лопасня была пограничным городом Черниговского княжества с Суздальским, но селения вятичей должны были уже соприкасаться с селениями финских племен, потому что в Бронницком уезде Московской губернии находим реку Мерскую или Нерскую, которая именем своим ясно показывает, что протекала через

старинную землю мери: какие же теперь пространства Великой России останутся, по мнению г. Погодина, ненаполненными? Касательно племени голядей заметим, кстати, что это имя как местное встречается в XVII веке; так, читаем не раз в дворцовых разрядах, что царь Михаил Феодорович, отправляясь на богомолье к Николе-на-Угрешу, обыкновенно оставался обедать на *Голедях*.

Глава IV содержит в себе статью о *родах князей*, эту статью автор назвал *лекцией*. В конце он обращает на нее внимание молодых друзей истории: следовательно, ясно, для кого она назначена.

Глава V содержит в себе напечатанное когда-то в журнале исследование «О праве наследства между князьями». Г. Погодин выводит, что право старшинства было ограничено правом отчинным, что сын имел преимущественное право только на тот город, область или княжество, которое было во владении его отца. Согласимся сначала, что это положение справедливо, что оно объясняет все случаи нарушения порядка старшинства между князьями; но разве можно историку остановиться на этом? Заметив явление, что князь владеет только тем, чем владел отец его, что если какой-нибудь князь не владел Киевом, то сыновья его и все нисходящие лишаются права владеть этим городом, хотя бы им пришлось быть старшими в целом роде, историк обязан объяснить это явление. Путь к такому объяснению легок: стоит только спросить, на чем основывали князья право владения? Г. Погодин отвечает: «Мы видим, что *старшинство* действительно было основанием праву».

Но если владение было следствием старшинства, то каким образом оно, владение, в то же самое время могло быть причиной старшинства (ибо, по мнению г. Погодина, выходит, что князь мог быть великим, старшим князем тогда только, когда отец его владел Киевом)? Для избежания такой сбивчивости необходимо отделить родовые счеты и права по старшинству от прав по владению, ибо владение было следствием родовых счетов и прав и с своей стороны никак не могло определять этих прав. Старшинство было основанием праву владеть старшим столом, Киевом: ясно, следовательно, что если князь не мог владеть Киевом, если он терял право на владение, то это потому, что терял старшинство. Каким же образом могло случиться, что князь не достигал старшинства? Для решения этого вопроса должно посмотреть, каким образом князь достигал старшинства, приближался к нему. Первоначально род состоял из отца, сыновей и внуков (правнуков и т. п.) — внук-унук, юнук, юнак, молодой, малолетний по преимуществу; когда отец умирал, его место для рода заступал старший брат; он становился отцом для младших братьев, вследствие чего его собственные сыновья становились братьями дядьям своим, переходили из внуков в сыновья, из малолетних в совершеннолетние, ибо над ними не было более деда, старшина рода был для них прямо отец; но остальные их двоюродные братья оставались по-прежнему внуками, малолетними, ибо над ними по-прежнему стояли две степени, старший дядя считался отцом их отцам, следовательно, имел для них значение деда; умирал этот старший дед, второй брат заступал его место, становился отцом для остальных

младших братьев, и его дети переходили из внуков в сыновья, из малолетних в совершеннолетние, и таким образом, мало-помалу, все молодые князья чрез старшинство своих отцов достигали совершеннолетия и приближались сами к старшинству. Но случись при этом, что князь умирал, не будучи старшиной рода, отцом для своих братьев, то ясно, что дети его оставались навсегда на степени внуков, несовершеннолетних; для них прекращался путь к дальнейшему движению; отсюда теперь понятно, что сын никогда не мог достигнуть старшинства, если отец его никогда не был старшиной рода, великим князем.

Г. Погодин говорит, что в удельной системе было отчинное право, что сын имел право только на тот город, область, или княжество, которое было во владении его отца, и этим предположением объясняет то явление, что внуки Ярослава I от сыновей его Владимира, Вячеслава, Игоря, которых отцы умерли не владея Киевом, не могли получить этого стола; но теперь, допустив вотчинное право, право, по которому сын мог владеть тем, чем владел его отец, как объяснить то явление, что означенные внуки Ярослава не только не владели Киевом, но и теми княжествами, которыми владели их отцы? Владимир умер, княжа в Новгороде, а не в Киеве; положим, что сын его Ростислав не имел права на последний город, но зато он имел полное право оставаться княжить в Новгороде, которым его отец владел; то же самое должно сказать и о Борисе Вячеславиче, который имел полное право оставаться после отца князем в Смоленске, и о Давиде Игоревиче, который имел право оставаться после отца княжить во Владимире Волынском; но мы этого не видим.

Дело в том, что при господстве родовых отношений между князьями о вотчинном праве вообще не может быть речи: князья считали всю Русскую Землю своей отчиной, владели ею сообща, старший в роде сидел на главном столе, его смерть производила повсеместное движение, перемещение князей из одной волости в другую, смотря по степени приближения их к старшинству; при таком порядке вещей могла ли существовать отчинность вообще? Могли ли князья стремиться удерживать известные волости навсегда за собой и за своими потомками? Отчины, в смысле отдельных владений, не выходивших из известной княжеской линии, могли явиться и действительно явились только вследствие *изгойства*, то есть вследствие вышеозначенного лишения права на старшинство; если князь, лишившись права на старшинство вследствие преждевременной смерти или изгнания отца своего, получал от родичей какую-нибудь волость, то эта волость уже оставалась навсегда за ним и потомством его именно потому, что он не мог двигаться вместе с другими родичами к старшинству и вследствие того менять волости; так образовались отдельные волости — Полоцкая, Галицкая, Рязанская, Туровская; потомки Всеволода Ярославича хотели, чтоб и Черниговская волость получила такое же значение относительно потомков Святослава Ярославича, то есть чтоб последние, как потерявшие право на старшинство, ограничились одним Черниговом и не искали Киева; но Святославичи, считая отнятие старшинства у предков своих

насильственным, незаконным, не перестают до самого конца считать своею *отчиной всю* Русскую Землю и ведут за это беспрестанные войны с Мономаховичами. «Мы все внуки одного деда», — говорят они.

Об отношениях Святославичей г. Погодин говорит следующее: «Потомство Святослава было старшее, но Святослав владел Киевом не по праву, а как похититель, при жизни старшего брата Изяслава, который и даже после его кончины опять получил Киев. Его княжения как будто не бывало, говоря по праву. Киев, следовательно, за преждевременное *пользонаслаждение* не должен уже был принадлежать его потомству, которое, таким образом, утратило свое право».

С этим объяснением дела не можем согласиться по следующим причинам: Изяслав был изгнан не одним Святославом, но Святославом и Всеволодом вместе; Всеволод признавал изгнание Изяслава справедливым, признавал старшинство Святослава до самой смерти последнего; каким же образом потомки Всеволода могли считать это старшинство незаконным? В таком случае они обвиняли бы своего предка как участника в беззаконии. Разве мы не видим впоследствии, что Всеволодовичи, домогаясь отнять у Святославичей право на старшинство, ни слова не говорят о беззаконном старшинстве Святослава, а выставляют только какое-то завещание Ярослава I, по которому князья восточных областей не должны были вступаться в западные. Ясно, что у Всеволодовичей не было никакого права исключить Святославичей из старшинства, что они, пользуясь правом сильного, выставляли только странные предлоги; но если сами Всеволодовичи не могли найти никакого сколько-нибудь справедливого основания вытеснять Святославичей из старшинства, то думаем, что исследователь XIX века будет напрасно искать этого основания.

«Этого мало, — продолжает г. Погодин, — был, кажется, особый закон, по которому князь за вину лишался своего удела, как в подобном случае боярин отвечал головой. Этот же закон, вероятно, Изяслав и Всеволод распространяли и на племянников своих, Святославичей, которых хотели было лишить, кажется, и вовсе уделов и исполнили то на несколько времени». Повторяем, что если Святослав и его потомство были виновны в похищении старшинства у Изяслава, то в этом точно так же был виноват Всеволод и его потомство. Несмотря на шаткость своих объяснений, г. Погодин заключает утвердительно: «*Несомненно,* что Святославово потомство лишилось прав на Киев. Потому-то, после смерти Святополка, Мономах занял престол Киевский, а не Олег». Но дело в том, что Мономах, по смерти Святополка, не хотел идти в Киев и был принужден к тому. Это нежелание Мономаха так странно, что Карамзин счел нужным прибавить объяснение: «Вероятно, что он боялся оскорбить Святославичей, которые, будучи детьми старшего Ярославова сына, по тогдашнему обыкновению, долженствовали наследовать престол великокняжеский». Г. Погодин возражает на это замечание: «Из летописи не видим, чтоб Володимер отказывался: он только не шел немедленно; следовательно, кажется, нет нужды и объяснять его отказ». На это заметим, что, во-первых, уже из летописи, из тона второго посольства

киевского, видно, что последние предполагали в Мономахе не одну только медленность; во-вторых, в своде летописей Татищева находим прямое указание, что киевские смуты происходили именно от нежелания большинства граждан иметь князем Святославича, тогда как некоторые поддерживали права его: киевляне разграбили двор тысяцкого Путяты, потому что Путята был на стороне Святославичей. Так как г. Погодин не разделяет предубеждений против Татищева, то это свидетельство должно быть для него убедительно. Теперь, когда Мономах принял старшинство мимо старших сыновей Святослава, когда последние умерли, не будучи старшими в роде, то сыновья их, внуки Святослава, лишились уже права на старшинство, и Вячеслав Владимирович Мономашич имел основание говорить Всеволоду Ольговичу, внуку Святославову, что он, Вячеслав, принял старшинство после братьев своих по праву, по завещанию отцов, а Всеволод оставил свою *отчину* и вступается в чужое. Но внуки Святослава, как уже выше было заключено, считали исключение отцов своих из старшинства незаконным, насильственным, и потому искали первого случая восстановить свои права, что и удалось Всеволоду Ольговичу; он держал старшинство, вследствие чего его нисходящие, сын и внуки, не могли быть исключены из него и точно владели Киевом: Всеволодовичи не могли говорить им, что они не имеют права на старшинство; но Давидовичу Изяславу Юрий Долгорукий имел право говорить: «Мне отчина Киев, а не тебе».

До самого конца Мономаховичи и Ольговичи считают *всю* Русскую Землю своей отчиной, и ни одной волости не считают своей исключительной отчиной; самым поразительным доказательством тому служит ряд, договор между Рюриком Ростиславичем — Мономаховичем и Всеволодом Святославичем — Ольговичем в 1210 году; по этому ряду они поменялись волостьми: Всеволод сел в Киеве, а Рюрик в Чернигове, где и умер в 1215 году. Вот как наши князья обращали внимание на отчинность! Ни отец, ни дед Рюрика не владели Черниговом. После этого на каком же основании г. Погодин утверждает, что Чернигов оставался *всегда* в роде Святослава?

Старшинство было основанием праву на владение; степень, какую занимал князь в родовой лестнице, условливала волость, какой он должен был пользоваться. Если князь занимал в своем поколении то же самое место по старшинству, какое занимал отец его в предыдущем поколении, то он должен был владеть той же самой волостью, какой владел отец его, то есть какая соответствовала этой степени старшинства; эта волость была его *отчина*, но в каком смысле? Вовсе не в том, чтоб эта волость оставалась навсегда во владении его рода. Например, Святослав был второй сын Ярослава I; этой второй степени соответствовала Черниговская волость, Святослав княжил в Чернигове. Когда, по изгнании Изяслава, Святослав принял старшинство, подвинулся степенью выше, то перешел в Киев, который точно так же был его отчиной, как и Чернигов, ни больше ни меньше; ибо как Киев он не мог оставить немедленно в своей линии, передать сыну, точно так же он не мог этого сделать и с Черниговом: Чернигов достался третьему его брату, Всеволо-

ду, который перешел туда из Переяславля, следовательно, Чернигов вышел из Святославовой линии, перешел в другую и, несмотря на то, оставался для всех Святославичей отчиной, точно так же как и Киев; и вот когда первое поколение князей вымерло, когда после родных братьев выступили на сцену сыновья их, братья двоюродные, то сын Святослава, получивший относительно своих двоюродных братьев то же самое значение, какое отец его имел относительно их отцов, то есть получив вторую степень на родовой лестнице, мог владеть только Черниговом; это была его отчина, он не мог согласиться взять другую волость, худшую — например, Переяславль или Волынь: это было бы для него унижением.

Одним словом, для Святославичей, потомков второго сына Ярославова, *отчинами* могли быть только две волости, Киевская и Черниговская, потому что только эти две волости соответствовали степени их старшинства на родовой лестнице: эта степень была *вторая*; второй степени соответствовал Чернигов, и второй степени можно было перейти только на первую; Чернигов можно было сменить только на Киев. Но, повторяем, из этого нисколько не следует, чтоб Чернигов находился всегда в линии Святослава, ибо волость соответствовала всегда степени старшинства, а степени старшинства были переходные при единстве рода; когда Святославич получал первую степень старшинства (Киев), тогда вторая степень доставалась Всеволодовичу, который поэтому необходимо должен был получить Чернигов, и этот город был также его отчиной, даже по объяснению г. Погодина, ибо Всеволод владел Черниговом. Если для Святославича отчиной были только две волости, Киевская и Черниговская, то для Всеволодовича — три: Киевская, Черниговская и Переяславская. Одним словом, чем моложе была линия, *племя* княжеское, тем больше число волостей было его отчинами, тем больший круг оно должно было делать для достижения первой степени.

Что *отчины* княжеские именно имели такое значение, а не значение волостей, никогда не выходивших из одного рода, доказательством служит волость Черниговская: сначала мы видим, что она переходит от одной линии к другой, смотря по движению к старшинству — от Святослава переходит к Всеволоду; потом этому переходу Чернигова в линию Всеволода мешает случайное обстоятельство — именно насильственное исключение Святославичей из старшинства, вследствие чего Всеволодовичи не хотят считаться с ними степенями, требуют, чтоб они считали своей отчиной один Чернигов; наконец, когда Всеволодовичи принуждены были снова признать право Святославичей на первую степень старшинства, когда опять начали считаться с ними, то Чернигов опять получил возможность перейти в Всеволодову линию и действительно одно время был во владении Рюрика Ростиславича.

Далее г. Погодин для объяснения престолонаследия в так называемый период уделов приводит позднейшие местнические счеты, по которым племянник от старшего брата мог быть старше своих младших дядей Прибегнуть к местничеству заставила г Погодина, по его соб-

ственным словам, скудость летописных известий: «Мудрено, если не невозможно, отыскивать эти правила по нашим летописям, слишком скупым на подобные объяснения. Летописатели опускали их без внимания, как ненужные и общеизвестные». Этот упрек летописям сделан напрасно: в летописи находим ясное свидетельство, что в рассматриваемый период старшинство всех дядей над всеми племянниками признавалось и что на нарушение этого права смотрели как на беззаконие. Так, летописец укоряет Ростиславичей северных, что они хотели занять Ростовскую область мимо дядей (самых младших) Михаила и Всеволода и не честили старшего брата: «Потом же Михалко и Всеволод поехаста в Володимирь, с славой и честью великой, Богу наказавшю князе креста не переступати и *старейшего брата честити*» (Ипатьев. 118). Так, Изяслав Мстиславич в борьбе с дядей не задевал господствующего понятия и основывал свои права не на старшинстве старшего племянника, а на дурном характере дяди; говорил, что старшинство принадлежит дяде Юрию, и под конец признал старшинство дяди Вячеслава. Так, Юрий, четвертый дядя, торжествует над сыновьями старшего из Мономаховичей и получает великокняжеское достоинство; сын его, Андрей, торжествует над Мстиславом Изяславичем, старшим сыном старшего из двоюродных братьев, и Ростиславичи признают его отцом. Мало того: брат его, Всеволод III, самый младший сын четвертого Мономаховича, признается младшим от Ростиславичей, внуков самого старшего из потомков Всеволода. Из этих свидетельств ясно, что в рассматриваемом периоде *права* на старшинство некоторых племянников перед дядьми предполагать нельзя, как предполагает г. Погодин.

В VI главе помещено исследование «О достоинстве великого князя и об отношениях его к прочим князьям». Эта статья начинается очень любопытными строками:

«Ни один народ не показывает такого отвращения к форме, как русский, ни в одной истории не встречается такой недоверчивости, неуважения к форме, как в русской, — вот почему так мало находится у нас определенного, положительного; что хотят теперь выдумать молодые, неопытные исследователи и тем стереть, по крайней мере для своих читателей, некоторые из отличительных признаков русской истории. В чем состояло то или другое звание, право, мы можем большей частью отыскивать только по действиям, сколько их осталось, a posteriori, в случаях. Постараемся отыскать так значение князя. Предупреждаю, что я принимаю на себя теперь отыскать это значение только по летописям. Пусть другие присоединят грамоты; третьи, основываясь на приготовленных нами результатах, представят свои соображения, оденут кости кровью и плотью, чего я, в настоящем своем исследовании, на себя не беру. Критика должна очистить материалы. Я здесь только критик. Наука пусть воспользуется ими после и переработает (рассуждение), а искусство воссоздаст. Я повторяю — но надо повторять, потому что эти понятия у нас затеряны, или не распространены, или забываются»

Проследив по летописям все действительные отношения великого князя, г. Погодин выводит следующее заключение о его достоинстве:

«Это было именное старшинство, почетное титло, завидное владение, особенно сначала, когда силы у него было больше, волость обширнее, дружина многочисленнее, земля обильнее и богаче, и *ничего более*. По завещанию Ярославову, князь Киевский должен был быть «в отца место» меньшим своим братьям, прочим князьям. Отеческое влияние продолжалось недолго. Братья же вскоре восстали на Изяслава, старшего сына Ярославова. Никакой власти над ними он не имел. Еще более оказалось это во втором после них поколении и следующих. Князю Киевскому не было никакого дела, что происходило в Чернигове, Галиче или Полоцке. Все князья совершенно от него не зависели. Ни о каких правах и преимуществах помину нет нигде. Он имел влияние только на князей, живших в пределах его собственного, то есть Киевского, княжества, где он распоряжался уделами: раздавал кому хотел; разумеется, согласно с древними обычаями, и отбирал. Остальная власть великого князя условливалась совершенно личными его качествами и обстоятельствами, в коих он находился. Если случалось великому князю быть умнее других, иметь искусство воспользоваться своей силой, тогда он повелевал ими».

В этом определении прежде всего поразили нас следующие слова: «Ни о каких правах и преимуществах (великого князя) помину нет нигде». Развернем летопись: там под 1195 годом читаем: «А ты, брате, в Володимери племени старей еси нас, а думай, гадай о Русской Земли и о своей чести и о нашей». Или: «Велми рад, господине отце (говорит племянник дяде), имею тя отцем господином, якоже и брат мой имел тя и в твоей воле был». Или: «А ты мене старей, ты мя с ним и суди». Или: «Брате! Кланяютися, ты еси мене старей, а како ты угадаеши, а яз в том готов есмь; аже, брате, на мне честь покладываешь, то яз, бых, брате, тако рекл» и проч. Но довольно — из рассмотрения свидетельств, подобных приведенным, и всех действий княжеских исследователи давно уже вывели *положительное* заключение, что между нашими древними князьями господствовали *родовые* отношения, что власть великого князя была власть отцовская, что эта власть была обширна и крепка в том случае, когда великий князь был в самом деле отцом остальным князьям, но что она ослабевала с постепенным ослаблением кровной связи, когда род размножался, когда великий князь для боковых линий был отцом только номинально.

Дальний родственник говорил великому князю: «Ты мне будь отцом, а я тебе буду сыном; ты меня люби, как сына, как свою душу, а я тебе буду повиноваться, как отцу, ездить подле твоего стремени, смотреть на тебя», но ясно, что такого рода отношения могли существовать между ними только до тех пор, пока младший видел, то есть пока ему казалось, что названый отец действительно поступал с ним по-отцовски; но как же скоро ему показалось в поступках последнего что-нибудь неродственное, то родственные отношения сейчас же исчезали, а с тем вместе

исчезала всякая связь, всякое подчинение и происходили родовые усобицы. Родственные отношения не требуют точнейших определений: кому не известно, какие должны быть отношения между отцом и сыном? Это отсутствие точнейших определений некоторым, и в том числе г. Погодину, показалось отсутствием всяких форм, характеризующим русский народ, русскую историю; но разве это не определение отношений: «Будь мне отцом, а я тебе буду сыном»? Разве это не форма?

После, когда родовые отношения начали ослабевать, переходить в государственные, явилась потребность определить с точностью отношения между великим князем и удельными: тогда мы видим целый ряд грамот и договоров, написанных с этой целью. Так бывает всегда в жизни народов: когда общество юно, когда все отправления его просты, тогда мы встречаем мало точных определений и форм; когда же общество начинает возрастать, государственный механизм усложняется, тогда все более и более чувствуется потребность в точнейших определениях, количество форм умножается; так было и в нашей истории. После этого вправе ли исследователь характеристическую черту всякого юного, новорожденного общества делать характеристической чертой народа, всей его истории? Это показывает только, что исследователь знаком с одним начальным периодом истории известного народа и имеет очень неясное понятие о последующих ее периодах, равно как и об общих исторических законах. Г. Погодин говорит, что он объясняет значение великого князя только по летописям, что пусть другие присоединят грамоты, третьи представят свои соображения. Но уже давно исследователи, и на основании летописей, и на основании грамот, пришли к положительным выводам, что вначале между нашими князьями господствовали родовые отношения, постепенно переходившие в государственные; и вследствие этих выводов получили смысл такие явления, которые до тех пор слыли непонятными; а теперь г. Погодин представляет нам одни *отрицательные* выводы, будто бы не было никакого значения, никакой связи, никакого определения отношений, ничего положительного, и все это будто бы оттого, что русский народ показывает отвращение к форме! Думаем, что с таким отрицательным направлением изучение отечественной истории не может подвинуться вперед.

Глава VII содержит в себе исследование «Об отношениях князей между собой». В предыдущем исследовании г. Погодин старался из каждой волости сделать наследственное владение, отчину для одной какой-нибудь линии Ярославова потомства; при таком распределении отчин ему необходимо должен был представиться вопрос: где же была отчина самой старшей линии, линии Изяслава? Надобно найти отчину Изяславичам — и г. Погодин полагает, что эта отчина была Туров; основанием послужили ему слова некоторых списков летописи, в которых говорится, что во время смерти Ярослава I старший сын его, Изяслав, княжил в Турове; но зато в других списках находится известие, что Изяслав княжил в это время в Новгороде. Г. Погодин отвергает послед-

нее чтение, обвиняя г. Бередникова, зачем он внес в текст известие летописей новейших, а известия о Турове, находящиеся в списках Ипатьевском и Хлебниковском, поместил в вариантах.

В самом деле, г. Бередников выразился об этом различии в чтениях не совсем ясно; желательно было бы, чтоб он принял на себя труд сказать определительнее, что заставило его предпочесть чтение: «в Новгороде» чтению: «в Турове». До тех пор мы не будем спешить обвинять г. Бередникова, тем более что Карамзин также читал: «в Новгороде». Но если бы даже чтение: «в Новгороде» и точно было чтением позднейших списков, а чтение: «в Турове» древнейших, то это *одно* обстоятельство еще нисколько не могло бы решить дела в пользу последнего: позднейшие списки могли быть списаны с древнейших и вернейших; надобно, следовательно, по историческим данным определить, какое чтение будет вернее. Изяслав был старший сын Ярослава; но мы видим изначала, что старшие сыновья великих князей обыкновенно сидят в Новгороде. Так, Владимир св. посадил в Новгороде старшего сына своего Вышеслава, и когда тот умер, то перевел на его место Ярослава. Здесь сначала встречается затруднение: почему же, по смерти Вышеслава, Владимир перевел в Новгород не следующего за ним по старшинству Святополка, который княжил в Турове? Это затруднение отстраняется свидетельством Дитмара, что в это время Святополк находился во вражде с своим отцом, и даже в заключении. Ярослав, севши в Киеве, посылает в Новгород старшего сына своего, Владимира, и когда тот умер, его место должен был занять старший по нем — Изяслав; и вот мы в самом деле читаем в летописях, что Изяслав княжил в Новгороде во время предсмертной болезни отца своего.

Что Туров, напротив, не мог быть отчиной Изяслава и детей его в том смысле, в каком хочет этого г. Погодин, доказывается тем, что во время княжения Изяслава в Киеве старший сын его Святополк сидит в Новгороде, а не в Турове, второй сын, Ярополк, сидит в Вышгороде, а не в Турове; Святополк остается в Новгороде и во время княжения Всеволода, а младшему брату его, Ярополку, последний дает Владимир Волынский и *в придачу* Туров — ясное доказательство, что этот город не был наследственным достоянием Изяславова потомства, а зависел от распоряжения великого князя. Понятно, что г. Погодину не нравится это известие о распоряжении Всеволода и он хочет переменить смысл летописи. «Ярополк, — говорит он, — верно владел Туровым, а Всеволод посадил его в Володимире, придав к Турову». Но мы не можем предоставить автору права изменять смысл летописей в угоду любимой мысли. Перед смертью Всеволода Святополк переходит из Новгорода на юг, поближе к Киеву, в Туров, и там, как ближайший наследник старшинства, дожидается дядиной смерти, точно так же сделал после Мономахов сын Мстислав, перейдя перед отцовой смертью из Новгорода поближе к Киеву, в Белгород.

Г. Погодин приводит в свою пользу слова Давида Игоревича Святополку: «Аще ти отъидеть (Василько) в свою волость, да узришь —

аще ти не заиметь град твоих Турова и Пиньска». Но города Туров и Пинск были необходимо Святополковы, потому что они составляли часть Киевского княжества, которым тогда владел Святополк; доказательством тому служат слова Всеволода Ольговича Вячеславу Владимировичу, который владел Туровом: *«Седиши в Киевской области, а мне достоить»*. Г. Погодин говорит: «Важное затруднение представляется при рассмотрении этого деления (между сыновьями Ярослава): что же должно было быть отчиной старшему Ярославову сыну Изяславу? На что имели право его дети по смерти отца, когда киевский стол должен был достаться их дяде, черниговскому князю Святославу?» Не понимаем, для чего автор затрудняет себя вопросами, прямые ответы на которые дает нам летопись: по смерти Изяслава в Киеве начал княжить брат его Всеволод. Что же досталось сыновьям Изяславовым? На это летопись прямо отвечает, что один Изяславов сын княжил в Новгороде, а другой — во Владимире-Волынском.

Г. Погодин вообще в разбираемом томе «Исследований» обнаруживает неудовольствие на летописи, находит пропуски, недомолвки, искажения там, где нет ничего подобного; старается дополнять известия там, где это вовсе не нужно; так, к известным по летописи распоряжениям князей на Любецком съезде г. Погодин прибавляет, что на этом съезде Олегу дан Курск, который будто бы прежде принадлежал к Переяславскому княжеству. Утверждая это, г. Погодин основывается на том, что сын Мономаха, Изяслав, из Курска пришел и занял Муром, город Святославичей; но г. Погодин не обратил здесь внимания на то, что в это время была открытая война между Мономахом и Олегом, что сын Мономаха вооруженной рукой забирал волости Олеговы; сперва взял Курск, а потом из Курска пришел к Мурому. В летописи прямо сказано, что основанием княжеских распоряжений на Любецком съезде была отчинность: князья положили, чтоб каждый из них владел тем, чем владел отец его; но г. Погодин в своем нерасположении к летописям хочет непременно, чтоб основание распорядка было нарушено, чтоб Мономах отступился от отцовского города и отдал его Олегу. Мнения г. Погодина о дальнейшей судьбе Курска справедливы; но вот что странно: мнения эти нашли мы в книге, изданной тому года три назад и которую тогда господин Погодин называл исполненной резонёрства и не имеющей никакого значения в науке...

Наш разбор кончен. Надеемся, что мы удовлетворили желанию автора, который требовал от своих рецензентов проверки исследований из страницы в страницу, по летописям, указания, что пропущено нужное, что не принято к соображению противоречащее, что приведено лишнее и проч. Надеемся также, что мы исполнили свою обязанность и в отношении к другим читателям, которые из нашего разбора могут усмотреть, во сколько настоящее значение новых трудов г. Погодина соответствует тому значению, какое предполагает в них сам автор.

СПОР О СЕЛЬСКОЙ ОБЩИНЕ.
Рецензия на статью Б. Н. Чичерина*

Г. Чичерин в статье своей «Обзор исторического развития сельской общины в России» затронул один из самых любопытных вопросов нашей истории. Он выступил во имя требований исторической науки, объявивши, что «одного наглядного изучения современного быта недостаточно для понимания вопроса о сельской общине. Чтоб иметь возможность вникнуть в самую его основу и в коренные начала учреждений, необходимо исследовать их происхождение, необходимо изучение историческое. Тогда только наблюдатель стоит на твердой почве и не подвергается опасности быть обманутым внешней обстановкой и призрачными сходствами; тогда только добытые им результаты могут иметь характер положительной истины».

Из одного наглядного изучения современного быта, без спроса с историей образовался, по мнению г. Чичерина, взгляд барона Гакстгаузена на русскую сельскую общину, именно что она по своим отличительным чертам, общему земельному владению, возобновлению раздела земель, есть община патриархальная, или родовая, то есть проистекшая из отношений родственных и сложившаяся по этому типу, и что такая община составляет характеристическую особенность славянского племени. Новые исследования дали г. Чичерину право назвать неправильным мнение, будто бы родовая, или патриархальная, община составляет исключительную принадлежность славянского племени: это — начало, принадлежащее древней истории человечества. Что касается до России, то у нас нет положительных известий о древнейшем общинном устройстве. Но общая аналогия и ближайшее родство с другими славянскими племенами делают весьма вероятным предположение, что и у нас существовали те же гражданские формы, как у других. Самое разделение русских славян на племена указывает на господство естественной, кровной связи между людьми. Где народное единство основывается на союзе племенном, там все гражданские отношения вытекают из отношений естественных, или патриархальных. С племенем неразлучен и род, эта меньшая его единица. А где есть род, там есть и родовая собственность. Это общий факт, который получает подтверждение и в русской истории. Нераздельная собственность, какую мы видим первоначально в княжеском роде, дает нам право думать, что то же существовало и в остальных. Притом же у нас до сих пор сохранились остатки родовой собственности в выкупе родовых имуществ. Это право не было введено законодательством; закон не может создать родственных союзов и отношений, не существующих в правах, а здесь именно указание на род как на союз, имеющий совокупное право на имущество каждого из своих членов.

Поэтому нельзя сомневаться в том, что и славяне, впоследствии образовавшие Русское государство, первоначально отправились от соб-

* Русский вестник. 1856. Т. 6. № 11 Кн. 2 С. 285—304; Т 6. № 12 Кн 2 С. 192—196

ственности родовой, или патриархальной. Но затем представляется вопрос: сохранились ли до сих пор наши сельские общины в том патриархальном, младенческом состоянии, в каком они были десять веков тому назад? Неужели они так же мало подвинулись вперед, как сербы и болгары, которых история почти не коснулась? Неужели, как утверждает барон Гакстгаузен, русская история играла только на поверхности народа, не касаясь низших классов народонаселения, которые остались доныне при своих первобытных гражданских учреждениях? Вот вопросы, которые необходимо разрешить для подтверждения патриархального характера русской общины и на которые, однако же, при малейшем знакомстве с историческими данными нельзя не отвечать отрицательно.

Так поставлен вопрос автором. Русская сельская община не могла сохраниться в своем первоначальном виде, в виде патриархальной, родовой общины, ибо с самого начала истории мы видим явления, которые должны были действовать разрушительно на родовые формы быта: «Патриархальная община может удержаться в истории только при однородности жизненных элементов общества, когда в быт не вторгаются новые стихии, разлагающие прежние родственные отношения. А такие-то именно стихии появились в русской жизни с нашествием западных дружин, и преимущественно варягов (?). Дружина держалась на началах, совершенно противоположных прежним родственно-общинным отношениям. Она была составлена из людей чуждых друг другу, соединенных одними личными целями и заключивших между собой союз, основанный на доброй воле каждого. В нее принимался всякий пришлец, в ней старшинство определялось воинской силой и отвагой. И она-то призвана была играть в России первую роль; принесенные ею начала, расширяясь и развиваясь, обняли наконец все общественные отношения народа, так что мало осталось места для прежних родовых союзов».

Казалось бы, что трудно было возразить против положения о влиянии князей и дружин их, явившихся среди восточных славянских племен с половины IX века. Однако возражение нашлось: родовой быт восточных славян, объявил возражатель, рушился задолго до прибытия Рюрика, рушился вследствие влияния финнов и латышей, с которыми столкнулись славяне[1].

Это возражение принадлежит к числу тех отчаянных средств, употребление которых доказывает полное бессилие стороны, желающей отвергнуть важное историческое значение у нас родового быта. Что касается до истории вопроса о родовом быте, то известно, что было время, и очень недавно, когда люди, теперь так яростно восстающие против родового быта и провозглашающие исконное, исключительное господство быта общинного, были вместе с другими убеждены и провозглашали, что патриархальный, родовой быт есть господствующее отличие славян, а следовательно, и русских и приводимое г. Чичериным

[1] «Русская беседа». Статья г. Беляева // *Беляев И. Д.* О сельской общине // Русская беседа. 1856 Кн. 1.

положение Гакстгаузена о родовой сельской общине в России вытекло прямо из этих туземных убеждений и провозглашений.

Но когда наука, мужая все более и более, от вопросов о происхождении варягов и т. п. перешла к важным вопросам о внутреннем быте, то, разумеется, прежде всего она должна была заняться вопросом о родовом быте, его значении и борьбе, которую он должен был вести с противоположными ему началами. Простые выводы, сделанные наукой, не понравились людям, которые прежде, при тумане, еще не разогнанном наукой, подозревали чудеса; разоблаченный родовой быт явился пред ними несостоятельным, обманул их ожидания; они на него рассердились и определили изгладить его на страницах русской и вообще славянской истории, а на его место поставить общину договорную, которая бы явилась и развивалась не вследствие известных исторических обстоятельств, но явилась бы в доисторические времена, сама собой как произведение славянского духа. Некоторые принялись с жаром за подвиг; но успех не соответствовал усилиям: все натяжки, употребленные с целью перетолковать по-своему ясные свидетельства о родовом быте у славян западных и восточных, рушились без большого труда со стороны защитников родового быта[2].

Теперь г. Беляев, возражая г. Чичерину, уступает, говорит, что родовой быт существовал у восточных славян, но исчез до Рюрика. Какую выгоду для себя получат противники родового быта от этого положения — мы не знаем; но до этого нам и нет дела: для нас важно только, на чем основывается это положение. Нам говорят, что родовой быт восточных славян рушился вследствие столкновения их с финнами и латышами; спрашиваем, где свидетельства на это? Их нет; спрашиваем, где возможность этого явления? И ее не видим: каким образом народ, живущий под формами родового быта, может действовать на разрушение этого быта у своих соседей? Какими великими историческими деятелями являются финны и латыши! До сих пор думали, что эти племена постоянно подчинялись и подчиняются формам быта русских людей, формам высшим; но теперь нам открыли, что финны и латыши — виновники русского общинного быта! Другим народам должно быть завидно; особенно должно быть завидно гуннам, аварам, козарам, печенегам и половцам.

Есть люди небрезгливые в выборе средств для защиты своей любимой мысли: хотя бы финны и латыши, только бы разрушили родовой быт, перевели его в общинный! Но иногда эта небрезгливость не приносит всей ожидаемой от нее пользы. Опровергая мнения г. Чичерина, тот же возражатель говорит: «Причина, почему община не распадалась совершенно, заключалась не в хозяйственной цели, а лежала гораздо глубже, именно: в самом духе народа, в складе русского ума, который не любит и не понимает жизни вне общины, который даже в своей родной кровной семье хочет видеть общину, товарищество. Этот-то народный

[2] См Дополнение к IV тому «Истории России» // Следует читать Дополнение ко II тому «Истории России» // Кн I С 649—665 настоящего издания

дух развил общину в русской жизни, постоянно поддерживал ее с незапамятных времен и поддерживает в настоящее время».

Но если община есть произведение нашего народного духа, если русский человек не может жить вне общины, то как же было время, когда предки наши жили под формами родового быта и были выведены из него только благодаря финнам и латышам? Значит, предки не обладали тем духом, тем складом ума, которыми возобладали потомки, благодаря финнам и латышам! Если же ослабление родового быта и появление другого общественного строя среди восточных славян требовали необходимо возбуждения извне, столкновения с другими народами, то для чего эти произвольные, ни на чем не основанные передвижки эпох, к чему это предпочтение финнов и латышей дружинам, явившимся во второй половине IX века, которых могущественное влияние ясно и несомненно?

Но перейдем к важнейшему, к исследованию г. Чичерина, посмотрим, как он объясняет происхождение поземельных отношений в России: «Князь пришел с дружиной на север как посредник, а на юге и в большей части России явился завоевателем. Силой оружия приобрел он себе земли, и этим самым получил возможность сделаться впоследствии единодержавным государем. Дружинники были ближайшими его помощниками, и потому они вместе с ним приобрели поземельную собственность. Общинной же земли, как увидим ниже, в княжеских владениях не осталось; вместо прежней патриархальной общинной собственности является собственность князя и его дружины. Община родовая превратилась во владельческую, в которой был один частный собственник, да были пришлые люди, сидевшие на его земле. Но владельческое значение князя *в особенности развилось* с того времени, как князья сделались оседлыми в своих областях. Земля называется их вотчиной, и сами они носят название вотчинников... Вся земля принадлежала князю и называлась его вотчиной; но рядом с ним являются и другие свободные собственники; прежде всего, как самые многочисленные, потомки дружинников, бояре и слуги; затем церковь, приобретшая значительные имения вследствие пожертвований и покупок. Принадлежавшие им земли, хотя как увидим не все, назывались белыми, то есть свободными от податей и повинностей, взимаемых князем с тех людей, которые поселялись на собственной его земле. Остальные принадлежали князю, но делились также на два разряда: на дворцовые и черные. Первые составляли ту часть хозяйственного управления, которую князь отделял себе для снабжения дворца всеми необходимыми потребностями; вторая оставалась в полном обладании свободных поселенцев, которые только обязаны были платить с них князю известное тягло. Дворцовые имения принадлежали, следственно, к одному разряду с владениями княжеских слуг и церквей. То были собственно имения владельческие, где присутствовал хозяин с своими вотчинными правами и вотчинным управлением. Черные же волости оставались свободными общинами, поселенными на чужой земле, за пользование которой жители несли только известные повинности в пользу землевладельца».

Силой оружия князь приобрел себе землю; дружинники, как ближайшие помощники, приобрели вместе с ним поземельную собственность, общинной земли в княжеских владениях не осталось. Вот главные положения г. Чичерина. Но высказывая эти положения, он счел своей обязанностью оговориться: «Владельческое значение князя в особенности развилось с того времени, как князья сделались оседлыми в своих областях». Потом, отвечая возражателю, г. Чичерин говорит: «Имевши в виду изложить постепенные изменения во внутренних учреждениях сельских общин, преимущественно с того времени, как у нас сохранились об этом известия, я считал совершенно лишним следить за постепенным ходом русской истории, я хотел только в общих чертах характеризовать ту почву, на которой возникли сельские общины, и обозначить те существенные явления, которые могли служить к объяснению их устройства. Поэтому, раньше ли, позднее ли совершилось то или другое событие — это было для меня вопросом второстепенным. Я никогда и не думал, что князья и дружинники сделались оседлыми *тотчас*. Но впоследствии мы видим, что князья считают подвластную им область своей вотчиной, делят ее между сыновьями, распоряжаются ею, как собственностью, мы видим далее, что черные и дворцовые земли считаются непосредственным достоянием князя и что частными собственниками являются, кроме князя, только его слуги, да духовные лица и учреждения, которые большей частью получали земли от них же. Откуда же произошло такое явление? Где его корень и начало? Вот этот вопрос казался мне чрезвычайно важным, и я не усумнился отнести источник этих вотчинных прав к первому завоеванию варягов».

Мы никак не можем уступить автору права считать второстепенным вопрос: раньше ли, позднее ли совершилось то или другое событие? На западе было завоевание, и оно непосредственно выразилось в том, что земля стала собственностью короля и его дружинников; у нас завоевание этого непосредственного следствия не имело: значит, существовали могущественные условия, которые отняли силу у завоевания, помешали ему немедленно обнаружиться в завладении землей, в поделении ее между завоевателями. Если завоевание в самом начале не могло произвести этого явления, то спрашивается, как оно могло произвести его впоследствии, чрез несколько веков, при господстве тех условий, которые отняли силу у него и заставили забыть об нем? Владельческое значение князя, говорит автор, в особенности развилось с того времени, как князья сделались оседлыми в своих областях. Но когда и где это случилось? Чрез несколько веков после завоевания, в новой области, которая прежде не была главной сценой действия, а древняя, собственная Русь так и сошла с исторической сцены без оседлости князей, следовательно, без развития их владельческого значения, без следствий завоевания.

Как же это случилось? Значит, завоевание на северо-востоке было сильнее, чем на юго-западе, или, быть может, на северо-востоке было новое завоевание? Владельческое значение князя в особенности развилось с того времени, как князья сделались оседлыми в своих областях;

но до тех пор, в продолжение веков, какая была эта неособенная степень развития владельческого значения и какое влияние имела эта степень на определение поземельных отношений? Послушаем об этом самого автора: «Верховные права в гражданском союзе могут принадлежать либо отдельному лицу, в его родственной сфере, с правом собственности на землю, либо союзу лиц, определяющих общественное свое право на основании договора. Первая форма частного права образует княжескую вотчину, вторая — вольную общину. В первый период русской истории (в какой период, от которого и до которого времени?), в Южной России, обе формы смешивались и существовали рядом, так что при благоприятных обстоятельствах могли развиться либо те, либо другие учреждения. Земля, вследствие завоевания, принадлежала князьям как собственность; они распоряжались ею на основании родственных своих счетов и отношений; но иногда общины вступались в это дело и приглашали к себе князей мимо родового распорядка. Таким образом, обе формы частного права — собственность и свободный договор — существовали рядом, не исключая друг друга, но приходя в постоянные столкновения, ибо в сущности они друг другу противоречили. Южная Россия не сумела разрешить этого внутреннего противоречия жизни, вследствие чего она осуждена была на бессилие. Оно разрешилось на севере».

Но в то время, как общины стояли подле князя с своим голосом и своей самостоятельной деятельностью, в это самое время как могло случиться, что общины потеряли право самостоятельного владения землей, как могло случиться, что общинной земли в княжеских владениях не осталось? Если же общинная земля в это время оставалась подле княжеской и дружинной, то когда она могла исчезнуть? Когда исчезло самостоятельное подле князя положение общины на севере, разве это произошло вследствие варяжского завоевания? Новгород имел свою землю, не считал себя обязанным выражаться о своей земле, что эта земля великого князя, а его, Новгорода, владение; но ростовцы, киевляне, смольняне, полочане, которых летописец прямо приравнивает к новгородцам, которые как власти на веча сходились и что определяли, на том решении и пригороды становились, — эти ростовцы, киевляне, смольняне и полочане почему должны были смотреть на свою землю иначе, чем новгородцы? Но если они смотрели на свою землю как новгородцы, то ясно, что завоевание в древней России не имело вовсе того следствия, какое имело оно в Западной Европе, и сравнивать этих двух завоеваний никак нельзя; одно и то же явление имеет совершенно различные следствия, смотря по тому, при каких условиях совершается.

О земельных отношениях после завоевания в Западной Европе мы знаем подробно из современных свидетельств, потому что это был главный интерес; завоеватели здесь, начиная с кимвров и тевтонов, прямо провозглашали, что хотят земли, приходят за землею, а наши летописцы говорят ли хотя слово об отношениях завоевателей к завоеванным по землевладению? Отчего же это происходит? Конечно, не оттого, что наши летописцы не умели обращать внимания на самые

важные отношения, а именно оттого, что земельные отношения вовсе не были важны[3]

Вот почему г. Чичерин и его возражатель, вступивши в спор о предмете, о котором нет известий в источниках, упрекают друг друга в голословности положений, и в этом отношении: оба справедливы. но какая польза от таких споров? Не лучше ли отправиться от фактов бесспорных. существует на севере Новгород, существует Ростов, оба с одинаковыми формами быта, по ясному свидетельству летописца; следовательно, оба одинаково должны были смотреть и на земельные отношения; когда они должны были переменить свой взгляд — это также хорошо известно, известно, что Юрьевичи действовали против Ростова и потомки их против Новгорода не с нормандскими дружинами.

Как скоро на севере исчезло самостоятельное значение общины, то исчезла и общинная земля, которая стала называться землей великого князя[4].

Г. Чичерин совершенно прав, приравнивая черные земли, по отношению их к князю, к дворцовым. Здесь вовсе не нужно заводить спора о государственном и частном владении, об отношении собственности служилых людей к князю; спора, который только затемняет дело для большинства читателей. Дело идет о сельской общине, об ее отношении к земле, об ее отношении к князю по земле; вопрос решается известиями о случаях, где сельская община высказывает свои отношения к земле, на которой живет. Другие землевладельцы, говоря о своей земле, прямо называют ее своей; жители черных волостей землю, на которой живут, которой пользуются, называют *землей великого князя*, а своим владением; если бы общины владели своей землей точно так же, как владели своими отчинами епископы, монастыри, бояре, дети боярские, то они этого выражения не употребляли бы: следовательно, общинной земли нет.

«В черных волостях, — говорит г. Чичерин, — князь был полным хозяином. Эти земли князья продавали, отдавали в поместья и вотчины, менялись ими, одним словом, распоряжались ими по произволу». Это положение подкреплено ясными свидетельствами источников и спора не допускает. Возражатель мог заметить на это только в очень уклончивом выражении: «Общинные земли *преимущественно* оставались неприкосновенными, как это соблюдалось *постоянно* даже в XV и XVI столетиях».

На основании также ясных свидетельств источников г. Чичерин говорит следующее: «Хотя черные люди и составляли особенное сословие, имевшее исключительным призванием земледелие и промышленность, но не из них одних составлялась вольная община, жившая на черной земле. В нее мог входить всякий, кто только покупал землю. При свободном переходе крестьян и посадских людей, тяглые лица менялись беспрестанно, а земля оставалась постоянным и неизменным источни-

[3] См подробн в «Истории России с древн врем » Т I С 214 след // Кн I С 213—264 настоящего издания

[4] См подробн в «Истории России» Т IV С 240 и след // Кн II С 526 и др настоящего издания

ком дохода. С нее платилось тягло князю, и она служила основой для живущей на ней тяглой общины. Последняя была уже не родовая община, как прежде, и не сословная, как впоследствии, а чисто поземельная. Существенное ее значение заключалось в платеже тягла с земли; это одно составляло ее единство и придавало ей характер общины Иначе она состояла из совершенно различных лиц, принадлежавших к совершенно различным сословиям и не имевших между собой решительно ничего общего. Самая земля могла беспрестанно изменяться в своем объеме; как скоро покупщик из служилых людей или духовенства получал освобождение от податей и повинностей, так имение его выходило уже из тяглого округа. Внутри общины являлись владельцы, не имевшие с ней никакой связи. Вследствие различия жалованных грамот образовались права и обязанности самые разнородные, и как пространство земли, составлявшей основу общинного быта, так и отношение членов общины получили чрез это характер чистой случайности».

Возражатель говорит на это: «Черные земли, купленные в частную собственность, ни в каких случаях по закону не освобождались от лежащего на них тягла, а бывали только злоупотребления, что частные собственники, покупивши черные земли, отказывались тянуть с них тягло; но закон никогда не утверждал сих злоупотреблений, как это видно из приведенной самим же г. Чичериным договорной грамоты В. К. Дмитрия Ивановича Донского с кн. Владимиром Андреевичем».

Но у г. Чичерина приведена также грамота князя Андрея Васильевича, по которой Злобе Васильеву позволялось купить черную тяглую и с той земли с слугами и черными людьми не тянуть; Злоба купил две черные пустоши, и сын его, на основании жалованной грамоты и купчих, был *оправдан судьями*, когда волостные крестьяне жаловались, что он неизвестно по какому праву насильственно владеет их землей, при этом важно, что сын Злобы был оправдан судьями не князя Андрея Васильевича, а великого князя Ивана III. Г. Беляев в договорной грамоте Димитрия Донского с удельным князем хочет видеть закон, а в приговоре судей единовластителя Ивана III хочет видеть злоупотребление! До различия условий в разные времена, до истории ему нет дела.

Теперь обратимся к формам быта сельской общины и изменениям, в них происходившим, к ее истории. Г. Чичерин говорит так: «Участие общины в поземельном владении ограничивалось раздачей пустопорожних или запустелых участков вновь приходящим крестьянам. Затем она заведовала только раскладкой и сбором некоторых податей и отправлением повинности в пользу князя. Ведомство общинных начальников, сотских и старост заключалось единственно в проторах и разметах, как видно из множества дошедших до нас жалованных грамот монастырям и частным лицам Остальное же управление, которое, впрочем, все ограничивалось судопроизводством, находилось в руках людей совершенно посторонних — наместников и волостелей, княжеских слуг, получавших судопроизводство в кормление Значение общины было чисто финансовое или скорее хозяйственное, ибо подати и повинности уплачивались князю в качестве землевладельца».

Возражатель говорит, что «ведомство общины не ограничивалось только этими двумя предметами: община не только раздавала участки своих земель крестьянам, но и защищала свои земли от присвоения их посторонними людьми или ведомствами и вообще была хозяином своих земель, и только, кажется, не имела права продавать свои земли без особого разрешения, что собственно ее отличало от других землевладельцев-собственников[5].

Сельская или скорее волостная община могла меняться своими черными землями с землями соседних собственников; волостные общины принимали участие в судебных делах своих сочленов; чрез своих представителей имели право ходатайства перед государем или наместниками об ограждении своих выгод; по Судебнику 1497 года община чрез своих представителей, старост и лучших выборных людей непременно участвовала в наместничьем и волостелинском суде, когда подсудимые принадлежат к общине. В некоторой от нее зависимости были священник и причетники тех церквей, которые находились в волости».

Итак, вот круг деятельности сельской общины! Правда, г. Беляев оканчивает перечисление прав и обязанностей сельской общины такими словами: «Я бы долго не кончил, ежели бы решился перечислять все права и обязанности волостной общины; но довольно уже и сказанного, чтобы видеть, что волостные общины в древней России имели не одно финансовое значение». Действительно, в перечислении г. Беляева кой-чего недостает, но мы вызываем его *долго не кончить*, перечисляя права и обязанности волостной общины; вызываем доказать, что это выражение: «Я бы долго не кончил», не есть риторическая фигура, вовсе неприличная при решении ученого вопроса; вопрос идет о том, что такое наша древняя сельская община? Вопрос этот был бы решен окончательно, если бы г. Беляев, вместо рассуждений о том, как финны и латыши устраивали русскую общину до Рюрика; вместо ни на чем не основанных предположений, как русские князья первоначально получили свои земли; вместо высказывания ни на чем не основанного мнения, что в древней Руси члены дружины получали земли только в поместья; вместо явно неуспешных возражений против положения, что в Северной России князья распоряжались землями черных людей,— если бы, говорю, вместо всего этого, г. Беляев долго не кончил, исчисляя права и обязанности сельской общины на основании несомненных и не ложно перетолкованных известий; статья вышла бы не велика, дорогого времени сохранилось бы много и вопрос был бы решен.

Во-вторых, г. Чичерин представляет очерк истории сельской общины; но возражатель его не хочет знать истории; для него община, как была раз устроена финнами и латышами до Рюрика, так и оставалась во все продолжение русской истории. Из возражений г. Беляева выходит, как будто г. Чичерин совершенно умолчал о постановлении Судебника относительно участия старост и выборных в суде; но г. Чичерин сперва

[5] Но мы видели уже, что собственно отличало ее от других землевладельцев-собственников

говорит только об общине до XV века, а потом говорит: «С XV века начали развиваться понятия государственные, и эти новые начала произвели в общине коренное изменение. Выборное начало было вызвано наружу; на основании царских грамот и постановлений избираемые общинами старосты и целовальники ограничили власть наместников и волостелей, а потом во многих местах и совершенно вытеснили их, соединивши все управление в своих руках». В журнале, где помещен ответ г. Беляева г. Чичерину, этот ответ назван *строго ученым*; в доказательство этого качества статьи г. Беляева приведем следующие места по поводу участия старост и целовальников в суде: на стр. 114 г. Беляев говорит: «Замечательно также, что община и в XV и в XVI веке избирала за себя в представителя на суде не одного старосту или иного своего начальника, но *всегда* при старосте или ином начальнике посылала несколько выборных». А на стр. 117 говорит: «В средневековой общине, как мы уже видели, на суд являлись не одни старосты, но *всегда почти* при них находилось по два или по три человека, выбранных общиной». Неужели это статья строго ученая, где на одной странице говорится: *«всегда»*, а на другой: *«всегда почти»*?

Приведенное выше положение г. Чичерина о стремлении правительства с XV века вызывать наружу выборное начало, ибо наместники и волостели не удовлетворяли государственным потребностям, — заключает в себе факт бесспорный. Но возражатель понимал свою задачу таким образом: не должно соглашаться ни в чем с противником; должно бить каждое положение, во что бы то ни стало, какими бы то ни было средствами; если нельзя бить главного положения, то бросаться в сторону, отвлекать от главного положения внимание читателя на побочные обстоятельства; бить здесь, выставляя таким образом на вид, что противник везде поражается, что ни скажет — все неправда!

Древняя русская сельская община достигла высшей степени своего развития во времена Иоанна IV, когда наместники и волостели во многих местах заменены были выборными старостами и целовальниками. Факт неоспоримый! Но понятно, как тяжело сознаться в этой неоспоримости людям, по мнению которых русская община явилась сама собой во всеоружии из головы русского человека в то время, когда еще русского имени не было, до Рюрика, явилась как Минерва из головы Юпитера, при помощи, впрочем, финнов и латышей. И вот, не будучи в состоянии оспорить главного положения противника, возражатель устремляется на положение второстепенное в настоящем деле:

«Несправедливо, — говорит он, — г. Чичерин думает, что царь Иван Васильевич хотел заменить власть наместников и волостелей властью выборных старост и излюбленных голов и судей, потому что наместники и волостели с государственной точки зрения не годились для управления: *отнюдь* не потому! А потому, что царь Иван Васильевич хотел ослабить московскую аристократию, и когда он достиг своей цели, когда князья и бояре стали писаться государевыми дворянами, то он и перестал настаивать, чтоб выборные головные и старосты везде заменяли наместников и волостелей».

Во-первых, как с мнением о самостоятельности русской общины ладится мнение, что важнейшее изменение в ее быте произошло не вследствие ее собственных потребностей, ею самой сознанных и высказанных, а вследствие каких-то совершенно чуждых ей стремлений и соображений? Неясно ли, что автор строго ученой статьи бросает вверх камень, который падает на его же голову и на головы тех, которые в его строго ученой статье видят подтверждение своих мнений? Во-вторых, отчаянные средства редко удаются; не удалась и попытка г. Беляева объяснить побуждения царя Иоанна относительно изменений в быте общин; объяснение это победоносно низложено г. Чичериным: «Не странно ли было Ивану Васильевичу Грозному, — говорит г. Чичерин, — совершать коренные преобразования в государственном управлении для того, чтобы бояре стали называться государевыми дворянами, тогда как они прежде уже писались государевыми холопами. Можно еще предположить, что для ослабления бояр нужно было отменить наместников, которые обыкновенно были люди родовитые: но для чего же было отменять волостелей — мелких слуг! Предположение критика тем более странно, что оно прямо противоречит историческим свидетельствам. Источники редко указывают нам на причины, побудившие правительство издать ту или другую законодательную меру; но здесь, как нарочно, мы имеем такое указание, и притом несколько раз повторенное».

Что же касается до вопроса, почему заменение наместников и волостелей выборными властями не могло быть повсеместным, то он решается легко: грамоты, которыми известным общинам давалось право управляться и судиться своими выборными, назывались *откупными*; за это право на общину налагалась известная обязанность для удовлетворения финансовым потребностям государства, и если община не находила возможным и легким исполнить эти обязанности, то оставалась при старом порядке. Это явление в высшей степени любопытное: достаточно уясненное, оно уяснит многое.

Мы здесь остановимся, ибо главные вопросы уяснены и мы достигли того времени, когда древняя русская сельская община получила высшую степень своего развития. Г. Чичерин идет прямой дорогой, высказывает неоспоримые положения везде, где остается верен истории, историческому воззрению; но в двух положениях своих он изменил этому воззрению и, по нашему мнению, впал в ошибки.

Так, неправильно объяснил он происхождение отношений князя к общине из первоначального завоевания, не обратив внимания на главное, на условия исторической местности и народного быта, условия, которые совершенно изменяют следствия одного и того же явления. Второе ошибочное мнение высказал г. Чичерин относительно передела земель сельскими общинами. В заключение своей статьи он говорит: «Мнение барона Гакстгаузена о патриархальном характере нашей сельской общины не находит себе оправдания в истории. Наша община не остановилась на той ступени общественного развития, на какой стояла община германская во времена Тацита; она не похожа и на общины некоторых западных (?) славян, ни на другие патриархальные общины

полудиких народов Азии и Африки. В ней господствуют не естественные отношения, а гражданские. Это не зародыш общественного развития, а плод его. Это результат прошедшей истории народа, образовавшего из себя великое государство, в котором государственные начала проникают до самых низших слоев общественной жизни. Ничто не ускользнуло от внимания наших законодателей. Правительственными мерами и распоряжениями устроены и поземельные отношения общины и гражданские, и хозяйственный их быт, и внутреннее управление. Все это учреждения относительно новые, получившие окончательное свое образование только в последней четверти XVIII века, вместе с другими областными учреждениями. Патриархальности здесь нет уже и следов. Если в нравах сохранились еще обычаи и выражения, напоминающие древний родовой быт, то это обломки старины, которые в учреждениях уже потеряли всякое значение. Точно так же сохранились и некоторые предания времен язычества, но это не мешает нам быть народом християнским. Учреждения наших общин суть произведение нового времени, и сравнивать их с патриархальными общинами других народов значит отрицать в нас историческое развитие».

Совершенно справедливо, что сельская русская община не могла оставаться на той ступени, на которой она находилась в IX веке; но из этого еще нисколько не следует, чтобы в продолжение своей исторической жизни русская сельская община истеряла все черты, которые могли бы напоминать нам о ее первоначальном быте. Русский народ — народ христианский, но это не помешало сохраниться среди него некоторым языческим поверьям и обычаям, свидетельствующим о первоначальном религиозном быте народа: что же мешало сельской общине, подвергавшейся необходимо разного рода изменениям, сделавшейся гражданской из родовой, сохранить некоторые черты быта родового? И неужели предполагать возможность этого сохранения значит отвергать историческое развитие? Неужели историческое развитие должно состоять в том, что явление с течением времени должно так измениться, что его узнать нельзя? В таком случае надобно было бы сказать не *развитие*, а *переломка*. Бесспорно, что в истории бывают и такие примеры: учреждение, вследствие стечения известных обстоятельств изменяется до такой степени, что теряет все черты первоначального быта; но действительно ли то же самое случилось с русской сельской общиной — это другой вопрос, на который мы не можем согласиться отвечать утвердительно по нижеследующим причинам.

Г. Чичерин думает, что передел земель есть следствие общего родового владения и, когда родовой быт исчез, когда община из родовой сделалась гражданской, тогда должен был исчезнуть и передел земель. Вывод, *по-видимому,* правильный; но такие, *по-видимому,* правильные выводы всего более вредят в исторических исследованиях, ибо в истории явление обыкновенно зависит от многих условий и с исчезновением одного из них не исчезает, поддерживаясь другими. Вот почему, для правительности исторического вывода, необходимо обращать внимание на возможно большее число условий народной жизни в известное время,

и прежде всего, разумеется, должно обращать внимание на местные условия, на почву, где происходит действие. Мы теперь любим толковать, что надобно изучать свое, что, прежде чем ввести что-нибудь новое, кажущееся полезным, надобно испытать, придется ли оно по условиям нашей земли; что полезное в других государствах, при тамошних условиях, может оказаться вредным у нас, при наших условиях — мы любим толковать об этом, но так ли поступаем, особенно относительно изучения прошедшего? Часто, сидя в кабинете и размышляя над новой иностранной книжкой или в легкой беседе с приятелями после обеда, придумаем какое-нибудь начало, назовем его коренным русским, да и станем навязывать его предкам, взводя на них напраслину; будто бы они выдумали его из своей головы, будто бы оно вышло из склада их ума. Наши умные, смышленые предки ничего из своей головы не выдумывали, а устраивали свой быт, сообразуясь с окружающими обстоятельствами, «примериваясь, как было пригоже, смотря по тамошнему делу»; строились из дерева, потому что лесу было много, а камня не было; носили теплые шубы, потому что было холодно; и переделяли поля, потому что так было пригоже, смотря по тамошнему делу.

Г. Чичерин говорит: «Передел земли может установиться только тогда, когда земли становится мало, а люди не могут уходить с места и искать новых поселений. Но в то время земли было вдоволь, люди же не только свободно уходили с места, но постоянно переходили с места на место. Как же тут образоваться переделу?»

По нашему мнению, образоваться переделу было очень легко, образоваться ему было необходимо именно вследствие тех условий, которые г. Чичерин считает препятствующими образованию передела. Как скоро земли много, то она теряет свою ценность, ослабляется стремление приобретать ее в неотъемлемую, неизменную собственность, образуется необходимо взгляд на землю, как на общее достояние, наравне с воздухом и водой, а при таком взгляде становится легким всякое изменение в земельных участках, если это изменение удовлетворяет известным потребностям общины.

В другом месте г. Чичерин говорит: «Понятно, что для волости было тяжко, когда много земель оставалось пустых; поэтому она старалась, по возможности, набирать новых поселенцев и раздавать им пустые участки». Но если для волости было тяжко, когда один крестьянин уходил с своего участка потому, что с умножением его семейства этого участка становилось ему мало, а другой крестьянин уходил потому, что с уменьшением семейства он не мог обрабатывать прежний участок и платить с него податей, то понятно, что для общины было выгодно удержать обоих, удовлетворив их потребностям посредством нового передела земель. Г. Чичерин указывает на расселение крестьян по отдельным деревням, которыми, раз получивши их от общины на известных условиях, поселенец распоряжался совершенно свободно.

Но здесь надобно строго разделять деревни от сел на основании древних памятников, где постоянно отличаются сельские жители от деревенских. Что такое деревня? Корень слова отвечает на вопрос:

деревня происходит от *дерева*, означает новое место, только что освобожденное от леса; в памятниках встречается выражение: *пахать деревню*; значение нашей деревни вполне объясняет также западнорусское выражение для означения нового поселения: *сесть на сыром корню*[6]; следовательно, деревнями вначале были участки новозанятые, не входившие собственно в состав земель, бывших у сельчан в общем владении; на каких условиях община отдаст подобный отдельный участок поселенцу, на таких он у него и остается.

Мы хотели показать, что мнение г. Чичерина об отсутствии передела земель в древней русской общине является очень спорным даже без ясных свидетельств памятников о существовании этого передела; но есть и свидетельства — ограничимся изданным. Известно, что у нас посадские люди, наравне с сельскими жителями, занимались хлебопашеством; и земля, к городу принадлежавшая, находилась у них в общем владении, подвергалась переделу: «В 1681 году Шуи посаду земский староста с товарищи, и все шуяне посадские люди приговорили на сходке в земской избе, разделить пахатную землю, во всех шуйских трех полях по своим тяглам, шесдесят три полосы в поле, а в дву потому ж впредь на десять лет, до мирского их разделу; и тою землею межь собою в те урочные годы по списку владеть безмятежно, а тяглом в список приговорили тое земли полосу по 8 алтын, по две деньги; а тое своей тяглой земли всем посацким людем никому, ни по свойству, ни по дружбе, ни внаем не отдавать. А кто тое землю сторонним людям хотя на один год или на лето отдаст, и у того по сыску та земля отнять в мир, и отдавать из миру в наем. А кто из пахатных людей с своею братьею вместе городить не станет, или огород поставит при своей братьи худой, и того огуршика городбою и незагороженным местом учинится хлебу потрава: и та потрава имать на том человеке»[7].

Здесь не может быть возражения, что это известие позднее, из XVII века, ибо сейчас же рождается вопрос: а как было прежде? Если же общее владение землею с переделом было искони у городских общин, то что мешало ему быть у сельских? Существование деревень, отдаленных, пустых участков, которые сельский мир отдавал посторонним поселенцам? Но мы видим, что и шуйский мир предоставляет себе право отдавать в наймы лишний участок, отобранный у ослушника.

В заключение считаем нужным обратить внимание исследователей на употребление слова: *община*. Утверждают, что община есть явление русское по преимуществу, что оно вышло из склада ума наших предков, а между тем употребляют слово, которого предки наши вовсе не употребляли в том значении, в каком мы хотим его теперь употреблять. Когда французский исследователь говорит о своих средневековых *communes*, то он употребляет настоящее слово, которым современники — средневековые французы — называли это явление; а мы для означения древнего основного (по мнению некоторых) явления русской жизни употребляем

[6] История России Т V С 441 // Кн III С 309 настоящего издания
[7] Опис города Шуи С 64 // Описание города Шуи и его окрестностей М , 1851

слово, которого древние русские люди не употребляли, и употребляем его бесспорно, потому что оно чрезвычайно близко переводит французское *commune*.

Как же это случилось, что у предков наших господствовал общинный быт, выходивший из склада их ума, и слова для означения этого господствующего явления своей жизни они не имели? Если же имели слово, то почему мы теперь не хотим его употреблять? Почему не хотим называть явления настоящим его именем? Это употребление настоящего имени чрезвычайно важно в науке; употребляя его, мы по необходимости будем употреблять его только там, где оно на самом деле употреблялось предками, будем осторожнее, будем гораздо меньше примешивать наших новых понятий к понятиям предков, и таким образом гораздо легче уясним для себя настоящее положение дела.

Несколько дополнительных слов к статье: «Спор о сельской общине»

В декабрьском нумере «Отечественных записок» помещена прекрасная статья г. Кавелина: разбор книги г. Чичерина «Областные учреждения России в XVII веке». Мастерски изложив обильное содержание книги и оценив ее достойным образом, г. Кавелин излагает свои мнения, несходные с мнениями автора разбираемого сочинения. Мы коснемся мнений г. Кавелина о значении общин в древней России. Он говорит:

«Г. Чичерин полагает, что сословия и общинное начало обязаны своим происхождением государству; мы же, напротив, думаем, что призраки сословий и общин XVII века суть обветшалые и стертые остатки когда-то живых исторических элементов и начал, игравших большую или меньшую роль: след исторических типов, происхождение которых теряется в глубокой древности. До самого образования Московского государства общины дают несомненные признаки государственной жизни. Везде они призывают, выбирают и меняют князей; везде деятельность их проторгается сквозь сеть дружин, которыми подернута древняя Россия и заслонена внутренняя история народа; а где обстоятельства хоть сколько-нибудь благоприятствовали, там они тотчас же приобретали политическую самостоятельность. Весь север и весь юг России был покрыт такими самостоятельными общинами. Только с усилением Московского государства общины понемногу перестают играть политическую роль.

Но дает ли нам это право утверждать, что и в общественной жизни не осталось следов общинного духа? С этим никак нельзя согласиться. Исторические типы не умирают скоропостижно, а угасают постепенно, проходя чрез целый ряд перерождений. Еще в начале XVII века, во время самозванцев, смут и вторжения иноплеменников, общины обнаружили несомненные признаки жизни. После 1612 года государственная роль общин совершенно оканчивается. Спрашивается: можно ли после всего сказанного предположить, что мысль Ивана Грозного, призвать общины

к участию в местном управлении, явилась точно будто deus ex machina, без всякого отношения к предыдущему? Возможно ли, чтоб выборное начало, без которого общинная жизнь немыслима, было совершенно неизвестно у нас дотоле и было созданием московских государей? Если мы не имеем прямых указаний на то, что на наместничьем и волостелинском суде исстари были целовальники или присяжные, то из этого никак еще нельзя заключить, чтоб они в самом деле не присутствовали в этих судах, тем более, что Судебник 1550 года прямо предписывает: «В которых волостях *наперед сего* старост и целовальников не было, и ныне в тех во всех волостях быти старостам и целовальникам». Учреждение старост и целовальников, без всякой натяжки, можно уследить и ранее. В Судебнике 1497 года упоминаются старосты и лучшие люди; те же лучшие люди, только с прибавкой «целовальника» встречаются и в Судебнике 1550 года. Значение их совершенно одинаково; только права лучших людей целовальников по Судебнику 1550 года расширены. Какое же право имеем мы заключить отсюда, что лучшие люди, упоминаемые и в первом Судебнике, не были выборные, а целовальники времен Грозного были выборные? Явное дело, что это учреждение при Грозном не было нововведением, а существовало гораздо ранее его. Вступив в борьбу с вельможеством и олигархическим боярством, царь Иван Васильевич опирался на общины, представлявшие элемент, противоположный большим людям Московского государства, и потому расширил, точнее, определил права их выборных представителей, сделал этих выборных учреждением повсеместным, но не создал этого учреждения вновь».

Нам не нужно повторять сказанного уже прежде о том, что мы находим у г. Чичерина неверного в представлении об общинах древней Руси; но, с другой стороны, мы не можем вполне согласиться и с мнениями г. Кавелина, в которых он расходится с г. Чичериным. Во-первых, нам кажется, что выражение «весь Север покрыт был самостоятельными общинами» требует объяснения; следовало б перечислить самостоятельные общины, покрывавшие Север; во-вторых, сказавши: «Только с усилением Московского государства общины понемногу перестают играть политическую роль», следовало бы определить, какое время принимать за время усиления Московского государства и ослабления общин? Перечисление самостоятельных общин на Севере и точное определение времени их самостоятельного существования необходимы для определения важности их значения, глубокости следов, которые они должны были оставить в общественной жизни.

Г. Кавелин признает целовальников выборными и на этом основании соответствующих им прежде лучших людей признает также выборными; о целовальниках говорит, что они были учреждены прежде Иоанна Грозного, основываясь на выражении Судебника: «Где не было прежде старост и целовальников». Что целовальники в некоторых местах учреждены были прежде Грозного, именно при отце его, великом князе Василии, на это есть ясные свидетельства: таково свидетельство

летописца об учреждении целовальников в Новгороде под 1508 годом: «Пожаловал государь великий князь: слыша, что в великом Новгороде наместники и тиуны их судят по мзде, вслед своему дворецкому и дворцовым дьякам выбрать из улицы лучших людей 46 человек и привесть их к целованию; с тех пор поставили судить с наместниками старосту купецкого, и с тиунами определил судить целовальникам по 4 на каждый месяц».

Это свидетельство очень важно; из него мы видим, как выбирались целовальники: их выбирал дворецкий с дворцовыми дьяками. Если прежде упоминаемые лучшие люди соответствовали этим целовальникам, то следует и на них обратить тот же выбор. Если бы нашлось известие, что в то же время целовальники выбирались миром, то это не может смутить исследователя, который знает, что имеет дело с государством, очень еще юным, от учреждений которого не имеем права требовать той определенности, к какой мы привыкли. Старосты, кажется, должны быть выборными, а между тем видим старост не выборных в Новгороде; наоборот, городовые приказчики, кажется, не должны бы быть выборными, а между тем встречаем городового приказщика, выбранного всею Торопецкою землею. Отсюда, так легко спорить, так легко находить известия в подкрепление своей любимой мысли, а явления противные можно объявить случайностями, злоупотреблениями. Но дело не в одних лучших людях и целовальщиках, которые являются до Грозного, а в той важной мере, по которой наместники и волостели заменялись бесспорно выборными от миров властями, что видим во времена Иоанна Грозного. Один Бог творит из ничего; человек творит всегда из данного ему; но если мы в известное время видим формы, которых прежде не видали, то имеем полное право сказать, что эти новые формы суть создание этого времени, создание известной деятельности, в это время обнаружившейся.

Во время существования вечевых городов, в то время, когда ростовцы, как власти, на вече сходились, волости Ростовские управлялись ли излюбленными старостами? Ростовцы говорят, что посадят во Владимире своего посадника, потому что это их пригород. Московское государство застало волости под управлением наместников и волостелей и дало им право управляться излюбленными старостами: совершенно иной характер управления! И этот характер был дан историей. Г. Кавелин указывает на высокую деятельность московских городов в Смутное время: но ясно, что на способность их к этой деятельности имело сильное влияние то устройство, которое им было сообщено в XVI веке. До Московского государства мы имеем дело с начатками, семенами вещей (discordia semina rerum); только с образования, укрепления Московского государства мы видим стремления, попытки к разделению, определению, установлению начал, до того времени смешанных и колебавшихся. Если от древней, домосковской Руси остался материал, то дело создания принадлежит дальнейшей истории.

Правление Иоанна Грозного обозначается сильной борьбой царя с боярством; но нельзя же всех явлений означенного времени выводить из этой борьбы: такой односторонностью мы сузим наш горизонт и лишим себя возможности объяснить очень многое. Правление Грозного

и вообще XVI век знаменуется также сильным государственным движением, государственным ростом, вследствие чего является стремление изменить многое, что уже не удовлетворяло новым потребностям государства; отсюда это постоянное стремление к уничтожению злоупотреблений и приисканию мер против них. Резкое, прежде всего бросающееся в глаза отличие Судебника Иоанна IV от Судебника Иоанна III состоит в относительном обилии постановлений против злоупотреблений, в определении наказаний судьям, дьякам, подьячим, недельщикам, позволяющим себе незаконные поступки, а с другой стороны — челобитчикам, подающим несправедливые жалобы, ябедникам. Соответственно этому в царствование Иоанна Грозного, в малолетство его, то есть в боярское правление, в правление великого князя Василия принимаются меры против злоупотреблений наместников и волостелей; великий князь Василий учреждает целовальников в Новгороде; слыша, что наместники и тиуны их судят по мзде, Иоанн IV дает волостям откупные грамоты на том же самом основании, прямо вследствие жалоб, просьб волостных жителей. Если Иоанн Грозный и, положим, даже отец его поступали так вследствие борьбы с боярами, то вследствие чего бояре в малолетство Иоанна давали губные грамоты? В старину, в малых княжествах, злоупотребления бывали большие, но все же они не могли быть так сильны, как после образования Московского государства; в небольшом княжестве все было под глазами князя, жалобы к которому доходили легко и скоро, да и были побуждения смотреть строже за волостелями: народонаселение легко могло уйти в другое княжество; но у московского государя, при громадности его владения, при обилии и важности занятий по внешним отношениям не было средств наблюдать за наместниками и волостелями, которые, чем дальше находились от Москвы, тем больше позволяли себе злоупотреблений, не имея побуждений беречь жителей.

Г. Кавелин обещает другую статью об общине в XVII веке. Ждем с нетерпением.

АНГЛИЯ В XVI ВЕКЕ

Рецензия на кн.: Froude J. A. History of England from the fall of Wolsey to the death of Elisabeth*

Статья 1

XVI век для государств Западной Европы был временем выхода их из-под опеки Римской церкви. В так называемые Средние века Римская церковь держала молодую семью народов-братий под одним общим

* Атеней 1858 № 7 С. 341—351, 405—415

учением, под одной общей дисциплиной, направляя их юные порывы к общей деятельности. Но пришла пора — народы возмужали, и каждый из них, взявши свою долю наследства, устремился к самостоятельной деятельности. Опекун-папа не хотел признать этого совершеннолетия своих воспитанников, не хотел удовлетворить их требованиям — и опека была порвана насильственно. Само собою разумеется, какой высокий интерес эта эпоха совершеннолетия, выхода из-под опеки имеет для истории Западной Европы; понятно, что названная нами книга Фрода «История Англии, от падения Вольсея до смерти Елисаветы» уже по одному содержанию своему должна была встретить живое сочувствие в английской публике; думаем, что не бесполезно будет познакомить с ней и русских читателей.

Первую главу своей книги автор посвящает обзору общественного состояния Англии в XVI веке. Народонаселение королевства в это время простиралось до 5 000 000. Вообще до Реформации народонаселение увеличивалось очень медленно, что зависело преимущественно от тогдашнего положения рабочего класса. Теперь земледелец, как скоро достигает совершеннолетия, то уже получает такое жалованье, какое будет получать и впоследствии; не имея никакого непосредственного отношения к хозяину и считая себя способным иметь собственное хозяйство, он женится и обыкновенно до тридцати лет он уже отец семейства. Но до Реформации земледелец, живущий особо в своей избе, был явлением исключительным; полевые работы производились, как теперь в обширных фермах Америки и Австралии, работниками, которые жили в семействах хозяев или фермеров и по своему положению обыкновенно оставались холостыми, женились же только тогда, когда скапливали сумму, достаточную для перехода к другому образу жизни.

Теперь с понятием об Англии у нас тесно связывается понятие о мануфактурной промышленности, развитой в самых исполинских размерах; но три века тому назад правительство должно было употреблять усилия, чтоб водворить в народе мануфактурную промышленность, принудить к труду ленивую массу, возбудить соревнование к другим народам, опередившим англичан на этом поприще. В одном из постановлений, изданных Генрихом VIII, читаем:

«Его королевское высочество, обращая внимание на большое количество праздного народа, ежедневно увеличивающееся в государстве, полагает, что главная причина тому заключается в привозе из-за моря большого количества мануфактурных произведений, особенно полотен; иностранные государства посредством выделки и продажи этих товаров чрезвычайно обогатились; там огромное количество народа, мужчины, женщины и дети сидят за работой, спасены от праздности, что ведет к великому преуспеянию государственному; а наши подданные принуждены покупать у них полотна за большие деньги, и народ, мужчины и женщины, которые б могли заниматься выделкой полотен, пребывают в праздности, к великому прогневлению Всемогущего Бога, к крайнему упадку и обеднению государства. И потому его королевское величество, чтоб спасти свой народ от гнусного греха праздности, по совету и согла-

сию лордов и выборных от общин, в парламенте собранных, постановляет, чтоб каждый землевладелец из пятидесяти акров, находящихся под плугом, четверть акра засевал льном или пенькой».

Этот закон всего яснее показывает нам состояние Англии в описываемое время: Генрих VIII и его парламент в XVI веке могли сказать то же самое, что у нас говорил Петр Великий в XVIII веке: «Мало охотников заводить фабрики и заводы, понеже наш народ яко дети, неучения ради, которые никогда за азбуку не примутся, когда от мастера не приневолены бывают, которым сперва досадно кажется, но когда выучатся, потом благодарят». Считая своею обязанностью направлять хозяйственную деятельность народа, английское правительство в XVI веке с одной стороны требует, чтоб известное количество земель засевалось льном и пенькой, а с другой не допускает излишнего распространения овцеводства, которое могло повредить земледелию, оставить много рук без работы. Другой закон Генриха VIII говорит:

«Некоторые из подданных наших, которых Бог благословил обилием денег, из желания получить больше дохода, сосредоточивают в немногих руках великое множество ферм и скота, преимущественно овец, и обращают земли не на пашни, а на пастбища, от чего неимоверно увеличилась арендная плата и вдвое вздорожали все жизненные потребности, так что огромному количеству бедного народа нечего есть, пить и не во что одеваться с своими семействами: им ничего не остается больше делать, как воровать, разбойничать или помирать с голоду и холоду. Вследствие этого постановляется, чтоб никто не мог иметь более двух ферм, и чтоб никто не смел держать на них более 2000 овец».

Из желания уничтожить в английском народе гнусный грех праздности проистекали строгие законы против нищих и бродяг: «Так как,— говорит закон 1531 года,— по всему королевству Английскому уже давно увеличилось число бродяг и нищих и ежедневно увеличивается по причине праздности, матери и корня всех пороков, откуда проистекают и день ото дня усиливаются воровства, смертоубийства и другие беззакония; так как, несмотря на постановления, в настоящее царствование и при прежних королях изданные, зло нисколько не уменьшается, а увеличивается, и бродяги ходят целыми толпами; то начальствующим лицам вменяется в обязанность старательно розыскивать, кто действительно стар, беден и немощен и должен кормиться милостыней: таким давать письменное позволение просить милостыню, но в известной только местности; если будут ходить по миру без позволения, то подвергать их бичеванию, а если нельзя подвергнуть их этому наказанию, то сажать в оковы на три дня и три ночи. Если же человек способный работать будет побираться милостыней или будет схвачен в бродяжничестве и не даст отчета, каким законным способом снискивает себе пропитание, таких бичевать до тех пор, пока тело их покроется кровью, и потом взять с них клятву, что возвратятся немедленно же на прежнее место жительства. Студенты университетов Оксфордского и Кембриджского, корабельщики, которые будут просить милостыню без дозволения начальства, под тем предлогом, что потеряли свои корабли и имение,

подвергаются такому же наказанию, равно как люди, обманывающие народ, предсказатели будущего, снотолкователи и т. п.: последних бичевать в продолжение двух дней, а если попадутся в другой раз, то бичевать два дня, на третий привязать к позорному столбу и отрезать правое ухо; если будут схвачены в третий раз, то отрезать и другое ухо».

Но на этом не остановились: впоследствии узаконено, что бродяга, попавшийся в третий раз в бродяжничестве, казнится смертью. В царствование Елисаветы закон этот был подтвержден. Частным лицам было запрещено под страхом жестокого наказания давать деньги нищим; деньги, назначаемые на милостыню, собирались в церквах по праздничным дням; приходский священник заведовал приходом и расходом их.

Эти строгие законы против бродяжничества и нищенства напоминают наши русские законы, направленные против того же явления в конце XVII и в XVIII веке, когда энергическое правительство также хотело возбудить народ к промышленному труду, когда царственный работник, сам трудясь неутомимо, всего более восставал против тунеядства. В ноябре 1691 года издан был именной указ: «Известно великим государям, что на Москве гулящие люди, подвязав руки и ноги, а иные глаза завеся и зажмуря, будто слепы и хромы, притворным лукавством просят на Христово имя милостыни, а по осмотру они все здоровы: таких людей хватать и расспрашивать и ссылать — посадских людей в те же города в посады, из которых они пришли, а дворцовых крестьян в дворцовые волости, помещиковых и вотчинниковых крестьян отдавать помещикам и вотчинникам; а если эти люди вперед объявятся на Москве в том же нищенском образе и притворном лукавстве, то им чинить жестокое наказанье, бить кнутом и отсылать в ссылку в дальние сибирские города». В 1712 году под страхом жестокого наказания запрещено вообще просить милостыню в Москве. В 1730 году при императрице Анне издан указ о высылке из богаделен тунеядцев и определении их в работу, а прямых нищих велено в богадельню ввесть, чтоб по улицам и дорогам не валялись и не бродили, а помещиковых отдавать помещикам, посадских в посады для пропитания; детей мужского пола отдавать в гарнизонные школы, чтоб после годились в службу вместо рекрут, а женского пола детей отдавать на фабрики. Чрез несколько месяцев было объявлено, что с полиции будет взыскано жестоко, если вперед явятся нищие по улицам.

Мы видим, что русские законы относительно бродяжничества, имея сходство с английскими, сильно, однако, и разнятся от них: наши законодатели не думали о смертной казни как о средстве прекратить бродяжничество. Любопытно видеть, как английский автор рассуждает об этом средстве своего законодательства. Он говорит, что в назначении смертной казни за тунеядство выразилось убеждение английского народа, что лучше для человека не жить вовсе, чем жить бесполезной и недостойной жизнью. Далее говорит, что эта мера была диктована отчасти политикой: положение страны было критическое, бродяжничество грозило крайней опасностью; кроме того, эта мера соответствовала железному характеру века; народ был могучий и суровый, требовал

и управления такого же; суровость английского управления в XVI веке оправдывается успехом: этой суровости англичане обязаны тем, что благополучно выдержали кризис Реформации, не потерявши самообладания, как потеряли его при встрече с тем же испытанием итальянцы, испанцы, немцы, французы, хотя итальянцы — современники Микель Анжело, испанцы — современники Кортеса, немцы — современники Лютера и блестящие рыцари Франциска I не были обыкновенные люди.

Нам кажется, напрасно историк присваивает себе право слишком произвольно распоряжаться народными убеждениями для объяснения того или другого явления. Что-нибудь одно: или назначение смертной казни за бродяжничество вытекало из постоянного убеждения английского народа, что лучше человеку вовсе не жить, чем жить бесполезной и недостойной жизнью, или это назначение было следствием железого характера времени, то есть английский народ имел такое убеждение только в известное время, отличавшееся железным характером.

Во-вторых, если бы действительно английский народ в XVI веке имел такое убеждение, что лучше не жить вовсе, чем жить праздно и недостойно, то правительству его вовсе не нужно было бы прибегать к кровавым мерам для искоренения гнусного порока праздности, который усиливался день ото дня. Автор, желая во что бы то ни стало оправдать известную меру любимой эпохи, явно уклонился от своего предмета. Английское правительство XVI века вооружается строгими мерами против праздности: надобно было показать, — эта праздность искоренилась ли вследствие строгих мер или вследствие чего-нибудь другого? Каким образом народ, который в XVI веке упрекают в склонности к тунеядству, в отсталости от других народов на поприще промышленности, скоро стал удивлять мир громадным развитием промышленного труда?

Разумеется, при внимательном рассмотрении постоянных условий английского быта и условий временных описываемой эпохи, никто не припишет этого явления строгим законам Генриха VIII. Природа сделала Англию морской, торговой державой, история населила ее двукратно племенем предприимчивым, деятельным, способным воспользоваться природными удобствами, природными указаниями; но во время так называемых Средних веков неразвитость мореплавания вообще в Европе и удаление Англии от Средиземного моря, на берегах которого по старине сосредоточивалась всемирная торговля, были причиной того, что Англия отстала в промышленном и торговом отношении и от далекой Италии, и от близкой Фландрии и Нидерландов. Но с XVI века пришла ее пора, когда вследствие открытия Америки и морского пути в Азию чрез мыс Доброй Надежды большой всемирной дорогой стал ее родной Атлантический океан. До сих пор Англия, можно сказать, была прикована к материку Европы, находилась в зависимости от торговых и промышленных Нидерландов, как теперь, например, государства Пиренейского полуострова находятся в зависимости от нее самой; торговля Англии производилась преимущественно с Нидерландами, которые поглощали все английские товары, состоявшие в сырье, нужном

для нидерландских фабрик; 15 000 фламандцев жило в Лондоне. Выставляя своему народу в пример другой заморский народ, где мужчины, женщины и дети сидят за работой, спасены от праздности и обогащают государство, Генрих VIII имел в виду Нидерланды; потом, когда Филипп II поднял гонение на протестантов, множество фламандцев, принужденных оставить отечество, перенесли в Англию свое трудолюбие и искусство. Итак, не жестокие законы Генриха VIII истребили в Англии тунеядство и способствовали развитию промышленности, но особенные счастливые обстоятельства, возникшие с XVI века, тесная связь с народом, опередившим англичан на поприще мануфактурной деятельности и перенесшим эту деятельность в Англию, наконец, благоприятные природные условия страны.

Торговля сильно поднялась в Англии с XVI века: лучшим доказательством тому служит приведенный выше акт, где говорится о накоплении капиталов и о стремлении владельцев их сосредоточивать в своих руках большое количество земель и обращать эти земли на пастбища. Правительство, заметив его вредное для земледельческой промышленности стремление, поспешило остановить его и указывало капиталистам на мануфактурную промышленность как на средство употребить свои капиталы с пользой для себя и для страны. Нет сомнения, что эта невозможность употреблять свои капиталы в промышленности первоначальной много содействовала усилению английской торговли и мануфактурной промышленности; течение капиталов, искусственно отведенное правительством от одного направления, тем с большей силой устремилось по другому.

Рядом с сильным движением промышленным и торговым шло в XVI веке сильное движение умственное как на материке Европы, так и в Англии. Несмотря на то, что еще в царствование Эдуарда VI некоторые лорды старого покроя не умели читать, просвещение между светскими людьми быстро распространилось вследствие изобретения книгопечатания и важных вопросов, поднятых религиозным движением. Генрих VIII говорил на четырех языках, был большой начетчик в истории и богословии; Томас Морус, Эллиотт и другие ученые англичане этого времени оправдывают замечание Эразма, сделанное им относительно всей Западной Европы: «Удивительна изменчивость человеческих вещей! — говорит он. — Некогда ученость была достоянием духовенства; а теперь, в то время как духовенство предалось сластолюбию и корыстолюбию, любовь к знанию перешла к светским князьям, ко двору, к дворянству. Не стыдно ли нам? Пиры духовенства отличаются обилием возлияний, нескромными шутками, неумеренным шумом, только и слышно на них, что злоречие, клеветы, порицание ближнего, тогда как у князей светских обеды проходят в скромных разговорах о вещах, касающихся науки и благочестия».

Эти слова Эразма всего лучше объясняют нам религиозный переворот, происшедший в Англии и во всей Северо-Западной Европе в XVI веке. Времена изменились в Англии с тех пор, как Генрих II должен был идти босой по улицам кентерберийским и претерпеть биче-

вание от рук монахов за убийство Бекета. Духовенство одержало победу в борьбе, потому что было достойно одержать ее; оно не было чуждо слабостей и заблуждений, но оно понимало значение своего звания и пользовалось своею властью гораздо справедливее и умереннее, чем правительство светское: вот почему последнее и должно было преклониться пред ним. Победа была велика, но, подобно многим победам, она была гибельна для победителей. Он поселила в них тщеславие властью, они забыли свои обязанности и видели только свои права, и когда столетие спустя борьба возобновилась, то исход ее был уже другой. В 1306 году издан был парламентский акт, в котором говорилось, что монастыри основаны королями и людьми знатными во славу Божию, на пользу церкви, даны им земли для того, чтоб больные и неимущие имели прибежище и содержание, чтоб была поминовенная служба по душам основателей и потомков их: но вместо того, приоры чужеземцы наложили на подчиненные им монастыри невыносимые подати, и от тех податей пения по монастырям нет и милостынь бедным не раздают, нет попечения ни о душах умерших, ни о здоровьи живых, и что в старые времена шло на добрые дела и на службу Божию, то теперь обращено на дурные дела к великому соблазну народа; и потому запрещается духовным лицам под каким-либо предлогом или формою высылать из королевства подати и доходы и приорам-чужеземцам запрещается налагать подати на монастыри.

Акт этот написан был очень осторожно, папа не назван; но в 1351 год издан был новый акт, в котором говорилось прямо, что папа отдает английские епископства и монастыри чужеземцам, которые никогда не живут в Англии, отчего деньги в большом количестве идут за границу, и симония достигла такой степени, что английские епископства и монастыри явно продаются при папском дворе каждому, кто захочет купить их, будь то англичанин или иноземец. Постановлено, чтоб впредь избрания на епископство были свободны как в старину, чтоб права патронов были соблюдены, и тот, кто осмелится впредь покупать при Римском дворе английские духовные достоинства, будет подвергаться наказанию. Папа стал грозить отлучением за приведение в исполнение этого статута; тогда в 1389 году было постановлено, что если кто привезет в Англию папскую буллу с отлучением, то будет казнен смертью, а если какой-нибудь прелат осмелится привесть в исполнение папский приговор — то лишается своих волостей, которые отбираются на короля. Папа Бонифаций IX не обратил на это никакого внимания и дал английскую пребенду одному итальянскому кардиналу; но король назначил своего, и английские епископы решили дело в пользу последнего, за что папа отлучил их от церкви. Тогда нижний парламент объявил, что не вступиться в это дело — значит подчинить папе английскую корону, которая никогда не была подчинена никакой земной власти, законы королевства будут нарушаемы папой по его произволу, что поведет за собой ослабление власти королевской, и потому английские общины хотят стоять и помирать за своего государя короля и за свое государство и просят короля спросить у лордов духовных и светских, что их мысль об этом

деле? Светские лорды отвечали прямо, что они будут стоять за корону. Епископы отвечали, что они не решат вопроса, имел ли папа право отлучить их от церкви или не имел; но ясно, что, будь оно законно или незаконно, это отлучение противно привилегиям английской короны и потому они как верные подданные будут стоять за корону. Папа должен был уступить.

Этой уступкой остановлена была дальнейшая реформа, на целый век все осталось по-прежнему, но католическое духовенство не воспользовалось этим временем, чтоб восстановить свое нравственное значение: напротив, поведением своим оно все более и более теряло уважение в глазах английского народа; жизнь в монастырях становилась все хуже и хуже: церковь не занималась более народным образованием, церковные суды отличались несправедливостью; приходские священники, пользуясь покровительством власти, забирали в свои руки по одиннадцати бенефиций, епископы соединяли под своим управлением несколько епархий и, не имея возможности управлять как должно всеми ими, не управляли ни одной. Сам Вольсей, который хлопотал о преобразовании церкви, об улучшении нравственности духовенства, был в одно время архиепископом Йоркским, епископом Винчестерским, Батским, Дургамским и аббатом Сент-Албанским. А между тем явился Лютер, и вся Северная Германия встала на его голос против Римской церкви. Из той самой страны, которая снабжала Англию фабричными произведениями, начали приходить в Англию и запрещенные переводы св. Писания на народном языке, и протестантские сочинения.

Оксфордский студент Тиндаль, получивши от лондонского альдермана Монмута десять фунтов стерлингов, отправился в Виттенберг к Лютеру, а Монмут в крепость за вспоможение еретику; в Виттенберге Тиндаль перевел Евангелие и Апостол на английский язык, после чего поселился в Антверпене, где соединились с ним другие англичане, принявшие новое учение; здесь основана была типография и печатались протестантские книги для Англии. Но английское правительство, Генрих VIII и кардинал Вольсей, хотя и видели необходимость преобразований в духовенстве, вовсе не хотели, однако, преобразований в протестантском смысле; Генрих VIII выступил с нападками против Лютера, и протестанты в Англии подверглись сильному преследованию. В истории этого преследования любопытен следующий случай: Гаррет, один из главных распространителей протестантизма, узнавши, что его велено схватить, скрылся из Оксфорда, так что никак не могли отыскать его следов; тогда правитель Нового Коллегиума в Оксфордском университете, духовное лицо, обратился к колдуну, чтоб тот открыл место убежища Гаррета; колдун указал на Лондон, и правитель Нового Коллегиума писал к архиепископу Кентерберийскому о средстве им употребленном и о показании колдуна, прося сообщить об этом епископу Лондонскому и самому кардиналу. Таким образом, отыскивая еретика для предания его смерти, правитель Коллегиума совершал преступление, подвергавшее его самого смерти, ибо чародейство наказывалось сожжением наравне с ересью, мало того, он делал участниками своего преступления три

главные духовные особы в королевстве. Но в глазах этих особ цель оправдывала средства, и почтенный правитель не подвергнулся никакому наказанию.

В таком положении находились дела, когда последовал знаменитый развод Генриха VIII с Катериной Арагонской.

Статья 2

Генриху VIII было 12 лет, когда умер старший брат его Артур, пять месяцев тому назад женившийся на Катерине, дочери Фердинанда-Католика Арагонского. Генрих был провозглашен принцем Валлийским, наследником престола; но вместе с этим наследством после брата он должен был получить и другое· его обручили со вдовою Артуровой, Катериной, которая была старше его шестью годами. Фердинанду-Католику хотелось, чтоб дочь не возвращалась к нему вдовою из Англии; но часть английских прелатов смотрела на этот брак как незаконный; папа нехотя дал разрешение. Скоро сам король Генрих VII раскаялся и потребовал от сына, чтоб тот отказался от брака; но по смерти отца, Генрих VIII, следуя мнению большинства членов своего совета, обвенчался на Катерине, несмотря на возражение примаса королевства, архиепископа Кентерберийского.

Несколько лет все шло хорошо, пока еще оба супруга, несмотря на разницу лет, были молоды, и Катерина сохраняла свою красоту; но потом эта разница в годах стала ощутительна, особенно когда Катерина истощила свое здоровье, потеряла красоту, не приобретя в то же время права на привязанность мужа и короля: все сыновья или родились мертвыми, или умирали несколько дней спустя после рождения; дочь Мария выросла, но была слабого здоровья. Исчезли все надежды, исчезла всякая привязанность, если прежде была какая-либо; нелюбезный характер королевы, который не очень еще замечался молодым мужем в молодой и красивой жене, теперь высказался со всей полнотой в женщине, лишенной всякой привлекательности. Но чем более Генрих удалялся от нелюбимой жены, тем более Катерина настаивала, что он не имеет права от нее удаляться, требовала, чтоб он исполнял закон Коса нашла на камень; оба, и муж и жена, отличались крайним упорством; но Генрих был пылок и стремителен, Катерина холодна и сдержлива; страсти руководили Генрихом; Катерина, суровая испанка, соразмеряла свои шаги с буквой закона.

Несмотря на то, по всем вероятностям Генрих, удалившись от нелюбимой жены, не решился бы на развод, если б нельзя было оправдать его, если б король не мог опереться на требования государственные и если б не были возбуждены сомнения относительно законности брака его с Катериной. Порядок престолонаследия еще не был утвержден; право дочерей королевских наследовать престол хотя не было формально отрицаемо, но, с другой стороны, не было и утверждено Недавно происходила страшная усобица за престолонаследие, война Алой и Белой Розы, и мысль о возможности возобновления подобной усобицы

вследствие смерти Генриха VIII без потомства мужского пола, эта мысль приводила в трепет английских государственных людей.

Ближайшим наследником престола в случае смерти болезненной Марии или отстранения ее от престола был Яков, король Шотландский: но ненависть между англичанами и шотландцами доходила в это время до того, что, по выражению современников, камни лондонских мостовых поднялись бы, если б шотландский король предъявил свои притязания на престол английский; парламент прямо объявлял, что будет противиться этому до последней крайности. Но король Шотландский согласится ли отказаться от своих прав и не будет ли защищать их с помощью французского войска? А тут внутри Англии другие претенденты, знамя Белой Розы не замедлит подняться, как скоро король умрет без наследника...

Генрих хотел разделить интересы Франции и Шотландии и упрочить престол за дочерью: с этой целью предположен был брачный союз Марии с сыном французского короля, но тут-то и явилось первое сильное искушение: епископ Тарбский, ведший переговоры об этом деле, выразил сомнение насчет законности брака, от которого родилась невеста. Тут почувствовал Генрих угрызения совести, чрезвычайно приятные при его настоящих отношениях к жене: в самом деле, он женился на Катерине, нарушив обещание, данное отцу; женился вопреки мнению архиепископа-примаса, и Бог явно не благословил этот преступный брак: дети мужского пола не жили. Разумеется, если бы Генрих любил Катерину, то все эти искушения могли б быть преодолены, но Генрих не любил жены и более чем не любил; и вот развод представился ему как необходимое удовлетворение требованиям нравственным и государственным.

Король дал знать папе о своем желании развестись с Катериной и вступить во второй брак, причем было прибавлено, что король никогда не откажется от этого желания, каково бы ни было решение папы, ибо совесть его величества находится в сильном беспокойстве, престолонаследие в величайшей опасности, и, кроме того, есть еще обстоятельства неизвестные и которых сказать нельзя; все это заставляет короля развестись во что бы то ни стало. Казалось, что папа должен был согласиться исполнить желание королевское: император Карл V, племянник Катерины, долженствовавший поэтому всеми силами противодействовать разводу, был в явной вражде с папой, которого столица была взята и опустошена императорскими войсками Весной 1527 года Генрих разорвал союз с Испанией и заключил договор с Францией, целью которого было изгнание империалистов из Италии

Но помощь Англии и Франции была далеко, а войско императорское близко, поэтому папа Климент VII был в самом затруднительном положении Он не отказывался от желания мстить и мстить жестоко — там, где это было возможно; но мстить Карлу V было очень опасно, и вот папа прибегнул к средствам, употребляемым обыкновенно слабым в борьбе между сильными: нынче говорил «да», завтра «нет», вздыхал, рыдал, колотил себя в грудь, умолял, грозил, желая избежать необходи-

мости сказать решительное «да» или «нет», чтоб не оскорбить кого-нибудь, и более всего желая выиграть время, в надежде, что какое-нибудь непредвиденное обстоятельство выведет его из затруднения. Но в Англии не хотели дожидаться: послы за послами являлись оттуда к папе все с большими и большими угрозами; один из них так говорил папе и кардиналам: «Король, государь мой, и лорды должны подумать, что ваше святейшество и эти почтенные и ученые советники ваши или не хотят дать ответа в нашем деле или не могут. Если вы не хотите указать путь блуждающему человеку, попечение о котором возложено на вас Богом, то они скажут: «Эти люди забыли свою священную обязанность! Обязанные быть чистыми как голуби, являются исполненными обмана и притворства». Если желание королевское справедливо, скажите, что оно справедливо, если же нет, то и скажите прямо — нет. Если же вы имеете все доброе желание решить дело, но не можете этого сделать, то ясно, что Бог отнял у вас ключ ведения, и король с вельможами поневоле склонятся ко мнению людей, утверждающих, что папские законы, которых ни сам папа, ни совет его не могут истолковать, заслуживают только быть брошенными в огонь».

Папа продолжал тянуть дело, и в 1529 году в королевском совете было определено отдать его на решение университетам и ученым людям во всей Европе: и вот английские агенты были отправлены в Германию, Италию и Францию, снабженные всеми средствами к убеждению, умственными, нравственными и материальными, а между тем граф Вильтшир, с Кранмером, епископом Лондонским, и Эдуардом Ли, который был после епископом Йоркским, были отправлены в Болонью защищать дело Генриха перед самим императором, приехавшим в этот город короноваться. Несчастный Климент, трепеща от бессильного гнева, с горьким вздохом возложил корону на ненавистного Карла; в угоду последнему он должен был грозить отлучением от церкви Генриху, если тот не откажется от развода, но тайком говорил французскому послу, епископу Тарбскому, что был бы очень доволен, если б английский король уже развелся и женился в другой раз или с разрешения английского легата, или каким-нибудь другим образом, только бы без его папского согласия и не в ущерб его власти. Английские послы не могли убедить императора согласиться на развод, и папа остался между двух огней: объявить себя против развода — значило лишиться Англии, объявить за развод — лишиться Германии, Фландрии и самой Испании; по-прежнему оставалось одно средство — длить время.

Между тем английские агенты собирали голоса ученых в пользу своего короля. В Италии сначала огромное большинство объявило себя за развод; но Карл, всесильный тогда в этой стране, принял также свои меры. письма английского агента были распечатываемы, и лица, о которых он отзывался как о приверженцах своего короля, стали подвергаться преследованию: им прямо грозили смертью, если они осмелятся подать голос за развод. Таким образом, успех английского агента в Италии был остановлен, и деньги не помогали. В Парижском университете большинство докторов объявило себя также в пользу развода; но один из них,

именно доктор Беда, яростный ультрамонтан, начал утверждать, что по вопросу, касающемуся папской власти, они не имеют права произносить суждения без позволения самого его святейшества. Это мнение было поддержано испанской и итальянской партией в университете, начались горячие споры, и наконец доктора разошлись в сердцах друг на друга, ничего не порешивши. Беда, между прочим, кричал, что имеет тайное согласие короля своего Франциска I, который желает торжества папы.

Это дошло до английского посланника, который немедленно подал жалобу. Франциск, совершенно равнодушный к справедливости дела, руководился одним личным интересом, а этот интерес требовал раздувать вражду между Генрихом и Карлом; вот почему в июне 1530 года он отправил к президенту парижского парламента такую грамоту: «Ведомо нам учинилось, к великому нашему неудовольствию, что какой-то Беда, империалист, осмелился учинить смуту между богословами, уговаривая их не подавать голоса в пользу короля Английского. И как эта наша грамота к вам придет, то вы бы позвали того Беду к себе и объявили ему наш гнев; да скажите ему, что если он не переделает своего дела, то будет долго помнить, что значит человеку его звания мешаться в дела государские. Если он осмелится возражать, скажет, что это дело совести и что прежде всего необходимо снестись с папой, то объявите ему нашим именем, чтобы не смел сноситься; и если он или кто другой посмеет сноситься с папой или даже говорить, что надобно сноситься, то будет примерно наказан. Здесь дело идет о свободе галликанской церкви, о независимости нашего богословского совета, а это такие привилегии, которые мы более всего хотим поддерживать». Грамота королевская произвела желаемое действие, университетские богословы объявили себя в пользу развода.

В английских университетах, Оксфордском и Кембриджском, старшие члены были готовы подать мнение за развод, но младшие объявили себя против. Хотели устроить дело так, чтоб в комиссии, назначенной для обсуждения королевского предложения, участвовали одни старшие; но младшие на совете, пользуясь своей многочисленностью, воспротивились и этому. Тогда король прислал грамоту, в которой обнаружил свое неудовольствие и удивление, что большая часть университетской молодежи не обращает внимания на свои подданнические обязанности к государю и не согласуется со мнениями и приказаниями добродетельных, мудрых, глубоко ученых членов университета. Мы, продолжает король, полагаемся на ловкость и благоразумие университетских ученых, вполне уверены, что они заставят молодых людей поступать надлежащим образом; если же последние будут продолжать поступать так, как начали, то мы не сомневаемся, что они увидят, как не хорошо дразнить ос (non est bonum irritare crabrones). И в Англии королевская грамота произвела такое же действие, как и во Франции: университеты объявили себя за развод.

Но заставить замолчать университетскую оппозицию еще не значило покончить дело; исповеданием английского народа, исключительно признаваемым, оставался по-прежнему католицизм, следовательно, у папы

и королевы Катерины было много верных слуг. Католицизм употребил в дело все свои средства — и ясно обнаружил свою слабость, ибо вместо сил нравственных прибегнул к суеверию и обману. Нищенствующие монахи рассеялись по государству, порицая развод, предсказывая гнев Божий, гибель королю. Самым видным орудием католицизма в этом деле была знаменитая кентская монахиня, сомнамбулка Елисавета Бартон; ее келья в Кентербери в продолжение трех лет была Дельфами католического оракула, веления которого, как веления неба, сообщались самому папе. Елисавета объявила торжественно, что если Генрих разведется с своей женой, то не процарствует и месяца, но умрет дурной смертью. Она нашла доступ к самому королю, но не успела напугать его; тогда она обратилась к епископам, начала возбуждать их к сопротивлению; архиепископ-примас поверил ей и представил ее кардиналу-правителю Вольсею: и этот также поколебался. Елисавета познакомилась и с папскими послами и чрез них стала грозить Клименту за его медленность в отказе относительно развода.

Несмотря, однако, на эти движения королевиной партии, члены обоих парламентов по выслушании университетских решений отправили папе грамоту, в которой просили его о немедленном решении дела, о немедленном подтверждении университетского приговора: «Если же вы этого не сделаете, — говорилось в грамоте, — если вы, наш отец, решились оставить нас сиротами, и поступать с нами как с людьми, не стоящими внимания, то нам ничего не остается больше делать, как промышлять самим о себе, искать другим путем средства избавиться от беды. Мы не желаем быть доведенными до такой крайности, и потому умоляем ваше святейшество без отлагательств удовлетворить справедливым желаниям нашего государя. Дело его величества есть собственное дело каждого из нас: страдание головы должно отзываться во всех членах».

Папа молчал. Все его усилия теперь были направлены к тому, чтоб Карл V, с своей стороны, не требовал от него также немедленного решения дела в пользу Катерины и чтобы Франциск I не затянулся в союз с Генрихом VIII: тогда последний, по расчету Климента, оставленный всеми, должен будет уступить. Действительно, папе удалось сблизиться с Франциском, которого сын женился на племяннице Климента, знаменитой впоследствии Катерине Медичи; но Климент жестоко обманулся в своих расчетах относительно Генриха VIII: последний, по характеру своему, не был способен уступать, отказываться от своих страстных желаний, тем более, что его дело, благодаря именно прикосновенности к нему папы, было делом народным. Здание было расшатано, нужен был только один случайный толчок, чтоб дорушить его. Английский король и парламент обращались с своим делом к папе, как общему отцу западных христиан, но папы давно уже не было, давно уже не было той нравственной силы, того духа, который составлял папство: вместо папы был итальянский владелец, слабый между сильными, который спасения своего искал в ловкости, хитрости, в тех средствах, какими отличались тогда его соотечественники. Папа сказал английскому послу: «Менее скандала было бы разрешить королю иметь двух жен, чем

позволить ему развод и вступление во второй брак». Но от чего же происходил этот скандал для папы? Оттого, что Катерина была тетка императора Карла V!

Генриху наскучило дожидаться, и он женился на своей любовнице, Анне Болин, бывшей фрейлине королевы Катерины; брак с Катериной был объявлен незаконным, ее запрещено называть королевой, при ней остался только титул вдовствующей принцессы. Когда ей официально дали знать об этом, то она отвечала: «Знаю я все это, и знаю, как это сделано, силой вынуждено. Университеты и парламент сделали то, что король им велел, и поступили вопреки своей совести; но мне до этого нет нужды: мое дело в руках папы, Божия наместника, и я не признаю никакого другого судьи» Ни просьбы, ни угрозы не помогли. «Я законная жена короля, — повторяла Катерина, — и никогда не отрекусь от имени королевы до тех пор, пока папа решит, что я должна от него отречься». Но она очень хорошо знала, что папа не произнесет такого решения.

12 мая 1533 года Климент прислал Генриху позыв к суду, Генрих отвечал, что переносит свое дело на будущий собор, который должен быть созван для прекращения смут, возникших в западном христианстве Папа стал, наконец, действовать решительно: он объявил развод незаконным и короля заслуживающим отлучения: если он хочет избежать этого наказания, то должен восстановить все отношения, как они были до развода. Генрих писал по этому случаю к французскому королю: «Что касается до папского требования, то мы скажем свое нет таким образом, что весь мир его услышит и папа почувствует. Если государи могут быть вызываемы к папскому двору в случае дел о браке, то они могут быть вызываемы во всяком другом случае по папской прихоти, и тогда свободные государства Европы превратятся в провинции, зависящие от римского престола; польза и честь всех государей требуют, чтоб они противились таким притязаниям».

Срок, назначенный Генриху папой на покаяние, прошел, и король Английский с королевой и примасом, архиепископом Кентерберийским, были отлучены от церкви.

Генрих отвечал на это объявлением, что власть папы в Англии не больше власти всякого другого епископа (7 апреля 1534 г.). Если б пять лет тому назад какой-нибудь еретик осмелился высказать подобное мнение, то был бы сожжен, и духовенство заткнуло б уши при такой хуле: а теперь оно наперерыв высказывало свое согласие с волей королевской. Епископы получали обязанность объяснить духовенству, а духовенство, в свою очередь, должно было объяснить народу, в чем состояла перемена, аббаты должны были объяснить это своим монахам, господа слугам, отцы семейств женам и детям. Каждый епископ должен был присягнуть королю, как главе церкви; церковные книги, в которых упоминалось имя папы, были истреблены, запрещено было упоминать имя папы иначе, как с прибавкой бранных выражений.

И народ, то есть огромное большинство его, признал перемену законной. Католицизм не уступил без борьбы, он выставил и нравствен-

ные силы, выставил мучеников протестовал и погиб Фишер, епископ Рочестерский, протестовал и погиб знаменитый ученый канцлер Томас Морус, протестовали и погибли картезианские монахи, поведением своим напомнившие поведение древних иноков во времена искушений Но впечатление, произведенное обнаружением этих нравственных сил, было пересилено впечатлением, произведенным Елисаветой Бартон, которая всего более содействовала падению католицизма, отнявши у большинства веру в его нравственные силы. Мы видели, как она объявила, что если король женится на Анне Болин, то погибнет. Король женился, прошел месяц, шесть месяцев, восемь, девять — и король все оставался королем. Придумали объяснение. Генрих царствует; но и Саул продолжал царствовать, хотя и был отвержен Богом; Генрих отвержен Богом с той самой минуты, как совершил беззаконие, и никто не обязан более смотреть на него как на короля Нищенствующие монахи разносили это объяснение по государству.

Тогда Елисавету с пятью сообщниками ее, монахами Христовой Церкви в Кентербери, посадили в крепость, и тут они признались во всем; признались, что монахи помогали Елисавете вымышлять откровения и потом разносили их по королевству; огромное число аббатов, приоров, монахов и священников, деревенского дворянства и лондонских купцов — верило им на слово. Епископ Рочестерский плакал от радости, слушая пророчества Елисаветы, Томас Морус также находил в них великое утешение духовное. Наконец, Елисавета и сообщники ее признались, что находились в сношениях с вдовствующей принцессой Катериной и дочерью ее Марией; сопротивление последних уступить требованиям короля поддерживалось откровениями Елисаветы, которая провозглашала, что Мария получит помощь, что никто не отнимет у нее ее прав. Елисавета набрала целую толпу монахов, которые, по данному ею знаку, должны были возбудить в народе восстание против короля во имя повелений Божиих, открытых Елисавете.

Когда следствие было кончено, Елисавета и ее сообщники должны были торжественно в церкви перед всем народом объявить свои показания, после чего 21 апреля 1534 года они были казнены. Перед смертью Елисавете было позволено сказать несколько слов народу, и она сказала следующие горькие слова: «Пришла я сюда умирать, и сама я причиной своей смерти, и не одной своей, а всех этих людей, которых казнят вместе со мною. Но нельзя же меня во всем винить. ведь всем было известно, что я была бедная неученая девушка, и эти ученые люди могли легко открыть, что я говорила вздор. Но так как вещи, которые я выдумывала, были им полезны, то они стали меня расхваливать и внушать, что св. Дух говорит через меня. Надменная их похвалами, впала я в гордость, вообразила, что могу выдумывать все, что мне угодно — и вот к чему это привело!»

В этих словах несчастной Бартон заключался приговор католицизму в Англии Учреждение, которое хочет быть крепко, должно употреблять нравственные средства

РЕЦЕНЗИЯ НА кн.: Н. Г. УСТРЯЛОВ «ИСТОРИЯ ЦАРСТВОВАНИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»*

Давно с нетерпением ожидаемая книга г. Устрялова наконец появилась, и мы должны сказать, что наши ожидания вполне оправдались; г. Устрялов как исторический писатель — наш давний знакомый, и потому мы хорошо знали, с кем должны встретиться; и взгляд его на эпоху, которой он посвятил свою ученую деятельность в последнее время, был также хорошо известен; притом он уже напечатал несколько значительных отрывков, из которых мы увидали, что встретимся со старым знакомым. Мы ждали, что г. Устрялов сообщит нам несколько новых сведений по источникам, которые были неизвестны прежним писателям о Петре, — и не обманулись; мы ждали, что г. Устрялов разберется в многочисленных и разноречивых известиях о великом историческом лице, о котором так много и так многими писалось, — что он хотя сколько-нибудь осветит критикой этот хаос; и здесь мы не ошиблись. Одним словом, важность книги г. Устрялова в нашей исторической литературе бесспорна, эта-то важность и побуждает нас посвятить ей подробный разбор.

Первая обязанность историка, приступающего к изображению какой-нибудь эпохи в жизни исторического народа, состоит в показании отношения избранной эпохи ко времени предшествовавшему, в показании, как эта эпоха вытекла из предшествовавшей. Сознавая эту обязанность, г. Устрялов в начале своей книги посвящает несколько страниц решению вопроса об отношении древней и новой России. Приводя слова Неплюева: «На что в России ни взгляни, все его (Петра) началом имеет, и чтоб впредь ни делалось от сего источника черпать будут» — г. Устрялов возражает Карамзину, по мнению которого «царствование Романовых, Михаила, Алексея, Феодора, способствовало сближению россиян с Европой, как в гражданских учреждениях, так и в нравах, от частых государственных сношений с ее дворами, от принятия в нашу службу многих иноземцев и поселения других в Москве. Еще предки наши усердно следовали своим обычаям; но пример начинал действовать, и явная польза, явное превосходство одерживали верх над старым навыком в воинских уставах, в системе дипломатической, в образе воспитания или учения, в самом светском обхождении, ибо нет сомнения, что Европа от XIII до XVII века далеко опередила нас в гражданском просвещении. Сие изменение делалось постепенно, тихо, едва заметно, как естественное возрастание, без порывов и насилия. Мы заимствовали, но как бы нехотя, применяя все к нашему и новое соединяя со старым. Явился Петр, сквозь бури и волны устремился к своей цели; достиг, и все переменилось. Сею целью было не только новое величие России, но и совершенное присвоение обычаев европейских».

Г. Устрялов никак не хочет согласиться с мнением Карамзина, что древняя Россия обнаруживала очевидное стремление к благоуст-

* Атеней 1858 № 4 С 1—29

ройству и образованию; знакомилась, сближалась с Европой, и хотя медленно, зато твердым и верным шагом подвигалась к той же цели, к которой так насильственно увлек ее Петр Великий, не пощадив ни нравов, ни обычаев, ни основных начал народности. По мнению г. Устрялова, до Петра не сами русские заводили связи с образованными европейцами, чтоб извлечь из этих связей пользу для своей промышленности и образования, а предприимчивые голландцы, англичане, датчане, шведы посылали к ним своих послов и агентов; что вообще для русских людей до Петра еще недоступна была идея о необходимости образования. Они коснели в старых понятиях, которые переходили из рода в род, из века в век.

«Мы, — говорит г. Устрялов, — спесиво и с презрением смотрели на все чужое, иноземное; ненавидели все новое, и в каком-то чудном самозабвении воображали, что православный россиянин есть совершеннейший гражданин в мире, а святая Русь первое государство. Бесспорно, привязанность к родному, национальному, также необходима для благоденствия обществ, как и самое образование. Но если это благородное чувство переходит в закоренелый предрассудок, отвергающий всякую новую мысль, ужели государство, им зараженное, может благоденствовать! Вот, против чего так грозно, так могущественно, со всей пылкостью своего огненного характера, со всей крепостью своей железной воли, вооружался Петр Великий. Он хотел преобразовать полуазиатскую Россию в государство, цветущее промыслами, искусствами, науками, с необходимым политическим весом в Европе».

Для каждого, думаем, ясно, что мнение Карамзина, как бы оно ни было неверно в других отношениях, выигрывает перед мнением г. Устрялова тем, что объясняет нам явление Петра: русские люди до Петра сближались с Европой, как в гражданских учреждениях, так и в нравах; отсюда, естественно, что великий человек, родившийся и воспитавшийся во время этого сближения, в силу обстоятельств и условий своей природы ускоряет это сближение. Но предположим, что наши предки до Петра не имели еще идеи о необходимости образования, коснели в старых понятиях, спесиво смотрели на все чужое, ненавидели все новое, смотря на себя как на совершеннейших граждан в мире, — и вдруг среди таких людей является человек, который начинает смотреть совершенно противоположно и заставляет всех неволей смотреть по-своему! Г. Устрялов старательно отстраняет от своего повествования все чудесное; а между тем, в основе сочинения лежит чудесное. Как мог явиться тот муж, которого воспевает г. Устрялов? Остается загадкой. И что это за общество, которое нисколько не участвует в образовании своих великих деятелей, в котором эти деятели являются и действуют совершенно без спросу с обществом?

Но с своей стороны и Карамзин, давая ключ к уразумению возможности явления Петра, ставит деятельность последнего в разрыв со стремлениями и характером общества, среди которого действовал Петр, бывший полным представителем этого общества, произведением Руси XVII века; и Карамзин, признавая развитие Руси XVII века правильным,

естественным, упрекает Петра в насильственном ускорении движения, упрекает Петра в том, что он отнял у русских их нравы, обычаи, народность; и в этом взгляде, следовательно, народ наш низводится на степень народов неисторических, которых можно по произволу двигать туда и сюда, у которых это движение не вытекает из внутренних потребностей, не истекает из предыдущего движения. Подобные взгляды происходят вследствие невнимания к законам развития как отдельного человека, так и целых обществ, целых народов...

Даже и без знания фактов всякий усомнится в правильности этого изображения наших предков XVII века. Усердно следовать своим обычаям и в то же время понимать превосходство чужих и принимать эти чужие обычаи и перечисление сфер, в которых вводились эти новые обычаи, таково, что оно исчерпывает все, ибо касается не одной государственной жизни, но и частной. Но естественно ли это? Странен был бы народ, в котором подобное явление, изменение обычаев во всех сферах, могло произойти постепенно, тихо, едва заметно! История знает, что происходит, когда один какой-нибудь народ сталкивается с другим, превосходящим его гражданственностью. Если народ неисторический, неспособный, еще не созревший для развития, сталкивается с народом цивилизованным, но одряхлевшим уже или еще слишком юным в цивилизации, то, разорив, опустошив все произведенное цивилизацией, удаляется в свои степи и продолжает прежний образ жизни: от столкновения с цивилизацией для него не происходит ничего. Таково было столкновение кочевых азиатских орд с европейскими народами. Если же слабый и не созревший для цивилизации народ сталкивается с народом цивилизованным и сильным, который принуждает варварский народ к принятию плодов цивилизации, то эта насильно даваемая и несвойственная несозревшему организму пища производит разрушительное действие· несчастные племена исчезают, по-видимому никем не истребляемые: таково печальное явление, которое мы видим на островах Океании. Если племя, созревшее для цивилизации, но слабое в государственном и народном отношениях, не достигло до сознания своей народности и не имеет средств к ее поддержанию и защите — если такое племя сталкивается с племенем более цивилизованным, обладающим большими государственными средствами, то, подчиняясь ему в государственном отношении, принимает его народность; так онемечились разрозненные племена западных славян, также литовское племя пруссы.

Наконец, если народ, созревший для цивилизации и значительно окрепший в государственной жизни, долго живший ею, хотя и особняком, богатый средствами, сталкивается с народами, обладающими высшей цивилизацией, то сначала происходит борьба между старым и новым, между своим — то есть тем, что считается своим, и чужим, которое должно стать своим; борьба более или менее продолжительная оканчивается торжеством нового: но как же принимается это новое? Сначала новое сопоставляется со старым, механически, так сказать, соединяется с ним; это самое непривлекательное состояние общества, ибо представляет странное, неприятное смешение и колебание, представляет новые

заплаты, нашитые на ветхом рубище; этот наплыв нового, наплыв новых понятий, которые никак еще не перевариваются, не превращаются в плоть и кровь, в жизненное достояние народа, — такой наплыв новых понятий и внешнее, механическое сопоставление их со старыми отражается всего яснее в языке, который наполняется чуждыми словами и целыми речениями иностранными; наконец, новое, чужое, по-видимому, берет окончательно верх, старые формы исчезают, чуждый язык господствует; но здесь-то, если народность сильна, живуча, и происходит химическое соединение старого с новым, своего с чужим, вследствие чего свое, народное, возбужденное к жизни соединением с чужим, приобретшее чрез это плодотворное соединение новые силы обнаруживается во всей своей полноте.

Само собой разумеется, что указать грани эпох, когда оканчивается один процесс и начинается другой, невозможно, у одного народа все это делается скорее, у другого медленнее вследствие разных условий. Само собой разумеется также, что подобные явления не могут происходить без борьбы, не могут происходить постепенно, тихо, едва заметно, как говорит Карамзин. Московское государство уже давно начало страдать под этим новым, чуждым влиянием, давно обнаруживалось в известной части народонаселения это неудержимое стремление принять новое, сначала преимущественно во внешности. Еще при Борисе Годунове иностранцы удивлялись страсти русских людей подражать иноземным обычаям; в последующие царствования эта страсть не ослабевала; она встретила противодействие; стороны образовались и вступили в борьбу; правительство колебалось; царь Алексей Михайлович, в глазах которого дядя Никита Иванович Романов, любимец Матвеев были приверженцами новых обычаев, царь Алексей то приказывал шить своим детям немецкое платье, то вдруг, под влиянием стороны противной, выдавал строгие указы против нововведений. До какой степени к концу XVII века дошла страсть подражать иноземным обычаям, и прежде всего бритью бороды, видно из послания патриарха Адриана, который вооружается против этого нововведения как дела богопротивного.

Любопытно, что г. Устрялов сам приводит это послание Адриана и в то же время о приказе Петра брить бороды говорит следующее: «Этот первый шаг к перерождению России был самый трудный. Ничем так не гордился русский народ пред немцами и ничем в своих обычаях так не дорожил он, как бородою. Обрить ее казалось грехом смертным не только в понятиях простолюдина, но и в глазах самого разумного вельможи, даже пастырей церковных». Но спрашивается, если все русские в XVII веке смотрели на бороду так, как хочет г. Устрялов, чтоб они смотрели, то против кого же вооружается патриарх Адриан? Не боролся же он с призраком своего воображения! Теперь уясняется для нас положение Петра относительно тогдашнего русского общества он был вождем, представителем стороны, смотревшей вперед, стремившейся к новому, — стороны, не им созданной, но до него образовавшейся; Петр по своему положению как царь и по своим личным средствам как человек гениальный только дал победу своей стороне,

дал торжество тому началу, под влиянием которого уже давно находилась Россия, которого необходимость, которого нахождение на очереди она признавала.

Теперь, следовательно, первый вопрос для историка Петра Великого, для историка так называемой эпохи преобразования состоит в том, как воспитался Петр, как приготовился к тому, чтоб стать в челе стороны движения к новому, ибо одних природных способностей и влечений еще недостаточно для объяснения явления; развитие природных способностей и влечений могло быть замедлено или ускорено известными условиями. Первые страницы своего рассказа о младенчестве Петра г. Устрялов посвящает опровержению известий о разных предсказаниях великой участи, ожидавшей младенца; предсказаниях, которые приписываются Симеону Полоцкому и Димитрию Ростовскому.

Понятно, что мы не станем защищать этих известий против г. Устрялова; но мы думаем, что нельзя здесь не заметить одного *знамения времени*, которое важнее для историка всех предсказаний Симеона Полоцкого (если б даже они и были на самом деле), — это именно появление самого Симеона Полоцкого у колыбели Петра. Что это за лицо? Бывали прежде такие при дворе царей русских или нет? Симеон Полоцкий, ученый-белорус, плодовитый литератор, богослов, проповедник, виршеслагатель; человек из того же круга, к которому принадлежали Димитрий Ростовский, Яворский, Прокопович и другие; передний человек в той колонии западнорусских ученых духовных, которые так долго были необходимы для великороссийской Церкви. Что же это за явление — старое или новое? Это явление новое, бывшее следствием тех новых потребностей, которые почувствовало общество в XVII веке. Симеон Полоцкий явился при дворе царя Алексея Михайловича в качестве воспитателя для царевичей; эти царевичи — Алексей и Феодор — были воспитаны вовсе не так, как отец их, это были люди ученые своего времени. Как же после того можно сказать, что русским людям XVII века еще недоступна была идея о необходимости образования? Видел ли Симеон Полоцкий звезду пресветлую, предвозвещавшую зачатие Петра, — это нейдет к делу; но напрасно г. Устрялов упустил известие о том, что после рождения Петра Симеон Полоцкий вместе с греком Епифанием поднес царю Алексею *прогностик* в виршах; в этом прогностике приглашаются к веселью Константинополь и св. София, потому что рождением Петра положилось начало их спасению; Петр называется Камнем Счастья для России, точащим воду живу, и проч. Здесь любопытна и господствующая мысль тогдашних ученых людей, которую они выставили перед государем, мысль об освобождении Константинополя. Любопытно и такое возвеличение *третьего* сына царского; Полоцкий был человек ловкий, знал, откуда ветер дует.

Что ни лицо подле маленького Петра, то знамение времени. Мать, Наталья Кирилловна Нарышкина, воспитанница Матвеева. Г. Устрялов приводит известие об ней иностранца Рейтенфельса, который имел случай видеть Наталью Кирилловну до замужества. Это что за новость! Слыханное ли дело, чтоб чужой мужчина, да еще поганый немец мог

видеть порядочную русскую девушку до замужества? А между тем так было; сам г. Устрялов говорит: «Матвеев умный, образованный, выше предрассудков своего века, не скрывал ни жены, ни своей воспитанницы от взоров посторонних, как того требовал обычай». Вот уже подле Петра является и *образованный* человек, Матвеев, который не следовал принятому обычаю. «Матвеев, — говорит далее г. Устрялов, — имел прекрасный дом в Москве с картинами и дорогими часами, что было в его время редкостью. Там любил проводить время благодушный царь Алексей Михайлович в беседе с другом своим, *Сергеичем*. Там находили радушный привет иностранцы, приезжавшие в Москву; там было и святилище науки: десятилетний сын Матвеева, Андрей, учился языкам греческому и латинскому под руководством переводчика Посольского приказа, Спафария. Отец нередко присутствовал при уроках сына». Вот уже нашлось и святилище науки! А все русским людям недоступна была идея образования! Но Матвеев представлял не исключительное явление в этом отношении; можно было указать на Голицыных, Ордина-Нащокина, Ртищева. Да если бы даже Матвеев представлял и исключительное явление: то ведь здесь для Петра семейный дух, семейное преданье.

Сказавши о рождении и крещении Петра, г. Устрялов переходит к рассказу о его воспитании и тут прежде всего приводит известие Котошихина о воспитании царевичей; но это известие относится к воспитанию царевичей до Алексея Михайловича (как царевича) включительно, но никак не может относиться к воспитанию детей царя Алексея Михайловича, ибо мы знаем, что это воспитание было иное — что у детей царя Алексея Михайловича учителем был не посольский подьячий, а Симеон Полоцкий. Но теперь рождается вопрос: младший сын царя Алексея, Петр, так ли был воспитан, как его старшие братья, был ли при нем кто-нибудь вроде Симеона Полоцкого? Нет, не было никого; отчего же это произошло? Оттого, что Петр на четвертом году лишился своего отца, и начинается для малютки время бед, гонений; при царе Феодоре Алексеевиче приставили к нему для научения чтению и письму ограниченного и раболепного подьячего Зотова, а после смерти Феодора в правление Софьи, если мы не примем известия, что Петру нарочно хотели дать дурное воспитание, то, по крайней мере, уже нисколько не заботились об этом воспитании, не давали никаких средств; и вот Петр, при своей гениальности, при жгучей жажде к приобретению познаний, предоставлен совершенно самому себе, должен быть самоучкой, нахватывать познаний здесь и там, по поводу каждого нового предмета, попадающегося ему в глаза. Но обстоятельство, что Петр лишился отца в младенчестве и с тем лишился средств домашнего воспитания, средств правильного научного образования, которое хотя бы сколько-нибудь сосредоточивало, направляло и сдерживало его нравственные и умственные силы, что он во время своего малолетства был царь, так сказать, *опальный*, был гоним скукой из дворца, где, кроме грустной и раздраженной матери, не было для него ничего привлекательного, где не было никакого предмета для его деятельности, и он должен был искать себе развлечений и занятий в шумной толпе

потешных или в живой и шумной беседе обитателей Немецкой слободы, — это обстоятельство имеет огромное значение в истории Петра.

Г. Устрялов, не признавши в допетровской России никакой идеи о необходимости образования, позабыв, что старшие братья Петра были люди образованные, не менее иного тогдашнего потентата Западной Европы, предположивши, что Петр и при самых благоприятных обстоятельствах не мог получить другого воспитания, как то, которое описывает Котошихин, так небрежно и коротко обработал статью о воспитании, что даже призвание Зотова отнес ко времени царя Алексея Михайловича: так по крайней мере должен понять читатель.

Малолетство Петра Великого было для него временем бедствий по тем же причинам, по каким малолетство было бедственно для двух других знаменитых людей нашей истории — Никона и Ломоносова, именно по смутам семейным: маленький Никита (Никон), маленький Ломоносов терпели беды от мачех; маленький Петр терпел оттого, что был сыном второй жены царя Алексея, что дети от первой жены боролись против мачехи и дважды одолели ее — по вступлении на престол Феодора и после Стрелецкого бунта. Чтоб понять смысл событий в малолетство Петра и их следствий, не должно упускать из внимания этих семейных отношений; так, мы видим, что ненависть Софьи и ее приверженцев обращена не на Петра, но преимущественно на его мать, на мачеху Софьи и сестер ее. Но для чего мы должны упоминать здесь женские имена? Опять и здесь знамение времени, опять новое.

«Никакой монастырь, — говорит г. Устрялов, — не мог быть скромнее и благочестивее царских теремов, где в глубоком уединении, частью в молитве и посте, частью в занятиях рукоделием и в невинных забавах с сенными девушками, проводили дни благоверные царевны, дочери Михаила и Алексея. Никогда посторонний взор не проникал в их хоромы: только патриарх и ближние сродники царицы могли иметь к ним доступ. Самые врачи приглашались разве в случае тяжкого недуга и не должны были видеть лица больной царевны. В церковь они выходили скрытыми переходами и становились в таком месте, где не были никем зримы. Если же отправлялись в святые обители вне дворца для молитвы или в окрестные дворцовые села, что случалось, впрочем, редко, то выезжали в колымагах и рыдванах, отовсюду закрытых. Не было при дворе ни одного праздника или торжества, на которые являлись бы царевны. Только погребение отца или матери вызывало их из терема: они шли за гробом в непроницаемых покрывалах. Царевны никогда ни в каком случае не являлись на поприще политическом, и менее всего можно было ожидать бури из их тихого терема. Вышло иначе».

Читатель ждет объяснения, почему же вышло иначе, и не дождется. Автор как будто бы находит особенное удовольствие в том, чтоб представить картину известных общественных отношений и потом вдруг представить явление, совершенно противоречащее этим отношениям, никак не могущее произойти из них. Как будто нет известий, что новое проникло уже в терем к дочерям царя Алексея Михайловича, что они жили не по-прежнему и что самая даровитая из них, Софья, больше

других сестер воспользовалась новыми условиями; что ей при новом свете тяжелее, чем другим, показалось старое безвыходное положение. Если эти известия казались автору подозрительными, то для чего он не подвергнул их критике; ведь эти известия гораздо важнее, чем известия о предсказаниях.

Вот как г. Устрялов описывает Софью: «Вопреки общему мнению, не красавица собой, нестройная станом от излишней тучности, с лицом суровым, она казалась несколькими годами старее, чем была действительно, и в 25 лет смотрела пожилой женщиной. Грудь ее пылала властолюбием и сладострастием; в голове таились отважные замыслы; ей душно было в скромном тереме; ее пленяла завидная участь принцесс, живших на свободе, располагавших судьбой царств; и героинею ее воображения была греческая царевна Пульхерия, которая, как гласили ей хронографы, взявши власть из слабых рук брата своего, Феодосия, так долго и славно царствовала в Византии. София захотела быть русской Пульхерией».

Сейчас же читатель видит, что прежнее изображение жизни царевен, сделанное автором, неверно; там было сказано, что царевны проводили время частью в молитве и посте, частью в занятиях рукоделием и в невинных забавах с сенными девушками; а тут видим, что Софья читает хронографы, что героиней ее воображения становится известное историческое лицо. В изображении жизни царевен говорится, что мужчины не могли их видеть, а потом говорится, что Софья, будучи постоянно при брате Феодоре, сблизилась с сильными вельможами. В изображении жизни царевен говорится, что они шли за гробом отца или матери в непроницаемых покрывалах: Софья, в день погребения брата Феодора, пришла в Архангельский собор, где не было ни одной ее сестры. Софья *захотела* быть русской Пульхерией, говорит г. Устрялов, Софья *захотела* быть при брате, сближаться с его вельможами, присутствовать при его погребении; но если б был крепок старый обычай, были во всей силе старые понятия о приличиях, то разве этому *хотению* дали б место? Не ясно ли, что все эти явления могли произойти только вследствие того, что старое было поколеблено?

Софья хотела быть русской Пульхерией. Действительно, Русское царство было похоже на Византийское в это время тем, что закона о престолонаследии не было. На факте царствующий государь назначал себе преемника. «Кому хочу, тому и дам княжество», — говорил Иван III; Петр Великий правдой воли монаршей только подтвердил древний обычай Русского царства. Но если преемник не был назначен, то должно было выбирать. По смерти Феодора Алексеевича патриарх спросил: кому из двоих царевичей вручить скипетр? Святители и бояре определили быть избранию общим согласием всех чинов Московского государства Что же разумелось под всеми чинами Московского государства? Патриарх велел народу собраться на площади и спрашивал: кому быть на царстве?

Народные толпы, говорит г. Устрялов, завопили в один голос: «Быть царем царевичу Петру Алексеевичу!» Одна Москва, значит, решила дело

Но действительно ли народные толпы завопили в один голос? Неужели Софья с Милославским и другими своими приверженцами не позаботилась привлечь на свою сторону, то есть на сторону царевича Иоанна, хотя несколько голосов? Есть известие, что Максим Исаев Сумбулов, собравшись в Кремле с своими единомышленниками, кричал, что первенство принадлежит царевичу Ивану. По каким побуждениям действовал Сумбулов, открывается из следующего рассказа: однажды Петр Великий, будучи у обедни в Чудове монастыре, увидел монаха, не подошедшего вместе с другими к антидору; царь спросил, кто этот монах, и, получивши в ответ, что Сумбулов, подозвал его к себе и спросил, почему он не подошел к антидору? Сумбулов отвечал, что он не смел пройти мимо его и поднять на него глаза. Петр спросил, по какой причине он ему при выборе на царство не показался? Монах отвечал на это следующее: «Иуда за 30 сребреников продал Христа, будучи его учеником; а я твоим, государь, учеником никогда не бывал, то диво ли, что я тебя продал, будучи мелким дворянином, за боярство». Несправедлив этот рассказ — надобно было доказать его несправедливость; опять повторяем, что подобные известия гораздо важнее преданий о предсказаниях или о том, что маленький Петр боялся воды: однако г. Устрялов удостоил последние опровержением.

Когда не удалось посредством Сумбулова с товарищи помешать избранию Петра, то прибегнули к стрельцам. В описании стрелецких бунтов мы остановимся на двух местах, из которых видно, как привычка некоторых бытописателей употреблять эпитеты вредит впечатлению рассказа. «Смятение на минуту затихло; но многие еще требовали головы Ивана Нарышкина за то, что он надевал на себя царскую корону. Матвеев вместе с патриархом сошел с крыльца за решетку, напомнил стрельцам прежнюю верность их, особенно во время Коломенского бунта, стыдил их в нелепом заблуждении и, разумными словами укротив ярость их, возвратился к трепещущей царице. Патриарх остался внизу, продолжая увещание. В то самое время начальник Стрелецкого приказа, князь Михаил Юрьевич Долгорукий, человек смелый и решительный, грозно крикнул на стрельцов и велел им немедленно удалиться. Они рассвирепели, рванулись мимо патриарха на крыльцо, схватили Долгорукого и сбросили его вниз».

Смелый, решительный и прежде всего умный Матвеев укротил стрельцов, что и было необходимо для разрушения замыслов Софьи, для того, чтоб выиграть время, принять меры, найти на что опереться против вооруженной силы, единственной в городе; и вот человек, который был обязан быть смелым и решительным прежде как начальник Стрелецкого приказа и который, однако, не был смел и решителен, когда стрельцы волновались, и стал теперь смел и решителен, когда они утихли, благодаря разумным увещаниям другого, крикнул и испортил все дело. У читателя готов эпитет делу и человеку, но историк считает своей обязанностью подставить свой эпитет. «Человек смелый и решительный». Другое место: картина страшная, раздирающая· царица Наталья убеждена в необходимости выдать на мучительную смерть родного брата, с горьким

рыданием упала к нему на грудь; вдруг является господин, который говорит: «Сколько вам, государыня, ни жалеть, а расстаться надобно. Ты же, Иван, скорее иди отсюда (на смерть), чтоб за тебя одного всем нам не погибнуть». Эпитет для этого господина у читателя готов; но историк подставляет свой: «Муж честный, но боязливый».

За стрелецким бунтом последовал мятеж раскольничий. Г. Устрялов говорит: «Общая зараза (раскол), проникавшая даже в св. обители, распространилась и в слободах стрелецких. Посады Москвы также были наполнены раскольниками, выжидавшими благоприятного случая отмстить за неоднократное гонение их братий. В таких обстоятельствах, при явном раздражении умов, правительство должно было действовать с величайшей осторожностью, чтоб предупредить в самой Москве повторение истории Соловецкого монастыря. София распорядилась совершенно иначе. Зная, без сомнения, о наклонности стрельцов к расколу, она назначила им в начальники закоренелого старовера, князя Ивана Андреевича Хованского, и скоро увидела плоды своей неосторожности. С ограниченным умом князь Хованский соединял беспредельное честолюбие, хотел господствовать в Москве и, сколько для исполнения преступного замысла, столько и по убеждению суеверия, тайно подстрекал стрельцов к явному восстанию на православную Церковь».

Здесь мы находим преувеличение: раскольников вовсе не было так много в Москве, как можно подумать по описанию г. Устрялова; если бы их было так много, если бы московские посады были ими наполнены, то дело, поднятое Никитой Пустосвятом с товарищи, кончилось бы иначе; иначе кончилось бы оно, если б стрельцы, как выражается г. Устрялов, были наклонны к расколу. При описании религиозных движений конца XVII века мы должны употреблять слово: *«раскольник»* с осторожностью, именно не должны употреблять его с такой определенностью, с какой теперь употребляем; шел вопрос, как тогда выражались, о старой и новой вере; какой-нибудь Никита Пустосвят мог поднять большую толпу народа, вооруженного и невооруженного, пригласив его присутствовать при решении важного спора, какая вера правее, старая или новая, требовать торжественного спора у последователей новой веры, у властей церковных; но люди, которые могли поддерживать Никиту и товарищей его при этом требовании по тем или другим побуждениям, еще не были раскольники в настоящем значении этого слова; восстановлялось спокойствие вследствие энергического движения правительства, и эти самые люди *следовали* исповеданию большинства и правительства. Вот почему не следует обвинять Софью в какой-то неосторожности, зачем она, зная о наклонности стрельцов к расколу, дала им в начальники человека, который был *наклонен* к расколу; вот слово, которое, по нашему мнению, может быть употреблено относительно Хованского; *закоренелым же раскольником* назвать его никак нельзя, ибо *закоренелые* в чем-либо так не действуют, как действовал Хованский.

И если даже Софья и знала о некоторых невыгодах назначения Хованского в начальники стрельцов, то ей было нечего делать; сам г. Устрялов говорит, что при царе Феодоре она сблизилась с первыми,

или более сильными вельможами — любимцами царя, с кн. В Н. Голицыным, И. М. Милославским, с кн. И. А. Хованским; поневоле она должна была употребить Хованского, когда других приверженцев у нее не было, хотя, при своем уме, она не могла не видеть недостатков Хованского, среди которых расположение к расколу, конечно, не было главным. Кстати, по поводу характера кн. Хованского заметим, что напрасно г. Устрялов не привел народного прозвища Хованского: *Тараруй*, известно, как метки бывают эти прозвища.

Г. Устрялов, при описании раскольничьего дела, счел за нужное воспользоваться известным сочинением Саввы Романова. Мы никак не будем восставать против побуждений, которые заставили автора это сделать; но заметим, что пользование подобными источниками представляет опасности, которых не избежал и г. Устрялов. Заподозрив Савву в умышленном искажении действий противников, г. Устрялов говорит: «Откинув все умствования и очевидно ложные показания, мы получим целый ряд подробностей неоцененных». Но в таком случае историк обязан показать основание, почему он одно известие считает неоцененной подробностью, а другое показанием очевидно ложным; почему, например, приход раскольников к патриарху с требованием спора он считает драгоценной подробностью и вносит в свой рассказ, а разговор Саввы с нижегородским митрополитом считает показанием очевидно ложным и опускает его? Подобные памятники, при всей неверности некоторых подробностей, представляют такое живое и любопытное явление в известную эпоху, что историк обязан излагать их вполне, не принимая на себя ответственности за непогрешительность всех содержащихся в них известий; самые неверные показания в них драгоценны, потому что в них часто выражаются главные пружины действий. Разве Иоанн Грозный и Курбский в своей знаменитой переписке все правду говорят? Но что же бы мы знали живого в истории знаменитой борьбы, если б не дошла до нас эта драгоценная переписка?

При описании спора в Грановитой палате г. Устрялов говорит, что Софья, раздраженная буйством раскольников. сказала: «Нам ничего больше не остается, как оставить царство!» — и сошла с трона. В мятежной толпе заговорили: «Пора, государыня, давно вам в монастырь; полно да царством мутить; нам бы здоровы цари государи были, а без вас да пусто не будет». Но все бояре и выборные стрельцы, окружив царевну, клялись положить свои головы за царский дом и уговорили ее возвратиться на прежнее место».

Г. Устрялов следует здесь Савве Романову; но есть другие описания дела, более подробные, в которых слова Софьи читаются иначе, а именно: «Если нам приходится быть в таком порабощении, то благочестивым царям и нам уже здесь больше жить нельзя, пойдем в иные города объявлять всему народу о таком непослушании и разорении». Понятно, как эти слова должны были испугать стрелецких выборных и заставить их упрашивать Софью не уезжать из Москвы. Стрельцы, по наущению из дворца от Софьи, взбунтовались, перебили указанных и не указанных им людей, позволили себе неистовства, но при этом сочувствия себе

и своему делу в московском народонаселении не нашли, в народе слышались против них замечательные слова, которых, к сожалению, не находим в рассказе г. Устрялова: «Русская Земля велика — вам ею не овладеть!»

Москва была в руках стрельцов, в ней они делали что хотели, опираясь на дворцовую крамолу, которая взяла теперь в руки правительство; но они сильно боялись народного негодования, отсюда старание оправдать себя, требование, чтоб правительство их оправдало, вследствие чего и был поставлен столп на Красной площади с оправдательными листами; пока правительство, то есть Софья, была за стрельцов, до тех пор они были спокойны, не боялись Русской земли, которая без приказа правительства на них не двинулась бы; но как скоро двор, раздраженный стрельцами, выехал бы из Москвы и призвал на свою защиту служилых людей, дворян и детей боярских, то стрельцы погибли бы, *как ничтожная горсть пред огромной вооруженной массой*, что последующая история два раза ясно показала. Вот почему стрельцы так должны были испугаться слов Софьи, что она пойдет в другие города объявлять всему народу о бесчинствах московских; они говорили ей: «Мы великим государям и государыням как прежде сего служили, так и теперь служить рады, за православную веру и за царское величество головы свои складывать и по указу вашему все творити. Только вы, государыни, сами теперь видите, что народ мятется, у палат ваших стоит множество людей; теперь бы нам только как день этот проводить, чтоб не пострадать от них; *а великим государям и вам, государыням, из царствующего града идти не надобно*». Этих слов у г. Устрялова мы не находим; по его рассказу выходит, что Софья грозилась оставить царство, то есть правление, раскольники кричали: «И давно пора!» Но бояре и выборные стрельцы уговорили ее возвратиться на прежнее место! Переждали день, и все было кончено: нового восстания не было в пользу старой веры, когда государи указу своего не сказали; мало того, восстания не было, когда казнили Никиту Пустосвята, а сообщников его заточили: так ничтожны были средства раскольников в Москве! А Хованский, *закоренелый раскольник*? И он ничего не сделал.

После описания смут стрелецких и раскольничьих автор обращается к правительственной деятельности Софьи и говорит: «В понятиях современников царевна София обладала необыкновенным искусством в управлении государством. Не столь пышно изображают ее историки позднейшие; но почти все единогласно повторяют мысль Карамзина, что «по уму и свойствам души своей, она достойна была назваться сестрой Петра Великого, и только беспредельное властолюбие наложило на историка печальный долг быть ее обвинителем». В таком же смысле отзываются современники и потомки о великом государственном уме первого министра и наперсника царевны, друга сердца ее, князя Василия Васильевича Голицына Знаменитый родом, умный, образованный, искусный в делах дипломатических, приветливый к иноземцам, он, по общему мнению, возвысил достоинство России в глазах всей Европы и решительно утвердил перевес ее над Польшей». Г. Устрялов не

согласен с общим мнением относительно Софьи и Голицына; по его словам, «дела и события того времени далеко не соответствуют столь высокому понятию о талантах Софии и ее советников в искусстве государственного управления». Рассмотрим это положение автора.

«В понятиях современников, — говорит он, — царевна София обладала необыкновенным искусством в управлении государством: украшенная, *по словам ее приверженцев,* семью дарами духа». Остановимся здесь и спросим: разве общее мнение о способностях Софьи основано на словах ее приверженцев? Разве самые злые враги ее не свидетельствуют то же самое? Например, Андрей Матвеев, который так описывает Софью: «Великого ума и самых нежных проницательств, больше мужеска ума исполненная дева». Г. Устрялов не находит ничего особенно важного в ее внутренних распоряжениях; но иначе и быть не могло, когда Софья и ее советники были заняты страшной борьбой, от исхода которой зависела вся их будущность.

Г. Устрялов вычитывает несколько распоряжений Софьи и говорит. «Законодательство царевны Софии ограничивалось почти исключительно мерами к искоренению разных беспорядков, порожденных в России целым рядом смут, следствием ее властолюбия». При чтении этих слов можно подумать, что Софья подставила самозванцев, которые разнесли смуту по всем концам России, тогда как стрелецкий бунт и его следствия касались одной Москвы; как, например, следствием стрелецкого бунта могло быть распоряжение о повсеместном сыске беглых крестьян, о возобновлении писцовых книг! Но перечисление распоряжений Софьи, сделанное г. Устряловым, далеко не исчерпывает предмета: так, мы не найдем указа о чинении вместо смертной казни наказания кнутом за произношение возмутительных слов; о резании у преступников ушей вместо отсечения пальцев; об учреждении крепких застав для преграждения перехода в Сибирь, куда толпами шли крестьяне; в Москве никому не велено было держать пришлых и гулящих людей без поручных записей; запрещено оставлять на улицах навоз, и мертвечину, и всякий сор, в домах запрещено стрелять из ружей; определено, как отдавать должников заимодавцам в зажив; мужей не разлучать с женами и наоборот, работать — мужчине за год по 5 рублей, женщине вполовину, и по тех людях кому они отданы будут, брать поручные записи, что им тех людей не убить и не изувечить; запрещено взыскивать со вдов и сирот долги, если после умершего никаких пожитков не осталось; запрещено окапывать в землю жен за убийство мужьев, велено отсекать им головы; велено быть в Вятской области подьячим по мирским выборам и т. д. Говоря о внутренних распоряжениях Софьи, не мешало бы автору привести указы и судебные приговоры, которые дают понятие о нравственном состоянии общества; это было бы нужно и для объяснения деятельности Петра Великого, ибо деятельность исторического лица объясняется состоянием общества, среди которого оно действует, которого является представителем. Наконец, г. Устрялов упрекает Софью в воздвигнутии гонения на раскольников; но разве гонение воздвигнуто ею, разве Аввакум и Лазарь при ней сожжены? И разве это гонение кончилось тотчас после нее?

Отозвавшись неуважительно о внутренних распоряжениях Софьи, г. Устрялов говорит: «Не блистательнее была и внешняя политика» Чтоб подкрепить это положение свое, г. Устрялов старается набросить тень на заключение вечного мира с Польшей. «По кончине Феодора, — говорит он, — главными предметами политики нашего двора были издавна тянувшиеся распри с Польшей и вновь возникшие несогласия с Швецией. Те и другие проистекали из одного источника: из постоянной мысли о необходимости исхитить из чужеземной власти старинные русские владения. Оттого как Алексей, так и Феодор уклонялись от вечного мира с Польшей и заводили споры с Швецией; София не следовала политике отца и брата и решилась, во что бы то ни стало, прекратить все несогласия с обеими державами».

Здесь прежде всего заметим, что ни Алексей, ни Феодор не уклонялись от вечного мира с Польшей, были всегда очень рады заключить его, но неодолимым препятствием к тому служил теперь Киев, как прежде служил Смоленск. По Андрусовскому перемирию Киев только на время был уступлен Москве; возвратить его Польше и этим купить вечный мир Москва могла только в крайней необходимости; равным образом и Польша могла уступить Киев навеки Москве только в крайней необходимости. Эта необходимость для нее наступила, когда Собеский, несмотря на все свое геройство, не мог один сладить с турками; только вступив с ним в союз против турок, московское правительство могло заставить его отказаться навсегда от Киева. Софья воспользовалась благоприятными обстоятельствами; заключила вечный мир с Польшеи, приобрела Киев, после чего в союзе с Польшей, в одно время с Австрией и Венецией, начала войну с турками, врагом, который с недавнего времени стал для России опаснее всех других, Польши нечего было более бояться, безрассудно было отдавать ее на жертву туркам, позволить, чтоб последние утвердились в Подолии, ибо это было бы гибельно для новой Московской Украйны.

Все внимание московского правительства, следовательно, должно было сосредоточиться теперь на Турции, и теперь наступало самое благоприятное время для борьбы с ней, для избавления себя от унизительных условий Бахчисарайского договора, с одними собственными силами Москва не могла сладить с Турцией, но она могла заключить с ней выгодный мир в союзе с Польшей, Австрией и Венецией. Таким образом, уменье воспользоваться обстоятельствами, вынудить у Польши вечный мир с уступкой Киева и начать войну с Турцией вместе с другими европейскими державами есть неоспоримо блистательное дело московской политики в конце XVII века, и славу этого дела у Софьи и ее советников отнять никак нельзя. Лучшим доказательством, как выгоден был для Москвы вечный мир с Польшей, служит то, что Собеский не мог без слез подписать договора Из желания набросить тень на все распоряжения Софьи г. Устрялов и присоединение Киевской митрополии к Московскому патриархату хочет выставить делом неблагоразумным; «царевна и министры ее, — говорит он, — едва не вовлекли Россию в раздор со Вселенской церковью, который, без благоразумной

снисходительности царяградского патриарха, мог иметь пагубные последствия». Как будто бы в Москве не были убеждены в этой благоразумной снисходительности! Как будто бы протест одного Досифея, протест, собственно, и не касавшийся дела, мог быть опасен!

Против рассказа о первом Крымском походе Голицына мы не имеем ничего заметить; остановимся только на эпизоде свержения гетмана Самойловича и избрания Мазепы. Г. Устрялов говорит, что «плодом первого Крымского похода было низложение добродетельного мужа, преданного России, и избрание нового гетмана, готового изменить ей при первом удобном случае». По какому же поводу был свержен добродетельный муж? «Распространился слух, — говорит г. Устрялов, — что степь выжгли не татары, а козаки с ведома, если не по приказанию, самого гетмана, чтоб не допустить русских до разорения Крыма. Говорили, что козаки, опасаясь за свои права от властолюбия московского, смотрели на татар как на своих естественных союзников, к которым в случае надобности могли прибегнуть; а гетман всегда оказывал к ним явное расположение, радовался успехам опустошительных набегов их на Волынь, досадовал на победы христиан и при размене пленных вел с ханом Крымским переговоры о взаимной обороне. Виновником этой молвы был человек облагодетельствованный Самойловичем (Мазепа)».

Читатель, встречая такое решительное утверждение, убежден, что Мазепа выдумал и распустил эти слухи, что известие об этом почерпнуто из достоверных источников. Но ничего подобного нет; да и слухи эти, которым верил Гордон (а Гордону верит г. Устрялов), слухи эти не имели никакого значения в деле, ибо не верил им Голицын, не верила им Софья и, главное, не старались они никого уверять. Дело было так: на гетмана подали донос, под которым подписалась вся старшина Малороссийская; г. Устрялов приводит статьи доноса в извлечении, но опускает самое главное: доносчики, прося царей переменить гетмана, прибавляют: «Если же на то не будет воли ваших царских величеств, то войско Запорожское отнюдь его, яко явного недоброхота, соблюдая к Вам, Великим Государям, свою верную службу, не потерпит, по своим войсковым правам и обычаям с ним поступить в скором времени понуждено будет, за что, дабы ваш царский престол на нас не досадовал, всепокорно Вашему царскому величеству бьем челом со всем войском».

Ясно, что старшина ненавидела Самойловича и грозила, что в случае если цари его не сменят, то все войско его сменит по своим правам и обычаям. Что должен был делать Голицын в таких обстоятельствах? Удостовериться, действительно ли старшина имеет основание ненавидеть Самойловича и действительно ли все войско и вся страна разделяет эту ненависть, действительно ли Самойлович дурной правитель, возбудивший всеобщее негодование, действительно ли предстоит опасность, что все войско его свергнет в случае отказа царского? Что Голицын должен был удостовериться в невозможности поддерживать Самойловича, навлекшего всеобщее негодование, это видно из слов малороссийского летописца: «Таким образом, кончилось гетманство Ивана Самойловича. Этот попович сначала был очень покорным и лас-

ковым, но когда разбогател, то уже очень горд стал, не только против козаков, но и против духовенства. Пришедши к нему, старшина должна была стоять, никто не смел прийти к нему с палкой, также и священники должны были стоять с непокрытой головой; в церкви никогда не ходил сам за дарами, священник должен был их к нему приносить; так же и сыновья его поступали; *здирства* всякими способами вымышляли, как сам гетман, так и сыновья его, на людей трудность великая была от великих вымыслов, не мог насытиться Самойлович сокровищами; людей военных мало жаловал для того, чтоб панство его и сыновей его ширилось; сыновья его уже не полковниками, а панами назывались, думали, что перемены панству их не будет, надеялись на людей наемных, козаков к себе во дворы не пускали, у дворов их стояла стража сердюцкая, которой давали ежегодное жалованье, священник и в несколько дней не мог к ним во двор допроситься, и вообще всех людей ни за что почитали». Сам г. Устрялов говорит: «Козаки, с своей стороны, не любили Самойловича за высокомерие, спесь, недоступность, а более всего за введение в Малороссии монополии на вино, мед, пиво». Позволяем себе вопрос: на каких основаниях человек высокомерный, спесивый, недоступный, алчный монополист может назваться *добродетельным мужем*, как величает Самойловича г. Устрялов?

Донос на Самойловича Голицын отправил в Москву и скоро получил ответ; г. Устрялов счел за нужное упомянуть об этом ответе в трех строках: «Царским указом велено Голицыну взять Самойловича со всем семейством под стражу и отправить в Россию, вместо его избрать другого гетмана».

Мы считаем за нужное сказать об этом ответе Софьи несколько подробнее, в нем говорилось: «Созвать старшин, сказать им великих государей указ, что мы, великие государи, по тому их челобитью, Ивану Самойлову, *буде он им, старшине и всему войску Малороссийскому, негоден,* быть гетманом не указали и указали послать его в наши великороссийские города за крепкой стражей, а на его место гетманом учинить, кого они старшина со всем войском Малороссийским, излюбят». Из этой грамоты ясно видно, что московское правительство смотрело на дело Самойловича как на чисто малороссийское, не убеждалось доносом в измене его Москве, но единственно уступало желанию старшин и войска: если он вам неугоден, то мы, снисходя на ваше челобитье, сменяем его, выбирайте другого, «чтоб, чего Боже сохрани, во всей Малороссии не учинилось какого замешания, бунта и кровопролития», как сказано в той же грамоте. Г. Устрялов упрекает Голицына, зачем он не произвел никакого следствия о взводимых на Самойловича преступлениях? Но, спрашиваем, в каких преступлениях, если гетман сменялся не как изменник государям, а как дурной правитель, навлекший на себя всеобщее негодование? В этом отношении нельзя г. Устрялову требовать следствия, когда он сам уже подписал приговор добродетельному мужу, назвавши его недоступным гордецом и алчным монополистом.

Если же производить следствие по делу об измене, то г. Устрялов знает, как должно было его *тогда* производить: схватить Самойловича,

гетмана обеих сторон Днепра войска Запорожского, схватить всех старшин этого войска и всех *пытать*. Такого следствия требовали в Москве недоброжелатели Голицына, и он им отвечал: «А о гетмане, как учинилось, и о том писал я в отписках своих и в грамотах, из которых о всем можешь выразуметь. А пристойнее того и более учинить невозможно. А что про него розыскивать, и такого образца николи не бывало: извольте посмотреть в старых делах, каковы они были против нынешних поступков и каково с нынешним нашим делом. А что от которого лица какое злословие, и то Богу вручаю: Он-то может рассудить, какая в том наша правда. Мы чаяли, что те лица воздадут хвалу Господу Богу и нам милость, как-то учинилось безо всяких помешки, и кровопролития, и замешания. Коли уж рассудить не могут, и они б взяли себе в пример Турского салтана, который-то учинил назад тому два года: одним летом переменил двух ханов по татарскому челобитью, не розыскивая; только тому рад был, что они были у него в послушании и бунта никакого не учинили. Не мудро б и нам не переменить, только посмотрели б, что из того родилось». Страшное ожесточение, обнаруженное старшиной и козаками против Самойловича при его низложении, вполне оправдывает Голицына.

Касательно второго Крымского похода г. Устрялов приводит слова самого князя Голицына о причинах отступления от Перекопа: «До самого Колончака целые четыре дня не было воды; люди и лошади истощали; от Колончака до Перекопа шли мы двое суток без воды же; люди еще более утрудились. У Перекопа стояли в безводной степи, везде вода соленая, а колодцев нет. Притом же во всех полках обнаружился недостаток хлеба: солдаты ходили по миру. Лошади под нарядом пали, люди обессилели» и т. д. Как нам поверить справедливость этого объяснения? Слухами народными? Но сам г. Устрялов их отвергает; нет ли современных известий очевидца? Есть известие знаменитого Гордона в письме его к графу Ерролю, Гордона, которому так верит г. Устрялов; что же пишет Гордон? «20-го мы пришли к Перекопи, где завели сношения с татарами, не имевшие последствий, потому что наши требования были слишком велики, а они соглашались только восстановить мир на прежних условиях; будучи не в состоянии оставаться здесь по недостатку воды, травы и дерева для такого многочисленного войска, какое было у нас, и не находя никакой выгоды брать Перекоп, на следующий день мы отступили».

Что же остается историку после этих двух известий? Разумеется, принять объяснение, в них заключающееся, тем более что это объяснение не заключает в себе ничего такого, над чем бы можно было с подозрением остановиться, — местные условия нам очень хорошо известны; известны нам степные походы Миниха и то, чего они стоили, известно также различие между войском Миниха и войском Голицына. Но г. Устрялов, которому нужно во что бы то ни стало принести Голицына в жертву тени Петровой (хотя великая тень вовсе не нуждается в подобном жертвоприношении), г. Устрялов говорит, что *малодушие* главного предводителя, столь же неспособного, как и самовластного, принудило

войско к постыдному отступлению! И какие средства употребляет историк, чтоб заставить читателя смотреть в свои очки? За 50 лет до Крымских походов, по известию Боплана, Перекоп был ничтожный городишка, без укреплений, окопанный полуобвалившимся рвом; защитой ему служил каменный замок. «Лет через 50 после Крымских походов, — говорит г. Устрялов, — Перекоп имел другой вид: от Гнилого до Черного моря, на пространстве 7 верст, проведен был ров в 6 саженей отвесной глубины и до 12 шириной. За рвом находился высокий вал с 6 каменными башнями; замок, хорошо вооруженный, был наполнен многочисленным гарнизоном; по свидетельству очевидцев, штурмовавших Перекопские линии в царствование императрицы Анны, нелегко было овладеть ими. Но в такое положение они были приведены многолетним трудом нескольких тысяч невольников; в исходе же XVII столетия Перекоп находился, *по всей вероятности,* не в лучшем состоянии, как и за 50 лет пред тем, во времена Боплана».

Но что, если кто-нибудь из страсти к противоречию скажет, что, *по всей вероятности,* Перекоп чрез 50 лет после Боплана не находился в таком состоянии, как при нем? Кто решит этот спор между г. Устряловым и этим охотником противоречить? А если явится другой охотник до споров и скажет: «Боплан говорит, что Перекоп был ничтожный городишка без укреплений; но Боплан же говорит, что защитой ему служил каменный замок, который был и 100 лет спустя, тогда он был хорошо вооружен, был наполнен многочисленным гарнизоном: что же мешало ему находиться в таком же положении и в конце XVII века, во время походов Голицына?»

Но мы не принадлежим к таким охотникам до противоречий; мы готовы согласиться с г. Устряловым, что Перекоп в 1689 году был плохо укреплен; но пусть позволит он нам согласиться также и с Гордоном, что не было никакой выгоды брать Перекоп; *по всей вероятности,* Гордон не счел нужным прибавить, что отчаянное положение войска чрез это взятие нисколько бы не улучшилось.

УНИЯ, КОЗАЧЕСТВО, РАСКОЛ

Рецензия на кн.: Литовская церковная уния. Исследования М. Кояловича; Богдан Хмельницкий. Соч. Н. Костомарова; Русский раскол старообрядства. Соч. А. Щапова*

В последнее время русской исторической литературе посчастливилось. она получила три прекрасных сочинения о трех в высшей степени замечательных явлениях нашей истории XVI и XVII веков. Мы решились

* Атеней 1859 № 8 С 393—420

говорить об этих явлениях в одной статье, и причина тому не одно случайное совпадение выхода в свет трех любопытных сочинений.

I

Россия не имеет резко определенных границ ни на востоке, ни на западе; природа в этом отношении не подала русскому народу никакой помощи при образовании его особности народной; но вместо физических границ история в самом начале политического существования нашего народа провела резкие границы нравственные, обособившие его и от восточных иноплеменных, и от западных единоплеменных народов. Киевский князь Владимир Святославич из разных вер, предлагаемых ему соседними народами, выбрал христианство по восточному греческому исповеданию: христианство провело резкую границу между русским народом и восточными его соседями, погаными, бусурманами, и вся многовековая тяжелая борьба русского человека с азиатцем носит религиозный характер, откуда легко видим то великое значение, какое религиозное различие имело в поддержании самостоятельности русского народа относительно Востока. Но если христианство поддержало народную самостоятельность нашу, наш европейский характер относительно Азии, то христианство православного исповедания, принятое Русью, точно так же содействовало поддержанию ее особности и самостоятельности относительно западных соседей. Русская народность, в эпоху своего младенчества, неразвитости, бессознательности, находилась под опекой религиозного начала, сильно прочувствованного религиозного различия, и, разумеется, никто не станет отрицать великого значения этой опеки: благодаря ей восточная Россия, то есть Московское государство, поддержала свою самостоятельность в 1612 году, ибо восстание Земли против иноземного владычества совершилось во имя религии; во имя же религии совершилось и восстание Малой России и присоединение ее к Великой.

Древняя русская история имеет более общей связи с историей остальной Европы, чем сколько кажется с первого взгляда. Во всей Европе, как в Восточной, так и в Западной, XVI и XVII века ознаменованы религиозными движениями, религиозной борьбой, которая везде (и на востоке, и на западе) имела одинакие результаты — высвобождение народностей, высвобождение народных сил из-под сковывающего, мертвящего внешнего единства, которое хотел наложить на Европу католицизм. Г. Коялович старается показать, что с самого соединения Литвы и Руси с Польшей возникла мысль об унии, вследствие чего смотрит на унию 1596 года как на событие, издавна и непрерывно приготовляемое.

«Польша, — говорит г. Коялович, — с первых дней своего соединения с Литвой поставила себе как бы задачей всей своей исторической жизни объединить с собой во всех отношениях литовско-русский народ и с изумительной настойчивостью преследовала эту цель во все последующие времена. К этой цели она стремилась двумя главными путями. Во-первых, объединяла с собой литовско-русский народ в жизни обще-

ственной и частной посредством многократных соединений Литвы с Польшей, которые все известны были под именем уний и могут быть названы униями гражданскими. Во-вторых, старалась уничтожить разность в вере между литовским и польским народом, что также называлось *униею*».

Но здесь, нам кажется, смешение двух уний (гражданской и церковной) несколько помешало правильности взгляда почтенного автора на историю церковной унии. Польша действительно с настойчивостью, хотя и не изумительной, старалась о гражданской унии Литвы и Руси с собой; но чем сильнее становилась гражданская уния, основывавшаяся на уравнении прав, тем более ослаблялось стремление к унии церковной, ибо нельзя было в одно и то же время указывать православному литовско-русскому народонаселению на выгоды гражданской унии с Польшей и действовать против православия, притеснять православных, а без притеснений нельзя было сделать их склонными к унии. Церковная уния находилась в прямой противоположности с унией политической — первая разрушала вторую, и нельзя сказать, чтоб правительство польское, короли не понимали этой противоположности двух уний; таким образом, при последних Ягеллонах, когда именно завершилась уния политическая, православные, скажем словами г. Кояловича, «вздохнули свободно, приобрели гражданские права, наполнили магистраты, вступили твердой ногой в сенат». Сам г. Коялович признает (на стр. 27), что в это время все меры для утверждения церковной унии были совершенно прекращены, уния исчезла и забыта была народом, так что когда возобновилась опять к концу XVI столетия, то все православные называли ее делом неслыханным, неизвестным их предкам.

Итак, между унией 1596 года и между прежними слабыми попытками к унии при Ягеллонах нет непрерывной связи; уния 1596 года не была событием, постепенно, сознательно и неуклонно подготовляемым. Тем с большим вниманием должны мы обратиться к причинам, которые совершенно переменили ход дел, усилили католицизм, пресекли равнодушие в делах веры, заставили католиков мимо всех политических расчетов начать гонение на православных, вследствие чего и возникла мысль об унии и была приведена в исполнение. Причина заключалась в том, что августинский монах Лютер сжег папскую буллу. Поднялось религиозное движение, Северо-Западная Европа отложилась от католицизма; но это движение, этот вызов на отчаянную борьбу пробудил католицизм, который показал, сколько в нем было еще сил. Католицизм выставил страшное войско, иезуитов; иезуиты явились в Польше, Литве, побороли здесь протестантизм и начали борьбу с православием, борьбу на жизнь и на смерть, борьбу, которая произвела унию, отняла у Сигизмундова сына престол Московский, произвела отпадение Малороссии от Польши... Читатель видит, вправе ли мы были сказать, что древняя русская история имеет более общей связи с историей остальной Европы, чем сколько кажется с первого взгляда.

Мысль об унии принадлежит иезуитам: это неоспоримо. Г. Коялович выставляет здесь на первом плане Антония Поссевина и прибавляет:

«Деятельными сотрудниками Поссевина были все литовские иезуиты, ибо невозможно и представить, чтоб в таком важном деле и так близко касающемся литовских иезуитов, Поссевин действовал один, независимо от них; этого не допускали и правила иезуитского ордена; но особенно деятельным сотрудником Поссевина был Скарга. Он писал разные сочинения против восточной Церкви, и эти сочинения так сильно волновали православных, что в 1592 году Литовское братство с горечью писало об этом константинопольскому патриарху».

Разумеется, деятельность Поссевина как посредника между папою и правительством, равно как и духовенством польско-литовским, кажется очень видной; но вряд ли можно назвать Скаргу только деятельным сотрудником Поссевина. Нам кажется, что г. Коялович потому поставил Скаргу в некоторой тени, что не обратил внимания на год первого издания знаменитой книги Скарги: «О единстве Церкви Божией» (O jednosci Kossciola Bozego); г. Коялович цитует издание 1591 года; но первое издание относится к 1577 году (!), и в этом издании об унии говорится очень ясно. Жаль, что г. Коялович не обратил особенного внимания на это любопытное сочинение; для нас преимущественно важна третья часть сочинения Скарги, где автор говорит, что существуют три причины, благодаря которым в русской Церкви никогда порядка не будет: 1) Женатые священники, которые пекутся только о мирском, не заботятся о поучении паствы; от этого на Руси вся наука упала и попы омужичились (zchlopieli). 2) Язык славянский: греки обманули русских тем, что не дали им своего языка, а оставили язык славянский, чтоб русский народ никогда до настоящего разумения и науки не пришел, ибо только посредством латинского и греческого языков можно быть доскональным в науке и вере. Не было еще на свете *и не будет* ни одной академии или коллегии, где бы богословие, философия и другие науки на ином языке преподаваться и разуметься могли. С славянским языком никогда никто ученым быть не может; его уже и теперь в сущности никто настоящим образом не разумеет; нет на свете такой нации, которая бы им говорила так, как в книгах пишется; своих правил и грамматик не имеет и иметь не может. У русских и не слыхать о таких, которые бы знали греческий язык — старый и новый; а у нас по всему свету одна вера и один язык: христианин из Индии с поляком может говорить о Боге. 3) Унижение духовного сословия, вмешательство светских лиц в дела церковные.

Потом Скарга обращается к унии, указывает на духовные и мирские выгоды от нее и говорит, что для унии нужны только три вещи: 1) чтоб митрополит Киевский принимал благословение не от патриарха, а от папы; 2) чтоб каждый русский во всех артикулах веры был согласен с римской Церковью; 3) чтоб признавал верховную власть столицы римской; что же касается до обрядов церковных, то они остаются по-прежнему.

Ту же книгу Скарга издал в 1590 году, с посвящением королю Сигизмунду III. Здесь он пишет, что книжки его многим принесли пользу, открыли глаза и потому понадобилось их снова издать; книжек

этих уже нет, скупили их богатые русские и сожгли. «Дай Боже,— говорит Скарга,— соединить всех еретиков, которых уже не очень много остается, и каждый бы день их убывало, если б светская власть могла свободно пользоваться своим могуществом и правами. Труднее обратить русских, которые ссылаются на предков и на старину». Скарга жалуется, что настоящее правительство не употребляет более того средства, которым прежние короли содействовали обращению русских в католицизм: именно — прежние короли не допускали их в сенат, пока не обратятся.

Здесь ясна мысль и об унии, и о средстве достигнуть ее: это средство — гонение на православных, отнятие у них прав сравнительно с католиками; ясно высказывается и основная мысль иезуитизма, этот дерзкий вызов, который делал католицизм будущности европейских народов. В то время когда поднимались молодые народности, развитие которых обещало чудеса цивилизации, иезуит утверждал: «*Никогда не будет на свете* таких академий, где бы науки могли преподаваться на ином языке, кроме латинского и греческого!» История страшно посмеялась над Скаргою. Но теперь легко понять, какой интерес имеет борьба русских людей против этих врагов народностей, врагов истории.

Но что же помогло русским людям Западной России с успехом бороться против этих врагов? Заслуга г. Кояловича состоит в том, что он с замечательным историческим тактом указал на средства Руси в этой борьбе. Описав печальное состояние русской Церкви, злоупотребления, в ней господствовавшие, автор говорит: «В те же бедственные времена и рядом с этими плевелами западнорусской Церкви созревало в ее недрах чистое, плодотворное зерно. Сила западнорусского православия была не так мала, чтоб могла погибнуть от злоупотреблений и беспорядков, без упорной, продолжительной борьбы, без могучего противодействия злу. В истории того времени мы действительно видим, что на сколько тогда увеличивалось зло, на столько же возрастало противодействие ему, и очень ошибаются те исследователи унии, которые производят ее от одних беспорядков западнорусской Церкви. Вмешательство латинской власти в дела западнорусской Церкви, вторжение в ее пределы иезуитов, протестантов и собственное зло в ней самой пробудили необычайную ревность в лучших сынах западнорусской Церкви, и теперь во всем блеске обнаружилась сила западнорусского православного патроната. Он развернул теперь все свои могучие силы и оказал западнорусской Церкви такие услуги, подобных которым мы не находим в истории ни одной Церкви.

Эти защитники западнорусского православия с того самого времени, когда усилилось зло в западнорусской Церкви, решились уничтожить в ней чуждое влияние и возвысить ее до образца первобытной Церкви Христовой, по выражению князя Константина Острожского. Богатые, роскошные дворцы их превращались в ученые заседания и кабинеты, где скромные иноки наряду с знаменитыми вельможами трудились усердно для духовного просвещения. Выше всех тогдашних защитников православия стоял знаменитый князь Константин Константинович Острожский, главный столп западнорусской Церкви.

Но это еще не все: патронат литовский принял еще более широкие размеры и еще лучшее развитие. До сих пор он был в руках отдельных лиц, и только недавно князь Острожский объединил его своим лицом и, как бы, сосредоточил его в себе. Теперь же все сословия, все лучшие сыны западнорусской Церкви примкнули к этому патронату и придали ему новую, небывалую до сих пор силу и значение. Скромные, незначительные ремесленные и купеческие цехи, имевшие издавна благочестивый обычай освящать молитвой свои труды и совершать эти молитвы и хранить свои суммы в определенных церквах, соединились теперь крепче и дали своим обычаям смысл благотворительный, в самом обширном значении. Они начали группироваться около известных церквей, монастырей, принимали их в свое ведомство, подобно знатным патронам, благоустрояли эти церкви, монастыри и отсюда щедрой рукой расточали благодеяния своим ближним — милостыни, пособия, книги, духовное образование. Определенный, точный устав и благословение церковное упрочивали внутреннее их благоустройство, а грамоты королевские — внешнее, юридическое существование.

Наконец, поступление в эти общества и высших дворян, патронов частных церквей, право ставропигии, то есть непосредственной зависимости от константинопольского патриарха помимо местной Церкви, и союзы самих Братств ставили эти общества выше всех местных властей, частных интересов и открывали им путь к влиянию на всю западнорусскую Церковь, при одном только условии: если Братства сумеют на самом деле поддержать и оправдать это влияние. Но залог такого влияния лежал и в основе уставов Братств, и в нравственном характере их членов. Богадельни, училища, типографии братские были благом для всей западнорусской Церкви; пожертвования, обязанности братчиков были выражением всего лучшего, что только мог сделать для своей Церкви верный сын ее. Прочный и высоконравственный залог обширного и всеобщего влияния Братств обнаруживался уже тем, что Братства быстро возникали по всей Литве и возрастали как бы по дням.

Эта громадная сила развернулась в то самое время, когда в западнорусской Церкви по иезуитскому плану унии умножились беспорядки. Вероятность и успех унии теперь зависели от того, какова будет борьба этих противоположных начал и на чью сторону склонится окончательная победа. Когда литовский патронат, возбужденный и развитый бедственным состоянием западнорусской Церкви, начал теперь действовать ко благу ее, то зло, произведенное в ней иезуитами, должно было все выйти наружу и подвергнуться сильным его ударам».

Итак, в Западной России была общественная сила, перед которой должны были остановиться враждебные русской народности стремления. Г. Коялович называет эту силу вообще патронатом и указывает сначала на могущественных вельмож — поборников православия, — а потом на Братства. Для большей ясности разделим эту силу и скажем, что Западная Россия к концу XVI века выработала две общественные силы, способные поддержать русскую веру, то есть русскую народность: эти силы были — аристократия и городское сословие или мещанство. Но

первая сила скоро оказалась не очень состоятельной в деле защиты веры и народности: русские вельможи не имели надлежащей сплоченности между собой, жили розно; притом их интересы были вне России, их сословный круг был широк, в этом кругу они составляли только часть, меньшинство, которое естественно стремилось приравняться к большинству, принадлежавшему к иной вере и к иной народности; вот почему в короткое время русские вельможи, сыновья и внуки самых сильных защитников русской веры, перешли в католицизм и ополячились.

Гораздо больше устойчивости было в городском сословии уже потому самому, что сфера деятельности мещанства была уже, ограниченнее, не простиралась дальше родного русского города, следовательно, для мещан местный, родной интерес был гораздо сильнее, чем для панов вельможных, сенаторов, которые необходимо становились выше местных интересов, а интерес русский был местный, провинциальный в Речи Посполитой польской. С другой стороны, жители западнорусских городов, мещане, привыкли к сильной общественной деятельности благодаря магдебургскому праву; оттого у них общее дело было споро, всякое общество сейчас принималось, получало определенность и крепость: так, Братства или Братчины, являющиеся в такой тени в Восточной России, в Западной представляют такое видное, выпуклое явление, за которое запнулись иезуиты с своей унией; вот почему Братства, коренившиеся в городовом, цеховом устройстве, могли так развиться, что притягивали к себе и людей других сословий, искавших сосредоточения для общего дела, для поддержания общего высшего интереса. Наконец, усилению значения Братств в эпоху унии, возможности для них бороться с унией, содействовало то обстоятельство, на которое Скарга указывал как на гибельное для русской Церкви и которое, наоборот, в эпоху гонения поддержало Церковь: именно вмешательство мирян в дела церковные.

Это принятие деятельного участия мирянами в дела высшего народного интереса сохранило для западнорусской Церкви много живых сил, которые так ей пригодились в тяжкие времена гонений. Но участие мирян в делах церковных происходило оттого, что Церковь западнорусская как Церковь не господствующая, а потом и опальная была предоставлена самой себе; константинопольский патриарх, от которого она зависела, был далеко и без влияния; светское правительство, иноверное и потом явно враждебное, не вмешивалось в ее дела, а если и вмешивалось, то не к лучшему. Это отстранение государства от дел церковных необходимо выдвигало на первый план общество, и так как общество вследствие указанных причин было достаточно развито для самостоятельной деятельности, то отсюда и произошло сильное вмешательство мирян в дела церковные.

Если Скарга объявил, что вмешательство мирян в церковные дела есть бедствие для русской Церкви, то в самой русской Церкви нашлись люди, которые согласились с ним в этом и поспешили поставить русскую Церковь в такое отношение к государству и к Церкви католической, при котором миряне не могли более вмешиваться в дела церковные. Разумеется, это были люди, облеченные церковной властью,

которым по разным причинам особенно тяжело было вмешательство общества в их дела, которым особенно тяжело было отдавать отчет перед обществом, особенно тяжело было видеть подле себя такую нравственную силу, какую представляли Братства Для искоренения в западнорусской Церкви беспорядков, которые сделались очень явны и требовали решительных мер, литовский патронат, как выражается г. Коялович, призвал в Литву константинопольского патриарха Иеремию, и патриарх решился произвести сильную очистку духовенства, низложить всех тех, которые производили соблазн, начиная с митрополита.

Патриарх дал вместе с тем прочное обеспечение Братствам, утверждая независимость их от местных епископов. «Но, — говорит г. Коялович, — не все тогда понимали благодетельность Братств и естественность их существования к западнорусской Церкви. Великое учреждение, спасшее эту Церковь от конечной гибели, подверглось порицанию почти всех западнорусских иерархов».

Один из главных виновников унии, епископ Луцкий Кирилл Терлецкий, так говорил другому знаменитому в истории унии епископу, Ипатию Поцею: «Патриархи константинопольские, имея дорогу, отворенную в землю московскую для собрания великой милостыни, будут часто там бывать и, туда и назад идучи, нас не минуют; имея королевские привилегии, распоряжаться в Церкви нашей не будут они праздны. Иеремия уже скинул одного митрополита, другого поставил; притом и Братства установил, которые будут и уже теперь суть гонители на владык: нанесут на нас и то, чего вовсе не было; а которого из нас отставят от епископии — сам посуди: какое бесчестие! Господарь король дает должности по смерть и не отнимает по пустым причинам; а патриарх за вздорный донос обесчестит и должность отнимет: какая от этого неволя — сам посуди».

Из западнорусских епископов первый высказал мысль об унии Гедеон Болобан, епископ Львовский, который десять лет вел борьбу со львовским Братством; эта борьба привела его к тому, что он сблизился с латинским епископом и уже в 1588 году изъявил ему желание принять унию. Другие епископы, виновники унии, также прежде всего имели в виду ненавистное для них вмешательство мирян в дела церковные.

Таким образом, чрез указание на общественные отношения в Западной России в XVI веке объясняются причины движения самих русских к унии и причины, почему уния встретила сильное препятствие. Уния встретила в Западной России общественные силы и запнулась об них, благодаря этим силам, удар, нанесенный унией, не только не был смертельным для русской народности, но, напротив, пробудив спавшие силы в народе, имел следствием сильное умственное напряжение, необходимое при борьбе с врагом, который употреблял не одни материальные средства в борьбе, явилась обширная полемическая литература, сознание в необходимости призвать на помощь могущественного и верного союзника — науку — заставило распространять школьное образование, вследствие чего Западная Россия в этом отношении так упредила Восточную; Восточная Россия должна была заимствовать школьное

образование, учителей, у Западной, и все почти епископские кафедры в Восточной России до половины XVIII века занимались людьми западнорусского происхождения.

II

Мы говорили до сих пор о значении высшего сословия — западнорусской аристократии — и среднего, или городского, сословия в борьбе, ведшейся для поддержания русской веры и народности. И знатные паны, как, например, князь Острожский, и Братства, распространяя просвещение, дали своему народу нравственные средства поддержать свою веру и народность. Но какое же значение в этой великой борьбе за веру и народность русскую имело низшее, земледельческое сословие? Неужели оно не имело никакой доли в борьбе, выставляя только страдательное упорство? Нет, оно имело в ней свою важную долю, оно выставило козака.

Нельзя довольно наговориться о значении козаков в русской истории, как в истории Восточной, так и Западной России Давно уже, начиная с XVIII века, когда в истории искали преимущественно знаменитых деяний, прославляющих отечество, стали обращать внимание на историю козаков, которая представляет немало смелых подвигов; много хлопотали над решением вопроса о загадочном названии· козак. Теперь, когда наша наука так усердно занимается внутренней, общественной жизнью народов, вопрос о козачестве нисколько не лишается своего интереса, напротив, приобретает его еще более. «Когда ты был простым козаком, когда не знал ты покоя, не имел пристанища, когда конь твой был потен, тогда я приютил тебя»,— говорили московские государи татарским царевичам, и в этих словах мы видим верное изображение козака.

Козак — изгнанник из общества, человек, которому тесно, тяжело в обществе при известных условиях, и так как самые тяжелые отношения в обществе были отношения рабские, то понятно, что большинство козаков составлялось из людей, бегством в степи отыскивавших себе свободы: отсюда козак и беглый холоп были синонимы, отсюда и сильная вражда между козаками и высшими землевладельческими сословиями; отсюда враждебные движения козаков как в Восточной, так и в Западной России обращались не против верховной власти, напротив, козаки любили прикрывать свои движения согласием своих интересов с интересами верховной власти, но прямо высказывали они свою вражду на Западе против панов, на Востоке против бояр. Государство освобождалось от людей, которые, если бы оставались внутри его, были бы виновниками внутреннего брожения, внутренних беспокойств и перемен

Но человек, не бывший в состоянии выносить известных общественных условий и потому уходивший из общества, отрицая известные общественные условия, с своей стороны не полагал основания обществу с высшими формами, с лучшими против прежнего общества

отношениями. Это не было выселение массы людей, разрознившихся с большинством в известных убеждениях, религиозных или политических, или людей, ищущих большого простора, большого удобства при употреблении своего труда и капитала и потому способных положить прочные основания для гражданского общества: козак искал в степи через бегство из общества только личной свободы, он являлся в степь с тем узким младенческим взглядом на общественные отношения, к какому приучила его прежняя среда частной зависимости; он бежал в степь вовсе не для того, чтоб трудиться, утвердив правильные отношения по труду, он бежал для того, чтоб быть *вольным* козаком, а не мужиком, ибо с понятием труда соединялось понятие мужества; вольный козак, молодец, вовсе не хотел работать или хотел работать как можно меньше, хотел жить на чужой счет, на счет чужого труда.

Таким образом, выход козака в степь из государства вовсе не был шагом вперед в общественном развитии, но шагом назад; как бы ни было неудовлетворительно состояние того общества, из которого вышел козак, все же оно было гораздо выше образовавшегося в степи козацкого общества, которое по основному характеру своему, именно — по хищничеству, приравнивалось к окружавшим его обществам ногаев, калмыков и крымских татар. Влияние такого общества на государство, разумеется, не могло быть полезным: когда государство допускало это влияние, то оно обнаруживалось точно так же, как и влияния ногаев и крымцев, то есть хищничеством, опустошением. Государства, как Московское, так и Польское, могли еще видеть одну полезную сторону в козачестве, именно возможность противопоставлять хищничество козаков хищничеству степных орд ногаев, крымцев; но и здесь польза от козачества перевешивалась вредом, ибо козаки не ограничивались только делом пограничной стражи, но по своему хищническому характеру, которого они не скрывали, объявляя, что если им не нападать на соседей, то жить нечем, — по этому своему характеру козаки нападали на соседей и тогда, когда государству это было вредно, нападали морем на турецкие владения и вовлекали оба государства, и особенно Польское, в опасную вражду с Турцией.

Вследствие всего этого оба государства с XVI века, со времени усиления козаков, находились постоянно во враждебном отношении к ним. Восточные козаки, то есть признававшие номинально над собой власть Московского государства, показали ясно характер своих отношений к государству в Смутное время, в начале XVII века. под знаменами самозванцев они внесли страшное опустошение в государственную власть; государство, благодаря усилиям земских людей, очистилось от козаков, которые после не находили никогда такого благоприятного времени для успешной борьбы с государством; восстания их, иногда довольно сильные, оканчивались, однако, всегда торжеством государства, которое, наконец, достигло того, что вполне подчинило козаков своим требованиям.

Но не так было на Западе, в Польском государстве. Последнее начало рано стремиться подчинить козаков своим требованиям, эти требования

состояли в том, чтоб козаков было ограниченное, известное правительству число и чтоб старшина козацкий находился в непосредственной зависимости от правительства, которое распоряжается всеми движениями козаков. Понятно, что козаки должны были употребить все усилия, чтоб не подчиниться этим требованиям; отсюда вся эта борьба козаков с государством, знаменующая конец XVI и XVII век. В истории этой борьбы надобно обращать особенное внимание на одно явление: на различие между козаками старыми и новыми; старых козаков не отвергает государство, и старые козаки с своей стороны готовы подчиниться требованиям государства. Но подле старых козаков, получивших уже, так сказать, право гражданства, входящих в известной степени в государственный организм, толпятся новые, молодые, новоприбылые козаки, недавно освободившиеся и -под непосредственной зависимости от государства, ушедшие из него, незаконно освободившиеся и потому не признаваемые, преследуемые государством. Эти-то новые, молодые козаки, особенно враждебные государству, и производили обыкновенно восстания как на западе, так и на востоке, ибо то же явление мы видели на Дону при Разине, при Булавине.

Несмотря на то что козацкие восстания на западе вначале удавались, оканчивались они всегда торжеством государства; предводители этих восстаний или погибали позорной и жестокой смертью, или должны были бежать из родной страны. Государство, по-видимому, достигло своей цели относительно козаков: число их было ограничено, старшина их, назначенный правительством, находился в полной зависимости от коронного гетмана. Но Польское государство носило в себе глубокую рану, которая растравлялась все более и более: то была религиозная борьба вследствие унии, сильное гонение, которому подвергались православные, в соединении с тяжким состоянием, в котором находилось низшее, земледельческое сословие. Вследствие этого знамя восстания, поднятое отважным и искусным вождем, поднятое во имя веры и народности и в интересах низшего, сильно угнетенного сословия, встречало всеобщее сочувствие и поддержку не только в селах, но и в городах; дело козацкое сливалось с делом священным, народным. Такой отважный, искусный вождь нашелся, и восстание приняло обширные, небывалые размеры.

Вождем нового, последнего восстания был Богдан Хмельницкий, личность которого имела важное влияние на исход борьбы. Вот как г. Костомаров описывает Богдана: «От иезуитов, воспитавших его, он получил ту скрытность, с какой умел хранить до времени задуманное, наружно улыбаться и показывать вид веселости и приязни, когда в душе кипела ненависть; двоедушие, с каким он следовал по двум противным направлениям, потакал двум партиям разом, делал два дела в одно и то же время и, вместе с тем, делал третье, ни для кого не проницаемое. Не проходило мятежа, чтоб Хмельницкий в нем не участвовал: был он сподвижником Тараса, Павлюка, Остраницы, возбуждал советом и одобрительной речью собратий против поляков, но не стоял на челе восстания, другим уступал первенство, и, когда зачинщики расплачивались за

смелость на плахе или колесе, на Хмельницкого никто не мог доказать Услуги, оказанные королю, видимая преданность Речи Посполитой отклоняли от него всякое подозрение. Он при случае действовал даже против своих соотечественников. И бурную юношескую пылкость, и хладнокровную поступь рассудительного старца, и суровость, и мягкосердие он умел употреблять когда нужно было, и из всех его движений никто бы не узнал, что на душе у него».

Надобно заметить, что подобный характер мог образоваться и не вследствие одного иезуитского воспитания, но вследствие всех условий жизни, среди которых находился Богдан с начала своего поприща до конца его. Страшно тяжело было положение Хмельницкого не между двух только огней, но между огней со всех сторон: между требованиями государства, между требованиями и вопиющими насилиями панов и шляхты, которые так же мало обращали внимание на требования государства, как и козаки; между требованиями грубой козацкой толпы, для руководства которой нужна была необыкновенная ловкость и изворотливость не без унижения; наконец, между требованиями крымского варвара. История Хмельницкого представляет зрелище отчаянной борьбы человека, одаренного обширными способностями, борьбы его с крайне запутанными обстоятельствами его положения. Надобно заметить также, что Хмельницкий, прежде чем быть воспитанником иезуитов, был козаком, и потому нельзя указывать только на одну сторону его характера, которой он обращался к полякам и которую они одну заметили; если Хмельницкий был иногда скрытен, то иногда был также очень откровенен. Чтоб уразуметь знаменитого гетмана, надобно взять его всецело, как сложился этот человек под влиянием многоразличных условий своей удивительной жизни.

Хмельницкий начал дело восстания вследствие личных оскорблений, нанесенных ему польскими правительственными лицами: в этом он сам потом признался; но, разумеется, в совещаниях с духовенством и козаками он выставлял на первый план попрание веры русской, поругание народа русского. Хмельницкий хорошо видел, что козачеству одними своими силами не сладить с поляками: пример всех прежних восстаний был перед глазами, и потому он обратился с просьбой о помощи к крымскому хану. С татарской помощью и благодаря тому обстоятельству, что русские, бывшие в польском войске, передались на сторону козаков, Хмельницкий получил блистательный успех: польское войско было уничтожено, и два гетмана попались в плен; в это же самое время умер король Владислав, в смутах междуцарствия Польше было не до козаков, и вот восстание разлилось по Украйне:

«Все лето 1648 года было ужасное время. Когда Хмельницкий вел летом переговоры с временным польским правительством, по южнорусской земле кружили вооруженные отряды, которые назывались загонами. В старину это имя давалось татарским полчищам, но теперь оно означало русских военных охотников, преимущественно беглых и непокорных владельческих крестьян. Из нескольких местечек и сел сбирались молодые и старые, только годные к битве мужики, вооружались, в случае

недостатка оружия, косами и дубьем и стекались к Хмельницкому, который записывал их по полкам, делил по сотням, назначал начальников, часто из них же. Потом такие толпы отправлялись очищать, как выражались они, русскую землю. Иные же вовсе не сносились с своим батьком, а просто составлялась шайка, выбирала атамана и пускалась на грабежи и убийства. Они назывались гайдамаками; число их увеличивалось чрезвычайно быстро, до того, что скоро они могли разорять не только помещичьи усадьбы, но укрепленные замки и города.

Обыкновенно, как скоро гайдамацкий загон появлялся в панском местечке или селе, подданные принимали гостей как избавителей, соединялись с ними и устремлялись на палац, или двор, своего владельца. Тогда не было пощады ни старцам, ни грудным младенцам: истребляли и домашних слуг, если они были католики или униаты и заранее не пристали к ним, сожигали панское жилье, а имущество разделяли с крестьянами, вознаграждая их за долговременные поборы и панщины. После кровавых сцен обыкновенно следовала гулянка: выкачивали из панских погребов бочки с винами, пили, плясали, пели песни среди пепелищ и трупов. Такому же бесчеловечному приговору подвергались и жители городов и местечек, католики, или униаты, или даже православные, но чем-нибудь навлекшие на себя негодование простолюдина. Ненависть ко всему польскому простиралась до того, что гибли православные ремесленники и торговцы за то единственно, что, следуя тогдашнему обычаю, носили польское платье или закидывали на польский лад в речах. Духовенство повсюду призывало на брань и старого, и малого. Католическая святыня предавалась поруганию. Но всего неумолимее поступали козаки с жидами». Поляки поступали так же с русскими в случае удачи: князь Вишневецкий, овладевши Немировом, страшно мучил его жителей, крича палачам: «Мучьте их так, чтоб они чувствовали, что умирают!»

Хмельницкий понимал, что он крепок только восстанием народным и простонародным, и потому когда польский уполномоченный Кисель, обещая удовлетворение Хмельницкому и козакам, поставил условием, чтоб они отступились за это от мятежной черни, пусть хлопы возделывают поля, а козаки воюют, то Хмельницкий отвечал: «Теперь уже прошло время для переговоров: выбью из польской неволи народ русский весь. *Сперва я воевал за свою обиду,* теперь буду воевать за веру православную. Поможет мне вся чернь по Люблин и по Краков, а я от нее не отступлю, потому что это первая порука наша».

Действительно, не время было вести переговоры: борьба шла на жизнь и на смерть, уступки, перемирия, полумеры ни к чему не вели, как сейчас же и оказалось, когда Богдан принужден был к примирению. Призвавши на помощь крымского хана, Хмельницкий выступил навстречу польскому войску, которым предводительствовал сам новоизбранный король Ян Казимир. Король был окружен татарами и козаками под Зборовом и находился в самом затруднительном положении; но союзник Хмельницкого, хан, спас его. Татары, как все азиатцы, если не отуманены фанатизмом, — трусы, вследствие неразвитости личности,

понятия о чести и других высших интересах; они любят издали омрачать воздух стрелами, задавливать врага числом, массой, любят нахватать добычи врасплох, любят добивать, когда уже другие сделали дело, но не охотники до открытых, решительных битв, где за победу надобно дорого заплатить; притом же хану не было особенной выгоды, если бы Хмельницкий довел Польшу до последней крайности: ему выгоднее было поддерживать равновесие сил между поляками и козачеством, поддерживать усобицу между ними. Король обещал хану присылать ему ежегодно по 90 000 злотых да единовременно 200 000, и хан ушел, выговорив только в пользу союзника, чтоб король простил козаков и принял в свою милость Хмельницкого.

Заключен был знаменитый Зборовский договор, по которому число реестровых козаков определено было в 40 000, даны были или, лучше сказать, обещаны и разные другие права. Но, несмотря на видимые выгоды договора, Хмельницкий был поставлен в самое затруднительное положение: не с 40 000 козаков только Хмельницкий действовал против поляков; после внесения в реестр 40 000 осталось много лишних, много таких загонщиков, которые погуляли на счет своих панов, а теперь должны были опять возвратиться в прежнее состояние, под власть прежних панов. Хмельницкий принужден был отказаться от союза с чернью, мало того, он должен был вооружиться против своих верных союзников, должен был казнить смертью тех из них, которые не хотели возвращаться в прежнее состояние и волновались.

Таким образом, союз между реестровым козачеством и простонародьем рушился, и Хмельницкий терял значение освободителя народа. Хлопы наотрез отказались служить панам. Большая часть панов едва только вступила в свои имения, как тотчас же должна была спасаться бегством, а многие заплатили жизнью за попытку управлять удалыми головами. Богатый вельможа князь Корецкий, надеясь на свое войско, хотел задать спасительный страх хлопам, велел схватить старых зачинщиков мятежа и посадить их на кол; это повело опять к открытому восстанию, а Хмельницкий должен был действовать за Корецкого с товарищи, вешал, сажал на кол хлопов, которые хотели быть козаками; от этого имя Богдана, которое до того времени произносилось с благоговением в народе, стало у многих предметом омерзения.

Восстание принимало обширные размеры, нашло себе отважного вождя в брацлавском полковнике Нечае, Хмельницкому начали грозить свержением, и Хмельницкий должен был изворачиваться как мог. «В реестр принимать больше нельзя,— объявил он,— но кто захочет быть охочим козаком, пусть будет». Киевскому воеводе Киселю сказал он прямо, *почесывая голову* по русской привычке: «Господа поляки поддели меня: по их просьбам я согласился на такой договор, которого исполнить нельзя никаким образом. Сами посудите: сорок тысяч козаков; что я буду делать с остальным народом? Они убьют меня, а на поляков все-таки поднимутся».

Одна война могла решить вопрос, и война началась. Хмельницкий опять призвал на помощь крымского хана; но после первой стычки, где

ни одна сторона не осталась победительницей, хан сказал Богдану: «Как же это ты уверял, что у поляков войска тысяч каких-нибудь тридцать, да и те неопытная молодежь, а я вижу, что у короля войско огромное и есть воины храбрые. Если ты мне завтра не расправишься с поляками, то я тебя самого отведу на веревке к королю». Хмельницкий не успел справиться, и хан побежал, предавши козаков в жертву неприятелю. Заключен был новый, Белоцерковский трактат: число козаков реестровых уменьшено было вдвое, до 20 000. «Белоцерковский трактат приводил Украйну к тому же положению, в каком она находилась до 1648 года (до восстания Хмельницкого): четырехлетние труды, потери народа, опустошение Руси не выкупались ничем. Снова паны возвращались в свои владения; жиды опять могли быть управителями и арендаторами; жолнерам предоставлялось по-прежнему право собирать с поселян стации и ходить толпами по городам и селам. И были слышимы в народе вопль, и воздыхание, и горе, и ропот на Хмельницкого. «Вот к чему привели нас его победы! — говорили хлопы. — Мы ожидали себе свободы, а он опять нас закабалил в рабство!» И в самом деле, на Хмельницкого, по-видимому, не было надежды; он, казалось, был глух и нем к стонам народа и сам действовал заодно с панами. Он оказывал явное недоверие к русским, отдалил от себя козаков, окружил себя татарами, и не раз приходилось ему погибнуть от разъяренного хлопства. Среди всеобщего восстания Хмельницкий принужден был успокоить хотя несколько русский народ и позволил записываться в реестр, и, таким образом, в то время когда королю представлен был список с двадцатью тысячами, в Украйне существовал другой реестр, в котором козаков записано было более сорока тысяч».

Новая война должна была вывести Хмельницкого из его тяжелого положения. В третий раз призвал Хмельницкий хана на помощь, и в третий раз хан продал его полякам. В четвертый раз нельзя было делать опыта; надобно было попытаться каким-нибудь другим образом выйти из беды, а беда была неминучая: собственными средствами козачество не могло бороться с Польшей; все показывало, что если Хмельницкий решится на подобную борьбу, то ему предстоит участь его предшественников; силы Украйны были истощены: продолжительная беспощадная война, голод, мор и сильные переселения на восток, в московскую Украйну, произвели это истощение; союз с ханом оказался невозможным; он мог быть возможен при одном условии, при подданстве козаков турецкому султану; но освободиться от ляшской, латынской неволи для того, чтоб пойти в неволю бусурманскую, такое предложение никогда не могло быть принято большинством; оставалось одно средство спасения — поддаться Московскому государству, которое прежде всего обеспечивало веру.

Уже давно, с начала борьбы, Хмельницкий обращался к царю Алексею Михайловичу с просьбой о помощи, с просьбой, чтоб государь в союзе с козаками начал войну с Польшей, предлагал подданство; предложения отклонялись; с течением времени, после Белоцерковского мира, побуждения просить царя о принятии козаков под свою высокую

руку усиливались для Хмельницкого, и в то же время царь с большим вниманием должен был прислушиваться к просьбам гетмана: московскому правительству предстояло решение чрезвычайно трудного вопроса: разорвать мир с Польшей, начать войну, по недавним опытам очень опасную, причем взять в подданство новых козаков, тогда как и с старыми было много хлопот,— или допустить, чтоб Хмельницкий с своими козаками передался туркам, видеть страшные границы турецкие подле своих границ, не иметь ни минуты покоя от крымцев, усиленных не менее хищным, но более отважным козачеством, наконец, отпустить православных русских людей в бусурманское подданство? Решились на первое, и соединение Малой России с Великой последовало.

Но при этом соединении чего должно было ждать для себя козачество? Его тогдашний быт несовместим был с требованиями государства; оно отторгнулось от государства слабого и присоединилось к государству с более крепким организмом, которое поэтому еще сильнее и настойчивее должно было высказывать свои требования; в борьбе с этими требованиями козачество уже не могло выставлять священное знамя, знамя веры и народности русской, ибо царь Московский был царь русский, православный; козачество должно было бороться во имя собственных интересов, но этим интересам оно не могло найти сочувствия; города враждебно смотрели на козаков, посполитство жаловалось на притеснения старшины козацкой; выборный гетман был окружен врагами, которые руководились одними личными отношениями и вовсе не разбирали средств для достижения своей цели, то есть для свержения гетмана; гетман прежде всего должен был думать о своей личной безопасности, личных интересах; уже Хмельницкий начал окружать себя татарами; преемники должны были следовать его примеру, окружать себя толпами наемных, ненавистных народу сердюков; по-прежнему козачество одними своими силами не могло бороться с государством; недовольные Москвой гетманы должны были бросаться то к Польше, то к Турции, то к Швеции, но тут постоянно имели против себя большинство народа, ибо Москва поднимала теперь против них самих то знамя, которое прежде поднимали козаки с такой выгодой для себя, знамя веры. Таким образом, чего не успело сделать в отношении западных козаков государство слабое, то сделало сильное.

III

В то время как Западная Россия напрягала все свои силы, чтоб поддержать свою веру и народность — дело чрезвычайно трудное для нее при отсутствии политической самостоятельности, Россия Восточная, утвердив свою политическую самостоятельность и относительно Востока, и относительно Запада (причем уже мы указали на великое значение христианства восточного исповедания),— Восточная Россия, утвердив свою политическую самостоятельность, двинулась к сближению с западными государствами европейскими, опередившими ее на пути гражданственности, чтоб от этого сближения, от этой новой жизни, сообща

с другими народами, получить новые могущественные средства для развития своеи народности. Но от западных народов Россия разнилась вероисповеданием; благодаря этому различию русский народ в начале XVII века успел поддержать самостоятельность свою: теперь, естественно, рождался вопрос: при этом сближении, этом побратимстве с иноверцами, не грозила ли опасность русской вере, не поведет ли это сближение к тому же самому, чего так боялись, против чего так восстали в Западной России, — к унии, к подчинению папе римскому?

При этом явном стремлении к иностранцам и иностранному, при явном стремлении к переменам, преобразованиям, при этом беспокойном, подозрительном ожидании перемены всего строя народной жизни, попытка преобразования в сфере самой священной и дорогой для народа, в сфере церковной, должна была произвести сильную тревогу, сильное волнение: впустили иностранцев, иноверцев, перенимают их обычаи, и вот уже в Церкви переменяют старину! Куда же это поведет, чем кончится? Пришло последнее время, время антихристово, светопреставление! Казалось бы, впрочем, что эта тревога, это волнение людей темных, бессознательно ревнующих по своему родному, тяжело расстающихся с прежней внешней обстановкой жизни, не могли быть долговременны: опасность была мнимая, тревога ложная; церковные перемены клонились к очищению, исправлению, поддержанию старины: и, несмотря на то, явление, произведенное этой тревогой, так называемый раскол был так силен и продолжителен! Отчего же это происходило?

Г. Щапов с замечательным талантом сделал счастливую попытку указать на происхождение и причины силы и долговременности раскола. Он искал этих причин не во внешних случайных явлениях, но во внутреннем состоянии общества. По выводам г. Щапова, «исторические причины происхождения и распространения раскола заключались: а) в духе времени, в которое возник и распространился раскол старообрядства, именно в том, что с XVI века, до патриарха Никона, многие в русском народе питали суеверную привязанность к одной внешней обрядности церковной без духа веры и, будучи слепо привержены ко всему, что имело вид какой бы то ни было, только русской, старины, обнаруживали недовольство церковными исправлениями и гражданскими преобразованиями, начавшимися в царствование Алексея Михайловича при патриархе Никоне и особенно усилившимися в царствование Петра Великого: здесь заключается главный и первоначальный источник раскола; б) в духовно-нравственном состоянии русского народа во время возникновения и распространения раскола; здесь находится самая почва, в которой развился, возрос и распространился раскол; в) в самом расколе, особенно расколоучителях и в духе и направлении раскола: здесь заключаются внутренние силы и способы, посредством которых раскол сам собою развивался, возрастал и распространялся, как определенное общество, отдельное от православной Церкви; г) в уклонениях от церковного или церковно-иерархического порядка, допускавшихся некоторыми православными лицами, и в других недостатках относительно

благоустройства церковного; и д) в разных гражданских беспорядках и недостатках того времени, когда возник и распространился русский раскол: это, так сказать, была атмосфера, под влиянием которой развивался раскол».

Но, начиная развивать свои положения, г. Щапов говорит: «Некоторые русские писатели XVIII и XIX столетий, говоря об исправлении церковных книг патриархом Никоном, выражают мысль, будто это самое исправление книг было причиной раскола. Раскольнические писатели признают также патриарха Никона единственным виновником раскола в русской Церкви. Оба эти обвинения при внимательном рассмотрении обстоятельств, среди которых появился раскол, оказываются несправедливыми. Исправление церковных книг патриархом Никоном было не более, как только внешним поводом к открытию раскола. А главный, первоначальный источник раскола, почти при самом появлении принявшего характер не просто церковный, но церковно-гражданский, кроется гораздо глубже и восходит гораздо далее времен патриарха Никона. Русский раскол явно сложился из двух начал: во-первых, из начала собственно церковного, как секта церковно-обрядовая, несогласная с православной Церковью в некоторых богослужебных обрядах; во-вторых, из начала гражданского, или противогосударственного, как секта, восставшая против новшеств не только церковных, но и гражданских. Потому и источника раскола прежде всего надобно искать в духе и направлении церковной и гражданской жизни русского народа в тот период времени, когда раскол зачался, развился и распространился».

Здесь, по нашему мнению, есть противоречие. Если мы видим, что между двумя народами долгое время накопляются причины вражды и вдруг открывается между ними война вследствие какого-нибудь затруднения или спора, то историк имеет полное право сказать, что это последнее явление было не более как только внешним поводом к обнаружению вражды, так долго таившейся, так долго накопляемой, что причин надобно искать глубже во многих условиях географических и исторических, которые давно уже поставили эти два народа в положение соперников. Но можно ли церковные и гражданские перемены, *новшества* XVII и XVIII веков, назвать только внешним поводом к раскрытию раскола? Здесь историк имеет дело с двумя противоположными силами: начинает действовать одна и это необходимо вызывает к деятельности другую; если бы у нас в XVII веке не обнаружилось стремление к новшествам, то не было бы и противного стремления поддержать старину, ибо старина оставалась бы исключительно господствующей; не будь Никона и Петра, то есть не будь у русского народа того стремления, которого деятельность Никона и Петра служила выражением, то все русские до сих пор оставались бы старообрядцами, какими были они при патриархе Иосифе.

Прежде г. Щапов совершенно справедливо сказал, что исторические причины происхождения и распространения раскола заключались в том, что люди, слепо державшиеся старины, восстали против новизны; а по-

том говорит, что эти новизны, произведшие восстания, были только внешним поводом к расколу! Мы никак не можем понять, почему автору желательно уменьшить значение исправления книг, совершенного при Никоне? Неужели автор хочет уменьшить значение исправления книг для того, чтоб снять с Никона упрек в произведении будто бы раскола этим исправлением! Но стоит ли обращать внимание на этот упрек? Вообще, взгляд автора на деятельность Никона составляет слабую сторону книги.

Г. Щапов хочет быть его адвокатом и панегиристом, тогда как Никон подобно Петру Великому не нуждается ни в том, ни в другом. «Патриаршество Никона в истории русской Церкви составляет ту многознаменательную переходную эпоху, когда после *вековых споров* о древней церковной старине, после *векового сознания* лучшими пастырями необходимости исправления и улучшения внутреннего порядка в русской Церкви,— необходимость истинной, основательной поверки, исправления и усовершения внутреннего церковного порядка и устройства сделалась главной, настоятельной потребностью, господствующей, живой мыслью русской Церкви; когда должно было положить предел вековой борьбе убивающего духовную жизнь буквализма и мертвого обряда с живой идеей, оживляющим духом христианства, борьбе тьмы со светом, порядка с беспорядком; и тьма и беспорядок, наконец, должны были или исчезнуть при свете просвещения и порядка, или отделиться от Церкви, как совершенно несовместные с ее существом. Для прекращения этой вековой борьбы в недрах нашей древней Церкви, для обновления, освежения внутренней жизни Церкви, Божественный Промысл нарочито воспитал и воззвал из среды народа знаменитого пастыря, патриарха Никона. Но если вообще великие гении, далеко опережающие век свой, везде и всегда встречают сильные противоречия и противодействия со стороны отсталых, запоздалых людей, часто даже падают жертвами в борьбе с ними, то удивительно ли, что и наш великий пастырь Никон, этот истинно замечательный гений своего века, должен был испытать то же, встретить также упорное противоречие и противодействие со стороны отсталых, запоздалых ревнителей старины».

В таком сочинении, как сочинение г. Щапова, нам не хотелось бы встречать ничего, напоминающего фразу. Если в древней русской Церкви и в древнерусской жизни до Никона происходила *вековая* борьба мертвого буквализма с живои идеей; если до Никона было *вековое* сознание необходимости исправления, то каким образом русская жизнь при Никоне и после Никона могла явиться в том виде, с теми, питающими раскол явлениями, с какими так выпукло представляет ее нам г. Щапов! Никон является решителем, окончателем борьбы· «для прекращения этой вековой борьбы», по словам самого автора, Промысл воззвал Никона; но на деле выходит, что Никон был начинателем борьбы, от его новшеств раскол ведет свое начало. Скажут. при Никоне приверженцы мертвого буквализма должны были выделиться из Церкви; но мы не можем себе и представить борьбы без разделения борющихся сторон на два враждебные лагеря, в какой же форме происходила эта

вековая дониконовская борьба? Если до Никона происходила вековая борьба, если до Никона было вековое сознание необходимости исправления, то почему же Никон был великим гением, *далеко опережающим* век свой? Г. Щапов не обратил внимания на одно обстоятельство: даже в конце XVII века люди, сильно ратовавшие против раскола, обнаруживали в то же время часто раскольнические понятия и стремления, что ясно видно из посланий против бритья бороды, и т. п. Мы позволим себе сделать вопрос: был ли сам Никон совершенно чист от подобных понятий и стремлений? Нам было бы очень важно услышать положительный ответ от почтенного автора.

Мы видели, что автор (на стр. 12) говорит: «Исправление церковных книг патриархом Никоном было не более, как только внешним поводом к открытию раскола. А главный, первоначальный источник раскола кроется гораздо глубже и восходит гораздо далее времен патриарха Никона». На странице же 87 читаем: «*Другая* причина, почему не только духовенство, но и народ так фанатически взволновался и восстал против нового церковного порядка, введенного Никоном, заключается именно в том мистико-религиозном заблуждении, что реформа Никона есть начало давно ожидаемого отпадения великороссийской Церкви от православия к латынству». Итак, народ ждал великой перемены и взволновался, когда эта перемена обнаружилась. Следственно, *перемена* на первом плане, ее боятся, ее ждут, против нее восстают, вопрос о перемене есть жизненный вопрос для народа, и потому эта перемена никак не может быть только внешним поводом к раскрытию раскола. *Другая* причина, говорит автор, какая же *первая*?

«Первоначально, при Никоне, раскол возник в духовенстве из чисто духовно-демократического начала, из стремления весьма значительной части низшего духовенства освободиться главным образом из-под власти, суда и управления, по их мнению, слишком строгого патриарха Никона. Духовный клерикальный или религиозный демократизм — вот первая ближайшая, первоначальная причина происхождения раскола именно от низшего духовенства».

Здесь — поставление побочного, второстепенного обстоятельства на первый план. Общество в мистико-религиозном страхе ждет великой перемены, перемена происходит, общество волнуется, происходит борьба между старым и новым; как же можно тут ставить на первый план то обстоятельство, что некоторые из духовенства, вооружившиеся против новшеств и наказанные за это Никоном, жалуются на строгость патриарха? После этого можно сказать, что первой ближайшей, первоначальной причиной происхождения протестантизма было то, что Лютер подвергся преследованию папского двора?

Но мы должны сказать, что неправильных воззрений, непоследовательностей и опущений немного в книге г. Щапова; к этому прибавим, что широкая, правильная основа, данная автором его сочинению, всего более способствует обнаружению этих ошибок; прибавим, что книга г. Щапова имеет важность и для ученых специалистов, хотя почтенный автор и назначает ее преимущественно для неученой публики.

ВИЗАНТИЯ В X ВЕКЕ

Рецензия на кн.: L'empire Grec au dixieme siecle (Constantin Porphyrogenacte) par Alfred Rambaud*

Известно, что историки западные очень неблагосклонно отзывались всегда о Византии, об этой Восточной, или Греческой, империи. Неприязненное чувство римского Запада к греческому Востоку берет начало с того времени, когда победоносный Рим принужден был подчиниться побежденной Греции, подчиниться ее цивилизации. Несмотря на необходимость этого подчинения, против него раздавались сильные голоса, и нельзя было не признать справедливости указания на недостоинство нравственное учителей, на нравственный упадок греческого народа; ученики не могли уважать учителей, и школа страдала от этого. Потом Рим увидал, что греческий Восток отнял у него и политическое значение, что там явился ему опасный соперник, новый Рим, Константинополь, туда отлили силы империи, старый Рим, разумеется, не признавал тут никакой вины на своей стороне, складывал всю вину на счастливого соперника, случайно поднявшегося, ненавидел и презирал этих новых греков или греченков, незаконных в его глазах потомков старых славных греков. Легко понять, что, кроме других побуждений, и означенное чувство усиливало стремление Рима оторваться от церковного единства с Востоком; легко понять также, как этот разрыв церквей усилил и распространил вражду к греческому Востоку по всему латинскому Западу вследствие могущественного влияния духовенства. Когда столько западных народов освободились вследствие Реформации из-под влияния римской Церкви, то, казалось, можно было надеяться большего сочувствия к греческому Востоку, но вышло иначе. Новорожденная историческая наука подчинилась влиянию стремлений, которые не могли условить беспристрастного обсуждения явлений прошедшего. Освобождение из-под влияния Рима христианского, вследствие известного философского движения, усилило сочувствие к Риму языческому, а при таком условии не могла выиграть Византия, которая вела свое начало от торжества христианства и была проникнута новым началом, тогда как старый Рим еще сильно служил прежнему. При взгляде на историю Римской империи, какой высказан Гиббоном, Византия не могла пользоваться сочувствием. К религиозным причинам несочувствия присоединились политические — отталкивали правительственные формы Византии; наконец, общее нерасположение Запада Европы к Востоку, опасения относительно славянского мира и державы, которая служит главной его представительницей. Это нерасположение должно было отражаться и на Византии, история которой тесно связана с этим восточным славянским миром.

Но в последнее время являются признаки перемены взгляда на историческое значение Византии. Рамбо, автор книги «Греческая

* Русский вестник 1873 Т 103 № 1 С 461—470

империя в X веке (Константин Порфирородный)»[1], говорит, что Византийская империя подверглась у них на Западе строгому приговору По его мнению, Византийская империя должна быть рассматриваема как средневековое государство, расположенное на границах Европы рядом с азиатским варварством. Деспотическая форма правления и административная централизация были для нее необходимыми условиями существования, ей было необходимо держать себя всегда на военной ноге. Во внешних сношениях империя охотно употребляла золото вместо оружия, по ее интригам варвары часто бросались одни на других. Средства, ею употребляемые, были иногда коварны, жестоки; но не надобно забывать, что она имела дело с самыми жестокими и самыми коварными варварами. Честная политика сделала бы ее посмешищем племен уральских, турецких, монгольских (гуннов, аваров, печенегов, Баяна и Крума), не говоря уже о суровых норманнах и венецианах, о плуте Боэмонде, о хитром Дандоло. С такими противниками нельзя иметь безнаказанно некоторые добродетели. Историки были беспощадны к ее порокам, не обращая внимания на те достоинства, которые она должна иметь, чтобы прожить тысячу лет после падения Западной Римской империи. Пусть приведут хотя одно государство нашей Европы, которое бы подверглось таким нападениям. В IV веке готы; в V — гунны и вандалы; в VI — славяне и анты; в VII — персы, авары и арабы, с VIII до X — булгары, русские, венгры; в XI — куманы, печенеги, сельджукиды; в XIV оттоманы; с запада нападали норманны, крестоносцы. Иногда империя казалась при последнем издыхании: в VI веке она изнемогает под ударами славян; в VII — ее столица осаждена зараз аварами и персами; в X — булгары отнимают западные ее провинции; в XI — сельджукиды завоевывают провинции восточные.

Вдруг среди этой истощенной цивилизации обнаруживаются новые юношеские силы, являются Велисарий, Гераклий, Василий I, Никифор Фока, Цимиский, Василий II Комнин, и тогда «империя, эта старуха, является молодой девицей, украшенной золотом и дорогими каменьями». Несколько раз эта слабая империя спасала Европу; без нее арабское нашествие, вместо того чтоб остановиться на Аманских горах, перешло бы Босфор; нашествие сельджукидское, вместо того чтоб остановиться в Никее, залило бы Восточную Европу; благодаря Восточной империи оттоманы принуждены были около ста лет стоять лагерем под стенами Константинополя: потеря времени для них невознаградимая! В XVI веке вместо Тибра и Эльбы они дошли только до Вены Византия воспрепятствовала скифским племенам овладеть половиной Европы, она помешала этой половине Европы сделаться Скифией вследствие невежества. Ни один народ не избежал ее влияния· она из орд славянских, булгарских, мадьярских, варяжских образовала христианские державы — Сербию, Кроацию, Болгарию, Венгрию, Россию. Племена Восточной Европы не знали бы ничего о своей древней истории, если бы византийцы не

[1] L'empire Grec au dixieme siecle (Constantin Porphyrogenecte) par Alfred Rambaud

занялись летописями этих варваров А что бы досталось Западу от греко-римского наследства, если бы на краю Европы, между тремя нашествиями — германским, арабским и славяно-турецким — не существовала неодолимая крепость, где нашли убежище историки, философы, ученые, поэты, ораторы древнего мира? Византийцы мало прибавили к наследству: они удовольствовались скромным значением библиотекарей человеческого рода. Но разве это не заслуга — защитить дорогое наследство против всех средствами дипломатии и войны? Без Византии какой пробел в цивилизации! Без Византии арабы, несмотря на свои блестящие способности, остались бы полуварварами. Без Византии человечество имело ли бы великую эпоху Возрождения в XVI веке? Но возрождение обнаружилось единовременно на Западе и Севере: ибо в то время как Виссарионы и Ласкарисы стремились в Италию, Иван III открыл Россию для рукописей, ученых и художников греческих, и с двуглавым орлом Паэологов византийская Греция вступила в Московию.

Мы приветствуем такую перемену взгляда, которая поведет к уничтожению односторонности в суждениях западных ученых о Византии, хотя, с другой стороны, мы не можем успокоиться и на приведенных положениях автора Желание противодействовать укоренившемуся предрассудку, естественно, заставило автора принять несколько адвокатский тон, который нейдет к научным исследованиям. Историк, например, никак не может согласиться с приведенным положением, что с известными врагами нельзя безнаказанно иметь известные добродетели, и потому не может признавать за государством право употреблять, по обстоятельствам, жестокую и коварную политику. Высокое нравственное состояние народа, обладание известными добродетелями дает народу страшную силу, при которой он непобедим. Разительные примеры этого представляет именно история последних времен Римской империи, как на Востоке, так и на Западе: не пред коварною политикой отступали варвары, а только пред нравственными средствами, которыми обладала Церковь, ее пастыри. Приведенный автор говорит, что политика более прямая сделала бы империю посмешищем варваров, но посмешищем-то варваров она делалась именно тогда, когда употребляла нечистые средства; известно, как насмеялся Аттила над императором Феодосием, который унизился до составления заговора против его жизни. Послы варвара сказали Феодосию: «Аттила, сын Мундцука — и Феодосий — оба сыновья благородных отцов; Аттила остался достойным своего отца, но Феодосий унизился, ибо, платя дань Аттиле, он объявил себя его рабом: и вот этот-то худой и лукавый раб строит тайные ковы против своего господина». Употребление средств ненравственных показывает всегда слабость, тогда как исполнение заповеди «Будьте мудры, как змеи, и чисты, как голуби» обнаруживает в отдельном человеке и целом народе могущество, пред которым все преклоняется Византийская империя являлась слабой, иногда являлась сильной, мы должны рассмотреть причины ее слабости и вместе причины ее относительно долгого существования, рассмотреть

без употребления истертых презрительных фраз и без адвокатских приемов для побуждения присяжных произнести приговор с прибавкой, что заслуживает снисхождения.

Указывают как на причину слабости на отсутствие закона о престолонаследии От Аркадия до Константина Паэолога насчитывают 109 императоров. из них 12 должны были отказаться от престола, 12 умерли в монастыре или темнице, 3 от голоду, 18 изувечены, 20 умерщвлены разными способами, всего 65 свержены с престола Это печальное явление называют наследством, которое Византийская империя получила от Римской. Но нам нужно знать причины явления. Римская монархия не была похожа на древние и новые монархии, где монархическое начало является вместе с государственной жизнью народа и, смотря по условиям развития последней, принимало ту или другую форму Римская монархия явилась вследствие того, что истощенная республика была покорена собственным своим войском, которое дало своему полководцу верховную власть, тогда как республиканские формы остались, император сосредоточивал в своих руках власть, принимая на себя должности республиканских правительственных лиц; все эти должности были выборные; наследственность никак не могла утвердиться на этой совершенно неудобной для нее республиканской почве.

Императоры должны были избираться — но кем? Разумеется, войско должно было иметь здесь главное участие, ибо значение императора было прежде всего значение войскового начальника Сенат редко мог подавать свой голос, иногда император при жизни назначал себе преемника, иногда придворная интрига решала дело. Такой порядок вещей, основанный на сущности императорской власти, на ее историческом происхождении среди республиканских форм, не уничтоженных, а только прикрытых ею, — такой порядок вещей был перенесен из старого Рима в новый, Византию, и вкоренился здесь. Он вкоренился до такой степени, что ни один солдат, ни один крестьянин не мог считать несбыточной для себя мечтой сидеть когда-нибудь на престоле Константина Великого. В Константинополе показывали мясную лавку, где прежде торговал говядиной император Лев I. Иллирийский пастух, славянин, пришел в Константинополь босиком, с котомкой за плечами, и это был впоследствии император Юстин, дядя знаменитого Юстиниана Великого. Фока вступил на престол прямо из простых сотников. Мы упомянули об императорах славянского происхождения, были также исавряне. армяне[2].

Мы не перечисляем всех случаев подобного восхождения на престол людей из низших слоев народонаселения Легко понять, как эти случаи кружили головы, порождали «болезнь порфиры», по современному выражению Люди, утвердившиеся на престоле, употребляли обычные средства для укрепления престола за своими детьми или родственниками, именно при своей жизни провозглашали их соправителями, коро-

[2] Император Василий Македонянин был также по всем вероятностям славянин

новали, чтобы сообщить священное значение помазанников Божиих Так поступали и первые Капетинги во Франции, так поступали наши московские великие князья — Василий Темный, Иван III — в борьбе с родовыми обычаями. Но во Франции и России дело принялось потому, что была почва, а в Римской империи, которая не переставала жить республиканскими преданиями, этой почвы не было. Посягновения на престол были беспрестанные, а в борьбе с неизлечимым злом, разумеется, прибегали к отчаянным мерам; отсюда те страшные жестокости, употреблявшиеся против искателей престола, — жестокости, которые бросают такую неприятную тень на византийскую историю и отталкивают от нее

Императоры, принадлежавшие к разным народностям, указывают на пестроту состава войск империи, на пестроту ее народонаселения. Европейские области империи, сосредоточенные на Балканском полуострове, подобно другим ее областям приняли в себя новые элементы народонаселения в большом количестве вследствие опустошительных завоеваний Рима, истребивших значительную часть прежнего народонаселения. Муммий продал в рабство сто тысяч коринфян, Павел-Емилий в одной Епире разрушил 70 городов Поливий жалуется, что города Греции пусты и земли необработаны; люди, преданные роскоши и алчности, не заключают более браков и отказываются кормить своих незаконных детей, фамилии прекращаются. По свидетельству Страбона, Эпир и окрестные страны были совершенно опустошены, в покинутых домах жили римские солдаты Плутарх говорит, что в его время вся Греция не могла выставить трех тысяч тяжело вооруженных солдат, тогда как один город Мегара выслал это число на Платейскую битву. Впоследствии если бы северные провинции (Мизия, Фракия, Иллирия) были разом заняты какими-нибудь варварами и отторгнуты от империи, то они могли бы сохранить свое народонаселение, но варвары беспрестанно нападали на них и были изгоняемы, потому нисколько не щадили жителей: сначала опустошат страну варвары, а потом живут на ее почве войска империи, уже не говоря о заразительных болезнях: так, по случаю язвы в 747 году Константин Порфирородный выразился о Пелопоннесе: «Вся страна ославянилась»; вся страна, лишившись прежнего народонаселения, приняла новое, славянское.

Это знаменитое выражение Порфирородного, так, как и другие указания, дало основание некоторым ученым утверждать, что народонаселение нынешней Греции славянского происхождения. Так, западный монах Виллибад на дороге к Св местам останавливается в Монемвазии, и биограф его XII века говорит, что этот город был в славянской земле. Рамбо не хочет впасть в крайность, принимая мнение о полном ославянении Греции; он говорит, что в Средние века значительная часть греческого народонаселения, отброшенная во внутренние горы, исчезла на время от истории, не исчезая с эллинской почвы, в продолжении веков она сохранила свою независимость на высотах или незаметно слилась с пришельцами и содействовала этому быстрому изменению славянской национальности, которая потеряла своих богов, свой язык,

свои нравы, оставив следы языка только в некоторых именах городов, рек или гор. Мы не будем отвергать, что часть эллинского народонаселения сохранилась — только не в горах, а преимущественно в больших городах, тогда как славяне образовали преимущественно сельское народонаселение; и, будучи безграмотны и не имея самостоятельности, подчиняясь той же империи, легко огречились, вследствие принятия христианства, вследствие прямого и могущественного влияния греческого духовенства, а не вследствие смешения с бежавшею в горы толпой эллинов. Администрация и Церковь — вот проводники эллинизма; проводники столь сильные, что других предполагать не нужно.

Каково бы ни было отношение прежнего народнаселения к новому в областях, оставшихся за империей, под непосредственным ее управлением, любопытно взглянуть на состояние этого народонаселения. Здесь, прежде всего исследователю бросается в глаза сходство основных явлений, как на Западе, так и на Востоке. Как в государствах, образовавшихся в областях Западной Римской империи, так и в империи Византийской замечается исчезновение свободных людей, закладничество или захребетничество (вассальство) в разных видах, исчезновение мелких поземельных владений, соединение их в руках крупных землевладельцев. Новеллы византийских василевсов, подобно капитуляриям германских королей, беспрестанно жалуются на хищничество сильных людей, которые захватывают земли мелких владельцев и даже стараются закрепостить самих их. Византийские законодательные памятники указывают в провинциях подле сановников государственных и церковных еще богатых землевладельцев, за которых закладываются мелкие землевладельцы и вообще бедные люди с различными степенями зависимости, вследствие чего эти сильные и богатые землевладельцы являются окруженными двором, копьеносцами, служнею, которые становятся орудиями притеснений. Порабощение мелких землевладельцев крупными шло одинаково во всех областях империи, как в ославянившемся Пелопоннесе, так в Киликии, Каппадокии и Фракии. Какая же была причина этому явлению, общему для Востока и Запада? Причина заключалась в слабости государства и в дурном экономическом состоянии народонаселения, вследствие чего слабый закладывался за сильного, чтоб избавиться от притеснения других сильных; бедный, не имея возможности удовлетворять фискальным требованиям, закладывался за богатого, чтобы не платить тяжелых податей. Так было не в одних дряхлых государствах, как Римская империя в обеих своих половинах; так бывало и в народах и государствах молодых — Цезарь нашел в Галлии господство закладничества или клиентства: слабые и бедные для избежания тягости податей закладывались за сильных; в Средние века то же самое отношение господствует повсюду в Европе в виде феодальной системы; у нас в России, не развиваясь в феодализм по особым условиям, оно занимает очень видное место, однако, под именем закладничества и холопства — правительство у нас ведет с ним упорную борьбу, чтобы не дать тяглого человека в частную зависимость и не лишиться подати.

Византийские императоры сильно боролись против ухода мелких землевладельцев в зависимость от крупных, как с финансовою целью, так особенно чтоб иметь возможность пополнять войска. Как у нас в древней России правительство с финансовыми целями запрещало горожанам переход с одного места жительства на другое, прикрепляло их к городам для удобства взимания податей, так и византийские императоры запрещали переход жителей из одного города в другой, из одной области в другую и запрещали долго заживаться в Константинополе. Издавались указы, запрещавшие сильным и богатым приобретать земли бедных людей. Император Константин VII постановил, что все богатые, которые со времени восшествия его на престол приобрели земли бедных, должны лишиться их без вознаграждения. Но все эти меры были напрасны. В бедной России и самые богатые были довольно бедны и не могли скупить земель; могли скупить их богатые монастыри, и правительство должно было запретить монастырям увеличивать их земельную собственность, чтоб не обездолить служилых людей; император Никифор Фока также запретил церквам увеличивать свою земельную собственность.

Народонаселение империи состояло из двух частей: одна несла военную повинность, другая платила подати и поддерживала казну. Войско, служилые люди получали поместья, царскую землю; эти помещики представляли разнородную толпу: тут были армяне, гунны, арабы, славяне, всякий пришлый из какого бы ни было народа мог стать помещиком под условием службы. Поместье могло перейти по наследству, но наследник мог получить его только под условием службы. И эти-то поместья, царские земли, и этот служилый человек были часто добычей богатого соседа, который овладевал землею и порабощал владельца! Эту поместную систему Восточной империи Рамбо считает вполне аналогичным явлением с западным феодализмом, но сам должен прибавить: «Конечно, между ними много разницы: существование иерархии, цепи сюзеренов и вассалов характеризовало систему Запада; на Востоке все владельцы земельных участков (фьефов) были подчинены непосредственно единому государю». Но это такое различие, которое уничтожает всякое сходство. Где есть сходство, можно сказать тождество, так это между поместной системой византийской и русской.

Понятно, что здесь не может быть речи о заимствованиях. Чем шире становится область исторических наблюдений, тем яснее для историка становятся законы, по которым совершается рост народных и государственных тел, и тем менее будет речи о заимствованиях одним народом у другого обычаев и учреждений, ибо все народы, при одинаких условиях, должны обнаруживать в своей жизни одинакие явления. Но здесь опять историку надобно быть очень осторожным, не спешить установлением тождества между явлениями, заботливо разыскать в жизни народа, нет ли таких условий, которые остановили развитие известного явления на какой-нибудь ступени или заставили развиваться иначе, чем у других народов.

Книга Рамбо представляет утешительное явление в том отношении, что вводит и Византию в сравнительное изучение жизни европейских народов; западноевропейским ученым остается сделать еще шаг на этом пути, обратиться к внимательному изучению истории славянских народов, преимущественно русской. С некоторого времени они начинают заподозревать, что историческая наука на этом Востоке кой-что сделала, чем можно воспользоваться. Давай Бог! Лучше поздно, чем никогда.

СОВРЕМЕННИКИ О С. М. СОЛОВЬЕВЕ

РЕСКРИПТ ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСАНДРА П. В. Соловьевой (вдове С. М. Соловьева), направленный по рекомендации К. П. Победоносцева*

Поликсена Владимировна! С живейшим прискорбием услышал Я по возвращении Моем о кончине многоуважаемого Сергея Михайловича. Вам ближе и ощутительнее, чем кому-либо, скорбь невозвратной потери; но эту скорбь разделяют с вами все русские люди, издавна привыкшие чтить в супруге вашем не только ученого и талантливого писателя, но и человека добра и чести, верного сына России, горячо принимавшего к сердцу и в прошедших, и в настоящих судьбах ее все, что относится к ее славе, верно хранившего в душе своей святую веру и преданность Церкви, как драгоценнейший залог блага народного.

Приняв от него всегда памятные Мне уроки и наставления в истории нашего отечества, Я не могу быть равнодушным к вашему горю и вменяю Себе в сердечный долг выразить вам Свое искреннее и глубокое сочувствие.

Цесаревич АЛЕКСАНДР

В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ

С. М. СОЛОВЬЕВ. НЕКРОЛОГ**

4 ноября скончался после быстро развившейся болезни С. М. Соловьев, бывший профессор Московского университета и автор «Истории России с древнейших времен».

В истории науки и общественного сознания покойный был бы очень крупным явлением даже там, где умственные и нравственные силы не так разбиты, как в нашем обществе.

Биография и историческая критика спокойно и на досуге опишут его жизнь и характер, изобразят ход и значение его учено-литературной деятельности, его образ мыслей и убеждения, его взгляд на исторические судьбы России. Под неостывшим еще впечатлением тяжелой утраты попытаемся припомнить хотя только наружные, самые поверхностные черты его как ученого.

Соловьев рано стал и до конца жизни оставался ученым. Он умер, не дожив до конца своего 60-го года; но имя его уже 34 года известно в русской ученой литературе. Его деятельность в эти 34 года была разделена между архивами, университетской аудиторией и письменным столом его кабинета. Он удивительно много и правильно работал и на успехи русской исторической науки имел влияние, которое пока трудно еще оценить достаточно С 1845 года, когда появилось его первое исследование по русской истории, и до последней строки, им написанной незадолго до смерти, он работал в одном направлении, которое прямо или косвенно отразилось на ходе всей русской исторической литературы. В движении русской историографии это время можно смело обозначить именем

* Вестник Европы. 1879. Кн. 12. С. 917.

** Критическое обозрение. 1879. № 20. С. 37—40 // Настоящий некролог без подписи был также опубликован в след. изданиях: Православное обозрение. 1879. Т 3. № 10 и Юридический вестник. 1879. Т. 2 № 11

Соловьева живущие ныне писатели, вместе с ним наиболее поработавшие над историей своего Отечества, охотно согласятся с этим Вооружившись приемами и задачами, выработанными исторической наукой первой половины нашего века, он первый пересмотрел всю массу исторического материала, оставшегося от жизни русского народа с половины IX до последней четверти XVIII века, связав одной мыслью разорванные лоскуты исторических памятников, и вынес на свет всю наличность уцелевших фактов нашей истории.

Есть и будут десятки трудолюбивых исследователей русского прошедшего, которые останавливаются и будут останавливаться на том или другом факте дольше Соловьева, изучают и будут изучать то или другое явление подробнее, чем изучал он, но каждый из них, чтобы идти прямо и твердо в своей работе, должен начинать с того, чем кончил Соловьев свою речь о том же, и он, как маяк, еще долго будет служить первым указателем пути даже для тех, кто далеко разойдется с ним в своих последних выводах. В 1851 году вышел первый том его «Истории России», и с тех пор каждый год читатель получал новый том в урочное время с точностью, которой не могла победить даже предсмертная болезнь автора умирая, он сдал XXIX том в типографию почти законченным, перо выпало из руки недалеко от предположенного конца книги — описания казни Пугачева Никогда прежде в продолжение почти трех десятилетий в нашу историческую литературу не вливалось так последовательно, такой непрерывной струей столько свежих знаний. После продолжительного и трудного пути повествователь подходил уже к порогу нашего века, жизнь одного поколения отделяла его от времени наших отцов, когда оборвалась нить его повести и его жизни Он напоминает своей деятельностью нашего древнего колонизатора, который, отыскав протоптанную тропу по опушке дремучего леса, первый отважился продолжить ее в не пройденную никем глубь и упал, когда уже стал показываться просвет с другой стороны чащи

Сам историк очень спокойно смотрел на значение труда, которому он отдал 30 лучших лет своей жизни Задолго до смерти он высказывал уверенность, что в недалеком будущем напишут историю России лучше его; за собой он удерживал только заслугу первой тяжелой расчистки пути, первой обработки сырого материала. Но по многим причинам 29 томов его «Истории» не скоро последуют в могилу за своим автором. Даже при успешном ходе русской исторической критики в нашем ученом обороте надолго удержится значительный запас исторических фактов и положений в том самом виде, как их впервые обработал и высказал Соловьев: исследователи долго будут их черпать прямо из его книги, прежде чем успеют проверить их сами по первым источникам. Еще важнее то, что Соловьев вместе с огромным количеством прочно поставленных фактов внес в нашу историческую литературу очень мало ученых предположений. Трезвый взгляд редко позволял ему переступать рубеж, за которым начинается широкое поле гаданий, столь удобное для игры ученого воображения. При недостатке твердых оснований Соловьев скорее готов был обойти вопрос, подвергаясь упрекам критики, чем решить его какой-либо остроумной догадкой, которая поселила бы самодовольную уверенность, что вопрос покончен, или легла бы лишним камнем на пути для других исследователей. Вот почему от такой продолжительной и быстрой работы над неопрятным, неочищенным материалом у Соловьева осталось так мало ученого сора. Найдут разные недостатки в его огромном труде, но нельзя упрекнуть его в одном, от которого всего труднее освободиться историку: никто меньше Соловьева не злоупотреблял доверием читателя во имя авторитета знатока.

Это был ученый со строгой, хорошо воспитанной мыслью Черствой правды действительности он не смягчал в угоду патологическим наклонностям времени Навстречу фельетонным вкусам читателя он выходил с живым, но серьезным, подчас жестким рассказом, в котором сухой, хорошо обдуманный факт не приносился в жертву хорошо рассказанному анекдоту Это создало ему известность сухого историка Как относился он к публике, для которой писал, так же точно относился он и к народу, историю которого писал Русский до мозга костей, он никогда не закрывал глаз, чтобы не видеть темных сторон в прошедшем и настоя-

щем русского народа. Живее многих и многих патриотов чувствовал он великие силы родного народа, крепче многих верил в его будущее; но он не творил из него кумира Как нельзя больше был он чужд того грубого пренебрежения к народу, какое часто скрывается под неумеренным и ненужным воспеванием его доблестей или под высокомерным и равнодушным снисхождением к его недостаткам Он слишком глубоко любил и уважал русский народ, чтобы льстить ему, и считал его слишком взрослым, чтобы под видом народной истории сказывать ему детские сказки о народном богатырстве.

Истории Соловьев не ронял до памфлета. Он умел рассматривать исторические явления данного места и времени независимо от временных и местных увлечений и пристрастий. Его научный исторический кругозор не ограничивался известными градусами географической широты и долготы. Изучая крупные и мелкие явления истории одного народа, он не терял из вида общих законов, правящих жизнью человечества, коренных оснований, на которых строятся людские общества. Мыслитель скрывался в нем за повествователем; его рассказ развивался на историко-философской основе, без которой история становится забавой праздного любопытства. Оттого исторические явления стоят у него на своих местах, освещены естественным, а не искусственным светом; оттого в его рассказе есть внутренняя гармония, историческая логика, заставляющая забывать о внешней беллетристической стройности изложения.

Широта исторического взгляда была отражением широты его исторического образования. В области русской истории трудно быть специалистом более Соловьева. Не много будет после него ученых, которым удастся так последовательно и полно изучить источники нашей истории. Но Соловьев не закапывался в свою специальность. В этом отношении он — поучительный образец, особенно для занимающихся отечественной историей, между которыми часто проявляется наклонность уединяться в своей цеховой келье. Первый мастер своего дела, Соловьев хранил в себе хорошие свойства ученых старого времени, когда научные специальности еще не расходились между собою так далеко, как разошлись они теперь. Образцовые произведения исторической и политической литературы Европы со времени Геродота и до наших дней он изучал в подлинниках и знал превосходно. Библейские книги были ему знакомы, как древние русские летописи. Знатоки поражались внимательностью, с какой он следил за текущей иностранной литературой по истории, географии, этнографии и другим смежным отраслям знания; для них остается неразрешимой загадкой, где находил время для этого человек, с такой педантической точностью исполнявший свои служебные обязанности, постоянно писавший в периодических изданиях и ежегодно издававший новый том «Истории России». В минуты отдыха он особенно охотно говорил о какой-нибудь замечательной литературной новости, иностранной или русской, часто очень далекой от предмета его текущих специальных занятий. Феноменально счастливая память помогала этой безустанной работе. Казалось, эта память не умела забывать, как мысль, которой она служила, не умела уставать Наблюдатель, изучив свойства его таланта, образ его мыслей, круг его интересов, наконец с недоумением останавливался перед самым устройством его ума· оно поражало его, как редкий ученый механизм, способный работать одинаково спокойно и правильно бесконечное число часов, перерабатывая самый разнообразный материал. Он знал тайну искусства удвоять время и восстановлять силы простой переменой занятий. Ни годы, ни житейские тревоги, ни физический недуг не могли ослабить живости его умственных интересов. Прошедшим летом, прикованный болезнью к креслу, он не мог оторваться от только что изданной переписки Погодина со славянскими учеными и знакомым, пришедшим навестить больного и напрасно усиливавшимся сдержать его участие в разговоре, передавал свои воспоминания о Шафарике и народно-литературном движении среди чехов 40-х годов с живостью недавнего впечатления, хотя прошло уже 37 лет с тех пор, как он был в Праге. Вслед за тем показал он только что полученный выпуск географического труда Реклю, где помещен рисунок старинного деревянного храма в Норвегии, близко напоминающего своей архитектурой московский храм Василия Блаженного, готов был без конца рассуждать о происхождении

и значении этого сходства Недели за три до смерти голосом, которого уже не хватало на окончания слов, он еще спрашивал посетителя не вышло ли чего новенького по нашей части? Интерес знания еще живо горел, когда гасла физическая жизнь.

Эта энергия умственных интересов поддерживалась единственно нравственной бодростью и не знала тех искусственных возбуждений, которые приходят со стороны на помощь писателю. Соловьев никогда не заблуждался насчет количества читателей своей книги, он даже преувеличивал равнодушие к ней публики Говоря об увеличивающемся спросе на книгу, о необходимости новых изданий разных ее томов, он объяснял это исключительно заглавием своего труда и размножением казенных и общественных библиотек, которым надобно же иметь на полках «Историю России с древнейших времен» Но он принадлежал к числу людей, готовых проповедовать в пустыне. Для Соловьева книга его была задачей жизни, а для таких людей задача жизни имеет значение иноческого обета.

Его нравственный характер очень поучителен. Готовый поступиться многим в своей теории родовых княжеских отношений на Руси ввиду достаточных оснований, Соловьев не допускал сделок в нравственных отношениях; осторожный в решении научных вопросов, он был решителен в вопросах нравственных, потому что основные правила, которыми он руководился при решении этих последних вопросов, имели в его сознании значение не теории, а простой математической аксиомы. Это был один из тех характеров, которые вырубаются из цельного камня, они долго стоят прямо и твердо и обыкновенно падают вдруг, подточенные не столько временем, сколько непогодой

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ СОЛОВЬЕВ*

(умер 4 октября 1879 г)

С. М. Соловьев родился 5 мая 1820 года в Москве. Отец его, протоиерей Михаил Васильевич, был законоучителем в Московском коммерческом училище Первоначальное образование Сергей Михайлович получил дома и только уже на 14-м году поступил в I Московскую гимназию прямо в третий класс. Окончив гимназический курс в 1838 году с отличным успехом (имя его осталось на золотой доске I гимназии), он перешел в Московский университет на первое отделение философского факультета, как тогда назывался историко-филологический факультет. Из гимназии он вынес основательное знание древних классических языков, и им посвящен был первый литературный опыт, явившийся в печати с именем Соловьева: это была произнесенная им на гимназическом акте при выпуске речь «О значении древних классических языков при изучении языка отечественного». Изучение древних языков продолжалось и в университете, где в то время сильно действовал на умы слушателей своими блестящими и полными новизны лекциями о древней истории профессор римской словесности Д. Л Крюков. По рассказу самого Соловьева, Крюков даже предлагал ему специально готовиться под его руководством к занятию кафедры римской словесности Но Соловьев уже решил выбор ученой специальности, посвятив себя изучению истории, преимущественно отечественной В это же время, когда Соловьев был на втором курсе (1839), начал свою столь памятную в истории Московского университета ученую деятельность только что вернувшийся из-за границы преподаватель всеобщей истории Т. Н. Грановский Вместе со многими товарищами Соловьев подчинился обаятельному действию сильного таланта, впоследствии исторические занятия сблизили его с Грановским, Соловьев стал потом его

* Речи и отчет, читанные в торжественном собрании имп Московского университета 12 января 1880 г М., 1980 С 51—73

ближайшим товарищем и до конца его жизни остался связан с ним самой тесной дружбой

В студенческие годы Соловьева русскую историю преподавал в Московском университете известный М П. Погодин. Тогда уже близилась к концу его профессорская деятельность, прекратившаяся неожиданно для него самого в 1844 году, когда он по некоторым причинам покинул службу в университете в надежде вернуться туда года через два — и уже не возвращался. Погодин заметил даровитого студента, прилежно и с успехом занимавшегося изучением отечественной истории. Задумав оставить университет на время, Погодин года за два до своей отставки, предуведомляя совет об этом намерении, указал ему в числе других кандидатов для замещения своей кафедры (Григорьева и Бычкова) и на студента Соловьева, бывшего тогда на последнем курсе.

Тотчас по окончании университетского курса новому кандидату 1-го отделения философского факультета представился случай побывать за границей и там довершить свое историческое образование. Он отправился туда с семейством графа А. Г. Строганова, которому рекомендовал молодого кандидата тогдашний попечитель Московского учебного округа граф С. Г. Строганов. Соловьев пробыл за границей два года (1842—1844). Проездом он посещал Берлинский университет, бывал, между прочим, в аудитории Неандера; в Праге познакомился и много беседовал об истории славянства и России с Шафариком и другими чешскими учеными. Но главным местом его заграничных занятий был Париж Здесь он много читал и много слушал, посещая усердно лекции Ампера, Кинэ, Ленормана, Мишле, Рауль-Рошетта, Ж. Симона, Ф. Шаля, также Фр Араго и Мицкевича К изучению истории России он старался подготовить себя основательным знакомством с историей всеобщей, особенно с теми ее явлениями, которые имеют прямую или косвенную связь с фактами нашего прошедшего Впрочем, и на чужой стороне не прекращались занятия отечественной историей в Париже Соловьев если не писал, то обдумал и подготовил свою магистерскую диссертацию, которую представил факультету вскоре по возвращении в Москву, в начале 1845 года выдержав перед тем экзамен на степень магистра русской истории

Возвратившись из-за границы, Соловьев чрезвычайно быстро прошел ряд испытаний, обязательных для ученого, ищущего профессуры, хотя эти испытания в то время были несравненно сложнее и труднее, чем стали теперь. так, публичной защите диссертации в то время предшествовал диспут в закрытом заседании факультета, чем приобреталось право и на словесный экзамен, и на публичную защиту диссертации Выдержав магистерский экзамен в начале 1845 года, он дважды напечатал и в октябре того же года защитил магистерскую диссертацию «Об отношениях Новгорода к великим князьям». Через год факультету была уже представлена им докторская диссертация «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома» — объемистая книга в 700 страниц. Такая скорость тем удивительнее, что она не отразилась заметно на качестве учебной работы и что, в то время как писалась эта книга, автору ее пришлось работать над другим делом, самым трудным в ученой жизни профессора — в июле 1845 года по предложению попечителя он был избран в преподаватели русской истории в Московском университете, читать свой первый курс в университете, — а после защиты магистерской диссертации утвержден был на кафедре русской истории, впрочем, только в звании исправляющего должность адъюнкта, хотя уже имел степень магистра. Определение совета Московского университета, дозволявшее печатать представленную Соловьевым на степень доктора диссертацию, состоялось 18 декабря 1846 года, в июне следующего года диссертация была защищена, а в промежутке 27-летний магистр русской истории успел сдать экзамен на степень доктора исторических наук, политической экономии и статистики — экзамен, на котором ему предложено было 11 вопросов из этих наук, а также из древней и новой географии В три года со времени возвращения из-за границы — два экзамена и две диссертации с четырьмя диспутами, не считая первого курса русской истории, читанного студентам в 1845/46 академическом году, не считая и ряда статей, написанных в то же время русские ученые редко поднимались по

лестнице ученых степеней так быстро и с таким успехом. Уже в те годы Соловьев в совершенстве обладал тем умением беречь время, которое дало ему возможность сделать так много впоследствии.

Обе диссертации создали автору громкую известность не только в тесном кругу ученых, но и во всем читающем обществе. Первое его исследование, выпущенное в свет в ограниченном количестве экземпляров, разошлось так быстро и так настойчиво спрашивалось публикой, что в 1846 году автор принужден был с некоторыми пополнениями перепечатать его в «Чтениях Общества истории и древностей российских». По свидетельству одного тогдашнего московского литератора-наблюдателя, первую диссертацию Соловьева «все литературные партии встретили самым решительным одобрением без различия мнений». Вторую диссертацию встретили с таким же, если не с большим сочувствием, которое сказалось и на диспуте (9 июня 1847 г.), и в печати. «Диспут блестящий!» — так начал упомянутый наблюдатель свой отчет о нем. «Несмотря на летнее время, — продолжает он, — когда Москва пустеет, большая университетская аудитория была полна; кроме профессоров и студентов было много лиц сторонних; некоторые посетители и посетительницы не задумались для ученого торжества приехать с дач; публика живо заинтересовалась и следила с участием за диалектикой и доводами говоривших», а говорили, возражая Соловьеву, Грановский, Бодянский, Кавелин и студент Клеванов. Незадолго до диспута ученый из другого литературного лагеря, враждебного тому, к которому примкнул Соловьев, известный И. Д. Беляев в «Московском городском листке» поместил о его книге небольшую, но бойкую статейку, подобные которой ему редко удавалось писать потом: здесь рецензент называл труд Соловьева «книгой, по своему превосходному содержанию долженствующей быть настольною у каждого занимающегося русскою историей», книгой, которую «можно прочесть с удовольствием десять раз и больше»; строгая логическая последовательность в выводах, по признанию критика, царит над всем сочинением; выводы и факты являются в книге чем-то неразрывным, родным друг другу; иногда даже дивишься, прибавляет Беляев, отчего прежние историки не замечали того, что так естественно и просто открыл Соловьев.

Успех обеих диссертаций, не устаревших и доселе, объясняется не одним талантом автора, но и его серьезной подготовкой: в этих первых ученых опытах своих начинавший историк выступил уже с обдуманными историческими понятиями, с определенным взглядом на задачи и приемы исторического изучения. Этот взгляд определился с помощью раннего и близкого знакомства Соловьева с современным состоянием исторической науки на Западе; знакомство это началось еще на студенческой скамье в Москве, и потом ему преимущественно посвящены были двухлетние заграничные занятия. В «Москвитянине» в 1843 году напечатана была чрезвычайно живая, с юношеским одушевлением написанная статья о Парижском университете, под которой стоит пометка: «Прага Чешская, 23 июня 1843 г.». С большим увлечением, которое сообщается и читателю, передает здесь московский слушатель французских профессоров впечатления, накопившиеся в нем в продолжение академического года, когда он усердно посещал Сорбонну. Это ряд метких характеристик преподавателей, которых он слушал в Париже, с остроумными замечаниями о характере и манерах французского университетского преподавания. Мишле, например, выдержками из его лекций очерчен во весь рост с его отвращением к системе, с внешней беспорядочностью и болтливостью изложения и с блестящей, ловко заостренной и иногда очень меткой отдельной фразой. Но Соловьев не увлекался восторженной импровизацией французских профессоров; отдавая должное внешним качествам их преподавания, он хорошо видит его внутренние недостатки, превращающие университетскую лекцию в публичную ораторскую речь. Очевидно, не под влиянием этих более ораторских, чем ученых, чтений складывался взгляд Соловьева на задачи и приемы научного исторического исследования. Притом курсы, слушанные им в Париже, по крайней мере те, о которых он отдает отчет в своей пражской статье, и по содержанию своему были слишком далеки от того порядка исторических явлений, на котором он потом останавливал преимущественное внимание в своих

исследованиях, а в краткой автобиографической статье, составленной им для «Словаря профессоров Московского университета» (1855), он сам заметил, что за границей «он продолжал исторические занятия, разрабатывая преимущественно те предметы, которые имели ближайшее отношение к его главному предмету — отечественной истории». В Париже он слушал в 1842—1843 годы чтения С.-Марка Жирардэна о французской драме, Ф. Шаля — по истории немецкой литературы, Кинэ — по истории древней немецкой, итальянской и испанской литературы, Ампера — о французской литературе XVII века, Россье С.-Илера — о состоянии Италии до основания Рима, филолога Патэна — о комедиях Теренция, Ж. Симона — о философии, Ленормана, преемника Гизо по кафедре новой истории, — о Евангелии и христианстве, наконец, Мишле, курс которого, называвшийся философией истории, по-видимому, мало соответствовал своему названию. Разнообразие этих курсов свидетельствует о широкой любознательности молодого кандидата, посвятившего себя изучению отечественной истории, но его исторические взгляды вырабатывались больше путем обширного чтения, чем под влиянием заграничной университетской кафедры. В то время изучена была Соловьевым большая часть важнейших произведений западноевропейской исторической литературы, многочисленные выписки из которых он хранил в своих бумагах. Из всех представителей европейской историографии XIX века никого не ставил он так высоко, как Гизо, а из исторических произведений прошлого столетия великое научное значение придавал он философии истории Вико (Scienza nuova). Эти имена бросают некоторый свет на источник и характер общих исторических воззрений, которые легли в основание трудов Соловьева по русской истории.

С начала нынешнего века европейская историческая литература стала заметно принимать иное направление, какое лишь изредка появлялось в ней прежде отдельными робкими попытками без взаимной связи и последовательного развития. Философски, a priori построенные схемы в истории стали терять прежнюю цену, как еще раньше потеряли ее разные историко-дидактические построения судеб человечества. Исторический опыт, тяжелые и быстрые перемены, часто совершенно непредвиденные, какие были испытаны европейскими обществами с конца прошедшего столетия, привели к мысли, что в истории помимо той пищи, какую она доставляет философскому и эстетическому созерцанию, есть еще сторона, более важная для изучения и более нужная для практических потребностей настоящего и будущего, — это природа и действие сил и условий, участвующих в построении человеческих обществ. Историческая мысль стала внимательнее всматриваться в то, что можно назвать механизмом человеческого общежития. В этом наблюдении она пошла двумя путями, направляемая различными впечатлениями, какие вынесены были из недавнего опыта. Этот опыт состоял из ряда потрясений, совершившихся и в политической жизни обществ и вызванных борьбою и сменой разных государственных порядков, и, чтобы найти причины столь великих и неожиданных крушений, одни наблюдатели обратились к рассмотрению политической конструкции, кладки разных обществ и изучению процесса, каким они складывались. Но один и тот же политический порядок имел неодинаковую судьбу в разных местах, приводил к различным последствиям; порядок, по-видимому наиболее разумно проектированный и обещавший прочно обеспечить человеческое благополучие, на иной почве не принимался, портился, разрушал спокойствие и благосостояние целого общества и уступал место другому, казавшемуся худшим, как будто в деле политических учреждений кладка, технически лучшая, может быть негодной на иной исторической почве. И потому другие наблюдатели сосредоточивали свое внимание на свойствах этой почвы и того материала, который из нее извлекался для построения общества. Так задача исторического исследования раздвоилась: для одних предметом его сделались преимущественно генезис и развитие политических форм и социальных отношений, политика и право, для других — рост национальных преданий и обычаев, дух и быт народа. Это раздвоение по существу своему не давало повода к антагонизму обоих направлений в исторической науке: оно, собственно, было не более как простым разделением труда в работе над одним и тем же предметом; однако ж это

разделение иногда принималось за различие самых воззрений, принципов и вызывало борьбу

Соловьев присоединился к первой из этих школ, если можно так назвать указанные направления, господствовавшие в исторической литературе Преемство политических форм, происхождение и развитие сословного расчленения общества и т п — таковы были предметы, на которых он прежде и больше всего сосредоточил свое внимание, как только принялся за самостоятельную обработку отечественной истории по окончании приготовительных занятий С таким взглядом на задачи исторического изучения возвратился он в 1844 году из-за границы, и присутствие программы, построенной на таком взгляде, заметно уже в содержании первого университетского курса, читанного им в 1845/46 академическом году В подробном «Отчете о состоянии и действиях Московского университета» за этот год читаем, что исправляющий должность адъюнкта магистр Соловьев преподавал по собственным запискам русскую историю студентам 3-го курса 1-го отделения философского факультета и 2-го курса юридического по 4 часа в неделю, предполагая довести свой курс до новейших времен «Преподаватель особенно обращает внимание своих слушателей на родовой быт, господствовавший в древней Руси, и постепенный переход его в быт государственный, равно обращает особенное внимание на отношение между Русью Московской и Русью Литовской и на *историю сословий*» Сверх того, студентам 4-го курса философского факультета он преподавал по 2 часа в неделю *специальный курс*, предметом которого была «история междуцарствия» В отчетах ближайших следующих лет находим указания только на содержание этих специальных курсов в 1846—1847 годах читана была история царствования трех первых государей из дома Романовых, в 1847—1848 годах — история Петра Великого и т д Но уже из отчета за первый год преподавательской деятельности Соловьева достаточно видны содержание и характер его другого курса, который студенты слушали прежде специального это был общий обзор истории России, столь памятный всем его слушавшим, который останавливался там, откуда профессор в следующем году предполагал вести более подробное его продолжение Так уже в первые годы Соловьев установил тот порядок преподавания, которого он долго держался потом начав специальное изложение с эпохи, на которой прервалась «История Государства Российского» Карамзина, Соловьев с каждым годом понемногу подвигался все дальше вперед, но студент специально знакомился с доставшейся ему эпохой, уже подготовленный к тому общим курсом русской истории с древнейших времен Содержанием этого курса была именно смена политических форм с объяснением исторических обстоятельств, при которых одна из них зарождалась, падала и переходила в другую, и с указанием перемен, какие при господстве той или другой из них происходили в составе общества и во взаимных отношениях его частей С течением времени фактические подробности в этом курсе сглаживались все более, так что он превратился наконец в непрерывную цепь обобщений, в историко-философскую формулу политического и социального развития России

Тот же самый взгляд на задачи исторического изучения проходит и по обеим диссертациям Соловьева, и последовательное проведение в них этого взгляда было главной причиной сильного впечатления, какое они произвели на читающее общество Такое генетическое изучение форм и отношений государственного и общественного быта России было тогда если не совершенной новостью в нашей историографии, то во всяком случае явлением, к которому еще не привыкли, которому предшествовали слабые попытки в этом роде А в обеих первых книгах Соловьева, даже в их заглавиях, как в устном изложении с университетской кафедры, так потом в «Истории России», на первом плане именно *отношения* В диссертации об отношениях Новгорода к князьям сделана попытка объяснить социальное происхождение и первоначальное устройство русского города древнейшего времени, здесь же впервые высказана была мысль, которой потом историк дал такую важную роль в ходе политической истории России, — мысль о политическом значении новых городов, возникших в Северной Руси XII века, среди которых сложилось понятие об отдельной княжеской собственности, об *уделе*, сменившее прежний порядок владельческих отношений между князьями,

основанный на понятии об общности, нераздельности владения Задачей исследования было изучение «характера новгородского народовластия», решение вопроса «Был ли Новгород республикой, в которой развивался особый быт, не имевший ничего общего с бытом других городов русских, отделился ли он своим бытом при Ярославе I или отделился от новой Руси вместе со старой и потом, оставшись один представителем последней, не мог удержать старины и преклонился перед городами юными?»

Тот же взгляд во второй диссертации приложен к кругу явлений нашей политической истории, еще более широкому В нашей исторической литературе это был первый опыт, имевший целью вывести из одного начала и изобразить в виде непрерывного, последовательного процесса ряд форм политического быта, сменившихся в России с половины IX до конца XVI в Восстановляя этот процесс, Соловьев высказался решительно против искусственного деления нашей истории, против названий одного периода удельным, другого монгольским, дающих неверное понятие о характере времени или разрывающих естественную связь событий, «естественное развитие общества из самого себя» Книга об отношениях русских князей Рюрикова дома по основной своей мысли имеет тесную внутреннюю связь с исследованием о новгородских отношениях, развивает положения, намеченные в последнем В этой книге получил окончательную обработку факт, который обозначен был Соловьевым как главное содержание его первого университетского курса, — факт постепенного перехода родовых отношений, служивших первоначальным основанием порядка княжеского владения, в отношения государственные Посредствующим моментом, через который совершился этот переход от одного порядка к другому, служило понятие о княжестве как об отдельной собственности князя, понятие, происхождение которого объяснено было автором в исследовании о Новгороде и которое, на его взгляд, возникло из отношений, установившихся между новыми городами Северной Руси и князем Что вызвало государственные отношения, спрашивает исследователь, и что дало им торжество над родовыми? Ответом на этот вопрос служит такой ряд исторических соображений по распадении Ярославова княжеского рода на семьи, часто одна другой враждебные, семья северных князей не развивается в род, как это было на Юге, где обособлявшиеся княжеские семьи стремились опять развиться в роды с прежними родовыми отношениями, на Севере первоначальная княжеская семья отделившись от южных, в дальнейшем развитии своем распадается на такие же отдельные семьи, которые не смыкаются в родовое целое, между которыми не повторяются прежние родовые отношения, это потому, что нет условия, при котором только они и могли повториться, «нет более понятия об общности, нераздельности владения», отсюда «постоянное разделение и постоянная борьба между княжествами» что «дает сильнейшему возможность подчинить себе слабейшие, эта возможность основывается на понятии об отдельной собственности, которая исключала родовое единство, понятие же об отдельной собственности явилось на Севере вследствие преобладания там городов новых, которые, получив свое бытие от князя, были его собственностью» Таким образом, родовой быт, господствовавший в древней Руси, является началом, из которого последовательно развился ее политический порядок, и самый этот быт как исходная точка развития древнерусских политических форм исследован историком более в явлениях политического порядка, чем в явлениях гражданского общежития, в кругу частных гражданских понятий и отношений

Со времени возвращения своего из-за границы Соловьев удивительно много пишет в одно время с обеими диссертациями и вслед за ними составлен был им ряд значительных по объему статей не только по русской, но и по всеобщей истории В 1846 и 1847 годах, когда писалась и печаталась книга об отношениях князей, напечатаны были в разных периодических изданиях исследования о нравах и обычаях в древней Руси от времен Ярослава I до нашествия монголов, о состоянии духовенства в России до половины XIII в , о местничестве, о Мстиславе Храбром, о Данииле, князе Галицком, сверх того, изложена была русская летопись для первоначального чтения и составлены два очерка по всеобщей истории — «Рим» и «Варвары» В 1848 году приготовлены были к печати две

обширные статьи, из которых одна содержала в себе обзор событий русской истории от кончины царя Феодора Иоанновича до вступления на престол дома Романовых, другая — очерк истории Малороссии до подчинения ее царю Алексею Михайловичу Исследования, обзоры, очерки, критики и рецензии идут непрерывным рядом до 1851 года, продолжаются и далее, вливаясь потом из разных повременных изданий, подобно притокам большой реки, в «Историю России с древнейших времен». Следует также припомнить, что к 1850 году у Соловьева был уже готов на кафедре цельный общий курс древней русской истории и специально изложена была история XVII и начала XVIII веков

Такой усиленной ученой деятельностью приготовлялся Соловьев к труду, который стал главным делом его жизни и навсегда связал его имя с успехами русской исторической науки и русского общественного сознания. Важнейшие источники древней русской истории были уже им изучены, важнейшие ее явления обдуманы и приведены во взаимную связь, когда 30-летний историк, по достижении профессорского звания (в июле 1850 года утвержден был ординарным профессором), предпринял, как он сам замечает в своей упомянутой выше автобиографической записке, «труд написать полную отечественную историю с древнейших времен до настоящего» В августе 1851 года вышел первый том этой «Истории», и потом в продолжение 27 лет каждый следующий том с неизменной точностью являлся через год после предшествующего.

Появление этого капитального труда многими встречено было с некоторым недоверием многим еще казалось слишком смелым писать историю России после Карамзина Но знаменитая книга Карамзина, прочитанная столь многими, воспитавшая в обществе нашем столь живой интерес к собственному прошедшему, была отражением умственного состояния этого общества, которое уже было отжито им до половины XIX века; она не отвечала на исторические вопросы, которые успели выступить в нашем общественном сознании со смерти знаменитого историографа, не отвечала требованиям, с какими стали обращаться к историографии. Около половины нашего века в истории искали уже не одних «удовольствий для сердца и разума», не пищи для воображения, не «созерцания многообразных случаев и характеров, которые занимают ум или питают чувствительность», но искали и других, более сухих и прозаических указаний. Присутствие этой потребности в нашей литературе за много лет до выхода первого тома «Истории России» Соловьева, между прочим, доказывается появлением исторического труда, отличающегося мыслью и талантом, но составленного слишком торопливо и без достаточной подготовки,— «Истории русского народа» Полевого.

Пока историческая критика разберется в огромном труде Соловьева и оценит его научные результаты, обновим еще раз в памяти то, что было нами в нем читано в продолжение столь многих лет, те основные мысли, в которых выразился взгляд историка на ход нашей истории и которые надолго останутся точкой отправления и опоры для дальнейшего изучения русского прошедшего. Этот взгляд, обнимая собою девять веков жизни русского народа, проходит чрез длинный ряд томов «Истории» цельной связующей их нитью, которая, о чем никогда не перестанет жалеть русская историческая наука, прерывается на последней четверти прошлого столетия, оставляя нас без последнего слова, без окончательного суждения историка, которое не только осветило бы смысл и значение этого века в нашей истории, но и бросило бы луч исторического света на времена, еще более к нам близкие.

Когда Соловьев начинал писать первый том своей «Истории России», процесс русской исторической жизни, как он понимал его, уже представлялся ему вполне ясно, и оставалось только изложить его подробности Взгляд на этот процесс определился и установился в первых трудах историка, который остался верен ему и впоследствии В предисловии к первому тому этот взгляд тот же, каким находим его и 13 лет спустя, когда повествователь, дошедши до конца XVII века, на минуту остановился, чтобы оглянуться на оставшееся позади его время. Согласно с задачей исторического изучения, рано им усвоенной, он поставил главной целью своего труда воспроизвести последовательный рост политической и социальной жизни России «Не делить, не дробить русскую историю на отдельные части,

периоды, но соединять их, следить преимущественно за связью явлений, за непосредственным преемством форм, не разделять начал, но рассматривать их во взаимодействии, стараться объяснять каждое явление из внутренних причин — вот обязанность историка в настоящее время, как понимает ее автор предлагаемого труда». Преемство именно политических и общественных форм, в какие облекалась жизнь русского народа, несколько раз изложено было историком и в главном труде, и в отдельных опытах. Так, в одной статье 1857 года это преемство изображено кратко, в виде схемы, отмечающей только самые крупные явления, главные моменты исторического процесса.

На нашей равнине до Рюрика живет несколько редко разбросанных народцев, славянских и финских. Они живут особыми, замкнутыми, самостоятельными родами. В некоторых племенах на Севере эти роды были приведены к единству под одну общую власть сначала силою, были покорены пришлыми варягами. По изгнании последних родовая особенность высказалась в усобицах, «встал род на род». Тогда обращаются к недавно испытанному средству — уже добровольно призывают общую власть. Пользуясь соединенными силами призвавших племен, князья подчиняют себе все остальные. Вместо племен по соединении их являются волости, каждая со своим князем, но эти князья все — члены одного нераздельного рода, и эта нераздельность поддерживает единство земли во время государственного младенчества. Потом волости соединяются в государство, их князья исчезают, является единовластие. По окончании медленного вследствие громадности страны процесса государственного объединения Русское государство получает возможность войти в систему европейских государств с сильным влиянием.

В «Истории России» эта историческая формула раскрывается в таких приблизительно чертах.

Некогда какой-то враг вытеснил славян, именно наших предков, с Дуная, погнав их на девственный северо-восток, из лучшей страны в худшую. Так история-мачеха заставляла их населить страну, где природа является мачехою для человека, тогда как немцы шли в обратном направлении, на юго-запад, из худших стран в лучшие, в области Римской империи, где природа для человека — мать и где притом была уже цивилизация. В этом причина различия всей истории этих двух племен — братьев по происхождению. Наши славяне со своими родами, с их князьками разбросались, затерялись на великой Русской равнине, в поселках по Днестру, Днепру, Оке и т. д. Их городки — огороженные села. Из соседней степи налетят кочевники — городки падали, и степной хищник запрягал славянских женщин в свою телегу. Промчится буря, и все тихо по-прежнему; от хищников остается одна пословица: «Изгибоша аки обри»; силы не возбуждаются постоянным присутствием врага, как у германцев в соседстве с римлянами. Но и для наших славян пробил час исторической жизни. На Днепре показываются лодки: плывет из Новгорода русский князь с дружиной. «Платите нам дань», — говорят они в каждом встречном селении. Дело не новое: несут меха, чтобы сбыть гостей поскорее. Но гости не уходят, усаживаются в Киеве, рубят городки, ходят по рекам и речкам за данью. Люди уходят из сел, покидая своих родовых князьков, селятся около городков, где есть льгота и защита, можно много заработать, уходят с князем в поход на Царьград, вступают в дружину, где жить хорошо: от всех почет и всего вволю. Племенное деление исчезает: население делится на сословия — на княжих *мужей*, полных людей, и на полулюдей, *мужиков*; последние — на городских промышленников и на сельчан; земля делится не на племенные области, а на княжения, называющиеся по именам главных городов, правительственных средоточий.

Так изменился быт населения под влиянием правительственного начала, но и последнее подпало влиянию туземного быта. В населении равнины господствовал родовой быт: по смерти Ярослава до конца XII в. и между князьями действуют родовые отношения; на них основан порядок владения землей, которую князья считают нераздельным достоянием всего своего рода; отсюда сильное, непрерывное движение, передвижка князей из волости в волость по старшинству, борьба, споры, усобицы Но эта беспорядочная беготня князей по волостям не давала последним обособляться, волею-неволею вовлекала их в общую жизнь, создавала

общие всем им интересы, укореняла в них сознание своей взаимности, нераздельности всей земли и, таким образом, положила прочное основание государственному и народному единству. Отдельные племена с призванием князей приведены были в связь, преимущественно внешнюю, благодаря родовым княжеским отношениям со смерти Ярослава является впервые русский народ. Теми же отношениями определился и склад общества. Увлеченная вихрем княжеского движения дружина не приобрела самостоятельного положения ни в качестве оседлых землевладельцев по областям, как феодальное дворянство на Западе, ни в качестве наследственных областных правителей, как польское вельможество; оставаясь бродячим военным братством с правом служить какому захочет князю, она не привыкла действовать дружно; каждый руководился личными, а не сословными интересами. Но при подвижности князей и их дружин получают значение главные города областей со своими вечами; они — сила постоянная — пользуются ослаблением князей от усобиц; область смотрит, что скажут, как решат на вече в ее старшем городе, и привыкает руководиться этим решением. Так подле власти князя является власть городского веча, но та же подвижность князей мешала точно определить отношения обеих властей друг к другу. Бродячие князья, не думающие ни о чем прочном, постоянном, бродячие дружины; городские веча с первоначальными формами народных собраний без всяких определений, без крепких форм, способных упрочить местное самоуправление; и, наконец, высшее духовенство во главе с митрополитом-греком, чужим человеком, без языка перед народом и влияния — таковы созданные или поддержанные родовыми княжескими отношениями элементы русского общества XI и XII веков.

Как же вышло это общество из такого жидкого, колеблющегося состояния?

Пользуясь неурядицей, кочевники стали одолевать Русь в своем напоре из степи. Это заставило часть жителей юго-западной Украйны выселиться в страны более спокойные, дальше на северо-восток, в область Верхней Волги. Но здесь уже хозяйничает князь; поселенцы садятся на его земле, в его городах, получают от него льготы, всем ему обязаны, от него во всем зависят. Из этой зависимости развивается здесь сильная княжеская власть, какой не было на юго-западе, и вместе с ней — оседлость князя, привязанность к своему княжеству, а отсюда — понятие о *моем*, о княжестве как собственности князя. Так на Севере со времени Андрея Боголюбского являются основания нового политического порядка. Понятие об отдельной собственности развивает в князьях стремление увеличить свое княжество на счет других, прекращается передвижка князей из волости в волость, родовые отношения рушатся; происшедшее отсюда разъединение князей помогает одному из них, сильнейшему, подчинить других. Таким является князь Московский: он присоединяет к своим владениям чужие и низводит своих ближайших родственников, удельных князей, в положение подданных, отнимая у них одно право за другим. Так совершается переход родовых отношений между князьями в государственные: Русская земля на севере собирается, и образуется Московское государство.

Но эти политические успехи достигнуты были не без больших национальных и нравственных потерь. Юго-Западная Русь, обессиленная с отливом исторической жизни на северо-восток, вконец разоренная татарами, отделяется от Северо-Восточной, подчиняется Литве, а через нее Польше и долго тратит свои силы в бесплодной для своего народного развития борьбе за народность. С другой стороны, русский человек, одинокий, заброшенный в мир варваров, затерянный в северо-восточных пустынях, забытый своими и забывший о своих по отдаленности, вышел из общения с европейско-христианскими народами, в каком находился, живя на юго-западе, и целые века двигался все далее в пустыни востока, живя в отчуждении от западных собратий Отсюда слабость материального, общественного и духовного развития. Общественные силы растут туго. Двор московского князя в XIV и XV веках наполняется знатными пришельцами с разных сторон. Но это боярство живет еще преданиями отжившей старины, привычками вольных дружин XII века, держится за свое право перехода, когда переходить стало уже не к кому Запоздалые притязания ведут к борьбе, которая при Грозном принимает кровавый характер и кончается не в пользу знати. И город на

севере не удерживает прежнего значения Ростов Великий падает, побежденный новыми княжескими городами, тотчас по смерти Андрея Боголюбского и не поднимается более. Падает потом и Новгород Великий, вследствие прилива богатств неестественно вздувшийся в государство, но представлявший собою библейскую статую с золотою головой и глиняными ногами. низшие слои общества были против своекорыстной знати немногих правивших делами города фамилий и помогли их гибели. При неразвитости торговли и промышленности в земледельческом государстве города его бедны и слабы, в них не прививается даже самоуправление, какое пытался дать им Грозный. При слабости других сил одна великокняжеская власть развивается на просторе; при разбросанности населения, недостатке сознания общих интересов раздробленные части общества стягиваются сильною правительственною централизацией, как разбитый член стягивается хирургической повязкой. Новые тяжести, вызванные внешним положением объединившегося государства, постоянною борьбой на востоке, юге и западе, мешают подняться общественным силам. Сословия закрепляются: служилое — обязательною военною службой, городское и сельское — тяглом; для обеспечения дохода казны и служилого помещика горожане прикрепляются к городам, крестьяне — к земле. Те и другие бегут от закрепления, куда можно, более всего на Дон, в степь, в казаки. Когда государство начинает сжимать вольное казачество, последнее опрокидывается на государство; в начале XVII века, по пресечении старой династии, оно вмешивается в Смуту, начатую людьми, питавшими старинные притязания, и потрясшую государство в самом основании; неоднократно поднималось и потом, в XVII и XVIII веках. Но государство устояло. При первых трех царях новой династии оно готовится вступить в общую жизнь с Западною Европой, занять место среди европейских держав. Начинаются важнейшие преобразования, под влиянием которых воспитывается Петр; он доканчивает начатое, решает нерешенное. Усвоение европейской цивилизации, имевшее при Петре материальные цели, во второй половине XVIII века рождает потребность в духовном, нравственном просвещении.

Таков ряд мыслей, на основе которых развивался рассказ историка. Большая часть их была новостью, когда их впервые высказывал Соловьев, и стала теперь достоянием нашего общественного сознания.

В жизни ученого и писателя главные биографические факты — книги, важнейшие события — мысли. В истории нашей науки и литературы было немного жизней, столь же обильных фактами и событиями, как жизнь Соловьева. Поминать ее не перестанет наш университет, с которым она была связана в продолжение 40 лет. Соловьев был питомцем этого университета, 34 года преподавал в нем, 6 лет стоял во главе его как ректор, наконец, в его аудитории получил первую обработку главный труд жизни Соловьева. Еще в 1843 году в статье о Парижском университете он писал о заключении русским обществом «святого союза» с русским университетом «для дружного, братского прохождения своего великого поприща». «История России», ставшая крупным фактом в развитии нашего общественного сознания, служит новою связью, скрепляющею этот союз, и оба союзника не забудут последнего урока, какой сам собою вытекает из исторического процесса, изображенного Соловьевым. Обзор этого процесса он закончил словами: «Наконец, в наше время просвещение принесло необходимый плод: познание вообще привело к самопознанию», а самопознание, прибавил бы он, если бы довел свой рассказ до нашего времени, должно привести к *самодеятельности*.

С. М. СОЛОВЬЕВ КАК ПРЕПОДАВАТЕЛЬ*

Сегодня 16-я годовщина смерти С. М. Соловьева Многие ли из нас, здесь присутствующих, помнят его как преподавателя? По крайней мере далеко не все. Преподавание принадлежит к разряду деятельностей, силу которых чувствуют

* Издания Исторического общества при имп Московском университете М , 1896. С. 185—194.

только те, на кого обращены они, кто непосредственно испытывает на себе их действие; стороннему трудно растолковать и дать почувствовать впечатление от урока учителя или лекции профессора. В преподавательстве много индивидуального, личного, что трудно передать и еще труднее воспроизвести Писатель весь переходит в свою книгу, композитор — в свои ноты, и в них оба остаются вечно живыми. Раскройте книгу, разверните ноты, и, кто умеет читать то и другое, перед тем воскреснут их творцы. Учитель — что проповедник. можно слово в слово записать проповедь, даже урок; читатель прочтет записанное, но проповеди и урока не услышит.

Но и в преподавании даже очень много значит наблюдение, предание, даже подражание. Всегда ли знаем мы, преподаватели, свои средства, их сравнительную силу и то, как, где и когда ими пользоваться? В преподавательстве есть своя техника, и даже очень сложная. Понятное дело: преподавателю прежде всего нужно внимание класса или аудитории, а в классе и аудитории сидят существа, мысль которых не ходит, а летает и поддается только добровольно. В преподавании самое важное и трудное дело — заставить себя слушать, поймать эту непоседливую птицу — юношеское внимание. С удивлением вспоминаешь, как и чем умели возбуждать и задерживать это внимание иные преподаватели. П. М Леонтьев совсем не был мастер говорить. Живо помню его приподнятую над кафедрой правую с вилкообразно вытянутыми пальцами руку, которая постоянно надобилась в подмогу медленно двигавшемуся, усиленно искавшему слов, как будто усталому языку, точно она подпирала тяжелый воз, готовый скатиться под гору. Но бывало, напряженно следишь за развертывавшейся постепенно тканью его ясной, спокойной, неторопливой мысли, и вместе с ударом звонка предмет лекции, какое-нибудь римское учреждение, вырезывался в сознании скульптурной отчетливостью очертаний. Казалось, сам бы сейчас повторил всю эту лекцию о предмете, о котором за 40 минут до звонка не имел понятия. Известно, как тяжело слушать чтение написанной лекции. Но когда Ф. И. Буслаев вступал торопливым шагом на кафедру и, развернув сложенные, как складывают прошения, листы, исписанные крупными и кривыми строками, начинал читать своим громким, как бы нападающим голосом о скандинавской Эдде или какой-нибудь русской легенде, сопровождая чтение ударами о кафедру правой руки с зажатым в ней карандашом, битком набитая большая словесная, час назад только что вскочившая с холодных постелей где-нибудь на Козихе или Бронной (Буслаев читал рано по утрам первокурсникам трех факультетов), эта аудитория едва замечала, как пролетали 40 урочных минут. Не бесполезно знать, какими средствами достигаются такие преподавательские результаты и какими приемами, каким процессом складывается ученическое впечатление. В этом отношении воспоминание об учителе может пригодиться и тому, кто не был его учеником.

Я сел на студенческую скамью в Московском университете в пору не скажу упадка — об этом грешно и подумать, — а в пору кратковременного затишья исторического преподавания. Я не застал ни Грановского, ни Кудрявцева. Единственным преподавателем всеобщей истории был С. В. Ешевский. В. И. Герье находился еще за границей, и мне пришлось слушать его уже по окончании курса Ешевский был превосходный, строгий, но уже угасавший профессор; мы его и похоронили весной 1865 года при выходе нашего курса из университета. Он читал нам курсы по древней и средней истории с продолжительными перерывами по болезни, а последний год, когда стояла на очереди новая история, не читал совсем Мы его очень любили, немного побаивались и с глубокой скорбью шли за его гробом. Сколько помнится, Соловьев читал на третьем курсе общий обзор истории древней Руси, на четвертом — более подробный курс русской истории XVIII века. В 1863 году, когда я начал его слушать, это был цветущий 42-летний человек Не помню теперь, почему мне не пришлось послушать его ни разу до третьего курса; кажется, потому, что его лекции совпадали с лекциями Ф. И Буслаева или Г. А. Иванова, которых мы не пропускали На третьем курсе студент перестает блуждать по аудиториям с бездонным вниманием и вечно раскрытым ртом, вбирающим все, что ни попадется ему питательного по пути Он уже становится несколько разборчив во впечатлениях и знаниях, начинает пони-

мать удовольствие «свое суждение иметь» и даже покритиковать профессора По аудиториям, театрам, заседаниям ученых обществ он уже довольно набрался впечатлений, пружина восприимчивости от усиленного нажима несколько поослабла и погнулась, и, пользуясь этим, из-под нее все с большим напряжением выступает прижатая дотоле другая сила — потребность разобраться в воспринятом, задержать и усвоить набегающие впечатления, пропитать их собственным духом — словом, он начинает чувствовать себя хозяином своего я и в состоянии уже ухватить себя за свои собственные усы.

В момент этого перелома начали мы слушать Соловьева Обыкновенно мы уже смирно сидели по местам, когда торжественной, немного раскачивающейся походкой, с откинутым назад корпусом вступала в словесную внизу высокая и полная фигура в золотых очках, с необильными белокурыми волосами и крупными пухлыми чертами лица без бороды и усов, которые выросли после. С закрытыми глазами, немного раскачиваясь на кафедре взад и вперед, не спеша, низким регистром своего немного жирного баритона начинал он говорить свою лекцию и в продолжение 40 минут редко поднимал тон. Он именно *говорил*, а не *читал*, и говорил отрывисто, точно резал свою мысль тонкими удобоприемлемыми ломтиками, и его было легко записывать, так что я, по поручению курса составлявший его лекции, как борзописец, мог записывать его чтения слово в слово без всяких стенографических приспособлений Сначала нас смущали эти вечно закрытые глаза на кафедре, и мы даже не верили своему наблюдению, подозревая в этих опущенных ресницах только особую манеру смотреть; но много после на мой вопрос об этом он признался, что действительно никогда не видел студента в своей аудитории

При отрывистом произношении речь Соловьева не была отрывиста по своему складу, текла ровно и плавно, пространными периодами с придаточными предложениями, обильными эпитетами и пояснительными синонимами В ней не было фраз: казалось, лектор говорил первыми словами, ему попадавшимися. Но нельзя сказать, чтобы он говорил совсем просто: в его импровизации постоянно слышалась ораторская струнка; тон речи всегда был несколько приподнят Эта речь не имела металлического, стального блеска, отличавшего, например, изложение Гизо, которого Соловьев глубоко почитал как профессора. Чтение Соловьева не трогало и не пленяло, не било ни на чувства, ни на воображение, но оно заставляло размышлять. С кафедры слышался не профессор, читающий в аудитории, а ученый, размышляющий вслух в своем кабинете. Вслушиваясь в это, как бы сказать, говорящее размышление, мы старались ухватиться за нить развиваемых перед нами мыслей и не замечали слов. Я бы назвал такое изложение прозрачным. Оттого, вероятно, и слушалось так легко: лекция Соловьева далеко не была для нас развлечением, но мы выходили из его аудитории без чувства утомления.

Легкое дело — тяжело писать и говорить, но легко писать и говорить — тяжелое дело, у кого это не делается как-то само собой, как бы физиологически Слово — что походка иной ступает всей своей ступней, а шаги его едва слышны, другой крадется на цыпочках, а под ним пол дрожит У Соловьева легкость речи происходила от ясности мысли, умевшей находить себе подходящее выражение в слове. Гармония мысли и слова — это очень важный и даже нередко роковой вопрос для нашего брата-преподавателя. Мы иногда портим свое дело нежеланием подумать, как надо сказать в данном случае, корень многих тяжких неудач наших — в неуменье высказать свою мысль, одеть ее как следует Иногда бедненькую и худенькую мысль мы облечем в такую пышную форму, что она путается и теряется в ненужных складках собственной оболочки и до нее трудно добраться, а иногда здоровую, свежую мысль выразим так, что она вянет и блекнет в нашем выражении, как цветок, попавший под тяжелую жесткую подошву Во всем, где слово служит посредником между людьми, а в преподавании особенно, неудобно как переговорить, так и недоговорить. У Соловьева слово было всегда по росту мысли, потому что в выражении своих мыслей он следовал поговорке сорок раз примерь и один раз отрежь Голос, тон и склад речи, манера чтения — вся совокупность его преподавательских средств и приемов давала понять, что все,

что говорилось, было тщательно и давно продумано, взвешено и измерено, отвеяно от всего лишнего, что обыкновенно пристает к зреющей мысли, и получило свою настоящую форму, окончательную отделку. Вот почему его мысль чистым и полновесным зерном падала в умы слушателей.

Гармония мысли и слова! Как легко произнести эти складные слова и как трудно провести их в преподавании! Думаю, что возможность этого находится за пределами преподавательской техники, нашей дидактики и методики, и требует чего-то большего, чего-то такого, что требуется всякому человеку, а не преподавателю только. Студенты, как известно, обладают особым чутьем профессорской подготовки: они очень быстро угадывают, излагает ли им преподаватель продуманные и проверенные знания, хорошо выдержанные и устоявшиеся воззрения или только вчерашние приобретения своего ума, сырые мысли, если можно так выразиться Слушая Соловьева, мы смутно чувствовали, что с нами беседует человек, много и очень много знающий и подумавший обо всем, о чем следует знать и подумать человеку, и все свои передуманные знания сложивший в стройный порядок, в цельное миросозерцание; чувствовали, что до нас доносятся только отзвуки большой умственной и нравственной работы, какая когда-то была исполнена над самим собой этим человеком и которую должно рано или поздно исполнить над собой каждому из нас, если он хочет стать настоящим человеком. Этим особенно и усиливалось впечатление лекций Соловьева: его слова представлялись нам яркими строками на освещенном изнутри фонаре. Оно и понятно: студенту старших семестров уже виднеется жизненный путь, на который ему придется вступить по окончании учебных годов, и он уже без студенческой беззаботности и самоуверенности начинает раздумывать, как-то вступит он на этот скользкий путь и какой походкой пойдет по нему. В этом раздумье он уже с деловым, не праздным любопытством и с молчаливым уважением присматривается и прислушивается к тем из старших, которые идут по этому пути твердыми прямыми шагами, с твердым и ясным взглядом на людей и на вещи После, став ближе к Соловьеву и начав готовиться к профессуре под его руководством, я получил некоторую возможность следить за непрерывной, строго размеренной и разнообразной работой неутомимого ума, и я понял, как вырабатывается и во что обходится эта гармония мысли и слова. Чего только он не знал, не читал, чем не интересовался и о чем не думал! Он внимательно и с удивительной экономией досуга следил за иностранной литературой по географии, по всему кругу наук исторических и политических, как и за текущими международными отношениями. Прочитать дельную книжку какого-нибудь французского, немецкого или английского путешественника по Индии или Центральной Африке было для него наслаждением, которым он спешил поделиться с близкими людьми Я уже не говорю о русской литературе, о русских делах и отношениях. Помню, я посетил его незадолго до смерти, когда приговор жизни был уже произнесен и исход болезни определился. С третьего слова он спросил меня: «А что новенького в литературе по нашей части? Давно ничего не читал». — Я встречал немного таких образованных и деятельных умов, а судьба нередко и незаслуженно дарила меня счастьем встречаться с образованными и мыслящими людьми.

Я не решаюсь сказать, входила ли русская история центральной составной частью в состав этого цельного и широкого миросозерцания. Я не решаюсь на это потому, что знаю, как много места занимали в выработке этого миросозерцания общие вопросы религии и науки. Я могу только утверждать, что на русскую историю он положил всего больше своего научного труда. Но я не говорю об его «Истории России», о нем как об ученом· это вопрос русской историографии, одна из страниц истории русского просвещения, и таких страниц, на которых с отрадой будет всегда останавливаться и раздумывать мыслящий русский человек Вы позволили мне занять теперь ваше благосклонное внимание беседой о профессорском преподавании Соловьева, об его университетском курсе русской истории. Вместе с другими учениками Соловьева я часто докучал ему просьбой издать этот курс в какой-либо из тех редакций, в каких он излагал его из году в год с университетской кафедры; и я до сих пор не могу понять, почему он не сделал этого, даже неохотно вел разговор об этом С ним вообще трудно было завести

речь об его сочинениях; сам он был до несправедливости скромного о них мнения; и отзываться о них с похвалой в его присутствии значило сделать ему неприятность Ему и говорили об издании курса только как о его профессорской обязанности, даже прибегали к такому изысканному соображению, что его курс вовсе и не принадлежит ему одному, не есть его личное дело, что это беседа профессора со студентами, следовательно, совместная работа профессора и его аудитории. Он называл это плохим софизмом, не стоящим и пятачка, и прекращал разговор об этом. Прибавлю в пояснение, что Соловьев очень любил остроты и при всяком удачном словце, при нем сказанном, шарил у себя в кармане со словами: «Ах, жаль, пятачка не случилось!»

Конечно, превосходная первая глава XIII тома его «Истории», содержащая в себе общий обзор хода древней русской истории, вместе со статьями общего характера, напечатанными в посмертном издании некоторых сочинений С. М. Соловьева, каковы «Начала Русской земли», «Древняя Россия», «Исторические письма» и др., дают некоторую возможность читателю представить себе содержание и даже характер этого общего курса. В этих статьях есть все, что проводилось и развивалось в курсе; но для читателя останутся неуловимы концепция содержания и впечатление изложения, а в преподавании это — главное, если не все. Соловьев давал слушателю удивительно цельный, стройной нитью проведенный сквозь цепь обобщенных фактов взгляд на ход русской истории, а известно, какое наслаждение для молодого ума, начинающего научное изучение,— чувствовать себя в обладании цельным взглядом на научный предмет. В курсе Соловьева эта концепция и это впечатление были тесно связаны с одним приемом, которым легко злоупотребить, но который в умелом преподавании оказывает могущественное образовательное влияние на слушателя Обобщая факты, Соловьев вводил в их изложение осторожной мозаикой общие исторические идеи, их объяснявшие. Он не давал слушателю ни одного крупного факта, не озарив его светом этих идей. Слушатель чувствовал ежеминутно, что поток изображаемой перед ним жизни катится по руслу исторической логики; ни одно явление не смущало его мысли своей неожиданностью или случайностью В его глазах историческая жизнь не только двигалась, но и размышляла, сама оправдывала свое движение. Благодаря этому курс Соловьева, излагая факты местной истории, оказывал на нас сильное методологическое влияние, будил и складывал историческое мышление: мы сознавали, что не только узнаем новое, но и понимаем узнаваемое, и вместе учились, как надо понимать, что узнаем. Ученическая мысль наша не только пробуждалась, но и формировалась, не чувствуя на себе гнета учительского авторитета: думалось, как будто мы сами додумались до всего того, что нам осторожно подсказывалось.

Эти общие идеи, которыми перевивались факты русской истории, могут показаться элементарными; но их необходимо продумать на университетской скамье, и только тогда они становятся такими элементарными. С двух сторон Соловьев освещал излагаемые им исторические факты· одну из них можно назвать прагматической, другую — моралистической. Настойчиво говорил и повторял он, где нужно, о связи явлений, о последовательности исторического развития, об общих его законах, о том, что назвал он необычным словом — *историчностью*. Вы думаете, легкое дело — растолковать сидящему на школьной скамье понятие об основах людского общежития, об историческом процессе, о закономерности исторической жизни! Я встречал взрослых и по-своему умных людей, которым никак не удавалось усвоить себе самую идею исторического процесса У Соловьева сравнения, аналогия жизни народов с жизнью отдельного человека, отвлеченные аргументы и, наконец, его столь известная и любимая фраза *естественно* и *необходимо*, повторявшаяся при всяком случае, как припев,— все врезывало в сознание слушателя эту идею исторической закономерности.

С другой стороны,— да не покажется нам это странным — Соловьев был историк-моралист. он видел в явлениях людской жизни руку исторической Немезиды, или, приближаясь к языку древнерусского летописца, *знамение правды* Божией Я не вижу в этом научного греха эта моралистика у Соловьева была та же прагматика, только обращенная к сознанию своею нравственною стороной, та

же научная связь причин и следствий, только приложенная к явлениям добра и зла, помышления и воздействия. Соловьев был историк-моралист в том простом смысле, что не исключал из сферы своих наблюдений мотивов и явлений нравственной жизни. Кто из слушателей Соловьева не запомнил на всю жизнь этих нравственных комментариев, что «общество» может существовать только при условии жертвы, когда члены его сознают обязанность жертвовать частным интересом интересу общему; что уже первоначальное, естественное общество человеческое,— семейство, основано на жертве, ибо отец и мать перестают жить для самих себя; что общество тем крепче, чем яснее между его членами сознание; что основа общества есть «жертва»; что «европейское качество всегда торжествовало над азиатским количеством» и что это качество состоит в «перевесе сил нравственных над материальными»; что величие древней Руси заключалось в сознании своих несовершенств, в сбереженной ею способности не мириться со злом, в искреннем и горячем искании выхода в положение лучшее посредством просвещения. Все это, повторяю, довольно элементарно, но все это должно быть продумано на студенческой скамье и только на ней может быть продумано как следует.

В детстве, помню, где-то я видел старинные колонны, обвитые вьющимся растением. Свежая жизнь бежала по холодному мрамору старины и так стройно обвивала его, что мне казалось, будто эти вьющиеся побеги растут из самого мрамора. Когда я вслушивался, как Соловьев перевивал факты нашей истории общими историческими идеями, своею прагматикой и моралистикой, мне не раз вспоминались эти старые колонны с обвивающими их побегами вьющегося растения, и мне думалось, что эти идеи органически вырастали из объясняемых ими фактов.

Вот что счел я небесполезным в день памяти Соловьева припомнить об его университетском преподавательстве. Сколько знаю, Соловьев никогда не был учителем среднеучебного заведения; он везде, где преподавал, был профессором. Но его университетский курс помогает уяснить отношение гимназического преподавания истории к университетскому. Мы знаем разницу между тем и другим; но у того и другого есть и точка соприкосновения. Неудобно профессорствовать, читать лекцию в *классе*; неудобно и сказывать урок в *аудитории*: в первом случае гимназист преждевременно забегает в настроение студента, во втором студент огорчается своим невольным возвращением в положение гимназиста. Учитель истории рассказывает ученикам, что *было*; профессор рассуждает со студентами, что это былое *значило*. Но Соловьев так рассуждал со студентами о былом, что они живо представляли себе, как это происходило; желательно, чтобы учитель так *рассказывал* о былом, чтобы ученикам хотелось *рассуждать* о том, что оно значило. Выражу так это отношение, не умея выразить его удачнее.

ПАМЯТИ С. М. СОЛОВЬЕВА*

(умер 4 октября 1879 г.)

Двадцать пять лет прошло со дня кончины С. М. Соловьева. Смерть застала историка за XXIX томом его «Истории России с древнейших времен» и прервала его 30-летний труд на полуфразе.

Когда стало известно, что работа, столько лет привлекавшая к себе внимание образованного русского общества, остановилась навсегда, что замерла энергия, ее двигавшая, первым побуждением было воздать должное покойному ученому, оценить, что сделал он своим многолетним трудом для науки, для изучения русской истории, для национального самопознания. Время строго проверяет чувства и суждения. Двадцать пять лет — достаточно продолжительный срок для проверки. Пишущий эти строки, которому досталась ответственная честь стать преемником С. М. Соловьева по кафедре, под первым впечатлением понесенной утраты написал несколько внушенных чувством ученика строк о характере почив-

* Научное слово. 1904 Кн 8 С 117—132.

шего историка и значения его труда. Перечитав написанное четверть века спустя, автор не нашел преувеличения, к какому обыкновенно располагает еще не закрытая могила. Скорее напротив: черты кажутся бледными и неполными, взгляд недостаточно широким. Этим впечатлением оправдывается решимость предложить вниманию читателя этот спешный коротенький очерк, анонимно помещенный в давно прерванном издании. По нему можно отчасти судить, как значение этих 29 томов «Истории России» уяснялось и росло по смерти историка, разрушая опасения и его собственные предсказания, что громадная книга будет скоро снята со стола и забыта...[1]

К 25-й годовщине смерти историка стало ясно и общепризнано многое, что лишь смутно предчувствовалось или чаялось при гробе. Большое компактное издание «Истории» в шести полновесных книгах, начатое в 1893 году, стало быстро расходиться, и три года спустя, когда явился подробный указатель к этим книгам, первые три книги вышли уже вторым изданием. Труд жил, продолжал свою работу и по смерти автора. К нему обращался образованный читатель, желавший расширить, упорядочить и освежить идеями и конкретными впечатлениями свои познания по русской истории. Работой над неисчерпаемым запасом данных, почерпнутых из первых, часто нетронутых источников, фактов, обдуманно подобранных и прагматически истолкованных, начинало пробу своей мысли уже не одно поколение молодых ученых, приступавших к научному изучению нашего прошлого. Целый ряд специальных исследований, посвященных ученой разработке отдельных фактов, эпизодов, учреждений, источников нашей истории, шел от положений, изложенных в «Истории России»; в ней искал первых руководительных указаний и ею же проверял свои выводы и открытия, даже когда частично пополнял и поправлял ее. В популярных изложениях русской истории нередко сквозят материал, фон, мысли и краски, данные тем же произведением. Широкие обобщения и сопоставления, стереотипные положения о естественности и необходимости исторических явлений, о закономерности в истории, параллели между личной, индивидуальной и массовой народной жизнью — такие общие исторические идеи, которыми Соловьев любил, как световыми полосками, прокладывать в своем изложении фон исторической жизни, оказывали формирующее действие на мышление русского читателя, еще не отвыкшего мешать историю с анекдотом, мирили его с мыслью, что и в истории есть своя таблица умножения, свое непререкаемое дважды два, без которого немыслимо никакое историческое мышление, невозможно даже никакое людское общежитие.

Все это было признано и ценилось еще при жизни историка. Теперь, отдаленные от него таким пространством времени, можем ввести в его оценку еще один мотив: к признанию того, что им сделано для русской истории, можно присоединить сожаление о том, что преждевременная смерть помешала ему сделать. В минуту смерти речь об этом могла показаться неуместной жалобой; через 25 лет такое сожаление — спокойно-грустное воспоминание о научной потере, которая для русской историографии осталась доселе невознагражденной.

Эта утрата ближайшим образом касалась русской истории XVIII века. В «Истории России» этот век впервые вскрывался во всей полноте своего не тронутого наукой содержания и в непрерывной, тщательно выясненной преемственной связи с его девятью предшественниками. Уже три четверти столетия были пройдены историком, пером и словом которого более 30 лет возбуждалось и поддерживалось внимание русского читающего общества и учащегося юношества к своему прошлому. Тогда уже привыкали думать: еще несколько лет, еще немного усилий неутомимого труда, и этот век, русский XVIII век, столь важный в судьбах нашего Отечества, исполненный столь громких дел, вызвавший столько шумных и разноречивых толков своими грехами и успехами, наконец предстанет перед читателем в цельном научном изображении.

В XIII томе «Истории России», где изложены царствование Федора Алексеевича и следовавшая за смертью этого царя московская Смута 1682 г., автор поставил рядом с общим заглавием своего труда другое, частное, повторенное

[1] Далее приводится некролог, опубликованный автором в 1879 г.

и в дальнейших пяти томах до смерти Петра Великого: «История России в эпоху преобразования». Большую половину XIII тома занимает предпосланная царствованию Федора вводная глава, в которой за общим обзором хода древней русской истории следует превосходное изображение состояния России перед эпохою преобразования. Таким образом, на 1676 годе, когда началось царствование Федора, сам историк провел раздельную черту между древней и новой Россией. Этот XIII том появился в 1863 году. Семнадцать лет писал Соловьев новую русскую историю. Быстро развившаяся болезнь остановила работу, которая по возрасту автора могла бы продолжаться еще немало лет. Неоконченный XXIX том, изданный по смерти историка в 1879 году, доводит обзор внешней политики до 1774 года, когда был заключен мир с Турцией в Кучук-Кайнарджи, а в описании внутреннего состояния России прерывается на делах 1772 года, перед самым мятежом Пугачева, казнью которого (в январе 1775 года) предположено было закончить этот том. Соловьев признавался, что не рассчитывает вести свой труд дальше царствования Екатерины II. Рассказ о нем начат в XXV томе. Если первые 12 лет деятельности этой императрицы потребовали пяти томов, то на остальные 22 года необходимо было не менее шести. И если бы плану историка суждено было осуществиться, читатель получил бы громадный исторический труд в 35 томах, из коих 23 были бы посвящены изображению всех 120 лет нашей новой истории, с последней четверти XVII до последних лет XVIII века. Так, «История России», по замыслу автора, — собственно история новой России, подготовляемой к преобразованию, преобразуемой и преобразованной, и первые 12 томов труда — только пространное введение в это обширное повествование о петровской реформе.

Дело биографии — рассказать о редко удающемся совмещении в одном лице качеств, которым удивлялись в Соловьеве, такой научной подготовки, широты исторического взгляда, любви и способности к непрерывной умственной работе, уменья беречь время, силы воли, наконец, такого запаса физических сил, личных условий, встреча которых сделала возможным создание «Истории России». Оглядываясь на этот труд на расстоянии 25 лет от минуты, навсегда его прервавшей, невольно останавливаешься мыслью на его отношении к своему времени, спрашиваешь себя, что он давал своему времени и что воспринимал от него. Это довольно сложный вопрос, относящийся к истории нашего общества, просвещения, нашего общественного самосознания. Было бы опрометчиво входить в разбор такого вопроса в воспоминании по случаю, но позволительно сделать некоторые сопоставления.

Первые тома «Истории России» появлялись в то время, когда в русском литературном мире (не в литературе и не в обществе, а именно в кругу людей, близко стоявших к литературе, но в ней вполне не высказывавшихся) боролись два взгляда на наш XVIII век, собственно на петровскую реформу, наполнявшую его собой и своими разносторонними последствиями. Это очень известные взгляды 40-х и 50-х годов прошлого столетия. Люди, смотревшие одним из этих взглядов, видели в реформе Петра пробуждение России, поднятой на ноги толчком могучей руки Преобразователя, который, призвав на помощь средства западноевропейской цивилизации, вывел Россию из ее векового культурного застоя и бессильного одиночества и заставил развивать свои мощные, но дремавшие силы в общечеловеческой жизни, в прямом общении с образованным европейским миром. Другие находили, что в последовательном и самобытном движении нашей народной жизни реформа Петра произвела насильственный перерыв, сбивший ее с прямой исторической дороги в чужую сторону, убивший зачатки ее самобытного развития чуждыми формами и началами, навязанными ей гениальным капризом. Смотря на дело с противоположных точек зрения, пользуясь для наглядного выражения своих взглядов образами, взятыми из различных порядков явлений, обе стороны сходились в одном основном положении: обе признавали, что реформа Петра была глубоким переворотом в нашей жизни, изменившим русское общество сверху донизу, до самых его корней и основ; только одна сторона считала этот переворот великой заслугой Петра перед человечеством, а другая — великим несчастьем для России.

Читающее русское общество относилось к борьбе обеих сторон не безучастно, но довольно эклектично, выбирая из боровшихся мнений, что кому нравилось, охотно слушало речи одних о самобытном развитии скрытых сил народного духа, одобряло и суждения других о приобщении к жизни культурного человечества. Притом новое время наступало, принося новые потребности и заботы, поворачивая прошедшее другими сторонами, с которых не смотрели на него ветераны обоих лагерей, возбуждая вопросы, не входившие в программу старого спора о древней и новой России. Начиналась генеральная переверстка мнений и интересов, предвиделся общий пересмотр застоявшихся отношений. Среди деловых людей крепла мысль, что все равно, пошла ли русская жизнь с начала XVIII века прямой или кривой дорогой, что это вопрос академический; существенно важно лишь то, что полтораста лет спустя она шла очень вяло, нуждалась в обновлении и поощрении. Умы стали практичнее относиться к вопросу о месте рождения форм и начал жизни; многие становились на ту точку зрения, что, пусть известные формы и начала и не совсем самородны по происхождению, лишь бы они вызвали к действию дремлющие или опустившиеся народные силы, помогли справедливо развязать запутавшиеся узлы общественных отношений. Во всяком случае можно сказать, что в начале 60-х годов прошлого столетия в нашем обществе не существовало прочно установившегося, господствующего взгляда на ход и значение нашей истории в последние полтора века. В это время, в пору сильнейшего общественного возбуждения и самых напряженных ожиданий, в самый разгар величайших реформ, когда-либо испытанных одним поколением, в год издания Положения о земских учреждениях и Судебных уставов 20 ноября, Соловьев издал XIV том своей «Истории России», в котором начал рассказ о царствовании Петра после падения царевны Софьи и описал первые годы XVIII века.

Казалось, редко работа историка так совпадала с текущими делами его времени, так прямо шла навстречу нуждам и запросам современников. Соловьеву пришлось описывать один из крутых и глубоких переломов русской жизни в те именно годы, когда русское общество переживало другой такой же перелом, даже еще более крутой и глубокий во многих отношениях. И однако, то время нельзя признать особенно благоприятным для развития в обществе интереса к отечественной истории. Общий подъем настроения, конечно, давал историку много сильных возбуждений, много наблюдений, пригодных для исторического изучения, а начавшаяся многосторонняя перестройка быта располагала к историческим справкам, задавала вопросы, усиленно побуждавшие искать указаний в опыте прошедшего. Это сказалось в сильном оживлении русской исторической литературы, в появлении ряда монографий, имевших прямую связь с текущими вопросами, с готовившимися или совершавшимися переменами в положении крестьян, в судоустройстве и местном управлении. Но самому обществу было, по-видимому, не до опытов прошедшего: внимание всех было слишком поглощено важностью настоящего и надеждами на ближайшее будущее. При первых успехах преобразовательного движения в обществе возобладало немного благодушное настроение, покоившееся на уверенности, что дело решено бесповоротно и пойдет само собой, лишь бы не мешали его естественному ходу, силе вещей. При таком настроении не любят оглядываться. Чего можно искать в темном прошедшем, когда в приближавшейся дали виднелось такое светлое будущее? При виде желанного берега охотнее считают, сколько узлов осталось сделать, чем сколько сделано. Оптимизм так же мало расположен к историческому размышлению, как и фатализм.

И дела пошли своим естественным ходом: порывы сменялись колебаниями, уверенность уступала место унынию. Стороннему наблюдателю Россия представлялась большим кораблем, который несется на всех парусах, но без карт и компаса. От появления случайностей, недостаточно предусмотренных, от преемственной смены подъемов и понижений духа в общественном сознании наконец отложилось одно несколько выяснившееся историческое представление, что русская жизнь безвозвратно сошла со своих прежних основ и пробует стать на новые Тогда русская история опять разделилась на две неравные половины

дореформенную и реформированную, как прежде делилась она на допетровскую и петровскую, или древнюю и новую. Решив, что Россия сошла со старых основ своей жизни, в обществе по этому решению настроили свое историческое мышление. Так явилась новая опора для равнодушия к отечественному прошлому Еще недавно думали: зачем оглядываться назад, когда впереди так много дела и так светло? Теперь стали думать: чему может научить нас наше прошлое, когда мы порвали с ним всякие связи, когда наша жизнь бесповоротно перешла на новые основы?

Но при этом был допущен один немаловажный недосмотр. Любуясь, как реформа преображала русскую старину, недоглядели, как русская старина преображала реформу. Эту встречную работу прошлого замечали, негодовали на нее, но ее недостаточно строго учитывали, считали только временным неудобством или следствием несовершенства человеческой природы. Скорбели, видя, как исполнительные органы, подобно старым дьякам московских приказов, клавшим в долгий ящик указы самого царя Алексея Михайловича, замедляли исполнение или изменяли смысл и направление актов верховной власти, внушенных доверием к разуму и нравственному чувству народа. Негодовали на консервативную пугливость людей, которые в неосторожной вспышке незрелой политической мысли или в мужественном презрении противозаконных, но обычных околичностей видели подкоп под вековые основы государственного порядка и испуганно обращались по принадлежности со стереотипным предостережением, caveant consules, а это значило в переводе, чтобы опасность была предотвращена соответственным испугу градусом восточной долготы. Образованные и состоятельные классы, обязанные показать своим поведением, как следует переходить со старых основ жизни на новые, выставляли из своей среды деятелей, являвшихся в уголовных отделениях новообразованных окружных судов печально-убедительными показателями уровня, на каком покоились их нравы. При таких примерах слишком взыскательное отношение к тому, как только что вышедшие на волю крестьяне понимали и практиковали дарованное им сословное самоуправление, было бы общественной несправедливостью.

При своей замкнутой жизни и строго размеренной работе Соловьев внимательно и чутко следил за важными событиями того тревожного времени, волнуясь и негодуя на все, что мешало успехам преобразовательного движения. В журнальных статьях он по временам отзывался на текущие вопросы, занимавшие русское общество. Достаточно вспомнить хотя бы его «Исторические письма» 1858 года, начинающиеся указанием на то, как много жизнь требует от науки, как много объяснений требует настоящее от прошедшего. Здесь же он высказал и свой взгляд на отношение науки к жизни. «Жизнь, — писал он, — имеет полное право предлагать вопросы науке; наука имеет обязанность отвечать на вопросы жизни, но польза от этого решения для жизни будет только тогда, когда, во-первых, жизнь не будет торопить науку решить дело как можно скорее, ибо у науки сборы долгие, и беда, если она ускорит эти сборы; и, во-вторых, когда жизнь не будет навязывать науке решение вопроса, заранее уже составленное, вследствие господства того или другого взгляда; жизнь своими движениями и требованиями должна возбуждать науку, но не должна учить науку, а должна учиться у нее».

Все знали, что историк — сторонник одного из указанных выше взглядов, что он даже один из самых убежденных и сильных его защитников в нашей исторической литературе. Но с каждым дальнейшим томом читателю становилось все яснее, что изображение реформы делается не под исключительным углом зрения, какой установлен был взглядом его стороны, что, не изменяя основным ее воззрениям, он значительно преломляет их, исправляя и углубляя привычные суждения. В пяти томах, посвященных собственно деятельности Петра, и потом во всех дальнейших читатель встречает полное изображение реформы с многообразными последствиями и связями, какие соединяли с ней все явления нашей внешней и внутренней жизни как при самом Преобразователе, так и при его преемниках и преемницах до последней четверти того века, — и все это на основании изучения обширнейшего, большею частью нетронутого исторического материала, изучения, какого не предпринимал еще ни один русский ученый до

Соловьева Историк остался верен благоговейному удивлению перед деяниями Петра, который в его повествовании вырастает в величавый, колоссальный образ, во всю свою историческую величину. Но история не превращалась в эпос самый процесс реформы при Петре и после него описан удивительно просто или, как говорится, объективно, со всеми колебаниями и ошибками, с намеренными и нечаянными уклонениями в сторону и с тревожными, как бы инстинктивными поворотами на прежний путь. Читатель, переживший реформы императора Александра II, мог по книге Соловьева с большим для себя назиданием наблюдать, во что обходился, каких усилий и жертв стоил Петру каждый успех в общем улучшении народной жизни, как при каждом шаге могучего двигателя старина силилась отбросить его назад, как, по печально удачному выражению Посошкова, «наш монарх на гору сам-десят тянет, а под горы миллионы тянут», — короче, сколько условности, метафоры в наших словах, когда мы, из своей обобщающей дали оглядываясь на прошлое, говорим о переходах народной жизни со старых основ на новые.

Но самое сильное и поучительное впечатление, какое выносил из книги читатель, заключалось во взгляде на происхождение реформы, на ее отношение к древней Руси «Никогда, — писал историк в заключительной оценке деятельности Петра, — ни один народ не совершал такого подвига, какой был совершен русским народом в первую четверть XVIII века» «История ни одного народа не представляет нам такого великого, многостороннего преобразования, сопровождавшегося такими великими последствиями как для внутренней жизни народа, так и для его значения в общей жизни народов, во всемирной истории» И рядом с этим читаем суждение о реформе Петра как о перевороте, необходимо вытекшем со всеми своими последствиями из условий предшествовавшего положения русского народа, что деятельность Петра была подготовлена всей предшествовавшей историей, необходимо из нее вытекала, требовалась народом. Итак, ни личного произвола, ни насильственного, хотя бы творческого перерыва в естественном движении народной жизни, ничего чудесного не понадобилось для научного объяснения единственного в своем роде исторического дела, совершенного «величайшим из исторических деятелей», как назвал Соловьев Петра I: достаточно было простой мысли, что народная жизнь никогда не порывает со своим прошедшим, что такой разрыв — только новая метафора.

В повествовании о времени, следовавшем за смертью Петра, по мере того как оскудевал запас подготовительных трудов в русской исторической литературе и историк оставался один перед громадным сырым материалом, перед мемуарами, журналами Сената, бумагами Государственного совета, делами польскими, шведскими, турецкими, австрийскими и т. д., «История России» все более переходила к летописному, погодному порядку изложения, изредка прерываемому главами о внутреннем состоянии России с очерками просвещения за известный ряд лет. Но мысль о реформе как связующая основа в ткани проходит в повествовании из года в год, из тома в том Читая эти 11 томов, иногда как будто забываешь, что постепенно удаляешься от времени Петра Меняются лица и обстановка, а Преобразователь как будто продолжает жить, наблюдает за своими преемниками и преемницами, одобряет или порицает их деятельность· так живо чувствуется действие его идей и начинаний либо непонимание тех и других в мерах и намерениях его продолжателей и так часто напоминает об этом сам историк, для которого реформа Петра — неизменный критерий при оценке всех развивающихся из нее или после нее явлений

Так читатель приближается к концу третьей четверти века, и тут прерывается рассказ, покидая его накануне пугачевщины, перед эпохой усиленной внутренней деятельности правительства, перед обществом, которому этот мятеж впервые так ярко и так грозно осветил его положение Но было бы в высшей степени желательно, чтобы именно эту эпоху, конец века, изобразил историк, описавший его начало и продолжение То было время житейской проверки того, чем жило русское общество дотоле, тогда и в самом обществе появляются первые попытки спокойно, без вражды и без обожания взглянуть на дело Петра С наступлением нового века возникнут такие внутренние потребности, придут такие сторонние

влияния, которые поставят правительству и обществу задачи, не стоявшие перед Петром. Но до той поры дела бежали, еще движимые толчком, полученным от Петра. Оставалось подвести итоги, подсчитать результаты и объяснить неожиданности. Один из питомцев Петра выразился о Преобразователе: «На что в России ни взгляни, все его началом имеет, и, что бы впредь ни делалось, от сего источника черпать будут». Но к исходу века откуда-то почерпались дела, не сродные сему источнику. Петр ограничил пытку, и если сражение при Лесной, где преобразованная русская армия в 1708 году впервые победила шведов, не имея численного превосходства, было, говоря словами Петра, «первой солдатской пробой» его дела, то распространение телесных наказаний на привилегированные сословия три четверти века спустя после указа о пытке можно признать последней законодательной пробой того же дела, только с другой стороны. Одна из любопытнейших частей нашей истории — судьба петровских преобразований после Преобразователя — осталась недосказанной в книге Соловьева. Долгим трудом воспроизведенное, глубоко продуманное историческое строение силлогизма русской жизни в продолжение столетия роковым образом перервалось перед моментом, которого читатель давно ждал с напряженным вниманием, — перед завершительным *итак*. Этот перерыв оставил, и, может быть, надолго, в научной полутьме наш XVIII век. Вот чего жаль, и вот в чем потеря. Никто ближе Соловьева не стоял к источникам истории этого века, никто глубже его не проникал в наиболее сокрытые ее течения; ничье суждение не помогло бы больше успешному разрешению трудных вопросов, какие она ставит. Об историческом труде Карамзина Соловьев писал, что остановка его на Смутном времени, отсутствие подробной истории XVII в., этого моста между древней и новой Россией, надолго должны были способствовать распространению мнения, что новая русская история есть следствие произвольного уклонения от прежнего правильного пути. Соловьев перекинул этот мост, восстановил историческую связь между древней и новой Россией, разрушил предрассудок о произвольном уклонении; но и у него остался недостроенным путь между началом и концом XVIII века. Отсюда ряд недоумений. Век, начавшийся усиленными правительственными заботами о народном просвещении, заведением русской книгопечатни за границей, завершился закрытием частных типографий в самой России. Правнук Преобразователя, впервые заговорившего об Отечестве в высоком народно-нравственном, а не в узком местническом смысле этого слова, о служении Отечеству как о долге всех и каждого, запретил употребление самого этого слова. Если никогда ни один народ не совершил такого подвига, какой был совершен русским народом в первой четверти XVIII в., то редко когда идея исторической закономерности подвергалась такому искушению, как в последней его четверти.

Повторю: в 25-ю годовщину смерти Соловьева, вспоминая, что сделала эта трудовая жизнь для русского исторического сознания, сожалеешь невольно о том, что смерть помешала ей сделать.

В. И. ГЕРЬЕ

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ СОЛОВЬЕВ*

Редакция «Исторического Вестника» обратилась ко мне с предложением написать для первой книжки нового журнала несколько слов о покойном историке, которого все так единодушно ценили при жизни и значение которого еще более выяснилось с его утратой. Я не счел себя вправе отказаться от этого предложения. Всесторонняя и полная оценка такого ученого, как Сергей Михайлович Соловьев, конечно, принадлежит потомству, во всяком случае она возможна будет только тогда, когда напечатается его биография. Но и то, что чувствуется современниками под непосредственным впечатлением понесенной утраты и пе-

* Исторический вестник. 1880. Т. 1. № 1. С. 74—111.

режитой разлуки, имеет право быть высказано: это долг почтения и любви, который мы отдаем покойному,— венок, который мы опускаем на его свежую могилу.

> Каждому дню его забота, каждому веку его труд, нашему времени завещано собрать воедино все части русской истории, найти их смысл и примирить все эпохи.
>
> *Соловьев*

Не среди русской только историографии следует отыскивать место, принадлежащее Сергею Михайловичу Соловьеву по его заслугам в науке. Мерилом его ученой деятельности должно быть сопоставление его с современными историками других европейских наций. Самое различие, которое откроется при таком сопоставлении, покажет нам — чем он был для русской истории, чем ему обязан русский народ. Поставим прямо вопрос, может ли какой-нибудь другой из европейских народов гордиться в наше время национальным историком?

Возьмем, например, родину Шлёцера и Нибура, колыбель исторической науки: немецкие ученые внесли свет в историю почти всех других народов, основательно разработали свою собственную историю, но ни одного из них не может приветствовать немецкий народ своим национальным историком в строгом смысле этого слова. В Германии доживает теперь свой славный век патриарх немецкой историографии, 84-летний Леон Ф. Ранке; уже более 40 лет тому назад молодой Грановский, слушавший тогда его лекции, писал о нем с восторгом, что «это бесспорно самый гениальный из новых немецких историков»; и несмотря на то, что с тех пор выросло и успело состариться целое поколение знаменитых историков, этот отзыв о Ранке и теперь еще может быть признан справедливым. Ученая деятельность Ранке изумительна. В настоящее время полное собрание сочинений его достигло 45 томов. Это великая школа, в которой почти все европейские народы от испанцев до сербов могут научиться своему прошедшему; немецкий же народ найдет здесь изображение самой великой эпохи своей жизни, реформационного века, но не найдет своей национальной истории. В плодотворной деятельности Ранке выказывается универсальный и отвлеченно-научный характер немецкой историографии, в которой отрицался общий строй политической и духовной жизни Германии, приведший ее только в наши дни к национальному единству.

Совершенно иной ход развития представляет история Франции. Здесь условия были гораздо благоприятнее для возникновения цельной национальной истории. Судьба французского народа представляет более строгое единство, более органическое развитие, лучшую, так сказать, архитектурность, и потому во Франции чаще, чем где-либо, появлялись писатели, которым удавалось изобразить в полном и связном рассказе историю своего народа. Однако недавно еще самый талантливый из историков Франции жаловался на то, что его народ не имеет национальной истории[1], что у него были *анналы*, но не было истории. Говоря о «славной плеяде» предшествовавших ему историков — Гизо, Минье, Тьер, Ог. Тьерри,— он указывает на то, что каждый из них рассматривает историю с какой-нибудь специальной точки зрения. «Один занят вопросом о расе, другой — историей учреждений и пр., не замечая, что такой прием всегда несколько искусствен, дает неверный профиль, вводит в заблуждение на счет целого, упуская существенное, общую гармонию». Сам Мишле был как будто призван восполнить этот пробел. Он поставил себе высокую цель, широко понял свою задачу. Он хотел постигнуть, охватить историю своего народа «в живом единстве ее составных элементов». Он говорил, что ему первому Франция представляется как живое лицо, одаренное душой (comme une ame et une personne).

Судьба благоприятствовала молодому историку, рано принявшемуся за то, что он сделал задачей своей жизни. Он дожил до 73 лет и до последнего дня владел своим талантом. Он оставил после себя длинный ряд томов, в которых он

[1] Мишле, в предисловии к его «Истории Франции», изд. 1869 г.

касается всех эпох французской истории почти до наших дней Но в этом замечательном труде нет изображения «великого поступательного внутреннего движения, развития души народной», которого не находил он у других историков Крутой переворот, совершившийся в истории Франции в конце прошлого века, имел своим последствием, как для многих других, так и для Мишле, внутренний перелом, внес раздвоение, противоречие в его воззрения на историю Франции Историк утратил понимание единства, цельности жизненного процесса, представляемого историей. Вместо жизни он видел в прошедшем только смерть, вместо прогресса — только отрицание его. Он не только выкинул из истории Франции предшествовавшие революции века монархического правления, как «эпоху мертвецов», но и жизненное начало древних веков померкло в его глазах Он поверил «смерти католицизма», и церковь сделалась для историка «чуждым миром, предметом простой любознательности, подобно луне». Когда после занятий по эпохе революции он возвратился к Средним векам, эта эпоха представилась ему «горделивым морем нелепостей» — и историком, искавшим национальной души, овладел «судорожный смех». И потому, несмотря на свой блестящий талант, несмотря на свое пламенное сочувствие национальному духу, несмотря на громадные средства, какие ему представляла французская наука,— Мишле не достиг своей цели, он не был в состоянии создать настоящую национальную историю Франции.

То, чего не дали своему народу первоклассные историки других стран — национальную историю, которая соединяла бы научную обработку истории с творческим воспроизведением ее,— то дал русским Сергей Михайлович Соловьев. В этом заключается великая заслуга, оказанная им русскому обществу и европейской науке. Но важность этой заслуги, значение «Истории России с древнейших времен» в истории русской науки и русской культуры представятся нам в полном свете, когда мы дадим себе отчет, в каком именно смысле громадный труд покойного историка заслуживает названия национальной истории, на каких основаниях мы должны признать за ним право на это название? Ради большей наглядности мы здесь же укажем те основания, которые мы предполагаем подробнее развить в нашем очерке. «История России с древнейших времен» должна быть признана национальной историей, потому что в ней впервые исторический материал, необходимый для такого труда, собран и исследован в надлежащей полноте; эта история написана в национальном духе, то есть в ней верно схвачены существенные черты и форма исторического развития нации: эта национальная история написана в строго научном направлении; она удовлетворяет всем требованиям и приемам современного исторического знания и имеет право на почетное место в европейской науке; наконец, эта национальная история, написанная при полном освещении современного европейского образования, в свою очередь стала проводником его в русском обществе; она проникнута гуманным, общечеловеческим началом и потому имеет важное культурное значение в истории русского просвещения, представляет собой национальное произведение в истинном, высоком смысле этого слова.

«Когда увидим мы полную русскую историю?» — нетерпеливо спросил великий Преобразователь России у Феофана Прокоповича. Когда сто лет спустя смерть Карамзина прервала «Историю Государства Российского» на 1611 году, русские люди повторяли, сожалея об утрате историка, вопрос Петра Великого: «Когда увидим мы полную русскую историю?»

Этот вопрос, наконец, нашел себе ответ в труде С. М. Соловьева, в непрерывном, долголетнем труде его жизни. Он довел свой рассказ о судьбах русского народа до 1774 г.; отдельные монографии его бросают свет на дела последних годов XVIII века и на царствование Александра I. Но под полнотой русской истории следует разуметь не один только хронологический объем рассказа. История С. М. Соловьева представляет нам полную русскую историю еще и в другом смысле. она заключает в себе замечательно полное собрание, обследование и воспроизведение исторического материала. Автор «Истории России с древнейших времен» должен был в одно время организовать, строить, создавать историю на новых началах и вместе с тем изучать, открывать для этой истории непочатые

богатства, хранившиеся в архивах Он не считал себя вправе приступить без этой полноты материала к созданию полной истории своего народа. Нужно было много самообладания, много любви к научному труду, много нравственной энергии и сознания своих сил, чтобы, не увлекаясь желанием быстрого успеха и не опасаясь утомления в преодолевании громадной работы, идти мерным шагом вперед к отдаленной цели, которая могла быть достигнута только как поздний плод долгой трудовой жизни.

С. М. Соловьев сумел побороть в себе то естественное в историке и всегда преобладающее в публике «стремление к новым временам», на которое указывал еще Ливий. Но у историка России не было того мотива, который заставлял римского историка уходить в глубь времен, — желания избавиться от созерцания современных зол: им руководило ясное сознание, что только тщательным изучением древнейших судеб русского народа, только *документальным изложением* его истории могло быть положено прочное основание исторической науке в России; что только этим путем русская история могла быть избавлена от незрелых мечтаний и фантазии дилетантов.

Мы мало знаем историков, которые до такой степени соединяли бы в себе два различных интереса, представляемых историей, — стремление к *исследованию*, к обогащению исторического материала, с потребностью восстановить полный и цельный образ прошедшего, то есть чисто научный интерес — с творческим. Постоянная, непрерывная работа над материалом не могла не отразиться и на труде историка. Научное отношение к материалу имело своим последствием документальность самого изложения. Это документальное изложение задерживало историка, утомляло читателей. Но не следует быть несправедливым к этой существенной стороне произведений С. М. Соловьева. Она не мешала проявляться творческой деятельности историка, и среди страниц, передающих нам понятия, язык прошедших эпох, мы нередко встречаем художественные страницы, достойные великих мастеров.

Кроме того, значением, которое отведено источникам, обусловливается свежесть, реальность изложения Соловьева, точность его языка. Но главный смысл этой документальности изложения мы видим в том, что только таким способом русская историография могла быть поставлена на новый путь. Уже Карамзин сознавал новое призвание современной историографии. «Мы не можем, — сказал он, — ныне витийствовать в истории; здравый вкус уставил неизменные правила и навсегда отлучил дееписание от поэмы, от цветников красноречия» и пр.

Но в данном случае, как и в некоторых других, Карамзин лучше *предчувствовал*, чем осуществлял, истинные потребности исторической науки. И вкусы литератора, и воспитание, полученное им в эпоху, отличавшуюся совершенно иным духом, и потребности времени, когда он писал историю государства Российского, — все это мешало ему следовать чисто научному направлению. Карамзин отвернулся от риторического направлениях своих предшественников, но он не был в силах отлучить от летописания приемы и вкусы поэта. Его преемник имел полное право назвать в похвальном слове Карамзину «Историю Государства Российского» «величественной поэмой, воспевающей государство»[2].

Вкус и потребности литературы заставляли Карамзина в деятелях русской истории прежде всего искать «славных характеров для исторической живописи»[3]

Поэтическое настроение заставляло Карамзина относиться холодно к прозе истории. В тех эпохах русской истории, где не было материала для поэта, Карамзин «искал оазисов среди пустыни», отыскивал их иногда очень далеко; таким оазисом, например, является у него Тамерлан, имевший мало отношения к истории Москвы. «Талант Карамзина требовал возбуждения от источников»[4].

[2] Речи, произнесенные в Московском университете в день Карамзинского юбилея, 1867 г. С. 7 // Кн. XXIII. С.... *настоящего издания.*

[3] Сказано по поводу Иоанна Грозного в письме Карамзина к Тургеневу

[4] *Соловьев С. М.* Карамзин и его литературная деятельность. «Отеч Зап » 1853—56 гг. Ст. VI, III. С. 411 // Кн XVI С. 108 настоящего издания.

Собственное значение источника уходило таким образом на второй план Нужно было после Карамзина поставить источник на первый план, восстановить прежде всего его права при воспроизведении прошедшего; нужно было познакомить читателей с источниками, приучить их к трезвой правде, к простоте старины Вот в чем заключается, кроме научной стороны дела, воспитательное значение документального изложения. Прочтите, например, у Карамзина блестящее описание взятия Казани — это описание, так ласкающее, как сказал Соловьев, наш русский слух, и сравните с ним противопоставленный ему у Соловьева рассказ источника, который так тяжел и сух, потому что «наука имеет свои требования» — и необходимость документального изложения в дальнейшем развитии русской историографии будет ясна сама собой.

Но национальный характер исторического произведения обусловливается не одной только полнотой его содержания и обилием заключающегося в нем материала, а главным образом тем духом, которым оно проникнуто, разумением предмета и той целью, которую ставит себе историк. В этом именно смысле труд Соловьева есть вполне национальная история. В истории, как правильно определил Соловьев, «выражается народное самосознание». Этому высокопонятому национальному интересу, выяснению народного самосознания служил Соловьев. В этом смысле он понимал свою задачу, и он обладал всеми свойствами, чтоб ее осуществить.

Мы выше упомянули о Ливии и считаем себя вправе остановиться на этом сопоставлении. При всем различии между историками, при всем различии эпох, культур и народов, к которым они принадлежали, их произведения представляют одну общую сторону, поучительную для нашей цели. Эпоха Ливия требовала от историка гораздо менее ученой работы, чем наш век, и в то же время требовала более риторичности, искусственности, чем мы считаем совместным с исторической правдой. Но несмотря на эти недостатки, на эти чуждые нам стороны, в творении римского историка есть какая-то внутренняя правда, которая привлекает нас и заставляет доверять ему вопреки наивным приемам его исторической критики и вымышленным речам его героев. Всякий чувствует, что есть известная гармония между характером римского народа и книгой, в которой рассказаны его судьбы, что историк инстинктивно постиг дух, создавший историю, им излагаемую. Ливий жил в эпоху, когда пали древнеримские учреждения, когда исчезали политические идеалы, создавшие величие Рима, когда разлагались верования, составлявшие нравственную силу древних римлян. Но сожаление об утраченном изощрило чутье римского историка, и, желая воскресить римскую старину, он поступил совершенно правильно, вложив в свой рассказ тот дух, который некогда составлял жизненное начало предков — любовь к республике, подчинение закону и почтение к богам. У римлян и до Ливия были свои историки, которым он обязан всем, что у него читаем; но недаром он один остался национальным историком Рима; он угадал народный дух римлян и, одушевленный им, объяснил их историю. Римская история Ливия показывает нам, как существенно для историка известного народа носит в самом себе отпечаток народного духа. Если история выражает собой народное самосознание, то историк, чрез посредство которого совершается это самосознание, должен сочувственно относиться к существенным чертам и сторонам в историческом развитии своего народа.

Именно эти условия для национального историка соединялись в высшей степени в С. М. Соловьеве. Глубоко в его натуре коренились три великие инстинкта русского народа, без которых этот народ не имел бы истории, — его политический, религиозный и его культурный инстинкты, выразившиеся в его преданности государству, в его привязанности к церкви и в его потребности просвещения.

Государство везде имеет великое значение в народной жизни, но нигде оно не играло такой преобладающей роли, как в жизни русского народа. Недаром самое пробуждение национального сознания выражается у русских в предании о призвании князя, об основании государства. Чрез государство русский народ достиг самобытности: государство было для него залогом всего дальнейшего исторического развития; оно заставило преодолеть суровую природу той области,

которая сделалась школой для созревавшего народа, оно победило азиатских кочевников и сделалось притягательной силой, превратившей татарских князей в покорных слуг русской власти, чрез государство, наконец, русский народ сделался европейским. Политический смысл, который побуждал русский народ всегда стоять за государство, несмотря на его суровые формы, и покорно нести тяжелое тягло — был в сильной степени прирожден Соловьеву. этот политический смысл послужил ему верным руководителем на поприще русской истории. Когда складывался его ум, когда он начал писать свою историю, он особенно в нем нуждался. Государство тогда само подкапывало веру в себя среди лучших русских людей. Оно забыло о своем культурном призвании, его формы быстро омертвели под исключительным влиянием охранительного начала, и обществом овладело скептическое отношение ко всему официальному.

Что среди такого отрицательного направления молодой ученый сохранил понимание исторического значения государства — есть ясный признак прирожденного ему призвания быть историком, интерес которого идет дальше временного настроения и потребности. Но не одной отвлеченной способностью ума следует объяснить это понимание государства; в основании его лежит и нравственное начало: чувство долга, уважение к возложенным жизнью или добровольно принятым на себя обязанностям — свойства, которыми в редкой степени был одарен покойный историк. Вся его жизнь, как частная, так и официальная, была проникнута сильно развитым чувством порядка, внутреннего подчинения отдельного лица целому, сознанием того «космоса», которым держится нравственный мир и высшим выражением которого в человеческом обществе является государство.

Это нравственное начало в С. М. Соловьеве, без сомнения, находило себе сильную поддержку в его религиозности. Здесь мы опять встречаемся с самобытностью, с крепкой цельностью в его характере. В эпоху, когда многие религиозные натуры, не перенеся дисгармонии между абсолютной идеей и временными, конкретными представлениями о ней, ищут убежища вне всяких определений и форм, С. М. Соловьев твердо стоит не только на почве христианства, но и в пределах церковного учения. Для него вера исключала понятие о самостоятельности человека и включала необходимость откровения. «Веровать может человек только в абсолютно истинное», а только то, что дано откровением, есть истина абсолютная, то есть «вечная и неизменная»[5].

С. М. Соловьев принадлежал по своему признанию к «страстным приверженцам прогресса», но в области религии он его отрицал. Вера, по его определению, «обусловливается отрицанием прогресса относительно веры». Прогресс и религия (христианская) для него были понятиями противоположными; одно означает движение, изменение, другое предполагает неизменность. «Если вы скажете человеку, что то, во что он верует, теперь, упраздняется; что будет религия высшая — то кто будет верить, кто согласится признавать известное учение истинным, будучи убежден, что спустя некоторое время это учение будет отвергнуто... как ложное и заменится другим». В приложении идеи прогресса к явлениям религиозной жизни он усматривал «незаконное смешение области религиозной с другими сферами человеческой деятельности». С религиозной точки зрения самый прогресс представляется ему условием жизни *здешней*, а потому не *вечным*. Из различных философских взглядов он предпочитал тот, который наиболее гармонировал с его религиозным настроением; взгляд, уподоблявший народы и человечество индивидуальным организмам и потому усматривавший в жизни народов и человечества ту же смену возрастов и ту же конечную судьбу, каким подчинено все органическое. Прогресс есть явление земное, и «человечество должно одряхлеть и умереть». Но религия, как ее понимал наш историк, не противоречить прогрессу, напротив, при религиозном взгляде на историю человечества самый прогресс обусловливается религиозным началом: христианство «требует от человека бесконечного совершенствования».

[5] Статья «Прогресс и религия» в «Журнале Министер народного просв.» 1868 г. Сентябрь // Кн XVI С 673—692 настоящего издания.

Это стремление к совершенству, которое не может быть достигнуто, есть причина прогресса. Прогресс, таким образом, происходит от невозможности приблизиться к идеалу; он есть «произведение слабости человеческих средств и высоты религиозных требований, поставленных христианством; христианство поднимает человечество на высоту, и это-то стремление человечества к идеалу, выставленному христианством, есть прогресс в мире нравственном и общественном».

Дело биографа выяснить, какое значение имело религиозное начало во внутренней жизни покойного. Ему, конечно, он был обязан тем миром и спокойствием, которыми дышал весь его образ; ему же он был обязан теми минутами «праздничного настроения», в которых он черпал новые силы для своего неимоверного труда. Он высоко ценил обряд, но для него обряд был выражением живого начала. Мы касаемся здесь этого начала только по его отношению к делу историка. А это отношение было самое близкое. Если государственным строем обусловливались самобытность и крепость русского народа, то в не меньшей степени имела на это влияние и Церковь. Религиозное одушевление было самым сильным нравственным началом в древней России. Религиозное единение, «которое в свое время было гораздо обширнее государственного, подготовляло и скрепляло политическое объединение русских людей». В тяжелую минуту, когда Смута ослабила государство, «возбуждение религиозного интереса» дало «знамя, средоточие для жителей Московского государства», дало «им возможность высвободиться из прежней разрозненности для общего дела», указало «им единство не народное, не государственное, но религиозное — общую купель, в которой они крестились в православную веру»[6].

Религиозный интерес, строгая церковность служили, таким образом, гармонической связью между внутренним настроением историка и господствовавшим в истории России нравственным началом.

Но указанных свойств было бы недостаточно, чтобы сделать С. М. Соловьева национальным историком в полном значении этого слова. История русского народа не исчерпывается историей государства и церковного влияния. Рядом с ними нужно отметить слабое в начале, но все более развивающееся стремление к просвещению, к общечеловеческому образованию. Кто не отнесется правильно к этому стремлению, кто не отведет ему подобающего места в истории, тот не может написать верной истории русского народа. В С. М. Соловьеве это стремление нашло себе, конечно, полный и искренний отголосок; он был человек науки и вместе с тем человек европейского образования. Научный интерес и гуманное образование умеряли и просветляли его стремления. Мы говорили о его государственности, то есть о прирожденном ему политическом смысле; мы должны будем в своем месте указать на его научный и гуманный взгляд на государство, который он внес в свою историю. Но прежде чем рассмотреть научную и культурную стороны его исторического труда, мы необходимо должны указать на ту среду, под влиянием которой в нем развились эти стремления.

В те дни, когда наш молодой историк готовился к своему призванию, внимание русского общества занимал вопрос об отношениях русского народа к другим европейцам, национального духа к общечеловеческому просвещению, и различные взгляды на этот предмет выразились в литературных направлениях и партиях. Приверженцы европейского, общечеловеческого, были названы *западниками*; название одностороннее, неправильное, потому что указывало на внешний признак явления, упуская из вида его сущность; название несправедливое, потому что заключало в себе укор, а укор мог только относиться к увлечению, к злоупотреблению новым принципом, которые вовсе не вытекали из самого принципа, в самом себе верного. Западники 30—50-х годов имели право на совершенно иное название. Это были *русские гуманисты*. Нет основания приурочивать этот термин исключительно к эпохе Ренессанса, к людям, проводившим тогда в европейском обществе греко-римскую образованность. Их деятельность положила собственно только начало европейскому гуманизму. Идеалы гуманизма развивались и расширялись под влиянием европейской науки и европейской

[6] Ист. России. XIII. С 51 // Кн. VII. С. 43—44 настоящего издания.

мысли. Самое понимание классического мира и его цивилизации сделалось со временем вернее и глубже.

Итальянские гуманисты XV и XVI веков искали свои идеалы преимущественно в Риме и здесь отчасти к эпохе перерождения и падения античной цивилизации. Высший цвет этой цивилизации был раскрыт только в XVIII веке, когда основание новой эпохи гуманизма было положено Винкельманом. На этом гуманизме воспитались классические поэты Германии. Лессинг, Гердер, Шиллер и Гёте, которые внесли гуманистический элемент в немецкую литературу и этим подняли культуру немецкую, дали ей мировое значение. Здесь гуманизм получил иной, более широкий смысл, что выразилось уже в самом изменении значения слова *гуманный*: классический гуманизм сделался лишь одним из составных элементов *европейского гуманизма*, то есть гуманного, общечеловеческого начала. В этот европейский гуманизм стали тогда входить две новые живительные струи — идеалистическая философия, которая внесла в духовный мир человека понимание истории, идею законного, мирного, органического развития, идею прогресса и политический либерализм, которому положил прочное основание переворот 1789 года. Этот обогащенный, облагороженный новыми идеями XIX века гуманизм — продукт европейской общечеловеческой цивилизации — вот что пытались провести в наше общество русские гуманисты, так называемые западники 40-х годов! Не замену национального западным ставили они себе целью, а воспитание русского общества на европейской универсальной культуре, чтобы поднять национальное развитие на степень общечеловеческого, дать ему мировое значение.

Гуманизм XVI века был отрицанием истории; гуманисты-филологи Ренессанса не понимали предшествовавшего им периода; они имели целью возродить, воскресить давно минувшую культуру: их идеалы были позади. Гуманизм XIX века имел великое преимущество перед старым гуманизмом; он понимал не только идею прогресса, но и идею постепенного, совершающегося по известным законам развития. Поэтому требование реформы, идеалы жизни, которые он выставлял, были не произвольны; они находились в связи с предшествующим развитием, вытекали из него, имели свои корни в прошедшем. Вследствие этого гуманизм был обязан обращать особенное внимание на изучение прошедшего. Как гуманизм XVI века подействовал плодотворно на науки филологические — ибо без научного понимания древних языков нельзя было проникнуть в античный мир, — так гуманизм XIX века благоприятствовал успехам наук исторических. Историческое направление, генетическое объяснение явлений, сделалось господствующим во всех науках. Сама же история была выдвинута на степень общественной науки, руководительницы в современных вопросах. Это высокое призвание ее обусловливалось тем, что ей указан был строго научный путь. В основание ее явлений была положена идея закономерного развития. Но вместе с тем не было забыто гуманное сочувствие к человеку, как к отдельному лицу, так и к массе. Вот как выразился об этом С. М. Соловьев в теплых словах, посвященных им памяти главного и самого блестящего представителя русского гуманизма в то время, Т. Н. Грановского:

«Грановский начал свою профессорскую деятельность, когда умы молодого поколения были сильно возбуждены великим стремлением, господствовавшим в исторической науке; стремлением уяснить законы, которым подчинены судьбы человечества. Несмотря на непререкаемую важность, благотворность этого стремления, и здесь, как во всяком деле, во всяком стремлении человеческом, можно было дойти до вредной односторонности, которая действительно и обозначилась в исторических сочинениях, важных по своему достоинству и влиянию: имея в виду общие законы развития человечества, рассматривая исторических деятелей, целые поколения и народы только как орудия для достижения известных целей, — приобретали жесткость взгляда, теряли сочувствие к поколениям и народам, к их радостям и торжествам, к их страданиям и падениям, мало того, приобретали равнодушие, неразборчивость при оценке средств, которыми достигались известные цели. что нужды, если употреблялись средства ненравственные, лишь бы это было во имя благодетельных для человечества идеи! «Идеи не суть индейские божества, которых возят в торжественных процессиях и которые давят

поклонников своих, суеверно бросающихся под их колесницы», — вот слова, раздавшиеся в аудиториях нашего университета с появлением в них Грановского»

Общественное значение русского гуманизма представляется таким образом с двоякой стороны: ставя современному обществу высокие общечеловеческие идеалы, побуждая его во имя идеи прогресса идти вперед по пути общечеловеческой культуры, вселяя ему сочувствие к гуманным началам — он в то же время содействовал разумению прошедшего научной обработкой истории.

К этому направлению, к *западникам*, к русским гуманистам примкнул и Соловьев. Его привлекал к ним прежде всего его научный интерес, а затем сознание, что научное их направление есть вместе с тем и наиболее национальное. Научно-европейское образование поставило его высоко над теми робкими умами, которые из страха перестать быть русскими боялись сделаться европейцами. То, что таким людям *казалось чуждым*, ему не было чуждо, потому что удовлетворяло глубоким потребностям его чисто русской натуры. «Здесь дело не в подражании, — восклицал он. — Дело в том, что волею-неволею мы вошли в семью европейских народов, живем общею с ними жизнью». Сознание этой внутренней связи русского с общечеловеческим у него выразилось словами: «Мы европейцы, и ничто европейское не может быть нам чуждо»[7].

Бессмертная заслуга Соловьева заключается в том, что он внес это гуманное, культурное начало в русскую историю и вместе с тем поставил разработку ее на строго научную почву. Эти два начала, проводимые им в русской истории, тесно связаны и обусловливают собой как общий взгляд его на его задачу, понимание общего хода русской истории, так и отношение его к отдельным вопросам. Он сам указал на эту связь, назвав свое направление *историческим* и определив сущность его тем, что оно признает начало историческое, считает историю тождественной с движением, с развитием, тогда как противники этого направления не хотят видеть в истории прогресса или не сочувствуют ему. В этом выражается общий принцип, общий взгляд на историю. Что же касается до отношения к отдельным фактам, то историческое направление характеризуется тем, что оно следит за *историей явления*: из воздушных пространств, где держатся приверженцы антиисторического направления, сходит на твердую почву действительности, отвергает всякий мистицизм в объяснении и оценке явлений.

Несмотря, однако, на взаимную связь научной и культурной стороны в деятельности С. М. Соловьева по русской истории, мы принуждены рассмотреть здесь каждую из этих сторон по-возможности отдельно, и начнем с первой.

Принцип исторического отношения к явлениям, задача выяснить «историю явления» заключают в себе обязанность дать отчет о причинах, породивших его и обусловливавших характер его развития. Между этими причинами нужно прежде всего взять во внимание так называемые физические факторы. О важности этих факторов еще недавно возвещалось с большим шумом и большими притязаниями; имелось в виду выдвинуть их на первый план и произвести какой-то переворот в исторической науке. Приверженцы «нового средства» были недостаточно знакомы с историей науки. Не говоря уже о прежних попытках вникнуть в связь между природой и судьбой народов, этот вопрос еще в начале нынешнего века был поставлен на научную почву знаменитым Риттером. Дело не ограничивалось случайными, отрывочными наблюдениями; из них были выведены общие законы; сложилось убеждение, что история народов представляет видоизменения одного общего процесса.

«Везде, — говорит Риттер, — я нашел те же самые законы, те же побуждения к переселению, к оседлости, к земледелию или к мореплаванию». Идеи Риттера о взаимодействии между природой и человеком нашли себе рано сочувственный отголосок среди русских ученых. Они произвели глубокое впечатление на Грановского. В «Истории России» они нашли себе блестящее применение. Сколько свежести, реальности, смысла этим путем внесено в изложение русской истории! Какой, например, мастерский «взгляд на карту Европы» брошен в начале XIII

[7] Ист. письма. № III. «Русский вестник» 1859 г., март // Кн. XVI. С. 390 настоящего издания.

тома для объяснения общего характера русской истории, хода европейской цивилизации с запада на восток «по указанию природы». Подобными реальными наглядными чертами *индивидуализируется* история русского народа и рассеиваются туманы, напущенные мистическим отношением к народному и племенному духу; к указаниям природы опять прибегает историк, когда ему нужно объяснить различие между киевским периодом и следующими за ним, «когда историческая жизнь отливает на восток в область верхней Волги». Как метко, между прочим, характеризуется направление исторической жизни в этом периоде, ослабление связи с Европой, с западом — простым вопросом: «Куда течет Волга, главная река новой государственной области — туда, следовательно, на восток, обращено все». Как глубоко проведено различие между Западной *каменной* и Восточной *деревянной* Европой! Сколько существенных черт в истории и цивилизации Западной Европы объяснено указанием на существование там *камня*, то есть по-старинному гор — политическое раздробление, племенная особность, аристократический характер общественного быта, рыцарство и город с его свободой, развитие монументального искусства, общий характер цивилизации: «Все прочно, все определенно, благодаря камню». С другой стороны, как пластично выступает во всей истории России противоположное влияние двух господствующих в восточной равнине форм, *леса и степи*, и вытекающая отсюда борьба народонаселения двух половин России, лесной и степной.

Не только жизненную правду и реальность вносят в историю России эти указания природы: они имеют еще более важное общее значение. Они показывают, что эта «История России» строилась на прочном научном фундаменте. Законы природы везде одни и те же: если указывается на их влияние, это значит, что историк видит в истории общий, единый процесс.

Научный взгляд на историю еще более обнаруживается у Соловьева в том значении, которое он придает «сравнительно-историческому методу». Редко кто обладал в такой степени необходимым для этого условием — обширной начитанностью и знакомством с историей других народов. Отсюда аналогии, к которым он так любил прибегать для объяснения явлений русской истории. Сколько различных аналогий приводятся им, например, для того, чтобы установить правильный взгляд на петровский переворот. Когда он хочет осветить «революционный» характер так называемого преобразования, он обращается за уяснением к сравнению с Французской революцией. «Как здесь, так и там болезни накоплялись вследствие застоя, односторонности, исключительности одного известного направления; новые начала не были переработаны народом на практической почве; необходимость их чувствовалась всеми, но переработались они теоретически в головах передовых людей, и вдруг приступлено было к преобразованиям; разумеется, следствием было страшное потрясение: во Франции слабое правительство не устояло, и произошли известные печальные явления... В России один человек, одаренный небывалою силою, взял в свои руки направление революционного движения, и этот человек был прирожденный глава государства»[8].

Когда наш историк хочет опровергнуть взгляды тех, кто «вооружается против преобразований, идущих сверху», — он напоминает обращение европейских народов в христианство; и тут «дело обыкновенно шло сверху: принимали христианство князь и дружина его, и потом уже новая вера распространялась в массе, причем не обходилось без ожесточенной борьбы, без страшного сопротивления со стороны народа, отстаивавшего свою старину, веру отцовскую: да и после принятия крещения масса в продолжение веков оставалась двуверной, не могла забыть старых богов» и т. д. Когда он хочет показать, что преобразование было тем не менее делом народным, он чрезвычайно удачно обращает внимание читателя на Генриха VIII, введшего реформацию в Англию: «Известно, какое сильное сопротивление встретил он своему делу, какие сильные восстания вельмож и народа должен он был побороть; значит ли это, что реформа, которой так гордятся англичане, была личным делом Генриха VIII?» Всякий, кто сколько-нибудь знаком с средневековой и новой историей Англии, с духом английского народа,

[8] XIV т. 163 // Кн. VII. С. 427 настоящего издания.

конечно, убежден в том, что принятие протестантизма в Англии было истинно-народным делом.

И не только общий характер, дух исторических явлений выясняются посредством аналогий; сравнения часто помогают определить конкретные формы, размеры явлений. Как истинный ученый, С. М. Соловьев не смущается громкими словами, общими терминами: когда он имеет дело с «городами» у славян, раскинувшихся по рекам и озерам древней России, он не увлекается воображением: ему не виднеются крепкие города Западной Европы с их сплоченной самостоятельной буржуазией; не рисуются города Востока с их роскошными базарами; из воздушных пространств он сразу низводит читателя на твердую почву; он представляет ему как бы фотографический снимок с того же самого явления, снятый целое тысячелетие спустя, но с народов, находившихся на той же ступени быта, на которой стояли древние славяне: «В XVII веке, — рассказывает он, — русские военные отряды, распространяя власть великого государя по Северной Азии, находили туземцев, живших отдельными родами, каждый под властью своего родоначальника, или *князьца*; но обыкновенно жилища семей, составлявших род, были укреплены, обнесены острожками, которые русским людям надобно было брать иногда приступом... В острожке бывало по 14 юрт, а юрты большие, в одной юрте жило семей по десяти»[9].

Значение сравнительно-исторического метода не ограничивается тем, что наводит историка на аналогии. Аналогии, указывающие на общие черты явлений, могут очень содействовать их выяснению, но только в исследованиях осмотрительного, трезвого ученого, не увлекающегося быстрыми обобщениями. Научное значение сравнительный метод получает тогда, когда он основан на сознании, что исторические явления совершаются на общей почве, управляются общими законами: что историческое развитие народов при одинаковых условиях совершается в тех же формах; но вместе с тем исследователь при сравнении отмечает различие между аналогическими явлениями, индивидуальные черты их, видоизменения и оттенки. В этом именно строго научном смысле применяется сравнительный метод в трудах Соловьева. Благодаря этому методу значение родового быта в русской истории сделалось неотъемлемым приобретением русской науки. Благодаря ему же сделалось немыслимым для образованного человека утверждать, будто община есть какое-то прирожденное славянам учреждение, им одним принадлежащее. Но, устанавливая общие родственным европейским народам исторические черты, С. М. Соловьев никогда не терял из вида особенностей, различий. Вот как он говорит в одном из своих исторических писем об общинном быте: «Что же касается вопроса, составляет ли община явление германской или славянской народности, то об этом говорить много не нужно: всякий, кто хотя сколько-нибудь знаком со сравнительным изучением истории общественных форм и явлений у разных народов, знает хорошо, что общинный быт есть столько же национальное явление и у славян, как у германцев. Вопрос может идти только об особенностях и степени развития».

В другом письме он следующим образом говорит об исходном пункте истории германских и славянских народов, о завоевании: «Пора бросить старые толки о различии наших и западных общественных отношений на основании завоевания и незавоевания — на том основании будто бы, что на Западе было завоевание, а у нас его не было. И у нас было завоевание: этого факта нельзя вычеркнуть из летописей... Дело в том, как происходило завоевание, в какой стране, при каких природных и обшественных условиях: от этих условий и происходит все различие в общественных отношениях на Западе и у нас».

Научное отношение к истории далее проявляется у Соловьева в его органическом понимании исторических явлений. История народов есть органический процесс. Как в организме все части и ткани находятся во внутренней связи между собой, обусловливают друг друга, так и в народной жизни различные формы и явления связаны между собой. Как жизнь организма разделяется на возрасты, различные между собой, но постепенно следующие один за другим

[9] XIII т. 44 // Кн VII С 9 настоящего издания

с известной законностью, вытекающие один из другого, — так историк может отмечать известные эпохи в истории народа, следующие одна за другой, не только в хронологической, но и во внутренней связи представляющие дальнейшее развитие одного общего начала. Этот органический взгляд на историю превосходно развит нашим историком в начале его «Исторических писем»:

Ряд изменений, замечаемых при развитии живого организма, состоит в движении от простоты и однообразия устройства к его разнообразию и сложности. «Первый шаг в развитии обозначается появлением различия между частями... потом каждая из различившихся частей начинает в свою очередь обнаруживать различие частей. Процесс этот беспрестанно повторяется, и через бесконечное умножение такого выделения частей образуется наконец сложная сеть... органов», составляющая живой организм в его полном развитии. «Это явление, которое мы называем прогрессом, общее всем организмам, как природным, так и общественному... В обществе, на низкой ступени развития находящемся, дикарь производит сам все для себя нужное; но потом постепенно является разделение занятий, образуются отдельные органы общественные. В обществах, недовольно развитых, первосвященник и государь слиты в одном лице, религиозные и гражданские законы смешаны: в силу прогресса все это мало-помалу различается, разделяется... Но прогресс не состоит в одном только бесконечном членоразделении; для образования организма необходимо, чтобы части, органы, выделяясь, обозначаясь, находились в тесной связи между собою»[10].

Перенося в историю понятие, заимствованное из жизни природы, Соловьев никогда не забывал, что имеет дело с явлениями другого, высшего разряда: «Легко сравнивать организмы природные с организмом общественным: действительно, сходство поразительное, законы одни и те же; но не должно забывать, что члены общественного организма суть существа свободно-разумные или целые соединения таких существ; что каждое из них первоначально вращается в тесной сфере, где видит преимущественно только себя; что сфера эта расширяется чрезвычайно медленно; медленно члены общественного организма приходят к сознанию о необходимости тесной внутренней связи друг с другом для поддержания полной жизни каждого из них и, наоборот, о необходимости полнейшего развития каждого из органов для поддержания внутренней связи между ними, для совершеннейшего развития общественного организма».

Потребность органического понимания истории заставляла часто Соловьева обращаться к сравнениям различных эпох в истории с соответствующими возрастами человеческой жизни. Этой любимой привычке историка обязаны мы некоторыми из самых характерных страниц, некоторыми из самых верных и живых характеристик. Напомним, например, читателям место, в котором русское общество в начале XVIII века характеризуется верно подмеченными чертами детского возраста: «Даровитый восприимчивый ребенок начинает учиться: узнает много нового, чего другие не знают; первое необходимое следствие этого в ребенке — гордость, чувство своего превосходства над другими, желание высказывать это превосходство, хвастаться, щеголять новоприобретенным знанием. Новое, чужое, что им приобретено, имеет для него необыкновенную прелесть; старое, свое, всем известное, всем доступное — не имеет никакой. Ребенок необходимо педант, ибо не имеет силы овладеть новым предметом и овладеть самим собою при пользовании этим предметом и потому носится с ним, всем показывает и хвастает: отсюда страсть употреблять некстати научные положения и слова, страсть употреблять иностранные слова вместо своих, говорить без нужды на иностранном языке, подражать иностранным обычаям, даже и таким, которые ничем не лучше своих прежних. Все это мы видим у русских людей XVIII века, и все это было естественным, необходимым следствием состояния русского общества в допетровское время»[11].

[10] Ист. письма. I «Русский вестник». 1858 Март // Кн. XVI. С. 354—355 настоящего издания.

[11] Шлёцер и антиистор. направление // Кн XVI. С. 342 настоящего издания

Внесение этого органического взгляда на русскую историю составляет очень важную сторону научных заслуг С. М. Соловьева. Благодаря этому взгляду прежнее морализующее направление в истории (знаменитым представителем которого был Карамзин) уступило место научному. Как единый, разумный, величественный процесс, развернулась история русского народа в труде Соловьева, от первобытного состояния до новых времен. Ясно, отчетливо следовали друг за другом в своей жизненной правде отдельные эпохи, каждая понятная в самой себе, и еще более осмысленная тем, что представлялось естественным последствием прежних, зародышем грядущих веков. История России не нуждалась более в схематическом распределении по логическим категориям, вытекавшим из понятия власти,— «Россия основалась единоначалием, гибла от разновластия и спаслась самодержавием».

Вместо этих трех искусственных периодов являются эпохи, определенные внутренним течением исторической жизни: оттого и характеристика каждой из них становится несравненно вернее, и раскрывается смысл исторической жизни там, где прежние историки, смотревшие с высшей точки зрения на предмет, его не находили. Интересно в этом отношении сравнить характеристику времени Ярослава I и следующей затем эпохи у Карамзина и у Соловьева. Для Карамзина правление Ярослава I было первым счастливым периодом в истории России: тогда Россия рожденная, возвышенная единовластием, не уступала в силе и в гражданском образовании первейшим европейским державам. За этим наступил несчастный период разновластия. Подвергая критическому разбору этот взгляд своего предшественника, Соловьев указывает[12], что Карамзин не признавал связи между Россией до Ярослава и после него, и объясняет причины такого отношения к делу: отвергнув мысль, что Россия до половины XI в. была государством рождающимся, «признав это государство в самом начале могущественным и славным», Карамзин «по тому самому не признал в последующем периоде постепенного, хотя трудного и медленного возрастания и окрепления государства».

Совершенно иначе характеризует этот период основатель исторического направления в русской истории: он видит в нем продолжение движения на великой восточной равнине Европы, продолжение героического, богатырского периода русской истории. «Если,— говорит он,— мы взглянем на карту России и припомним, что должно было представлять это обширное пространство в XI и XII веках, то понятно нам станет значение... этой постоянной передвижки, беготни, под условием которых поддерживались начатки исторической жизни во всех частях, поддерживалось всюду сознание о единстве Русской земли. До призвания князей существовали отдельные племена, сходством своим способные принадлежать к одной народности; с признанием князей, с началом исторического движения племена приводятся в связь, преимущественно внешнюю, начинается переработка их быта; но только благодаря явлениям, характеризующим время от смерти Ярослава до конца XII века, является русский народ»[13].

Подобным образом устанавливается правильная органическая связь между Киевской Русью и Русью Северо-Восточной. У Карамзина последняя обязана своим возвышением единственно личным достоинствам Андрея Боголюбского и нерасположению его к Юго-Западной Руси, которая казалась ему обителью скорби и предметом гнева небесного[14].

По мнению Карамзина, сила Андрея Боголюбского заключалась единственно в его добродетелях, которые давали ему превосходство над прочими князьями: разум превосходный заставил его стремиться к искоренению вредной удельной системы. Карамзин, правда, намекнул об особенностях характера северного народонаселения: но, говоря потом о значении княжения Андреева, выразил сожаление, что Андрей по своему личному расположению покинул юг для севера, и,

[12] Карамзин и его литерат. деятельность. Ст. III. «Отеч зап.». 1851 г. Т. 94 // Кн. XVI С. 76—77 настоящего издания.

[13] XIII т. С. 12—13 // Кн. VII. С. 16 настоящего издания

[14] Карамзин и его литер. деят. Ст III и IV // Кн. XVI. С 74—122 настоящего издания.

таким образом, Карамзин ясно высказал мысль, что и юг был вполне способен к произведению того порядка вещей, который утвердился на севере.

Совершенно иное впечатление выносит читатель из «Истории России с древнейших времен». Он как бы сам присутствует при зарождении нового порядка вещей: ему отчетливо обрисовываются причины, вызвавшие этот новый порядок, наглядно представляются условия, определившие ход его развития. Историк реальными, правдивыми чертами характеризует быт Киевской Руси и заключает это описание словами, обнаруживающими глубокое понимание народного развития: «Все здесь, на восточной равнине, отзывается первобытным миром, общество как будто еще в жидком состоянии, и нельзя предвидеть, в каком отношении найдутся общественные элементы, когда наступит время перехода из этого жидкого, колеблющегося состояния в твердое, когда все усядется и начнутся определения»[15].

Затем он ставит вопрос, когда же и где именно, при каких условиях начались эти определения? И показывает, каким образом несчастное положение юго-западной окраины заставило часть ее жителей выселяться в страны более спокойные. Эти страны были именно отдаленные северо-восточные волости русские; суровая климатом, бедная населением область верхней Волги, где князья, тяготясь малолюдностью, отовсюду призывали насельников.

Этими условиями объясняется совершенно иной характер отношений между населением и князем, иной характер княжеской власти, начало новой эпохи в русской истории. «В западных областях славяне были старые насельники, старые хозяева, князья были пришельцы; на востоке, наоборот, славянские поселенцы являются в страну, где уже хозяйничает князь; князь строит городки, призывает насельников, дает им льготы; насельники всем обязаны князю, во всем зависят от него, живут на его земле, в его городах. Эти-то отношения народонаселения к князю и легли в основу того сильного развития княжеской власти, какое видим на севере». Разумеется, многое зависело здесь и от того, воспользуются ли князья своим положением. «Явился именно такой князь, который как нельзя лучше воспользовался своими выгодными отношениями к своему народонаселению, именно Андрей Боголюбский». Он понимает очень хорошо значение слова: мое, собственность, а не хочет знать юга, «где князья понимают только общее, родовое владение. Андрей, как древний богатырь, чует силу, получаемую от земли, к которой он припал, на которой утвердился навсегда: он не покидает этой земли, не переезжает в Киев, когда тот достался ему и по родовым правам, и по правам победы. Этот первый пример привязанности к своему, особому, первый пример оседлости становится священным преданием для всех северных князей, и отсюда начинается новый порядок вещей»[16].

Таким же органическим взглядом проникнута у Соловьева дальнейшая история Северо-Восточной Руси: так же естественно связана у него история Владимирского княжества с Московским. Значение этого взгляда особенно обнаруживается при сравнении с предшествующим. Отрицая у преемников Андрея и Всеволода III стремление к единовластию, Карамзин порвал предание, постоянное сохранявшееся у северных князей, порвал необходимую связь явлений, вследствие чего период от смерти Всеволода III до самого Иоанна Калиты лишен у него всякого значения. Усматривая в этом периоде только бессмысленные драки княжеские, Карамзин был принужден преувеличить значение Иоанна III, начать с него крутой переворот в истории России, который не находил себе объявления в предшествовавшем. «Отселе история наша приемлет достоинство истинно государственной», — говорит Карамзин. Совершенно иначе выяснена история Московского великого княжества трудами Соловьева. Соглашаясь со своими предшественниками: Щербатовым, Карамзиным относительно высокого значения личности Иоанна III, Соловьев показывает нам так ясно постепенный рост Москвы, что имеет право сравнить Московское государство перед княжеством Иоанна с памятником, который был приготовлен, но еще

[15] XIII т. С. 19 // Кн VII С 20 настоящего издания.
[16] XIII т. С. 2 // Кн. VII С. 22 настоящего издания.

не был открыт: «Иоанну суждено было снять полотно, закрывавшее памятник»[17].

Руководясь своим органическим взглядом на события, своей привычкой вникать в *историю явления*, основатель исторического направления свел к его истинным размерам *влияние монгольского ига*, он дал нам право усомниться, действительно ли они следствие татарского ига. Историческое направление вместе с тем освободило науку и от самых побуждений, заставивших прежде преувеличивать влияние монгольское. Еще Карамзин не знал, чем именно объяснить конец княжеских усобиц и установление единовластия, и высказал мнение, что Россия без монголов, вероятно, погибла бы от усобиц.

Мы не можем дозволить себе в предлагаемом очерке следить шаг за шагом, как проводится органический взгляд исторического направления на явлениях древнерусской истории, и потому прямо обратимся к этой эпохе, в объяснении которой проявляются особенно ярко достоинства и значение научного метода С. М. Соловьева, к переходу от древней России к новой.

В простых, но определенных выражениях высказана им сущность его взгляда: «Последователи исторического направления тесно связывают обе половины русской истории — допетровскую и послепетровскую; в явлениях последней видят *результаты* явлений первой». Несмотря на наружный контраст между новой Россией и древней, эти две половины русской истории органически связаны между собой, они связаны историческими законами. Петровское преобразование может быть признано результатом древней России в двояком смысле. Необходимость преобразования, вытекавшая из всей предшествовавшей истории, представляет две стороны: одну из них можно назвать практической; она заключалась в том, что обращение к Европе, к европейским идеям и формам вызывалось условиями петровской эпохи, было лучшим практическим средством, чтобы выйти из заблуждений, вызванных несостоятельностью древнерусского строя; древняя Русь не могла *собственными средствами* удовлетворить своему исконному стремлению.

Другая сторона может быть названа исторической необходимостью: она заключалась в том, что весь предшествующий ход русской истории — указания природы, направление истории, характер народного духа, самой религии — подготовили соединение с Европой: общие законы развития цивилизации требовали его. «Средство, употребленное новой Русью для удовлетворения своего исконного стремления, было естественно, необходимо, законно и было не ново, потому что употреблялось уже и древней Русью».

Этот внутренний смысл петровского преобразования мастерски объяснен историком на странице, которая по своей простоте и глубине должна глубоко врезаться в памяти всякого, кто желает усвоить себе смысл этого великого явления в русской истории. «Итак, если человек для полноты своего человеческого развития должен жить в обществе себе подобных; если народ для полноты своего народного развития должен жить в обществе других народов — то вопрос решен о значении петровской эпохи, эпохи преобразования, вопрос решен об отношениях древней России к новой. Древнее русское общество, несмотря на величие подвигов, совершенных им в деле внешнего государственного созидания, в преодолении препятствий, этому созиданию противопоставленных, не могло двигаться далее по пути нравственных и материальных улучшений, не вступив в семью европейско-христианских народов, да и по характеру своему не могло не вступить в эту семью при первой возможности. Следствия особной жизни так явны в нашей древней истории, что о них не нужно много распространяться, бессознательное, суеверное подчинение обычаю, обряду, форме, букве, ослабление веры в дух, который живит, слишком явны Древняя Россия именно пребывала в формах быта земледельческого; в ней господствовало село, деревня; город не имел того значения, какое мы теперь с ним соединяем... Чтобы выйти из состояния застоя, оцепенения нравственного, чтобы понять себя и свое, для

[17] Карамзин и его лит. деят. Ст. V // Кн. XVI. С 136 настоящего издания

человека и для народа одно средство — сообщество с другими людьми, другими народами, и вот Россия в начале XVIII века вступает в это сообщество»[18].

Несмотря на все свое сочувствие к делу преобразования, историк не упускает из вида и слабых сторон его. Он указывает на односторонность, с которой выступало новое начало, на неподготовленность общества к реформе, которой оно само же требовало и без которой жизнь его пришла бы в застой: «Неприготовленность как в руководимых, так и в руководителях, начиная с главного, самого Петра, в котором, при всем уважении к его гению, мы должны видеть человеческое существо, ограниченное по своим средствам».

Но, указывая на неблагоприятные для организма последствия крутого переворота, историк объясняет с помощью истории, почему этот переворот именно был таким крутым. Причина этого явления заключается в неразвитости того общества, которое требовало реформы. Доказавши примером Посошкова, человека из народа, «неприязненного к иностранцам» и потому вполне беспристрастного свидетеля, что современники Петра не были в состоянии представить себе улучшение «без разрушения старой храмины», историк говорит: «Эта страсть к коренным переворотам, к полному отрицанию старого и созданию нового, есть также плод неразвитости сознания. Одна крайность — бессознательное подчинение старому — ведет необходимо к другой крайности — к бессознательному стремлению к новому. Вообще все крутые, коренные перевороты, в каком бы смысле ни происходили и откуда бы ни шли, сверху или снизу, суть следствие неразвитости сознания, детства народного, и способны к ним обыкновенно бывают те народы, которые, при видимой возмужалости, сохраняют в своем характере много детского».

Таким образом, историческое направление объясняет не только необходимость переворота, с которого начинается новая Россия, но и самый характер его; новую же Россию приводит в близкую связь с древней, видит в ней прямой результат последней. Историческое направление отвергает два крайние взгляда на отношение петровской России к Московской, как тот, который заявляет, что Петром Великим Россия призвана от небытия к бытию, забывая о Московской Руси; так и противоположный, который приписывает все московским князьям, «из ничего воздвигших державу сильную», и видит в Петре простого преобразователя государственного механизма[19].

Основатель исторического направления поставил своей науке высокую задачу: он видел в истории *примирительницу* веков. Он полагал, что современная наука достаточно созрела для этой цели. «Каждому дню, — сказал он, — его забота, каждому веку его труд; нашему времени завещано собрать воедино все части русской истории, найти смысл и в древнейшей Киевской и Владимирской истории и *примирить* все эпохи»[20].

Этот великий завет нашего времени, сознанный Соловьевым, им же и осуществлен. Благодаря его труду русская история сделалась действительно органом самопознания русского народа: собиранию Русской земли в прошедшие века стало соответствовать собрание частей русской истории в сознании народном, как оно отразилось в произведении национального историка, собирателя русской истории.

Историческое направление выразилось у Соловьева не в одном органическом понимании русской истории, не в том только, что жизнь русского народа представляется им как единый, из себя развивающийся своей внутренней жизненной силой организм; жизнь этого народа тесно связана с жизнью других европейских народов. Судьба русского народа только часть другого великого организма, также единого и живущего общей жизнью своих частей, — Европы, цивилизованного человечества

[18] Шлёцер и антиист. направление. 464 // Кн XVI С. 340—341 настоящего издания

[19] Шлёцер и антиист. направление // Кн. XVI С. 315—352 настоящего издания

[20] Речи, пр. в день Карамз. юбилея // Кн. XXIII. С. 168 настоящего издания

Сознание этой связи никогда не покидало С. М. Соловьева в его исторических трудах. Чтоб поддерживать его в себе, он посвящал столько дорогого для него времени изучению литературы всеобщей истории; сознание этой связи побуждало его делать свои наблюдения над исторической жизнью народов. Таким способом он развил в себе ту широту и цельность взгляда, которые довершают научный характер его истории России. Какую струну народной жизни он бы ни рисовал, историк никогда не теряет из вида того, что совершается в остальной Европе и преимущественно в славянском мире; так, например, существенная сторона русской истории — борьба с Азией, со стихийной силой диких кочевых народов — приводится им в связь с однородными явлениями у других европейских народов, вдвигается им в всемирную историю; все события этой борьбы Европы с Азией, оседлых народов с кочевыми от поражения «Аттилы при Шалоне до покорения Крыма Екатериной Великой» охватываются его историческим взором как один общий исторический процесс. Таким образом, история Западной Европы сливается с судьбой восточной ее половины; тяжелая борьба русского народа за существование получает всемирное значение; исторический подвиг русского народа возводится к понятию общечеловеческого призвания.

Это сближение русской истории с европейской занимает, конечно, тем более места, чем ближе подвигается историк к новым временам. Особенно важное значение получает это сближение в истории петровской эпохи. Характеристика этой эпохи была бы неполная и односторонняя без оценки европейского значения ее. Такая оценка составляет существенную черту в трудах С. М. Соловьева, посвященных Петру Великому. С этой точки зрения, конечно, еще более «возрастает величавая фигура Петра». Он представляется виновником соединения обеих половин Европы к общей деятельности, «на него указывается, как на великого человека, послужившего более других для своего народа и для человечества».

Нам остается еще для характеристики научного метода С. М. Соловьева привести его взгляд на обязанности историка. В этом взгляде рисуется не только он сам, но и превосходно выясняется научное и нравственное значение *того направления*, которому он положил, как нужно надеяться, прочное основание. Современный представитель *исторического направления* в области русской истории признавал родоначальником этого направления «знаменитого Шлёцера». Что же он всего более ценил в Шлёцере? В чем заключаются те достоинства Шлёцерова труда, на которые он счел нужным обратить внимание, потому что «они сохранили вполне свою поучительность в настоящее время, и имеют, быть может, теперь гораздо более значения, чем когда-либо прежде». Главной заслугой Шлёцера признается то, что он оценил Нестора как «летописца начального, первобытного общества; ученый критик уважал Нестора, потому что в простом рассказе его не находил ничего, что не соответствовало бы этому первобытному состоянию». Гласно и решительно высказалось мнение, что рассказ об известном времени в жизни известного общества должен соответствовать этому времени во всех чертах своих... Это соответствие выставлено главной нравственной обязанностью повествователя, и труд, отличающийся таким соответствием, был назван *честным*.

Итак, то, что в объективном отношении называется научностью, в субъективном называется *гласностью*. Историк имеет нравственные обязанности по отношению тех людей, того общества, о котором он повествует. Историк не должен ни умалять ни украшать прошедшего; малое он должен признать малым, простое — простым. Историк не должен вносить в прошедшее идей другого времени, предъявлять ему требования, которых оно не знало. «Недоразумения, споры, искажения фактов происходят от непростительной для уважающего науку человека привычки навязывать настоящие наши воззрения предкам»[21].

Историк должен соблюдать ту соразмерность между явлениями и интересами известного времени, которую представляет действительность. «Обязанность историка — показать причины, почему одно начало действует на первом плане, а другие действуют слабо, медленно... историк, увлекшись каким-нибудь сочувст-

[21] Шлёцер, 467 // Кн. XVI. С. 343 настоящего издания.

вием, не смеет перемешивать явления по произволу, не смеет выставить на первом плане то, что на нем не находится»[22].

Эти обязанности, возлагаемые на историка, С. М. Соловьев сам, можно сказать, исполнял свято, и его собственный труд поэтому носит на себе все черты, которыми он обусловливал признание исторического труда *честным*. Честен был первый летописец русский, честен первый историк, исполнивший завет Петра. Призвание историка совпадало по его убеждению с служением *правде*, правде, неукрашающей и нельстящей ни лицам и народам, ни интересам и мнениям. Он понимал науку в самом высоком ее смысле: она была тождественна для него с исполнением нравственного долга

Мы ограничимся этими указаниями на научную сторону в деятельности историка и перейдем к рассмотрению ее культурного, общественного значения. Уже громадным трудом своим, примененным к изучению русской истории; научным методом, который он внес в ее обработку, добросовестным исполнением того, что он считал обязанностью *честного* историка, С. М. Соловьев должен был иметь благотворное цивилизующее влияние на современное русское общество; но он не удовольствовался одним этим косвенным влиянием. Он ставил исторической науке высокие требования, он возлагал на историка важные обязанности по отношению к современному обществу. Наука, утверждал он, должна всем своим могуществом помогать обществу при разрешении его задач, и «прежде всего история должна способствовать установлению правильного взгляда на настоящее, установляя правильный взгляд на отношения настоящего к прошедшему»[23].

Этой культурной просветительной обязанности историка С М. Соловьев служил с сознанием и твердостью. Изображая его заслуги в этом отношении, мы остановимся на трех вопросах: на его борьбе за начало прогресса и на его взглядах на народность и на государство.

Историческое направление, то есть научное отношение к истории, видит в истории движение, развитие; движение в прошедшем включает в себе представление о продолжении его в настоящем и будущем. Таким образом, историческое направление ведет к признанию прогресса в современном обществе и к требованию дальнейшего успеха. Связь между историческим направлением и стремлением к прогрессу наглядно обнаруживается еще в том, что направление противоположное — антиисторическое, как его называл Соловьев, — отрицает прогресс, относится к нему враждебно.

С. М. Соловьев вообще не любил борьбы, полемики с ложными тенденциями в науке и общественной жизни. Полемика нарушала правильное течение его научных занятий, которое сделалось для него нравственной потребностью. Только антиисторическое направление, оживившееся в нашей литературе в конце 50-х годов, заставило его изменить своему обычному правилу и выступить с несколькими журнальными статьями, заслуживающими в наше время особенного внимания. Антиисторическое направление проявлялось главным образом в произвольных взглядах на древнюю русскую историю. Оно, например, отрицало родовой быт и этим ставило историю русского народа вне общих законов, по которым развивалась история других европейских народов. Подобно тому как у западных народов, прежде чем установилось в истории научное направление, идеализировали *вольности* предков, так и в русской литературе явились поклонники вечевого начала, стали преувеличивать значение земских соборов и для большей важности выводить московские соборы из древнего городского веча.

Но кроме искажения отдельных сторон русской истории антиисторическое направление устанавливало совершенно превратный взгляд на общий ход русской истории. С этой точки зрения русская история представляла постоянное уклонение от истинного пути. Не говоря уже о мнении, будто петровское преобразование насильственно оторвало Россию от самобытного, национального развития, оказалось, что роковая ошибка была сделана гораздо раньше, что в конце

[22] Ист. письма. III. «Русск вестн.» 1859 г., 20 т. С 15 // Кн XVI. С. 398 настоящего издания.

[23] Истор письма. I. С. 11 // Кн. XVI С. 359 настоящего издания.

XV века захотели по византийской форме определить общественную жизнь России, еще искавшую тогда своего равновесия, и что уже тогда и может быть вследствие этого начался упадок русской образованности. «Подчинив развитие общества чужой форме, русский человек тем самым лишил себя возможности живого и правильного возрастания в самобытном просвещении»[24].

Совершенно последовательно был потом сделан последний логический шаг в воздушное пространство; упадок самобытности русского народа начинали считать не с конца XV века, «когда стали смешивать христианское с византийским», а с X века, когда национальная религия днепровских славян должна была уступить место христианству.

Понятно, что основатель исторического направления в русской истории не мог равнодушно относиться к этому отрицанию истории. Но интерес исторической науки был в этом случае тесно связан с высшими интересами общества. Антиисторическое направление, отрицавшее прогресс в русской истории, было в то же время отрицанием современной цивилизации, результата предшествовавшего прогресса.

Против этого враждебного отношения к современной цивилизации не мог не выступить приверженец русского гуманизма. С свойственной ему широтой взгляда, добытого через близкое знакомство с общей историей человечества, он тотчас привел в связь это современное отрицание прогресса с подобными же стремлениями в другие времена. Он вспомнил, «сколько раз человечество приходило в отчаяние от прогресса, протестовало против него, старалось остановить его, уйти от него»!

«Самый мягкий, самый дряблый из народов Востока, народ индийский — первый наскучил борьбою жизни, не мог сладить с прогрессом, привести в возможную гармонию отношения, им порожденные, и протестовал против него».

Характеризовавши это индийское отрицание прогресса, выразившегося в религиозной форме буддизма, историк указывает, что и греки в конце своего блестящего, но одностороннего развития не могли сладить с прогрессом и у них явился протест против него, который преимущественно обнаружился в политических сочинениях Платона: «Здесь высказалось стремление возвратить общество к первоначальной простоте, единству, остановить дальнейшее движение, развитие личных отношений, личных способностей, личных средств, и высшим идеалом поставлено то общество, в котором у человека отняты семейство и собственность, два могущественные двигателя при развитии силы человека»[25].

И в стремлении буддистов уйти от жизни, и в мечтах греческого философа о преобразовании современного ему строя, и в их отвращении от движения жизни, в их неуменьи сладить с прогрессом и желании остановить его, возвратиться к первоначальной простоте, однообразию, небытию — наш историк видел одинаковое непризнание достоинства человека, одинаковое презрение к его нравственным силам.

Те же знакомые черты старого буддизма С. М. Соловьев находил и в современном антиисторическом направлении и потому видел в нем не что иное, как новый буддизм.

И этот новый буддизм был враждебен прогрессу, не хотел признавать его ни в истории, ни в современном обществе, стремился уйти от него, искал свои идеалы назади, в первобытных формах, предшествовавших исторической жизни, и потому не только искажал историю, но ставил современному обществу ложные задачи, манил его на путь, который вел к застою, вел к разрушению результатов, добытых историей. Приманка, выставленная новым буддизмом для того, чтобы увлечь современное общество к самоуничтожению, заключалась в одностороннем представлении о народности.

Принцип *народности* был в известном смысле плодом реакции против крайности предшествовавшего космополического принципа. Это была великая идея, оказавшая могучее и плодотворное влияние на политическое и духовное развитие

[24] «Русская беседа». 1857 г № 4.

[25] Истор. письма I // Кн. XVI. С. 356 настоящего издания.

многих европейских народов. Применение его к истории также имело своим последствием важный успех в науке; он привел к более реальному пониманию исторической жизни народов, на которую не обращала внимания отвлеченная доктрина XVIII века. Но, как всякое новое начало, и принцип народности не избегнул искажения, подвергся тому, что должен был служить средством для стремлений отсталых и для стремлений, враждебных обществу, подрывавших значение нового начала. В двух отношениях подвергнулся искажениям смысл нового принципа, одинаково вредным для цивилизации,— в *национальном* и в *сословном*. Приверженцы первого увлечения сводили национальное к антагонизму против общечеловеческого, приверженцы второго искали национальное только в массе народа, в одном сословии — в крестьянском. В русской литературе 50-х годов обе крайности большей частью соединялись в одних и тех же представителях. Отвергая прогресс, отвергая общечеловеческое развитие, приверженцы этого направления искали свой идеал в первобытных формах и потому видели отступление от идеала в том, что эти формы народной жизни подверглись влиянию общечеловеческой культуры и в то же время идеализировали первобытный строй, сохранившийся среди крестьянства; сетовали на то, что от однообразной массы отделилась известная часть народа, явились другие сословия, произошло развитие политических и общественных форм.

С. М. Соловьев энергически восставал против этих увлечений в современном русском обществе. Во имя гуманного начала он протестовал против *самозванного стремления к народности*, которое обыкновенно присоединяется к буддистским стремлениям. Он приводил в связь узкое представление народности с «мелкой, недостойной великого народа враждой, с завистью к другим народам». Он указывал, что здесь, как и везде, новые буддисты видят мираж, предметы представляются им вверх ногами; они не догадываются, что прогресс, цивилизация, не уничтожают народности, а наоборот, могущественно развивают ее.

Превосходное доказательство справедливости этого положения представляет вся русская история, и особенно петровский переворот. Петра Великого и вообще русских людей XVIII века упрекают за то, что они рабски подражали чужому, брали все без разбора, не обращая внимания на свое, на приложение чужого к своему, но, замечает на это историк, подобный разбор, подобная рассудительность, беспристрастная оценка своего и чужого могли быть только следствием развитого сознания — а как оно могло быть развито прежде, «при бессознательном подчинении принятому, освященному веками? Это ясное различение своего и чужого, это разумное, глубокое обращение внимания на себя и на свое могло быть только плодом долговременной жизни народа в обществе других народов, могло быть только плодом долговременного упражнения мысли народной, плодом глубокого просвещения»[26].

Совершенно так же восставал С. М. Соловьев против другой стороны самозванного стремления к народности, видевшего, как выразился наш историк, «в деревенской избе единственную купель очищения для образованного общества». Вполне сочувствуя тому, что было высокого и благодетельного в симпатии к судьбе и положению народных масс, пробудившейся в XIX веке и вызвавшей в России вследствие известных условий особенный интерес к крестьянскому сословию, С. М. Соловьев не мог примириться с теми крайностями, которые нарушали цельное понятие о народной жизни, идеализировали застой, высокое делали пошлым и благодетельное — вредным.

Его ясный ум, достигший в строгой школе науки самообладания и зрелости, был далек от тех мистиков, которые «не обладают предметом своего мышления, но которыми этот предмет обладает». Он хорошо сознавал, что прогресс, развитие расчленяют, ведут к разнообразию форм бытовых и общественных; он потому не мог сочувствовать тем, которые в быте крестьянского сословия видели последнее слово истории, идеал человеческого общежития. Мастерски характеризовав крестьянское сословие, он спрашивал: почтенные свойства крестьян *как сословия* не могут быть оспариваемы, но что же, если целый народ живет в форме быта

[26] Шлёцер. 465 // Кн. XVI. С. 341 настоящего издания.

земледельческого класса сословия? Он предостерегал своих современников против доведенного «до крайности взгляда на значение народных масс, без должного определения отношения их к своим историческим представителям»[27].

Он ставил на вид *новым буддистам* «то, чего они никак не хотели понять», а именно — «что, по общему, непреложному закону развития, люди низших слоев общества, в которых, по их мнению, сохраняется истинный народный дух, по всем понятиям, обычаям, поверьям гораздо сходнее с подобными же себе у других народов, нежели члены образованного общества в разных народах, и народный дух, следовательно, обитает по преимуществу в образованных классах общества, ибо здесь высшая, духовная область, область сознания»[28].

Он заставлял их поглядеть на себя в зеркало, указывая им на подобные увлечения у соседнего народа, и для этого написал подробный критический разбор книги известного немецкого писателя Риля, который также восставал против *чуждого*, нехорошего влияния, также советовал своим соотечественникам возвратиться в лес, также вздыхал о первобытных, сельских формах, восхищался цельностью и глубокомыслием древнегерманского начала, еще не подвергшегося влиянию христианства, и, видя в крестьянах верных хранителей старины, прославлял *рустицитет*. Против защитников рустицитета С. М. Соловьев выступил с цельным гуманным представлением о народности, которым он заключает свой разбор книги Риля: «Если бы Риль не позабыл многого... если бы не освобождался от науки как от докучного произведения ненавистного прогресса, то не был бы *германофилом* и не стал бы искать немецкой народности именно там, где ее нет, тогда бы он знал, что немецкая народность выразилась в творениях Шиллера и Гёте, Баха и Моцарта, Канта и Шеллинга, а не в преданиях избы, одинаких у разных народов, в избах живущих»[29].

Разбор книги *столь талантливого, столь благонамеренного* писателя показывал, по словам Соловьева, ясно, «к каким неимоверным странностям и к какому бесплодию ведет антиисторическое направление и этот буддистский протест против прогресса, это стремление возвратиться к первоначальной простоте... материализм, неверие в нравственные силы человека, который, по мнению буддистов, тогда только чист и свеж, когда живет в лесу»[30].

Такому взгляду на народ, суживающему это понятие, С. М. Соловьев противополагает верное воззрение на общественный строй: «В новом обществе видим несколько общественных органов друг подле друга, связанных единством народным и государственным, видим церковь, закон, город, село. Правильнейшее определение отношений между общественными органами, такое определение, при котором бы эти органы не враждовали, не исключали, не подавляли друг друга, но, сознавая значение каждого, поддерживали друг друга, такое определение отношений составляет задачу европейско-христианского общества»[31].

Далее культурное влияние автора «Истории России» проявляется в его понимании государства и отношений его к народу. Мы говорили уже о национальном и научном понимании государства у Соловьева; нам приходится здесь указать на значение этого взгляда, на его важность для русского общества. Объясняя заслуги автора «Истории Государства Российского», С. М. Соловьев спрашивает: «Что такое племя, что такое народ без государства? Материал, нестройный, бесформенный материал... только в государстве народ заявляет свое историческое существование, свою способность к исторической жизни; только в государстве становится он политическим лицом с своим определенным характером, с своим кругом деятельности, с своими правами. Первое драгоценнейшее благо государства есть независимость, самостоятельность, потом возможность заявить свое

[27] Ист. Рос. XVIII т. 219 // Кн. IX. С. 527 настоящего издания.
[28] Ист. письма. I 22 // Кн. XVI С. 368 настоящего издания.
[29] Там же. I. 27 // Кн. XVI. С 372 настоящего издания
[30] Истор. письма I, 27 // Кн XVI С. 372 настоящего издания
[31] Там же. I, 11 // Кн. XVI С 359 настоящего издания, где допущена опечатка: вместо «закон» напечатано ошибочно «замок».

существование в более или менее широкой деятельности, участвовать в общей жизни значительнейших государств, лучших представителей человечества»[32].

Здесь ясно выступает цельный взгляд на государство по отношению его к народу, и на первый план выставляется культурное назначение государства. Тот же взгляд проявляется в словах, где обозначаются общественные задачи государственной власти: «Но вот цельное государство мало-помалу образуется, усиливается стремление к единству, усиливаются средства того начала, которое блюдет за соединением частей для достижения общей цели, блюдет за соблюдением мира и согласия между частями, за общественной безопасностию, начала правительственного»[33].

Этим внутренним объединением, однако, не ограничивается задача правительственной власти: этот результат только средство для достижения общечеловеческих целей. Описывая великую эпоху, в которой вырабатывалось начало единения, историк говорит: «Человек освобождался из тесных замкнутых союзов и становился членом государства, определялись непосредственные отношения каждого человека к государству; отсюда естественным необходимым путем выработалась идея человечества»[34].

Подтверждением и проводником такого взгляда служит «История России с древнейших времен». Успех русской мысли чрезвычайно ясно обрисовывается при сравнении этого сочинения с «Историей Государства Российского». Историческое направление приносило с собой органический взгляд на государство и не нуждалось в монголах, чтобы объяснить развитие сильной государственной власти в России. Так же органически объясняло оно и самые исторические формы этой государственной власти. У Карамзина для объяснения их поставлена на первый план глубокомысленная политика князей Московских, которые не удовольствовались собранием частей в целое, а связали их твердо и единовластие усилили самодержавием. По мнению автора «Истории Государства Российского», московские великие князья не только дали русскому народу самодержавие, но дали ему и те свойства, которые требовали для России самовластия. У историка «России с древнейших времен» формы народной жизни обусловливают собой формы государственной власти, и цель не смешивается со средством. «Когда,— говорит он,— по отношению к централизующему значению Москвы,— части народонаселения, разбросанные на огромных пространствах, живут особною жизнею, не связаны разделением занятий; когда нет больших городов, кипящих разнообразной деятельностью, когда сообщения затруднительны, сознания общих интересов нет,— то раздробленные таким образом части приводятся в связь, стягиваются правительственною централизацией, которая тем сильнее, чем слабее внутренняя связь; централизация восполняет недостаток внутренней связи, условливается этим недостатком и, разумеется, благодетельна и необходима, ибо без нее все бы распалось и разбрелось: это хирургическая повязка на больном члене, страдающем потерей внутренней связи, внутренней сплоченности»[35].

Всего яснее выступает цельность взгляда у С. М. Соловьева на отношение государственной власти к обществу в его представлениях о Петре Великом и об отношениях его личной деятельности к русскому народу. Историк, видевший в этом народе европейски-христианское общество, развивавшееся при известных местных условиях и особенностях, конечно, должен был чрезвычайно сочувствовать тому деятелю, благодаря которому особенно проявился европейский характер русского народа. Но при этом какой умеренностью, какой исторической правдой отличается его взгляд! Отвергая крайние мнения как наивных поклонников, так и порицателей Петра, историк заявляет, что не может настраивать своего повествования о делах Петра Великого на тон хвалебных песнопений крекшинских и ломоносовских; не может восклицать, что Петр привел русских людей от небытия к бытию и проч , но и не может согласиться с людьми, которые так часто

[32] Речи в день Карамз. юб., 7 // Кн. XXIII. С. 166 настоящего издания.
[33] Ист. письма. I 13 // Кн. XVI. С. 361 настоящего издания.
[34] Ист. письма. I 11 // Кн. XVI. С. 361 настоящего издания.
[35] XIII т. 27 // Кн. VII. С. 26 настоящего издания.

говорят о любви к русскому, к русской истории, позволяют себе унижать русский народ, низводят его на степень неисторического народа, предполагая, что один человек мог увлечь его на неправый путь.

Нет, «историк очень хорошо знает, что век Петра был веком не света, а рассвета; с рассветом начинается движение, пробуждение, но рассвет, полумрак, мерцание условливает также хождение ощупью, спотыкание... Величие Петра состоит в том, что он начал великое дело народного просвещения, с юношеской силой и самоотвержением отдал этому делу всего себя и в силу своей гениальности в короткое время сделал изумительно много, разумеется, во внешнем, материальном отношении преимущественно, ибо его призвание было начинать, *а человек всегда и во всем начинает со внешнего*... Исторический народ, каков русский, не допускает деятелей, подобных гуннским, татарским, Аттилам, Чингисханам, Тамерланам, которые силою своей воли увлекают народные массы, передвигают их с одного места на другое; повинуясь увлекающей силе, народы эти движутся стремительно, но потом останавливаются, возвращаются к прежнему образу жизни, когда вождей нет более. У народов исторических великий деятель есть полный представитель своего народа в известную эпоху, выполнитель потребностей, чувствуемых народом в известное время, вождь, за которым народ идет свободно и продолжает начатое дело, когда вождя уже нет более. Таков был именно Петр Великий, полный представитель своего народа, сын своего века, передовой человек в том стремлении, которое являлось как необходимое»[36].

Тот же взгляд проводится на петровский переворот и в «Истории России». Он называется Петровским по имени главного деятеля в нем, но представляет собой дело народное, подготовленное историей народа. «Если наша революция в начале XVIII века, — говорит историк, — была необходимым следствием всей предшествовавшей нашей истории, то из этого вполне уясняется значение главного деятеля в перевороте, Петра Великого: он является вождем в деле, а не создателем дела, которое потому есть народное, а не личное, принадлежащее одному Петру»[37].

С другой стороны, исторический народный характер переворота не должен помешать историку оценить значение главного его виновника... И деятельность Петра была приготовлена всей предшествовавшей историей, необходимо истекала из нее, требовалась народом, «который должен был путем страшного переворота, посредством необычайного напряжения сил выйти из отчаянного положения на новую дорогу, к новой жизни. Но это нисколько не уменьшает величия человека, который, при совершении такого трудного подвига подал мощную руку великому народу, необычайною силою своей воли напряг все его силы, дал направление движению»[38].

Итак, подвиг великого царя становится вместе с тем подвигом русского народа, подвигом, «подобного которому не совершал никогда ни один народ». Гений Петра, по определению историка, «усматривается в ясном уразумении положения своего народа и своего собственного, как вождя этого народа»; величие его выказывается в том, что он сознал свою обязанность «вывести слабый, бедный, почти неизвестный народ из этого печального положения посредством цивилизации». Таким образом, Соловьев сумел указать в истории величайшего из государственных деятелей России на значение народа и построить на этом прочном основании историю государства.

В этом же отделе своего сочинения историк имел возможность ясно высказать свой взгляд на призвание и значение государства. И в данном также случае легко оценить значение этих взглядов, если сопоставить их с мнениями, которые высказывались в «Истории Государства Российского». Идеалом государственного правителя в глазах Карамзина является Иоанн III. Он возводится на высшую степень величия не только перед другими царями допетровской Руси, но и сравнительно с Петром. Он изображен великим монархом, «достойнейшим жить и сиять в святилище истории», потому что ему суждено было совершить два

[36] Шлёцер. 472 // Кн. XVI. С. 346, 347 настоящего издания.
[37] XIV т. 104 // Кн. VII. С. 427 настоящего издания.
[38] XVIII т. 247 // Кн IX. С. 525 настоящего издания.

великие подвига: освободить Россию от татар и водворить единовластие неограниченное[39].

При таком взгляде легко могло укрыться от взора наблюдателя значение новых, существенных черт петровского государства. Эти черты указаны, оценены историческим направлением. Государство, по идее Петра, становится школой для народа: «Народ действительно учится, учится не одной цыфири и геометрии, не в одних школах, русских и заграничных; народ учится гражданским обязанностям, гражданской деятельности»[40].

Вся система Петра была направлена против главных зол, которыми страдала древняя Россия; против разрозненности сил, непривычки к общему делу, против отсутствия самодеятельности, отсутствия способности начинать дело. Указавши на учреждение Сената, историк поясняет взгляд Петра на это учреждение: «Петр не ревновал к созданной им власти, не ограничивал ее; наоборот, он постоянно и бесцеремонно требовал, чтобы Сенат пользовался своим значением, чтобы был именно правительствующим». Прежде русский человек, принимавший поручение правительства, привык ходить на помочах; «ему не верили, боялись его малейшего движения и потому спеленывали, как ребенка, в длинный, подробный наказ». Отсюда привычка требовать указов, которая так сильно сердила Петра. Упомянув о введенных Петром коллегиальных учреждениях, историк раскрывает их смысл, показывает, как «из-за отдельных лиц выдвинулись учреждения, и над всеми ими поднялось государство, о настоящем значении которого русские люди услыхали в первый раз теперь, когда должны были присягать государству... «Но, «выставив значение государства, заставив», по-видимому, приносить этому новому божеству тяжелые жертвы и сам подавая пример, Петр, однако, принял меры, чтоб личность не была подавлена, и получила должное, уравновешивающее развитие». На первом месте здесь, разумеется, должно быть поставлено образование, введенное Петром, знакомство с европейскими народами... Таким образом, начертана была обширная *программа на много и много лет вперед.*

Этот научно-гуманный дух, который высказывается в воззрениях Соловьева на Петра Великого и установленный им строй, проникает и все следующие за историей Петра тома великого труда. В этом самом духе была бы, конечно, и окончена «История России с древнейших времен», если бы она не была прервана так неожиданно. Историк, однако, успел уже ясно наметить свой взгляд на *знаменитое царствование Екатерины II*, когда после тревожной эпохи преобразования и переходного времени елизаветинского царствования явились плоды тяжелой черной работы русских людей в первую половину XVIII века. Благодаря искусной и твердой правительственной руке движение вперед шло безостановочно; но шло правильно, спокойно и осторожно, при ясном сознании того, откуда надобно было идти и куда стремиться. Историк указал: «Такая произошла перемена в основном взгляде русских людей в царствование Екатерины, как они заявили свое недовольство одним внешним и требовали внутреннего», требовали «вложения души в тело» и как «требование было удовлетворено».

Предшествовавшие указания дали нам достаточно оснований для общей оценки деятельности С. М. Соловьева как историка и для определения его места в истории русского просвещения. В истории выражается народное самопознание, и историография служит средством для его выяснения. В лице С. М. Соловьева русская историография довершила задачу, которую она так давно стремилась выполнить. В нем соединились все условия, необходимые для национального историка в полном и истинном смысле этого слова. «Самопознание есть венец знания; можно ли было ожидать венца знания в то время, когда знание еще было в зародыше?» — спрашивал С. М. Соловьев по поводу историков XVIII века. Ему было суждено поставить созидающееся здание русской историографии на прочном основании, потому что этим основанием была современная европейская наука. Но историческая наука не должна представлять только зеркало для прошедшего, она имеет культурное, общественное призвание, и так понимал свою

[39] Галахов. Юб. Карамзина. — «Вестник Европы». 1866. Т IV С LXIII.
[40] XVIII т. С. 251 и сл. // Кн. IX С 528 настоящего издания

задачу С. М. Соловьев. Для русской науки, как и для всякой другой, эта задача выполнима только в союзе с общеевропейским просвещением, и в этом отношении С. М. Соловьев направил русскую историографию на верный путь — ни его патриотизм, ни его преданность православной церкви не мешали ему считать себя европейцем и требовать от русского общества, чтобы *европейское* ему не было чуждо.

Он сделал более: он доказал своей историей, что стремление к европейской науке и общечеловеческому просвещению есть исконное стремление в России, есть *национальное* стремление. Исторические труды Соловьева раскрыли постепенное, но непрерывное развитие этого стремления от первых зародышей его в «ревнителях просвещения» в древней Руси, от более ясного проявления его в «русских исповедниках просвещения»[41] в XVII веке до сознательного упрочения его в преобразованиях великого царя. В рядах этих русских ревнителей просвещения одно из самых почетных мест принадлежит русскому национальному историку, основателю исторического направления в русской истории, так высоко понимавшему как научный характер, так и просветительное призвание русской историографии и оставившему своим преемникам следующий великий завет:

«Положительная сторона в трудах по русской истории обозначилась ясно; последователи исторического направления с глубоким вниманием и сочувствием следят за строением великого здания; замечают, как участвует в этой постройке каждый век, каждое поколение, что прибавляет к зданию прочного, остающегося; участие к строителям, к передовым людям в деле созидания усиливается при виде тех страшных препятствий, с которыми они должны были бороться; с особенным сочувствием прислушиваются к жалобе на недостаток света. И вот наконец является свет, сначала слабый, потом постепенно распространяется; но чем более распространяется он, тем более чувствуется в нем нужда; требуется, чтобы все здание было освещено; чтобы все работники видели друг друга и тем согласнее могли действовать; чтобы не было темных углов, куда бы могли укрыться и лень, и зло; отовсюду слышится громкий утешительный вопль: «Света! Больше света!»»

Сказавши об историке, мы должны сказать несколько слов о человеке, потому что в С. М. Соловьеве обширности и глубине знания, плодотворной деятельности в науке соответствовали (что не всегда бывает) благородный и цельный характер, высота нравственного бытия. Честный историк был и честным гражданином. Правды, которую он вносил в историю, он всегда требовал и в жизни от себя и от других; он допускал для осуществления правды только чистые средства, признавал только прямой и открытый путь. Он служил правде не одним неусыпным ученым трудом, не одними только убеждениями, а всей своей личностью. По смерти Грановского и Кудрявцева он стал в университете главным представителем исходившего от них предания и был в нем центром для людей, особенно дороживших этим преданием.

Нравственная сила, поддерживаемая этим преданием, не замедлила обнаружиться в университетской жизни, но вследствие различных неблагоприятных условий не могла взять верх, и в 1867 году С. М. Соловьев с пятью близкими ему лицами нашел нужным выйти из университета. К счастью, он был тогда возвращен Московскому университету, и когда, после некоторых изменений в составе профессорской корпорации, университет, признавая его значение, избрал его в ректоры, для этого учреждения наступила новая, счастливая пора внутреннего развития, оправдавшая начала, положенные в основание Университетского устава 1863 года. Ректорство С. М. Соловьева было знаменем служения одним только научным интересам и широкого понимания задач университетской жизни. Но если Московский университет не забудет времени, когда во главе его стоял С. М. Соловьев, то нельзя также забыть, что для него самого это было нерадостное время. Только по чувству долга по отношению к университету он принял ректорство, от которого долго отказывался, сказав при этом лицам, убедившим его: «Господа, я принимаю, потому что это тяжело!»

[41] «Русск вестн.» 1857 г. Сентябрь // Кн XXII. С. 189—197 настоящего издания

Тяжелый для него долг он исполнял с свойственной ему добросовестностью, с тем миролюбием и той прямотой, которые отражались в его кротком и чистом взгляде. Но слова, написанные им некогда об исповедниках просвещения в XVII веке, отстаивавших права зарождавшейся в России науки, что им «нужно было много труда, много жертв и страданий», — сделались как бы пророческими словами для него самого. Ему опять пришлось бороться против недоверия к науке, «происходившего от неуменья сладить с прогрессом, от стремленья остановить его, возвратиться к первоначальным формам». Но теперь дело шло не о литературных направлениях, не об исторических взглядах, оно касалось жизненных форм русской науки, университетского строя. Ученый, который своей многолетней, всеми признанной деятельностью доказал, как он умел согласовать самую искреннюю, разумную преданность государственному началу с бескорыстным стремлением к науке и просвещению, — мог, конечно, вернее и беспристрастнее многих других судить об истинных потребностях русской науки. Но ему не суждено было дать перевес тому, что он считал правым делом, и весной 1877 года С. М. Соловьев был принужден оставить ректорство и прославленную им кафедру. Надежды людей, понимающих, что наука живет в лицах, а не в учреждениях, желание их видеть знаменитого историка снова во главе университета, не сбылись... 4 октября в день годовщины смерти Грановского С. М. Соловьев скончался.

Говорить подробнее о значении и деятельности С. М. Соловьева как представителя Московского университета было бы здесь неуместно. Об этом скажет история Московского университета и должна сказать история русского просвещения. Но не упомянуть об этом в характеристике С. М. Соловьева значило бы упустить из вида существенную сторону его жизни, цельность его натуры, связь света и правды в нем; значило бы позабыть о нравственном значении его личности для русской науки. Судьба обществ и учреждений зависит не от одних исторических законов, но и от успеха в нравственном развитии, а это развитие совершается главным образом под влиянием характера и нравственной высоты передовых личностей. В этом отношении С. М. Соловьев может иметь благотворное влияние на представителей науки и просвещения в России; если для них не пройдет бесследно его образ, если на них отпечатлеется этот чистый, благородный тип русского ученого, то они исполнят свое призвание подобно тому, как исполнили свой долг лучшие люди той эпохи, когда, по словам историка, «здоровые силы народа должны были находиться в крайнем напряжении для того, чтоб одолеть многочисленные и тяжкие болезни, поразившие общественное тело», когда «лучшие люди должны были обнаружить всю свою деятельность, и деятельность эта требовалась на разных путях — ибо везде общество сильно нуждалось в свете и в правде!»

М. И. Семевский и редакция журнала «Русская старина» Отклик на смерть С. М. Соловьева

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ СОЛОВЬЕВ*

6 октября узнали мы страшную весть — историка Соловьева не стало; он умер 4 октября в Москве. Мы поспешили выразить чувства, охватившие нас при этом неожиданном, потрясающем известии в телеграмме в Москву, на имя зятя покойного, почтенного ученого и профессора Н. А. Попова. Вот эта телеграмма:

«С чувством беспредельной скорби принято редакцией «Русской старины» роковое известие о кончине Сергея Михайловича Соловьева. Велико значение

* Русская старина. 1879. Т. 26. № 11. С. 543—544.

подвига, подъятого опочившим историографом и совершенного им в течение тридцатичетырехлетнего труда, удивляющего глубиною мысли и энергии, на совершение его приложенной.

«История России с древнейших времен» есть полное, действительное изображение прошлого Русской земли и развития русского народа, от времени окутанного сумраком преданий почти до конца XVIII столетия.

Мир праху историку России! Имя его из рода в род, из поколения в поколение, доколе будет существовать Россия и наука в ней — пребудет незабвенно».

Издатель-редактор исторического журнала «Русская старина»
Михаил Семевский

Русское общество глубоко потрясено невозвратимой потерей: Сергей Михайлович Соловьев унес с собой в могилу, если можно так выразиться, целую академию исторических знаний. Пройдут десятки лет, прежде чем выработается из среды подвижников науки человек с такими обширными сведениями прошлого России и всей Европы, с такой глубиной мысли, с таким ясным, всепроницающим умственным взором, с таким критическим тактом — каковые совмещал в себе Соловьев. Пройдут сотни лет, а в бессмертном его труде, в «Истории России с древнейших времен», — ряды сменяющих друг друга поколений будут искать и находить ответы на бесчисленные вопросы о значении и смысле тех или других событий и явлений в историческом прошлом, прожитом Россией за время с IX по XVIII столетие (по 1774 г.)...

На идеях и взглядах С. М. Соловьева воспиталось все нынешнее поколение, сменившее то, которое возрасло на мнениях и мыслях Карамзина. Ученики Соловьева от него же научились уважать его предшественника и относиться с почтением ко всякому умственному труду.

Д. И. ИЛОВАЙСКИЙ

ПАМЯТИ С. М. СОЛОВЬЕВА*

Я не буду исчислять вам все прекрасные стороны покойного Сергея Михайловича Соловьева, все стороны его деятельности и характера; не буду говорить о великости и незаменимости утраты, которую с его кончиной понесло русское общество; все это очень хорошо всем известно. Я желаю сказать только немногие слова о нем как о научном деятеле, остановить ваше внимание на некоторых типичных чертах из этой деятельности.

Прежде всего об его отношении к настоящему нашему Археологическому обществу.

Сергей Михайлович был один из тех, которые очень сочувственно приветствовали возникновение этого общества; он немедленно примкнул к его составу и с большим интересом следил за его первыми шагами. Если впоследствии он только изредка принимал участие в наших заседаниях, то это обстоятельство совершенно понятно при его многочисленных обязанностях и непрерывных занятиях. Но главная причина, как я полагаю, заключалась в том, что около этого времени его обширный труд, известный под именем «Истории России с древнейших времен», уже переступил ту хронологическую грань, которая отделяет древнюю, или допетровскую, Русь от последующей эпохи. Следовательно, его внимание и его работы главным образом были устремлены уже на XVIII век, который только отчасти входил в сферу археологических интересов.

Если Сергей Михайлович иногда обнаруживал даже некоторый скептицизм по отношению к выводам археологии, то нельзя сказать, чтобы и в этом случае он

* Древняя и новая Россия 1880. Т. 16. № 1 С 151—155 // Сказано в заседании Московского Археологического общества, 27 ноября 1879 г

не был прав. Археология есть наука молодая; я говорю, конечно, о методе, о системе, а не об археологическом материале, который накопляется с незапамятных времен.

Как молодая, еще неустановившаяся наука, археология не чужда увлечений и некоторой неопределенности по отношению к своим задачам и пределам. Поэтому скептицизм историка тут является для нас естественным, по крайней мере до известной степени. Скажу более: увлечение и скептицизм, эти две противоположности суть обычные и необходимые условия научного прогресса, эти два явления вы найдете в истории каждой науки.

Для историка нашего времени археология представляется важнейшей из вспомогательных наук. Описывая события или состояние какого-либо общества или народа в данную историческую эпоху, историк должен стремиться к раскрытию и разъяснению того материального быта, той обстановки, той степени культуры, посреди которых действовал человек в эту эпоху, и, следовательно, исторические выводы должны быть проверены археологическими данными; в свою очередь и выводы археологии должны проверяться достоверными историческими известиями и несомненными фактами. Необходимо еще при этом иметь в виду, что история есть одна из наук, старейших по времени и обработке; что ею уже выработаны некоторые черты или законы общественного развития, которые неизменно действуют при самой разнообразной обстановке, при самых, по-видимому, различных внешних условиях.

Сергей Михайлович по своим занятиям и интересам был вполне историк.

Историография в свою очередь распадается на весьма разнообразные оттенки, которые обусловливаются по преимуществу личными свойствами и наклонностями исторического писателя. В этом отношении мы можем указать примеры: историков-бытописателей, историков-мыслителей, историков-художников или исторических живописцев, историков-библиографов и т. д., смотря по чертам, преобладающим в произведениях данного писателя. С. М. Соловьева можно отнести к первой категории, то есть к историкам-бытописателям, и, конечно, в самом благородном значении этого слова. Под бытописанием я разумею строго-последовательное историческое описание событий и эпох. Древние хронисты или летописцы суть те первообразы, из которых постепенно развились потом научно-подготовленные историки-бытописатели, принимавшие на себя задачу изобразить цельную историю какой-либо страны или нации. К описанию событий историческая наука присоединяет, по возможности, раскрытие их внутреннего смысла, объяснение их причин и последствий, обобщение аналогичных явлений и т. п. (это так называемый «прагматизм»). Таким успехам науки более всего способствовали историки-мыслители, или наблюдатели. К таковым же историкам-мыслителям мы должны причислить и Сергея Михайловича, столь удачно разъяснившего нам некоторые явления древнерусской истории, например: междукняжеские отношения, соперничество старых и новых городов, притязания боярства в царский период и т. д. Отличая историков по их направлениям, мы, конечно, берем только преобладающие черты, что не исключает возможности соединения с этими преобладающими и других черт историографии в одном и том же лице. Так, в большом труде Сергея Михайловича и его отдельных монографиях вы найдете многие художественные страницы. Вы найдете также в его цитатах и ссылках обширную историческую библиографию.

Обращаясь к историографу со стороны его симпатий и убеждений, имеющих связь с различными течениями современной политической жизни, мы опять встречаем разнообразные оттенки. Мы видим историков-государственников и общинников и т. д. Подобное разнообразие оттенков в сущности не только не вредит успехам исторической науки; напротив, оно способствует этим успехам уже потому, что препятствует излишнему развитию какой-либо крайности и односторонности. По отношению к первому делению Сергей Михайлович именно отличался умеренностью, он чтил консервативные начала в жизни народов; верил в прогресс, но только постепенный и был ревностным сторонником великих реформ петровских и нашего времени. Зато, по отношению ко второму делению, он был решительный государственник. Сколько мне известно из его

сочинений и устного обмена мыслей, вне государственного быта он не признавал исторической жизни и национального развития. В этом случае он был совершенно прав и стоял на гораздо более твердой почве, нежели те европейские и отечественные писатели, которые проповедовали какую-то собственно-народную историю и, однако, до сих пор еще таковой истории не создали; сами они описывали большей частью деяния все тех же исторических личностей, которыми историография занимается издавна. Как известно, некоторое время у нас проповедовались довольно легкомысленные теории о каких-то общинах и федерациях, теории, не дорожившие таким великим благом, как государственное и вместе с тем национальное единство, добытое нашими предками с огромными трудами и жертвами (нельзя сказать, чтобы время подобных теорий уже кончилось и для настоящей минуты). Сергей Михайлович не делал никаких уступок по этой части. Правда, по своему обыкновению, он уклонялся от всякой непосредственной, раздражающей полемики по жгучим текущим вопросам; но зато умел убеждения свои проводить спокойно и обстоятельно в своих исторических произведениях.

Само собой разумеется, сфера исторических вопросов так обширна и разнообразна, что полного согласия или тождества мнений по всем этим вопросам невозможно требовать, да в видах научных и не следует требовать от всех членов той исторической школы, которую оставил после себя наш незабвенный профессор. Имея честь принадлежать к его школе, я также позволяю себе в некоторых частностях отступать от его воззрений. По этому поводу приведу только один пример.

Вскоре после Петровской реформы заправление государственными делами России, как известно, очутилось в руках немцев. Сергей Михайлович объяснял такое анормальное явление довольно просто: по его мнению, между русскими людьми не оказывалось тогда таких сведущих, ловких, неутомимых дельцов, которым можно было бы поручить высшую администрацию в трудное послереформенное время, и вот поневоле приходилось обращаться к немцам, вроде Остермана. Может быть, я и не прав, но признаюсь, не могу успокоиться на этом объяснении; ибо в том же труде покойного историка мы находим целый ряд даровитых и энергичных деятелей чисто русских; а сколько было еще таких, которым не дали хода. Я полагаю, что русский человек в то время был таким же, каким он является прежде и после, то есть весьма способным к деятельности государственной, и не только государственной, но и ко всякому упорному труду и непреклонному преследованию своих высших целей. Блистательный пример такого русского человека представил нам именно сам покойный историк, который неутомимостью в работе, неослабною энергией и обширностью своего главного произведения едва ли не превзошел самих Гиббонов и Шлоссеров. Благодаря железной энергии, он уже близок был к пределу своего огромного труда, который, как известно, он намеревался довести до кончины Екатерины II. Ему оставалось пройти период только с небольшим в двадцать лет, когда преждевременная смерть прервала эту неусыпную работу.

М. м. г. г., сохраним всегда в сердце своем благоговейное уважение к памяти этого великого труженика и подвижника русской науки, который оставил нам высокий образец для подражания.

М. М. СТАСЮЛЕВИЧ

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ СОЛОВЬЕВ*

Род. 5 мая 1820 г. 4 октября 1879 г.

Прошло 25 лет со смерти Карамзина, когда в 1851 году явился первый том «Истории России с древнейших времен». Уже тогда можно было предвидеть, что Карамзин получает достойного себе преемника. Автору начинавшегося труда

* Вестник Европы. 1879. Кн. 11. С. 437—440.

только что исполнился 31 год, и позволительно было ожидать, что он будет иметь время не только для ревизии пройденного Карамзиным пути, но и поведет русскую историю дальше — до нашего времени. Почти 30 лет упорного, неутомимого труда дали почти столько же томов; «История России» не только во многом пересоздала «Историю Государства Российского», но и успела проникнуть более чем на 150 лет дальше Карамзина: она ввела нас во вторую половину прошлого века; знаменитый ее автор стоял, таким образом, при самом конце своего многолетнего научного странствования, ему был виден, так сказать, берег — но достигнуть берега не было ему суждено. 1879 год в нашей историографии оставит по себе такую же печальную память, как и 1826-й, — год смерти Карамзина.

«История России», продолжив «Историю Государства Российского», была вместе и шагом вперед, как и самое время Соловьева было в исторической науке шагом вперед сравнительно с временем Карамзина. Соловьеву предстояло воспользоваться и новыми материалами и — что еще более важно — применить к области русской истории новейшие приемы исторической критики: то и другое было им выполнено с той тщательностью и добросовестностью, которые составили ему почетное имя в ряду первоклассных историков нашего времени. Один талант (хотя бы и высокий) повествователя не мог бы удовлетворить вполне новейшее время. Карамзин дал русской истории в первый раз, если можно так выразиться, научный образ и подобие и заставил полюбить русскую историю — это его величайшая заслуга: его читали и им наслаждались; Карамзин первый популяризовал отечественную историю в научной форме и сделал ее всеобщим достоянием всякого сколько-нибудь образованного человека. Сила его таланта была такова, что и теперь еще живут в представлениях общества созданные им величавые исторические образы, наперекор позднейшей критике и ее усилиям привести все историческое к его нормальным размерам. Такой дальнейший труд критики был, однако, необходим, и наша историография весьма счастливо нашла себе Соловьева после Карамзина.

Двадцатипятилетие, прошедшее между смертью старого нашего историографа и появлением первого тома «Истории России», в жизни С. М. Соловьева было приготовлением к подъятому им впоследствии колоссальному труду. Все благоприятствовало будущему развитию мощного научного деятеля, и всем он отлично воспользовался. Его отец, сам преподаватель закона Божия в московском Коммерческом училище, мог рано позаботиться о правильном росте умственных сил своего сына; затем он кончил курс в 1-й московской гимназии в 1839 году; ей наш историк обязан тем солидным образованием, которое послужило прочным фундаментом для его дальнейших специальных работ; вообще, то поколение должно с признательностью вспоминать о гимназиях 40-х годов: с меньшими средствами, какими располагало то время, они могли давать все необходимое для дальнейшей умственной жизни даже и такому научному деятелю, каким явился впоследствии С. М. Соловьев. После университетских лет он провел два года за границей и в 1846 году одновременно открыл и научную деятельность, и деятельность профессора в своем же университете исследованием: «Об отношении Новгорода к великим князьям», за которым последовала в 1847 году «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома».

Эти академические труды были преддверием той работы, которой Соловьев посвятил затем всю свою жизнь, все свое время, деля его поровну между рабочим кабинетом и университетской аудиторией, почти без всякого остатка для «суетного света». И университет ценил такого преданного ему и своей науке деятеля, он справедливо гордился иметь его своим главой. Только для университета С. М. Соловьев охотно нарушал обычное мирное течение своей жизни. «Судьба навсегда связала Сергея Михайловича с историей Московского университета, — говорил 7 октября над его могилой в Новодевичьем монастыре один из свидетелей его жизни, профессор Герье. — Он принадлежал ему не только своими трудами, своей славой, но и всей своей жизнью. Он был не только человек принципов, но и человек чувства. Тому, что он считал своим долгом, он отдавал не только свой труд, но свой внутренний покой, принося ему в жертву свое душевное счастье. Когда в последний раз мы упрашивали его взять на себя тяжелую для него

обязанность ректора, он, долго подумавши, наконец сказал: «Господа, я принимаю потому, что это — тяжело!» Он был человек сердца, и сердце его болело. Ни светлый взор его, ни приветливая его улыбка не могли скрыть от тех, кто его любил, той *сердечной боли, которая сократила его жизнь*». Другой свидетель, нынешний ректор университета г. Тихонравов, в своем превосходном историческом обращении к памяти покойного оценил те же его качества: Соловьев умер в такую минуту, когда подобные люди были бы всего нужнее для университета. Таков был общий смысл сказанного. Будущий более или менее отдаленный биограф выяснит подробнее эти последние и светлые страницы жизни покойного и расскажет о «сердечной боли» человека, который, однако, во всем и всегда отличался спокойным и невозмутимым характером, мягким сердцем, трезвостью взгляда и любовью к миру и тишине, столь необходимым для труженика науки.

Пушкин сказал по поводу отсутствия хорошей биографии, если не ошибаемся, именно Грибоедва: «Мы, русские, ленивы, да и не любопытны!» По отношению С. М. Соловьева, мы не понесем такого упрека: до нас дошло весьма приятное известие, что семейство покойного предоставило профессору Московского университета Н. А. Попову составить подробный биографический и литературный очерк жизни С. М. Соловьева и с этой целью снабдило его всеми необходимыми бумагами покойного, его перепиской, дневником и т. п. Нельзя было сделать лучшего выбора во всех отношениях: такого автора не придется упрекнуть в «лености», так как и по личным, и по научным связям с покойным он, конечно, положит всю душу в предпринимаемое им дело, да надобно думать, что на этот раз и мы окажемся «любопытными». Книга о человеке, который составлял славу нашего времени, будет ожидаться с нетерпением не в одном тесном кружке друзей покойного.

В нашем обществе эта преждевременная смерть вызвала самые искренние и многочисленные[1] выражения сочувствия по поводу такой тяжелой утраты, какую понесла и наука, и одна из важнейших кафедр старейшего из наших университетов. Мы вообще не богаты интеллектуальными силами, а в настоящем случае такая потеря была бы чувствительна и там, где замена подобного лица не заставляет себя слишком долго ждать.

Заключим нашей личной признательностью к памяти покойного, который с первого дня существования журнала, в течение 14 лет, почти непрерывно принимал в нем участие своими учеными экскурсиями, и некоторые из них были до того обширны, что впоследствии составили в отдельном издании обширный том (560 страниц большого формата), под общим заглавием: «Император Александр I: Политика и дипломатия» (СПб. 1877). Это, можно сказать, был труд десяти лет: он начался рядом статей, озаглавленных: «Эпоха конгрессов»; они выходили в журнале в течение двух лет, 1866 и 1867; окончание же их, под заглавием: «Россия и Европа в первой половине царствования Александра I», вышло в 1877 году (май, август, сентябрь, октябрь и ноябрь). В 1868 году (де-

[1] Мы уверены, что напечатанный в московских газетах список телеграмм из разных концов России, и обращенных к личной и к университетской семье покойного, был далеко не полон, так как, например, мы не нашли в числе их телеграммы от г. министра народного просвещения; депеша Е. И. В. Великого Князя Сергия Александровича, по отсутствию Его за границею, явилась в печати позже и была прислана супруге покойного из г. Канна, в южной Франции, от 9(21) октября: «Je tiens a vous exprimer toute la part que Je prends au malheur qui vous frappe. L'Imperatrice me charge de vous dire les regrets profonds que Lui inspire la perte que nous faisons tous par la mort de votre mari. Serge».
«Московские ведомости» в течение трех дней после смерти не сказали ни слова о покойном — только ограничивались печатанием объявления о смерти от семейства покойного вместе с прочими торговыми объявлениями; но это нисколько не противоречит вышесказанному нами: редакция «Московских ведомостей» могла почтить С. М. Соловьева только молчанием — она и почтила его молчанием.

кабрь) С. М. Соловьев начал печатать в журнале отдельными статьями свой опыт философии истории: «Наблюдения над исторической жизнью народов», оставшийся неоконченным (1869, декабрь, 1870, янв. и дек.; 1871, февр., 1873, февр.; 1874, апр.; 1875, апр.; 1876, май). Из мелких его работ укажем: «Петр Великий на Каспийском море» (1879, март) и статья нынешнего года (март и май): «Поццо ди Борго и Франция», которая сделалась, столь же неожиданно, сколько и прискорбно, последним словом покойного в нашем журнале.

С. А. МУРОМЦЕВ

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ СОЛОВЬЕВ*

Маститый русский историк, наставник многих поколений, деятель, с именем которого связан ряд трудных годов из жизни Московского университета, скончался в годовщину памяти Грановского.

В 60 лет своей замечательно-трудолюбивой жизни Соловьев совершил то, что удавалось редкому в период более продолжительный.

Представитель одного из главнейших направлений русской исторической науки, Соловьев первый сообщил этому направлению всестороннюю и научную разработку. Благодаря его розысканиям, родовой элемент в устройстве древнего русского общества был исследован во всех своих проявлениях и учение о родовом начале приобрело научную определенность.

Чуткий ум историка отличил животворящие течения позднейшей русской жизни и сумел выделить их в ярком изображении. Из-под пера Соловьева вышла картина петровского времени, в которой здоровое преобразовательное движение представилось во всем своем могуществе, во всей своей стремительности и плодотворности. Заставив дивиться гению Петра, наш историк раскрыл пред читателями и слушателями всю неизмеримую прелесть энергичного движения вперед, неустанной борьбы из-за осуществления идеалов. Божественным гигантом являлся Петр из уст Соловьева, и в широко задуманном и мастерски использованном образе «царя-революционера» воплотилась великая мощь России, стряхнувшей с себя пыль веков и обращенной к просвещению. Этот образ волновал умы и сердца, наполняя их возвышенными стремлениями, возбуждая к благородной и благой деятельности.

С неутомимостью и упорством, ему одному свойственными, Соловьев шаг за шагом следил за постепенным ходом исторических событий. Ему обязана русская историческая наука тем, что сохранилась и увидела свет масса материала, которая без того истлела бы и исчезла в пыли архивов. Чем более приближалась «История России» к новому времени, тем плодотворнее в этом отношении обещала быть деятельность историка. За два дня до своей смерти он диктовал еще страницы, относящиеся к событиям 1774 года. Но судьбе угодно было, чтобы он не довел своего рассказа до намеченного конца.

Историк культуры, историк-политик, историк-юрист одинаково ищут опоры и исходного пункта в трудах Соловьева. В скорбное время, в которое мы живем, когда сердца истинных друзей просвещения наполнены тревогой за будущее, когда смешивают злоупотребления образованием с его увлечениями, когда от этих последних не отличают откровенного голоса действительного знания, в такое время неуверенности и шатаний, разочарований и отчаяния ободряющий голос славного историка подымает силы, возбуждает дух. Не погибнет просвещение на Руси, когда-то столь упорно пробившее себе дорогу, не рассеются и не принизятся его деятели! Что могут сделать случайные враги его, когда пред ним не устояла твердыня старинной закоснелости, векового невежества? Человек 40-х годов

* Юридический вестник. 1879. Т. 11. С 702—704 // Произнесено на заседании Московского Юридического общества 8 октября 1879 г.

совершил свое дело. Он донес до нас предания лучших людей своего времени, он пояснил нам не случайный — исторический смысл этих преданий, он научил нас следовать им.

Не только ученого и писателя, не только наставника похоронила вчера Москва и с нею вместе все русское общество. В лице Соловьева оно потеряло еще гражданина, который своим примером преподал образец гражданской доблести.

В 1871 году Сергей Михайлович занял пост ректора Московского университета. Немного личных радостей принесло ему это положение. К началу 70-х годов университет, преобразованный по уставу 1863 года, только что успел пережить период внутренних замешательств, неизбежных, когда новое вино вливается в старые меха и действие своекорыстных стремлений еще не встречает должного отпора. Но едва окончился этот период испытаний, едва университетская корпорация стала на правильный путь, как неожиданно на нее посыпались удары случайных недругов, которые, вторя возрожденным отсталым тенденциям, стремились вернуть университетскую науку и преподавание в тиски канцелярского лоска и quasi-либерального формализма. В борьбе с этим враждебным стремлением обнаружилось, что университет был достоин принципов действующего устава. Сергей Михайлович стоял во главе дорогого ему учреждения в это тяжкое время, постоянно направляя энергию своего авторитета на сплочение сил внутри, на отражение ударов извне. Наконец, он вынужден был оставить университет, напутствуемый уважением и глубокой признательностью товарищей и учеников.

Московское Юридическое общество, само состоя по большей части из учеников славного историка, глубоко чтит память усопшего и оплакивает его кончину, столь преждевременную и тяжелую. Да вдохновит нас пример его многотрудной и талантливой деятельности, да руководит он нами в наших занятиях, научных и практических!

ИЗ кн.: А. Н. ПЫПИН. НОВЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ НАРОДНОСТИ*

...В области историографии на первом плане стоят многочисленные труды неутомимого Соловьева (1820—1879)[1].

Его первая знаменитая диссертация: «Об отношениях Новгорода к великим князьям» (1845) и вторая: «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома» (1847), наконец, первый том «Истории России с древнейших времен» (1851) были фактом, что называется, составляющим эпоху. Труды Соловьева были приняты с величайшим сочувствием, уважением его сверстниками, потому что отвечали их собственным исканиям и требованиям от исторического исследования. Эти сверстники с первого раза верно оценили всю важность нового приема и его отношение к карамзинскому преданию. С другой стороны, труды Соловьева встречены были весьма недружелюбно хранителями этого предания, именно Погодиным, — это было странно во всяком случае, происходило ли от непонимания или от непреодолимого личного нерасположения к молодому сопернику.

Критический прием Соловьева был именно прием «исторической школы». Первые образцы новой критики указали наглядно всю недостаточность прежних исследований и необходимость искать объяснения внутренних оснований исторического процесса. Труд Соловьева был приветствован его сверстниками именно потому, что, говоря словами одного из них, представлял «*первую* серьезную попытку понять и объяснить *постепенное развитие* древней русской жизни.

* Вестник Европы. 1883. Кн. 3. С. 274—284, 296—297.

[1] Оценка этих трудов делалась множество раз при их появлении; общее определение их укажем в статье г Герье: «С. М. Соловьев», в «Историч. вестнике», 1880; подробное перечисление их — в «Списке сочинений, 1842—1879», составленном Н А Поповым.

Этого до Соловьева никто еще не делал, по крайней мере печатно, не исключая самого Карамзина. ««История» Карамзина принадлежит более к изящной, чем к исторической, литературе (кроме примечаний, которые представляют богатое собрание материалов и источников). Карамзин обращал более внимания на внешние события, чем на внутренние. Он мало понимал последовательное, внутреннее развитие русской жизни... Конечно, в «Истории» Карамзина встречаются намеки на мысль, которую развил г. Соловьев в своей диссертации, но им едва ли можно придавать какую-нибудь важность... Дело состоит в том, что Карамзин не искал в фактах *мысли*, не останавливался над ними, не проследил их развития в истории, как г. Соловьев, а передавал их отрывочно, бессвязно, как они высказывались в фактах. Конечно, время было другое. Но нельзя ж опять не сказать, что это было так... Карамзин неглубоко смотрел на историю. Это и дает нам право назвать взгляд г. Соловьева вполне новым, оригинальным и самостоятельным, хотя за него и есть намеки в «Истории» Карамзина».

Критик, слова которого мы приводим, вообще находил очень малоудовлетворительной и историческую, и историко-юридическую литературу нашу после Карамзина. Единственная полезная часть и в той, и в другой — собирание и обнародование источников; но исследований очень мало, и направлены они на предметы несущественные; общие взгляды составляются из чистого произвола, а «необходимый *закон*, по которому совершалась древняя русская история», даже не привлекает внимания.

Критик называл это состояние науки *романтизмом* и находил, что «такой романтизм, господствующий в современных исторических исследованиях и лозунгами которого почти всегда — мысли самые недействительные, неисторические, преимущество Руси перед Россией (то есть древней России перед новой) и словенского мира перед романо-германским, — такой романтизм свидетельствует только, что до истинной действительной исторической науки нам еще очень, очень далеко».

Книга Соловьева радовала критика именно совершенным удалением этого романтического произвола и введением строгого научного исследования исторических законов и движущих начал. «Что мы особенно ценим в авторе книги, — говорил критик, — это безусловную *веру в историческое развитие* и потому совершенное отсутствие всяких любимых задних мыслей, насилующих факты, простой взгляд на исторические события и большой исторический смысл. Для г. Соловьева все эпохи нашей древней истории равно интересны и важны; во всех он ищет внутреннего значения, необходимой связи и разумной постепенности, не вводя посторонних деятелей от своего лица». «Мы не усомнимся сказать, — заключил критик, — что труд г. Соловьева сам по себе *составляет эпоху* в области исследований о русских древностях и подает радостные надежды в будущем».

Отзыв, сущность которого мы привели, принадлежит г. Кавелину[2].

Теперь, спустя почти сорок лет, когда и самый деятель, которого приветствовал критик, отошел в историю, особенно любопытен этот первый отзыв, так оправданный монументальным трудом Соловьева. Г. Кавелин с тем же вниманием и сочувствием останавливался на последующих сочинениях Соловьева и его «Истории отношений между русскими князьями Рюрикова дома» (1847) посвятил ряд статей, в которых внимательно проследил и проверил главную мысль Соловьева и ее исторические подробности — так как на этот раз шла речь об одном из основных *начал* всей старой русской истории[3].

Интерес вполне понятен: это были именно ученые *одной школы*, едва разделенные специальностью — один был собственно историк, другой — юрист, — но видевшие одно требование для исторического исследования и естественно сходившиеся в вопросе об исторических началах, которые были вместе и началами юридическими.

[2] «Отеч. записки». 1845. Дек. Библ. хроника и Сочин. Кавелина. М., 1859. Т. II. С. 30, 31, 33, 38.

[3] «Современник». 1847 Кн. 8 и 12; 1848. Кн. 5; Сочинения. Т. II. С. 454—612.

Понятие о народе как организме и об истории народа как органическом развитии его исконных бытовых начал в обстановке природных условий и внешних условий соседства составляет основную историческую идею Соловьева, и приложение этой идеи есть его великая научная заслуга. С первых своих исследований Соловьев исходил из этой точки зрения и потом несколько раз возвращался к объяснению понятия органического развития: естественно, что история, построенная на этом основании, была совсем не похожа на старую, карамзинскую. Свой главный исторический труд Соловьев открывает исследованием географической области, в которой предстояло развиваться деятельности русского народа. Это была система знаменитого Риттера, который в параллель исторической школе создавал тогда впервые географическую науку, связанную с историей и этнографией и объяснившую взаимодействие природы и человека.

Взгляд Риттера был опять привлекателен для Соловьева именно тем, что удалял из истории случайность и произвол и давал естественный и постоянный *закон* для объяснения фактов. Отдельные замечания о влиянии «климата» есть еще у Карамзина; но до Соловьева нигде не было с такой подробностью разработано влияние географических условий вообще — быть может, даже с преувеличением априорических выводов после факта. С точки зрения органического развития новый историк отнесся отрицательно к обычному делению русской истории на периоды: по его взгляду, никакого резкого деления не могло быть там, где идет *непрерывная* деятельность развития, где каждое явление подготовляется предыдущим, и если иногда крупное событие имеет вид внезапного переворота, это значит только, что его причин надо искать глубже, в условиях и потребностях жизни, — и дальше — в предшествующих веках. Еще в 1847 году, при защите второй диссертации, Соловьев в речи на диспуте высказывал свою точку зрения: до сих пор заботились особенно о том, как *разделить* русскую историю; теперь надо стараться, напротив, *соединить* ее части в одно целое, связать раздробленное и неправильно противопоставленное; надо воссоздать органический ход истории, а он сам отметит деления естественные и необходимые[4].

Позднее он развил эту самую мысль и в печати.

В связи с этим представлением, Соловьев объяснял родовыми отношениями «систему удельную», которая прежде представлялась бессмысленным делом произвола. Он отвергал также влияние монгольского ига в том размере, какое ему часто приписывали: монгольское иго было непричастно тому повороту в русской истории, который с ним совпадает хронологически, или по крайней мере было в этом повороте только одной из многих действующих причин. Далее, в связи с этим был взгляд Соловьева на Ивана III, на Ивана Грозного, которых деятельность внушена была не личными характерами, хитрой осторожностью одного или жестокостью другого, а принудительными обстоятельствами, которые вперед предписывали известное направление их политике. Наконец, в самом переходе от древней России к новой, в деятельности Петра, которая характеризуется обыкновенно как реформа, даже революция, Соловьев не видит никакого внезапного перерыва, никакого произвольного нарушения «исконных русских начал», на которое до сих пор плачутся поклонники древней Руси; напротив, Соловьев указывал теснейшую практическую связь древней России и новой и связь нравственную, потому что самый способ действия реформы складывался по тем нуждам, какие были почувствованы ранее Петра, и по тем приемам мысли, какие были воспитаны старым русским обществом. Петр был только выполнитель требования, которое веками нарастало в древней России, и средство, употребленное новой Россией для удовлетворения этого требования, было совершенно законно — оно употреблялось и самой древней Россией. Те угловатости, которых не лишена реформа, были следствием той малой развитости сознания, какая опять была унаследована от старой России. «Эта страсть к коренным переворотам, к полному отрицанию старого и созданию нового, есть плод неразвитости сознания. Одна крайность — бессознательное подчинение старому, ведет необходимо к другой крайности — бессознательному стремлению к новому».

Развивая далее мысль об органическом росте русского народа, Соловьев устраняет и ту черту, какою многие желают еще доныне отделять русский народ

[4] Сочин Кавелина. Т. II. С 459—460.

от европейского Запада, как нечто совсем на него не похожее и особенное, к чему не прилагаются идеи и исторические явления Запада.

Это мнение о несходстве или даже противоположности России и Запада — в котором не изгладилось или, вернее, усердно подогревалось предание старой московской исключительности — поддерживалось у нас людьми двоякого сорта; с одной стороны, людьми, вообще не весьма расположенными к просвещению («ученье — вот чума»), бюрократическими обскурантами, а с другой — подхвачено было новейшими доктринерами, которым казалось, что этим противопоставлением России и европейской образованности возвышается достоинство русского народа. Думаем, что Соловьеву это мнение было противно в обеих его формах.

В те годы, когда шла его молодая деятельность, на этой противоположности России и Запада особенно настаивали: Запад явился тогда очагом революционного буйства, против него принимались строжайшие карантинные меры, его просвещение считалось зараженным и ядовитым — и славянофилы странным образом этому вторили; Соловьев, который (как и многие другие деятели «исторической школы» в Германии и у нас) в результате своих исторических изучений был большим консерватором, не только не был, однако, приверженцем этого деления и удаления от Запада, но, напротив, думал, что последнюю стадию исторического развития русского народа, последний результат его исторической работы, составляет его приобщение к развитию общечеловеческому; в конце своей многотрудной задачи — внешнего построения государства и внутренней работы образования — русский народ должен примкнуть к европейской семье, ему родственной, и к ее просвещению. Требование просвещения именно и отличало Соловьева от всяких прежних и новейших консерваторов, и прибавка этого условия, конечно, изменяла всю обычную консервативную формулу.

Дело в том, что Соловьев по своему образованию не был только тесным специалистом, но примыкал к тому гуманному направлению, которое укреплялось у нас с влияниями европейской литературы и ростом своей. Он вообще стоял особняком, не вмешивался в горячую публицистическую деятельность кружка Белинского, но во всяком случае принадлежал к «западникам», и Грановский, наиболее мягкий и симпатичный представитель у нас гуманного направления, был для него высокоценимым товарищем[5].

Соловьев не любил полемики — слишком часто бесплодной, потому что большинство полемистов не умеют вести спора о деле, увлекаясь мелочностью личных раздражений, — неутомимая работа давала ему возможность вести постоянно дальнейшее разъяснение и доказательство своего взгляда. Очень редко он изменял своему обычаю и раз вмешался в спор против славянофильства. Оно было ему антипатично именно тем, что на место органического развития реальных данных народной жизни ставило в истории отвлеченные априорические положения и к ним подгоняло факты. Эти статьи Соловьева[6] особенно любопытны для объяснения его собственного приема и коренных разноречий с славянофильством. Это последнее направление он считал просто антиисторическим, и действительно, славянофильство доселе (и в настоящее время еще меньше, чем прежде) не может приладить своей теории к какому-нибудь последовательному изложению русской истории или русской литературы.

Одним из основных пунктов разноречия в определении хода русской истории была, естественно, Петровская реформа. Соловьев, осматривая ее с разных сторон, не скрывал от себя ее недостатков и не был ее безусловным панегиристом — но самым решительным образом защищал ее от ее новейших противников, именно как глубоко естественный, органически необходимый факт развития русского народа, как условие и ручательство его достоинства в среде европейских народов и в области общечеловеческого просвещения. Это был только более определенный исторически, но тот же взгляд на Петра, какой выставляла поэзия

[5] Ср. об этом замечание г. Герье: «С. М. Соловьев». С. 12—14 // Кн XXIII. С. 318—320 настоящего издания.

[6] А. Л. Шлёцер // Русск. вестн. 1856. № 8 и Шлёцер и антиисторическое направление // Русск. вестн. 1857. № 8 // Кн. XVI. С. 277—352 настоящего издания.

(не дворянская теория) Пушкина; тот же взгляд «западнической» партии, которая в реформе Петра защищала право просвещения, еще слишком мало обеспеченное в русской жизни; по мнению Белинского, которое делилось, несомненно, и его друзьями, Пушкин нигде не был так высок и именно так *национален*, как в поэтическом возвеличении «творца России».

Обозрение научного и общественного значения деятельности Соловьева привело г. Герье к следующему выводу, который мы приведем как первый уже *исторический* вывод об этой деятельности.

«В истории, — говорит г. Герье, — выражается народное самопознание, и историография служит средством для его выяснения. В лице С. М. Соловьева русская историография довершала задачу, которую она так давно стремилась выполнить. В нем соединились все условия, необходимые для национального историка в полном и истинном смысле этого слова... Ему было суждено поставить созидающееся здание русской историографии на прочном основании, потому что этим основанием была современная европейская наука. Но историческая наука не должна представлять только зеркало для прошедшего; она имеет культурное, общественное призвание, и так понимал свою задачу С. М. Соловьев. Для русской науки, как и для всякой другой, эта задача выполнима только в союзе с общеевропейским просвещением, и в этом отношении С. М. Соловьев направил русскую историографию на верный путь — ни его патриотизм, ни его преданность православной церкви не мешали ему считать себя европейцем и требовать от русского общества, чтобы *европейское* ему не было чуждо. Он сделал более; он доказал своей историей, что стремление к европейской науке и общечеловеческому просвещению есть исконное стремление в России, есть *национальное* стремление. Исторические труды Соловьева раскрыли постепенное, но непрерывное развитие этого стремления от первых зародышей его в «ревнителях просвещения» в древней Руси, от более ясного проявления его в «русских исповедниках просвещения»[7] в XVII веке до сознательного упрочения его в преобразованиях великого царя. В рядах этих русских ревнителей просвещения одно из самых почетных мест принадлежит русскому национальному историку, основателю исторического направления в русской истории, так высоко понимавшему как научный характер, так и просветительное призвание русской историографии...»[8].

Мы не будем входить здесь в разбор исторических взглядов Соловьева, которые в иных, и важных, отношениях остаются спорными; мы будем иметь случай говорить о них дальше, а здесь хотели только указать его главную заслугу, состоящую в приеме исследования, который действительно впервые открывал путь к правильному пониманию русской истории. Это не была внешне историческая, живописательная и морализирующая манера Карамзина, которая оценивала события по их внешней яркости, анекдотической занимательности, исторических деятелей — по их добродетелям и порокам; здесь открывалась критика внутреннего смысла этих событий, разыскивались физиологические основания быта; событиям и лицам определялось их место и значение по их связи с органическим движением истории. Исследования, веденные в этом направлении, могли продолжаться уже только в этом направлении — можно было оспаривать указанные историком законы явлений, но его точка зрения могла быть опровергнута только открытием и доказательством других *законов*.

В одно время с Соловьевым или даже раньше его на этот самый путь исследования вступил Кавелин. Его знаменитая некогда статья «Взгляд на юридический быт древней России»[9] составляет сжатый очерк того взгляда, который был положен в основание курса по истории русского законодательства, читанного им в Московском университете с 1844 года. Уже с этого времени Кавелин в своих лекциях объяснял «преимущественно родовые начала русского быта в их ис-

[7] Статья Соловьева в «Русск. вестн.». 1857. № 17. С. 65—76 // Кн. XXII. С. 189—197 настоящего издания.

[8] С. М. Соловьев. С. 38 // Кн. XXIII. С 335—336 настоящего издания.

[9] «Современник». 1847. Январь; Сочинения. М., 1859. Т. 1. С. 305—380 Статья помечена февралем 1846 г.

торическом развитии»; в 1847—1848 годах, он «большую часть лекций посвятил весьма подробному обозрению первоначального быта славян и исследованию происхождения древнейших славянских учреждений, причем пользовался данными из теперешнего быта славянских племен и историческими письменными памятниками их древнейшей истории»[10].

Во «Взгляде» весьма последовательно и ясно изложено развитие начал родовых, оказывавших влияние на самое политическое устройство государства, и указано их позднейшее разложение и перерождение. С этой точки зрения основных движущих элементов истории выводы Кавелина о главнейших исторических лицах, о значении исторических эпох нередко совершенно расходились с общепринятыми представлениями и складывались именно в том смысле, как мы видели у Соловьева.

Как пришли эти новые исследователи к своему методу? Нет сомнения, что они прямо и косвенно испытали на себе влияние тогдашней европейской науки, особливо немецкой исторической школы. В нашей историографии после Карамзина дальнейшей ступенью развития был Эверс, скептическая школа, а затем прямо труды Кавелина и Соловьева. Так называемая скептическая школа вызывала вообще гораздо больше осуждений, чем признания того, что все-таки было ею сделано,— и это понятно: она не оставила ни одного цельного законченного труда, разбилась на подробности — но любопытно отметить, что компетентные люди, видевшие близко ее деятельность, придают ей больше значения, чем обыкновенно за ней предполагается и чем можно было бы предположить без этих удостоверений.

Кавелин, сопоставляя Каченовского (главу скептической школы) и Венелина, не решался утверждать, ясно ли они понимали «великий подвиг», который им предстоял, но которого они не могли совершить по встреченным трудностям, но «то несомненно,— говорит он,— что оба далеко не были поняты». «Их невысказанная мысль осталась прекрасным, глубокомысленным завещанием для грядущих поколений; но современники, их собратия по делу, видели одни писаные слова. . Кого уверите теперь, что пределом их исторических убеждений была подложность Несторовой летописи или славянство варягов? В глаза бросается, что их навели на эти мысли — другие, *более глубокие* и в своем основании *верные требования* от науки русской истории... Очень понятно, что удары, которые посыпались на Каченовского и Венелина, должны были оглушить их и отклонить их деятельность и внимание в другую сторону. Так и прошли они, не высказавшись»[11].

Далее, Соловьев в обширной биографии Каченовского, написанной для юбилейного «Словаря профессоров Моск. университета» (1855), относится к Каченовскому с таким же признанием его заслуг в развитии исторической критики. Не менее их ценит эту заслугу ученый более старого поколения: г. Редкин замечает в автобиографии, писанной для того же «Словаря», что он слушал в Москве лекции русской истории «у первого,— по мнению Редкина,— критика отечественной истории Каченовского» и что «более всех он обязан лекциям по русской истории Каченовского, в отношении не столько самого содержания, сколько ученых *приемов*»[12].

В этих приемах и был вопрос. «Скептицизм» Каченовского основан был на требовании, чтобы бытовые явления и отдельные события, изображаемые историками, отвечали общему характеру века, то есть чтобы не подлежала сомнению их органическая связь с основными историческими данными места, времени и быта. И это требование, поставленное категорически как первое правило, было действительно ново в русской историографии. Подобное понятие о внутреннем физиологическом развитии народов Кавелин указывает и у Венелина. То и другое было несомненным, хотя на первый раз еще мало сознаваемым, отражением

[10] Биограф. словарь проф. Моск. университета. М., 1855. Т I С 365—366

[11] Сочин. Кавелина. Т. II. С. 408—409 Писано в 1847 году Прибавим, что Венелину, кроме того, очень повредили такие последователи, как Савельев-Рославлавич и Морошкин.

[12] Биогр. словарь. проф. Моск. унив Т. II С. 380.

тогдашнего поворота в европейской историографии. Но в 30-х годах в наших университетах, и в Москве особенно, являются уже непосредственные ученики и последователи немецкой исторической школы: ее учения передаются уже не в случайных, отрывочных отголосках, а в их полном составе и в систематическом порядке фактов и доказательств. Соловьев и Кавелин, еще будучи слушателями университета, воспринимали эти влияния, и, как бывает в здоровом развитии, воспринимали их с участием самостоятельной критики, и в результате было сознательное применение метода к новому материалу. Ближайшим материалом была русская история.

Общий план теоретического объяснения русской истории внутренними началами быта, как мы видели, сложился одновременно и весьма похоже у Соловьева и у Кавелина, но в некоторых отношениях Кавелин даже раньше указал новую точку зрения...

...Мы не имеем в виду излагать здесь факты движения нашей историографии, а только указать то внутреннее изменение, которое произошло в способах исследования, а затем и в самом взгляде на историческое развитие. Это был действительный переворот. Прежняя школа, последним могиканом которой оставался Погодин, как мы сказали, относилась не очень дружелюбно к новому направлению, думала противопоставить ему так называемый «математический» метод — который был только грубо компиляторским, — но, нападая на «общие взгляды» новой школы, могла противопоставить им только риторические тирады. Дальнейшие исследования в русской истории пошли по тому пути, который открыт был трудами Соловьева и Кавелина. Новые деятели, выступавшие на этом поприще, являлись уже готовыми последователями нового метода; назовем известные имена: Дмитрия Валуева, Пл. Павлова, Забелина. Писатели, которые несколько позднее являлись во многих и существенных пунктах противниками исторических выводов Соловьева, — Конст. Аксаков, с одной стороны, г. Костомаров — с другой, — шли, однако, по тому же пути органического исследования. Совершенно изменился и способ, и предметы изыскания: внешняя история, внешняя археология и этнография продолжают разрабатываться с многосторонностью, прежде неизвестной, но над ними ставится руководящий вопрос об органических элементах истории, о свойствах народного характера и быта, определивших склад общества и государства, о последовательном развитии, осложнении и изменении этих элементов. Все это сливается в изучении народности: науки, шедшие до сих пор раздельно, без ясно сознаваемой связи между ними, объединяются, и целью истории стало окончательно не одно государство, а именно национальный организм, государство, народ и общество — в их тесной физиологической и исторической связи...

П. В. БЕЗОБРАЗОВ

С. М. СОЛОВЬЕВ: ЕГО ЖИЗНЬ И НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК*

Глава 1. ДЕТСТВО. УЧЕНЬЕ. СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

5 мая 1820 года, в одиннадцать часов вечера, накануне Вознесения, в тесной, плохо меблированной квартире священника Московского коммерческого училища Михаила Васильевича Соловьева родился сын Сергей, недоношенный, а потому слабый, хворый, целую неделю не открывавший глаз и не кричавший.

* СПб., 1894 / Работа П. Безобразова вышла в биографической библиотеке Ф. Павленкова в серии «Жизнь замечательных людей» с портретом С. М. Соловьева, гравированным в Петербурге К. Адтом (воспроизведен на 5-й полосе книги первой настоящего издания Сочинений).

Из первых лет жизни Сергей Михайлович впоследствии с особенной любовью вспоминал о своей няньке Марье и даже приписывал ей большое влияние на образование своего характера. Это была небольшая худощавая старушка с очень приятным выразительным лицом, с добродушно-насмешливой улыбкой, очень набожная и притом всегда веселая, несмотря на множество злоключений, постигших ее в жизни. Девочкой ее разлучили с матерью, продали какому-то купцу, жившему в Астраханской губернии, потом ее отпустили на волю, и она поступила в услужение в Москву. Нянька Марья успела побывать три раза в Соловецком монастыре и столько же раз в Киеве.

«Рассказы об этих путешествиях,— говорил Сергей Михайлович,— составляли для меня высочайшее наслаждение; если я и родился со склонностью к занятиям историческим и географическим, то постоянные рассказы старой няни о своих хождениях, о любопытных дальних местах, о любопытных приключениях не могли не развить врожденной в ребенке склонности! Как теперь я помню эти вечера в нашей тесной детской: около большого стола садился я на своем детском стулике, две сестры, которые обе были старше меня, одна тремя, а другая шестью годами, старая бабушка с чулком в руках и нянька-рассказчица».

Рассказы старушки, умевшей и в незабавных приключениях находить забавную сторону, всегда отличались добродушным юмором и смешили ребенка; занимали его сообщения о дальних странах, о Волге, рыбной ловле, больших фруктовых садах, о калмыках и киргизах, о похищении последними русских людей, об их страданиях в неволе и бегстве.

Своей няне Соловьев приписывал и религиозно-нравственное влияние. Начнет она рассказывать о каком-нибудь страшном приключении, о буре на море, о встрече с подозрительными людьми, мальчик в сильном волнении спрашивает ее: «И ты не испугалась, Марьюшка?» Ответ был всегда один: «А Бог-то, батюшка?» Впоследствии в трудных обстоятельствах жизни Сергей Михайлович нередко вспоминал слова няни: «А Бог-то?»

Сестер Сергея Михайловича, которые были значительно старше его по возрасту, отдали в пансион, и мальчик рос один. Одиночество способствовало, конечно, раннему развитию и любви к чтению. Научившись грамоте, он с жадностью набросился на книги и в них находил единственное развлечение. Читал он все без разбору, и прежде всего романы, попадавшиеся ему под руку: Радклифа, Нарежного, Загоскина, Вальтер Скотта; такое чтение возбуждало преждевременно и без того пылкую фантазию мальчика и приносило ему гораздо больше вреда, чем пользы. Однако же врожденная склонность сказалась уже в раннем детстве. Среди отцовских книг попалась ему «Всеобщая история» Басалаева и стала его любимицей; он перечитывал ее много раз и особенно прельщался римской историей, с которой ему вскоре после этого удалось познакомиться подробнее из сочинения аббата Милота. В то же время мальчик увлекся Карамзиным и до 13 лет перечел его не менее двенадцати раз; с особенной любовью останавливался он на тех страницах, где повествовались славные для России события, и поэтому отдавал предпочтение шестому тому (княжение Иоанна III) и восьмому (первая половина царствования Грозного). Мальчик увлекался до того, что строил воздушные замки в области истории. Он от души ненавидел Стефана Батория за его победы над русскими и по целым дням мечтал: «А что, если бы сам царь Иван принял начальство над войском и разбил Батория, отнял у него Полоцк и Ливони?»; живо представлялось ему, с каким торжеством царь въезжает в Москву и везет пленного Батория. Не менее исторических книг маленький мечтатель увлекался путешествиями, читая «Историю о странствиях» и «Всемирного Путешествователя».

По обычаю духовенства, Михаил Васильевич Соловьев записал своего 8-летнего сына Сергея в духовное училище, с правом учиться дома и являться только на экзамены. Он сам учил мальчика Закону Божию и древним языкам, а для обучения другим предметам посылал его в Коммерческое училище, где в те времена преподавание не отличалось большим блеском. Отец не имел времени

аккуратно заниматься с сыном, а потому по большей части ограничивался тем, что приказывал выучить наизусть такие-то склонения и спряжения из латинской грамматики и только раз или два в несколько недель успевал проверить познания своего сына. Понятно, что мальчику, обладавшему пылкой фантазией, было очень тяжело механически заучивать почти без всякого руководства латинские вокабулы, в то время как он постоянно жил в области мечты: вместе с Муцием Сцеволой клал руки на уголья или с Колумбом открывал Америку. Мальчик каждый день держал перед собой латинскую грамматику по нескольку часов, но обыкновенно вкладывал в нее другую книгу, какой-нибудь роман, и результатом было то, что, когда отец начинал спрашивать его, он отвечал плохо и совершенно неудовлетворительно сдавал экзамены в духовном училище.

Поездки в Петровский монастырь, где помещалось духовное училище, Сергей Михайлович причислял к самым бедственным событиям в своей отроческой жизни; неопрятный вид учеников, грязные и грубые до зверства учителя возбуждали сильное отвращение в мальчике, привыкшем к домашней жизни. Один из учеников сделал однажды какую-то довольно невинную шалость; к нему подскочил преподаватель, вырвал у него целый клок волос и торжественно положил их на стол. Такие сцены, естественно, вселяли в мальчике страх к духовному образованию, потому что он немало слышал о грубости семинарских нравов и вообще не чувствовал ни малейшей склонности к духовному званию Под влиянием матери, принадлежавшей к светскому сословию, а также под влиянием неудовлетворительных экзаменов М. В. Соловьев после некоторого колебания решился выписать сына Сергея из духовного звания.

13 лет поступил он в третий класс первой Московской гимназии. Директором был Окулов, добрый и милый человек, очень любезный в обществе, славившийся своим искусством рассказывать анекдоты и в то же время известный своим мотовством; он держал много пансионеров и не занимался делами, предоставляя их инспектору Белякову. Это был человек неглупый, распорядительный, но желчный и грубый, часто кричавший на учеников и бранившийся... Порядок в младших классах, где было до ста человек, оставлял желать многого; на передней лавке ученики еще кое-что слушали, на средних разговаривали, на задних спали или играли в карты. Дисциплина завелась только с назначением попечителем Московского округа гр. Строганова на место кн. Голицына, когда инспектором сделан был вместо Белякова учитель математики Погорельский, человек ловкий, деятельный, самолюбивый, желавший угодить попечителю и потому следивший за порядком; он сменил учителей, не хотевших ничего знать, кроме учебника, или имевших голову не в порядке.

Соловьев учился хорошо по всем предметам, кроме математики, к которой чувствовал природную антипатию, усиливавшуюся еще оттого, что в третьем классе был учителем некто Волков, большой педант и человек довольно грубый Он, например, обращался к мальчику с таким приветом: «Дурак ты, Соловьев! Уравнения второй степени решить не можешь! Жаль мне твоего отца: отец твой хороший человек, а ты — дурак!»

Однако летом Соловьев поправился, отец взял ему учителя, и осенью он блистательно выдержал экзамен, так что перешел в четвертый класс первым учеником по всем предметам. Первый, кто подметил выдающиеся способности Соловьева, был Попов, преподававший русский язык и словесность начиная с четвертого класса. Он умел возбудить в учениках охоту к занятиям, прекрасно разбирал классические произведения литературы и ученические сочинения и на этих разборах не только выучивал правильно писать, но и развивал таланты, у кого они были. На уроках логики и риторики Соловьев, заинтересованный предметом, не мог удержаться, чтобы не высказывать вслух своих мыслей; Попов не сердился на такое неприличное поведение, и выходила беседа очень живая и поучительная Сочинения Соловьева своими достоинствами выдавались среди прочих ученических работ, хотя он часто уклонялся в сторону, не исполняя заданной темы, — вместо описания памятника Минину и Пожарскому предавался историческим воспоминаниям и пренебрегал риторическими формами, считавшимися тогда обязательными Попов журил его за отступления от риторики, но

тем не менее во время одной товарищеской беседы с учителем Красильниковым увлекся до того, что сказал ему: «Ведь Соловьев просто гений!» Красильников возразил на это. «Полно, полно, Павел Михайлович! Как это может быть, положим, что Соловьев — мальчик умный, с большими способностями, но может ли это быть, чтобы у нас в гимназии завелся гений?» Хотя не все относились к Соловьеву с таким восторгом, как Попов, но все учителя признавали в нем большие способности и любили его за отличное учение и примерное поведение. Сергей Михайлович всегда с удовольствием вспоминал о времени, проведенном в гимназии; легко, весело ему было с узлом книг отправляться в школу, зная, что там встретит его ласковый прием; приятно было ему чувствовать, что он имеет значение; приятно было, войдя в класс, направлять шаги к первому месту, остававшемуся всегда за ним.

В 1838 году 18-летний Соловьев был выпущен из гимназии первым учеником с обязанностью написать для акта рассуждение на тему «О необходимости изучения древних языков для успешного изучения языка отечественного», за которое получил серебряную медаль.

На лето Соловьев поселился в качестве учителя в деревне кн. Михаила Николаевича Голицына, сына разорившегося аристократа, малообразованного и развратного помещика. Воспитанием детей занималась княгиня, отличавшаяся нестерпимым характером, женщина ограниченная, капризная, сварливая. Молодому Соловьеву поручили обучение четырех детей, и между прочим Дмитрия, мальчика до безобразия толстого, вялого физически и умственно, в 13 лет с трудом читавшего по-русски. В доме Голицыных не говорили иначе как по-французски, с презрением относились ко всему русскому. Соловьева называли Mr. le Russe, и юноша вынужден был доказывать, что он гордится этим названием, что имя русского драгоценно для него, что ему лестно быть единственным русским в целом доме. Аристократическая семья произвела тяжкое впечатление на юношу, воспитанного в совсем другой среде, и осенью он отказался жить в доме Голицыных; но это лето оставило некоторый след в его жизни — одна крайность вызывает другую, и Соловьев на время ударился в славянофильство или, лучше сказать, русофильство.

Осенью Соловьев поступил в университет на I отделение философского факультета (теперешний историко-филологический). Ректором был в то время М. Т. Каченовский, известный историк-скептик, человек очень честный и всеми уважаемый. Читал он уже не русскую историю, как прежде, а славянские наречия и на этом поприще, как по старости лет (ему было 64 года), так и по недостаточному знакомству с предметом, не мог оказать большой пользы студентам. Деканом факультета состоял И. И. Давыдов, ученый-карьерист, смотревший на науку как на средство выслужиться, получать чины и ордена. Получив Станислава 1-й степени, он откровенно объявил, что высшие ордена производят удивительное впечатление: он чувствует себя нравственно лучше, выше с тех пор, как награжден звездой.

Академик Никитенко говорит о Давыдове в своем дневнике: «Вот человек, который из своего ума, таланта и обширных сведений сделал себе орудие мелкого своекорыстия. Стоило для этого столько трудиться, чтобы в заключение осквернить дары, предназначенные для лучшего употребления! Но такова безнравственность эпохи. Ум и дарование не возвышаются до веры в практическое добро. Как доказательство своей силы они представляют одни итоги нахватанных ими чинов, орденов и денег. Они не веруют ни в какое другое право на уважение общества. Это они называют искусством жить и презирают тех, которым недостает охоты или уменья идти их путем и употреблять свой ум и силы на ловлю житейских благ. Но не вправе ли они и в самом деле считать себя правыми?»

Давыдов был, несомненно, прав, потому что сумел сделать блестящую карьеру и, покинув университет, попал не только в ординарные академики, но и в председательствующие русским отделением Академии наук. О его приезде в Петербург в 1842 году, когда Соловьев кончал университетский курс, в дневнике академика Никитенко имеется следующее любопытное известие: «Профессор Давыдов в большой милости у Уварова (министра народного просвещения). Он

добился этого грубой лестью, которую министр всегда принимает с простодушием ребенка, чему нельзя не удивляться, ибо у него нельзя отнять ума, если не глубокого, то во всяком случае сметливого. Давыдов особенно завоевал его сердце статьей «О Поречье», деревне Уварова, — статьей, до того льстивой, что она насмешила всех в Петербурге, где нравы не так уже наивны, как в Москве. Уваров теперь принял здесь Давыдова с распростертыми объятиями. Недавно он заставил его прочитать по одной лекции в Екатерининском институте и Смольном монастыре, объявив предварительно девицам, что они услышат «русского Вильмена». Давыдов явился и не произвел ожидаемого эффекта. Особенно не по вкусу пришелся он в Смольном монастыре. Делая там обзор русской литературы, он отказал в поэтическом даре Державину и вовсе не упомянул о Пушкине, разумеется, из желания угодить Уварову, который никак не может забыть «Лукулла». В заключение Давыдов сказал, что всему в России дает жизнь и направление министерство народного просвещения. И все это в присутствии Уварова, который не покраснел и тогда даже, когда Давыдов торжественно объявил, что если он (Давыдов) сказал что-нибудь хорошее, то обязан этим не себе, а присутствию его высокопревосходительства: сам он (Давыдов) только «Мемнонова статуя, возбуждаемая лучезарным солнцем»».

Пресмыкаясь перед сильными, он требовал, чтобы и перед ним пресмыкались ниже его поставленные; людей дрянных, раболепствовавших он возвышал и, напротив, гнал людей порядочных, державших себя самостоятельно. Как декан, он покровительствовал сыновьям знатных и сильных, от которых в свою очередь ждал покровительства, и делал это в ущерб бедным студентам. Давыдов читал студентам историю русской словесности, но не сообщал им ничего нового; курс его был хорошо известен из напечатанных им «Чтений о словесности». Но так как ему не хотелось повторять самого себя, то он читал, вместо двух часов, всего час и целый год, что называется, переливал из пустого в порожнее: поэтому студенты называли его курс: «Нечто о ничем, или теория красноречия».

Другим профессором русской словесности был Шевырев, пользовавшийся известностью в свое время, но также не понравившийся Соловьеву, потому что он на своих лекциях увлекался фразерством и риторикой. Шевырев при каждом удобном и неудобном случае говорил в самых напыщенных выражениях о гниении Запада, о превосходстве Востока, русского православного мира; и прославлял Россию до такой степени, что лекции его среди студентов были прозваны казенными.

Древним языкам обучали Оболенский — человек знающий, но бездарный и полусумасшедший, над странными речами которого студенты постоянно смеялись, — еще более бездарный Меншиков и немец Гофман, ведший обучение совершенно по-гимназически, занимавшийся исключительно грамматикой, при чтении авторов обращавший внимание не на содержание, а на формы.

В 40-х годах философия не преподавалась на философском факультете. и потому студенты ждали общих идей и развития преимущественно от профессоров словесности и истории. Но литература была плохо представлена, и всего больше извлек Соловьев из лекций исторических. На первом курсе читал древнюю историю Крюков, хотя и не самостоятельный ученый, но даровитый профессор, хорошо знавший западную литературу и увлекавшийся Гегелем. Его блестящее и вместе с тем серьезное изложение увлекало слушателей, давало им не только много новых сведений, но и множество новых идей. Среднюю и новую историю читал Грановский, тогда только что начинавший приобретать известность. Лекции его производили на Соловьева такое же обаятельное действие, как и вообще на всех студентов, хотя с внешней стороны Грановский читал нехорошо, говорил тихо, требовал напряженного внимания, заикался, глотал слова. Но внешние недостатки исчезали перед внутренними достоинствами речи, перед внутренней теплотой и силой, дававшей жизнь историческим лицам и событиям Соловьев сравнивал изложение Грановского с изящной картиной, которая дышит теплотой, где все фигуры, как живые, действуют перед вами.

«Грановский, — говорит он, — принадлежал к числу тех немногих людей, которых, встретясь с ними раз, нельзя забыть, сошедшись с которыми тяжело расстаться. Природа одарила его наружностью, какой долго ищут художники: лицо его представляло редкое соединение очертаний мужественной красоты с выражением глубокомыслия и вместе благодушия, сочувствия, которое влекло к нему с неотразимой силой. Теплое и разумное слово его ласкало человека, к которому обращалось, было всегда желанным, дорогим подарком. Грановский был щедр на эти подарки, как самый общительный, сочувствующий человек, но с этой щедростью соединялась большая разборчивость. Он принадлежал к числу людей, мнение которых очень дорого ценится, и был судьей строгим при определении нравственного благородства. Такие люди, как Грановский, заставляют многих внутренно охорашиваться; и друзья, и не друзья, прежде чем делать, прежде чем сказать что-нибудь, задавали себе вопрос: «Что скажет об этом Грановский?» Понятно, что с такими нравственными средствами, какими обладал Грановский, влияние его на слушателя было могущественно. Грановский начал свою профессорскую деятельность, когда умы молодого поколения были сильно возбуждены великим стремлением, господствовавшим в исторической науке, — стремлением уяснить законы, которым подчинены судьбы человечества. Несмотря на непререкаемую важность, благотворность этого стремления, и здесь, как во всяком деле, во всяком стремлении человеческом, можно было дойти до вредной односторонности, которая и действительно обозначилась в исторических сочинениях, важных по своему достоинству и влиянию: имея в виду общие законы развития человечества, рассматривая исторических деятелей, целые поколения и народы только как орудия для достижения известных целей, приобретали жесткость взгляда, теряли сочувствие к поколениям и народам, к их радостям и торжествам, их страданиям и падениям; мало того, приобретали равнодушие, неразборчивость при оценке средств, которыми достигались известные исторические цели, целями оправдывались средства, не могущие быть оправданы на суде нравственном: что нужды, если употреблялись средства не нравственные, лишь бы употреблены были они во имя благодетельных для человечества идей. «Идеи не суть индейские божества, которых возят в торжественных процессиях и которые давят поклонников своих, суеверно бросающихся под их колесницы» — вот слова, раздавшиеся в аудиториях нашего университета с появлением в них Грановского. Грановский всеми силами своей любящей, сочувствующей души, всеми могущественными средствами своего живого, теплого таланта стал противодействовать вредной крайности господствующего направления, и в этом состоит его великая ученая и нравственная заслуга. Народы и поколения, в преподавании Грановского, являлись не мертвыми цифрами для решения известных исторических задач: они оживали перед слушателями, которые таким образом вводились в общество своих собратий, жили с ними одной жизнью, сочувствовали им, привыкали видеть в историческом человеке существо живое, чувствующее, и потому привыкали осторожнее обходиться с ними в своих чувствах, в своих суждениях. Грановский своим живым, теплым отношением к слушателям всего лучше напоминал учителя древнего мира: преподавание его не ограничивалось лекционными часами; студенты и окончившие университетский курс находили в нем всегда горячую готовность делиться с ними своими громадными сведениями, указывать средства к занятиям и доставлять эти средства из своей превосходно составленной библиотеки. Но что всего важнее было при этих беседах, это живительное впечатление, производимое на молодых людей, вступающих в жизнь, человеком полным жизни, полным горячего сочувствия ко всем ее вопросам, — человеком, готовым всегда служить своим собратиям и словом, и делом. Отсюда понятна сильная привязанность к нему учеников и всех людей, близко его знавших».

Благотворное влияние Грановского, заставившего Соловьева заняться всеобщей историей и полюбить ее, сказалось впоследствии в главном труде последнего — истории России. Казалось бы, что Соловьев, избравший своей специальностью русскую историю, должен был всего более научиться у того профессора,

который посвятил себя той же специальности. На самом деле это было не так. На последних курсах русскую историю читал Погодин, приобретший уже тогда громкую известность и занимавший кафедру 15 лет. Погодин занимался почти исключительно древнейшим периодом русской истории, главные его работы посвящены варяжскому вопросу; то же самое делал он в университете, и курс его был мало поучителен и еще меньше занимателен. Месяца два посвящал он славянским древностям, которые читал буквально по Шафарику; затем переходил к подробному рассмотрению вопросов о достоверности русских летописей и о происхождении варягов-руси, то есть сообщал то, что изложено было им в двух его диссертациях. В этом заключалась главная часть его курса; остальное время он посвящал чтению Карамзина, без всяких исторических пояснений, потому что не следил за наукой и не мог делать нужных дополнений по новым источникам. Он приносил с собой Карамзина и превращал лекцию истории в лекцию риторики, выбирая преимущественно места красивые. Погодин читал с восторгом описание тамерлановых подвигов и требовал от слушателей, чтобы они также восторгались этим описанием; затем обращал внимание студентов на необыкновенное искусство, с которым Карамзин переходит от рассказа об одном событии к рассказу о другом. Главная его цель была при этом убедить слушателей, что русская история интересна, что она не хуже какой-нибудь другой,— французской или английской. Погодин останавливался там же, где останавливался Карамзин, то есть на 1612 г. Таким образом, из его лекции слушатели могли основательно познакомиться только с варяжским вопросом, да с некоторыми местами из «Истории Государства Российского», которые и без профессора легко было прочесть; по книгам в то время нельзя было изучить русскую историю после Смутного времени, и этот существенный пробел не восполнялся курсом Погодина.

Значительная часть лекций посвящалась разговорам со студентами, и такие беседы могли бы быть очень полезны, если бы имели другой характер. Но Погодин ограничивался указаниями на то, *чем* следует заниматься, изложить историю сословий, историю отдельных княжеств и т. п., но самого главного, что требуется от профессора, он не говорил,— *как* заниматься, *как* работать над источниками. Он жаловался, что молодые люди самолюбивы, не хотят бескорыстно трудиться на стариков. «Ведь вот никто из них не пойдет к старому ученому дрова пилить»,— выражался Погодин со свойственной ему откровенностью, разумея под этим, что никто не соглашается подыскивать ему места в источниках, вообще заниматься подготовительной работой, которой он, Погодин, мог бы воспользоваться, сберегая таким образом труд и время.

Подобные беседы только смешили студентов и возбуждали антипатию к профессору. Университетская молодежь и так не питала к Погодину никакого уважения; он пользовался репутацией грубого до цинизма, самолюбивого и корыстолюбивого человека — таким он был на самом деле,— умным и плутоватым мужиком, по выражению академика Никитенко.

Понятно, что при таком составе профессоров наиболее плодотворным для Соловьева было занятие всеобщей историей. В то время господствовало философское направление, и увлечение Гегелем было таково, что занимающиеся студенты постоянно выражались гегелевскими терминами. Это направление было полезно в том отношении, что заставляло студентов думать, не ограничиваться фактами, но делать широкие обобщения. Философия истории Гегеля произвела такое сильное впечатление на Соловьева, что он, правда на короткое время, увлекся протестантским учением и собирался сделаться философом и разрабатывать религиозные вопросы. Но скоро любовь к истории взяла верх, и Соловьев погрузился в чтение исторических книг, преимущественно европейских ученых — Гиббона, Вико, Сисмонди. На последнем курсе он занимался больше всего русской историей, работал самостоятельно по источникам, так как наша литература того времени отличалась своей бедностью. Кроме Карамзина, почти нечего было читать; Карамзина он изучил еще в гимназии, да притом этот историк не удовлетворял даже студентов. Из сочинений по русской истории самое большее впечатление произвело на Соловьева «Древнейшее право руссов» Эверса, где он

нашел указание на родовой быт у славян, чем впоследствии воспользовался в создании своей теории.

Погодин обратил внимание на Соловьева, когда тот подал ему сочинение о первых веках русской истории, в котором опровергнул несколько положений Погодина. Однажды он с кафедры обратился с таким воззванием: «Г. Соловьев, зайдите когда-нибудь ко мне». Студент отозвался, конечно, на такое любезное приглашение профессора и стал ходить к нему в гости, но не часто, потому что приглашение получил уже во второе полугодие, перед окончанием курса. Погодин любезно принимал Соловьева, предоставил ему пользоваться своим знаменитым древлехранилищем, богатым рукописями, которое, кстати сказать, он впоследствии продал Публичной библиотеке за 150 тыс. рублей. Но работы своего слушателя Погодин так и не разобрал и ограничился замечанием: «Я хотел было с вами потолковать о вашем сочинении, но куда-то его запрятал, так что отыскать не могу».

В то же время Соловьев подал Крюкову сочинение о египетской истории, и работа эта так понравилась профессору, что он однажды громко объявил в присутствии других студентов: «Г. Соловьев, я ношу ваше сочинение в кармане, не могу с ним расстаться». На этом основании Крюков довольно настойчиво предлагал Соловьеву заняться древностями, но последний отказался, так как не чувствовал влечения к латинской грамматике и вообще филологии, изучение которой сопряжено было с изучением древней истории. Соловьев окончательно решился посвятить себя русской истории.

Выпускные экзамены Соловьев сдал, как всегда, блистательно и получил даже одобрение Погодина. Обращаясь к начальству, присутствовавшему на экзамене, профессор сказал: «Рекомендую г. Соловьева, это — лучший студент курса по русской истории, один из лучших во все продолжение моей профессорской службы; не скажу — лучший из всех: были прежде и другие такие же».

Глава 2. ЗАГРАНИЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. МАГИСТЕРСКИЙ ЭКЗАМЕН. ДИССЕРТАЦИИ НА СТЕПЕНЬ МАГИСТРА И ДОКТОРА ИСТОРИИ. ПРОФЕССОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В то время, когда Соловьев находился в старших классах гимназии и потом в университете, попечителем Московского учебного округа был граф Сергей Григорьевич Строганов. Он уважал науку, любил литературу и выше всего ставил в человеке талант, трудолюбие, честность, прямоту, благородство, строгое исполнение своих обязанностей. Он не любил давать места по протекции, и прийти к Строганову с рекомендательным письмом от знатной дамы или знатного господина — значило навсегда погубить себя в его мнении, никогда не получить места. Он доверял людям хотя и незнатным, но знающим и понимающим. К Строганову нельзя было подольститься, ему можно было понравиться исключительно личным достоинством и усердным исполнением своих обязанностей. Своим подчиненным он позволял высказывать свои мнения совершенно откровенно и спорить сколько угодно. Одного из чиновников, служивших под его начальством, Строганов хвалил таким образом: «Что это за человек! Бывало начну с ним говорить, спорить, указывать ему, не даст слова выговорить! Прекрасный, честный человек, крепкий в своих убеждениях!»

«После двухлетнего гнета под ферулою Д. П. Голохвастова (помощника попечителя), — рассказывает Буслаев в своих воспоминаниях, — мы, студенты 1834 года, могли вполне оценить и радостно почувствовать на себе самих благотворную силу обновления во всем строе университетской жизни. Предшественник графа Строганова, князь Сергей Михайлович Голицын, знаменитый и первый вельможа в Москве, был человек решительно добрый и благотворительный, но — странное дело — ровно ничего для университета не делал, а вполне предоставлял Голохвастову делать все, что угодно. Он даже вовсе и не любил университета и при нас в течение двух лет ни разу не был в аудиториях на лекции; только однажды посетил он нашу казенную столовую во время обеда, прошелся взад

и вперед между столами и, закинув голову, смотрел по верхам в потолок, на студентов же вовсе ни на кого и не взглянул. Граф же Строганов чуть не каждый день посещал лекции профессоров и внимательно слушал каждую с начала до конца, никогда не оскорбляя профессора преждевременным выходом из аудитории; а во время переходных и выпускных экзаменов любил знакомиться с успехами и способностями экзаменующихся студентов и с особенным вниманием и участием следил за теми из них, которые были уже у него на примете по дарованиям и прилежанию» («Вестник Европы». 1890 г. № 12).

Строганов застал в университете множество профессоров бездарных, отсталых, с нелепыми выходками и привычками, подвергавшихся вследствие того насмешкам студентов. Молодых людей, в которых попечитель усмотрел дарование и трудолюбие, он отправлял учиться за границу и таким образом обновил Московский университет. К этим молодым ученым принадлежали наиболее видные представители 40-х годов: Грановский, Крюков, Кавелин, Буслаев. Погодина, Шевырева и Давыдова Строганов не любил за их нравственную неопрятность, но терпел в университете, потому что заменить их было некем: для изучения русской истории и словесности не посылали молодежь за границу. Пользуясь враждой между попечителем и министром народного просвещения Уваровым, Погодин, Шевырев и компания старались заручиться покровительством министра, и старания их увенчались успехом.

Соловьева Строганов заметил еще в гимназии и в университете начал покровительствовать ему, поняв, что этим талантливым юношей можно будет заместить неприятного ему Погодина.

Отвергнув предложение Крюкова и занявшись преимущественно русской историей, Соловьев не имел никакой надежды быть посланным за границу на казенный счет. Между тем он считал для себя очень важным поучиться у европейских профессоров, но не мог сделать этого на свои средства Поэтому он очень обрадовался, когда по рекомендации попечителя получил предложение занять место домашнего учителя в доме его брата, графа Александра Григорьевича Строганова, проживавшего тогда заграницей.

Летом 1842 года Соловьев отправился в Теплиц, где находились Строгановы, но по дороге остановился на короткое время в Берлине и прослушал здесь несколько лекций знаменитых ученых, философа Шеллинга, великолепного старца с орлиным взглядом, производившего большое впечатление торжественностью своей речи, церковного историка Неандера, пользовавшегося громкой известностью, патриарха новой истории Ранке, Раумера, географа Риттера. Соловьеву необходимо было поспешить в Теплиц, и несколько берлинских лекций не могли принести ему большой пользы: он прослушал их из любопытства, желая посмотреть на знаменитых людей.

В Теплице Соловьев познакомился с семейством Строгановых, в котором пришлось ему прожить больше года и которое не понравилось ему. По рождению, воспитанию и образованию у него не было ничего общего с графом Александром Григорьевичем, опальным министром внутренних дел, и легкомысленной графиней, увлекавшейся иезуитами и католицизмом. Но хотя Соловьев и не мог сдружиться со Строгановыми, зато жизнью своей он был вполне доволен, потому что пользовался большой свободой. Из Теплица Строгановы вслед за приездом нового учителя переехали в Париж, и тут Соловьеву приходилось только учить 12-летнего графа Виктора Александровича, при котором состоял француз-гувернер. Занятия происходили по утрам не более трех часов в день, и затем Соловьев мог делать все, что ему угодно. Позавтракав, он отправлялся в королевскую (теперешнюю национальную) библиотеку, работал там до 3 часов, потом возвращался домой, писал до обеда, то есть до 6 часов, а вечером читал новые книги и журналы Не имея возможности работать над русской историей за недостатком книг, он занимался всеобщей историей, и преимущественно славянской. Уже тогда в голове Соловьева зарождались общие исторические теории, касавшиеся жизни всех народов; он задумывал сочинение, в котором хотел объяснить главнейшие явления в истории человечества отношением дружины к родовой общине, антагонизмом между замкнутым родом и выделившейся из него толпой людей

С этой целью он изучал историю древних и новых народов, семитические племена и славяне являлись, казалось ему, представителями родового начала, а греки — представителями дружинного, в борьбе патрициев и плебеев он видел борьбу родового и дружинного начала. Соловьев осуществил свою мысль гораздо позднее, уже незадолго до смерти, когда написал свои статьи под заглавием «Наблюдения над исторической жизнью народов»; но достойно внимания, что в нем уже в юные годы проявлялась склонность к широким обобщениям — он не мог ограничиться разработкой специальных вопросов, и в этом нельзя не видеть влияния Грановского.

По воскресеньям Соловьев отдыхал, ходил всегда в русскую церковь, после обедни отправлялся вместе с Сажиным, гувернером князя Гагарина, осматривать Париж, обедал в ресторане, вечером посещал театры, смотрел знаменитую Рашель, предпочитая, впрочем, комическую оперу и водевиль, где можно было посмеяться

Соловьев не ограничивался занятиями в библиотеке, но посещал также университетские курсы в Сорбонне и College de France, на которые по французскому обычаю допускалась публика. Французское преподавание и парижские профессора не понравились Соловьеву. Вот что писал он в своей статье о Парижском университете:

«Характер французского народа, живой и нетерпеливый, требующий непосредственного применения деятельности умственной к деятельности практической, расторг преграду, отделяющую в других государствах университет от общества. Подобно картинным галереям, публичным библиотекам, университетские аудитории открыты для всех; толпа хлынула в святилище: что же? Освятилась ли толпа или осквернила святилище? Увидим.

С одной стороны университетское преподавание выиграло от тесного сближения с обществом: профессор, имея в виду не малое число избранных посвященных, но сонм людей всех состояний, начал заботиться о доступности своего изложения для каждого слушателя; отсюда ясность речи, доведенная до высшей степени: французский профессор кокетничает этим качеством, уменьем находить способы объяснения один другого легче, один другого явственнее; часто он составляет целый ряд объяснений, поражая слушателей возможностью найти еще легчайшее истолкование предмета, уже и без того удовлетворительно уясненного Кроме того, являясь перед многочисленным собранием, профессор почитает обязанностью дать своей скромной музе блестящий наряд· отсюда речь его обработана, звучна, блестяща. Легко можно понять, какую огромную пользу получает от того язык, над которым со тщанием трудится многочисленное сословие мыслителей: каждый профессор исполняет обязанность члена французской Академии и не будучи включен в заветное число сорока. В то же время слух присутствующих приучается к правильности, налаживается на гармонию; надо видеть, до какой афинской тонкости дошли парижане в отношении к языку· каждое счастливое выражение, каждое гармонически составленное предложение замечено и награждено рукоплесканиями. Но этим и ограничиваются выгоды тесного сближения университета с обществом.

Встретившись с обществом лицом к лицу, университет удержал ли за собою первенство положения? Нет, он уступил, преклонился, поддался! Отсюда ряд оскорбительных, унизительных явлений. Лекция для парижан занимает место утреннего спектакля. Туда идут, чтобы без скуки провести время, узнать вскользь что-нибудь занимательное, а больше всего удовлетворить своей народной страсти — послушать хорошего оратора Не заботятся о содержании, лишь бы было хорошо рассказано; не говорят о том, что говорит профессор, но с восхищением повторяют несколько сильных или звучных фраз.

Что же профессора? Стараются ли удержать, обуздать такое ложное направление, дать народному характеру более степенности, образовать по возможности из этого пылкого, вечно молодого народа народ более сознательный и отчетливый, внушая ему более уважения к вещам важным, показывая, что цель науки — научать, а не забавлять и что народ, требующий картинок к учебнику, тем самым

сознается в своем младенчестве? Нет, я уже сказал, что университет не удержал своего высокого характера. Профессор есть покорный слуга слушателей; он хочет снискать их благосклонность; громкие рукоплескания — существенная его цель, средства к ее достижению для него дело второстепенное. Эти средства обыкновенно суть: отделать как можно тщательнее внешнюю часть речи, чтобы не утомить внимания слушателей, разжидить как можно более содержание, опуская подробности; чтобы и тут содержание не показалось слишком серьезным, развести его достаточным количеством острот, напоследок сосредоточить весь интерес к концу, к части патетической, чтобы последние слова были заглушены рукоплесканиями. Если сухость содержания не допускает патетической части, то оратор привязывается к отдельной мысли, не находящейся в большой связи с главным, часто воспламеняется одним словом и приделывает патетическую часть; так, например, дело идет об этрусках: какую занимательность может найти парижанин в этрусской истории, когда в палате рассуждается об испанских делах или о свекловичном сахаре? В таком случае профессор говорит, что этруски погибли, потому что не шли путем, по которому теперь идет Франция, а Франция и свобода это — такие два слова, которые необходимо должны заслужить рукоплескания, хотя бы даже в этрусской истории.

Впрочем, беспрестанные намеки на Францию и ее настоящее состояние не заслуживали бы никакого упрека, потому что каждый профессор должен иметь всегда в виду отечество и народность, и приложение уроков прошедшего к настоящему состоянию государства было бы всегда прилично, если б в подобном приложении видна была одна пламенная любовь к отчизне: к сожалению, легко усмотреть, что священное слово родина в устах большей части профессоров служит только средством к возбуждению участия и рукоплесканий, к раздражению, а не к назиданию толпы, и вот почему для чужеземца, приходящего с другими понятиями, подобное повторение кажется утомительным и недостойным» («Москвитянин». 1843. № 8).

Как в публичном преподавании Соловьев не хотел видеть хорошей стороны, так и к французским профессорам он относился отрицательно, отчасти потому, что в то время увлекался ложным патриотизмом и заразился несколько славянофильским духом. Из известных в то время историков Соловьев слушал Мишле и Ленормана, но обоих нашел неудовлетворительными.

Гораздо снисходительнее Соловьев относился к филологам и профессорам литературы. С. Марка Жирардена он слушал с наслаждением и вполне оценил его глубокий критический ум.

«Кине, — говорит он, — избравший предметом своего курса историю древней немецкой, итальянской и испанской литературы, не заботясь ни о рукоплесканиях, ни о количестве слушателей... никогда не унижает своего достоинства мерами противузаконными на кафедре; лекция его всегда обилует содержанием, речь его проста, безыскусственна».

Лето 1843 года Строгановы собирались провести на богемских водах, а так как для Соловьева не хватило места в их карете, он отправился один и, воспользовавшись случаем, осмотрел по дороге Страсбург, Штутгарт, Мюнхен и Регенсбург. Приехав в Карлсбад, он узнал, что Строгановы будут еще не скоро, и поехал в Прагу, где познакомился с известными славянскими учеными Ганкой, Палацким и Шафариком, а также с кружком властенцов (патриотов), мечтавших об освобождении Чехии из-под власти Австрии. Этот кружок молодых людей, добродушных и нравственно чистых, служивших идее и живших исключительно мечтой, произвел очень приятное впечатление на Соловьева, хотя они и отличались наивностью. Так, например, один властенец-гравер показывал с восторгом свою только что оконченную работу: вырезан был орел, которого зубами ухватил за шею лев. Лев — это эмблема Чехии, которого властенцы противопоставляли орлу, австрийскому гербу.

Зиму 1843—1844 годов Соловьев прожил вновь в Париже у Строгановых, часть следующего лета провел в Гейдельберге, где слушал лекции историков Рау

и Шлоссера, а конец лета опять у Строгановых на богемских водах и осенью 1844 года возвратился в Москву, где надеялся получить кафедру.

Во все время своего заграничного путешествия Соловьев не прекращал сношений с своим учителем Погодиным. Веря в расположение московского профессора, он сообщал ему о ходе своих занятий и даже обращался к нему за советом. Весной 1844 года Строгановы уговаривали Соловьева остаться у них еще на год, но он находил это для себя бесполезным, потому что заграницей невозможно было заниматься русской историей, а ему хотелось поскорее выдержать экзамен на магистра и получить право на кафедру. Поэтому он написал Погодину с просьбою сообщить, что делается в Московском университете и на что он может рассчитывать. Ответ не заставил себя ждать, но отличался двусмысленностью. Погодин в сильных выражениях благодарил Соловьева за оказанное ему доверие, к которому он, очевидно, не привык, сообщал, что он оставил кафедру, думает ехать в Швецию заниматься варяжским периодом, в Южную Сибирь для занятия монгольским периодом: что, с одной стороны, Соловьеву нужно было бы возвратиться в Россию для занятия русской историей, но, с другой стороны, пожить подольше заграницей было бы ему также очень полезно, что во всяком случае он может рассчитывать на место адъюнкта при университете. Письмо это удивило Соловьева своей странностью, потому что он в то время еще не понял характера Погодина и не знал, что делалось в Москве.

Авторитет Погодина сильно пошатнулся в 40-х годах, попечитель не благоволил к нему, и, благодаря своему грубому и неуживчивому характеру, он находился во вражде с молодыми профессорами, так называемыми западниками. Погодин был столько же публицистом, сколько ученым; он издавал журнал «Москвитянин», орган православно-русского направления, по выражению его биографа г. Барсукова. Какое это было направление, видно из одной редакционной статьи, написанной Погодиным.

Благоговение пред русской историей до Петра I, воздание должной чести Москве, осуждение безусловного поклонения Западу, сознание национального достоинства, уверенность в великом предназначении русского народа, не только в политическом смысле, но и в человеческом, уверенность в величайших дарах духовных, коими наделен русский человек для подвигов на поприще наук и литературы, сочувствие к племенам славянским, их истории, литературе и судьбе, непримиримая, открытая вражда к противоположному направлению — вот в кратких словах программа «Москвитянина».

Крайнее направление этого журнала удивляло даже таких умеренных людей, каким был цензор и академик А. В. Никитенко. «Читал, между прочим, «Москвитянина», — пишет он в своем дневнике. — Чудаки — эти москвичи, ругают Запад на чем свет стоит. Запад умирает, уже умер и гниет. В России только и можно жить и учиться чему-нибудь. Это страна благополучия и великих убеждений. Если это искренно, то москвичи — самые отчаянные систематики. Они отнимают у Бога тайны его предначертаний и решают по-своему жизнь и упадок царств. Они похожи на школьников, которые считают себя всемирными мудрецами, все знают и все могут. Они действительно являются выражением нашей младенчествующей самостоятельности».

Понятно, что такое направление пришлось не по сердцу молодым профессорам, гордившимся своим европейским образованием, не нравились им и грубые манеры Погодина. Последний не стеснялся, называл молодых профессоров немцами, громогласно говорил, что онемеченный русский гораздо хуже, вреднее для России, чем немец, что от посылки русских ученых за границу происходит страшное зло для университетов. Погодин доходил до того, что западников, людей очень почтенных, называл подлецами и негодяями. Вражда разгорелась особенно сильно в конце 1843 года, когда глава западников Грановский открыл в университете публичный курс по истории средних веков и когда его талантливые лекции имели большой успех в публике. Герцен приходил от них в восторг «Какой благородный, прекрасный язык, — пишет он в своем дневнике, — потому именно, что выражает благородные и прекрасные мысли. Я очень доволен. Его лекции — в самом деле событие И как современны они, какой камень в голову узким

националистам!» А Погодин занес в свой дневник следующие несправедливые слова: «Был на лекции у Грановского. Такая посредственность, что из рук вон, это — не профессор, а немецкий студент, который начитался французских газет. Сколько пропусков, какие противоречия. России как будто в истории и не бывало. Ай, ай, ай! А я считал его еще талантливее других...»

Хотя «Москвитянин» старался уничтожить Грановского и западников, они все-таки были в большинстве, пользовались покровительством попечителя и симпатиями студенчества. Поэтому Погодин подал в феврале 1844 года прошение об отставке по расстроенному здоровью, но при этом заявил Строганову, что если здоровье его в продолжение одного или двух годов восстановится, то он почтет священной своей обязанностью поступить вновь в преподаватели университета, если это угодно будет начальству. Погодин надеялся, что министр попросит его отдохнуть и не оставлять университета, но, вопреки его надеждам, отставка была принята, и профессор негодовал на самого себя за такой неосмотрительный шаг. В его позднейших воспоминаниях находятся следующие откровенные слова: «Года через два я думал опять вступить в университет с более укрепленными силами и по собственной просьбе начальства, что было бы для меня гораздо крепче, а теперешние неудовольствия могли, представлялось мне, кончиться по какому-нибудь случаю увольнением даже без пенсии, которую мне хотелось, так сказать, застраховать, пока министром был Уваров, мне благожелавший. Опасение и намерение неосновательные: я был уверен также, что через два года обратятся ко мне с просьбой, потому что нельзя же оставлять университет без русской истории, и в том, как оказалось, я ошибся жестоко. Вообще этот шаг должен я считать теперь совершенно опрометчивым и имевшим вредное влияние на гражданскую внешнюю мою жизнь».

В преемники себе по кафедре Погодин наметил молодых ученых менее талантливых, чем Соловьев, и при том таких, которые не намеревались посвятить себя исключительно русской истории. Одним из этих кандидатов был Григорьев, занимавший кафедру восточных языков в Ришельевском лицее в Одессе. В то время, когда Соловьев проводил вторую зиму в Париже и рассчитывал на благорасположение своего профессора, Погодин убеждал Григорьева сделаться его преемником. Григорьев вполне сознавал, что он не подготовлен для этой кафедры, и решительно отказывался; Погодин долго убеждал его. «Приготовляйтесь к лекциям со дня на день, — писал Погодин Григорьеву. — Попечитель остановился теперь на Соловьеве, кандидате, который должен воротиться из путешествия; малый он хороший, с душой, но, кажется, слишком молод».

В ответе на это письмо читаем следующие удивительные строки: «Если в Соловьеве один недостаток — молодость, так беда не велика; по-моему: молод да умен, два угодья в нем. Беда не в молодости его, а, как я слышал, в том, что рано он хитрить начал и не годится для кафедры русской истории не по уму и не по сведениям, а по недостатку нравственного достоинства, но этого Строганов не понимает». Все знавшие Соловьева единогласно подтвердят, что скорее у него можно было отнимать ум и талант, чем нравственное достоинство. От кого Григорьев слышал подобную клевету? Лично он не знал Соловьева, потому что с 1838 года находился в Одессе. Не шла ли эта клевета из Москвы?

По возвращении из заграницы Соловьев очутился в довольно неловком положении. Статья его о Парижском университете, из которой я выше привел выдержки, пришлась по вкусу Погодину и была напечатана им в «Москвитянине», но по этому самому не могла понравиться западникам. Неприятно действовало отрицательное отношение к Парижскому университету, а так как Соловьев ничего другого не печатал о своем заграничном путешествии, можно было думать, что он вообще относится пренебрежительно к европейской науке, чего на самом деле не было. Помянутая статья написана действительно в узко национальном направлении. Она начинается такими словами:

«Для каждого путешественника-наблюдателя первым предметом любопытства в государстве, среди которого гостит он, должно быть народное образование, закончание которого сосредоточивается обыкновенно в высших учебных заведе-

ниях, в университетах. Если человек родится в свет грубым материалом, которому семейство должно сообщить человечественную форму, то университет обязан дать ему форму гражданскую, образование гражданина в настоящем, полном значении этого слова и стыд тому семейству, из которого молодой человек выходит без наследия, без имени отеческого, заклейменный печатью чуженародности в поступках, мыслях и словах; такой сын должен считаться незаконным в высшем, гражданском смысле. Но еще несчастному юноше остается средство спасения: он может быть усыновлен отечеством чрез университет; но он погибает окончательно, если и здесь встречает чуждое направление, — и стыд и горе такому университету!»

Статья кончается совершенно в тоне «Москвитянина»:

«Никогда, — говорит Соловьев, — полное удовлетворение не было моим уделом после лекции Ленормана; никогда не мог я освободиться от чувства какого-то недостатка, пустоты, даже неприличия; мне было грустно, мне было стыдно за Ленормана, и — странное дело — эта грусть, этот стыд увеличивались в той мере, в какой увеличивалось мое уважение к оратору. Русские поймут подобное состояние духа; оно дало мне знать, что я принадлежу к семье того великого народа, высокой природе которого суждено представить совершенство природы человеческой: я разумею гармоническое сочетание ума и чувства. Вот почему не по нас сухое преподавание немецкое; вот почему не может удовлетворить нас одна восторженная импровизация французов; для нас здесь не существует выбора; оба направления, взятые порознь, нам чужды, противны естеству, ненародны. И особенно теперь, в эту торжественную эпоху, когда с развитием народного самопознания явилась сильная потребность знания, когда общество стремится сблизиться с университетом, хочет заключить с ним святой союз для дружного, братского прохождения своего великого поприща: теперь-то всего более надобно говорить *по-русски*. И высокая мудрость правительства, всегда сочувствующая нашим потребностям, призывает таланты в великом деле народного оглашения (позволением читать публичные лекции даже и не членам университета).

Да откликнутся же на этот призыв мужи науки, в сердце которых горит святое пламя отчизнолюбия, и да заговорят с нашим обществом речью русской, умной и вместе теплой. Но прежде пусть взвесят собственные силы и уразумеют всю великость своего назначения. Да страшатся унизить науку потворством обществу: русское общество накажет презрением человека, осмелившегося предложить ему забаву вместо назидания. Да страшатся представить обществу мертвую книгу вместо человека живого и любящего; русское горячее сердце требует голоса сердечного, на русской почве мысль без чувства беспотомственна. Но да остерегаются также раздражать сердце без удовлетворения уму: русско-ясный, здравый ум поймет недостаток, и сердце откажется внимать человеку, пренебрегшему его привычным сопутником. Более всего да боятся предстать пред общество неприготовленными, да боятся искушать вдохновение! Но если труд добросовестный и вдохновение сопровождали ученого при его занятиях, то пусть смело идет он представить обществу плоды этих занятий. Великий поэт и патриот Италии в дивной своей поэме превосходно изобразил силу речи народной, представив мертвеца, восстающего из гроба при звуке родного языка. Но если мертвецы откликаются на родную речь, то как же откликнется на нее народ, который Провидение благословило жизнью полной, совершенной!»

По поводу этой статьи Соловьев писал Погодину из заграницы·

«Человек, кажущийся вам хорошо ко мне расположенным, писал, что-де статья моя о Парижском университете хороша, но окончание-де слишком похоже на фразы «Москвитянина»! Вот что готовится моей русской душе в России! То, чем единственно горжусь я, то, почему единственно считаю себя чем-нибудь, называют фразами! Скажите мне, господа цивилизованные европейцы, почему вы, замечая с таким тщанием все полезное и бесполезное на Западе, до сих пор не заметите одно — того, что здесь каждый народ гордится своей народностью,

любит и хвалит ее; отчего одни русские лишены права делать то же? Кто из нас более европейцы,— вы ли, которые разнитесь с ними в самом существенном, или мы, подражающие им в этом. Вы, приезжая из Парижа, хотите тотчас похвастаться глубокомысленным суждением о Тьере и Гизо, новым фраком и цепочкой; зачем вы не хотите позволить и нам также показать парижский тон, ставя свое и своих выше всего на свете, как то водится в парижском обществе? Нет, милостивые государи, вы не убедите меня, что я рискую возвратиться из Европы с варварскими понятиями и квасным патриотизмом; у меня есть доказательство моего европеизма: когда я говорю с европейцем, хвалю, защищаю Россию, то он понимает меня, находит это естественным, ибо сам поступает так же в отношении к своему отечеству, но вас, позорящих отчизну, вас не понимает он, считает уродами, презирает».

Соловьев увлекался русофильством главным образом потому, что в высших сферах, с которыми пришлось ему столкнуться в ту пору, когда он далеко еще не созрел, господствовала галломания и слишком большое презрение ко всему русскому. Профессора-западники косо посмотрели на него, потому что считали его славянофилом, последователем Погодина, и, отделавшись от последнего, не желали вступления в университет подобного же профессора. О Соловьеве они судили по его статье, не зная, что он вовсе не такой славянофил, как они думали, потому что он ни к кому из них не ходил, ни в ком не заискивал. Он сидел у себя дома, стараясь как можно лучше подготовиться к магистерскому экзамену и написать поскорее диссертацию. Кроме истории всеобщей и русской, географии древней и новой, приходилось экзаменоваться из политической экономии и статистики. Поэтому Соловьев зашел к профессору Чивилеву, читавшему политическую экономию, желая представить ему, что главная его цель — показать свою способность занять кафедру русской истории, для чего будет служить диссертация, а чтобы написать хорошую диссертацию, надо употребить на нее все время, а не тратить его на предметы второстепенные. Соловьев желал, как это обыкновенно делалось и делается до сих пор, чтобы профессор указал ему те вопросы, на которые ему придется отвечать. Но Чивилев, принадлежавший к партии западников, принял его очень сухо и, когда он спросил, что ему нужно приготовить к экзамену, отвечал, что, если он прочтет все книги по политической экономии и статистике, рекомендованные им на лекциях, это будет достаточно. Само собою разумеется, что такая задача была непосильна для историка и подобное требование уместно было бы предъявлять только специалисту, посвятившему себя экономическим наукам.

Западники были настроены против Соловьева, но в то же время славянофилы не поддерживали его, и он не искал их покровительства. К тому же в университете был в то время один только славянофил Шевырев, не пользовавшийся уважением товарищей. Шевырев вместе с Погодиным интриговал, чтобы последнего упросили занять вновь только что оставленную кафедру. Соловьев зашел как-то к декану Давыдову, чтобы поговорить с ним о предстоящем экзамене. Давыдов с нахмуренным лицом вдруг спросил его:

— Что же это значит? М. П. Погодин хочет опять войти в университет, ведь мы имели вас в виду.

Давыдов не любил Погодина, как своего соперника, так как они оба ухаживали за министром Уваровым и выпрашивали у него всякие милости. Вопрос декана очень озадачил Соловьева, и он ответил, что ничего не знает, что это дело университета. Давыдов заподозрил его в неискренности, и таким образом зародилось в университетских кружках ни на чем не основанное подозрение, будто Соловьев находится в стачке с Погодиным и последний намерен вернуться на кафедру вместе со своим учеником.

Между тем отношения между Погодиным и Соловьевым совсем не были настолько близки, и едва ли их можно было назвать дружественными. Погодин не скрывал, что сожалеет о своей отставке. «Вот и Шафарик пишет,— говорил он,— зачем я так рано оставил университет», но о своих планах он ничего не

сообщал. Одна выходка даже сразу отшатнула ученика от учителя, в расположение которого ему все еще хотелось верить.

— Что же вы пишете диссертацию, — обратился Погодин к Соловьеву, — а со мной никогда о ней не поговорите, не посоветуетесь?

— Я не нахожу приличным советоваться, — ответил Соловьев, — потому что, хорошо ли, дурно ли напишу я диссертацию, она будет моя, а стану советоваться с вами и следовать вашим советам, то она не будет вполне моя.

— Что же за беда, — возразил Погодин, — мы так и скажем, что диссертация написана под моим руководством.

Следствием всех этих обстоятельств, борьбы западников с славянофилами, подозрения, что Соловьев принадлежит к партии Погодина, недоброжелательства самого Погодина, было то, что Соловьев выдержал экзамен гораздо хуже, чем этого можно было ожидать, судя по его способностям и громадному трудолюбию. Экзамены на магистра не имеют точной программы, требуется главным образом знание литературы предмета, а это понятие очень растяжимое: от взгляда профессора зависит, знакомство с какими сочинениями считать совершенно обязательным. Притом история — наука такая обширная, что молодые ученые не в состоянии овладеть ею целиком и обыкновенно ограничиваются той или иной страной, той или иной эпохой. Экзамен на ученую степень может быть очень труден и очень легок; для Соловьева он был преисполнен всяческих затруднений, потому что после неудачной попытки с Чивилевым он не обращался уже к профессорам с просьбой наметить ему определенные вопросы.

Экзамены начались с всеобщей истории в январе 1845 года. Грановский задал Соловьеву три вопроса: один — из истории Франции о первых Капетингах, другой — из истории Испании, третий — о сравнении русской летописи с западной. Не легко было ответить на все эти вопросы без приготовления, не зная, что они будут заданы, но Соловьеву помогли его заграничные занятия, его обширное знакомство с всеобщей историей. Грановский написал на экзаменационном листе, что Соловьев обнаружил большую начитанность, но что он затрудняется в изложении — это был намек на то, что он неспособен занимать кафедру.

Второй экзамен из русской истории был менее удачен. За неимением специалиста в университете, пригласили Погодина. Он задал экзаменующемуся удивительный вопрос: изложить историю отношений России к Польше с древнейших до последних времен. На такой вопрос ни сам Погодин, ни кто другой не мог бы ответить удовлетворительно по той простой причине, что в то время как история Польши, так и новая русская история после вступления на престол Михаила Федоровича оставались совершенно неразработанными. Чтобы выдержать подобный экзамен, нужно было много лет просидеть в архивах и изучить нигде не напечатанные документы, что впоследствии и сделал Соловьев, но в 1845 году не было книг, по которым можно было бы уяснить себе отношения России к Польше за целых 900 лет. Соловьев старался уклониться в сторону, показать свое знание собственно русской истории; Погодин останавливал его, требуя, чтобы он говорил только об отношениях к Польше. Понятно, что присутствовавшие профессора остались недовольны и заявили, что ответ — гимназический, а не такой, как требуется от магистра, и что из такого ответа не видно, может ли экзаменующийся занять профессорскую кафедру

Еще неудачнее прошел экзамен по политической экономии вследствие того, что Соловьев не успел подробно заняться этой наукой, и вследствие недоброжелательства профессора Чивилева.

Единственный человек, который продолжал хорошо относиться к Соловьеву, — это был попечитель, граф Строганов. К нему-то отправился Соловьев и, выслушав жалобу на неудачный экзамен, прямо объяснил ему, что он считал нелепым заниматься подробным изучением статистики и политической экономии вместо того, чтобы писать диссертацию, которая должна показать его права на кафедру; что же касается до странного вопроса по русской истории, он в этом не виноват. Строганов понял, в чем дело, и, убедившись, что во всем виновата погодинская интрига, к которой Соловьев непричастен,

ободрил молодого человека и дал ему понять, что участь его будет зависеть от диссертации, а не от экзамена.

Соловьев собирался первоначально написать книгу об Иоанне III, но, занявшись Новгородом, он заметил, что для уяснения последних судеб этого города и уничтожения его вольности необходимо проследить отношения Новгорода к великим князьям, и таким образом он написал диссертацию «Об отношениях Новгорода к великим князьям». В начале великого поста Соловьев подал диссертацию декану, а тот препроводил ее Погодину, который должен был дать о ней отзыв, так как в факультете не было компетентного лица. Прошло около двух месяцев, Соловьев ничего не знал об участи, ожидающей его работу; жизнь он вел одинокую и чуждался профессорских кружков, где имели о нем не слишком лестное мнение. В четверг на Страстной, гуляя по Арбату, он встретился с Грановским и Кавелиным. Грановский с насмешливой улыбкой спросил Соловьева:

— Что же ваша диссертация?

Соловьев удивился такому вопросу, потому что Грановский был секретарем факультета.

— Давно подана, — ответил он.

— Как — подана? — возразил Грановский все с той же насмешливой улыбкой, — никто в факультете не знает об этом.

Соловьев объяснил, что его работа препровождена к Погодину, и после Пасхи зашел к нему с просьбой возвратить наконец диссертацию в факультет с своим об ней мнением, чтобы решился вопрос, считают ли ее достойной ученой степени или нет. На эту просьбу Погодин отвечал следующее:

— Я долго думал, как объявить вам мое мнение о вашей диссертации, ибо я чувствую, как тяжело должно быть для вас на первый раз, при первом опыте, выслушать отзыв нелестный: диссертация ваша как магистерская диссертация очень хороша, но как профессорская — вполне неудовлетворительна; приступ блестящий, правда, есть кое-что новое, чем я и сам воспользуюсь, но в изложении нет перспективы; повторяю, труд прекрасный как магистерская диссертация, но как профессорская не годится.

Соловьев возразил совершенно основательно, что ни о какой профессорской диссертации не должно быть речи; он желает получить ученую степень, и если Погодин находит его работу удовлетворительной, пусть он сделает соответствующую надпись, и факультет больше не будет беспокоить его. Тогда Погодин стал отнекиваться, говорил, что напишет на диссертации только: «Читал». Но Соловьев настаивал:

— Если вы говорите прямо, что диссертация удовлетворительна, почему вы не хотите этого написать?

Погодин вынужден был уступить и написал на диссертации: «Читал и одобряю».

Погодин проговорился: он ничего не имел против Соловьева, если бы тот согласился стать его прислужником, но признать его способным к профессорскому званию он не хотел: ему желательно было, чтобы кафедра русской истории пустовала и чтобы его упросили вновь занять ее.

— Вот если бы я был опять профессором, — говорил он однажды Соловьеву, — а вы у меня адъюнктом, то мы бы устроили так: когда бы мне не поздоровилось, или так почему-нибудь я не был бы расположен читать, то я давал бы вам знать, о чем следует читать, и вы эту лекцию читали бы за меня.

Понятно, что Соловьев не соглашался на такую унизительную роль, и Погодину оставалось одно — не пускать его по возможности в университет.

Старания его, однако, не увенчались успехом. Как только диссертация попала вновь в руки Соловьева, она была передана Грановскому, а тот, не считая себя достаточно сведущим в русской истории, отдал ее на рассмотрение Кавелину, тогда только что начинавшему свою ученую деятельность и читавшему на юридическом факультете историю русского законодательства. Кавелин пришел в восторг от работы. в ней не было славянофильского направления, чего он опасался, но заметно было критическое отношение к источникам и широта взгляда. Диссертация Соловьева представляла действительно замечательное явление, в ней

проведена была новая теория о старых и новых городах. Восторг свой Кавелин изложил на страницах «Отечественных записок».

«Вышло новое, весьма замечательное сочинение г. Соловьева, — писал он, — об одной из самых сбивчивых, запутанных эпох и сторон древней русской истории. Это сочинение — диссертация на степень магистра. Главная ее задача, как видно из заглавия, — определить, в каких отношениях находился Новгород к великим князьям древней России, от так называемого начала русской истории до окончательного покорения Новгорода Иоанном III. Эта задача решена прекрасно. Соловьев не удовольствовался общими местами и пустыми рассуждениями, а раскрыл летописи, тщательно сверил их, вник очень подробно в отношения князей и княжеских линий Рюрикова дома, как между собой, так и к Новгороду, и изложил эти отношения исторически, следя из года в год за однообразными, скучными переменами князей в Новгороде и борьбой князей, когда она могла пояснить новгородские события. Одна эта чисто историческая или лучше фактическая часть диссертации — большая заслуга автора. Пора же наконец видеть события старой Руси, рассказанные или просто, или критически, но без вычур, без литературных прикрас, какими испещрена история Карамзина. Если бы Соловьев ограничился одним этим, мы и тогда сказали бы ему спасибо за многие новые и дельные замечания, за прекрасное изложение, за строго фактический рассказ, истории новгородских князей и за добросовестное решение вопроса, основанное на тщательном изучении источников. Но Соловьев сделал гораздо более. По поводу внутреннего устройства Новгорода и его отношений к князьям, он высказал совершенно новый, замечательно оригинальный взгляд на весь период уделов. Кто хоть сколько-нибудь знаком с нашими источниками, знает взгляды или лучше отсутствие всяких взглядов на древнюю русскую историю, тот, конечно, оценит мысль Соловьева. Не говоря уже о том, что в ней много поразительно верного, остроумно подмеченного, она потому заслуживает особенного внимания, что представляет первую серьезную попытку понять и объяснить постепенное развитие древней русской жизни. Этого до Соловьева никто еще не делал, по крайней мере печатно, не исключая самого Карамзина». Рецензию свою Кавелин закончил следующими словами: «Мы не усомнимся сказать, что труд г. Соловьева сам по себе составляет эпоху в области исследований о русских древностях и подает радостные надежды в будущем. Нам остается поблагодарить автора и пожелать ему для него и для нас, чтобы продолжение его историко-литературного и ученого поприща было так же блистательно, так же обильно результатами, как начало».

Прежде чем напечатать свой отзыв, Кавелин говорил то же самое в университетских кружках, и отношение профессоров к Соловьеву совершенно изменилось: западники приняли его с распростертыми объятиями. Когда Соловьев приехал к Грановскому, он встретил его комплиментами, сознаваясь, что суждение свое основывает на словах Кавелина.

— А что Погодин говорит о вашей диссертации? — спросил Грановский.

Соловьев передал знаменательные слова Погодина об отношениях диссертации к магистерству и докторству. Грановский не удержался.

— Подлец! — сказал он.

Строганов очень обрадовался такому ходу дела, он с восторгом слушал похвалы труду Соловьева от тех самых лиц, которые прежде отзывались не слишком лестно о молодом ученом. Попечитель был очень доволен, что может заместить Погодина молодым человеком, вполне достойным, и потому приказал Соловьеву готовиться к чтению лекций. При этом случае Соловьев выказал благородство своего характера: он не считал себя вправе сердиться на Погодина за то только, что тот не признал его диссертацию достойной профессорской кафедры, и счел своей обязанностью предупредить профессора, старавшегося повредить ему, о том, что готовится в Московском университете Поэтому зайдя к Погодину, он откровенно сказал ему:

— Знаю, что вы желаете занять опять кафедру, но Строганов велел мне приготовляться к лекциям; имейте это в виду и принимайте какие-нибудь меры.

Погодин ответил на это следующей колкостью.

— Не знаю, чего хочет Строганов Хочет ли он, чтобы вы были при мне адъюнктом или при ком-нибудь другом? Слышал я, что он думал о переводе сюда Иванова из Казани; может быть, он хочет, чтобы вы при Иванове были адъюнктом.

Погодин хотел уязвить Соловьева и сказать ему, что самостоятельным преподавателем он все равно быть не может. Понятно, что при таком отношении учителя к ученику между ними не могли продолжаться дружелюбные отношения.

29 июля декан созвал факультет и объявил, что в нем находятся две вакантные кафедры: философии и русской истории, и что попечитель предлагает двух кандидатов: Каткова и Соловьева. Катков был избран единогласно на кафедру философии, но, когда дошла очередь до Соловьева, Шевырев объявил, что странно будет факультету выбирать на такую важную кафедру молодого, ничем не известного человека, когда знаменитый ученый Погодин, чувствуя, что его здоровье поправилось, желает опять занять прежнее место. Большинством голосов, однако, постановили выбрать Соловьева, поручив при этом декану спросить Погодина, на каких условиях тот желает опять читать лекции. Давыдов предложил Погодину читать лекции для желающих, в качестве приват-доцента без всякого вознаграждения. Погодин принял это, конечно, за оскорбление и ответил грубым письмом в факультет.

В сентябре 1845 года Соловьев начал чтение лекций в качестве преподавателя, и его две первые лекции, заключавшие обзор всей русской истории, произвели благоприятное впечатление на присутствовавших профессоров.

— Мы все вступили на кафедру учениками, — сказал Грановский, — а Соловьев вступил уже мастером своей науки.

— Дай Бог, чтобы Погодин кончил так, как этот начал, — заметил Строганов.

В октябре состоялся диспут Соловьева, прошедший блистательно. Неприятное впечатление произвело только неприличное поведение Погодина. Он объявил, что приехал только с тем, чтобы изложить свое мнение о диссертации, а не с тем, чтобы спорить; поэтому он не желает слышать никаких возражений Соловьева и не обратит на них ни малейшего внимания. Декан, однако, предложил Соловьеву защищаться, так как в этом и заключается смысл диспута, и ему нетрудно было разбить главнейшие доводы Погодина.

Казалось бы, что после всего этого отношения между учителем и учеником должны были бы окончательно прекратиться, но добродушный Соловьев чрез несколько месяцев после диспута все-таки стал заходить к Погодину и выслушал от него разные укоры.

— Ваши два приезда ко мне произвели на меня приятное впечатление, — сказал Погодин, — я подумал, молодой человек еще не огрубел; но скажите, разве хорошо вы со мной поступили?

— Вы прежде скажите мне, что дурного я сделал по отношению к вам? — ответил Соловьев.

— Вы мне привезли экземпляр своей диссертации безо всякой надписи, тогда как я видел, что другим вы надписали: какому-нибудь Ефремову и тому надписали.

— Но видели вы экземпляры моей диссертации у членов факультета? — спросил Соловьев. — Ни у одного из них вы не найдете с надписью, ибо надписывать я имел право только тем, кому дарил, кому мог и не дать, тогда как лицам официальным, каковы члены факультета, я обязан был дать по экземпляру; они получили экземпляры, так сказать, казенные, а не от меня в дар. Вас я также причисляю к лицам официальным, вы были экзаменатором. Но скажу прямо: конечно, вы получили бы экземпляр с надписью очень для вас лестной, если бы не так поступили со мной, если бы черная кошка не пробежала между нами.

— А это хорошо с вашей стороны, — продолжал Погодин, — начать первую лекцию и не сказать ни слова обо мне, вашем предшественнике?

— Решительно в голову не пришло, — ответил Соловьев.

Но если бы ему это и пришло в голову, он очутился бы в большом затруднении, потому что не мог сказать ничего хорошего о Погодине как о профессоре.

Погодин говорил о пустяках, умалчивая о своем главном обвинении против Соловьева, — о том, что он навсегда отнял у него профессорскую кафедру.

Несмотря на то, что Соловьев читал шесть лекций в неделю, он энергично принялся за докторскую диссертацию и успел написал ее летом 1846 года. В 1847 году она была напечатана и составила большую книгу в 700 страниц под заглавием «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома». Надо удивляться, каким образом Соловьев успел за такое короткое время изготовить это обширное сочинение, где он критически обследовал наши летописи, княжеские договоры и другие документы с древнейших времен до Иоанна IV, где представил новую теорию, объясняющую общий ход русской истории за указанный период. Введение должно было привлечь внимание историка новизною взглядов.

«Мы привыкли, — говорит автор, — к выражениям: разделение России на уделы, удельные князья, удельный период, удельная система, исчезновение уделов при Иоанне III. Употребляя эти выражения, мы необходимо даем знать, что Россия, начиная от смерти Ярослава I до конца XVI века, была разделена, ставим *удел* на первом плане, даем главную роль; за удел идут все борьбы, около удела вращается вся история, если период называется удельным, если господствует удельная система. Но раскроем летописи от времен Ярослава до XIII века: идет ли в них речь об уделах? Встречаем ли в них речь об уделах? Встречаем ли выражение: удельный князь и великий? Происходит ли борьба за удел, за распространение, усиление одного удела на счет другого, разделена ли, наконец, Россия? Нисколько; все князья суть члены одного рода, вся Русь составляет нераздельную родовую собственность; идет речь о том, кто из князей старше, кто моложе в роде: за это все споры, все междоусобия. Владение, города, области имеют значение второстепенное, имеют значение только в той степени, в какой соответствуют старшинству князей, их притязаниям на старшинство, и потому князья беспрестанно меняют их. Интерес собственника вполне подчинен интересу родича.

Вместо разделения, которое необходимо связано с понятием об уделе, мы видим единство княжеского рода... В летописи вы не находите отношений великого князя к удельным; вы находите только отношения отца к сыновьям, старшего брата — к младшим, дядей — к племянникам; даже самое слово *«удел»* мы не встречаем в летописи; если не было понятия о разделе, о выделе, об отдельной собственности, то не могло быть и слова для его выражения; когда же на севере явилось понятие об отдельной собственности, то явился и удел; до этого же времени мы встречаем только слова: *«волость»* и *«стол»*.

Таким образом, выражения: удельный период, удельная система, приводят к совершенно ложному, обратному представлению, выставляя господство удела, владения, отдельной собственности в то время, когда господствовали родовые отношения при нераздельной родовой собственности... Единство Ярославова рода рушится, и Русь делится... на несколько княжеств, каждое с своим великим князем, потому что великий князь означает только старшего в княжеском роде, и если род Ярослава раздробился на несколько особых родов, то каждый род должен был иметь особого старшего, — явилось несколько великих князей. Начинается борьба между отдельными княжествами; цель этой борьбы — приобретение собственности, усиление одного княжества на счет других, подчинение всех княжеств одному сильнейшему; борьба оканчивается усилением княжества Московского, подчинением ему всех остальных...

Несмотря, однако, на то, что начиная с XIII века Русь точно разделяется на несколько особых княжеств и при господстве понятия об отдельной собственности об уделе встречаем частое упоминание, являются отношения между удельными князьями и великими, возникает борьба между ними, стремление великих князей уничтожить уделы, — несмотря на все это, и здесь названия: удельный период, удельная система... не могут иметь места, ибо Русь разделяется не на уделы, а на несколько независимых княжеств, из которых каждое имеет своего великого князя и своих удельных князей, и отношения между великими князьями играют столь же важную роль, как и отношения великих князей к их удельным, следовательно, название удельного периода и удельной системы и здесь также

неверно, потому что не обнимает всех сторон княжеских отношений. Вот причины, которые заставляют исключить названия: удельный период и удельная система из истории княжеских отношений и вместо того принять выражения определеннейшие: отношения родовые и отношения государственные.

Но если несправедливо название: удельный период, то еще менее справедливо название монгольского периода. Это название может быть допущено только тогда, когда мы берем одну внешнюю сторону событий; но, следя за внутренним, государственным развитием России, мы не имеем никакого основания ставить монгольские отношения на первом плане, приписывать азиатской орде такое сильное влияние на развитие европейско-христианского общества...

Название монгольского периода должно быть исключено из русской истории, потому что мы не можем приписать монголам самого сильного влияния на произведение тех явлений, которыми отличается наша история, начиная с XIII века; новый порядок вещей начался гораздо прежде монголов и развивался естественно, вследствие причин внутренних, при пособии разных внешних обстоятельств, в числе которых были и монгольские отношения, но не под исключительным их влиянием.

Отстранив название удельного периода, дававшее неверное понятие о характере нашей древней истории, о характере княжеских отношений; отстранив равно название монгольского периода, который незаконно рассекал историю княжеских отношений на две части и тем самым прерывал для историка естественную связь событий, естественное развитие общества из самого себя, — мы приступим к изложению истории княжеских отношений, разделив весь труд на четыре отдела: I отдел будет заключать пространство времени от призвания Рюрика до Андрея Боголюбского; здесь княжеские отношения носят характер чисто родовой. II отдел обнимет события от Андрея Боголюбского до Иоанна Калиты; здесь обнаруживается стремление сменить родовые отношения, вследствие чего начинается борьба между князьями Северной и Южной Руси, преследующими противоположные цели. Эта борьба после раздробления рода сменяется борьбой отдельных княжеств с целью усиления одного на счет другого; окончательная победа остается на стороне княжества Московского. В III отделе изложатся события, имевшие место от Иоанна Калиты до Иоанна III; вследствие усиления Московского княжества, стремящегося подчинить себе все другие, Северо-Восточная Русь сосредоточивается около одного пункта — Москвы, в то же время Русь Юго-Западная сосредоточивается также около одного пункта — Литвы; обе половины Руси, в челе которых стоят две различные династии, вступают в борьбу между собой, но отношения польские сдерживают деятельность литовских князей относительно Востока, а между тем московские владетели все более и более дают силы государственным отношениям над родовыми. IV отдел, от Иоанна III до пресечения Рюриковой династии, представит окончательное торжество государственных отношений над родовыми — торжество, купленное страшной, кровавой борьбой с издыхающим порядком вещей».

Кавелин вполне оценил этот замечательный труд и отозвался о нем самым лестным образом в «Отечественных записках» и «Современнике». Кавелину нравилось то, что Соловьев не только подбирает факты, но старается объяснить общий ход русской истории. Погодин находил, что это бесполезный труд, что историк должен ограничиваться выборкой из летописей, не строя никаких систем, не увлекаясь никакими теориями, то есть оставаясь сухим летописцем, каковым он был сам. Докторскую диссертацию Соловьева он назвал собранием парадоксов, но тут же до некоторой степени уничтожил самого себя, говоря: «Я не прочел всей книги, потому что видел с первых страниц путь непрямой, путь, не ведущий к цели» (то есть к цели науки). Погодин обвинял Соловьева в поспешности: «Как г. Кавелин приступает к истории с готовыми мыслями, — писал он, — так г. Соловьев употребляет в дело первые ему попавшиеся в голову. Иначе и нельзя бы решить в один год столько вопросов: и об уделах, и о родовых отношениях, и о местничестве, и о Новгороде, и проч., и пр.» Учителю не-

приятно было, что его молодой ученик решил много вопросов, так как он сам за двадцать лет ни одного вопроса не решил.

Соловьев получил за свою диссертацию ученую степень доктора исторических наук и вслед за этим был утвержден экстраординарным профессором, а в 1850 году — ординарным. До самой смерти жил он почти безвыездно в Москве, переселяясь только на лето на какую-нибудь подмосковную дачу. Жизнь его не была богата событиями, так как он всю ее посвятил науке и Московскому университету, где занимал кафедру более 30 лет. Так как невозможно жить на профессорское жалованье, то Соловьев занимал и другие должности: сначала инспектора Николаевского института, а затем — директора Оружейной палаты. Коме того, он преподавал русскую историю членам императорской фамилии. Уже незадолго до смерти Соловьева Академия наук, где кафедру истории занимал Погодин, признала, наконец, его ученые заслуги и избрала его в ординарные академики по русскому отделению.

Соловьев справедливо восставал против крайней специализации в занятиях и желал, чтобы высшее образование давало молодым людям не только специальные познания, но и общее развитие. Это видно из речи, сказанной им 1 ноября 1872 года при открытии высших женских курсов в Москве.

«Мы предлагаем, — говорил Соловьев, — высшие курсы не факультетские, но курсы предметов общего образования. Почему же мы вам предлагаем такие курсы и их считаем необходимыми для вас? Да потому, что мы считаем себя обязанными по мере сил наших содействовать избавлению русской женщины от тех неудобств, которые терпят множество русских мужчин, принадлежащих к так называемому образованному классу, — от неудобств, проистекающих вследствие недостатка общего высшего образования... Известно, что сущность цивилизации состоит в разделении занятий: дикарь делает сам все для него нужное; человек цивилизованный делает что-нибудь одно и потому может совершенствовать свой труд, и так как относительно всех остальных необходимых вещей он находится в зависимости от своих собратий, то здесь образуется тесная общественная связь, источник общественного развития. Но в делах человеческих, где свет, — там и тень, и при блестящих успехах цивилизации, условленных разделением занятий, люди проницательные уже давно стали указывать на печальные следствия этого доводимого до крайности разделения занятий, указывали, как человек, занятый постоянно одним и тем же делом, тупеет, превращается в машину, тогда как духовные силы развиваются под условием простора, расширения горизонта, многообразия предметов, доступных познаванию и деятельности.

Одинаково печальны бывают следствия, когда человек разбрасывается по множеству предметов и подавляется этим множеством и когда при исключительном занятии одним каким-нибудь делом дает иссякать своим духовным силам, не восстановляя их необходимой переменой занятия. Сказанное вообще прилагается и к разделению научных занятий: обыкновенно по окончании курсов общего образования в приготовительных школах стремятся в высшие специальные учреждения, чтобы посвятить себя изучению известного круга предметов; но это слишком поспешное ограничение себя известной специальностью приносит очень часто горькие плоды; самое глубокое изучение своей специальности и известные успехи в ней не спасут человека от односторонности, остановки в развитии, отупения, и специалист в науке нисходит на степень специалиста в ремесле.

Он поражает незнанием самых обыкновенных предметов, задает детские вопросы, сидит глух и нем при решении вопросов общественного интереса, или, что еще хуже, муж, поседевший в трудах, принимает первое накрикнутое ему мнение и повторяет его, часто старик идет в ученики к ребенку, от него старается узнать, какое последнее новенькое мнение существует относительно того или другого предмета, и легко понять, какие удивительные вещи получает в ответ. он или повторяет бессмыслицу, или с ужасом начинает жаловаться на науку, до чего она дошла в последнее время, чему это учат молодых людей; иной старается усвоить себе новенькое, самое цветное мнение точно так, как человек, ехавший

из глуши в столицу, увидит человека пестро одетого, считает его за первого столичного франта, законодателя моды, облачится в пестроту и думает, что оделся по последней моде, с отличным вкусом.

Таким образом, общего образования, доставляемого приготовительными школами, оказывается недостаточным, ибо они имеют главной задачей развитие умственных способностей для приготовления к дальнейшему занятию науками в специальных учреждениях — обращается особенное внимание на предметы, наиболее содействующие достижению этой цели, — для занятия предметами высшего общего образования у них нет времени, да и возраст учащихся тому препятствует; а именно тогда, когда молодой человек вырос, окреп, развил свои способности посредством предметов приготовительной школы, когда получил возможность с успехом заняться предметами высшего общего образования, столь необходимыми для правильности его гражданской мысли и деятельности, именно тогда он углубляется в какую-нибудь специальность и без высшего общего образования подвергается опасности снизойти на степень ремесленника.

Разумеется, есть натуры избранные, которые не могут чувствовать себя очень удобно в тесном помещении своей специальности и потому стараются приобрести сведения своими средствами, с большим трудом и препятствиями, в предметах общего высшего образования, отчего они становятся с одной стороны полноправными членами общества с голосом, а с другой — приобретают могущественные средства для успехов в своей специальности; но такие явления составляют, к несчастью, исключения; а мы должны иметь дело с большинством, да и для всех вообще важно иметь средство с наименьшими усилиями и препятствиями приобретать сведения в предметах высшего общего образования, при указании и руководстве людей более опытных.

Таким образом, необходимость правильно организованных курсов общего высшего образования есть потребность нудящая».

Сообразно с таким взглядом на высшее образование, Соловьев старался в своих университетских лекциях не только давать студентам полезные сведения, но прежде всего развивать их и потому придавал своему курсу философский характер Не утомляя слушателей подробным изложением фактов, он останавливался на так называемой внутренней истории, выясняя, какое значение имела природа России для ее истории, следя за отношениями между князьми в так называемый удельный период, объясняя, какое значение имело татарское иго, почему столица перенесена была с юга на север, как сложилось самодержавие, как вследствие борьбы казачества с земскими людьми наступило Смутное время, почему необходима была реформа Петра и в какой связи она находилась с предыдущим временем. Профессор старался найти законы, по которым развивалась русская история, и постоянными сравнениями с историей Западной Европы давал своим слушателям богатый материал для выводов, заставлял их думать, расширял их умственный горизонт Чтобы познакомить читателей с изложением Соловьева на кафедре, приведу для примера одно место из его ненапечатанных лекций, где он говорит о реформе Петра Великого:

«Во второй половине XVII века русский народ явственно тронулся на новый путь; после многовекового движения на Восток, он начал поворачивать на Запад — поворот, который должен был необходимо вести к страшному перевороту, болезненному перелому в жизни народной, в существе народа, ибо здесь было сближение с народами цивилизованными, у которых надо было поучиться, которым надо было подражать Вопрос о том, могло ли сближение с европейскими народами и восприятие цивилизации совершиться спокойно в России, постепенно, без увлечения, решается легко при внимательном наблюдении общих законов исторических явлений. Можно ли себе представить, чтобы молодой, исполненный жизненных сил народ, — сблизившись с другими, превосходящими его народами, понявши чрез сравнение недостатки своего быта, — не бросился вдруг на все то, что казалось ему лучшим у других? Да и можно ли было медлить, когда несостоятельность его воли, несостоятельность материальная и нравственная

были так живы? Западные европейские народы относительно цивилизации своей стояли высоко над русским, который должен был идти к ним в ученье Долговременное пребывание в удалении от Западной Европы и ее цивилизации, крайность, исключительность одного направления необходимо условливали крайность противоположного направления, необходимость удовлетворить вдруг всему должна была неминуемо сообщить нашему так называемому преобразованию характер революционный, всесторонний. На Западе эти революции были политические, односторонние, боролись люди одной какой-нибудь партии, у нас в России революция прошла по чувству и уму человека, революция совершилась во всем русском человеке; некоторые думали, что Россия переоделась только, что в этом только состояла революция, но, внимательно присматриваясь, увидим, что русский человек преобразовался внутри Миллионы новых предметов, понятий и отношений теснятся в уме русского человека, и он не слабеет, он не умирает от прикосновения к цивилизации, потому что он не как слабый дикарь знакомится с одной водкой, для слабой головы которого мир новых понятий не по силам, а как человек, сознательно понявший необходимость ученья.

Известно, что воспитатели и педагоги говорят· нельзя трудить слишком ребенка, нельзя вбивать ему в голову всего разом, представлять ему множество понятий и новых отношений, потому что можно заучить ребенка, умертвить его То же самое происходит и со взрослыми дикарями. они не переносят натиска новых понятий, они заучиваются, так сказать хиреют, вымирают. Следовательно, если народ, не знавши цивилизации, вдруг встречается с ней и не хиреет, не дрожит перед ней, а продолжает жить усиленной жизнью, он силен, — а русский человек выдержал натиски цивилизации в начале XVIII века. Преобразовательная деятельность должна была совершиться, она была необходима. народ, отставший от общего хода европейской жизни, вместе живой и молодой, не мог не броситься в погоню за цивилизацией. Мы не можем упрекать человека, который до совершеннолетия по обстоятельствам жизни своей не мог образовываться, а потом вдруг усиленно начинает хлопотать об этом, тем более, что эта поспешность находится в связи с его существованием, а в таком-то положении находилась Россия: без преобразования она не могла существовать, преобразование, и преобразование спешное, было естественным следствием и необходимым результатом всей древней русской истории Если наша революция в начале XVIII века была необходимым условием предшествовавшей истории, то из этого вполне уясняется значение главного деятеля в перевороте, Петра Великого, он является вождем в деле, а не создателем дела, которое потому есть народное, а не личное, принадлежащее одному Петру

Великий человек есть всегда и везде представитель своего народа, удовлетворяющий своей деятельностью известным потребностям народа в известное время Формы деятельности великого человека условлены историей, бытом народа, среди которого он действует. Чингисхан и Александр Македонский — оба завоеватели, но какая разница между ними. Эта разница происходит от различия народов, которых они были представителями. Деятельность великого человека есть результат всей предшествовавшей истории народа, великий человек не насилует свой народ, не создает того, что не потребно и невозможно для народа При настоящих условиях исторической науки великий человек теряет свое божественное значение, не является существом созидающим и разрушающим по своему произволу.

Иностранцы не без некоторого, понятного, впрочем, удовольствия, повторяли и повторяют, что Петр насильно и преждевременно цивилизовал русских, что и не могло повести и даже никогда не поведет ни к какому толку Вооружаются вообще против преобразований, идущих сверху Мы не знаем будущего и потому не станем говорить о нем, но для устранения бесплодных толков опять обратимся к сравнениям из прошедшего В настоящее время ни один из европейских писателей, верующий или неверующий, не станет отрицать цивилизующего значения христианства, каждый европеец гордится тем, что христианство пустило глубокие корни преимущественно в Европе, что доказывает высшее развитие большую крепость племен, населяющих эту часть света Но пусть же припомнят

историю принятия христианства европейскими народами, пусть припомнят, что обыкновенно дело шло сверху; принимали христианство князь, дружина его, ближние люди, и потом уже новая вера распространялась в массе, причем не обходилось без ожесточенной борьбы, без страшного сопротивления со стороны народа, отстаивавшего старину, веру отцовскую. Что же из этого следует? То, что европейские народы были обращены в христианство насильно своими правительствами? Еще пример ближайший: в Англии король Генрих VIII вздумал отложиться от римской церкви; но известно, какое сильное сопротивление встретил он своему делу, какие сильные раздражения, восстания вельмож и народа должен был он побороть; значит, английский народ был насильно отторгнут от папы, и реформа, которой так гордятся англичане, была личным делом Генриха VIII?

Итак, они ошибаются: Россия сама повернула на новый путь, но как нарочно в это же время грусть и скука выгоняют молодого царя из дворца на улицу, в новую сферу, где он окружен новыми людьми, где он — вождь новой дружины, разошедшейся с прежним бытом, с прежними отношениями. Без оглядки бежит он из скучного дворца чистым и свежим, новым человеком и потому способным окружить себя новыми людьми; он убежал от царедворцев и ищет товарищей, берет всякого, кто покажется ему годным для его дела. Образуется новое государство, и, как обыкновенно бывало при этом, является дружина с своим вождем, которая и движется, разрушая старое, созидая новое. В Петре не было ничего, что старинные русские люди привыкли соединять со значением царя; это — герой в античном смысле, это — в новое время единственная исполинская фигура, каких мы много видим в туманной дали, при основании и устроении человеческих обществ».

«Для Соловьева, как и для Грановского, — говорит академик К. Н. Бестужев-Рюмин, — история была наука, по преимуществу воспитывающая гражданина. Для того и для другого поучительный характер истории заключался не в тех прямых уроках, которыми любила щеголять историография XVIII века и которыми богаты страницы Карамзина, где выставляются герои добродетели в пример для подражания и чудовища порока, в образец того, чего следует избегать. Нет, ни тот, ни другой из этих незабвенных профессоров не считал историю «зеркалом добродетели», но каждый из них имел другую цель: они старались воспитать в своих слушателях сознание вечных законов исторического развития, уважение к прошлому, стремление к улучшению и развитию в будущем; они старались пробудить сознание того, что успехи гражданственности добываются трудом и медленным процессом, что великие люди суть дети своего общества и представители его, что им нужна почва для действия; не с насмешкой сожаления относились они к прошлому, но с стремлением понять его в нем самом, в его отношениях к настоящему: «Спросим человека, с кем он знаком, — и мы узнаем человека; спросим об его истории — и мы узнаем народ». Этими словами Соловьев начал свой курс 1848 года, когда я имел счастье его слушать; в истории народа мы его узнаем, но только в полной истории, в такой, где на первый план выступают существенные черты, где все случайное, несущественное отходит на второй план, отдается в жертву собирателям анекдотов, любителям «курьезов и раритетов». Кто так высоко держал свое знамя, тот верил в будущее человечества, в будущее своего народа и старался воспитывать подрастающее поколение в этой высокой вере. С этой-то воспитательной целью такие профессора держались преимущественно общих очерков, где в мелочах не теряется общая мысль. Таким был всегда характер курсов Грановского, таким постепенно делал свой курс Соловьев; но и на первых своих шагах в университете он уже давал много места общим соображениям и выводам».

Как горячо принимал к сердцу Соловьев университетские дела, видно из следующего рассказа профессора Буслаева:

«Первым делом в организации университетского самоуправления (по введении университетского устава 1863 года) было решить, кого избрать председателем Совета. Вопрос этот на первых же порах сделался яблоком раздора в профессорской корпорации Одни хотели иметь ректором Соловьева, другие — Баршева,

и таким образом желанное единогласие для общей пользы было нарушено и распалось на две враждебные партии, на соловьевскую и баршевскую. Первая была гораздо малочисленнее последней, поэтому ректором был избран Баршев и оставался в этой должности несколько трехлетий сряду. Ожесточенная вражда, не умолкавшая в стенах университета, наконец опротивела мне донельзя. Она вредила и общему делу, и была гибельна для отдельных лиц. Однажды в заседании Совета Соловьев, в качестве декана, горячо защищал какое-то предложение или заявление филологического факультета от злостных нападок со стороны враждебной партии и до того был оскорблен и раздражен нахальством и дерзостью своих противников, что совсем изнемог, а воротившись домой, в тот же день слег в постель и целые шесть недель прохворал в нервной горячке» («Вестник Европы». 1892. Март).

В 70-х годах, когда изменилась профессорская корпорация, Соловьева несколько раз выбирали в ректоры.

«Когда университет,— говорит ученик и сослуживец Соловьева профессор Герье,— признавая его значение, избрал его в ректоры, для этого учреждения наступила новая счастливая пора внутреннего развития, оправдавшая начала, положенные в основание университетского устава 1863 года. Ректорство С. М. Соловьева было знаменем служения одним только научным интересам и широкого понимания задач университетской жизни. Слова, написанные им некогда об исповедниках просвещения в XVII веке, что им «нужно было много труда, много жертв и страдания», сделались как бы пророческими для него самого. Ему опять пришлось бороться против недоверия к науке, происходившего от неуменья сладить с прогрессом, от стремления остановить его, возвратиться к первоначальным формам. Но теперь дело шло не о литературных направлениях, не об исторических взглядах, оно касалось жизненных форм русской науки, университетского строя... Ученый, который своей многолетней, всеми признанной деятельностью доказал, как он умел согласовать самую искреннюю, разумную преданность государственному началу с бескорыстным стремлением к науке и просвещению, мог, конечно, вернее и беспристрастнее многих других судить об истинных потребностях русской науки. Но ему не суждено было дать перевес тому, что он считал правым делом; весною 1877 года Соловьев был принужден оставить ректорство и прославленную им кафедру. Через два года смерть навсегда прекратила его просвещенную деятельность».

Еще не настало время рассказывать подробно борьбу, которую вел С. М. Соловьев,— борьбу прогресса с застоем, светлого начала с темным. Еще живы лица, с которыми он боролся, которые осилили его...

Глава III «ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН»

Защитив докторскую диссертацию, Соловьев принялся за свой главный труд — «Историю России» и выпустил первый том осенью 1851 года. В 1830 году, когда вышла «История русского народа» Полевого, А. В. Никитенко записал в своем дневнике:

«Еще до появления в свет этой книги она уже была осуждаема и превозносима. Так называемые патриоты, почитатели доброго Карамзина, не понимают, как можно осмелиться писать историю после Карамзина. Партия эта состоит из двух элементов. Одни из них — царедворцы, вовсе не мыслящие или мыслящие по заказу властей; другие, у которых есть охота судить и рядить, да недостает толку и образования, в простоте сердца веруют, что Карамзин действительно написал историю русского народа, а не историю русских князей и царей. Конечно, есть также люди благомыслящие и образованные, суд которых основывается на размышлении и доказательствах, коих немного. Эти последние знают, чем отечество обязано Карамзину, но знают также, что его творение не удовлетворяет требованиям идеи истории столько, сколько удовлетворяет требованиям вкуса».

Попытка Полевого не удалась, и это еще более утвердило некоторую часть общества во мнении, что Карамзин стоит на недосягаемой высоте и что писать историю после него большая дерзость. Такой взгляд господствовал в высшем

обществе, когда появился первый том «Истории» Соловьева. Один из высокопоставленных меценатов прямо высказал автору свое недовольство; он находил предприятие писать русскую историю после Карамзина очень смелым: другое дело, если бы Соловьев издал лекции, читанные им в университете. Автор отвечал, что название лекций было бы странным для труда, который, должно быть, будет очень обширным и многотомным. Это окончательно рассердило мецената, и он сказал нелепость, показывавшую все его невежество: «Да и в Англии пробовали писать многотомные истории, а до Юма все-таки не достигли». Эти меценаты, не читая труда Соловьева, отзывались о нем с большим пренебрежением, старались уничтожить его, уронить в глазах публики. Но обыкновенная читающая публика отнеслась иначе к сочинению молодого профессора. Она раскупила довольно скоро новую книгу и тем доказала, что действительно существовала потребность в новой истории России и что труд Соловьева удовлетворял этой потребности более, чем устаревшее сочинение Карамзина.

Критика отнеслась к «Истории России с древнейших времен» довольно недоброжелательно. Один только Кавелин оценил ее по достоинству и посвятил разбору первого тома обширную статью в «Отечественных записках» 1851 года, где говорится, между прочим, следующее:

«Как прагматическое сочинение, новая книга г. Соловьева бесспорно принадлежит к числу лучших исторических трудов, появившихся в последнее время. Книга его достойным образом представляет в нашей исторической литературе направление, данное в последнее время изучению русской истории. Можно не соглашаться с г. Соловьевым, но нельзя не признать, что его сочинение свидетельствует о глубоком знании автора, его правильном историческом взгляде и методе и знакомстве с исторической критикой в ее современном значении. Вот почему первый том «Истории России» бесспорно — историческое сочинение в полном значении слова. «История России» есть зрелый и сознательный исторический труд, а не шаткий опыт. Все исторические явления рассматриваются здесь с их внутренней стороны в взаимной связи и раскрываются последовательно по их внутренней преемственности; бытовая сторона обращает на себя, как и следует, гораздо большее внимание автора, чем внешние события. Наконец, взгляд гораздо серьезнее, приемы строже, чем у его предшественников. Вот общая оценка разбираемой нами книги, как мы ее понимаем. Она произвела на нас самое утешительное впечатление, как живое, несомненное доказательство преуспеяния русской исторической литературы и ее быстрых успехов в такое короткое время».

Прямо враждебно отнесся к новому труду Соловьева его учитель Погодин по причине весьма понятной. Он сам просидел более 20-ти лет на кафедре, приобрел авторитет, считался первым знатоком русской истории, и что же он сделал? Написал две диссертации — о варягах и Несторе. Ученик же его, которому всего тридцать лет, в два года своего профессорства напечатал две диссертации, удивившие ученый мир широтой взглядов, и вслед за этим приступил к изданию обширной истории, хочет быть Карамзиным. Обида слишком велика: надо уничтожить труд Соловьева в самом начале, добиться того, чтобы он сам бросил дерзкое предприятие. «Москвитянин» объявляет настоящий поход против новой истории России. Сам Погодин и его прислужники с шипением и пеной у рта пишут обширные рецензии, стараются доказать, что в труде Соловьева нет ни одного слова правды. «Соловьев или не умеет понимать летописи, или с намерением искажает смысл летописного свидетельства для каких-то задних мыслей». При этом делались намеки, будто Соловьев списывал сочинения Погодина, не упоминая об источнике.

Соловьев возражал Погодину на страницах «Московских ведомостей» (статья его не была подписана), возражал прилично, не позволяя себе никаких личных выходок и грубых выражений, но, между прочим, упрекал Погодина в том, что он пишет о его «Истории», не вполне познакомившись с ней. На это Погодин ответил с свойственной ему грубой манерой: статья «Московских ведомостей» за г. Соловьева упрекает меня, что я не читал его «Истории». Это совершенная правда: я не читал ее и читать не буду.

По выходе последующих томов «Истории России» Погодин продолжал свою неприличную полемику, но Соловьев ничего уже не возражал. Постепенно он привык к журнальной брани и перестал придавать ей значение; а нередко приходилось ему читать отзывы критиков, которые не хотели или не способны были понять значение его труда.

Соловьев ничего не отвечал на сыпавшиеся на него нападки, или, лучше сказать, он отвечал новыми томами своего капитального труда. Начиная с 1851 года, он ежегодно выпускал по тому своей «Истории» и успел напечатать их 28; последний 29-й вышел уже после смерти автора. Соловьев хорошо делал, что не тратил времени на бесполезную полемику с разными журнальными зоилами: их мелочная критика давно позабыта, а 29 томов «Истории России с древнейших времен» навсегда останутся в нашей литературе.

«История» Соловьева до сих пор необходима, незаменима как для ученого, так и для всякого образованного человека, желающего ознакомиться с прошлым своего отечества. Это единственная у нас полная «История России», доходящая до 1774 года. К сожалению, автору не удалось довести своего рассказа до конца царствования Екатерины, но зато две другие его книги отчасти пополняют этот пробел и продолжают исторический рассказ до 1825 года. Я говорю о сочинениях Соловьева: «История падения Польши» и «Император Александр I». В последнем труде, правда, рассмотрены только дипломатические сношения России с иностранными державами; главное внимание обращено, конечно, на Францию, и взгляд Соловьева на Наполеона, несмотря на множество изданных с тех пор документов, остается до сих пор верным.

При составлении своей «Истории России» Соловьев воспользовался всеми известными источниками и на основании критического их изучения подробно изложил факты, причем нередко буквально передавал летописи, что порой утомляет читателя, но зато наглядно передает характер эпохи. В первых томах мы находим подробное изложение княжеских усобиц, походов на печенегов и половцев, сражений с татарами и т. п. Установить события в их взаимной последовательности, показать, какие факты могут быть признаны достоверными, было необходимо, так как они служат единственной надежной опорой для дальнейших выводов; особенно необходимо было это сделать для XVII и XVIII веков; если с древней историей еще можно было кое-как ознакомиться по сочинению Карамзина, то новая история после Смутного времени оставалась совершенно неизвестной. Но тут Соловьев заметил, что по одним печатным источникам невозможно написать сколько-нибудь полной истории, и он обратился к документам, хранящимся в наших архивах. Большинство томов его «Истории» составлены почти исключительно по списанному им архивному материалу; таким образом Соловьеву пришлось быть в одно и то же время и первым издателем сырого материала, и первым его исследователем.

Кто знает, сколько времени отнимают поиски в архивах, сколько труда надо положить, чтобы разобраться в этом материале, тот оценит вполне громадную работу, принятую на себя нашим историком, и поблагодарит его за подробное изложение фактов нашей новой истории, которые без него, может быть, до сих пор оставались бы неизвестными. Между прочим, Соловьев первый обратил должное внимание на историю Юго-Западной Руси, которая до него почти не подвергалась критической разработке. Указав на борьбу, которую вели русские люди юго-западных областей с католическими стремлениями Ягеллонов и их преемников, Соловьев говорит: историк должен со вниманием следить за этой борьбой, по тому великому значению, какое имела она и особенно исход ее на судьбы России и Восточной Европы. Но разумеется, главное внимание Соловьева привлекала не Юго-Западная, а Северо-Восточная Русь, где «вследствие внутренних движений образовалось самостоятельное Русское государство». Его-то жизнь, развитие, колебания его судьбы ни на минуту не должен упускать из виду историк и, по мнению Соловьева, лишь в положении к нему измерять важность тех или других событий, совершающихся вне его пределов.

Полнота «Истории России с древнейших времен» заключается не только в том, что по ней можно ознакомиться со всеми фактами нашей истории вплоть

до екатерининского времени, но также в том, что автор обратил должное внимание на так называемую внутреннюю историю. Здесь приняты во внимание все стороны нашего прошлого, — история сословий, дружины, бояр, купечества, дворянства, городского и сельского населения, духовенства, монашества, история учреждений, приказов, Сената, Синода, собрание законов, «Русская Правда», «Судебники», «Уложение», экономическое положение страны, финансы, торговля; не забыты и литература, просвещение, нравы и обычаи. В первых пяти томах, например, более трети страниц отведено главам под названием «Внутреннее состояние русского общества». Таким образом, сочинение Соловьева есть не только история государства и народа, но вместе с тем и история русской жизни.

Такая полнота уже сама по себе имеет значительную цену и во всяком случае делала бы труд Соловьева чрезвычайно полезным для историков; но по современным научным воззрениям он не имел бы права называться историком, если бы в нем не было ничего, кроме толкового и хотя бы критически проверенного изложения фактов. Считая необходимым подробно излагать исторические факты, Соловьев в то же самое время старался проникнуть в глубь событий, найти им должное объяснение. При этом сказалось многостороннее образование автора, его занятия европейской историей сначала под руководством Грановского, потом заграницей, постоянно пополнявшиеся чтением выдающихся сочинений по всеобщей истории.

Соловьев воспользовался идеями знаменитого географа Риттера о взаимодействии между природой и человеком и приложил их к русской истории. С этого начинается его сочинение. «Ход событий постепенно подчиняется природным условиям», — говорит он и тут же показывает, какое значение имела в нашей истории равнинность страны, отсутствие гор.

«Перед нами обширная равнина: на огромном расстоянии от Белого моря до Черного и от Балтийского до Каспийского путешественник не встретит никаких сколько-нибудь значительных возвышений, не заметит ни в чем резких переходов. Однообразие природных форм исключает областные привязанности, ведет народонаселение к однообразным занятиям; однообразность занятий производит однообразие в обычаях, нравах, верованиях; одинаковость нравов, обычаев и верований исключает враждебные столкновения; одинакие потребности указывают одинакие средства к их удовлетворению; и равнина, как бы ни была обширна, как бы ни было вначале разноплеменно ее население, рано или поздно станет областью одного государства: отсюда понятна обширность Русской государственной области, однообразие частей и крепкая связь между ними».

Стараясь объяснить причины, по которым усилилась Москва, Соловьев указывает на географическое положение этого города, на важное значение Москвы, как срединного пограничного места между старой, Южной, и новой, Северной Русью, на посредничество ее речной области между юго-востоком и северо-западом в отношении торговли.

Различие между природой Западной и Восточной Европы отразилось, по мнению Соловьева, и на общем ходе истории и обусловило разницу между нашей и западноевропейской историей.

«Мы так часто, — говорит он, — употребляем выражение: Западная и Восточная Европа, так много знаем, так много толкуем о их различии и следствиях этого различия; но если путешественник, переезжающий из Западной Европы в Восточную, или наоборот, свежим взглядом посмотрит на их различие, станет отдавать себе отчет о нем под свежим впечатлением видимого, то, конечно, прежде всего скажет, что Европа состоит из двух частей: западной — каменной и восточной — деревянной. Камень — так называли у нас в старину горы — камень разбил Западную Европу на многие государства, разграничил многие народности; в камне свили свои гнезда западные мужи, и оттуда владели мужиками, камень давал им независимость; но скоро и мужики огораживаются камнем и приобретают свободу, самостоятельность; все прочно, все определенно благодаря камню: благода-

ря камню поднимаются рукотворные горы — громадные вековые здания. На великой восточной равнине нет камня, все ровно, нет разнообразия народностей; и потому одно небывалое по своей величине государство. Здесь мужам негде вить себе каменных гнезд, не живут они особо и самостоятельно, живут дружинами около князя и вечно движутся по широкому беспредельному пространству; у городов нет прочных к ним отношений. При отсутствии разнообразия, резкого разграничения местностей, нет таких особенностей, которые бы действовали сильно на образование характера местного народонаселения, делали для него тяжким оставление родины, переселение. Нет прочных жилищ, с которыми бы тяжело было расставаться, в которых бы обжились целыми поколениями; города состоят из кучи деревянных изб, первая искра — и вместо них куча пепла. Беда, впрочем, невелика: движимого так мало, что легко вынести с собою, построить новый дом ничего не стоит по дешевизне материала; отсюда с такой легкостью старинный русский человек покидал свой дом, свой родной город или село; уходил от татарина, от литвы; уходил от тяжкой подати, от дурного воеводы или подьячего; брести розно было нипочем, ибо везде можно было найти одно и то же, везде Русью пахло. Отсюда привычка к расходке в народонаселении и отсюда стремление правительства ловить, усаживать и прикреплять».

В России Соловьев опять-таки видит две половины — лесную и степную — и этим различием природы объясняет разные явления нашей истории.

«Здесь, — говорит он, — две формы господствуют — лес и поле, или степь. Из противоположности этих двух форм, находящихся друг подле друга, вытекает историческая противоположность, борьба народонаселения двух половин России, — лесной и степной. Степь была изначала жилищем кочевых, хищных народов; с ними изначальная борьба Руси, основавшейся в польской (степной) украйне. Борьба эта, несмотря на всю удаль князей и дружин их, кончилась торжеством степного народонаселения, которое постоянно пустошило Русь при половцах и окончательно запустошило при татарах. Прочный порядок вещей, государство, способное побороть степное народонаселение, могли утвердиться, окрепнуть только вдали от степи, на севере, в лесной стороне, малодоступной, неудобной для кочевого хищника. Но Московское государство, образовавшееся в лесной стороне, при своем распространении скоро достигло степи; у него образовалась польская, как называли в старину, то есть степная, окраина или украйна, долженствовавшая постоянно терпеть от соседства степи; но это была только украйна, тогда как в древней Руси главная сцена действия, стольный город великокняжеский, был на самой украйне. И Московское государство ведет постоянную борьбу с народонаселением степей; с ослаблением кочевых орд борьба не прекращается, ибо в степи образуется особого рода народонаселение, козаки. Борьба земских людей, государства с козачеством есть относительно природных форм борьба лесной стороны с полем, степью, что особенно выразилось в Смутное время и в последующие козацкие движения, когда Россия делилась по духу, характеру народонаселения, на северную, земскую, и на южную, украйну с степями, козацкую. Степь условливала постоянно эту бродячую, разгульную, козацкую жизнь с первобытными формами; лес более ограничивал, определял, более усаживал человека, делал его земским, оседлым, установившимся, в противоположность козаку, вольному, гулящему».

Соловьев сам указал на задачу, которую, по его мнению, должен выполнить русский историк.

«Уже давно, — говорит он, — как только начали заниматься русской историей с научной целью, подмечены были главные, особенно выдающиеся в ней события, события поворотные, от которых история заметно начинает новый путь. На этих событиях начали останавливаться историки, делить по ним историю на части, периоды; начали останавливаться на смерти Ярослава I, на деятельности Андрея Боголюбского, на сороковых годах XIII века, на времени вступления на

московский престол Иоанна III, на прекращении старой династии и восшествии новой, на вступлении на престол Екатерины II. Некоторые писатели из этих важных событий начали выбирать наиболее, по их мнению, важные; так явилось деление русской истории на три большие отдела: древнюю — от Рюрика до Иоанна III, среднюю — от Иоанна III до Петра Великого, новую — от Петра Великого до позднейших времен. Некоторые были недовольны этим делением и объявили, что в русской истории может быть только два больших отдела — история древняя до Петра и новая — после него. Обыкновенно каждый новый писатель старался показать неправильность деления своего предшественника, обыкновенно старался показать, что и после того события, при котором предшествующие писатели положили свои грани, продолжался прежний порядок вещей; что, наоборот, перед этой гранью мы видим явления, которыми писатель характеризовал новый период и т. д. Споры бесконечные, ибо в истории ничего не оканчивается вдруг; новое начинается в то время, когда старое продолжается.

Но мы не будем продолжать этих споров, мы не станем доказывать неправильности деления предшествовавших писателей и придумывать свое деление, более правильное. Мы начнем с того, что объявим все эти деления правильными; мы начнем с того, что признаем заслугу каждого из предшествовавших писателей, ибо каждый в свою очередь указывал на новую сторону предмета и тем способствовал лучшему пониманию его. Все эти деления и споры о правильности того или другого из них были необходимы в свое время, в первое время занятия историей; тут необходимо, чтобы легче осмотреться, поскорее разделить предмет, поставить грани по более видным, по более громким событиям; тут необходим сначала внешний взгляд, по которому эти самые видные, громкие события и являются исключительными определителями исторического хода, уничтожающего вдруг все старое и начинающего новое. Но с течением времени наука мужает, и является потребность соединить то, что прежде было разделено, показать связь между событиями, показать, как новое проистекло из старого, соединить разрозненные части в одно органическое целое, является потребность заменить анатомическое изучение предмета физиологическим...»

«История, — говорит дальше Соловьев, — знает различные виды образования государств: или государство, начавшись незаметной точкой, в короткое время достигает громадных размеров, в короткое время покоряет себе многие различные народы, к одной небольшой области в короткое время силой завоевания привязываются многие другие государства, связь между которыми не условливается природой. Обыкновенно такие государства как скоро возросли, так же скоро и падают: такова, например, судьба азиатских громадных государств. В другом месте видим, что государство начинается на ничтожном пространстве и потом, вследствие постепенной напряженности сил, от внутреннего движения в продолжение довольно долгого времени распространяет свои владения на счет соседних стран и народов, образует громадное тело и наконец распадается на части вследствие самой громадности своей и вследствие отсутствия внутреннего движения, исчезновения внутренних живительных соков: таково было образование государства Римского. Образование всех этих громадных государств, какова бы ни была разница между ними, можно назвать образованием неорганическим, ибо они обыкновенно составляются нарастанием извне, внешним присоединением частей посредством завоевания. Иной характер представляется нам в образовании новых, европейских, христианских государств: здесь государства при самом рождении своем вследствие племенных и преимущественно географических условий являются уже в тех же почти границах, в каких им предназначено действовать впоследствии; потом наступает для всех государств долгий, тяжкий, болезненный процесс внутреннего возрастания и укрепления, в начале которого государства эти являются обыкновенно в видимом разделении, потом это разделение мало-помалу исчезает, уступая место единству: государство образуется. Такое образование мы имеем право назвать высшим, органическим» (Т. IV. С. 363—364 // Кн II. С. 634—635, 636—637 настоящего издания. Текст С. М. Соловьева цитируется автором с некоторыми сокращениями и изменениями).

Поняв, что русское государство образовалось путем органическим, Соловьев с редким талантом осуществил намеченную им задачу, показал, как развивалось это органическое целое. Труд его объединен одной общей идеей. идеей развития, прогресса. Такую точку зрения он называл исторической, говоря, что без начала движения, начала развития, нет истории Соловьев не отделяет одной эпохи от другой, напротив, он ставит их в связь, показывает, как одни явления порождают другие, как события следуют друг за другом по законам необходимости. Он следит за развитием, ростом государства, вместе с тем за развитием, ростом народа, за постепенным уяснением сознания его о себе как едином целом.

Европейские народы движутся с Востока на Запад, а славянская колонизация идет, наоборот, с Запада на Восток. «История мачеха заставила одно из древнейших европейских племен принять движение с Запада на Восток и населить те страны, где природа является мачехой для человека. В начале новой европейско-христианской истории два племени приняли господствующее положение и удержали его за собою навсегда — германское и славянское, племена-братья одного индоевропейского происхождения; они поделили между собой Европу, и в этом начальном дележе, в этом начальном движении немцев с северо-востока на юго-запад, в области Римской империи, где уже заложен был прочный фундамент европейской цивилизации, и славян, наоборот, с юго-запада на северо-восток, в девственные и обделенные природой пространства, — в этом противоположном движении лежит различие всей последующей истории обоих племен».

Славяне колонизуют восточную равнину, они живут здесь отдельными племенами в родовом быту. История России, подобно истории других государств, начинается богатырским или героическим периодом, то есть вследствие известного движения — у нас вследствие появления варяго-русских князей и дружины их — темная безразличная масса народонаселения потрясается, и происходит выдел из нее лучших людей, по тогдашним понятиям, то есть храбрейших, одаренных большой материальной силой и чувствующих потребность упражнять ее. Эти мужи — люди по преимуществу, тогда как остальные в глазах их остаются полулюдьми, маленькими людьми, мужиками. Вследствие слабости племенного начала у славян и равнинности страны, помогающей слиянию, племена исчезают в этот первый богатырский период; вместо них являются волости, княжения, с именами, заимствованными не от племен, а от главных городов, от правительственных стянувших к себе окружное народонаселение центров. Племенные союзы уничтожились, государственное единство еще не образовалось, волости, отстоящие далеко друг от друга, могли бы обособиться, если бы князья со своими дружинами не переходили постоянно с места на место. Они должны были передвигаться, того требовали родовые отношения. Князья разошлись по волостям, даже самым отдаленным, но единство рода сохранялось, главный стол принадлежал старшему в целом роде, а лучшие волости доставались по степени старшинства; отсюда князья — только временные владельцы в своих волостях; взоры их устремлены постоянно на Киев, и, вместо стремления обособиться, они считают величайшим несчастьем для себя, если принуждены выйти из общего родового движения.

Таким образом, посредством родовых княжеских отношений, посредством беспрестанных передвижек князей и дружин их из одной области в другую, народонаселение и самых отдаленных областей не могло высвободиться из общей жизни, постоянно имело общие интересы и укореняло в себе сознание о нераздельности русской земли. К единству политическому, державшемуся родовыми княжескими отношениями, присоединялось единство церковное В том времени, которое с первого раза казалось временем разделения, розни, усобиц княжеских, Соловьев увидел время, когда положено было прочное основание народному и государственному единству.

«...Во сто лет, протекшие от смерти Ярослава, мы видим, что преимущественно вследствие продолжения движения все элементы задержаны в своем развитии, налицо все первоначальные формы бродячие дружины, члены их, свободно

переходящие от одного князя к другому; в челе дружин неутомимые князья-богатыри, переходящие из одной волости княжить в другую, ищущие во всех странах честь свою взять, не помышляя ни о чем прочном, постоянном, не имея своего, но все общее, родовое; веча с первоначальными формами народных собраний безо всяких определений; а тут, на границе, кочевники переходят к полуоседлости; немного далее, в степи, виднеются вежи и чистых кочевников. Все здесь, на восточной равнине, отзывается первобытным миром, общество как будто еще в жидком состоянии, и нельзя предвидеть, в каком отношении найдутся общественные элементы, когда наступит время перехода из этого жидкого, колеблющегося состояния в твердое, когда все усядется и начнутся определения».

Затем Соловьев спрашивает: когда же и где именно, при каких условиях начались эти определения? Чтобы ответить на этот вопрос, он объясняет, каким образом центр государственной жизни перешел из Киева во Владимир. Карамзин думал, что преобладание Северо-Восточной Руси над Киевской объясняется личным вкусом Андрея Боголюбского, питавшего нерасположение к Юго-Западной Руси, и личными достоинствами этого князя; разум превосходный заставил его стремиться к искоренению вредной удельной системы. Соловьев указывает на внутренние, органические причины, обусловившие дальнейший ход нашей истории. Несчастное положение юго-западной украйны, страдавшей от наплыва кочевников и от княжеских усобиц, необходимо заставляло часть ее жителей выселяться в страны более спокойные. Эти страны были именно отдаленные северо-восточные области русские — суровая климатом, бедная населением область Верхней Волги, где князья, тяготясь малолюдностью, отовсюду призывали насельников, давали им льготы, строили им города. Вследствие недавней колонизации население на севере относилось иначе к князю, чем на юге.

«В западных областях славяне были старые насельники, старые хозяева, князья были пришельцы; на востоке, наоборот, славянские поселенцы являются в страну, где уже хозяйничает князь; князь строит городки, призывает насельников, дает им льготы: насельники всем обязаны князю, во всем зависят от него, живут на его земле, в его городах. Эти-то отношения народонаселения к князю и легли в основу того сильного развития княжеской власти, какое видим на севере... Явился именно такой князь, который как нельзя лучше воспользовался своими выгодными отношениями к новому народонаселению, именно Андрей Боголюбский. Он переселяется жить из старого города Ростова Великого в новый Владимир на Клязьме, где нет веча, где власть княжеская не встретит преград. Андрей понимает очень хорошо значение слов *мое, собственность,* и не хочет знать юга, где князья понимают только общее родовое владение. Андрей, как древний богатырь, чует силу, получаемую от земли, к которой он припал, на которой утвердился навсегда; он не покидает этой земли, не переезжает в Киев, когда тот достался ему и по родовым правам, и по правам победы. Этот первый пример привязанности к своему, особому, первый пример оседлости становится священным преданием для всех северных князей, и отсюда начинается новый порядок вещей».

Таким образом, зарождается сильная княжеская власть, как естественное следствие всей предыдущей истории. Московский период в труде Соловьева представляет такую же органическую связь с Владимирским, как последний с Киевским. Преемники Боголюбского, брат его Всеволод и потомки последнего, верные преданию, полученному от первого самовластца, продолжают стремиться к единовластию.

«Вместо прежнего движения из одной волости в другую, какое мы видели в древней, Юго-Западной России, в России новой, Северо-Восточной, видим оседлость князей в одной волости; князь срастается с волостью, интересы их отождествляются, усобицы принимают другой характер, имеют другую цель, именно усиление одного княжества на счет всех других; при такой цели родовые отношения необходимо рушатся, ибо тот, кто чувствует себя сильным, не обраща-

ет более на них внимания. Одно княжество наконец осиливает все другие, и образуется государство Московское».

Реформа Петра Великого находилась, по взгляду Соловьева, в тесной связи со всей предыдущей историей, она не была его личным делом, а делом народным, вызванным необходимостью, подготовлявшимся со времени Иоанна Грозного. Нашу отчужденность от Европы и осталость Соловьев объясняет не татарским игом, которому, по его мнению, придавали слишком большое значение, а ходом русской колонизации.

«...Движение русской истории с юго-запада на северо-восток было движением из стран лучших в худшие, в условия более неблагоприятные. История выступила из страны, выгодной по своему природному положению, из страны, которая представляла путь из Северной Европы в Южную, из страны, которая поэтому находилась в постоянном общении с европейско-христианскими народами, посредничала между ними в торговом отношении. Но как скоро историческая жизнь отливает на восток, в области верхней Волги, то связь с Европой, с Западом, необходимо ослабевает и порывается не вследствие мнимого влияния татарского ига, а вследствие могущественных природных влияний: куда течет Волга, главная река новой государственной области, туда, следовательно на восток, обращено все».

Следствием такой отчужденности нашей от Европы является несостоятельность экономическая и умственная, банкротство бедной страны, не могшей своими средствами удовлетворить потребностям своего государственного положения. Такое банкротство в историческом, живом, молодом народе необходимо условливало поворот народной жизни, искание выхода из отчаянного положения.

«Сознание экономической несостоятельности, ведшее необходимо к повороту в истории, было тесно соединено с сознанием нравственной несостоятельности. Русский народ не мог оставаться в китайском созерцании собственных совершенств, в китайской уверенности, что он выше всех народов на свете уже по самому географическому положению своей страны: океаны не отделяли его от западных европейских народов. Побуждаемый силой обстоятельств, он должен был сначала уходить с запада на восток; но как скоро успел здесь усилиться, заложить государство, так должен был необходимо столкнуться с западными соседями, и столкновение это было очень поучительно. В то самое время, в то самое царствование, когда Восток, восточные соседи русского народа оказались совершенно бессильными пред Москвой, когда покорены были три татарских царства и пошли русские люди беспрепятственно по Северной Азии вплоть до Восточного океана, — в то самое царствование на западе были страшные неудачи; на западе борьба оканчивается тем, что Россия должна уступить и свои земли врагу. Стало очевидно, что во сколько восточные соседи слабее России, во столько западные сильнее. Это убеждение, подрывая китайский взгляд на собственное превосходство, естественно и необходимо порождало в живом народе стремление сблизиться с теми народами, которые оказали свое превосходство, позаимствовать от них то, чем они являлись сильнее; сильнее западные народы оказывались своим знанием, искусством, и потому надобно было у них выучиться. Отсюда с царствования Иоанна IV, именно с того царствования, когда над Востоком было получено окончательное торжество, но когда могущественный царь, покоритель Казани и Астрахани, обратив свое оружие к западу, потерпел страшные неудачи, — с этого самого царствования мысль о необходимости сближения с Западом, о необходимости добыть моря и учиться у поморских народов становится господствующей мыслью правительства и лучших русских людей». «Экономическая и нравственная несостоятельность общества были сознаны; народ живой и крепкий рвался из пеленок, в которых судьба держала его долее, чем следовало. Вопрос о необходимости поворота на новый путь решен, новости являлись необходимо».

Соловьев показывает нам, почему переворот должен был идти сверху, инициатива должна была исходить от верховной власти.

«Мы видим, — говорит он, — что все и со всем обращается в Москву к великому государю, и видим также ясно, что это обращение происходит необходимо от слабости, мелкости отдельных миров, от особности их друг от друга, и в то же время от внутренней розни, происходящей при всяком соединении сил, при всяком общем действии, одним словом, от детского состояния их, от детской беспомощности. Сверху дается полная свобода: всякое челобитье о каком-нибудь новом распорядке принимается: пусть распоряжаются как хотят; поссорятся, одни захотят одного, другие другого — правительство приказывает спросить всех, чтобы узнать, чего хочет большинство. Мы упомянули о детской беспомощности; слово всего лучше объяснит тут дело: все тяглые, не служилые люди называют себя сиротами государевыми: это низшая рабочая часть народонаселения, мужики; но высшая, военная, мужи, как себя называют? Они называют себя холопами государевыми. Понятно, что ни в беспомощных сиротах, ни в холопах нельзя искать силы и самостоятельности, собственного мнения. И те, и другие чувствуют несостоятельность старого, понимают, что оставаться так нельзя, но при отсутствии просвещения не могут ясно сознавать, как выйти на новую дорогу, и не могут иметь инициативы, которая потому должна явиться сверху; повести дело должен великий государь».

Заканчивая историю России в эпоху преобразования, Соловьев говорит о царствовании Петра Великого:

«Начертана была обширная программа на много и много лет вперед, начертана была не на бумаге — она начертана была на земле, которая должна была открыть свои богатства пред русским человеком, получившим посредством науки полное право владеть ею; на море, где явился русский флот; на реках, соединенных каналами; начертана была в государстве новыми учреждениями и постановлениями; начертана была в народе посредством образования, расширения его умственной сферы, богатых запасов умственной пищи, которую доставил ему открытый Запад и новый мир, созданный внутри самой России. Большая часть сделанного была только в начале, иное в грубых очерках, для многого приготовлены были только материалы, сделаны были только указания; поэтому мы назвали деятельность преобразовательной эпохи программой, которую Россия выполняет до сих пор и будет выполнять, уклонение от которой сопровождалось всегда печальными последствиями». Царствования Елизаветы Петровны и Екатерины II — необходимое следствие Петровской реформы — время, когда начинают усваиваться нами плоды европейской цивилизации. «Воздавая должное Екатерине II, — говорит Соловьев, — не забудем, как много внутри и вне было приготовлено для нее Елисаветою».

По «Истории России с древнейших времен» мы можем проследить естественный рост, естественное развитие нашего отечества от Рюрика до Екатерины, и в этом, конечно, заключается главное достоинство труда Соловьева.

Герье, давший лучшую оценку сочинения Соловьева, справедливо заметил: «Мы мало знаем историков, которые до такой степени соединяли бы в себе два различных интереса, представляемых историей — стремление к исследованию, к обогащению исторического материала с потребностью восстановить полный и цельный образ прошедшего, то есть чисто научный интерес с творческим. Среди страниц, передающих нам понятия, язык прошедших эпох, мы нередко встречаем художественные страницы, достойные великих мастеров». Художественной надо назвать всю первую половину XIII тома, где представлен общий ход русской истории до эпохи преобразования. В высшей степени художественны характеристики многих исторических деятелей, в особенности Иоанна Грозного и Петра Великого Прекрасно передавая характер эпохи, Соловьев на этом фоне изящной

кистью рисует фигуры царей, отличающиеся тонкостью психологической отделки, тонким пониманием давно прошедшей жизни.

Герье назвал историю Соловьева национальной. Действительно, она заслуживает такого названия, потому что в ней верно схвачены черты и форма исторического развития нации, потому что она написана чисто русским ученым, дорожившим основными устоями русской жизни, потому что она проникнута любовью к своему народу. Значение, придававшееся Соловьевым православию, видно из следующего места:

«И вот Рим, пользуясь бедствием Византии, устраивает дело соединения церквей; Исидор, в звании митрополита всея Руси подписывает во Флоренции акт соединения; но в Москве этот акт отвергнут, здесь решили остаться при древнем благочестии — одно из тех великих решений, которые на многие века вперед определяют судьбы народов!. Верность древнему благочестию, провозглашенная великим князем Василием Васильевичем, поддержала самостоятельность Северо-Восточной Руси в 1612 году, сделала невозможным вступление на московский престол польского королевича, повела к борьбе за веру в польских владениях, произвела соединение Малой России с Великой, условила падение Польши, могущество России и связь последней с единоверными народами Балканского полуострова» (Т. IV. С. 372 // Кн. 2. С. 641 настоящего издания).

Любовь к родине и вера в мощь русского народа сказывается не раз на страницах «Истории России».

Но национальное направление Соловьева никак не следует смешивать с славянофильством, которого он чуждался и которое считал крайностью; его патриотизм был далек от самодовольства, от одностороннего восхваления своего народа. Он сам предупреждал против такого увлечения, говоря следующее:

«Конечно, для славянина, то есть преимущественно для русского, есть сильное искушение предположить, что племя, которое при всех самых неблагоприятных условиях умело устоять, окруженное варварством, умело сохранить свой европейско-христианский образ, образовать могущественное государство, подчинить Азию Европе, — что такое племя обнаружило необыкновенное могущество духовных сил, и, естественно, рождается вопрос: племя германское, поставленное в таких неблагоприятных условиях, сумело ли бы сделать то же самое? Но неприятное восхваление своей национальности, какое позволяют себе немецкие писатели, не может увлечь русских последовать их примеру» (Т. XIII. С. 8 // Кн. VII. С. 9 настоящего издания).

В труде Соловьева, как во всяком деле человеческом, есть, конечно, недостатки; последние томы — преимущественно царствование Екатерины — обработаны менее тщательно, чем первые восемнадцать томов, некоторые его взгляды (например, родовая теория) нуждаются в оговорках и поправках. Но достоинства «Истории России с древнейших времен» таковы, что она едва ли когда-нибудь потеряет свое значение, а за автором ее навсегда сохранится место первого русского историка XIX века.

Глава IV. СОЧИНЕНИЯ ПО ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ

Несмотря на то, что 29 томов «Истории России» — такой труд, который немногим удается осуществить даже в течение очень долголетней жизни, Соловьев успел издать еще несколько книг. Кроме упомянутых уже сочинений об Александре I и Польше, он написал общедоступные чтения о русской истории, два учебника: русской истории (переведенный, между прочим, на французский язык и представляющий отличное пособие для студентов) и курс новой истории В разных журналах он помещал статьи по русской и всеобщей истории, которые впоследствии вошли в его «Историю» и другие книги, множество мелких заметок

и рецензий рассеяно по разным периодическим изданиям; статьи эти после появления капитальных трудов автора, конечно, потеряли свое значение. Не потеряли своего значения очерки по историографии, где дана оценка русских историков прошлого и нынешнего века: Татищева, Ломоносова, Щербатова, Болтина, Миллера, Карамзина, Шлёцера. Статьи эти, очень важные для специалистов, до сих пор не изданы отдельно, и их приходится разыскивать в разных журналах 50-х годов. Общий интерес и важное значение для характеристики исторических воззрений Соловьева имеют статьи, относящиеся к области философии истории и переизданные в книге, озаглавленной «Сочинения С. М. Соловьева» (СПб., 1882).

Вся эта книга, с начала до конца написанная прекрасным слогом, читается очень легко; своими широкими обобщениями она приковывает внимание читателя и, конечно, в значительной степени способствовала развитию нашего общества. В статьях под заглавием «Начала русской земли», начатых за два года до смерти, Соловьев думал дать полную философию русской истории; к сожалению, он успел написать только две главы. Тут, между прочим, автор нашу отсталость, медленность нашего развития объясняет обширностью территории.

«Россия,— говорит он,— есть обширнейшее государство в мире, заучиваем мы с малолетства; в летах зрелых стараемся уразуметь смысл этих слов. Чрезвычайная величина органического тела заставляет предполагать особенные условия для поддержания его строя, равновесия частей; заставляет опасаться за существование этих условий в достаточной степени, за прочность тела; заставляет опасаться возможности раннего его распадения. Если обширное государство произошло путем завоевания разных народов одним каким-либо, то непрочность его очевидна; если произошло путем распространения одного народа по обширной стране,— народа, постепенно крепнувшего в своем государственном строе, то это явление предполагает чрезвычайную медленность движения, отсталость сравнительно с другими государствами, занимающими меньшую область, ибо все государственные отправления в обширной области должны совершаться медленно, особенно когда государство представляет обширную страну с относительно небольшим, разбросанным по ней, народонаселением. При таком отношении в несплоченные ряды народонаселения удобно проникают чуждые, неудобоваримые в народном организме элементы; кроме того, несплоченные части народонаселения должны приводиться в связь и общее движение внешней силой, отчего правительственная деятельность должна достигать крайнего напряжения, не встречая подмоги в крепко сплоченной массе народонаселения. Внутренний процесс развития совершается здесь чрезвычайно медленно; равновесие между частями устанавливается очень нескоро; жизненные силы народа по разным обстоятельствам приливают то к тому, то к другому концу, вследствие чего происходит перенесение правительственных центров, столиц, из одного угла в другой, что именно необходимо в обширной стране: в небольшой комнате владелец ее, сидя в средине или в одном углу, легко видит все, что делается вокруг него, и все у него под руками, далеко ходить не нужно; в помещении обширном с середины, а тем менее из угла не видно, что происходит в других частях здания; имея надобность в чем-нибудь, находящемся в одном углу, должно совершать туда долгие переходы и остановки».

Уже раньше, в 50-х годах, Соловьев дал характеристику допетровской Руси в статье «Древняя Россия» и в публичных чтениях об установлении государственного порядка в России представил общий ход русской истории до Петра Великого. Продолжением этих статей можно считать публичные лекции о Петре Великом, читанные в 1872 году после появления соответствующих томов «Истории России» и дополняющие их; по этому сочинению легче и удобнее ознакомиться с деятельностью великого Преобразователя, потому что подробности опущены и реформа представлена в крупных чертах. «Исторические письма», направленные против отрицания благ цивилизации и прогресса, и «Наблюдения над исторической жизнью народов» дают много сведений по всеобщей истории и много

общих мыслей. В последнем обширном исследовании, оставшемся, к сожалению, неоконченным, Соловьев представил типические черты восточных стран и народов, Китая, Египта, Ассирии и Вавилона, Финикии, арийцев в Азии, Греции и Рима, галлов и германцев. Тут разбросано немало оригинальных взглядов, из которых некоторые получили впоследствии подтверждение в работах известного историка Фюстель-де-Куланжа.

Соловьев смотрел очень широко на задачу историка.

«История... есть наука *народного самопознания*, — говорит он. — Но самый лучший способ для народа познать самого себя — это познать другие народы и сравнить себя с ними; познать же другие народы можно только посредством познания их истории. Познание это тем обширнее и яснее, чем большее число народов становится предметом познавания, — и естественно рождается потребность достигнуть полноты знания, изучить историю всех народов, сошедших с исторической сцены и продолжающих на ней действовать, изучить историю всего человечества, и, таким образом, история становится наукой самопознания для целого человечества».

Но для того, чтобы история была действительно такой наукой, историк должен изучать прошлое беспристрастно, не покорствуя интересам настоящей минуты, не искажая исторических явлений, не затемняя, не извращая законов их. Историк должен обращать внимание на все стороны народной жизни.

«Успех в изучении истории зависит... от многосторонности взгляда; ошибки происходят не от неправильности только взгляда вообще, но от того, что мы глядим на одну сторону явления и спешим из этого рассматривания вывести наше заключение, вывести общие законы, объявляя другие взгляды, то есть взгляды на другие стороны явления, ложными. Взгляд вполне правильный есть взгляд всесторонний». Историк должен обращать внимание на природу страны, так как влияние ее на жизнь народа бесспорно; но народ не находится в исключительной зависимости от природы, он изменяет природные условия, выбирает местность, которая представляется ему наиболее подходящей, поэтому нельзя терять из виду характер, природные наклонности народа. Историк должен следить за умственным развитием страны, он должен уяснить, что сделало эту страну способной к умственному развитию, вследствие чего умственное развитие приняло то или другое направление. Но нельзя ограничиться одной этой стороной. Правительство представляет существенную сторону жизни народа. «Правительство в той или другой форме своей есть произведение исторической жизни известного народа, есть самая лучшая поверка этой жизни. Как скоро известная форма правительственная не удовлетворяет более потребностям народной жизни в известное время, она изменяется с большим или меньшим потрясением всего организма народного... Правительство, какая бы ни была его форма, представляет свой народ, в нем народ олицетворяется... и потому оно было, есть и будет всегда на первом плане для историка... Распоряжения правильного правительства, его удачные меры или ошибки могущественно действуют на народ, содействуют развитию народной жизни или препятствуют ему, приносят благоденствие большинству или меньшинству или навлекают на них бедствия. Вот почему характеры правительственных лиц так важны для историка, так внимательно им изучаются, будь то неограниченный монарх, будь то любимец этого монарха, будь то ораторы, вожди партий в представительных собраниях, министры, поставленные во главе управления перевесом той или другой партии в народном представительстве, будь то президент республики». «Историк, имеющий на первом плане государственную жизнь, на том же плане имеет и народную жизнь, ибо отделять их нельзя: народные бедствия не могут быть для него неважными чертами уже и потому, что они имеют решительное влияние на государственные отправления, затрудняют их, бывают причинами расстройств в государственной машине, что вредным образом действует на народную жизнь».

Однако народная масса не может быть непосредственно наблюдаема историком; он изучает ее только в лице ее представителей, вождей во время народных движений.

В чем же видел Соловьев сущность исторического процесса? В развитии, в прогрессе. Правда, он отрицал бесконечный прогресс или, лучше сказать, он находил, что бесконечный прогресс нельзя считать научным выводом, потому что он не опирается на твердые научные данные. По его мнению, европейские народы, следуя общим законам природы, должны когда-нибудь вымереть, и мы не имеем права утверждать, что племена монгольские, малайские или негрские могут перенять у арийского племени дело цивилизации и вести его дальше. Но историческими народами он называл те, которые имеют способность развиваться. Соловьев сравнивал народную жизнь с постоянно развивающимся организмом.

«Ряд изменений, замечаемых при развитии семени в дерево или яйца в животное, состоит в движении от простоты и однообразия устройства к его разнообразию и сложности. На первой ступени каждый зародыш состоит из вещества однообразного во внутреннем составе и внешнем строении. Первый шаг в развитии обозначается появлением различия между частями этого вещества; потом каждая из различившихся частей начинает в свою очередь обнаруживать различие частей. Процесс этот беспрестанно повторяется, и через бесконечное умножение такого выделения частей образуется наконец сложная сеть тканей и органов, составляющих животное или растение в полном его развитии. Это появление, которое мы называем прогрессом, общее всем организмам, как природным, так и общественному... В обществе, на низкой ступени развития находящемся, дикарь производит сам все для себя нужное; но потом постепенно является разделение занятий, образуются отдельные органы общественные. В обществах недовольно развитых первосвященник и государь слиты в одном лице, религиозные и гражданские законы смешаны; в силу прогресса все это мало-помалу различается, разделяется. Тот же самый прогресс в языке, от однозвучия животных до членораздельных звуков челвеческих...

Но прогресс не состоит в одном только бесконечном членоразделении; для образования организма необходимо, чтобы части, органы, выделяясь, обозначаясь, находились в тесной связи между собой; отдельного, тем менее враждебного друг другу положения они иметь не могут; движение, жизнь, прогресс условливаются соединением, следствие одиночества — бесплодие, неподвижность. Чем развитее организм, чем развитее его члены, органы, тем в более тесной связи находятся они друг с другом, тем менее для них возможности одиночного существования. Этот общий закон организма имеет силу и в применении к высшему из организмов, организму общественному. Но если среди организмов природных, чем выше организм, тем с большой медленностью развивается, тем большого требует для себя старания, ухода — то нечему удивляться, что организм общественный так медленно совершенствуется, что истины относительно его образования достаются человечеству с таким трудом». («Сочинения». С. 226—227 // Кн. XVI. С. 354, 355 настоящего издания).

В жизни народов, по мнению Соловьева, как в жизни каждого живого организма, как в жизни человека, можно различать разные возрасты, преимущественно юность и возмужалость (за которой следуют, конечно, старость и смерть), период чувства и период мысли.

«В жизни исторических, доступных развитию народов заключаются одинаковые явления, одинаковые периоды, потому что каждый народ проходит известные возрасты, развивается по тем же законам, по каким развивается и отдельный человек... В первой половине народ живет, развивается преимущественно под влиянием чувства; это время его юности, время сильных страстей, сильного движения, имеющего результатом зиждительность, творчество политических форм. Здесь благодаря сильному огню куются памятники народной жизни в разных ее сферах или по крайней мере закладываются прочные фундаменты этих

памятников. Наступает вторая половина народной жизни: народ мужает и господствовавшее до сих пор чувство уступает мало-помалу свое господство мысли. Таким образом, в жизни исторических, развивающихся народов мы признаем два периода, период чувства и период мысли; разумеется, мы так выражаемся для краткости, собственно, мы разумеем период господства чувства и период господства мысли. Сомнение, стремление поверить то, во что прежде верилось, что признавалось истинным, задать вопрос — разумно или неразумно существующее, потрогать, пошатать то, что считалось до сих пор непоколебимым, знаменует вступление народа во второй период, период мысли» («Сочинения». С. 433 // Кн. XVII. С. 104—105 настоящего издания).

Понятно, что при взгляде на историю, как на внутренний процесс, происходящий в народном организме, Соловьев не мог приписывать великим людям преувеличенного значения, но в то же время он указывал на влияние, какое отдельные личности имеют на общий ход истории. Вот прекрасная страница, где выяснено значение великих людей:

«Бывают в жизни народов времена, по-видимому относительно тихие, спокойные: живется, как жилось издавна, и вдруг обнаруживается необыкновенное движение, и дело не ограничивается движением внутри известного народа, оно обхватывает и другие народы, которые претерпевают на себе следствия движения известного народа. Человека, начавшего это движение, совершавшего его, человека, по имени которого знают его народ современники, по имени которого знают его время потомки, — такого человека называют великим. В то время, когда народы живут в первый возраст своего бытия, возраст юный, для большинства народного очень продолжительный, когда люди поддаются господству чувства и воображения, тогда великие люди являются существами сверхъестественными, полубогами. Понятно, что при таком представлении великий человек является силой, не имеющей никакого отношения к своему веку и своему народу, силой, действующей с полным произволом; народ относится к ней совершенно страдательно, бессознательно, безусловно подчиняется ей, страдательно носит на себе все следствия ее деятельности; великому человеку принадлежит почин во всем, он создает, творит все средствами своей сверхъестественной природы.

Христианство и наука дают нам возможность освободиться от такого представления о великих людях. Христианство запрещает нам верить в богов и полубогов; наука указывает нам, что народы живут, развиваются по известным законам, проходят известные возрасты, как отдельные люди, как все живое, все органическое; что в известные времена они требуют известных движений, перемен, более или менее сильных, иногда отзывающихся болезненно на организме, смотря по ходу развития, по причинам, коренящимся во всей предшествовавшей истории народа. При таких движениях и переменах, при таком переходе народа от одного порядка жизни своей к другому, из одного возраста в другой, люди, одаренные наибольшими способностями, оказывают народу наибольшую помощь, наибольшую услугу: они яснее других сознают потребность времени, необходимость известных перемен, движения, перехода и силой своей воли, своей неутомимой деятельности побуждают и влекут меньшую братию, тяжелое на подъем большинство, робкое перед новым и трудным делом. Как люди, они должны и ошибаться в своей деятельности, и ошибки эти тем виднее, чем виднее эта деятельность; иногда по силе природы своей и силе движения, в котором они участвуют на первом плане, они ведут движение за пределы, назначенные народной потребностью и народными средствами; это производит известную неправильность, остановку в движении, часто заставляет делать шаг назад, что мы называем реакцией; но эта неправильность временная, а заслуга вечная, и признательные народы величают таких людей великими и благодетелями своими.

Таким образом, великий человек является сыном своего времени, своего народа; он теряет свое сверхъестественное значение, его деятельность теряет характер случайности, произвола, он высоко поднимается как представитель своего народа в известное время, носитель и выразитель народной мысли; деятельность его получает великое значение как удовлетворяющая сильной

потребности народной, выводящая народ на новую дорогу, необходимую для продолжения его исторической жизни. При таком взгляде на значение великого человека и его деятельности высоко поднимается народ: его жизнь, история является цельной, органической, не подверженной произволу, капризу одного сильного средствами человека, который может остановить известный ход развития и толкнуть народ на другую дорогу вопреки воле народной. История народа становится достойной изучения, представляет уже не отрывочный ряд биографий, занимательных для воображения людей, остановившихся на детском возрасте, но дает связное и стройное представление народной жизни, питающее мысль зрелого человека, который углубляется в историю как науку народного самопознания» («Сочинения». С. 89—90 // Кн. XVIII. С. 7—8 настоящего издания).

В приведенном отрывке выражен вполне исторический взгляд на великого человека, примиряющий крайние воззрения, несогласный с теми, для кого история есть исключительно дело героев, и с теми, кто отрицает всякое значение отдельной личности и влияние ее на общий ход событий.

Признавая блага цивилизации и необходимость прогресса, Соловьев, естественно, не мог согласиться с теми, кто восхвалял старинные порядки и призывал общество не к дальнейшему развитию, а к возвращению назад. Он восставал против наделавшей у нас много шума книги известного немецкого писателя Риля, который советовал своим соотечественникам вернуться к первобытной жизни, восхищался цельностью и глубокомыслием древнегерманского начала, еще не подвергшегося влиянию христианства, и видел в крестьянах верных хранителей старины.

Восставая против германофильства, Соловьев не мог сочувствовать славянофильству, в котором видел точно так же протест против прогресса. Единственная его полемическая статья под заглавием: «Шлёцер и антиисторическое направление», написана с целью доказать ненаучность исторических взглядов славянофилов (в «Русск. вестнике» 1857. № 8). По мнению Соловьева, русский народ — прежде всего народ европейский.

«Мы — европейцы и ничто европейское не может быть нам чуждо». «Русский народ как народ славянский принадлежит к тому же великому арийскому племени, — племени-любимцу истории, как и другие европейские народы, древние и новые, и подобно им имеет наследственную способность к сильному историческому развитию».

Русские люди древнего допетровского времени не были варварами. Варварский народ тот, который сдружился с недостатками своего общественного устройства, не может понять их, не хочет слышать ни о чем лучшем; напротив, народ никак не может называться варварским, если при самом неудовлетворительном общественном состоянии сознает эту неудовлетворительность и стремится выйти к порядку лучшему. Предки наши никогда не утрачивали европейско-христианского образа, всегда были борцами за цивилизацию. Допуская, что русский народ развивался, как все европейские народы, нельзя признавать научными мнения славянофилов, будто древнее русское общество выше нового, будто существовало какое-то самобытное русское просвещение, от которого мы отказались в новое время, и вследствие заимствованного нами чуждого нам европейского образования явилось неуважение к святости правды, будто петровская реформа совершилась насильственно, Петр совратил народ с настоящего пути, будто мы должны чуждаться Европы, храня свою самобытность; это равносильно отрицанию науки и просвещения, это — протест против прогресса. На это Соловьев возражал:

«Нас упрекнут в повторении вещей всем известных, если мы скажем, что назначение человека — жить в обществе; что только в обществе себе подобных, при постоянном и беспрепятственном размене мыслей и плодов своей деятельности, при разделении занятий, при взаимном вспомоществовании может он

развивать свои способности, извлекать из них все возможное для себя и для других добро. Но что справедливо в отношении к одному человеку, то справедливо и в отношении к целому народу, который также может развиваться и совершенствовать свой быт и в нравственном, и в материальном отношении только в обществе других народов. Что мы замечаем в народе, который живет особняком? Необходимо застой; ибо только разнообразное, новое, противоположное оживляет мысль и деятельность человека, мысль и деятельность народа, однообразие форм, господствующее в народе, который живет особняком, необходимо усыпляет мысль и заставляет смотреть человека и целый народ на это постоянство форм, как на нечто необходимо вечное, носящее в самом себе условие самостоятельности и вечности, одним словом,— как на нечто божественное. У народов языческих это ведет прямо к обоготворению форм и отношений, постоянно существующих, освященных этим постоянством, долговременностью; но и народы христианские, если долго живут особняком, не освобождаются от суеверного поклонения формам, обряду, букве, чему ясным доказательством служит русское раскольничество, естественный и необходимый плод особной жизни народа...

Итак, если человек для полноты своего человеческого развития должен жить в обществе себе подобных; если народ для полноты своего народного развития должен жить в обществе других народов,— то вопрос решен о значении петровской эпохи, эпохи преобразования, вопрос решен об отношениях древней России к новой. Древнее русское общество, несмотря на величие подвигов, совершенных им в деле внешнего государственного созидания, в преодолении препятствий, этому созиданию противопоставленных, не могло двигаться далее на пути нравственных и материальных улучшений, не вступив в семью европейско-христианских народов, да и по характеру своему не могло не вступить в эту семью при первой возможности. Следствия особной жизни так явны в нашей древней истории, что об них не нужно много распространяться: бессознательное, суеверное подчинение обычаю, обряду, форме, букве, ослабление веры в дух, который живит, слишком явны» («Шлёцер и антиисторическое направление». С 461—464 // Кн. XVI. С. 337—338, 340—341 настоящего издания).

Соловьев доказывал славянофилам, что их взгляд на Петра Великого так же ненаучен, как старинное воззрение, будто Петр привел Россию от небытия к бытию.

«Люди, которые обнаружили несочувствие к делу Петра, вместо противодействия крайности приведенного взгляда перегнули дугу в противоположную сторону; крайности сошлись и опять надобно было проститься с историей Россия, по новому взгляду, не только не находилась в небытии до Петра, но наслаждалась бытием правильным и высоким; все было хорошо, нравственно, чисто и свято; но вот явился Петр, который нарушил правильное течение русской жизни, уничтожил ее свободный, народный строй, попрал народные нравы и обычаи, произвел рознь между высшими и низшими слоями народонаселения, заразил общество иноземными обычаями, устроил государство по чужому образу и подобию, заставил русских людей потерять сознание о своем, о своей народности Опять божество, опять сверхъестественная сила, опять исчезает история народа, развивающаяся сама из себя по известным законам, при влиянии особенных условий, которые и отличают жизнь одного народа от жизни другого» («Сочинения». С. 19 // Кн. XVIII. С. 9—10 настоящего издания)

В развитии народов Соловьев придавал большое значение духовному началу, и в материализме, часто господствующем в обществе, видел причину, приводящую к старческому бессилию и смерти

«Материализм,— говорит он,— и неизбежная притом односторонность, узкость, мелкость взгляда наводнили общество; удовлетворение физических потребностей становится на первом плане человек перестает верить в свое духовное начало, в его вечность; перестает верить в свое собственное достоинство,

в святость и неприкосновенность того, что лежит в основе его человечности, его человеческой, то есть общественной жизни; является стремление сблизить человека с животным, породниться с ним; печной горшок становится дороже бельведерского кумира; удобство, нежащее тело, предпочтительнее красоты, возвышающей дух. При таком направлении живое искусство исчезает, заменяется мертвой археологией. Вместо стремления поднять меньшую братию является стремление унизить всех до меньшой братии, уравнять всех, поставив на низшую ступень человеческого развития, а между тем стремление выйти из тяжкого положения, выйти из мира, источенного дотла червем сомнения и потому рассыпающегося прахом, стремление найти что-нибудь твердое, к чему бы можно было прикрепиться, то есть потребность веры не исчезает, и подле неверия видим опять суеверие, но не поэтическое суеверие народной юности, а печальное, сухое, старческое суеверие». Человек не может жить одним разумом, и религия является для него необходимостью. «Религиозное чувство утверждается на неверии — на неверии в средства человека, в средства его разума, неверии, основанном на ежедневном и вековом, вечном опыте. Религиозный человек есть человек положительный, который не может стоять на колеблющейся, изменяющейся почве; который не может успокоиться на вере в бесконечный прогресс... потому, что в основании ее видит одно предположение постоянно выгодных условий для явления, предположение произвольное, не утвержденное на точных наблюдениях. Человек нерелигиозный не верит в так называемые сверхъестественные явления, необходимые для положительной религии, требующей непосредственного участия Божества в ее установлении; он верит в средства человека, его разум... Христианство вполне успокаивает религиозного человека, потому что ставит наивысшее основание нравственности — любовь, основание незыблемое, вечное при всевозможных изменениях отношений между людьми, при всевозможных изменениях политических форм, на всевозможных ступенях цивилизации» («Сочинения». С. 435, 443 // Кн. XVII. С. 106—107, 114—115, 116 настоящего издания).

Соловьев посвятил отдельную статью доказательству того положения, что в сфере религии не может быть прогресса: верить можно только в абсолютное, истинное, и так как христианство обладает абсолютной истиной, то, по его мнению, совершенствоваться может только человечество, приближаясь к религиозному идеалу, а никак не сама религия:

«Христианство, поставив такое высокое нравственное требование, которому человечество, по слабости своих средств, удовлетворить не может... по тому самому есть религия вечная. Известная религия тогда только может уступить место другой, высшей, когда человечество в своем развитии переступит ее требования, которые окажутся ниже его нравственных стремлений, как и действительно случилось с религиями наиболее развитых народов древности перед пришествием Спасителя. Но когда требования, выставленные религией, так высоки, что пребудут для человечества недосягаемым идеалом, то какое основание мечтать о какой-то новой высшей религии? Позволительна ли такая мечта на основании прогресса, когда прогресс именно условливается недосягаемостью идеала? Таким образом, прогресс нисколько не противоречит христианству, ибо он есть произведение слабости человеческих средств и высоты религиозных требований, поставленных христианством; христианство поднимает человечество на высоту, и это-то стремление человечества к идеалу, выставленному христианством, есть прогресс в мире нравственном и общественном» («Прогресс и религия» в «Сочинениях» С. 282, 284 // Кн. XVI. С. 682 настоящего издания).

Соловьев ратовал за прогресс, он ополчался на тех, кто призывал наше общество назад к стародавним порядкам, он старался противодействовать материализму, поддержать веру в идеал, в торжество добра и правды. Широкий взгляд на историю и ее задачи, гуманные начала, которые он проповедовал, придают его

сочинениям большое культурное значение, не только как автору «Истории России», но и как поборнику истинного просвещения, как историку-мыслителю должно быть отведено ему почетное место в истории нашей литературы

Глава V. ОБРАЗ МЫСЛЕЙ. ОБРАЗ ЖИЗНИ ХАРАКТЕР С М. СОЛОВЬЕВА

В ранней молодости Соловьев, как было уже сказано, увлекался славянофильством и русофильством, узким национализмом и ложно понятым патриотизмом. Серьезные занятия историей скоро убедили его, что он стоит на ложном пути, и по защите магистерской диссертации он примкнул к западникам. Главой этого кружка был Грановский, вокруг которого группировались самые выдающиеся профессора 40-х и 50-х годов, люди талантливые, европейски образованные — ученые, оставившие после себя крупный след, обогатившие русскую науку ценными произведениями: Кавелин, Редкин, Кудрявцев, Бабст, Чичерин. К кружку западников принадлежали в то время и Катков с Леонтьевым. Общество молодых профессоров особенно сплотилось в тяжелые для России годы, наступившие после Французской революции 1848 года (1848—1855). Дружба молодых людей помогла им пережить тяжелое время, не теряя веру в идеал и надежду на лучшее будущее, которое действительно наступило. Профессор Герье, хорошо знавший кружок западников, написал о них следующую прекрасную страницу:

«В те дни, когда Соловьев готовился к своему призванию, внимание русского общества занимал вопрос об отношениях русского народа к другим европейцам, национального духа к общечеловеческому просвещению, и различные взгляды на этот предмет выразились в литературных направлениях и партиях Приверженцы европейского, общечеловеческого были названы западниками; название одностороннее, неправильное, потому что указывало на внешний признак явления, упуская из виду его сущность, название несправедливое, потому что заключало в себе укор, а укор мог только относиться к увлечению, к злоупотреблению новым принципом, которые вовсе не вытекали из самого принципа, в самом себе верного.

Западники 30—50-х годов имели право на совершенно иное название Это были русские гуманисты. Нет основания приурочивать этот термин исключительно к эпохе Ренессанса, к людям, проводившим тогда в европейском обществе греко-римскую образованность. Их деятельность положила собственно только начало европейскому гуманизму. Идеалы гуманизма развивались и расширялись под влиянием европейской науки и европейской мысли. Самое понимание классического мира и его цивилизации сделалось со временем вернее и глубже. Итальянские гуманисты XV и XVI веков искали свои идеалы преимущественно в Риме, и здесь отчасти в эпохе перерождения и падения античной цивилизации. Высший цвет этой цивилизации был раскрыт только в XVIII веке, когда основание новой эпохи гуманизма было положено Винкельманом.

На этом гуманизме воспитались классические поэты Германии: Лессинг, Гердер, Шиллер и Гете, которые внесли гуманистический элемент в немецкую литературу и этим подняли культуру немецкую, дали ей мировое значение. Здесь гуманизм получил иной, более широкий смысл, что выразилось уже в самом изменении значения слова «гуманный»; классический гуманизм сделался лишь одним из составных элементов европейского гуманизма, то есть гуманного, общечеловеческого начала В этот европейский гуманизм стали тогда входить две новые живительные струи: идеалистическая философия, которая внесла в духовный мир человека понимание истории, идею законного, мирного, органического развития, идею прогресса, и политический либерализм, которому положил прочное основание переворот 1789 года. Этот обогащенный, облагороженный новыми идеями XIX века гуманизм — продукт европейской общечеловеческой цивилизации — вот что пытались провести в наше общество русские гуманисты, так

называемые западники 40-х годов Не замену национального западным ставили они себе целью, а воспитание русского общества на европейско-универсальной культуре, чтобы поднять национальное развитие на степень общечеловеческого, дать ему мировое значение».

В 1846 году Соловьев попал в кружок славянофилов по следующему поводу. Константин Аксаков писал историческую драму «Освобождение Москвы 1612 года» и пожелал выслушать мнение специалиста. Он пригласил к себе Соловьева, и, когда тот лестно отозвался о его драме, К. Аксаков воспламенился к нему, ходил к нему на лекции и стал считать его своим. Соловьев действительно посещал нередко дом его отца С. Т. Аксакова, где бывало много народу и где весело проводили время. Тут он познакомился с корифеями славянофильства: Хомяковым, Кошелевым, Киреевским, Ив. Аксаковым, большой симпатии он к ним никогда не питал; он считал их людьми несерьезными, недостаточно образованными, многих признавал легкомысленными болтунами. Взгляды их он находил не историческими, не мог мириться с их восхвалением древней Руси, с их отрицательным отношением к европейскому образованию и реформе Петра Великого.

Хотя Соловьев по своим воззрениям больше подходил к западникам, но у него была и точка соприкосновения с славянофилами. Тогда как западники не придавали никакого значения религии, Соловьев не только дорожил религией вообще, но и православием в частности. В нашей истории православие, по мнению Соловьева, сыграло важную роль: оно могущественно содействовало утверждению самодержавия, оно помешало королевичу польскому Владиславу стать русским царем в 1612 году, оно отняло Малороссию у Польши и дорушило последнюю, собрав всю Восточную Европу в одно целое под именем России. Сравнивая православие с католицизмом и протестантизмом, он безусловно становится на сторону первого. Католицизм, по его мнению, препятствует движению народа вперед, никак не может ужиться с новыми потребностями жизни, а деятельность его духовенства отличается неприятным полицейским характером. О протестантизме же он высказался следующим образом, характеризуя деятельность Лютера в своем курсе новой истории.

«Страстный, увлекающийся, раздраженный борьбой на жизнь и на смерть, Лютер шел все дальше и дальше: подле законного требования уничтожения светской власти папы, требования самостоятельности национальных церквей, требования брака для духовенства, приобщения под обоими видами (телом и кровью Христовыми) Лютер высказывает сомнения относительно таинства пресуществления, вооружается против седмеричного числа таинств; вооружаясь против наростов, образовавшихся в Западной латинской Церкви, он стал касаться верований Церкви Вселенской, — и по какому праву? Вселенская Церковь утверждает свои верования на вселенских соборах путем единственно законным, а реформатор общему соглашению противопоставил личное мнение, личный произвол, что вело вместо очищения Церкви к революции, к анархии...

Опасный шаг был сделан. Пользуясь провозглашенной свободой в объяснении Священного Писания, всякий мог объяснять его, как ему угодно; авторитет Церкви отвергнут; граница между свободой и своеволием не указана. Если по слабости человеческой природы авторитет стремится перейти в деспотизм, то, с другой стороны, свобода, отрешившись от авторитета, стремится перейти в своеволие, в анархию, стремится к освобождению человека от всевозможных авторитетов, от всевозможных связей».

Под этими строками с удовольствием подписались бы Хомяков и Аксаков.

Понятно, что, примкнув к кружку западников, Соловьев не помещал своих статей в славянофильских журналах, но участвовал только в органах прогрессивных, умеренно либеральных. В 40-х годах он работал в «Современнике» и в «Отечественных записках», в 50-х годах — в тех же журналах (до 1857 года) и в «Русском вестнике» (до 1865 года) до тех пор, пока этот журнал не принял особенной

несимпатичной Соловьеву окраски. С 1868 года он начал работать в «Вестнике Европы», отдавая свои статьи или в этот журнал, или в специальные издания, избегая органов крайнего направления. Соловьев писал исключительно статьи исторические, в которых не любил уклоняться в сторону и говорить о современности. Только раз он обмолвился следующими фразами, не имевшими прямого отношения к предмету, о котором он писал:

«Настоящее правительство не задерживает свой народ, не видит настоящего народа только в неподвижной массе; оно вызывает из массы лучшие силы и употребляет их на благо народа; оно не боится этих сил, оно в тесном союзе с ними. Чтобы не бояться ничего, правительство должно быть либерально... чтобы поддерживать и развивать в народе жизненные силы, постоянно кропить его живой водой, не допускать в нем застоя, следовательно гниения, не задерживать его в состоянии младенчества, нравственного бессилия, которое в минуту искушения делает его неспособным отразить удар, встретить твердо и спокойно, как прилично мужам, всякое движение, всякую новизну, критически относиться к каждому явлению. Народу нужно либеральное, широкое воспитание, чтобы ему не колебаться, не мястись при первом порыве ветра, не восторгаться первым громким и красивым словом, не дурачиться и не бить стекол, как дети, которых долго держали взаперти и вдруг выпустили на свободу.

Но либеральное правительство должно быть сильно, и сильно оно тогда, когда привлекает к себе лучшие силы народа, опирается на них; правительство слабое не может проводить либеральных мер спокойно: оно рискует подвергнуть народ тем болезненным припадкам, которые называются революциями, ибо, возбудив, освободив известную силу, надобно и направить ее. Правительство сильное имеет право быть безнаказанно либеральным, и только люди очень близорукие считают нелиберальные правительства сильными, думают, что эту силу они приобрели вследствие нелиберальных мер. Давить и душить — очень легкое дело, особенной силы здесь не требуется. Дайте волю слабому ребенку, и сколько хороших вещей он перепортит, перебьет и переломает! Обращаться с вещами безжизненными очень просто, но другие приемы, потруднее и посложнее, требуются при охранении и развитии жизни» («История Александра I». С. 197—198 // Кн. XVII. С. 379 настоящего издания).

Соловьев говорил сам о себе, что его считали либералом в царствование Николая и консерватором в царствование Александра II. Это совершенно понятно. Соловьев был цельным человеком, имевшим очень твердые, но умеренные убеждения. Мнения, казавшиеся опасными в николаевское время, стали считаться отсталыми крайними представителями 60-х годов, с которыми Соловьев не имел ничего общего. Его могли считать консерватором за его религиозные убеждения, за его уважение к авторитетам; за то, что он, сочувствуя вообще благодетельным реформам Александра II, относился к ним не без критики, но во всяком случае он не сочувствовал крайностям консервативного направления. Соловьева можно, кажется, охарактеризовать теми словами, которые говорит о себе его сослуживец по академии и старший современник А. В. Никитенко: «Есть прогресс сломя голову и прогресс постепенный. Если бы надо было себя оформулировать одной из тех категорий, на какие принято подразделять политические мнения в Европе, я бы назвал себя умеренным прогрессистом. Я худо верю в те учения, которые обещают обществу беспрерывное счастье и усовершенствование, но верю в необходимость для человеческого развития, на всякой степени которого для него воздвигается известная мера благ с неизбежной примесью известных зол. Верю, что не идти путем этого развития — значит противиться закону природы и подвергаться произвольно таким опасностям и бедствиям, которых избежать есть долг разумного существа. Как природа испытывает перемены времени года и с каждой переменой производит новые существа и новые явления, не выходя из общей сферы, определяющей ее деятельность, так и человечество не может оставаться неподвижным и должно раскрывать в исторической

последовательности те силы, какие составляют его содержание» («Дневник» Никитенко. Т. II. С. 77).

Сергей Михайлович Соловьев был преимущественно и прежде всего человеком долга, свято исполнявшим свои обязанности. Этим объясняется весь образ его жизни. Своей главной обязанностью он считал служение государству, а также и своему семейству. Служение государству он исполнил двояко, с одной стороны — занимая кафедру, с другой стороны — работая над «Историей России». Соловьев известен был как самый аккуратный профессор во всем университете. Он не только не позволял себе пропускать лекций даже при легком нездоровьи или в дни каких-нибудь семейных праздников, но и никогда не опаздывал на лекции, всегда входил в аудиторию в четверть назначенного часа минута в минуту, так что студенты поверяли часы по началу соловьевских лекций. Имея 30 лет от роду, Соловьев задался целью написать подробную историю России и этой цели посвятил 30 лет своей жизни, рассчитывая отдохнуть по окончании своего труда. Он не дожил до этой счастливой минуты, и отдохнуть ему не пришлось.

Жизнь его была жизнью труженика, жизнью отшельника, совершавшего трудный подвиг в своей одинокой келье, откуда он выходил только для обеда или вечернего чаепития.

Летом Соловьев гулял по нескольку часов, но все-таки трудился почти столько, как зимой, и только мечтал по окончании своего капитального труда предпринять путешествие по России. Времяпровождение его на подмосковных дачах видно из следующего рассказа А. Д. Галахова: «Несколько лет сряду вакационное время (три месяца) проводил я в одной из прекрасных окрестностей Москвы, в селе Покровском, принадлежавшем Глебову-Стрешневу. Рядом с нашей дачей помещалось почтенное, всеми уважаемое семейство Сергея Михайловича Соловьева. По трудолюбию, неизменности в распределении времени для своих работ и точности их исполнения, Сергей Михайлович мог служить образцом. Все удивлялись ему, но никто не мог сравняться с ним в этом отношении. Отсутствие аккуратности, постоянства в делах было в большинстве случаев Ахиллесовой пятой москвича; у него же, сказать без преувеличения, ни минуты не пропадало напрасно.

Вот как он проводил шесть рабочих дней в неделю: в 8 часов утра, еще до чаю, он отправлялся иногда один, но большей частью с супругой, через помещичий сад в рощу, по так называемой Елизаветинской дорожке, в конце которой стояла скамейка. Он садился в эту скамейку, вынимал из кармана нумер «Московских ведомостей», доставленный ему накануне, но не прочитанный тотчас по доставке, так как это чтение оторвало бы его от более серьезного занятия; чтение газеты, как легкое дело, соединялось с прогулкой, делом приятным. Обратный путь совершался по той же дорожке. Ровно в 9 часов он пил чай, а затем отправлялся в мезонин, где и запирался, именно запирался, погружаясь в работу до завтрака, а после завтрака — до обеда. Никто в эти часы не беспокоил его, вход воспрещался всем без исключения. Близкие знакомые нередко удивлялись такому ригоризму, даже подсмеивались над ним.

Иногда они спрашивали дочку его (в то время шестилетнюю): «Верочка, сколько раз ты была у папаши в кабинете?» — «Ни разу», — отвечала она. Конечно, очень немного таких отцов, которые запретили бы детям входить в свою рабочую комнату, но с другой стороны еще меньше таких, которые оставили бы после себя 29 томов отечественной истории и томов 18, если не более, других ученых трудов. Воскресный день был для нашего историка истинной субботой, то есть покоем. Утром он ходил к обедне с своим семейством, а затем освобождал себя от всяких занятий и проводил время в кругу близких людей, преимущественно товарищей по университету, приезжавших к нему на обед и остававшихся до позднего вечера. Почти каждое воскресенье бывали у него Ешевский, Н. А. Попов, Кетчер, В. Ф. Корш, Дмитриев, Забелин, Афанасьев и многие другие. Все и всегда находились в самом приятном, веселом расположении духа. Говор и хохот почти не умолкали. Сам хозяин подавал пример своим искренним, задушевным, почти что детским смехом, который был свойствен

москвичам того времени. А если завязывался спор, то уж это был спор на славу, громкий, жаркий и продолжительный» («Исторический вестник» 1892. № 2).

Рассказ Галахова относится к самому началу 60-х годов, но образ жизни Соловьева не менялся до самой смерти.

Нужна железная воля, чтобы подобно Соловьеву всецело посвятить себя служению науке; нужно быть сильным духом, чтобы в молодые годы побороть в себе все телесные инстинкты, не позволять себе никаких увлечений, ни малейшего отступления от предначертанной себе суровой программы. Он жил исключительно в своей работе в области своих мыслей, не позволял себе почти никаких развлечений. К своим знакомым он ходил только с праздничными визитами и посещал их по вечерам в очень редких, исключительных случаях. Для близких людей дом его был открыт раз в неделю, по пятницам, и тут он был радушным и любезным хозяином, не позволявшим. однако, гостям засиживаться слишком долго, потому что это нарушило бы его обычный образ жизни и завтрашний трудовой день. Развлечения он позволял себе исключительно по субботам: в этот день он обедал в английском клубе и после обеда отправлялся в итальянскую оперу, где наслаждался музыкой и пением, которое очень любил.

Отшельник, посвятивший себя науке, не может не быть серьезен и даже суров. Серьезное отношение к жизни и к своей обязанности сказывалось и во внешности Соловьева. Он был очень сосредоточен, мало сообщителен, не любил болтовни о пустяках. Это не мешало ему по временам, особенно в молодости, добродушно подшучивать над своими знакомыми. Любимой его шуткой было писать записки на старинном русском языке, которым он владел в совершенстве. Во время празднества после диспута К. С. Аксакова (это было в 1847 году) Соловьев прочитал сочиненное им сказание о том, как славяне, то есть славянофилы, ездили жениться, написанное по поводу помолвки одного из славянофилов, Панова, и этим вызвал всеобщий смех. Несколько суровое обращение Соловьева со студентами и детьми объясняется тем, что он высоко ставил авторитет родительской власти и профессорского звания и, сам подчиняясь авторитетам, требовал, чтобы и ему подчинялись. Но под суровой оболочкой скрывалось отзывчивое, любящее сердце, скрывался человек, всегда готовый помочь своему ближнему в беде.

Соловьев не мог действовать иначе, не поступая вразрез со своими убеждениями. Как человек глубоко верующий, он был проникнут сущностью христианства, религии любви и всепрощения. Религия играла в его жизни большую роль, в тяжелые минуты его поддерживала искренняя вера во всемогущего Бога. Он был не только человеком религиозным, но и набожным. Придавая значение обрядам как внешним формам, выражающим внутреннее содержание, он по воскресеньям и большим праздникам всегда ходил в церковь, ежегодно исповедовался и причащался.

Когда смотришь на полку, уставленную 29 томами «Истории России с древнейших времен», когда соображаешь, что этой полки не хватило бы, если бы собрать *все* его сочинения, то невольно удивляешься упорному трудолюбию, великому таланту, могучей воле этого редкого у нас ученого. Не скоро забудет его имя читающая публика, никогда не забудется оно в стенах университетов. Профессора с благодарностью будут вспоминать Сергея Михайловича Соловьева, они будут указывать студентам на великого труженика, на завет, оставленный нам его светлой личностью: способствовать прогрессу, любить правду, стремиться к добру и к истине.

Непосильный труд сломил крепкую натуру Соловьева, не позволил ему дожить до 60 лет. Сергей Михайлович Соловьев скончался от следствий общего истощения (болезни печени и сердца) 4 октября 1879 года; прах его покоится на кладбище московского Девичьего монастыря.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН К XXIII КНИГЕ

Аввакум Петрович, идеолог рус. раскола, протопоп, писатель 254
Агнесса, нем. принцесса, жена Владислава II Болеславича 35
Адамович Симеон, нежинский протопоп 111
Адриан, патриарх московский 245
Адт К. 350
Аксаков Константин Сергеевич, рус. публицист, историк, поэт 350, 394, 397
Аксаков Сергей Тимофеевич, рус. писатель, чл.-кор. Петербургской АН 394
Александр, цесаревич 289
Александр I, росс. император 123—125, 127, 143, 155, 314, 342, 377, 385, 395
Александр II, росс. император 311, 395
Александр III, папа римский 31
Александр Македонский, царь Македонии, полководец 37, 38, 373
Александр Невский, кн. новгородский, вел. кн. владимирский 41, 42
Алексей, царевич, сын царя Алексея Михайловича 62, 63, 246
Алексей Михайлович, рус. царь 62, 63, 107, 242, 245—248, 255, 273, 275, 298, 310
Алексей Петрович, царевич, сын царя Петра I 65
Алсуфьев А. В. 119
Амвросий, архиепископ крутицкий, позже митрополит московский 121
Ампер Мари, франц. ученый 23
Ампэр, преподаватель Парижского ун-та 20, 293, 295
Андрей Боголюбский, кн. владимиро-суздальский, сын Юрия Долгорукого 191, 195, 300, 301, 324, 325, 370, 379, 382
Андрей Васильевич, кн. 217
Анна, польск. королева, жена Стефана Батория 95
Анна Иоанновна, росс. императрица, племянница Петра I 42, 44, 230, 259
Анна Леопольдовна, правительница России при малолетнем императоре Иване VI Антоновиче 158
Аннибал ди-Капуа, папский нунций 95
Аппони, граф, австр. посол во Франции 139, 140, 143
Апраксин Степан Федорович, рус. ген.-фельдмаршал 118
Аристотель, др.— греч. философ и ученый 22
Арндт Эрнст Мориц, нем. писатель 55
Артур, брат Генриха VIII, англ. короля 235
Арцыбашев Николай Сергеевич, рус. историк 77, 182, 196
Аскольд, кн. киевский 10
Асланбеков, армянин 117
Астафьев, дворянин 119
Аттила, предводитель гуннов 37, 281, 328, 335
Афанасьев 397
Бабст Иван Кондратьевич, рус. экономист, историк 393
Байер Готлиб Зигфрид, нем. историк, филолог, член Петербургской АН 57—59
Байрон (Бейрон) Джордж Ноэл Гордон, англ. поэт, пэр Англии 75
Балабан Дионисий, митрополит киевский 107, 108
Баранович Лазарь, укр. церк.-полит. деятель, писатель 106, 107, 110—112, 254
Барсуков Алексей Платонович, рус. историк 361
Бартенев Петр Иванович, рус. историк, археограф 117, 119
Бартон Елисавета, монахиня 239, 241
Барышев 374
Басалаев И. Н., рус. историк, поэт 351
Баторий, *см.* Стефан Баторий
Батурин Иоасаф (Иосиф) Андреевич, подпоручик 117—119
Батюшков, корнет 117
Бах Иоганн Себастьян, нем. композитор 332
Баян 280
Беда, доктор Парижского ун-та 238
Безнин, думный дворянин 88, 89
Безобразов Павел Владимирович, рус. историк 350
Бекет Томас, архиепископ кентерберийский, англ. канцлер 233
Бекович-Черкасский Александр, кабардинский кн., возглавил экспедицию в Хиву 45
Белинский Виссарион Григорьевич, рус. лит. критик, публицист, рев. демократ 347, 348
Бельский Давид, дворянин 96
Беляев Иван Дмитриевич, рус. историк, профессор Московского ун-та 188, 194, 196, 211, 212, 217—220, 293
Беляков, инспектор первой Московской гимназии 352
Бередников Я. И., археограф 188, 208
Бернард, философ-схоласт, магистр и канцлер Шартрской школы 20
Бестужев (Бестужев-Рюмин) Алексей Петрович, граф, рус. гос. деятель, дипломат, канцлер 55, 56, 118
Бестужев-Рюмин Константин Николаевич, рус. историк, академик Петербургской АН 374
Бецкий (Бецкой) Иван Иванович, ген.-поручик, деятель просвещения 60, 61, 164
Бирон Эрнст Иоганн, граф, фаворит императрицы Анны Иоанновны 158
Блака, герцог 139
Бодельер Берланд де ла 67
Бодянский Осип Максимович, рус. историк-славист 293

Болеслав I Грозный, чеш. кн. 26
Болеслав I Храбрый, польск. король 26, 27, 33, 34
Болеслав II Благочестивый, чеш. кн. 26
Болеслав II Смелый, польск. король, сын Казимира Восстановителя 34
Болеслав III Кривоустый, польск. король 29, 34
Болеслав III Рыжий, чеш. кн. 26
Болеслав IV Кудрявый, польск. король 35
Болеславичи, польск. кн. 35, 36
Болин (Болейн) Анна, королева, жена Генриха VIII, англ. короля 240, 241
Болобан Гедеон, епископ литовский 266
Болтин Иван Никитич, рус. историк, гос. деятель 166, 386
Бонапарты, династия франц. императоров 123
Бонифаций IX, папа римский 233
Боняк, половецкий хан 188
Боплан 259
Борис Вячеславович, кн. 201
Борис Годунов, рус. царь 48, 49, 59, 245
Борятинский Михаил Петрович, кн. 66
Боссюэ (Боссюэт) Жак Бенинь, франц. католич. богослов, проповедник, писатель 20, 66
Боэмонд 280
Бридон 73
Брюховецкий Иван Мартынович, гетман Левобережной Украины 108—110, 112
Брячислав I, чеш. кн., сын Олдриха 27, 28, 30, 34
Брячислав II, чеш. кн., сын Вратислава I 28
Брячиславичи, чеш. кн. 27, 30—32
Бужинский Гавриил, рус. церк. деятель, писатель 67
Булавин Кондратий Афанасьевич, донской казак, предводитель восстания 115, 173, 269
Бурбоны, франц. королевская династия 124, 126, 142, 143, 146
Буривой, чеш. кн. 25, 30
Буривой II, чеш. кн., сын Вратислава I 28, 29
Буслаев Федор Иванович, рус. филолог, академик Петербургской АН 302, 357, 358, 374
Бычков 293
Бэкон (Бакон) Фрэнсис, англ. философ 22, 37, 39
Бюффон Жорж Луи Леклерк, франц. естествоиспытатель, почетный член Петербургской АН 55
Бюшинг А. Ф., геттингенский профессор 60, 61, 65, 68, 69

Валевский, польск. агент 148
Валуев Дмитрий Александрович, рус. историк, славянофил 350
Ваповский Андрей, приятель Я. Тенчыньского 84
Варрон Марк Теренций, рим. писатель, ученый 21, 295
Василий, вел. кн. 48
Василий I Македонянин, визант. император, основатель Македонской династии 282
Василий II Комнин, визант. император 280
Василий II Темный, вел. кн. московский, сын Василия I 283, 385
Василий III Иванович, вел. кн. московский 225, 227
Василий IV Иванович Шуйский, кн., боярин, позже царь 80
Васильев Злоба 217
Василько 188. 193
Вейсман 40
Веллингтон (Уэллингтон) Артур Уэлсли, герцог, англ. фельдмаршал, премьер-министр кабинета тори 139—143
Вельяминов-Зернов Владимир Владимирович, рус. историк-востоковед 76
Венелин Ю. Х., историк 349
Вера, дочь С. М. Соловьева 397
Вернер, барон, прус. посланник в Париже 143
Веселовский Александр Николаевич, рус. литературовед, академик Петербургской АН 55
Вико Джамбатиста, итал. философ 295, 356
Виланд Кристоф Мартин, нем. писатель 71
Виллель Жан Батист, граф, франц. гос. и полит. деятель 124, 126, 128—140, 142
Виллибад, монах 283
Винкельман Иоганн Иоахим, нем. историк искусства 319, 393
Винсгейм, профессор Петербургской АН 55
Витзен (Витсен) Николай Корнелий, голл. историк и путешественник 42, 44
Витовт, вел. кн. литовский 93
Вишневецкий, кн. 271
Владивой, польск. кн. 26
Владимир I Святой, кн. новгородский, кн. киевский, сын Святослава 208
Владимир II Всеволодович Мономах, кн. смоленский, черниговский, переяславский, позже вел. кн. киевский 184, 185, 187, 189, 202, 203, 209
Владимир Андреевич, кн. 217
Владимир Глебович, кн. 195
Владимир Мстиславич, вел. кн. киевский 191
Владимир Ярославич, кн. галицкий 191, 196
Владимир Ярославич, кн. новгородский 208
Владислав, королевич, сын Сигизмунда III Вазы 106, 394
Владислав, чеш. кн., брат Пршемысла-Оттокара 33
Владислав, польск. король 270
Владислав I, чеш. кн. 30
Владислав II, чеш. кн., сын Владислава I 30, 31, 33
Владислав II Болеславич, польск. король 35
Владислав Братиславич, брат Буривоя II 28, 29
Владислав Герман, польск. король 34
Владислав Ласконогий, польск. король 36
Владиславичи, польск. кн. 35
Волицкий, агент польск правительства 148, 149
Волков, учитель математики первой Московской гимназии 352
Вольсей Томас, англ кардинал и полит. деятель 228, 234, 239

Вольтер Франсуа Мари Аруэ, франц философ и писатель 55, 56, 65, 75
Вольтшир, англ граф 237
Вольфетбюттельская Шарлотта, принцесса, жена царевича Алексея Петровича 65
Вратислав I, чеш. кн., сын Буривоя 25, 26, 28, 30
Вратислав II Брячиславич, чеш. кн. 27
Вратиславичи, чеш. кн. 28, 31
Всеволод Большое Гнездо, вел. кн. владимирский 194, 195, 205, 325, 382
Всеволод Ольгович, кн. черниговский, вел. кн., сын Олега Святославича 28, 196, 203, 209
Всеволод Святославич, вел. кн. киевский, сын Святослава Всеволодовича 203
Всеволод Ярославич, кн. переяславский, черниговский, вел. кн. киевский 201—205, 208, 209
Всеволодовичи, кн. 202—204
Вука-Стефанович 81
Выговский Иван Евстафьевич, укр. гетман 112
Вышеслав, сын Владимира Святого 208
Вячеслав 29, 190
Вячеслав, чеш. кн. 33
Вячеслав, чеш. кн., сын Вратислава 26
Вячеслав Владимирович, кн. смоленский, вел. кн. киевский, сын Владимира Мономаха 203, 209
Вячеслав II, чеш. кн., сын Собеслава I 32
Вячеслав Ярославич, вел. кн. киевский, сын Ярослава I 202, 203, 206—209

Гавен Петр, дат. ученый-богослов 55
Гавриил (Петров), митрополит новгородский и санкт-петербургский 120, 121
Гагарин 359
Газ, ученый-грек 67
Гакстгаузен Август, барон, прус. экономист и юрист 210—212, 220
Галахов Алексей Дмитриевич, рус. историк литературы 335, 396, 397
Ганка Вацлав, чеш. филолог 360
Гарабурда Михаил Богданович, писарь Вел. княжества Литовского 87, 90, 91
Гаррет, распространитель протестантизма 234
Гаттерер Иоганн Кристоф, нем. историк 66
Гегель Георг Вильгельм Фридрих, нем. философ 354, 356
Гедеон Криновский, архиепископ псковский 121
Генрих 84, 85
Генрих I, герм. король 33
Генрих II, герм. император 26
Генрих III, герм. король и император Священной Римской империи 34
Генрих IV, герм. король и император Священной Римской империи 28
Генрих V, герм. король и император Священной Римской империи 28, 29, 154
Генрих VI, герм король и император Священной Римской империи 32
Генрих VII, англ. король 235
Генрих VIII, англ. король 228, 229, 231, 232, 234—241, 321, 374
Генрих II Плантагенет, англ. король 232
Генрих IV, франц король 106
Генрих Болеславич, польск кн 35
Генрих Брячиславич, епископ пражский 33
Генрих Лев, саксонский герцог 32
Гердер Иоганн Готфрид, нем. писатель 319, 393
Герниц 55
Геродот, др.-греч. историк 291
Герцен Александр Иванович, рус. писатель, философ, революционер, 361
Герье Владимир Иванович, рус. историк 302, 312, 341, 344, 347, 348, 375, 384, 385, 393
Гете Иоганн Вольфганг, нем. поэт, мыслитель 319, 332, 393
Гиббон Эдуард, англ. историк 74, 279, 340, 356
Гизель Иннокентий, архимандрит Киево-Печерской лавры, писатель 109
Гизо Франсуа, франц. историк и гос. деятель 21, 295, 303, 313, 364
Глеб Всеславич, первый минский кн. 186
Глебов-Стрешнев 396
Глебович Ян, троцкий воевода 100, 104
Говорек, сандомирский палатин 36
Гогенштаufены (Штаufены), династия герм. королей и императоров Священной Римской империи 32
Годунов Степан Васильевич, окольничий, боярин, воевода 98—100
Годуновы, бояре 83, 88
Голиков Иван Иванович, рус. историк 68
Голицын, кн., вице-канцлер 61
Голицын Василий Васильевич, кн., боярин, фаворит правительницы Софьи 253, 254, 256—259
Голицын В. Н. 252
Голицын Дмитрий Михайлович, кн., один из вождей «верховников» 353
Голицын Сергей Михайлович, кн., попечитель Московского учебного округа 352, 357
Голицыны, рус. кн. род 157, 247, 353
Головин, рус. посланник в Польшу 88, 89
Голохвастов Дмитрий Павлович, ист. писатель, попечитель Московского учебного округа 357
Гордон Петр Иванович (Патрик Леопольд), генерал-лейтенант на рус. службе 63, 256, 258, 259
Гофман, профессор Московского ун-та 354
Грановский Тимофей Николаевич, рус. историк, обществ. деятель 36, 39, 292, 294, 302, 313, 319, 320, 336, 337, 343, 354, 355, 358, 359, 361, 362, 365—368, 374, 378, 393
Грибоедов Александр Сергеевич, рус. писатель, дипломат 342
Григорьев Аполлон Александрович, рус. лит. критик, поэт 293, 362
Грушецкая Агафья Семеновна, царица, жена царя Федора Алексеевича 63
Гурка Станислав, познанский воевода 85, 94, 100, 102, 103
Гюго Виктор Мари, франц. писатель 16

Давид Игоревич, кн. владимиро-волынский, кн.-изгой 201, 208

Давид Святославич, кн. смоленский, кн. черниговский 189, 192, 193
Давыдов Иван Иванович, рус. филолог, академик Петербургской АН 353, 354, 364, 368
Далион (Дальон), франц. посланник в России 56
Дама, барон, франц. министр 139
Дамирон Жан Филиберт, франц. философ 18
Дандоло Джироламо, венециан. писатель и ученый 280
Даниил Галицкий, кн., сын Романа Мстиславича 30, 297
Декарт Ренэ, франц. философ 22
Делиль Жозеф Никола, франц. астроном 54
Демосфен, афин. оратор, вождь демокр. антимакедонской группировки 170
Державин Гаврила Романович, рус. поэт и обществ. деятель 71, 354
Дзик Мелентий, игумен Кирилловского мон-ря 109
Димитрий (Дмитрий), митрополит ростовский 246
Димитрий (Дмитрий) Сеченов, архиепископ, позже митрополит новгородский 120, 121
Дионисий (Деонисий), игумен 192
Дионисий, митрополит московский 90
Дир, кн. киевский 10
Дитмар 208
Дмитриев Иван Иванович, рус. поэт 170, 397
Дмитрий, царевич, сын царя Ивана IV Грозного 96, 116
Дмитрий Донской, вел. кн. московский и владимирский, сын Ивана II 217
Добровский Иосиф, один из основоположников славяноведения 76
Долгорукие (Долгоруковы), рус. кн. род 157
Долгорукий Михаил Юрьевич, кн., начальник Стрелецкого приказа 250
Долгорукий Юрий Алексеевич, кн., боярин, воевода, опекун царя Федора Алексеевича 62
Дорошенко Петр Дорофеевич, гетман Правобережной Украины 108—110
Досифей (Дософтей), митрополит молдавский, сторонник сближения с Россией 256
Дубровский Петр Петрович, коллекционер, секретарь и переводчик рус. миссии в Париже 73
Дюмон Пьер Этьенн Луи, философ и публицист 61

Евгений (Белховитинов), митрополит киевский 107
Евдокимов Лев, поп 117
Екатерина II Алексеевна Великая, росс. императрица 54, 59, 66, 67, 116, 118—120, 121, 156, 158—160, 164, 165, 168, 169, 308, 328, 335, 340, 377, 380, 384, 385
Екатерина (Катерина) Арагонская, англ. королева, жена Генриха VIII 235, 236, 239—241
Екатерина Ягеллон, швед. королева, жена Иоанна 95
Елизавета (Елисавета) Петровна, росс. императрица, дочь Петра I 56, 57, 115—117, 120, 158, 394
Елисавета (Елизавета) I Тюдор, англ. королева 228, 230
Епифаний Премудрый, составитель житий, ученик Сергия Радонежского 246
Ерроль, граф 258
Ефремов Петр Александрович, библиограф 368
Ешевский Степан Васильевич, рус. историк 302, 397

Жерсон, *см.* Шарлье Жан
Жирарден Сен Марк, профессор Парижского ун-та 15, 16, 295, 360
Жуковский Василий Андреевич, рус. поэт, академик Петербургской АН 73, 74

Забелин Иван Егорович, рус. историк, археолог, чл.-кор. Петербургской АН 350, 397
Заборовский Семен, думный дьяк 63
Загоскин Михаил Николаевич, рус. писатель 351
Залусский 62
Замойский Ян, польск. гос. деятель, гетман 84, 85, 89, 94, 95, 100, 103, 105, 106
Збигнев, побочный сын польск. короля Владислава-Германа 34
Зборовские, польск. магнаты 84—86, 94, 95, 100, 102, 103
Зборовский Андрей, польск. магнат 84, 94, 100
Зборовский Самуил, польск. магнат, противник Стефана Батория 84, 85, 94
Зборовский Христоф, польск. магнат 84—86
Зборовский Ян, польск. магнат, гнезненский каштелян 85
Зебржидовский Николай, сендомирский воевода 85
Зотов Никита Моисеевич, думный дьяк, учитель Петра I 247, 248

Иван, брат царицы Нарышкиной Натальи Кирилловны 251
Иван I Данилович Калита, кн. московский, вел. кн. владимирский, сын Даниила Александровича 167, 325, 370
Иван III Васильевич, вел. кн. московский, сын Василия II 47, 48, 78, 167, 181, 217, 227, 249, 281, 283, 325, 326, 334, 346, 351, 366, 367, 369, 370, 380
Иван IV Васильевич Грозный, вел. кн. «всея Руси», первый рус. царь 66, 67, 84, 86—88, 95, 219, 220, 224—227, 252, 300, 301, 315, 346, 351, 369, 383, 384
Иван V Алексеевич, рус. царь, сын Алексея Михайловича 63, 250
Иваницкий Семен, поп 117
Иванов Гавриил Афанасьевич, рус филолог 302
Иванов Петр Иванович, рус. историк, археограф 368
Игорь Ольгович, кн новгород-северский, вел кн. киевский, сын Олега Святославича 188
Иеремия, патриарх константинопольский 266

Измайлов Андрей Петрович, гос. деятель Петровской эпохи 86, 87
Измайлов Владимир Васильевич, рус. писатель, последователь Карамзина 74
Изяслав Владимирович, кн. курский и муромский, сын Владимира Мономаха 187, 209
Изяслав Давыдович, кн. черниговский, вел. кн. киевский 196, 197, 203
Изяслав Мстиславич, кн. переяславский, владимиро-волынский, вел. кн. киевский 29, 185, 188—191, 194
Изяслав Ярославич, вел. кн. киевский 206—209
Иловайский Дмитрий Иванович, рус. историк, публицист 338
Иоанн, болг. экзарх 81
Иоанн, швед. король 95, 97
Иоанн I Цимисхий, визант. император 280
Иорнанд (Иордан), историк готов 46
Иосиф, патриарх 276
Исидор, митрополит 385

Кавелин Константин Дмитриевич, рус. историк, обществ. деятель, публицист 224—227, 293, 345, 346, 348—350, 358, 366, 367, 370, 376, 393
Казимир Восстановитель, польск. король, сын Мечислава II 34
Казимир Справедливый 35, 36
Калайдович Константин Федорович, рус. историк, археограф 81
Каннинг Джордж, англ. премьер-министр 124, 130, 131, 136, 139
Кант Иммануил, нем. философ 332
Капетинги, династия франц. королей 283, 365
Капнист Василий Васильевич, рус. драматург, поэт 76
Карамзин Николай Михайлович, рус. историк, писатель 10, 44, 48, 77—80, 162, 165—170, 182, 188, 189, 196, 197, 202, 208, 242, 243, 245, 253, 296, 298, 312, 315, 316, 324—326, 333—335, 338, 340, 341, 345, 346, 348, 349, 351, 356, 367, 374—377, 382, 386
Карл V, император Священной Римской империи, исп. король 236—240
Карл VI, франц. король 114
Карл VII, франц. король 114
Карл X, франц. король 124, 126, 135, 138—145, 147
Карл XII, швед. король, полководец 55, 71
Карл Смелый, герцог Бургундии 19
Карлиль (Карлейль) Говарт, англ. посол в России 56
Карнковский, архиепископ гнезненский, примас 94, 103
Катилины 84
Катков Михаил Никифорович, рус. публицист 368, 393
Кауниц Венцель Антон, австр. гос. канцлер 151
Каченовский Михаил Тимофеевич, рус. академик, профессор, действительный статский советник 69—83, 349, 353
Качони, греч. фамилия 69
Кенжин, суконщик 118
Кетов, гренадер 118
Кетчер Н. Х. 397
Кине (Кинэ) Эдгар, франц. историк 17—20, 293, 295, 360
Киреевский Иван Васильевич, рус. религ. философ, лит. критик, публицист 394
Кирилл Туровский, др.-рус. писатель, проповедник 81
Кисель А. киевский воевода 271, 272
Клеванов, студент 293
Кленк Конрад фон, голл. посланник в России 62
Кленовичи, братья 25
Клермон-Тоннэр, франц. воен. министр 132, 133
Климент VII, папа римский 236, 237, 239, 240
Клингштет 67
Клодии 84
Ключевский Василий Осипович, рус. историк, почетный член Петербургской АН 289
Княжевич, польск. эмиссар 150
Колумб Кристофор, мореплаватель 352
Конрад, сын Владислава II Болеславича 35
Конрад Оттон, моравский маркграф 32
Конрад I Брячиславич, чеш. кн. 27, 30
Конрад II, чеш. кн., внук Конрада I 30
Конрад II, император Священной Римской империи 27
Конрадовичи, чеш. кн. 28, 30, 31
Константин I Великий, рим. император 282
Константин VII Багрянородный (Порфирородный), визант. император 280, 283, 285
Константин Палеолог 282
Корецкий, кн., вельможа 272
Кортес Эрнст, исп. конкистадор 231
Корш Валентин Федорович, рус. публицист 397
Костомаров Николай Иванович, рус. и укр. историк, писатель, чл.-кор. Петербургской АН 259, 269, 350
Котошихин Григорий Корнилович, подьячий Посольского приказа 247, 248
Коцебу А., нем. писатель 73
Кошелев Александр Иванович, рус. обществ. деятель, славянофил 394
Коялович Михаил Осипович, рус. историк 259—264, 266
Красильников, учитель первой Московской гимназии 353
Крашенинников Степан Петрович, рус. путешественник, академик Петербургской АН 56, 58, 59
Крекшин П. Н. 57
Кремнев Гаврила, беглый солдат 117
Кронмер (Кранмер), епископ лондонский 237
Кропотова Марья, сестра корнета Батюшкова 117
Крум, болг. хан 280
Крюков Д. Л., профессор древней истории Московского ун-та 292, 354, 357, 358
Кудрявцев Петр Николаевич, рус. обществ. деятель, историк 155, 302, 336, 393
Кузэн, профессор Парижского ун-та 17, 21

Купкеев Мурза 96
Курбский Андрей Михайлович, кн., боярин, писатель 252

Лазарь, *см.* Баранович Лазарь
Лакомб 67
Ламарк, франц. генерал 149
Ласкарис 281
Лафайет Мари Жозеф, маркиз, франц. полит. деятель 145, 149
Лаферронэ де, граф, франц. посол в Петербурге, министр ин. дел 125, 137, 139, 140
Лафонтен Жан де, франц. писатель 72
Лаффит, франц. министр 149, 150
Лебедев, лекарь 116
Лев I, визант. император 282
Левенвольд, барон, генерал-адъютант 158
Лежандр Адриен Мари, франц. математик 127
Лейбниц Готфрид Вильгельм, нем. философ, физик, языковед 71
Ленорман Ф., историк, профессор Парижского ун-та 18, 21—24, 293, 295, 360, 363
Леонтьев Павел Михайлович, профессор греч. словесности Московского ун-та 302, 393
Леопольд, австр. герцог 32, 35
Лерберг, ученый 77
Лесновольский, польск. сенатор 94
Лессинг Готхольд Эфраим, нем. драматург 319, 393
Лешек (Лешко), чеш. кн., сын Казимира Справедливого 35, 36
Лжедмитрий I, самозванец 49, 115, 116, 158
Ли Эдуард, епископ йоркский 237
Либри 23
Ливен, кн., рус. посол в Лондоне 151
Ливий Тит, рим. историк 315, 316
Литольт (Люто́льд), чеш. кн., сын Конрада I 29, 30
Лихачев Алексей Тимофеевич, стольник, окольничий 62, 63
Лойола Игнатий, основатель ордена иезуитов 17, 18
Ломоносов Михаил Васильевич, ученый, энциклопедист, академик 57—59, 61, 74, 80, 156, 161—163, 165, 169, 248, 386
Лотарь, герм. император 29, 30
Луи Филипп, франц. король 143—148, 150—154
Лукин Ефим, московский купец 118
Лэнге 65
Людовик IX Святой, франц. король 37, 38
Людовик XI, франц. король 19
Людовик XIII, франц. король 65
Людовик XIV, франц. король 22
Людовик XVIII, франц. король 124, 127
Людовик-Филипп Орлеанский, *см.* Луи Филипп
Лютер Мартин, основатель лютеранства 231, 234, 261, 278, 394
Люто́льд, *см.* Литольт

Мазепа Иван Степанович, гетман Украины 256
Максимилиан, австр. эрцгерцог 89, 91, 95, 99, 102, 103, 105
Малиновский Василий Федорович, рус. просветитель, публицист 70
Мамонич Лука, лит. купец 96
Мамыкин, беглый солдат 117
Мария, дочь Генриха VIII 235, 236, 241
Мария, нянька С. М. Соловьева 351
Мария Ильинична Милославская, царица, первая жена Алексея Михайловича 63
Мармонтель 120
Мартиньер 56
Мартиньяк, виконт, франц. министр внутр. дел 137—140, 142
Матвеев Андрей Артамонович, рус. гос. деятель, дипломат, сподвижник Петра I 247, 254
Матвеев Артамон Сергеевич, боярин, приближенный царя Алексея Михайловича 62, 63, 245—247, 250
Медичи Екатерина, франц. королева, жена Генриха II 239
Меншиков, преподаватель Московского ун-та 354
Меншиков Александр Данилович, светлейший кн., генералиссимус, сподвижник Петра I 157
Меттерних Клеменс, кн., австр. министр ин. дел, канцлер 123, 124, 139—142, 151
Мефодий, нежинский протопоп 107—111
Мечислав, сын Владислава II Болеславича 35
Мечислав II, польск. король 33, 34, 36
Мечислав III, польск. король 35
Мечислав Старый Болеславич 35, 36
Мещерский, кн. 87
Микеланджело Буонарроти, итал. скульптор, живописец, архитектор, поэт 231
Миллер Федор Иванович (Мюллер Герард Фридрих), рус. историк, археограф 39—65, 67—69, 386
Милоны 84
Милославский Иван Михайлович, боярин, возглавил борьбу против родственников Петра I Нарышкиных 62, 63, 250, 252
Милославский Илья Данилович, кн., боярин, тесть царя Алексея Михайловича 62
Милот, аббат 351
Минин Кузьма, один из руководителей 2-го Земского ополчения, думный дворянин 352
Миних Бурхард Кристоф, граф, рус. воен. и гос. деятель, генерал-фельдмаршал 157, 158
Минкен, лейпцигский профессор 40
Мирошкин 349
Михаил, визант. император 9, 10
Михаил Федорович Романов, рус. царь, первый из рода Романовых 48, 65, 200, 242, 248, 365
Мицкевич Адам, польск. поэт, деятель нац.-освобод. движения 293
Мишле Жюль, франц. историк 19—21, 293—295, 313, 314, 360
Мнишек Марина, дочь польск. магната, жена Лжедмитрия I и Лжедмитрия II 80
Многогрешный Демьян Игнатович, гетман Левобережной Украины 110—112
Молэ, граф, франц. министр 146, 147

Монморанси Лаваль, герцог, франц. министр 141
Монмут, лондонский альдерман 234
Мономаховичи (Мономашичи), потомки вел. кн. киевского Владимира
Мономаха 28, 188, 202, 203, 205
Монтескьё (Монтескю) Шарль Луи, франц. просветитель, философ 74
Мор Томас, англ. гуманист, гос. деятель, писатель, канцлер 232, 241
Морери 56
Мортемар, франц. посланник в Петербурге 148
Морус Томас, *см.* Мор Томас
Моцарт Вольфганг Амадей, австр. композитор 332
Мстислав Владимирович, вел. кн. киевский, сын Владимира Мономаха 189, 190, 193, 208
Мстислав Изяславич, кн. переяславский, кн. волынский, сын Изяслава Мстиславича 184, 187, 190, 191
Мстиславичи, рус. кн. 194
Муммий 283
Мундцук, отец Атиллы 281
Муромцев Сергей Андреевич, рус. юрист, публицист, профессор Московского ун-та 343

Надеждин Н. И., редактор «Журнала Министерства внутренних дел» 196, 197
Наполеон I Бонапарт, франц. император 122, 123, 127, 128, 154, 377
Нарежный Василий Трофимович, рус. писатель 351
Нарышкин Иван 250
Нарышкина Наталья Кирилловна, царица 246, 250
Неандер, церк. историк 293, 358
Неволин К. А., редактор «Журнала Министерства внутренних дел» 196, 197
Немоевский Ян 85
Неплюев Иван Иванович, рус. гос. деятель, дипломат 242
Нессельроде Карл Васильевич, граф, рус. гос. деятель, канцлер 130
Нестор, летописец, монах Киево-Печерского мон-ря 9, 41, 49, 51, 52, 57, 75, 184, 186—188, 195—197, 199, 328, 349, 376
Нечай, брацлавский полковник 272
Никитенко Александр Васильевич, рус. историк литературы, критик, академик Петербургской АН 353, 356, 361, 375, 395, 396
Николай, краковский палатин 36
Николай I, росс. император 124, 130, 140, 142, 395
Никон (Минов Никита), патриарх московский 62, 108, 121, 248, 275—278

Оболенский, преподаватель Московского ун-та 354
Оболенский М. А. 55
Огинский, кн , лит посол в Москву 97
Окулов, директор первой Московской гимназии 352
Олдрих, чеш. кн., сын Болеслава II Благочестивого 26, 27
Олдрих, чеш. кн., сын Конрада I 28—30
Олеарий Адам, нем. путешественник 65
Олег Святославич, кн. владимиро-волынский, кн. тмутараканский, кн. черниговский, кн. новгород-северский 187, 202, 209
Ольговичи, потомки др.-рус. кн. Олега Святославича 185, 188, 189, 191, 192, 203
Опочинин, адъютант 116, 117
Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич, боярин, воевода, рус. дипломат 247
Орловы 117
Остерман Андрей Иванович, граф, рус. гос. деятель, дипломат 157, 158
Остраница, атаман 269
Острожский Константин Константинович, кн. 85, 263, 264, 267
Отрепьев, *см.* Лжедмитрий I
Оттокар, *см.* Пршемысл-Оттокар
Оттон, чеш. кн., сын Брячислава I 27, 28
Оттон, чеш. кн., сын Конрада 29
Оттон I, герм. император 26
Оттон II Черный, чеш. кн. 28—30
Оттон III, чеш. кн., сын Оттона II 30

Павел I Петрович, росс. император 116
Павел Емилий 283
Павенский Петр Скарга, *см.* Скарга Петр
Павленков Ф. Ф., рус. книгоиздатель 350
Павлов Пл. 350
Павлюк, атаман 269
Палацкий 360
Палицын Авраамий, келарь Троице-Сергиева мон-ря, писатель 80
Панин Никита Иванович, граф, рус. гос. деятель, дипломат 61
Панов, славянофил 397
Паскевич Иван Федорович, граф, кн., генерал-фельдмаршал 153
Патрикеев, майор 117
Патэн, филолог, профессор Парижского ун-та 21, 295
Пейроннэ, франц. министр юстиции 133
Перье Казимир, франц. министр 150—153
Петр, посол вел. кн. киевского Изяслава Мстиславича 191
Петр I Алексеевич (Великий), рус. царь, первый росс. император 40, 55—57, 59, 62, 63, 65, 67, 68, 75, 115, 122, 156—158, 160—162, 165, 167, 229, 242—250, 253, 254, 258, 275—277, 296, 301, 308—312, 314, 327—329, 331, 333—335, 343, 346, 348, 361, 372—374, 380, 383, 384, 386, 390, 391, 394
Петр III Федорович, росс. император 117—121
Петровский, краковский каноник 85
Платер, польск. эмиссар 150
Платон, др.-греч. философ 330
Плутарх, др.-греч. писатель, историк 283
Победоносцев Константин Петрович, рус. гос. деятель, обер-прокурор Синода 289
Погодин Михаил Петрович, рус. историк, публицист 9, 181, 183—209, 291, 293, 344, 350, 356—358, 361—371, 376, 377

Погорельский, инспектор первой Московской гимназии 352
Пожарский Дмитрий Михайлович, кн., боярин, рус. полководец 352
Полевой Николай Алексеевич, рус. писатель, историк, журналист 298, 375
Поливий 283
Поликарпов Федор Поликарпович, рус. писатель, переводчик, издатель 165
Поликсена 71
Полиньяк, кн., франц. посланник в Лондоне, министр 139—143
Полунины, авторы «Географического лексикона» 67
Попе, англ. поэт 74
Попов 58, 59
Попов Н. А., профессор Московского ун-та, зять С. М. Соловьева 337, 342, 344, 397
Попов Павел Михайлович, учитель рус. языка и словесности первой Московской гимназии 352, 353
Порталис, франц. министр ин. дел 140
Посошков Иван Тихонович, рус. экономист и публицист 311, 327
Поссевин Антоний, иезуит, папский посланник в Москву 261, 262
Поцей Игнатий, епископ 266
Поццо ди Борго, рус. дипломат 122—124, 127—129, 131, 133—155, 343
Пребышевская Анна 117
Прокопович Феофан, рус. гос. и церк. деятель, сподвижник Петра I 74, 165, 246, 314
Пронский Василий, коронный стольник 100
Пршемысл-Оттокар Владислав, чеш. кн. 32, 33
Пугачев Емельян Иванович, предводитель Крестьянской войны 290, 308
Пульхерия, греч. царевна 249
Пустосвят Никита 251, 253
Путята, тысяцкий 203
Пушкин Александр Сергеевич 342, 348, 354
Пыпин Александр Николаевич, рус. литературовед, академик Петербургской АН 344

Равенский, географ 47
Радзивил Николай, польск. кн. 96
Радзивил Николай Христоф, виленский воевода 104, 105
Радклиф Анна, англ. писательница 351
Разин Степан Тимофеевич, предводитель крестьянского восстания, донской казак 173, 269
Разумовский Алексей Кириллович, граф, рус. гос. деятель, попечитель Московского ун-та 69, 118
Разумовский Кирилл Григорьевич, граф, сенатор, президент Петербургской АН, гетман Малороссии 57
Рамбо Альфред, франц. историк, чл.-кор. Петербургской АН 279, 283, 285, 286
Ранке Леопольд фон, нем. историк 313, 358
Расин Жан, франц. драматург 74
Рау, нем. историк и экономист 360
Рауль-Рошет, филолог, профессор Парижского ун-та 21, 293
Раумер 358
Редкин Петр Григорьевич, рус. правовед, историк 349, 393
Рейтенфельс 246
Реклю Жан Элизе, франц. географ, социолог 291
Ржевский, боярин, рус. посол в Литву 95—98, 105
Ржевский, воевода 110
Ржевский Тимофей, прапорщик 118
Ривьер де, франц. герцог 132
Рикса, жена Мечислава II 34
Риль В., нем историк 177, 332, 390
Риттер К. Э., нем. географ 320, 346, 358, 378
Рогвольд, полоцкий кн. 190
Роман Ростиславич, кн. смоленский, вел. кн. киевский 191, 192
Романов Никита Иванович, дядя царя Алексея Михайловича 245
Романов Савва 252
Романовы, династия рус. царей 242, 296, 298
Ромодановский, кн., царский воевода 110—112
Россье С.-Илер, профессор Парижского ун-та 20, 295
Рост, гл. надзиратель Московского Воспитательного дома 60
Ростислав Владимирович 201
Ростислав Мстиславич, кн. смоленский, вел. кн. киевский 193
Ростислав Юрьевич, кн. новгородский и суздальский 194
Ростиславичи, рус. кн. 191, 192, 195, 205
Рошфуко Дюк де ла 78
Ртищев Федор Михайлович, дворецкий, окольничий, глава ряда приказов 247
Рудольф II, австр. император 95
Русов (Руссов) Бальтазар, ливонский хронист 41
Руссе, голландец 65
Рычков П. И., рус. географ и историк 67
Рэнвиль, франц. министр 130
Рюрик, кн. 9, 10, 25, 41, 47, 58, 73, 75, 198, 212, 218, 219, 293, 297, 299, 341, 344, 345, 367, 369, 380, 384
Рюрик Ростиславич, кн. смоленский, вел. кн. киевский 184, 195, 203, 204
Рюрики (Рюриковичи), династия рус. кн. 25, 83

Савари Жак, франц. купец, экономист 55
Савельев-Ростиславич 349
Сажин, гувернер кн. Гагарина 359
Саллюстий, рим. историк 170
Сальвадор 22
Самойлович Иван Самойлович, гетман Левобережной Украины 256—258
Сапега Лев, вел. гетман литовский 86, 87, 96
Сапега Лука, посол Стефана Батория 87, 88
Сафонович Феодосий, игумен Михайловского мон-ря 109
Свидерский Павел, польск. резидент в России 62
Святополк Владимирович Окаянный, кн туровский, затем киевский 26, 202, 208
Святополк Изяславич, вел кн киевский и новгородский 208, 209

Святополк Оломуцкий (Ольмюцкий), чеш. кн., сын Оттона 28
Святослав, кн. черниговский 191
Святослав Владимирович, кн. переяславский, сын Владимира Мономаха 189
Святослав Ярославич, вел. кн. киевский 201—204, 209
Святославичи, рус. кн. 201—204, 209
Себастиани, франц. генерал 148—153
Семевский Михаил Иванович, рус. историк, журналист 337, 338
Сергеич, *см.* Матвеев А. С.
Сигизмунд I, польск. король 53
Сигизмунд II Август, польск. король, вел. кн. литовский 95, 99, 102, 103, 105, 106, 116
Сигизмунд III Ваза, польск. король, затем швед. король 261, 262
Сильвестр Выдубецкий, др.-рус. писатель и церк. деятель, игумен Михайловского Выдубецкого мон-ря в Киеве 184, 186—188
Симеон Полоцкий, бел. и рус. обществ. и церк. деятель, писатель 63, 246, 247
Симон Жюль, профессор Парижского ун-та 18, 21, 23, 293, 295
Синеус, легенд. кн. варяжский, брат Рюрика 10
Сиротка Радзивил, польск. пан 87
Сисмонди Симон де (Сисмонди Жан Шарль Леонар Сисмонди де), швейц. экономист и историк 19, 356
Скарга Петр, иезуит 93, 94, 262, 263, 265
Скотт Вальтер, англ. писатель 351
Скумин Федор, лит. подскарбий 96, 98, 99, 101
Смирнов, переводчик 42
Собеский Ян, король Речи Посполитой, полководец 255
Собеслав I, чеш. кн. 29—32
Собеслав II, чеш. король, сын Собеслава I 31, 32
Соловьев Михаил Васильевич, отец С. М. Соловьева 292, 350—352
Соловьев Сергей Михайлович, рус. историк, академик Петербургской АН 115, 289—298, 301—332, 334—372, 374—398
Соловьева Поликсена Владимировна, жена С. М. Соловьева 289
Солон, афин. архонт 71
Сорокин, солдат 118, 119
Софья Алексеевна, рус. царевна, сестра Петра I 247—257, 309
Спафарий Н. Г., переводчик Посольского приказа 247
Спитигнев, чеш. кн., сын Буривоя 25, 26
Спитигнев, чеш. кн., сын Вратислава 26
Спитигнев II, чеш. кн., сын Болеслава I 27
Станиславский Иван, игумен Межигорского мон-ря 109
Стасюлевич Михаил Матвеевич, рус. историк, журналист, обществ. деятель 340
Стефан Баторий, польск. король 83—91, 93—97, 99, 102, 351
Страбон, др.-греч. историк и географ 283
Стриковский (Стрыйковский) Матвей, польск. хронист 51
Стриттер, помощник Ф. И. Миллера 68
Строганов Александр Григорьевич, граф, брат С. Г. Строганова 293, 358
Строганов Виктор Александрович, граф, сын А. Г. Строганова 358
Строганов Сергей Григорьевич, граф, попечитель Московского учебного округа 293, 352, 357, 358, 362, 365, 367, 368
Строгановы, рус. бароны, купцы и промышленники 43, 358, 360, 361
Струбе 58
Стурлезон Снорро, норвеж. историк 41
Стюарт, англ. лорд 144, 145
Стюарты, королевская династия в Шотландии и Англии 55, 132
Суворов Александр Васильевич, граф, кн., рус. полководец, генералиссимус 71, 117
Сульт Н., франц. воен. министр, маршал 137, 149
Сумбулов Максим Исаев, монах 250

Талейран Шарль Морис, франц. гос. деятель, дипломат 151
Таллеран Шарль де, маркиз, франц. посол в России 65
Тамерлан, *см.* Тимур
Тарас, атаман 269
Тарэн, аббат, архиепископ страсбургский 132
Татищев Василий Никитич, рус. историк, гос. деятель 41, 49, 51, 52, 62, 63, 67, 165, 203, 386
Тауберт Иван Андреевич, переводчик, академик, библиотекарь и член правления Петербургской АН 57, 60, 61
Тацит, рим. историк 220
Тенчыньский (Тенчинский) Ян, польск. магнат, бельский староста 84
Теплов Григорий Николаевич, адъюнкт Петербургской АН, гос. деятель 50, 57
Терлецкий Кирилл, луцкий епископ 266
Тетерин Тимофей Иванович, стрелецкий голова 88, 96
Тиберий, рим. император 49
Тимур, ср.-азиат. гос. деятель, полководец 37, 315, 334
Тиндаль, студент Оксфордского ун-та 234
Тиренций, *см.* Варрон Марк Теренций
Тихонравов Никита Саввич, рус. литературовед, археограф, академик Петербургской АН 342
Толстой Петр Андреевич, граф, рус. гос. деятель, посол в Турции 157
Тредьяковский (Тредиаковский) Василий Кириллович, рус. поэт, филолог, академик Петербургской АН 58
Трейер 67
Троекуров Федор Михайлович, кн., рус. посол в Польше 88, 89, 91, 98—100
Трувор, легенд. кн., брат Рюрика 10, 47
Тукальский Иосиф, митрополит киевский 108, 109
Тур Алексей, игумен 109
Тыртов, подпоручик 118
Тьер Адольф, франц. гос. деятель, историк 313, 364
Тьерри Огюстен, франц. историк 313

Уваров Сергей Семенович, граф, рус. гос. деятель, министр нар. просвещения 353, 354, 358, 362, 364
Углицкий Феодосий, игумен Выдубецкого мон-ря 109
Унковский Григорий, рус. посол на Украине 42
Урнежевский Александр, вахмистр 118
Устрялов Николай Герасимович, рус. историк 242, 243, 245—259
Ушаков, солдат 118, 119

Федор (Феодор) Алексеевич, рус. царь 62, 63, 242, 246—249, 251, 255, 307
Федор Иоаннович (Федор Иванович), рус. царь из династии Рюриковичей, сын Ивана Грозного 49, 50, 86, 87, 89, 90, 95, 97—102, 298
Феодосий, визант. император 249, 281
Феодосий Киевский (Печерский), др.-рус. писатель, игумен Киево-Печерского мон-ря 51
Фердинанд II, австр. император 106
Фердинанд II, исп. король 235
Филимонов Максим, *см.* Мефодий
Филипп II, исп. король 232
Фишер, епископ рочестерский 241
Фишер Куно, нем. историк и философ 58
Фока Никифор, визант. император 280, 282, 285
Фонвизин Денис Иванович, рус. писатель, просветитель 164
Фонтенель Бернар Ле Бовье де, франц. писатель, ученый 71
Фотий, патриарх константинопольский, автор окружного послания с упоминанием о походе руссов 58
Франциск I, франц. король 231, 238, 239
Франциск Святой (Бернардоне Джованни), итал. проповедник, основатель ордена францисканцев 20
Фридрих, чеш. король, сын Владислава II 31, 32
Фридрих I Барбаросса, герм. король, император Священной Римской империи 31
Фридрих II, герм. император 33
Фрод Дж., англ. историк 228
Фулкон, епископ краковский 36
Фюстель де Куланж Нюма Дени, франц. историк 387

Хавский П. В., рус. историк 182
Хитрово Богдан Матвеевич, боярин, окольничий, дворецкий 62
Хмельницкий Богдан (Зиновий) Михайлович, гетман Украины 111, 259, 269—274
Хмельницкий Юрий Богданович, гетман Украины, сын Б. Хмельницкого 112
Хованский Иван Андреевич, кн., боярин, воевода 251—253
Ходаковский 77
Хомяков Алексей Степанович, рус. религ. философ, поэт, публицист, славянофил 394
Худышкин, гренадер 118

Цимисхий, *см.* Иоанн Цимисхий
Цицерон Марк Туллий, рим. полит. деятель, писатель 170

Чарторыйский, кн. 148
Черниковский Петр, посол в Москву 97
Чернышев Петр, солдат Брянского полка 117
Чивилев, профессор Московского ун-та 364, 365
Чингисхан (Тэмуджин, Темучин), основатель и вел. хан Монгольской империи 37, 334, 373
Чичерин Борис Николаевич, рус. юрист, историк 210—214, 216—225, 393
Чичерин Иван Иванович 66

Шаброль, франц. министр 137, 138
Шаль Филарет, профессор Парижского ун-та 16, 17, 293, 295
Шарлье Жан, франц. богослов, церк. деятель 20
Шафарик П. И., чеш. историк и обществ. деятель 291, 293, 356, 360, 364
Шварно (Шварн), боярин, воевода 190
Шевырев Степан Петрович, рус. историк, академик Петербургской АН 354, 358, 364, 368
Шегрен Андрей Михайлович, рус. филолог и этнограф, академик Петербургской АН 199
Шеллинг Фридрих Вильгельм, нем. философ 332, 358
Шереметев, воевода 108, 109
Шереметев Борис Петрович, граф, рус. генерал-фельдмаршал, сподвижник Петра I 67
Шереметевы, рус. боярский и графский род 67
Шетген Христиан 67
Шиллер Иоганн Фридрих, нем. поэт, драматург 319, 332, 393
Шлёцер Август Людвиг, нем. историк, филолог на рус. службе 47, 51, 52, 57, 75, 78, 313, 323, 327, 328, 334, 347, 386, 390, 391
Шлоссер Фридрих Кристоф, нем. историк 340, 361
Шобер 67
Штелин Якоб фон, историк искусства, писатель, член Петербургской АН 55
Штраленберг Иоганн Филипп, составитель описания Сибири 62, 65
Штраус Д., нем. философ 22
Шувалов Иван Иванович, граф, камергер, куратор Московского ун-та 55, 56, 165
Шуйские, рус. кн. и бояре 83, 88
Шумахер Иоганн Даниил, библиотекарь, советник канцелярии АН 40, 57, 58, 60

Щапов Афанасий Прокофьевич, рус. историк 259, 275—278
Щелканов Василий, дьяк, рус. посол в Польшу 98
Щербатов Михаил Михайлович, кн., рус. историк, публицист 47, 67, 80, 166, 325, 386

Эверс Иоганн Филипп Густав, рус. историк, ректор Дерптского ун-та 77, 349, 356
Эдуард VI, англ. король 232
Эзоп (Езоп), др.-греч. баснописец 71
Эллиот Эбенезер, англ. поэт 232
Эразм Роттердамский, Дезидерий, гуманист эпохи Возрождения, филолог, писатель 232

Юм Дэвид, англ. философ, историк, экономист 376
Юнг Э., англ. поэт 71
Юрий Долгорукий, кн. суздальский, вел. кн. киевский, сын Владимира Мономаха 188, 194, 203, 205
Юрьевичи, рус. кн. 194, 216
Юстиниан Великий, визант. император 282
Юсупов Б. Г., кн., президент Коммерц-коллегии 45

Яворский Стефан, рус. церк. и гос. деятель, писатель 246
Ягеллоны, королевская династия в Польше, Вел. княжестве Литовском, Венгрии 261, 377
Язловецкий Николай, снятыньский староста 94
Языков Иван, думный дворянин 62, 63
Яков I, англ. и шотл. король 236
Ян Казимир, польск. король 271
Яромир, чеш. кн., сын Брячислава I 27
Яромир, чеш. кн., сын Болеслава II Благочестивого 26, 27
Ярополк Владимирович, вел. кн. киевский, сын Владимира Мономаха 189
Ярополк Изяславич, кн. вышгородский, кн. владимиро-волынский 208
Ярослав I Владимирович Мудрый, вел. кн. киевский 25, 27, 34, 47, 82, 167, 181, 182, 194, 196, 198, 199, 201—204, 206—209, 297, 299, 300, 324, 369, 379, 381
Ярославичи, рус. кн. 27
Ясинский Варлаам, игумен Братского монря 109

УКАЗАТЕЛЬ

произведений С. М. Соловьева, включенных в книги XVI—XXIII настоящего издания Сочинений

Англия в XVI веке. Рецензия на кн.: Froude J. A. History of England from the fall of Wolsey to the death of Elisabeth XXIII, 227—241

Благодарное воспоминание о Иване Ивановиче Шувалове XX, 535—544
Булавин и его выступление на Дону. Рассказы из русской истории XVIII века XX, 347—359

Великая княгиня Ольга XXII, 32—41
Взгляд на историю установления государственного порядка в России до Петра Великого XVI, 5—42
Взгляд на состояние духовенства в древней Руси до половины XIII века XXII, 18—31
Византия в X веке. Рецензия на кн.: L'empire Grec au dixieme siecle (Constantin Porphyrogenecte) par Alfred Rambaud XXIII, 279—286
Воспоминание о Ломоносове XX, 545—549
Восточная Европа в XVII веке XXI, 474—505
Восточный вопрос XVI, 629—672

Географические известия о древней России XXI, 402—473
Гетман Иван Выговский XXII, 148—167

Древняя Россия XVI, 260—276

Европа в конце XVIII века XXII, 198—319

Заботы Сената о русском языке в XVIII веке XX, 550
Заметка о деятельности митрополита Гавриила (Петрова) по вопросу о расколе XXIII, 120—122
Заметки о самозванцах в России XXIII, 112—120
Замечание о слове «Дума» XXII, 5

Избрание на польский престол наследного принца Шведского Сигизмунда Вазы XXIII, 83—106
Император Александр I. Политика, дипломатия. 12 декабря 1777 г. XVII, 203—704
Исторические письма XVI, 353—404
Исторические поминки по историку. Речь на юбилее Н. М. Карамзина XXIII, 162—170
История отношений между русскими князьями Рюрикова дома XIX, 5—278
История падения Польши XVI, 405—628

Карамзин и его литературная деятельность: «История государства Российского» XVI, 43—186
Качеповский Михаил Трофимович XXIII, 69—83
Князья Суздальские-Шуйские XXII, 168—170
Крестоносцы и Литва XXII, 82—100
Курс новой истории XX, 5—341

Лазарь Баранович. Из истории Южнорусской митрополии XXIII, 106—112
Лекции по русской истории (1873/74) XXI, 6—246

Мазепа. Рассказы из русской истории XVIII века XX, 359—369
Малороссийское козачество до Хмельницкого XXII, 132—147
Мои записки для детей моих, а если можно, и для других XVIII, 529—660
Монах Самуил (Страница из истории раскола) XX, 470—473
Москва в августе 1612 года XX, 517—520

Москва в 1770 и 1771 годах XX, 521—534
Московские купцы в XVII веке XX, 504—516
Мюллер Герард Фридрих (Федор Иванович Миллер) XXIII, 39—69

Наблюдения над исторической жизнью народов XVII, 5—202
Начала Русской земли XVII, 705—735
Несколько слов по поводу вопроса о том: «Когда Русскому государству исполнится тысяча лет?» XXIII, 9—10

О нравах и обычаях, господствовавших в древней Руси от времен Ярослава I до нашествия монголов XXII, 6—17
О публичных лекциях профессора Грановского XXIII, 37—39
О родовых княжеских отношениях у западных славян XXIII, 25—36
Об историческом движении русского народонаселения XXIII, 170—177
Обзор дипломатических сношений Московского двора с Литовским во 2-й половине XV века XXII, 101—120
Общедоступные чтения о русской истории XXI, 274—401
Острожковские и подмосковные переговоры XXI, 506—526
Очерк истории Москвы XX, 474—503
Очерк нравов, обычаев и религии славян, преимущественно восточных, во времена языческие XIX, 449—481
Очерк состояния России в эпоху деятельности Ломоносова XXIII, 156—162

Парижский университет. Письмо из Праги от 23 июня 1843 года XXIII, 11—24
Петр Великий на Каспийском море XX, 435—469
Писатели русской истории XVIII века XVI, 187—259
Поццо ди Борго и Франция. Начало 2-й четверти XIX века XXIII, 122—155
Прогресс и религия XVI, 673—692
Псков и Ливония XXII, 42—81
Птенцы Петра Великого XX, 369—433
Публичные чтения о Петре Великом XVIII, 5—152

Рецензия на кн.: М. П. Погодин. Исследования, замечания и лекции о русской истории. Т. 4. Период удельный XXIII, 181—209
Рецензия на кн.: Н. Г. Устрялов. История царствования Петра Великого XXIII, 242—259
Речь над гробом П. Н. Кудрявцева XXIII, 155
Речь при открытии Высших женских курсов 1 ноября 1872 года XXIII, 177—181
Россия, Австрия и Англия во время движения 1848 и 1849 годов XXII, 492—507
Россия и Европа в 1-й половине царствования Александра I XXII, 320—491
Русская летопись для первоначального чтения XIX, 339—448
Русская промышленность и торговля в XVI веке XXII, 121—131
Русские исповедники просвещения в XVII веке XXII, 189—197
Русский город в XVII веке XXII, 171—188

Спор о сельской общине. Рецензия на ст.: Б. Н. Чичерин. Обзор исторического развития сельской общины в России XXIII, 210—227
Сто свадеб в Астрахани. Рассказы из русской истории XVIII века XX, 342—347

Уния, козачество, раскол. Рецензия на кн.: М. О. Коялович. Литовская церковная уния. Т. 1—2; Н. И. Костомаров. Богдан Хмельницкий. Т. 1—2; А. П. Щапов. Русский раскол старообрядчества XXIII, 259—278
Учебная книга русской истории XVIII, 153—528

Шлёцер, Август Людвиг XVI, 277—313
Шлёцер и антиисторическое направление XVI, 314—352

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
5—6

СТАТЬИ, ВЫСТУПЛЕНИЯ, РЕЦЕНЗИИ
7

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ ВОПРОСА О ТОМ:
«КОГДА РУССКОМУ ГОСУДАРСТВУ ИСПОЛНИТСЯ ТЫСЯЧА ЛЕТ?»
9—10

ПАРИЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ.
Письмо из Праги от 23 июня 1843 года
11—24

О РОДОВЫХ КНЯЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ У ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН
25—36

О ПУБЛИЧНЫХ ЛЕКЦИЯХ ПРОФЕССОРА ГРАНОВСКОГО
36—39

ГЕРАРД ФРИДРИХ МЮЛЛЕР (ФЕДОР ИВАНОВИЧ МИЛЛЕР)
39—69

КАЧЕНОВСКИЙ МИХАИЛ ТРОФИМОВИЧ
69—83

ИЗБРАНИЕ НА ПОЛЬСКИЙ ПРЕСТОЛ НАСЛЕДНОГО
ПРИНЦА ШВЕДСКОГО СИГИЗМУНДА ВАЗЫ
83—106

ЛАЗАРЬ БАРАНОВИЧ. ИЗ ИСТОРИИ ЮЖНОРУССКОЙ МИТРОПОЛИИ
106—112

ЗАМЕТКИ О САМОЗВАНЦАХ В РОССИИ
112—120

ЗАМЕТКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИТРОПОЛИТА ГАВРИИЛА (ПЕТРОВА) ПО ВОПРОСУ О РАСКОЛЕ
120—122

ПОЦЦО ди БОРГО И ФРАНЦИЯ.
Начало второй четверти XIX века
122—155

РЕЧЬ НАД ГРОБОМ П. Н. КУДРЯВЦЕВА
155

ОЧЕРК СОСТОЯНИЯ РОССИИ В ЭПОХУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОМОНОСОВА.
Речь в связи со 100-летием со дня смерти М. В. Ломоносова
156—162

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОМИНКИ ПО ИСТОРИКУ.
Речь на юбилее Н. М. Карамзина
162—170

ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ РУССКОГО НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ.
Лекция, прочитанная в Московском университете в мае 1867 г.
170—177

РЕЧЬ ПРИ ОТКРЫТИИ ВЫСШИХ ЖЕНСКИХ КУРСОВ
1 НОЯБРЯ 1872 г.
177—181

РЕЦЕНЗИЯ НА кн.: М. П. ПОГОДИН. ИССЛЕДОВАНИЯ, ЗАМЕЧАНИЯ И ЛЕКЦИИ О РУССКОЙ ИСТОРИИ. Т. 4. ПЕРИОД УДЕЛЬНЫЙ
181—209

СПОР О СЕЛЬСКОЙ ОБЩИНЕ.
Рецензия на статью Б. Н. Чичерина
210—227

АНГЛИЯ В XVI ВЕКЕ.
Рецензия на кн.: Froude J. A. History of England from the fall of Wolsey to the death of Elisabeth
227—241

РЕЦЕНЗИЯ НА кн.: Н. Г. УСТРЯЛОВ. ИСТОРИЯ ЦАРСТВОВАНИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
242—259

УНИЯ, КОЗАЧЕСТВО, РАСКОЛ.
Рецензия на кн.: М. Коялович. Литовская церковная уния. Т. 1—2; Н. Костомаров. Богдан Хмельницкий. Т. 1—2; А. Щапов. Русский раскол старообрядчества
259—278

ВИЗАНТИЯ В X ВЕКЕ.
Рецензия на кн.: L'empire Grec au dixieme siecle (Constantin Porphyrogenecte) par Alfred Rambaud
279—286

СОВРЕМЕННИКИ О С. М. СОЛОВЬЕВЕ
287

Рескрипт цесаревича Александра
289

В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ. С. М. Соловьев. Некролог
289—292

Сергей Михайлович Соловьев
292—301

С. М. Соловьев как преподаватель
301—306

Памяти С. М. Соловьева
306—312

В. И. ГЕРЬЕ. Сергей Михайлович Соловьев
312—337

М. И. СЕМЕВСКИЙ И РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «РУССКАЯ СТАРИНА». Отклик на смерть С. М. Соловьева
337—338

Д. И. ИЛОВАЙСКИЙ. Памяти С. М. Соловьева
338—340

М. М. СТАСЮЛЕВИЧ. Сергей Михайлович Соловьев
340—343

С. А. МУРОМЦЕВ. Сергей Михайлович Соловьев
343—344

Из кн.: А. Н. ПЫПИН. Новейшие исследования русской народности
344—350

П. В. БЕЗОБРАЗОВ. С. М. Соловьев
350—398

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН К КНИГЕ XXIII
398—408

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ С. М. СОЛОВЬЕВА, ВКЛЮЧЕННЫХ В КНИГИ XVI—XXIII
409—410

Соловьев С. М.

С 60 Сочинения. В 18 кн. Кн. XXIII. Заключительная. Статьи, выступления, рецензии. Современники о С. М. Соловьеве. — М.: Мысль, 2000. — 414 с.

ISBN 5-244-00075-6
ISBN 5-244-00948-6

Двадцать третья книга Сочинений состоит из двух разделов. В первом собраны его работы разных лет, разносторонне характеризуется все творчество великого ученого и развитие его научных взглядов — от первой значительной научной работы («Парижский университет») до последней, освещающей событие уже XIX в. («Поццо ди Борго и Франция»). Во второй раздел включены характеристики С. М. Соловьева и его творчества со стороны его современников. В справочное приложение включен алфавитный указатель произведений Соловьева, вошедших в книги XVI—XXIII настоящего издания Сочинений.

Для широкого круга читателей.

ББК 63.3.(2)

Научная

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ СОЛОВЬЕВ

СОЧИНЕНИЯ

КНИГА XXIII

Заключительная

СТАТЬИ РЕЦЕНЗИИ ВЫСТУПЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННИКИ О С М СОЛОВЬЕВЕ

Редактор В С АНТОНОВ
Художественный редактор Е М ОМЕЛЬЯНОВСКАЯ
Технические редакторы В Н КОРНИЛОВА, С П ЛЕБЕДЕВА
Корректоры Т И ОРЕХОВА, З Н СМИРНОВА

ЛР № 010150 от 30 12 96

Сдано в набор 29 11 99 Подписано в печать 27 12 99 Формат $60 \times 90^1/_{16}$ Бумага офсетная
Гарнитура «Таймс» Офсетная печать Усл печ листов 26 Усл кр -отт 26,75
Учетно-издат листов 34,26 Тираж 5000 экз Заказ № 3225

Издательство «Мысль» 117071, Москва, В-71, Ленинский проспект, 15

Отпечатано с готовых диапозитивов в Государственном ордена Октябрьской Революции,
ордена Трудового Красного Знамени Московском предприятии
«Первая Образцовая типография» Государственного комитета Российской
Федерации по печати 113054, Москва, Валовая, 28

ISBN 5-244-00948-6

9 785244 009484

